

## СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

А.П.Чехов в воспоминаниях современников

Под общей редакцией С.Н.Голубова, В.В.Григоренко, Н.К.Гудзия,  
С.А.Макашина, Ю.Г.Оксмана

Предисловие А.К.Котова

Подготовка текста и примечания Н.И.Гитович и И.В.Федорова

Издательство "Художественной литературы", Москва, 1960

### Содержание:

А.КОТОВ. ПРЕДИСЛОВИЕ .....	3
АЛ.П.ЧЕХОВ. [ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ А. П. ЧЕХОВА] .....	20
М.П.ЧЕХОВ. АНТОН ЧЕХОВ НА КАНИКУЛАХ .....	52
В.А.СИМОВ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ЧЕХОВЕ .....	67
В.А.ГИЛЯРОВСКИЙ. ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ ЛЮДИ .....	71
В.Г.КОРОЛЕНКО. АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ .....	92
И.Е.РЕПИН. О ВСТРЕЧАХ С А.П.ЧЕХОВЫМ .....	102
А.С. ЛАЗАРЕВ-ГРУЗИНСКИЙ. А.П.ЧЕХОВ* .....	103
ВЯЧ.ФАУСЕК. МОЕ ЗНАКОМСТВО С А.П.ЧЕХОВЫМ .....	129
Л.А.АВИЛОВА. А.П.ЧЕХОВ В МОЕЙ ЖИЗНИ .....	138
В.Н.ЛАДЫЖЕНСКИЙ. В СУМЕРКИ .....	207
Дорогой памяти А.П.Чехова .....	207
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ ОБ А.П.ЧЕХОВЕ .....	209
И.Н.ПОТАПЕНКО. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ С А.П.ЧЕХОВЫМ .....	216
К 10-летию со дня его кончины .....	216
С.Т.СЕМЕНОВ. О ВСТРЕЧАХ С А.П.ЧЕХОВЫМ .....	256
К.С.СТАНИСЛАВСКИЙ. А.П.ЧЕХОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ ..	260
Воспоминания .....	260
"ВИШНЕВЫЙ САД" .....	287
В.И.НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО. ЧЕХОВ .....	295
В.В.ЛУЖСКИЙ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ .....	308
В.И.КАЧАЛОВ. [ВОСПОМИНАНИЯ] .....	311
М.М.КОВАЛЕВСКИЙ. ОБ А.П.ЧЕХОВЕ .....	313
С.Н.ЩУКИН. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А.П.ЧЕХОВЕ .....	317
Л.Н.ШАПОВАЛОВ. КАК БЫЛ ПОСТРОЕН ДОМ ЧЕХОВА В ЯЛТЕ .....	327
Н.Д.ТЕЛЕШОВ. А.П.ЧЕХОВ .....	331
М.ГОРЬКИЙ. А.П.ЧЕХОВ .....	344
И.А.БУНИН. ЧЕХОВ .....	358
А.И.КУПРИН. ПАМЯТИ ЧЕХОВА .....	377
С.Я.ЕЛПАТЬЕВСКИЙ. АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ .....	399
И.А.НОВИКОВ. ДВЕ ВСТРЕЧИ .....	407
И.Н.АЛЬТШУЛЛЕР. О ЧЕХОВЕ .....	408

М.К.ПЕРВУХИН. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ЧЕХОВЕ .....	423
М.А.ЧЛЕНОВ. А.П.ЧЕХОВ И КУЛЬТУРА .....	445
К двухлетней годовщине со дня его смерти .....	445
А.СЕРЕБРОВ (ТИХОНОВ). О ЧЕХОВЕ .....	447
Н.ГАРИН. ПАМЯТИ ЧЕХОВА .....	458
Г.И.РОССОЛИМО. ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ .....	459
В.В.ВЕРЕСАЕВ. А.П.ЧЕХОВ .....	467
Н.З.ПАНОВ. СЕАНС .....	470
К портрету А.П. Чехова .....	470
О.Л.КНИППЕР-ЧЕХОВА. О А.П.ЧЕХОВЕ .....	472
ПРИМЕЧАНИЯ* .....	487
Ал.П.ЧЕХОВ .....	488
М.П.ЧЕХОВ .....	490
В.А.СИМОВ .....	491
В.А.ГИЛЯРОВСКИЙ .....	492
В.Г.КОРОЛЕНКО .....	494
И.Е.РЕПИН .....	497
А.С.ЛАЗАРЕВ-ГРУЗИНСКИЙ .....	498
Вяч.ФАУСЕК .....	502
Л.А.АВИЛОВА .....	504
В.Н.ЛАДЫЖЕНСКИЙ .....	511
И.Н.ПОТАПЕНКО .....	514
С.Т.СЕМЕНОВ .....	516
К.С.СТАНИСЛАВСКИЙ .....	519
Вл.И.НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО .....	527
В.В.ЛУЖСКИЙ .....	530
В.И.КАЧАЛОВ .....	532
М.М.КОВАЛЕВСКИЙ .....	533
С.Н.ЩУКИН .....	535
Л.Н.ШАПОВАЛОВ .....	536
Н.Д.ТЕЛЕШОВ .....	537
М.ГОРЬКИЙ .....	540
И.А.БУНИН .....	544
А.И.КУПРИН .....	548
С.Я.ЕЛПАТЬЕВСКИЙ .....	551
И.А.НОВИКОВ .....	552
И.Н.АЛЬТШУЛЛЕР .....	553
М.К.ПЕРВУХИН .....	557
М.А.ЧЛЕНОВ .....	560
А.СЕРЕБРОВ (ТИХОНОВ) .....	562
Н.ГАРИН .....	563
Г.И.РОССОЛИМО .....	564
В.В.ВЕРЕСАЕВ .....	565
Н.З.ПАНОВ .....	567
О.Л.КНИППЕР-ЧЕХОВА .....	567

## А.КОТОВ. ПРЕДИСЛОВИЕ

### I

Полная творческого напряжения жизнь Антона Павловича Чехова нашла разностороннее отражение в воспоминаниях современников. В их записях, имеющих порой не только историко-литературное, а и художественное значение, раскрывается внутренний мир Чехова, характеризуются его отношения к важнейшим событиям эпохи, приводятся существенные страницы его биографии. Советское литературоведение, освободившее Чехова от клеветы и извращений буржуазной критики и установившее подлинно научное понимание его творчества, опирается и на правдивые свидетельства современников писателя.

Биография Чехова связана с именами многих выдающихся деятелей русской литературы и искусства. Как художник и как человек Чехов представлял для своих современников глубочайший интерес, и, по существу, ни один из выдающихся писателей и деятелей искусства 80-90-х годов и начала XX века не прошел мимо Чехова.

Уже в самом начале его творческого пути, когда он был известен как автор литературных шуток и маленьких рассказов, находивших место в юмористических журналах, с Чеховым знакомятся писатели старшего поколения Лесков и Григорович. Со второй половины 80-х годов с Чеховым сближается его литературный сверстник Короленко, позднее дружеские отношения устанавливаются с Толстым, для которого Чехов вскоре становится любимым писателем и душевно близким человеком. Самые тесные и дружественные отношения существовали у Чехова с Горьким, могучее дарование и /8/ революционное значение которого ярко обнаруживалось уже при жизни Чехова.

В числе близких к Чехову людей были величайшие деятели русского искусства - Чайковский, Репин, Левитан, Станиславский. Влияние таланта Чехова и покоряющая сила его личности были так велики, что к Чехову, подолгу жившему вне Москвы и Петербурга, неизменно стремились люди самых разнообразных профессий, нередко далекие от чисто литературных интересов. Высоко ценили Чехова виднейшие представители передовой науки, в частности К.А.Тимирязев и К.Э.Циолковский.

То обстоятельство, что Чехов в течение двух десятилетий стоял в центре русской литературы и искусства, работая в непосредственной близости и будучи связан личной дружбой со многими известными писателями, художниками, композиторами, актерами, придает мемуарам о Чехове особое значение. Они дают материал не только для знакомства с биографией Чехова, но также освещают и один из значительных периодов в развитии русского искусства, связанный с творчеством Льва Толстого и Горького, Чайковского и Репина, с организацией Московского Художественного театра.

Разумеется, далеко не все, близко знавшие Чехова, оставили о нем свои воспоминания. Многие из них сошли в могилу раньше Чехова, и об их отношениях с писателем мы узнаем из переписки и из воспоминаний других современников. При всем этом воспоминания современников о Чехове занимают одно из значительных мест в русской мемуарной литературе. С воспоминаниями о Чехове выступали многие из его выдающихся современников - Короленко, Репин, Куприн, Станиславский, Немирович-Данченко, Гарин-Михайловский, Качалов, Вересаев, Телешов и другие. Обстоятельные мемуары о детстве и первых годах литературной работы Антона Павловича оставили его братья - Александр и Михаил Чеховы. Особое место в мемуарной литературе о Чехове занимают воспоминания о нем Горького, который с наибольшей полнотой донес до нас духовный облик и передал подлинные черты живого Чехова. Выступление Горького со статьей о рассказе Чехова "В овраге" (1900), а позднее - с мемуарными очерками положило начало новому пониманию творчества Чехова.

В сборнике воспоминаний нельзя, разумеется, искать исчерпывающей биографии писателя. Значительное большинство мемуаристов отражают, например, ту пору в жизни Чехова, когда его имя приобрело или уже начинало приобретать широкую известность. Его знакомство с большинством литераторов и театральных деятелей, которые оставили о нем свои воспоминания, началось со второй половины 80-х годов, - это, естественно, и определило границы их /9/ воспоминаний. С наибольшей полнотой в мемуарах освещается мелиховский и особенно ялтинский период жизни Чехова, когда литературные и общественные интересы сблизили его с большой группой молодых писателей и деятелей искусства.

Однако в той или иной мере все периоды жизни Чехова нашли отражение в воспоминаниях его современников.

Чехов родился в 1860 году, в Таганроге; там же он окончил гимназию и жил до переезда в Москву и поступления в Московский университет в 1879 году. О детстве, как и вообще о своей жизни, Чехов писал мало, лишь в его рассказах можно встретить черты быта, памятного ему по Таганрогу. Письма Чехова все же дают возможность безошибочно судить о его отношении к тем условиям жизни, в которых он рос. В письме литератору Щеглову Чехов писал: "Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание - с церковным пением, с чтением апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным, религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два мои брата среди церкви пели трио "Да

исправится" или же "Архангельский глас", на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками"\*.

---

\* Письмо от 9 марта 1892 года. Здесь и дальше ссылки на письма А.П.Чехова даются по Полн. собр. соч. и писем. М. 1944-1951.

Из воспоминаний современников можно узнать живые подробности быта семьи Чеховых в Таганроге. Из них мы узнаем о тяжелых обязанностях гимназиста Чехова в лавке отца, о репетиторстве в шестнадцатилетнем возрасте, о гимназии с учителями, похожими на "человека в футляре", с отупляющей зубрежкой и безрассудными жестокостями. "Таганрогская гимназия, - вспоминал писатель Тан-Богораз, - в сущности представляла арестантские роты особого рода. То был исправительный батальон, только с заменой палок и розог греческими и латинскими экстемпоралиями"\*.

Воспоминания современников позволяют живо представить Чехова за зубрежкой гимназических уроков, на выматывающих силы ночных спевках, в захудалой бакалейной лавчонке отца, где он должен был одновременно выполнять роль и продавца и кассира, наконец среди веселых, полных юмора чеховских забав, в которых уже проступают черты будущего Антоши Чехонте.

---

\* Б.Г.Тан [Богораз]. На родине Чехова ("Чеховский юбилейный сборник", М. 1910, стр. 480). /10/

Чехов еще в детстве столкнулся с грубостью, пошлостью и ложью мещанского быта. "Деспотизм и ложь исковеркали наше детство", - сказал однажды Чехов\*. Об этом ярко рассказывает в своих воспоминаниях брат писателя Александр Чехов. "Антон Павлович, - писал он, - только издали видел счастливых детей, но сам никогда не переживал счастливого, беззаботного и жизнерадостного детства, о котором было бы приятно вспомнить, пересматривая прошлое". Но неверно было бы представлять себе гимназиста Чехова до конца забитым, смирившимся со всем, что его окружает. Как об этом можно заключить по воспоминаниям другого его брата, Михаила Павловича, в Чехове рано проснулось желание высмеять житейские несуразности, смешных и жалких людей. Это легко почувствовать, читая в воспоминаниях Михаила Чехова и других современников, знавших Антона Павловича по Таганрогу, записи художественных импровизаций, пародий, инсценированных шуток. "Он устраивал лекции и сцены, - пишет М.П.Чехов, - кого-нибудь представляя или кому-нибудь подражая"\*.

Материал для этого ему в изобилии давала окружающая жизнь, в которой он рано подмечал несуразное и нелепое, - с этим он сталкивался в обиходе убогой бакалейной лавки, подобное видел в коммерческом суде, в гимназии. В его литературных шутках и пародиях неизменно подвергались осмеянию типические черточки, характерные особенности окружавшего его мещанского быта.

\* Письмо Ал.П.Чехову от 2 января 1889 года.

\*\* М.П.Чехов. Вокруг Чехова, М.- Л. 1935, стр. 76.

О глупом чванстве и одновременно подхалимстве человека, потерявшего свое человеческое достоинство, была, например, импровизация Чехова, в которой изображались чиновники: один - достигший "значительных степеней", и другой - мелкий, заискивающий перед ним. Чехов сатирически переделывал и религиозные сюжеты. Как пишет один из современников, "особенно интересно у него выходили вариации о сотворении мира, когда коринка была до такой степени смешана с изюмом, что их невозможно было отличить, а луну должны были отмывать прачки". Во всем этом явственно проступают черты будущего Чехова.

В жизни каждого писателя есть период внутренней подготовки творчества, когда еще не оформились силы, обеспечивающие ему литературный успех, но когда уже определились направление и характер его будущей работы. Для Чехова периодом такой внутренней подготовки творчества были годы, проведенные им в таганрогской гимназии. Чехов вступил в литературу двадцатилетним юношей, и легко установить прямую связь между импровизациями, пародиями, литературными шутками, которыми он блистал, по свидетельству /11/ друзей его детства, в Таганроге, и первыми его напечатанными в журналах рассказами. Создается впечатление, что некоторые из них выросли из веселых сцен и шуток, которыми в детстве Чехов пародировал и вышучивал смешные стороны быта; и в дальнейшем Чехов сохранил пристрастие к неожиданной шутке, к смешной импровизации, что отразилось на многих его рассказах, которые написаны как драматические сцены и легко поддаются театральным переделкам. Однако творчество Чехова даже на протяжении первых лет его журнальной работы значительно шире того житейского опыта, с которым он приехал из Таганрога. Известно, как быстро рос талант Чехова, как широко раздвигались границы его творчества, захватывая все новые стороны и явления действительности.

В 1879 году Чехов поступил на медицинский факультет Московского университета. Со следующего года он становится постоянным сотрудником юмористических журналов, издаваемых в Москве и Петербурге. Он пишет юмористические рассказы и веселые обозрения, дает смешные подписи под рисунками. По свидетельству современников, Чехов в поздние годы даже не помнил всех своих рассказов, которые печатались в юмористических журналах на заре его литературной работы, - так много он их писал. В 1883 году, например, было напечатано более ста его рассказов и очерков. Принимая участие в небольших журналах, в которых работали далекие от художественного творчества журналисты, Чехов на первых порах, естественно, должен был соприкоснуться с миром газетных репортеров, больших и малых "сотрудников" тогдашней прессы. Этим, между прочим, объясняется то обстоятельство, что после смерти писателя объявилось большое количество "друзей" Чехова, с которыми он якобы "вместе начинал", "имел задушевные беседы", был "связан дружбой" и т.д. На самом же деле можно говорить об известной близости Чехова лишь к весьма ограниченному кругу журналистов 80-х годов. Чехов с самого начала своей

литературной деятельности ставил перед собой художественные задачи, и его творчество резко выделялось на общем фоне беллетристики тех журналов, где он печатался. Сквозь смешные эпизоды и курьезные детали, в изобретении которых Чехов, казалось, был неистощим, наиболее чуткие современники в его рассказах улавливали нечто более значительное, понимая, как тонко и сильно художник разоблачает ложь и лицемерие буржуазного общества. В том же 1883 году среди всего, что было написано Чеховым для юмористических журналов, появляются подлинные шедевры: "Смерть чиновника", "Дочь Альбиона", "Толстый и тонкий".

Естественно, что Чехов не мог не чувствовать, сколь чужды были для него газетчики и беспринципные журналисты, с которыми /12/ ему пришлось столкнуться в редакциях газет и мелких журналов. Говоря о Гиляровском, которого он выделял из среды журналистов 80-х годов, Чехов в письме к Горькому выразил свое отношение к "господам газетчикам": "Я знаю его (Гиляровского. - А.К.) уже почти 20 лет, мы с ним вместе начали в Москве нашу карьеру, и я пригляделся к нему весьма достаточно... В нем есть кое-что ноздревское, беспокойное, шумливое, но человек это простодушный, чистый сердцем, и в нем совершенно отсутствует элемент предательства, столь присущий господам газетчикам"\*.

Естественным было тяготение Чехова к более родственной для него среде, - такой была группа художников-реалистов во главе с Левитаном, Васнецовым и Коровиным.

---

\* Письмо от 24 августа 1899 года.

По свидетельству Гиляровского, еще в начале 80-х годов "у Чеховых собирались художники, а И.И.Левитан с той поры и до самой своей смерти был всегда около Чеховых". "Большим другом нашей семьи" называет Левитана сестра писателя, Мария Павловна Чехова.

О близости Чехова к этой группе художников рассказывает в своем очерке В.А.Симов, впоследствии художник-декоратор МХАТа. Об отношениях Левитана с Чеховым, основанных на сердечной дружбе и общности в понимании задач искусства, известно по их письмам и воспоминаниям современников.

Годы первого периода творчества Чехова - ученье в Московском университете, медицинская практика в Чикинской и Звенигородской больницах и напряженная литературная работа, выдвинувшая его вровень с крупнейшими писателями того времени, - нашли отражение в ряде мемуаров. Об этом периоде рассказывает брат писателя - М.П.Чехов, мемуары которого представляют значительный интерес. Весьма существенный материал содержится в очерке В.Г.Короленко. Передавая впечатления о своей первой встрече с Чеховым в 1887 году, Короленко свидетельствует о его активных общественных настроениях. Знаменательным нужно признать уже самый факт дружеского расположения Чехова к Короленко, который тогда только что вернулся из многолетней ссылки и находился на положении поднадзорного. Чехов прямо и горячо выразил свои глубокие симпатии и к личности Короленко, и к его творчеству. "Это мой любимый из современных писателей", - пишет он в феврале 1888 года\*. Чехов предлагает Короленко совместную работу над драмой, развивает идею о новом

журнале, в котором должны участвовать "начинающие, вообще молодые". Свое отношение к Короленко Чехов выразил в письме к нему от 17 октября 1887 года. "...скажу Вам, - писал /13/ Чехов, - что я чрезвычайно рад, что познакомился с Вами. Говорю я это искренно и от чистого сердца. Во-первых, я глубоко ценю и люблю Ваш талант; он дорог для меня по многим причинам. Во-вторых, мне кажется, что если я и Вы проживем на этом свете еще лет 10-20, то нам с Вами в будущем не обойтись без точек общего схода. Из всех ныне благополучно пишущих россиян я самый легкомысленный и несерьезный... Вы же серьезны, крепки и верны. Разница между нами, как видите, большая, но тем не менее, читая Вас и теперь познакомившись с Вами, я думаю, что мы друг другу не чужды".

---

\* Письмо А.Н.Плещееву от 5 февраля 1888 года.

Воспоминания Короленко затрагивают одну очень важную сторону биографии Чехова, связанную с его отношением к либеральному народничеству. Как пишет об этом Короленко, ему не удалась попытка сблизить Чехова с либерально-народнической редакцией журнала "Северный вестник" во главе с Михайловским. Это было вполне естественно, так как литературные позиции Чехова глубоко и принципиально расходились с либерально-народническими взглядами Михайловского. Короленко приводит некоторые данные, характеризующие и отношение Михайловского к Чехову. Однако здесь нужно сделать оговорку. Короленко писал свои воспоминания в 1904 году, тотчас же после смерти Чехова. В том же году умер и Михайловский, и, очевидно, Короленко счел неудобным в этих условиях говорить о подлинном отношении Михайловского к Чехову. Как бы то ни было, чувствуется желание Короленко смягчить это отношение, когда он пишет о том, что Михайловский "относился к Чехову с большой симпатией". И хотя он имеет в виду прежде всего личное отношение, все же подобное утверждение звучит по меньшей мере неожиданно в свете резких, прямо оскорбительных по отношению к Чехову выступлений Михайловского.

Кроме Гиляровского, оставившего несколько зарисовок о Чехове в первый период его литературной деятельности, из числа литераторов 80-х годов с мемуарами выступали А.С.Лазарев-Грузинский и И.Л.Щеглов. Первый из них познакомился с Чеховым в начале 1887 года; в дальнейшем они довольно часто встречались, главным образом в Москве и Мелихове, между ними была продолжительная переписка. Чехов принимал живейшее участие в его литературной судьбе. В мемуарах Лазарева-Грузинского приводится ряд заслуживающих внимания литературных суждений Чехова первых лет его писательской деятельности.

В том же году состоялось знакомство с Щегловым, которому на первых порах его литературной деятельности Чехов прочил большую писательскую будущность. В дальнейшем, однако, Щеглов не оправдал надежд Чехова. И если Чехов в первые годы их знакомства /14/ относился к Щеглову дружески, то в дальнейшем далеко отошел от него. Это было вызвано измелечиванием Щеглова как писателя, беспринципностью и неразборчивостью, которые привели его к



сближению с реакционными журналистскими кругами. В последние годы своей жизни Чехов лишь изредка переписывался с Щегловым и совсем не встречался с ним.

Несмотря на обилие мемуаров о первом периоде творчества Чехова, все же трудно составить по ним полное представление об идейной жизни писателя в годы его работы в юмористических журналах. В большинстве своем мемуаристы ограничивались передачей внешних фактов его биографии, зачастую ошибочно истолковывая литературные и эстетические взгляды писателя. Полнее других, несмотря на чрезмерно сжатый характер воспоминаний, эту область жизни Чехова раскрывает Короленко. Более полное представление о высказываниях Чехова на литературные и общественные темы дают письма самого писателя.

"Степь" (1888) - одно из крупнейших произведений нового этапа в творчестве Чехова. Последовавшие за "Степью" "Скучная история", "Палата N 6", "Рассказ неизвестного человека", "Дом с мезонином", "Моя жизнь", "Мужики", "Чайка" явились выражением дальнейшего развития художественного гения Чехова, более глубокого понимания им общественных задач литературы, живого общения с жизнью народа.

Важнейшими фактами биографии Чехова этого периода являются взявшая у него много времени и сил поездка на остров Сахалин, медицинская практика и общественная деятельность в Мелихове, работа по оказанию помощи голодающим крестьянам Нижегородской губернии, участие в литературной и театральной жизни Москвы и Петербурга. "В этот период, - пишет Вл.И.Немирович-Данченко, - Чехов в самой гуще столичного водоворота, в писательских, артистических и художественных кружках... любит сборища, остроумные беседы, театральные кулисы; ездит много по России и за границу; жизнелюбив, по-прежнему скромен и по-прежнему больше слушает и наблюдает, чем говорит сам. Слава его непрестанно растет".

В конце 80-х и начале 90-х годов значительно расширяются связи Чехова с артистической, художественной и музыкальной средой. В 1887 году Чехов знакомится с Репиным, в следующем году - с Чайковским. В мемуарах справедливо указывается на глубокий интерес Чехова к творчеству Чайковского. В свою очередь и Чайковский неоднократно восторженно отзывался о творчестве Чехова. "Имеете ли Вы понятие о новом большом русском литературном таланте, Чехове? - писал Чайковский 2 июня 1889 года. - По-моему, это будущий столп нашей словесности"\*. В эти же годы Чехов близко /15/ сходитя с выдающимися русскими актерами - Ленским, Сумбатовым-Южиным, Свободиным. В 1895 году Чехов посещает в Ясной Поляне Толстого, и их дружественные отношения, занявшие большое место в биографии обоих писателей, продолжают до конца жизни Чехова.

---

\* Письмо к Ю.П.Шпажинской (П.И.Чайковский. С.И.Танеев. Письма. М. 1951, стр. 351).

Воспоминания современников, касающиеся этого периода жизни Чехова, значительно полнее и дают более законченное представление не только о

внешних фактах биографии писателя, но также о его общественных и литературных взглядах. Записи современников сохранили высказывания Чехова о задачах литературы, о связях писателя с народом, о необходимости "зоркого и неугомонного" изучения жизни. Значительный материал приводится о жизни Чехова в Мелихове. В этой подмосковной усадьбе у Чехова любили бывать его друзья артисты и писатели, сюда неоднократно приезжал Левитан. Мелиховские наблюдения легли в основу крупнейших произведений Чехова о русской деревне.

Этот период жизни Чехова, кроме ранее упомянутых мемуаристов, освещается в воспоминаниях писателей Потапенко и Щепкиной-Куперник. С Потапенко Чехов познакомился во время своей поездки в Одессу в 1889 году, более прочные отношения установились между ними позднее, в 90-х годах. Его мемуары содержат ценные фактические сведения, но вовсе не свидетельствуют о том, что Потапенко понимал Чехова как художника.

Воспоминания Щепкиной-Куперник ярко рисуют быт Чехова в Мелихове, передают характер и колорит отношений между членами чеховской семьи. Немало существенных сведений можно почерпнуть в ее воспоминаниях также о взаимоотношениях Чехова с средой московских литераторов.

В особой оговорке нуждаются мемуары писательницы Авиловой. Они изобилуют повествовательным материалом о жизни их автора, в которой Чехову отводится преобладающее место. Авилова как бы пишет повесть о себе, комментируя свою довольно обширную переписку с Чеховым, длившуюся более десяти лет. Ее воспоминания дают ряд достоверных сведений, в частности о быте той среды, которая окружала Чехова во время его приездов в Петербург, о первых постановках его пьес в петербургских театрах, уточняют некоторые данные биографии писателя. При всем этом нельзя не отметить чрезмерную субъективность и односторонность автора в освещении материала, связанного с Чеховым. Едва ли также можно считать вполне достоверным, что свои отношения к Авиловой Чехов выразил в рассказе "О любви". /16/

В 1898 году туберкулезный процесс заставил Чехова переехать в Ялту: годом раньше болезнь приняла формы, угрожавшие жизни писателя. Чехов попадает на положение тяжело больного, некоторое время лежит в клинике. Как свидетельствуют современники, такое резкое обострение болезни было в значительной мере вызвано атмосферой зашатавшегося вокруг Чехова после неудачной постановки его "Чайки", осенью 1896 года, в Александринском театре. Тогда уже были известны причины этой неудачи, - театр не мог правильно понять новизну чеховской пьесы. "Чайка" шла в бенефис комической актрисы Левкеевой, обычно игравшей роли, рассчитанные на легкий эффект, и совсем не подходившей для чеховской пьесы. "Левкеева, - пишет в своих воспоминаниях Потапенко, - веселая, смешная актриса, обыкновенно появлявшаяся в ролях бытовых, а то игравшая приживалок, старых дев, которые обыкновенно трактуются в комическом виде и говорят смешные слова с смешными ужимками... Ее поклонники были купцы, приказчики, гостинодворцы, офицеры... И вот эта-то публика и явилась ценительницей чеховских "новых форм", которые ей показали со сцены. Ничего другого и не могло произойти, кроме того, что произошло". Все это было наруку театральным рутинерам и

мелким газетчикам, которые подняли кампанию не столько по поводу постановки "Чайки", сколько по адресу самого Чехова, его драматургии, изгонявшей со сцены театральные условности, ложь и мишуру.

Мемуары передают картину первого спектакля "Чайки" в Александринском театре и всего, что за этим последовало; в них рассказывается об обывательской злобе и желании принизить Чехова. В то же время мемуары раскрывают и настроение самого Чехова после неудачной постановки "Чайки", его дальнейшие связи с театром. После постановки "Чайки" в Александринском театре Чехов создал "Три сестры" и "Вишневый сад". Никогда он не уделял такого внимания театру, никогда не выступал таким страстным поборником новых театральных форм, как в ялтинский период своей жизни. Чехов близко сходится с организаторами Московского Художественного театра - К.С.Станиславским и Вл.И.Немировичем-Данченко. Он является не только автором пьес, идущих в этом театре, но и одним из создателей его художественной программы, вдохновителем его борьбы за утверждение новых форм драматического искусства.

Последний период жизни Чехова ознаменован его близостью с Горьким. Чехов одним из первых увидел в молодом Горьком "талант несомненный и при том настоящий, большой талант"\*. О /17/ впечатлении, которое производил на Чехова Горький, пишет в своих воспоминаниях О.Л.Книппер-Чехова: "В это же время был в Ялте и А.М.Горький, входивший в славу тогда быстро и сильно, как ракета. Он бывал у Антона Павловича и как чудесно, увлекательно, красочно рассказывал о своих скитаниях. И он сам, и то, что он рассказывал, - все казалось таким новым, свежим, и долго молча сидели мы в кабинете Антона Павловича и слушали, слушали..." "Горький очень талантлив и очень симпатичен как человек", - пишет Чехов в письме Тараховскому от 15 февраля 1900 года. В свою очередь и Горького влекло к Чехову. Едва освободившись из-под ареста в 1901 году, Горький надолго приезжает к Чехову в Ялту. Переписка этих двух великих людей, продолжавшаяся до последних дней жизни Чехова, имеет громадное историко-литературное значение. В 1902 году Чехов, вместе с Короленко, демонстративно отказался от звания академика в знак протеста против исключения, по распоряжению Николая II, из состава академиков Горького.

---

\* Письмо к М.Горькому от 3 декабря 1898 года.

Ялтинский период жизни Чехова нашел широкое освещение в воспоминаниях современников. В те годы Чехов, уже тяжело больной, принимает живейшее участие в жизни страны. Он оказывается как бы в центре большой группы литераторов и актеров, которые в период мощного подъема революционного движения в канун революции 1905 года выступали с новыми темами. О ялтинском периоде жизни Чехова писали Куприн и Вересаев, большое место отведено Чехову в книгах воспоминаний Станиславского и Немировича-Данченко. Глубокий и всесторонний образ Чехова дан в очерке Горького, который раскрывает перед нами его богатый духовный мир, обаяние его личности

и по праву занимает первое место среди живых свидетельств современников о великом писателе.

## II

В воспоминаниях современников отразилось различное понимание Чехова. Горький тотчас же после смерти Чехова указал на опасность клеветы со стороны бесчисленных "воспоминателей" "уличных газет", за "лицемерной грустью" которых, как писал он, чувствовалось "холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего". Горький имел в виду выступления низкопробных газетчиков, мелких журналистов, давно объявивших себя "истинными друзьями" великого писателя. Все эти охотники поговорить о "живом писателе" пытались подобно тому, как это было в буржуазной критике, умалить мировое значение Чехова, поставить его в ряд с заурядными журналистами и связать его имя /18/ с желтой прессой. Сейчас же после смерти Чехова в газетах начали появляться подобные статейки, оскорбляющие память великого писателя. Их и имел в виду Горький, когда в июле 1904 года писал: "Газеты полны заметками о Чехове - в большинстве случаев - тупоумно, холодно и пошло. Скверно умирать для писателя - всякая тля и плесень литературная тотчас же начинает чертить узоры на лице покойника"\* . Придавая большое значение тому, как будет освещен Чехов в воспоминаниях современников, Горький деятельно хлопотал о создании специального сборника памяти Чехова. "Мы думаем издать книгу памяти Антона Павловича", - писал Горький в июле 1904 года, вскоре после смерти Чехова\*\*.

---

\* Письмо к Е.П.Пешковой от 7 июля 1904 года (Собр. соч., т. 28, М. 1954, стр. 309).

\*\* Письмо к Е.П.Пешковой от 11 или 12 июля 1904 года (Там же, стр. 311).

Громадную роль в борьбе с буржуазной критикой сыграла статья Горького "По поводу нового рассказа А.П.Чехова "В овраге". Эта статья впервые в русской и мировой критике определила величайшее идейное и художественное значение творчества Чехова. Известно, что буржуазно-эстетская критика настойчиво пыталась создать теорию о литературной и общественной неполноценности Чехова. Как справедливо писал Горький, эта критика даже похвалу превращала в "гнездо ос". Особенно много внимания уделялось Чехову в либерально-народнической публицистике. В выступлениях Михайловского упорно доказывалась мысль о безыдейности Чехова, об отсутствии в его творчестве живых общественных интересов. Об одной из лучших повестей Чехова "Мужики" Михайловский писал как о произведении "скудном" и "поверхностном", из которого "никаких общих выводов... делать не следует, да и просто нельзя"\*.

Подчеркивалось в этой критике, что Чехов не поднимается до широких обобщений, находится в плену "частного случая".

---

\* Н.Михайловский. На разные темы ("Русское богатство", 1897, N 6).

Буржуазное литературоведение создало легенду о Чехове как "певце сумерек", скучных людей, жалких обывателей. Такого рода взгляд на творчество Чехова отвергал Маяковский, когда в 1914 году писал: "Из-за привычной обывателю фигуры ничем не довольного нытика, ходатая перед обществом за "смешных" людей, Чехова-"певца сумерек", выступают линии другого Чехова - сильного, веселого художника слова"\*.

---

\* В.Маяковский. Два Чехова (Собр. соч., т. I, М., 1955, стр. 301). /19/

В немалой доле статей, претендующих на объективное освещение живого Чехова, отразились взгляды, распространяемые буржуазной критикой. В 1909 году, через пять лет после смерти Чехова, были опубликованы "воспоминания" сотрудника реакционной прессы Н.Ежова, фальсифицирующие факты жизни Чехова, полные личных выпадов против великого писателя. Ежов пытался поколебать громадный авторитет чеховского таланта и принизить его роль в русской литературе. Стремясь попасть в тон установившемуся в буржуазной критике взгляду, такого рода "воспоминатели" клеветнически утверждали, например, что Чехов стремился уйти от общественной жизни, требовал, чтобы литература была свободна от актуальных задач. Немало было написано о душевной неустойчивости Чехова, об отсутствии у него убеждений, подчеркивалось сходство самого Чехова с безвольными, слабыми людьми из его рассказов и повестей.

Статья Горького разоблачала ложь и несостоятельность буржуазно-эстетской критики и выдвигала Чехова на то высокое место, которое он по праву занимал в русской литературе. Горький писал: "...когда умрет Чехов - умрет один из лучших друзей России, друг умный, беспристрастный, правдивый, - друг, любящий ее, сострадающий ей во всем, и Россия вся дрогнет от горя и долго не забудет его, долго будет учиться понимать жизнь по его писаниям, освещенным грустной улыбкой любящего сердца, по его рассказам, пропитанным глубоким знанием жизни, мудрым беспристрастием и состраданием к людям, не жалостью, а состраданием умного и чуткого человека, который все понимает"\*.

Горький указал на "страшную силу" чеховского таланта, заключающуюся в том, что он пишет правду, "никогда ничего не выдумывает от себя". Значение Чехова Горький видел в его беспощадном осуждении нелепостей и хаоса жизни, в разоблачении лжи буржуазно-дворянского общества. Горький резко отделил Чехова от героев его повестей и рассказов, людей, не нашедших места в жизни. "Чехов очень много написал маленьких комедий, - писал он, - о людях, проглядевших жизнь, и этим нажил себе множество неприятелей".

---

\* М.Горький. Собр. соч., т. 23, М., 1950, стр. 314-315.

В своих воспоминаниях Горький развивает мысли, высказанные им в статье 1900 года. В очерке Горького встает живой Чехов, с его темпераментом общественно активного человека, убежденного врага насилия, лжи и пошлости буржуазного мира. "Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость, - писал Горький, - искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, /20/ красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого судью".

Передавая впечатления о своих встречах с Чеховым, Горький рисует живой облик писателя. Горький показывает, что Чехов, подобно тому, как он делал это в своих рассказах, - и в жизни изобличал пошлость и ложь, умея находить их под покровом многоречивого либерализма и внешней благопристойности. В мемуарном очерке Горький развил мысль об отношении Чехова к своим героям, "проглядевшим жизнь". Перечислив имена таких людей, взятых из чеховских рассказов и пьес, Горький писал: "Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал: "Скверно вы живете, господа!" Статья и мемуары Горького сыграли огромную роль в борьбе с либерально-народнической и эстетской критикой, пытавшейся доказать общественную пассивность Чехова, безыдейность его творчества, отсутствие в нем "направления".

Распространяемым этой критикой взглядом на Чехова как на безыдейного писателя и общественно пассивного человека противостоят воспоминания Короленко, Станиславского, Куприна, Вересаева, Телешова, Немировича-Данченко и других авторов. Все эти воспоминания дают большой материал об общественной активности Чехова и глубокой заинтересованности его в судьбах народа.

Новый подъем революционного движения в годы, предшествующие революции 1905 года, отразился и на творчестве Чехова. Об этом периоде В.И.Ленин писал: "Пролетарская борьба захватывала новые слои рабочих и распространялась по всей России, влияя в то же время косвенно и на оживление демократического духа в студенчестве и в других слоях населения"\*.

---

\* В.И.Ленин. Сочинения, т. 5, стр. 484.

Воспоминания современников свидетельствуют о глубоком интересе, который проявлял Чехов к надвигающимся революционным событиям, и дают основания полагать, что в последний период своей жизни он пришел к мысли о неизбежности революции.

Характерные высказывания Чехова, в разговоре его с В.Ф.Коммиссаржевской, приводит в своих воспоминаниях Е.П.Карпов. Разговор этот происходил в июне 1902 года и касался вопросов, которые остро

интересовали писателя в то время. Чехов указал на необычайный подъем общественного движения и на новые задачи, которые вставали тогда перед прогрессивной литературой. /21/ "Пережили мы серую канитель, - говорил Чехов, - поворот идет. Круто повернули... Вот мне хотелось бы поймать это бодрое настроение... Написать пьесу... Бодрую пьесу... Может быть, и напишу... Очень интересно... Сколько силы, энергии, веры в народе... Прямо удивительно!"

Показательно его недовольство жизнью в Ялте, которая ограничивала его писательский кругозор и предоставляла в поле его внимания отголоски событий, а не сами события. Подобное настроение Чехова выражено в его письме от 10 ноября 1903 года: "...скучно здесь в Ялте и чувствую, как мимо меня уходит жизнь и как я не вижу много такого, что, как литератор, должен бы видеть. Вижу только и, к счастью, понимаю, что жизнь и люди становятся все лучше и лучше, умнее и честнее - это в главном..."\*

---

\* Письмо к В.Л.Кигну-Дедлову.

Врач и писатель Елпатьевский, который, так же как и Чехов, в те годы жил в Ялте, рассказывает: "Помню, когда я вернулся из Петербурга в период оживления Петербурга перед революцией 1905 г., он в тот же день звонил нетерпеливо по телефону, чтобы я как можно скорее, немедленно, сейчас же приехал к нему, что у него важнейшее, безотлагательное дело ко мне. Оказалось... что ему безотлагательно, сейчас же нужно было знать, что делается в Москве и Петербурге, и не в литературных кругах... а в политическом мире, в надвигавшемся революционном движении. И когда мне, не чрезмерно обольщавшемуся всем, что происходило тогда, приходилось вносить некоторый скептицизм, он волновался и нападал на меня с резкими, несомневающимися, нечеховскими репликами. - Как вы можете говорить так! - кипятился он. - Разве вы не видите, что все сдвинулось сверху донизу! И общество и рабочие!"

"Его политическое развитие, - пишет другой современник Чехова, доктор Членов, - шло наряду с жизнью, и вместе с нею Чехов все более и более левел и в последние годы уже с необычайной для него страстностью, не перенося никаких возражений (в этих случаях он почему-то говорил: "Вы совершенный Аверкиев"), доказывал, что мы - "накануне революции". "Нередко Чехов говорил о революции, которая неизбежно и скоро будет в России", - свидетельствует Телешов. Хорошо осведомленный о настроениях Чехова в те годы, Станиславский пишет: "По мере того как сгущалась атмосфера и дело приближалось к революции, он становился все более решительным".

Чехов, конечно, не представлял себе конкретных путей и движущих сил революции, но его письма тех лет и воспоминания современников свидетельствуют о горячем желании понять характер /22/ нового общественного подъема и глубоком интересе, проявляемом им к тем новым силам, которые вступали на историческую арену. По свидетельству Горького, Чехов в последний период своего творчества хотел писать "о чем-то другом, для кого-то другого, строгого и честного" (из письма Горького к В.А.Поссе, 1901 год)\*. По словам одного из мемуаристов (проф. Анучина), Чехов видел значение Горького в том,

что "он создал настроение, он вызвал интерес к новым типам". Что понимал Чехов под "новым типом", можно судить по его письму к Станиславскому от 20 января 1902 года, где он говорит о Ниле из горьковской пьесы "Мещане" как о "новом человеке". Он настойчиво рекомендует Московскому Художественному театру ставить "Мещан" и неоднократно указывает на роль Нила в этой пьесе как на "главную", "центральную", "героическую".

---

\* Письмо от ноября (после 14-го) 1901 года (Собр. соч., т. 28, стр. 199).

Воспоминания современников опровергают ложь буржуазной критики об общественной пассивности Чехова, о его безразличии к вопросам современности, и помогают лучше понять творчество одного из тех писателей, которые, по выражению Горького, "делают эпохи в истории литературы и в настроениях общества".

### III

Чехов не оставил хоть сколько-нибудь подробной автобиографии. В его громадном литературном наследстве нет таких произведений, как, например, трилогии Л. Толстого и Горького или "История моего современника" Короленко. Воспоминания современников о Чехове приобретают поэтому особое значение, представляя важнейший материал о жизни и деятельности великого писателя и нередко являясь необходимым пособием для изучения его биографии.

Рассказы о жизни Чехова в Москве и Петербурге, Воскресенске и Бабкине и, наконец, в Мелихове и Ялте дают яркое представление о разносторонних связях Чехова с жизнью, о его глубочайшем интересе к человеку из народа. Вероятнее всего, Чехов потому не порывал совсем и с медициной, а, по свидетельству врачей - его современников и товарищей, - стремился к ней, что деятельность врача помогала ему общаться с самыми широкими народными слоями.

Как пишут многие из современников, автор "Ваньки", "Тоски", "Горя", "Мужиков" и других рассказов и повестей о крестьянах и бедном городском люде был неутомимым исследователем народной жизни. "Писателю, - говорил Чехов Щеглову в 1888 году, - надо непременно в себе выработать зоркого, неутомонного /23/ наблюдателя... Настолько, понимаете, выработать, чтоб это вошло прямо в привычку... сделалось как бы второй натурой!" Куприну он советует ездить почаще в третьем классе. Телешову, который тогда только входил в литературу, Чехов указал на общение с народом как на единственно возможный путь писателя. "Поезжайте, - говорил он Телешову, - куда-нибудь далеко, верст за тысячу, за две, за три... Сколько всего узнаете, сколько рассказов привезете! Увидите народную жизнь, будете ночевать на глухих почтовых станциях и в избах, совсем как в пушкинские времена... Только по железным дорогам надо ездить непременно в третьем классе, среди простого народа, а то ничего



интересного не услышите. Если хотите быть писателем, завтра же купите билет до Нижнего. Оттуда - по Волге, по Каме..."

В советах молодым литераторам, в интересе, который проявлял Чехов к отдельным писателям и их творчеству, наконец в его отношении к театру и к художникам видна забота великого писателя о том, чтобы искусство в большей мере затрагивало народную жизнь. Характерен в этом смысле небольшой эпизод, который передает в своих воспоминаниях известный советский писатель И.А.Новиков, тогда студент и начинающий литератор. Новиков рассказывает, что на одной из выставок картин в Москве, когда речь зашла о портрете какого-то генерала, Чехов, похвалив мастерство художника, заметил: "Но кому это нужно, зачем?" И надолго остановился перед другой картиной. "Вот, - сказал он, - вот что я вам хотел показать. Это хорошо". "Я не помню, чья это была картина, - пишет И.А.Новиков, - но передо мной встают и теперь - фабричные задворки, вечер, лиловатая мгла и молодой рабочий с ребенком на руках; он держит его очень неловко и очень бережно, со скуповатой, может быть чуть-чуть стыдливой, нежностью, которую не хотел бы показать. Чем-то родственно этому сочетанию чувств было и само восприятие Чехова". Как пишет Куприн, Чехов "требовал от писателей обыкновенных житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных колленцев". Он учил писателей смелее вводить в литературу новые темы и новых людей, характеризующих действительные явления народной жизни. Под этим углом зрения и следует понимать многочисленные пожелания Чехова молодым писателям обращаться к тем темам, которые лежат за пределами их писательских кабинетов.

Творчество Чехова сыграло громадную роль в борьбе за утверждение реалистических принципов искусства. В мемуарах приводятся многочисленные высказывания его по литературно-эстетическим вопросам, сущность которых сводится к безоговорочному осуждению "мистики и всякой чертовщины" в современной Чехову буржуазной литературе. Высказывая свои литературные симпатии, выдвигая требования к молодым писателям и намечая задачи, которые должно /24/ решить искусство, Чехов выступает горячим поборником жизненной правды искусства. Именно этим определяются его литературные симпатии, тяготение к определенному кругу писателей, художников, актеров. Большая жизненная правда взволновала Чехова в творчестве Мамина-Сибиряка, о симпатиях к которому рассказывает один из мемуаристов. Его внимание и постоянная забота о МХТе также основываются на убеждениях, что только театр, сделавший жизненную правду своим принципом, имеет право на существование в будущем.

Большое место в жизни Чехова занимал театр. Известно, что Чехов не только писал пьесы, но и принимал личное участие в работе театра над их постановкой. Его связи с театром, начавшиеся еще с постановок ранних пьес Чехова и с дружеских отношений со многими крупнейшими актерами того времени, упрочились в последний период его жизни, когда его пьесы ставились в Московском Художественном театре и когда он близко сошелся со Станиславским, Немировичем-Данченко и со всеми ведущими актерами этого театра. По свидетельству современников Чехова - актеров и театральных

деятелей, - он принимал живейшее участие в организации МХТа. Часто бывал на репетициях тех пьес, которыми началась история этого театра, делал указания для исполнения отдельных ролей, сцен, вникал в многочисленные подробности театральной жизни. "Он любил, понимал и чувствовал театр, - конечно, с лучшей его стороны... - писал Станиславский. - Он любил тревожное настроение репетиций и спектакля, любил работу мастеров на сцене, любил прислушиваться к мелочам сценической жизни и техники театра". Из воспоминаний Станиславского и других актеров мы немало узнаем о трактовке Чеховым отдельных образов его пьес, о его понимании задач искусства.

Величайший стилист, Чехов выступал среди своих литературных и театральных друзей неустанным пропагандистом чистоты литературного языка и предельной экономии речи. "Искусство писать, - говорил он Лазареву-Грузинскому, - состоит, собственно, не в искусстве писать, а в искусстве... вычеркивать плохо написанное". О постоянном внимании Чехова к языку свидетельствуют его поправки и замечания, которые он делал на рукописях молодых писателей, развивая у них нетерпимое отношение к литературным штампам, к заезженным оборотам и требуя от них поисков сильных, метких и выразительных слов.

Ближайшие к нему литераторы свидетельствуют, сколь велика и постоянна была забота Чехова о слове. От молодых писателей Чехов требовал неугомонного наблюдения жизни и одновременно - постоянного и зоркого изучения языка. "...он сам неустанно работал над собой, - пишет Куприн, - обогащая свой прелестный, разнообразный язык отовсюду: из разговоров, из словарей, из каталогов, /25/ из ученых сочинений, из священных книг. Запас слов у этого молчаливого человека был необычайно громаден".

Значительный интерес представляют сообщения современников о неосуществленных чеховских сюжетах. Трудно судить, конечно, какую форму они бы могли принять впоследствии и почему Чехов забыл о них. Возможно, что они являлись простой импровизацией, которой он не придавал художественного значения; возможно также, что он просто не успел завершить их своевременно, а потом они оказались устаревшими. В письме от 27 октября 1888 года Чехов, в числе других сюжетов, которые "томятся" в голове, упоминает о замысле романа\*. И здесь же замечает, что задуман он давно, так что некоторые из действующих лиц уже устарели, не успев быть написаны. К числу "устаревших" замыслов, очевидно, относится и водевиль "Сила гипнотизма", содержание которого излагает Щеглов. Работу над этим водевилем Чехов откладывал, а потом просто отказался от него. Сюжет рассказа, который передает художник Симов, как он сам об этом указывает, предназначался для "тесного, интимного кружка", поэтому не был завершен. Как бы то ни было, неосуществленные сюжеты показывают широту замыслов писателя и служат дополнительным материалом для изучения творческой лаборатории Чехова.

---

\* Письмо к А.С.Суворину.

Воспоминания современников дополняют биографию писателя сведениями о работе Чехова врачом и о его интересе к медицинской науке. Как пишет известный невропатолог профессор Г.И.Россолимо, "...Чехов не избегал, поскольку ему позволяло время и обстоятельства, практической врачебной деятельности..." По свидетельству Россолимо, Чехов одно время мечтал даже о преподавании в университете и о научной работе. Врач Членов, говоря об интересе Чехова к медицине, сообщает о его попытке создать в Москве научный институт для усовершенствования врачей. Современники, знавшие Чехова на протяжении ряда лет, приводят многочисленные примеры самоотверженного и бескорыстного выполнения им долга врача.

Публикуемые в настоящем сборнике воспоминания современников, разумеется, далеко не равноценны ни в литературном отношении, ни по тому материалу, который они дают для понимания Чехова. Часть из них является всего лишь краткими сообщениями о встречах авторов воспоминаний с Чеховым, иногда об отдельных эпизодах его жизни. Другие - воспоминания, более пространные и обстоятельные - нередко изобилуют бытовыми подробностями, / 26/ житейскими фактами, имеющими порой лишь косвенное отношение к писателю. В воспоминаниях встречаются следы субъективной, не во всем правильной, оценки отдельных сторон творчества Чехова, фактов его жизни и литературных явлений того времени. В очерке одного из лучших мемуаристов, каким является Короленко, совершенно ошибочно, например, указывается на "беспросветную тоску", которой якобы, вслед за Щедриным, кончил Чехов. Несомненно, что это ошибочно и по отношению к Щедрину, и по отношению к Чехову. Подобное утверждение, сделанное, правда, вскользь, находится в явном противоречии с основным содержанием очерка Короленко. Так, определяя характер последних произведений Чехова, Короленко писал, что в них "звучит и стремление к лучшему, и вера в него, и надежда", что верно определяло характер произведений, созданных Чеховым незадолго до революционных событий 1905 года. Приводимые иногда в мемуарах отдельные высказывания и выражения Чехова носят характер случайно оброненных реплик, по которым, разумеется, было бы ошибочным делать какие-либо выводы о подлинных взглядах Чехова.

У некоторых мемуаристов не было духовной близости с Чеховым и глубокого понимания эпохи, которые необходимы для полного и всестороннего освещения образа писателя. Значение таких мемуаров - в сообщаемых ими фактах, в материале, который они дают для знакомства с биографией писателя. Подлинный же образ Чехова, глубокое понимание его разностороннего духовного мира дают те современники, которые были близки Чехову по творческим устремлениям и понимали его роль в истории русской литературы. Полнее и глубже всех это сделал Горький, раскрывший величайшее значение творчества Чехова и передавший все обаяние его замечательной личности.

После Великой Октябрьской социалистической революции, когда творчество Чехова стало доступно самым широким народным массам, возрос интерес и к личности писателя. В наше время с наибольшей полнотой собраны и

опубликованы его письма, изданы многочисленные сборники, посвященные Чехову. Большое значение в этой связи имеют и воспоминания современников, которые рассказывают о живом Чехове и дают возможность почувствовать гармонию личности и творчества одного из величайших русских писателей.

А.Котов

## **А.П.ЧЕХОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ**

### ***А.П.ЧЕХОВ. [ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ А. П. ЧЕХОВА]***

\* \* \*

#### **I**

Антоша - ученик 1-го класса таганрогской гимназии - недавно пообедал и только что уселся за приготовление уроков к завтрашнему дню. Перед ним латинская грамматика Кюнера. Урок по-латыни трудный: нужно сделать перевод и выучить слова. Потом - длинная история по закону божью. Придется посидеть за работою часа три. Зимний короткий день уже подходит к концу; на дворе почти темно, и перед Антошей мигает сальная свечка, с которой приходится то и дело снимать щипцами нагар.

Антоша обмакнул перо в чернильницу и приготовился писать перевод. Отворяется дверь, и в комнату входит отец Антоши, Павел Егорович, в шубе и в глубоких кожаных калошах. Руки его - серо-синие от холода.

- Тово... - говорит Павел Егорович, - я сейчас уйду по делу, а ты, Антоша, ступай в лавку и смотри там хорошенько.

У мальчика навертываются на глаза слезы, и он начинает усиленно мигать веками.

- В лавке холодно, - возражает он, - а я и так озяб, пока шел из гимназии. / 30/

- Ничего... Оденься хорошенько - и не будет холодно.

- На завтра уроков много...

- Уроки выучишь в лавке... Ступай да смотри там хорошенько... Скорее!.. Не копайся!..

Антоша с ожесточением бросает перо, захлопывает Кюнера, напяливает на себя с горькими слезами ватное гимназическое пальто и кожаные рваные калоши и идет вслед за отцом в лавку. Лавка помещается тут же, в этом же доме. В ней - невесело, а главное - ужасно холодно. У мальчиков-лавочников Андрюшки и Гаврюшки - синие руки и красные носы. Они поминутно постукивают ногою об ногу, и ежятся, и сутуловато жмутся от мороза.

- Садись за конторку! - приказывает Антоше отец и, перекрестившись несколько раз на икону, уходит.

Мальчик, не переставая плакать, заходит за прилавок, взбирается с ногами на ящик из-под казанского мыла, обращенный в сиденье перед конторкой, и с досадою тычет без всякой надобности пером в чернильницу. Кончик пера натывается на лед: чернила замерзли. В лавке так же холодно, как и на улице, и на этом холоде Антоше придется просидеть по крайней мере часа три: он знает, что Павел Егорович ушел надолго... Он запихивает руки в рукава и съезживается так же, как и Андрюшка и Гаврюшка. О латинском переводе нечего и думать. Завтра - единица, а потом - строгий нагоняй от отца за дурную отметку...

Едва ли многим из читателей и почитателей покойного Ант.П.Чехова известно, что судьба в ранние годы его жизни заставила его играть за прилавком роль мальчика-лавочника в бакалейной лавке среднего разряда. И едва ли кто поверит, что этот строгий и безусловно честный писатель-идеалист был знаком в детстве со всеми приемами обмеривания, обвешивания и всяческого торгового мелкого плутовства. Покойный Антон Павлович прошел из-под палки эту беспощадную подневольную школу целиком и вспоминал о ней с горечью всю свою жизнь. Ребенком он был несчастный человек.

В его произведениях внимательному читателю бросается в глаза одна, не особенно заметная с первого взгляда, черта: все выведенные им дети - существа / 31/ страждущие или же угнетенные и подневольные. Варьке, отданной в услужение к мастеровому, нет времени выспаться, и она душит ребенка в колыбели, чтобы сладко заснуть ("Спать хочется"). Егорушка, которого родственник и сельский священник везут в город учиться, не выдастся во всем длинном рассказе ("Степь") ни одной чертой, которая говорила бы о его жизнерадостности. Даже группа детей, так оживленно играющая в лото ("Детвора"), играет не в силу потребности детски-беззаветно повеселиться, а от гнетущей скуки, на которую обрекли эту детвору уехавшие в гости родители. Большинство чеховских детей нарисовано автором так, что читателю, познакомившемуся с ними, невольно делается как-то жаль их и грустно.

Этот тон и эти мастерски написанные, с оттенком грусти, портреты детворы выхвачены прямо из жизни и находят себе объяснение в далеком прошлом автора и в его собственном детстве. В зрелые годы своей жизни он не раз говаривал в интимном кружке родных и знакомых:

- В детстве у меня не было детства...

Антон Павлович только издали видел счастливых детей, но сам никогда не переживал счастливого, беззаботного и жизнерадостного детства, о котором было бы приятно вспомнить, пересматривая прошлое. Семейный уклад сложился для покойного писателя так неудачно, что он не имел возможности ни побегать, ни порезвиться, ни пошалить. На это не хватало времени, потому что все свое свободное время он должен был проводить в лавке. Кроме того, на всем этом лежал отцовский запрет; бегать нельзя было потому, что "сапоги побьешь"; шалить запрещалось оттого, что "балуются только уличные мальчишки"; играть с товарищами - пустая и вредная забава: "товарищи бог знает чему научат"...

- Нечего баклуши бить на дворе; ступай лучше в лавку да смотри там хорошенько; приучайся к торговле! - слышал постоянно Антон Павлович от отца.  
- В лавке по крайней мере отцу помогаешь...

И Антону Павловичу приходилось с грустью и со слезами отказываться от всего того, что свойственно и даже настоятельно необходимо детскому возрасту, и /32/ проводить время в лавке, которая была ему ненавистна. В ней он, с грехом пополам, учил и недоучивал уроки, в ней переживал зимние морозы и коченел и в ней же тоскливо, как узник в четырех стенах, должен был проводить золотые дни гимназических каникул. Товарищи в это время жили по-человечески, запасались под ярким южным солнцем здоровьем, а он сидел за прилавком от утра до ночи, точно прикованный цепью. Лавка эта, с ее мелочною торговлей и уродливой, односторонней жизнью, отняла у него многое.

Сидя у конторки за прилавком, получая с покупателей деньги и давая сдачу, Антоша видит постоянно одни и те же, давно знакомые и давно уже надоевшие, лица с одними и теми же речами. Это - мелкие хлебные маклера-завсегдатаи, свившие себе гнездо в лавке Павла Егоровича. Лавка служит для них клубом, в котором они за рюмкою водки праздно убивают время. А зимою дела у них нет никакого: привоза зернового хлеба из деревень нет, им покупать и перепродавать нечего. Купля и перепродажа идут у них только летом и осенью. Перехватив едущего в город с хлебом мужика еще на дороге, они покупают у него товар, перепродают с надбавкою крупному экспортеру вроде Вальяно или Скараманги - и этим ремеслом и живут. У каждого из них есть квартира и семья, но они предпочитают проводить время в лавке Павла Егоровича и от времени до времени выпивать в круговую по стаканчику водки, благо хозяин верит им в долг и почти всегда составляет им компанию. Говорят они обо всем, но большею частью пробавляются выдохшимися и не всегда приличными анекдотами и при этом всегда прибавляют:

- А ты, Антоша, не слушай. Тебе рано еще...

Павел Егорович - отец Антоши - торговал бакалейным товаром. На его большой черной вывеске были выведены сусальным золотом слова: "Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары". Вывеска эта висела на фронтоне, над входом в лавку. Немного ниже помещалась другая: "На выносъ и распивочно". Эта последняя обозначала собою существование погреба с сантуринскими винами и с неизбежною водкой. Внутренняя лестница вела прямо из погреба в лавку, и по ней всегда бегали Андрюшка и Гаврюшка, когда кто-нибудь из покупателей требовал полквартиры сантуринского /33/ или же кто-нибудь из праздных завсегдатаев приказывал:

- Принеси-ка, Андрюшка, три стаканчика водки, а вы, Павел Егорыч, запишите за мной...

Оба торговые заведения - и бакалейная лавка, и винный погреб - были тесно связаны между собою и составляли одно целое, и в обоих Антоша торговал, отвешивая и отмеривая и даже обвешивая и обмеривая, насколько ему позволяли его детские силы и смекалка. Потом уже, когда он подрос и вошел в разум, мелкое плутовство стало ему противным и он начал с ним энергичную борьбу, но,

будучи мальчиком-подростком, и он подчинялся бессознательно общему ходу торговли, и на нем лежала печать мелкого торгаша со всеми его недостатками.

Тем лицам, которые знакомы лишь с столичными колониальными магазинами, вроде Милютиных рядов на Невском, едва ли удастся составить себе представление о том, что такое бакалейная лавка в провинции, да еще в то отдаленное время, когда Антоша был подростком. Даже столичную овощную лавочку, в которой торговля ведется по мелочам, нельзя сравнить с бакалейной лавкой Павла Егоровича. Это было весьма своеобразное торговое заведение, вызванное к жизни только местными условиями. Здесь можно было приобрести четвертку и даже два золотника чаю, банку помады, дрянной перочинный ножик, пузырек касторового масла, пряжку для жилетки, фитиль для лампы и какую-нибудь лекарственную траву или целебный корень вроде ревеня. Тут же можно было выпить рюмку водки и напиться сантуринским вином до полного опьянения. Рядом с дорогим прованским маслом и дорогими же духами "Эсс-Букет" продавались маслины, винные ягоды, мраморная бумага для оклейки книг, керосин, макароны, слабительный александрийский лист, рис, арабийский кофе и сальные свечи. Рядом с настоящим чаем продавался и спитой чай, собранный евреями в трактирах и гостиницах, высушенный и подкрашенный. Конфеты, пряники и мармелад помещались по соседству с ваксою, сардинами, сандалом, селедками и жестянками для керосина или конопляного масла. Мука, мыло, гречневая крупа, табак-махорка, нашатырь, проволочные мышеловки, камфара, лавровый лист, сигары "Лео Виссера в Риге", /34/ веники, серные спички, изюм и даже стрихнин (кучелаба) уживались в самом мирном соседстве. Казанское мыло, душистый кардамон, гвоздика и крымская крупная соль лежали в одном углу с лимонами, копченой рыбой и ременными поясами. Словом, это была смесь самых разнообразных товаров, не поддающихся никакой классификации. Лавка Павла Егоровича была в одно и то же время и бакалейной лавкой, и аптекой без разрешения начальства, и местом распивочной торговли, и складом всяческих товаров - до афонских и иерусалимских будто бы святынь включительно, - и клубом для праздных завсегдатаев. И весь этот содом, весь этот хаос ютился на очень небольшом пространстве обыкновенного лавочного помещения с полками по стенам, с страшно грязным полом, с обитым рваною клеенкою прилавком и с небольшими окнами, защищенными с улицы решетками, как в тюрьме.

В лавке, несмотря на постоянно открытые двери на улицу, стоял смешанный запах с преобладающим букетом деревянного масла, казанского мыла, керосина и селедок, а иногда и сивухи. И в этой атмосфере хранился чай - продукт, как известно, очень чуткий и восприимчивый к посторонним запахам. Были ли покупатели Павла Егоровича людьми нетребовательными и не особенно разборчивыми, или же чай, лежа целыми месяцами рядом с табаком и мылом, удачно сохранял свой аромат - сказать трудно. Но покупатели не жаловались. Бывали, правда, случаи, что сахар отдавал керосином, кофе - селедкою, а рис - сальною свечкою, но это объяснялось нечистотою рук Андрюшки и Гаврюшки, которые тут же и получали возмездие в форме подзатыльников или оплеух - и нарочно в присутствии публики, чтобы покупатель видел, что с виновных взыскивается неукоснительно и строго.

То были блаженные, патриархальные времена, когда не существовало ни санитарных правил, ни разных обязательных постановлений и когда представитель пожарной команды, на которого был возложен надзор за хранением в лавках керосина и огнеопасных веществ, делал периодические набег и, выпив несколько рюмок водки и получив два-три двугривенных, мирно уходил и только на пороге вспоминал:

- А как у вас... тово?... /35/
- Слава богу, все хорошо с...
- Безопасно?
- Вполне безопасно-с...
- Ну, то-то же... А то ведь сгорите...

Существовала одна лишь торговая депутация, но и та преследовала одни только фискальные цели: все ли торговые документы налицо, а до остального ей не было дела. Торгуй хоть хлебом с тараканами - это ее не касалось.

Антоша, сидя в лавке, должен был знать, где, на какой полке и в каком ящике хранится такой-то товар. Павел Егорович требовал, чтобы все отпускалось покупателю без замедления и моментально. Если покупатель требовал сальную свечу за три копейки, перцу на копейку и за две копейки селедку, то Андрюшка стремглав летел вниз по лестнице в погреб за свечкой, Гаврюшка лез под самый потолок за перцем, а Антоша вылавливал крючком на палке из бочонка ржавую астраханку.

Назначение многих товаров было для Антоши-гимназиста долгое время загадкою.

- Папаша, для чего продается семибратняя кровь? - спрашивал он у отца.
- От лихорадки.
- А гнездо?
- Когда вырастешь, тогда и узнаешь...

Семибратняя кровь - это известковый скелет привозимого из-за границы коралла. Это - трубчатый камень темно-малинового цвета, совершенно нерастворимый в воде. От такого лекарства всякий доктор пришел бы в ужас. Но обыватели толкли его в порошок, пили с водкою во время лихорадки и... слава богу, оставались живы. А пресловутое "гнездо" так и осталось для Антона Павловича неразгаданным даже и тогда, когда он уже сам был врачом. В состав этого удивительного лекарства входило многое множество каких-то трав, порошков и минералов. Антон Павлович уже в зрелые годы пробовал записать по памяти состав этого "гнезда" и вспомнил, между прочим, что туда входили: нефть, металлическая ртуть (живое серебро), азотная кислота (острая водка), семибратняя кровь, стрихнин (кучелаба), сулема, какой-то декокт в виде длинных серых палочек и целая уйма всякой дряни. Все это /36/ настаивалось на водке и давалось внутрь столовыми ложками.

Употребление этого лекарства Антоша узнал случайно раньше того времени, которое Павел Егорович определил словами: "Когда вырастешь, тогда и узнаешь". Вошел однажды в лавку хохол и потребовал у Павла Егоровича "четверть гнезда". Антоша был тут же.

- Для какой вам надобности? - осведомился Павел Егорович.



- Жинка родила, и теперь у нее в животе уже третий месяц золотник ходит, - ответил хохол.

Антоша тотчас же вообразил, что хохлушка, о которой шла речь, вероятно нечаянно проглотила тот самый медный золотник, который кладется на весы, когда отвешивается на две копейки чаю. Но для Павла Егоровича этого диагноза было совершенно достаточно, и он немедленно принялся за приготовление лекарства.

- А будет "гнездо" действовать? - усомнился хохол.

- Непременно подействует, - уверенно ответил Павел Егорович. - Сам видишь, тут разные специи: одно потянет сюда, другое - туда; золотник и перестанет ходить по животу...

Хохол удовлетворился вполне этим ответом, уплатил деньги и ушел совершенно довольный. Но Антон Павлович потом, уже изучая в университете химию, никак не мог додуматься до того, какую пользу могла принести роженице металлическая ртуть, принятая внутрь в смеси с нефтью и азотной кислотой.

- Много, вероятно, отправило на тот свет людей это "гнездо", - говаривал он, уже будучи врачом.

А между тем в дни детства он отвешивал разные снадобья для этого лекарства с такою спокойною совестью, с какою отвешивал кофе или отмеривал конопляное масло...

Долго помнил Антон Павлович и какой-то "сорокатравник", продававшийся в пакетах, завернутых в выцветшую золотую и серебряную бумагу. Что это были за травы - так и осталось неизвестным; известно было только одно, что водочный настой их рекомендовался буквально от всех болезней, особенно же при горячке. Помнил Антон Павлович также и "всеисцеляющий пластырь доктора Алякринского", продававшийся в /37/ круглых картонных коробочках. С этим пластырем, между прочим, на глазах у Антоши был произведен эксперимент. По Таганрогу ходил и нищенствовал дурачок Климка. Зашел он за милостыней и в лавку к Павлу Егоровичу как раз в то время, когда компания праздных маклеров-завсегдатаев была уже порядочно на взводе. От нечего делать эта милая компания предложила Климке стакан водки и пятак под условием, что он закусит выпивку пластырем Алякринского. Дурачок согласился и съел целую коробочку. После этого его еще много лет видели на похоронных и свадебных процессиях здоровым и невредимым...

Несмотря, однако же, на такой удачный исход, пластырь этот находил себе мало покупателей. Одну коробку его взял полицейский чиновник для своей опаршивевшей охотничьей собаки, но денег не заплатил, а Павел Егорович напомнить ему о долге не решался и только однажды, при встрече на базаре; заискивающим тоном спросил:

- Что, как собачка ваша? Поправилась от пластыря?

- Издохла, - ответил угрюмо полицейский. - У нее в животе завелись черви...

## II

- Антоша, бери ключи и ступай с Андрюшкой и Гаврюшкой отпирать лавку! А я к поздней обедне пойду, - отдаст приказ Павел Егорович.

Мальчик с кислою миной поднимается из-за стола, за которым только что пил чай, и без возражений идет исполнять приказание, хотя ему и очень грустно. Он еще вчера условился с товарищем-соседом прийти к нему играть в мяч.

- Павел Егорович, пожалей ты ребенка! - вступается Евгения Яковлевна, мать Антоши. - Ведь ты его чуть свет разбудил к ранней обедне... Он обедню выстоял, потом домашний акафист выстоял... Ты ему не дал даже и чаю напиться как следует... Он устал...

- Пускай приучается, - отвечает Павел Егорович. - Я тружусь, пускай и он трудится... Дети должны помогать отцу. /38/

- Он и так всю неделю в лавке сидит. Дай ему хоть в воскресенье отдохнуть.

- Вместо отдыха он баловаться с уличными мальчишками начнет... А если в лавке никого из детей не будет, так Андрюшка с Гаврюшкой начнут пряники и конфеты лопать, а то и деньги воровать станут... Сама знаешь, без хозяина товар плачет...

Против этого аргумента даже и Евгения Яковлевна ничего возражать не может, и ее доброе материнское чувство невольно отступает на второй план. Она так же, как и Павел Егорович, убеждена в том, что Андрюшка и Гаврюшка - страшные воры и что за ними нужно смотреть и смотреть, хотя ни один из них до сих пор еще не был уличен.

Бакалейная торговля в своей внутренней жизни имеет довольно большое место: мелкие хищения - с одной стороны, и болезненная подозрительность - с другой. Хозяину кажется, что пряники, орехи, конфеты и всякий съедобный товар очень соблазнительны для мальчиков-лавочников, а дорогие деликатесы вроде икры и балыка - для приказчиков. Поэтому у него всегда болит сердце. Он не может отлучиться из лавки ни на минуту без того, чтобы его не преследовала мысль о расхищении его добра. Ему вечно грезится, что его служебный персонал без него набивает себе рты и карманы самым бессовестным образом. Павел Егорович на этот счет не составлял исключения, и всегдашней его поговоркою было:

- Без хозяина товар плачет... Свой глаз всегда нужен...

Ввиду этого все дети Павла Егоровича испытали на себе каторжную тяготу сидения в лавке в качестве "своего глаза". Но более всего доставалось двум старшим сыновьям - Саше и Антоше. Эти с самых детских, юных лет сделались постоянными и неотлучными сидельцами за прилавком. Боязнь хищений была так велика, что если Павлу Егоровичу нужно было отлучиться, когда дети были в гимназии, то он обращался к жене:

- Иди хоть ты посиди, покамест я вернусь...

Пока Андрюшка и Гаврюшка отпирала лавку, выметали пол и приводили в порядок мешки и ящики с товаром, придавая им приличный вид, Антоша безучастно смотрел на их работу и думал только о себе, об игре /39/ в мяч, с

которой теперь нужно было распроститься, и о своей каторжной жизни. Потом его мысли перешли на гимназию, и он с ужасом вспомнил, что благодаря лавке же получил вчера двойку и что за эту подлую отметку ему еще придется отвечать перед отцом. Павел Егорович никак не мог допустить, чтобы в лавке нельзя было приготовить какой-нибудь глупой латыни, и объяснял дурные отметки детей леностью и рассеянностью.

- Ведь нахожу же я время прочитать за конторкою две кафизмы из псалтири, а ты не можешь маленького урока выучить!.. - упрекал он виновного сына. - Если еще раз принесешь дурные отметки, я тебя выдеру, как Сидорову козу...

Павел Егорович, как религиозный человек, действительно имел обыкновение прочитывать каждый день по главе евангелия и апостола и по две кафизмы из псалтири, но это была работа механическая, без понимания и смысла, - лишь бы было вычитано до конца. Так, если верить рассказам, калмыки в степях заставляют ветер вертеть мельнички, нутро которых начинено бумажками с молитвами. Чем больше раз обернется мельничка, тем ближе калмык к богу... Уходя из дому надолго, Павел Егорович сплошь и рядом обращался к Саше или к Антоше с приказанием:

- Вычитай без меня две кафизмы с того места, где ленточкою заложено... Все-таки не праздно сидеть будешь...

И на этот раз, уходя к поздней обедне и уводя с собою прочих детей, отец обратился к Антоше с тою же фразой:

- Почитай псалтирь, пока мы будем в церкви...

С уходом хозяина Андрюшке и Гаврюшке стало вдруг веселее. Они уже не так усердно приводили лавку в порядок и даже пустились с Антошей в разговоры.

- А знаешь, Антоша, - заговорил таинственно Гаврюшка, - я воробьиное гнездо нашел.

- Где? - живо встрепнулся Антоша.

- В сарайчике. Пошел туда за углем и слышу - под крышей: цвиринь-цвиринь... Полез туда, а там - гнездо и пять маленьких-маленьких яичек...

- Покажи мне...

- После когда-нибудь покажу... Когда в другой раз папаши не будет дома. / 40/

Теперь Антоша забыл все: и двойку, и мяч, и псалтирь, которую с такою неохотой и досадой взял было в руки. Теперь он весь поглощен интересным открытием Гаврюшки.

Андрюшка и Гаврюшка - его друзья, настолько, конечно, насколько допустима дружба между хозяйским сыном и мальчиками-лавочниками, состоящими и обязанными состоять в подчинении и не зазнаваться.

Андрюшка и Гаврюшка - родные братья, привезенные матерью-крестьянкой из Харьковской губернии и отданные к Павлу Егоровичу в "ученье на года". Когда их привезли, первому было двенадцать, а второму - только десять лет. Если бы их мать-хохлушка, задавшаяся целью "вывести своих детей в люди", знала заранее, на какую жизнь она их обрекает, - то оба они, наверное, ходили бы

до конца дней в своей родной слободе за плугом. Она, эта мать, увидела бы, что самая тяжелая крестьянская жизнь во сто раз легче той, которую вели в городе эти два несчастные хохленка. Они были отданы, или, вернее, закабалены, на пять лет каждый, без всякого жалованья, за одни только харчи и платье. Жалованье начиналось только на шестой год, и то - по усмотрению хозяина.

Лавка открывалась и летом, и зимою в пять часов утра, а запиралась не ранее одиннадцати часов вечера, а если завсегдатаи засиживались в приятной беседе, - то и в первом часу ночи. Поэтому Андрюшка с Гаврюшкою никогда не высыпались и ходили вечно сонные и способные спать среди дня в каком угодно положении - и сидя, и стоя. Все свое свободное время они должны были стоять в дверях лавки, высматривать покупателей и зазывать их. Но они, прислонившись к дверным косякам, превосходно спали. При этом у них подкашивались в коленях ноги; они приседали и опять, во сне же, нервно вскакивали и выпрямлялись. Хождение на базар за провизией, черные работы по дому и беготня по поручениям лежали на их обязанности. Как они выдерживали все это - трудно сказать. Если же прибавить к этому, что при такой работе ходить в баню было некогда и оба они представляли собою подобие ходячих зверинцев, то можно смело сказать, что едва ли нашелся бы в мире человек, который позавидовал бы этим хохлятам... /41/

Антоша чувствовал к ним симпатию, потому что их на его глазах били. Он с самых ранних лет под благотельным влиянием матери не мог видеть равнодушно жестокого обращения с животными и почти плакал, если видел, что ломовой извозчик бьет лошадь. А когда били людей, то с ним делалась нервная дрожь. В обиходе же Павла Егоровича оплеушины, подзатыльники и порка были явлением самым обыкновенным, и он широко применял эти исправительные меры и к собственным детям, и к хохлятам-лавочникам. Перед ним все трепетали и боялись его пуще огня. Евгения Яковлевна постоянно восставала против этого, но получала всегда один и тот же ответ:

- И меня так же учили, а я, как видишь, вышел в люди. За битого двух небитых дают. Оттого, что дурака поучишь, - ничего худого, кроме пользы, не сделается. Сам же потом благодарить будет...

Павел Егорович говорил это искренне и верил в то, что говорил. По природе он был вовсе не злым и даже скорее добрым человеком, но его жизнь сложилась так, что его с самых пеленок драли и в конце концов заставили уверовать в то, что без лозы воспитать человека невозможно. Разубедился он в этом уже в глубокой старости, когда жил на покое у Антона Павловича - тогда уже известного писателя - в Мелихове, под Москвою. В Мелихово часто съезжались из Петербурга и из Москвы все дети Павла Егоровича - уже женатые и семейные люди. Самые интересные беседы в тесном семейном кругу, под председательством Антона Павловича, велись большей частью за столом и особенно за ужином, после дневных трудов и работ. Однажды стали в присутствии Павла Егоровича вспоминать прошлое и, между прочим, вспомнили и лозу. Лицо старика опечалилось.

- Пора бы уж об этом и позабыть, - проговорил он виноватым тоном. - Мало ли что было в прежнее время?! Прежде думали иначе...

Проводив отца и братьев к обедне и выслушав от Гаврюшки историю о найденном воробьином гнезде, Антоша попробовал было заняться псалтирью, но это ему показалось скучным. Он переложил ленточку за несколько листков вперед и отложил книжку в сторону. Все равно отец подумает, что эти листки прочитаны... /42/

Скучно. Покупателей еще нет. Андрюшка уселся в соседней с лавкою комнате на ящике из-под мыла, облокотился об стол и сладко спит. Гаврюшка тоже дремлет и приседает коленками в дверях. От нечего делать Антоша начинает наблюдать за мухоловкой и следить, как гибнут в ней мухи. В летнее время в лавке мух - миллиарды. От них весь товар завешивается сплошным куском зеленой марли от потолка и почти до пола. Но пряный запах лавки и сластей привлекает тучи этих насекомых. Чтобы хоть немного избавиться от них, придуман нехитрый, но, по правде сказать, отвратительный способ их ловли. Большая стеклянная банка из-под варенья наливается до половины подслащенной медом водою и плотно закрывается сверху коркою черного хлеба, в центре которой просверлена небольшая дырочка. Мухи пролезают в эту дырочку в банку и уже назад не возвращаются - почему-то тонут в воде. Часа через три воды уже нет: вместо нее - отвратительная каша из мертвых и раздувшихся мух...

Антоша смотрит, как мухи вползают в дырочку, и смотрит долго-долго...

Является первый покупатель - еврейский мальчик лет шести.

- Дайте на две копейки чаю и на три копейки сахару, - говорит он с акцентом и выкладывает на прилавок пятак.

Антоша достает из ящика уже развешенный в маленькие пакетики товар и подает. Но Гаврюшка не прочь позабавиться над маленьким покупателем и загораживает дорогу к дверям.

- Хочешь, я тебя свиным салом накормлю? - говорит он.

Еврейчик пугается, собирается заплакать и взывает к отсутствующей матери:

- Маме!..

- Лучше отрежем ему ухо! - добавляет проснувшийся Андрюшка...

Напуганный еврейчик стремглав выбегает из лавки, и можно быть уверенным, что он за следующей покупкой пойдет уже в другую лавку. Если бы Павел Егорович знал, что в его отсутствие так обращаются с покупателями, то порка была бы неизбежною. Впрочем, и на этот раз Немезида не дремлет. С маленьким /43/ еврейчиком в дверях сталкивается завсегдатай, маклер Николай Стаматич, о котором даже самые близкие к нему люди говорили, что он грек - не грек, русский - не русский, армянин - не армянин, а так, черт его знает, что он такое. Он слышал разговор с еврейским мальчиком и уже на пороге с торжествующим видом восклицает:

- Хорошо же вы без хозяина торгуете, нечего сказать! Этак вы покупателей только отбиваете. погоди, Антоша, я это папаше расскажу. Он тебя березовой кашей накормит...

Антоша бледнеет, и душа его забирается в пятки.

- Андрюшка, подай стаканчик водки!

Николай Стаматич усаживается на стул и долго читает нравоучение, от которого всех троих мальчуганов бросает то в жар, то в холод. Проповедник видит произведенный эффект и все больше и больше воодушевляется. Антоша начинает горько плакать. По счастью, является другой завсегдатай - грек Скизерли, тоже требует водки, и между приятелями завязывается беседа. Неприятная история позабыта.

Входит прислуга с грязною керосиновою бутылкой.

- Дайте хунт газу.

Хохлы долго называли керосин газом. Андрюшка берет бутылку, взвешивает ее и затем из большой жестянки начинает наливать керосин. Хохлушка, закинув голову и раскрыв рот, следит за стрелкою весов. Андрюшке это недоверие не нравится, и он незаметно подталкивает чашку весов. Покупательница за свои четыре копейки получает меньше фунта, но не замечает этого и уходит. Антоша видит, что Андрюшка сплутовал, но молчит. Обвешивание и обмеривание - в порядке вещей. Он уже давно привык к этому и думает, что так и надо. Андрюшка с Гаврюшкою даже споры ведут между собою на тему: кто из них лучше и искуснее сплутует.

Мало-помалу начинают появляться покупатели, и торговля оживает:

- Фунт соли за две копейки... За три копейки селедку... На копейку перцу... Четверть фунта рису... На три копейки чаю...

Андрюшка и Гаврюшка суетятся с самым деловым видом, а Антоша едва успевает получать деньги, сдавать сдачу и записывать проданный товар в /44/ разграфленную длинную и узкую книгу. Но цифры - всё мелкие: две, три копейки, редко попадается пятак. Но вот Антоша с удовольствием и с гордостью записывает сразу восемьдесят копеек. Чиновник коммерческого суда купил полфунта табаку первого сорта...

К двум завсегдатаям прибавляется третий, тоже усаживается и тоже требует водки, а затем начинает разговор о похождениях своей кухарки. Все трое хохочут, а Николай Стаматич прибавляет:

- Ты, Антоша, не слушай... Тебе еще рано...

Антоша не знает, как ему быть и что отвечать. Ему хочется сказать:

"А вы не говорите того, чего мне слушать нельзя. Ушей не оторвешь..."

Но он боится сказать это, потому что завсегдатаи могут обидеться и нажаловаться отцу, что он отбивает покупателей. Вдруг он прыскает со смеху и скорее нагибается и делает вид, будто он ищет на полу что-то, а сам так и закатывается. Дело в том, что грек Скизерли во время самого разгара беседы внезапно вскочил на ноги, быстро нагнулся над ящиком, на котором сидел, и стал водить по его поверхности ладонью.

- Что такое? - осведомляются остальные завсегдатаи.

- А цорт ево знать, сто такое... Кололо мне, как с иголком. Крепко кололо...

- Может, блоха укусила?

- Нет, блаха ни так кусаити...

- Ну, может, тебе детишки дома булавку в сюртук воткнули... Или сам как-нибудь на булавку сел...

- А мозеть бить, мозеть бить, - соглашается Скизерли, успокоивается и опять садится. - У мене зена всегда булавки и иголки на диване терять...

У Андрюшки во все это время - самая невинная и самая невозмутимая и серьезная физиономия. Он стоит за прилавком как раз за спиною Скизерли и о чем-то размышляет. Но его серьезность еще более смешит Антошу, и он никак не может успокоиться. Он знает, что Андрюшка так приладил внутри ящика иголку, что стоит только издали потянуть за незаметную ниточку, как она вопьется в тело сидящего и затем моментально исчезнет... Узнай об этой штуке Павел Егорович - ох-ох-ох, что было бы!.. /45/

Кстати, он и легок на помине. Стоящий у дверей Гаврюшка оборачивается к Антоше и заявляет:

- Папаша идут!..

Все в лавке принимает степенный и серьезный вид. Антоша берется за псалтирь, Андрюшка начинает оправлять мешок с мукою, а Гаврюшка весь превращается в олицетворенную бдительность, от которой не ускользнет ни один проходящий мимо покупатель...

Павел Егорович входит вместе с Сашей и прочими детьми и начинает степенно молиться на лавочный образ. На лице его - благочестие и строгое умиление человека, два раза в один день побывавшего у обедни; но лица у детей выражают крайнее утомление. По их замученным фигурам и бледной коже видно, что спасение души дается им не легко. Помолившись вместе с отцом на икону, они уходят в дом, к матери, а Павел Егорович, раскланявшись с завсегдатаями и покосившись не без зависти на стоящие перед ними стаканчики, обращается к Антоше с вопросом:

- Что, почин был?

- Был, папашенька. Рубля полтора наторговали...

- Почин - всегда дороже денег, - замечает Павел Егорович, заходит за прилавок и проверяет книгу с цифрами и кассу.

Антоша внутренне трепещет, не ошибся ли он в какой-нибудь копейке...

- А как, Пал Егорч, насчет червячка заморить? - спрашивает Николай Стаматич, указывая глазами на водку.

- Рановато будто бы, - благочестиво скромничает Павел Егорович. - Только что обедня отошла... Проповедь была...

- Какое же рано? Самый адмиральский час... Мы уже тут без вас начали.

- Если так, то пожалуй, - уступает Павел Егорович. - Андрюшка, принеси четыре стаканчика водки!

Андрюшка стремглав бросается по лестнице в погреб.

- Папаша, мне теперь можно идти? - робко спрашивает Антоша. - Мне надо уроки учить...

- А кафизму прочитал?

- Немножко прочитал...

- Иди. Только смотри уроки учи, а не балуйся, а то... /46/

Антоша степенно и благонаправно выходит из лавки; но лишь только за ним, скрипя на блоке, захлопнулась дверь, ведущая в жилую половину дома, и лишь только открылся простор большого двора, на котором уже раздавались голоса

братьев, как вся степенность исчезла и он помчался на голоса и на простор, как птичка, долго томившаяся в клетке...

Едва ли в торговом деле найдется другое заведение, которое, подобно бакалейной лавке, так наталкивало бы молодежь на лганье, воровство и мелкое жульничество. Недоедание и постоянный здоровый юношеский аппетит сами собою показывают на кражу съестного и лакомого, а в каждом незаконно съеденном бублике, прянике или орехе хозяин видит для себя убыток и строго преследует. Торговля ведется по мелочам, и торговец стремится с каждого золотника товара взять барыш. Андрюшка и Гаврюшка быстро проникаются этим духом и начинают помаленьку обвешивать и обмеривать покупателя. Сначала они думают, что поступают хорошо, потому что действуют в интересах хозяина, но потом мало-помалу входят во вкус и изощряются уже ради искусства. Не забывают они при этом и себя. Хозяин борется с ними тем, что шьет им платье совсем без карманов. Но и эта мера не ведет ни к чему. Делая иногда по ночам периодические обыски, хозяин находит в убогих сундучках мальчиков банки помады, куски яичного мыла и двугривенные. Это возмущает его, и он порет виновных нещадно. Но еще более возмущает его та тонкость, с которою помада и деньги похищены у него под носом. Он рвет и мечет. Достается и "хозяйскому глазу" за недосмотр.

- Сидишь в лавке, свинья ты этакая, и ничего не видишь! - ворчит Павел Егорович, грозно обращаясь к Антоше. - Ты должен смотреть!.. Не стоит вас, скотов, и в лавку сажать после этого...

Павел Егорович и не подозревал, как были бы счастливы его дети, если бы их избавили от сидения в лавке, от упреков, от вечного страха быть высеченными и от созерцания порки, которую задают Андрюшке и Гаврюшке за всякий пустяк. Антон Павлович рассказывал потом, как анекдот из своей детской жизни, что, будучи учеником первого класса, он "подружил" с одним /47/ из товарищей, таким же учеником, как и он сам, - и первый вопрос, заданный другу, был такой:

- Тебя часто секут дома?

- Меня никогда не секут, - последовал ответ.

Антон Павлович удивился и не поверил. Подрастая и присматриваясь к царящей кругом фальши, он однажды задал Андрюшке вопрос:

- Зачем ты обвешиваешь и обмериваешь покупателей?

Андрюшка широко раскрыл глаза.

- А как же иначе? - ответил он. - Если не обвешивать, так папаше никакой пользы от лавки не будет...

В голове гимназиста возник целый ряд вопросов и сомнений, и он пошел с ними к матери.

- Боже сохрани обманывать и обвешивать! - ответила Евгения Яковлевна.

- Если папаша узнает об этом, то страшно рассердится... Торговать нужно честно... Так и скажи Андрюшке и Гаврюшке.

Будущий писатель возвращался в лавку успокоенный и убежденный в том, что отец его - безусловно честный человек и что Андрюшка и Гаврюшка плутуют от себя. Оно так и было: Павел Егорович не допустил бы обвешивания. Но Антошу поражало противоречие вроде того, что в лавку возвращается



возмущенная покупательница, только пять минут тому назад купившая полфунта колбасы, и с гневом заявляет Павлу Егоровичу, что она, придя домой, взвесила покупку и что полного веса в ней нет. Покупательница была права. Антоша сам видел, как Андрюшка, отрезав колбасу и положив на весы, подтолкнул незаметно пальцем чашку с гирями. Но, к его удивлению, Павел Егорович, вместо того чтобы извиниться и удовлетворить обманутую покупательницу, очень своеобразно вступился за честь своей лавки.

- У нас, сударыня, товар вешается верно, - ответил он. - Это у вас, а не у нас ошибка вышла. Это у вас весы не верны. А может, вы дома отрезали кусочек и скушали?..

Женщина возражает; возражения принимают острый характер и переходят в крупный разговор. И все это из-за такого ничтожного ломтика, который не стоит и четвертой доли копейки. Но в этом случае Павел Егорович твердо отстаивает свой принцип. /48/

- Тут грошик убытка да там полушка - смотришь, и набегит целый гривенничек убытка. А гривенники на улице не валяются... Копеечка рубль бережет...

Сам по себе Павел Егорович был безусловно честен, всю жизнь свою был уверен, что торговал честно, и умер с этим убеждением.

Совесть его до конца дней была совершенно спокойна. К тому же и религиозные убеждения отрицали какое бы то ни было заведомое плутовство. Но при взгляде со стороны дело освещалось несколько иначе: выходило, что совесть и религия - сами по себе, а торговое дело - само по себе, и одно другому не мешает.

Антоша да и вся детвора Павла Егоровича отлично помнила своего рода праздник, несколько оживлявший однообразную и скучную лавочную жизнь. Это был любопытный праздник самых неожиданных находок. В какой-нибудь знойный июньский или июльский день, когда от томящей жары прячется в тень все живое и сам Павел Егорович дремлет, сидя за конторкой, на пороге лавки показывается длинный, сухой и весь покрытый потом еврей Хайм. На плече у него полный мешок. У Хайма такой страдальческий вид, как будто бы в мешке - не менее десяти пудов и он обязан за чьи-то грехи таскать эту тяжесть по городу в такую адскую жару. Сваливая мешок на пол, он произносит тоном умирающего человека:

- Уф! Ужарился... Только для вас и принес ув таково погодэ...

Проснувшийся от дремоты Павел Егорович окидывает ленивым взглядом мешок и лаконически спрашивает:

- Сколько?

- Двадцать хвунтов... хоть свешайте, - отвечает Хайм.

- Не надо, - зевая говорит Павел Егорович. - Еще старый не продан.

На лице Хайма изображается разочарование, но потом сменяется надеждою.

- Возьмите, пожалуйста, - просит он. - Теперичкэ я дешевле отдам, чем тот раз...

- Нет, не надо. Неси назад... /49/

- Накажи мне бог, задешево отдам!..

Начинается торг. Хайм запрашивает два с полтиною. Павел Егорович дает рубль. После долгих и усиленных переговоров, сопровождаемых божбою и клятвами, сходятся на полутора рублях.

- За пустым мешком завтра придешь. Сегодня пересыпать некому.

- Хорошо, - соглашается Хайм. - Дайте хоть капелькэ воды напиться. На дворе все равно как ув пекле...

По уходе Хайма по всему дому и по двору раздается клич:

- Дети! Саша, Коля, Антоша! Идите чай выбирать!

Дети гурьбою устремляются в комнату и усаживаются с шумом вокруг обеденного стола. На середине стола, на листе оберточной серой бумаги, возвышается гора чая, купленного у Хайма.

- Выбирайте хорошенько, почище, - приказывает отец.

Начинается веселая и шумная работа. Дети свертывают из бумаги тоненькие палочки, послунивают кончики их и, отсыпав по небольшой щепотке чая, начинают выбирать из него сор. Каждому любопытно, что именно судьба пошлет ему на долю.

- Я нашел кусок ногтя! - восклицает один.

- У меня две сухие мухи и щепочки, - хвастает второй.

- А я нашел камень и куриное перо!

Все эти любопытные находки каждый откладывает в сторону, и скоро этих находок набирается довольно богатая коллекция: здесь и камешки, и перья, и щепочки, и мелкие гвозди, и ногти, и обгорелые спички, и волосы, и всякая дрянь. Но для детей это очень любопытно. Для них это - праздник. Они не понимают, почему это старая нянька, выходившая четырех самых младших детей, брезгливо сплевывает, отворачивается и с упреком говорит:

- И как не грешно Павлу Егоровичу торговать такой дрянью?!

И в самом деле это не чай, а дрянь и даже нечто похуже дряни. Еврей Хайм собирает спитой чай по трактирам и гостиницам и не брезгает даже и тем, который половые выбрасывают из чайников на пол, когда /50/ метут. Хайм как-то искусно подсушивает, поджаривает и подкрашивает эту гадость и продает в бакалейные лавки, где с этим товаром поступают точно так же, как и Павел Егорович.

Пока дети отделяют сор от чаинок, Павел Егорович сидит за конторкою с карандашом в руке и вычисляет. Потом, когда работа детей кончается, он отвешивает купленный у Хайма продукт, прибавляет в него, по весу же, небольшое количество настоящего, хорошего чая, тщательно смешивает все это и получает товар, который поступает в продажу по 1 руб. 20 коп. за фунт. Продавая его, Павел Егорович замечает покупателю:

- Очень хороший и недорогой чай... Советую приобрести для прислуги...

Действительно, этот чай давал удивительно крепкий настой, но зато вкус отзывался мастерскою Хайма. Антоша не раз задавал матери вопрос: можно ли продавать такой чай? - и всякий раз получал уклончивый ответ:

- Должно быть, деточка, можно... папаша не стал бы продавать скверного чая...

Антоша и верил и не верил, и в душе у него один за другим начинали зарождаться назойливые вопросы, от которых лавка делалась ему все противнее и противнее...

### III

Особенно поразил Антошу и надолго остался в памяти один случай. Однажды летом Евгения Яковлевна, обшивавшая всю семью, сидела по своему обыкновению за старинной, первобытной швейной машиной Гау и шила. Антоша сидел подле нее и читал. Он уже перешел из второго класса в третий. Вошел Павел Егорович с озабоченным лицом и сообщил:

- Этакая, подумаешь, беда: в баке с деревянным маслом нынче ночью крыса утонула.

- Тьфу, гадость какая! - брезгливо сплюнула Евгения Яковлевна.

- А в баке масла более двадцати пудов, - продолжал Павел Егорович. - Забыли на ночь закрыть крышку, - она, подлая, и попала... Пришли сегодня в лавку, а она и плавает сверху... /51/

- Ты уж, пожалуйста, Павел Егорович, не отпускай этого масла нам для стола. Я его и в рот не возьму, и обедать не стану... Ты знаешь, как я брезглива...

Павел Егорович ничего не ответил и вышел. Потерять двадцать пудов прекрасного галипольского масла было бы чересчур убыточно. Масло было в самом деле превосходное и шло одинаково и в пищу, и в лампы. В те отдаленные времена фальсификации еще не были в ходу и минеральные масла из нефти не были еще вовсе известны. Деревянное масло привозилось огромными партиями из Турции и из Греции на парусных судах и мало чем отличалось по вкусу от французского прованского масла. Привозилось оно бочками и полубочками, и весь юг России ел его и похваливал. Теперь этого масла уже не найти ни за какие деньги: условия рынка изменились, и фальсификаторская деятельность проникла и в Грецию, и в Турцию...

Как же быть с злополучным маслом, в котором утонула крыса? Не пропадать же ему; не терпеть же из-за какой-то глупой крысы крупного убытка!..

В наше время торговец решил бы задачу просто: он вытащил бы крысу за хвост, забросил бы ее куда-нибудь подальше и промолчал бы, а на уста мальчиков-лавочников наложил бы строжайшую печать молчания. Тем бы дело и кончилось, и никто не знал бы ничего. Но Павел Егорович поступил иначе, и побудило его к этому религиозное чувство в смеси с нежеланием терпеть убыток. После очень короткого раздумья он решил, что крыса - животное нечистое и что ею масло вовсе не испорчено, а только "осквернено" в том же самом смысле, в каком в одной из молитв говорится: "и избавимся от всякия скверны". Павел Егорович был большим знатоком священного писания и знал, что существуют "очистительные" молитвы, парализующие всякую "скверну". Этого было совершенно достаточно для восстановления доброй репутации масла. В тот же

самый день Андрюшка обходил всех известных покупателей и везде произносил одну и ту же стереотипную фразу:

- Кланялись вам Павел Егорыч и просили пожаловать в воскресенье в лавку. Будет освящение деревянного масла...

- Какое такое освящение? Что за освящение? - удивлялись покупатели. / 52/

- В масло дохлая крыса попала, - наивно пояснял Андрюшка.

- И вы это масло продавать будете? Скажи своему хозяину, что после этого я у него ничего покупать не стану.

Павел Егорович был поражен такими неожиданными ответами. Тем не менее "очищение" состоялось.

Торжество было устроено великое. На прилавке, на постланной белоснежной скатерти, были установлены две иконы - одна лавочная, без ризы, другая - в серебряной, вызолоченной ризе, вынутая из семейного киота. Перед иконами поставлена на самом видном месте суповая миска, наполненная "оскверненным" маслом. По сторонам миски - горкою уложены нарезанные французские хлеба, называемые на местном языке "франзолями". Между мискою и иконою - большая восковая свеча в маленьком медном подсвечнике. Лавка убрана, выметена и вычищена на славу. Мешки с мукою, пшеном и крупю - подвернуты изящно, и товар в них взбит красивыми горками. На Андрюшке и Гаврюшке - праздничное платье, из которого они давно уже выросли, так как оно было сшито два года тому назад и надевалось только по очень большим праздникам. Павел Егорович одет в черный сюртук, а дети - в новенькие гимназические мундирчики и рубашечки. Вся семья в сборе. Явился и кое-кто из приглашенных - человека два-три. Прибыли они из простого любопытства - посмотреть, как они сами потом говорили: "что дальше будет и чем кончится комедия".

Павел Егорович был настроен торжественно и благочестиво. Он со старшими детьми только что вернулся от поздней обедни и тотчас же принялся за приготовление закусок в комнате при лавке, и все соленые блюда, требовавшие приправы, обильно поливал "оскверненным" маслом.

В первом часу дня приехал на собственных дрожках соборный протоиерей о.Феодор Покровский с дьяконом. Он был приглашен по двум причинам: во-первых, потому что он протоиерей и притом - соборный, и, во-вторых, потому, что он был законоучителем в гимназии. (Это тоже принималось в расчет!) О.Феодор покосился на обстановку и в особенности на миску с маслом, облачился и начал служить молебен. Павел Егорович вместе с детьми пел и дирижировал важно и прочувствованно. /53/ В конце молебна о. протоиерей прочел очистительную молитву, отломил кусочек хлеба обмакнул в миску и съел с видимым отвращением. Павел Егорович сделал то же и заставил проделать ту же церемонию и детей, а затем, обратившись к публике, пригласил:

- Пожалуйте, господа: масло теперь чистое...

Но из публики никто не шевельнулся.

Освященное и очищенное масло торжественно вылили в бак и даже взболтали, а затем гостеприимный хозяин пригласил всех к закуске. Протоиерей

о. Феодор, всегда воздержный по части выпивки, на этот раз прикладывался довольно усердно, вероятно для того, чтобы заглушить тошноту, вызванную воспоминанием о крысе. Прочие гости тоже не отставали, но, как бы сговорившись, упорно избегали тех закусок, в которых было масло, хотя Павел Егорович и неоднократно спрашивал:

- Что же вы, господа, не кушаете? Ведь теперь все освящено и очищено...

По окончании торжества все разошлись и разъехались, но с этого момента, к величайшему удивлению и недоумению Павла Егоровича, торговля сразу упала, а на деревянное масло спрос прекратился совсем. Стали обнаруживаться даже и явно прискорбные факты. Является какая-нибудь кухарка за селедкой и держит в руке бутылку.

- А это что у вас? - любопытствует Павел Егорович.

- Деревянное масло. У Титова брала, у вашего соседа, - отвечает кухарка.

- Отчего же не у нас? Прежде вы у нас брали...

- У вас масло поганое: с мышами...

Купец приуныл, и в глубине души у него стало иногда пошевеливаться сомнение, не дал ли он маху со своим благочестием, тем более что среди покупателей встречались и юмористы, не упускавшие случая кольнуть. Является, например, господин за бутылкою сантуринского вина в четвертак ценою и иронизирует:

- А в этом вине никакой посторонней твари нет? Впрочем, извините, забыл: у вас только в масле крысы плавают...

Павел Егорович проглатывает обиду и уже более не заикается об обряде очищения. Однажды он попробовал /54/ было урезонить чиновника коммерческого суда, забиравшего товар на книжку, но получил жестокий ответ:

- Вас за ваше масло надо под суд отдать, чтобы не смели народ гадостью травить...

- Помилуйте, масло освящал сам отец протоиерей.

- И попа не мешало бы пробрать за кощунство. Архиерею следовало бы написать...

- Значит, вы в бога не веруете?

- Верую или не верую - это мое дело; только настойкой из крыс никого не угощаю. Вот возьму и напишу во Врачебное управление - тогда и узнаете, как глядят по головке за богохульство...

Павел Егорович струсил и несколько ночей спал беспокойно. Он не знал, что такое Врачебное управление, и ждал всяческих от него напастей...

Но скоро дело вошло опять в прежнюю колею. Потребовалось несколько месяцев для того, чтобы благочестивая история была позабыта и торговля восстановилась. Но злополучное масло пошло в ход только тогда, когда и Павел Егорович, и Андрюшка с Гаврюшкой стали клятвенно уверять всех и каждого, что на днях только у Вальяно куплена бочка самого свежего масла, - и даже показывали бочку... Подозрительное масло спускали потом помаленьку чуть ли не целый год...

Антоша был свидетелем всей этой нелепой истории и потом, в течение всей своей последующей жизни, никак не мог уразуметь, какие побуждения

руководили Павлом Егоровичем, когда он затевал всю эту вредную для своего кармана шумиху. Одно только не подлежало сомнению, что он сам лично твердо веровал в силу и действие очистительной молитвы. Он упустил только из виду понятную брезгливость толпы.

- Как было бы хорошо, если бы торговля у отца была поставлена на честных началах! - говаривал не раз Антон Павлович, уже будучи писателем. - Как его дела шли бы блестяще!.. И краха не было бы... А всему виною - узость кругозора и погоня за копеейкой там, где пролетали мимо рубли...

Павел Егорович действительно окончил свою торговлю крахом. Каждый год лавка давала ему убытки, но он объяснял их не так, как следовало, и не /55/ догадывался поставить свою лавку лучше и заручиться доверием покупателей. Он думал, что убытки происходят оттого, что семья многочисленна и расходы велики. Но об этом речь - впереди.

#### IV

Чередую гимназию с лавкой, Антон Павлович имел возможность наблюдать немало типов, из которых многие пригодились ему как писателю. Мастерски зарисовано им очень много фигур, проходивших перед его глазами в детстве. Грек Дымба ("Свадьба") срисован им с одного из завсегдатаев, с утра до ночи заседавших в лавке Павла Егоровича. Не зарисовал он только афонских монахов - и то, вероятно, по цензурным условиям. А это были очень интересные типы, которые врезались в его память еще с самых юных лет. Монахов этих было двое: о.Феодосий и о.Филарет. Первый из них был в мире мужиком-крестьянином, а второй даже и под рясой сохранил все грубые черты отставного николаевского солдата. В Таганрог являлись они по два раза в год посланцами одного из русских афонских монастырей. Проживали они на монастырском парусном судне.

В те времена сбор пожертвований "на святую Афонскую гору" производился по всей России без всяких формальностей, и пожертвования стекались в Таганроге в руки особого агента - светского человека. Дело велось просто: монахи, сидя у себя дома, рассылали с Афона в закрытых письмах "боголюбивым жертвователям" по всей Руси (адреса поставлял агент) "благословение святой Афонской горы" в виде иконки, аляповато оттиснутой на кусочке коленкора, и призыв к посильному пожертвованию "на вечное поминовение души". Простодушных людей, веривших в вечность этого поминовения, находилось немало, и пожертвования стекались в руки агента настолько обильные, что монастырь присылал за ними свое судно по разу в каждую навигацию.

Приезжая в Россию, отцы Филарет и Феодосий на время забывали вся тяготы строгой афонской жизни и несколько уклонялись от своих иноческих обетов. Это были два противоположные характера и, пожалуй даже, два непримиримых врага. Вероятно, монастырь и посылал их на судне в Россию

вдвоем, чтобы они взаимно /56/ контролировали друг друга. Оба они очень часто посещали Павла Егоровича и даже иногда и проживали у него по нескольку дней. Когда они были вместе, то оба вели себя корректно и упорно отказывались от всяких приглашений выпить и закусить. Но если дела и обязанности разлучали их, приходилось наблюдать и довольно комичные сцены.

- Паша, дай-ка ты мне стаканчик сантуринского, покамест Филарета нету, - обращался о.Феодосий к Павлу Егоровичу. - У нас в монастыре в этот час завсегда вино дают стомаха\* ради и от немощей.

---

\* желудка (церк.-слав.).

Отец Филарет, в свою очередь, перед тем как выпить, оглядывался по сторонам и говорил:

- Давай скорее горшки, пока Хведосія нема...

- А при отце Феодосии разве вы не можете выпить? - задают ему вопрос.

- Хведосій - ябеда! - следует лаконический ответ Филарета.

Если же подобный вопрос задать о.Феодосию, он начинает усиленно мотать головою, закрывает глаза и под строжайшим секретом сообщает:

- Такой наушник, что и не приведи господь. Ежели в монастыре какая каверза вышла, то вся братия уже так и знает, что тут без Филарета не обошлось... Осудил, прости меня, богородица Одигитрия... Искушение...

Приходя в лавку и просиживая в ней по целым часам за сантуринским, о.Феодосий любил повествовать об Афоне. Его слушателями обыкновенно являлись завсегдатаи и Антоша.

- На Афоне благодать почиет, - повествует он. - На Афоне - всё иначе, лучше. Вот, к слову сказать, афонский грецкий орех. Скушай, Антоша, и посмотри, что за сладость... Сахар, а не орех... так и все там - одна сладость...

Антоша съедает орех и не находит в нем ничего особенного. Монах тоже съедает штуки три и затем обращается с просьбою:

- Дай-ка, Антоша, пряничка сладенького - горечь заесть...

Завсегдатаи любят спорить с о.Феодосием, и сейчас же один из них придирается к нему: /57/

- Как же вы, батюшка, говорили, что на Афоне у вас сладость, а сами горечь пряником заедаете?

- Это я - от немощи, а у нас действительно все сладость, - нисколько не смущается монах.

- А как у вас производится вечное поминание усопших жертвователей? - продолжает завсегдатай.

- А так: ты пожертвуешь, а мы твое имя в книгу запишем и будем поминать до скончания века. У нас этих книг - многое множество: два подвала больших от пола до потолка завалены. Есть которые даже и сгнили от ветхости... Во время проскомидии становится перед царскими вратами душ десятков монахов, развертывают книги и начинают читать: Анны, Марфы, Никифора, Митрофана... Ежели ты тут, то и тебя прочтут... И так до конца века...

- И много душ помянут?

- А сколько успеют...
- Как же с теми книгами поступаете, которые в погребах сгнили?
- По тем книгам сам господь поминает во царствии своем...
- Значит, вы - жулики и мошенники! - решает злорадно завсегдатай. -

Берете с меня деньги, чтобы поминать меня вечно, а я у вас в погребе сгнил...  
Пропали мои деньги, и душа пропала... Мошенники вы и есть...

Отец Феодосий озадачен и не знает, что отвечать.

- Монах есть свет миру! - вдруг выпаливает он. - Без монаха мир давно пропал бы.

- Свет или не свет, а вы - мошенники, - стоит на своем завсегдатай.

- Монах есть столп! - продолжает о.Феодосий.

- Мало ли столбов! Вон и фонарь на столбе стоит, - потешается завсегдатай.

- Монах есть светильник, - надрывается инок. - Он вам всем светит...

- Хорош светильник! - иронизирует противник. - Приедет сюда - водку пьет, вино пьет и до отвала ест...

- Неправда! - хрипит о.Феодосий. - Инок есть ангельский чин. Он есть пост и воздержание...

- Какое же это воздержание, коли ты на наших глазах четвертый стакан сантуринского хлещешь?... /58/

- А хоть бы и пятый? - начинает уже злиться о.Феодосий. - Если тебе бог ума не дал, то и молчи!

- Ладно. Я без ума, да честный человек, а ты с умом, да мошенник и обманщик... Вечное поминовение выдумали...

- Ежели я - мошенник, то ты - дурак. И за эти слова с тебя на страшном судилище взыщется...

Отец Феодосий брызжет слюною. Все завсегдатаи дружно хохочут. Смеются и Андрюшка с Гаврюшкой. Один только Антоша делает над собою усилие, чтобы не засмеяться. Он чувствует, что монах прижат к стене, - и ему жаль его.

- Что, отче, съел? - допекает торжествующий завсегдатай. - Уже до судилища договорился...

Отец Феодосий растерянно смотрит по сторонам, как бы ища защиты, и потом вдруг, точно озаренный свыше, отвешивает земной поклон обидчику.

- Прости Христа ради... Я, грешный, ввел тебя в искушение...

Теперь завсегдатай чувствует страшное смущение и даже неожиданный испуг.

- Что ты, что ты, отец Феодосий! - бормочет он. - Зачем в ноги?... Это у нас только так разговор был...

Монах поднимается и обводит всех торжествующим взглядом: он победил, и победил - смирением, как и подобает иноку...

- Прикажи-ка, Антоша, подать на мировую еще стаканчик сантуринского, - говорит он примирительным тоном.

Вино приносят. В дверях вдруг совершенно неожиданно появляется Филарет и устремляет грозный солдатский взгляд на стакан.



- Мы тут... тово... богомыслием... богомыслием занимаемся, - начинает лепетать о.Феодосий.

- Вижу, що богомыслием, - круто обрывает о.Филарет. - Давай и міні вина! Чем я хуже Хведосія?!

Приносят вина и о.Филарету. Завсегдатай вступает с ним в разговор:

- Отец Феодосий говорит, что у вас на Афоне...

- Бреше! - обрывает, не дослушав, о.Филарет.

- Что у вас на Афоне всенощная тянется...

- Бреше, як сивый мерин, - не дает договорить о.Филарет. /59/

- От вечера и до утра будто бы тянется всенощная...

- Бреше... Він все бреше...

- А правда, что во всей Турции только у вас на Афоне колокола дозволены?

- Бреше, бреше, бреше... Хведосій все бреше...

- Да это не отец Феодосий говорил, а я в книжке читал...

- А як читав, то - правда...

Отец Филарет тоже выпивает несколько стаканов сантуринского и разговор ведет отрывисто и желчно: все у него брешут. И весь мир брешет. Больше от него нельзя добиться ничего. Из его разговора вытекает, что не брешет только он один. Почувствовав в голове хмель, он поднимается и направляется к выходу.

- Куда теперь, отец Филарет? - спрашивают его завсегдатаи.

- Піду на судно в гавань. На судне у нас всеношна скоро начнется.

Отец Филарет, ни с кем не простившись, уходит. Вскоре вслед за ним поднимается и о.Феодосий.

- Пойти и мне на наше суденышко помолиться! - решает он. - Благолепная у нас нынче будет всенощная... Канон трогательный... Стоишь, слушаешь - и как бы на небеси...

Вздыхнув несколько раз от умиления, монах уходит. Вскоре уходят один за другим и завсегдатаи. Лавка пустеет, и Антоша погружается в чтение Майн-Рида. Вскоре приходит и Павел Егорович.

- Отец Феодосий и отец Филарет были здесь без вас, - докладывает Антоша.

- А ты их угостил чем-нибудь? - озабоченно спрашивает Павел Егорович.

- Сантуринское пили...

- Ну, это хорошо. Где же они теперь?

- Ушли к себе в гавань на судно, ко всенощной. Отец Феодосий говорил, что у них сегодня канон будет читаться очень трогательный...

На лице Павла Егоровича выражается сокрушение.

- Как жаль, что я их не застал, а то и я отправился бы с ними... Я давно уже собираюсь помолиться у них на корабле... Служба у них - умирительная, по афонскому уставу... Сходить разве? /60/

Павел Егорович погружается в глубокое раздумье. В это время в лавку входит старая нянька Александровна, которая выходила и вырастила Антошу.

- Антоша, иди, тебя мамаша зовет, - обращается она к нему, а затем, по его уходе, говорит Павлу Егоровичу: - А у нас - чудеса, Павел Егорович. Нарочно пришла вам сказать... Вы бы ваших монахов хоть бы в комнату взяли, а то ведь срам: оба - выпивши и спят невесть где: один приткнулся в курятнике, а другой - в конюшне, прямо в стойле заснул...

- Не может быть?! - удивляется Павел Егорович. - Ведь у них на корабле сегодня всенощная...

- Вот вам и всенощная... Срам один только... Право, их бы в комнату взять... Не дай бог, кто увидит...

Нянька ушла, но через минуту является улыбающийся Антоша.

- Отец Феодосий и отец Филарет у нас на дворе всенощную служат, - говорит он.

- Не твое дело! Дурак! Пошел вон! - обрушивается на него отец и задумывается...

- За что же вы бранитесь? - обиженно протестует Антоша.

- Это враг рода человеческого над ними смущается и искушает их, а ты смеешься. У монаха на каждом шагу искушение. Почитай-ка жития святых отец, - так и узнаешь... Осуждать их нельзя и грешно.

По мере того как Антоша подрастал и входил в разум, торговля в лавке делалась для него все тяжелее и противнее. Под влиянием гимназии у него уже начинали появляться и другие понятия, и другие интересы. Начали постепенно пробиваться наружу и такие запросы, каких раньше не было. Потянуло к свободе, к самостоятельности и к защите своих прав. Все это совсем уже не вязалось с теми требованиями, которые предъявляли к нему отец и лавка.

А торговые дела Павла Егоровича не по годам, а уже по месяцам становились всё хуже и хуже. Явился конкурент, открывший такую же точно лавку на углу через дорогу и пустивший товар дешевле; и сам Павел Егорович нечаянно зарвался, закупив в кредит такую партию вина, какой он не мог продать и в десять лет; подошло /61/ еще что-то подобное же - и дела пошатнулись. Надо было искать какого-нибудь выхода. И этот выход был найдем опять-таки в ущерб бедному Антоше...

В Таганрог провели железную дорогу, - и торговые порядки в нем, естественно, изменились. Гужевая доставка зернового хлеба на волах сразу значительно сократилась. Сократился и главный покупатель Павла Егоровича - мужик-хохол, привозивший этот хлеб. Перетянула железная дорога.

На окраине города вырос каменный вокзал. Подле вокзала сейчас же образовался на площади маленький базар, а ближайшие к этому месту домовладельцы переделали свои деревянные сарайчики под торговые помещения, в которых предприимчивые сыны Израиля немедленно открыли кабаки - бок о бок и нисколько не боясь конкуренции. Теперь весь этот торговый люд стал рассчитывать уже не на мужика-чумака, а на пассажира.

Такой же расчет зародился и в голове Павла Егоровича.

- Идет человек на вокзал, видит бакалейную лавку - зайдет, что-нибудь купит, - рассудил он. - Приедет человек по железной дороге, выйдет с вокзала, увидит лавку - тоже зайдет и купит.

Мысль эта так понравилась ему, что он, не задумываясь и не наводя справок, нанял сарайчик рядом с кабаком, перевез в этот сарайчик немножко товару из своей лавки - и открыл новую лавку.

Кого же посадить в нее? Андрюшку и Гаврюшку нельзя, потому что они - воры и за ними нужен присмотр. Ясное дело, что торговлю в новой лавке можно поручить только детям - Саше и Антоше.

Несчастные гимназисты к этому времени только что окончили экзамены, и Саша перешел в шестой, а Антоша - в четвертый класс. Оба они рассчитывали на каникулах отдохнуть, но расчет юношей не оправдался. Отслужили в новой лавчонке молебен и обрекли гимназистов сидеть безвыходно рядом с кабаком и улавливать пассажиров. Саша, у которого уже начинал пробиваться пушок на верхней губе, с геройством, приличным ученику пятого класса, пообещал достать пистолет и застрелиться, а Антоша только с отчаянием воскликнул:

- Господи, что мы за несчастный народ! Товарищи на каникулах отдыхают, ходят купаться и удить рыбу, /62/ бывают по вечерам в казенном саду и слушают музыку, а мы - как каторжные...

Но ни угроза Саши, ни отчаяние Антоши - не помогли. Каторжная жизнь началась. По заведенному обычаю надо было вставать в пять часов утра и запираť лавчонку около полуночи. Но Павел Егорович не понял и не взвесил той тяготы, которую он взвалил на плечи детей, а, наоборот, весело потирая руки, сказал Евгении Яковлевне:

- Вот, слава богу, уже и дети помогают! Если торговля пойдет хорошо, то я возьму их из гимназии и оставлю в лавке.

- Боже сохрани! - всплеснула руками Евгения Яковлевна. - Ни за что не позволю взять детей из гимназии! Богу буду на тебя жаловаться...

С первых же дней оказалось, что расчет Павла Егоровича был создан на песке. Пассажир оказался неуловляемым и потянул с вокзала совсем в другую сторону. Вместо груд золота истомленные дети приносили отцу по ночам выручку всего только полтора, два и редко-редко три рубля. Простая арифметика показывала, что такая торговля не оплачивала даже наемной платы за лавчонку, но Павел Егорович был неумолим и все надеялся. На мольбы Саши и Антоши прекратить бесцельную муку он отвечал:

- Дальше лучше будет. Покупатель еще не познакомился с лавкою...

Антоша неудержимо плакал, а Саша обещал покончить с собою двадцатью способами сразу, но до августа все-таки дотянули. Молодежь сильно осунулась и похудела и пошла в гимназию не отдохнувшей, а, наоборот, страшно утомившейся за лето. Павел Егорович закрыл лавчонку и стал подводить итоги. И - о ужас! - в итоге получился убыток! Одного керосина сгорело в двух лампах за лето на тридцать рублей, а остальные ничтожные барыши поглотила наемная плата.

- Зачем же вы нас мучили целое лето?! Зачем отняли у нас целые каникулы, когда убыточность была видна уже в самом начале дела?! - воскликнул Саша, узнав о результатах.

- Вы не умели торговать как следует, - ответил Павел Егорович. - Если бы вы хотели помогать отцу, /63/ так у вас торговля шла бы иначе... Зачем понапрасну керосин в лампах жгли?

- Ведь вы же сами, несмотря на наши протесты, не позволяли нам запирать лавку раньше полуночи!..

- Можно было держать в лампах огонек маленький - чуть-чуть; а придет покупатель - прибавить посветлее... Свиньи вы и больше ничего...

У Павла Егоровича была своя логика.

Долго, однако же, уродливую коммерческую канитель тянуть было нельзя. С лавкою пришлось покончить, хотя и не без попыток вынырнуть вновь. Павел Егорович перевез жалкие остатки товаров в новую лавку на базаре, но и тут не повезло. Пришлось окончательно ликвидировать дело. Старший сын Саша окончил курс гимназии и поступил в университет, в Москве. На последние ничтожные гроши потянулся за ним туда же и Павел Егорович и перевез семью {63}.

Антон Павлович остался в Таганроге оканчивать гимназический курс. И только с этого времени начались для него новые дни и он вздохнул свободно: над ним перестали висеть кошмаром спевки, пение в безголосом хоре в церквях и внушавшая отвращение лавка со всеми теми ненормальностями и мучениями, вспоминая о которых покойный писатель с горечью говорил:

- В детстве у меня не было детства...

\* \* \*

Антон Павлович Чехов никогда не обладал выдающимся слухом; голоса же у него не было вовсе. Грудь тоже была не крепка, что и подтвердилось потом болезнью, которая свела его преждевременно в могилу. Несмотря, однако же, на все это, судьба распорядилась так, что А.П. до третьего и чуть ли, кажется, не до четвертого класса гимназии тянул тяжелую лямку певчего в церковном хоре. Вспоминая впоследствии, в зрелом возрасте, эти годы принудительного певчества, покойный писатель не раз говаривал с грустью:

- В детстве у меня не было детства...

А попал Ант.П. в певчие следующим образом.

Павел Егорович - отец писателя - с ранних лет своей жизни был большим любителем церковного благолепия, церковных служб и в особенности церковного /64/ пения. В молодости он жил в деревне, посещал усердно сельскую церковь и выучился у местного сельского священника играть на скрипке по нотам и петь тоже по нотам. Во время церковных служб он пел и читал в деревне на клиросе. Впоследствии он был привезен своим отцом - дедом писателя - из деревни в Таганрог и отдан к местному богатому купцу Кобылину в мальчишки-лавочники.

Пройдя здесь суровую школу сначала мальчика, затем "молодца", а потом и приказчика, Павел Егорович к тридцати годам своей жизни открыл в Таганроге собственную бакалейную торговлю и женился. Выйдя из-под ферылы строгого хозяина - Кобылина, Павел Егорович почувствовал себя самостоятельным и свободным. Эта свобода дала ему возможность ходить в церковь, когда ему вздумается, и отдаваться пению сколько душе угодно. Перезнакомившись с духовенством местных церквей, Павел Егорович стал петь и читать на клиросах вместе с дьячками, а потом какими-то судьбами добился и того, что стал регентом соборного хора, которым и управлял несколько лет подряд. Будучи человеком религиозным, он не пропускал ни одной всенощной, ни одной утрени и ни одной обедни. В большие праздники он неукоснительно выстаивал две обедни - раннюю и позднюю - и после обеда уходил еще к вечерне.

Идеалом церковной службы была для него служба в монастырях на Афоне (о чем ему рассказывали заезжие афонские монахи), где все читалось и пелось "продлинновенно, вразумительно и без пропусков" и где, например, всенощная начинается в шесть часов вечера, а кончается в шесть часов утра. Этот идеал он и старался осуществлять, где только было возможно. Забравшись на клирос к дьячкам, он любил читать во время всенощной шестопсалмие и канон и уже читал так протяжно и длнно, что нередко священник высылал из алтаря попросить чтеца "ускорить, не замедлять и не затягивать". Управляя соборным хором, он так затягивал пение, что прихожане роптали и не раз тут же, в церкви, обращались к Евгении Яковлевне - жене Павла Егоровича - с просьбою:

- Скажите же, наконец, Евгения Яковлевна, вашему мужу, что так тянуть невозможно. Во всех церквях /65/ обедня давно уже отошла, а у нас еще только "Верую" поют...

Но на Павла Егоровича ни увещания жены, ни ропот прихожан не производили никакого действия. Он упрямо защищал "продлинновенность" и всякий раз ссылался на пример афонских монастырей.

- Так ведь то - на Афоне; а мы не монахи, - возражали прихожане.

- Зато - благолепие! - упрямо стоял на своем Павел Егорович.

Кончилось, однако же, тем, что, проработав года три или четыре в роли регента соборного хора, Павел Егорович увидел себя вынужденным передать эту должность другому. Было ли это результатом недовольства прихожан, или же размолвки с духовенством - история умалчивает. Возможно также, что и частые отлучки из лавки на спевки и на церковные службы вредно и убыточно отражались на торговле.

Есть, однако же, достаточное основание предполагать, что у Павла Егоровича была натура артистическая, потому что, перестав быть регентом в соборе, он почувствовал, что ему чего-то не хватает и что пение и чтение на левом клиросе, вместе с дьячками, его не удовлетворяет. Артистическая жилка и страсть к пению подтачивали его и не давали покоя. Проведя года два или три в вынужденном бездействии, Павел Егорович задумал организовать свой собственный хор из добровольцев-любителей. И это ему удалось. Во всяком городе, а тем более в провинциальном, всегда найдется немало любителей церковного пения, готовых петь где угодно, лишь бы только их пускали на

клирос. Такие охотники-добровольцы нашлись и в Таганроге. Это были местные кузнецы - дюжий, крепкий, мускулистый и совершенно неграмотный народ, но народ богобоязненный, обладавший здоровыми глотками и еще большим усердием. Они-то и сгруппировались около Павла Егоровича, как около центра. Их было человек десять или двенадцать. Днем они подковывали лошадей и натягивали железные ободья на колеса чумацких возов, а поздно вечером собирались у Павла Егоровича в лавке для спевки.

Усердие их было в самом деле удивительное. Дело кузнеца, как известно, нелегкое: проработать целый день у горна и наковальни тяжелым молотом - вещь не /66/ шуточная. К концу рабочего дня кузнец - уже человек физически разбитый и донельзя усталый. К тому же и кузни, вынесенные далеко за город, лежали от лавки Павла Егоровича по меньшей мере в трех верстах. Но это нисколько не смущало добровольцев: невзирая ни на какую погоду, они аккуратно собирались в определенные дни к десяти часам вечера и горланили часов до двенадцати ночи. Если прибавить к этому, что в те времена в Таганроге не было еще ни мостовых, ни фонарей и домой певцам приходилось возвращаться по страшной и вязкой грязи и в полной темноте, то нужно будет признать, что любовь их к пению была действительно велика.

Этот "усердный" хор добровольцев ходил по церквям и пел под руководством Павла Егоровича обедни, молебны, вечерни и всенощные, нигде не взимая ни гроша за свой труд. Хотя пение красотой и стройностью и не отличалось, но духовенство и старосты приходских церквей были рады и этому, потому что у них отпадали расходы на обзаведение собственным, платным хором. И обе стороны были довольны.

Весь хор пел грубыми мужскими голосами. Альты и дисканты не было. Из всех кузнецов только один парень средних лет, некий Яков Николаевич, пел дискантовую партию дребезжавшим фальцетом (фистулой). Недоброжелатели хора (а они существовали!) ядовито острили, что этот хор не поет, а стучит молотками по наковальням.

Павел Егорович и сам сознавал, что в его хоре не хватает свежих детских голосов - дискантов и альтов. Но и тут на выручку ему явилась судьба. Стали подрастать собственные дети - и он, не задумываясь и не справляясь с их голосовыми средствами, тотчас же приспособил их к хору. Двоим старшим выпало на долю исполнять партию первого и второго дисканта, а третий, младший, только недавно поступивший в первый класс гимназии, должен был волею-неволею петь альтом.

Этот третий - альт - и был будущий писатель Антон Павлович.

Тяжеленько приходилось бедному Антоше, только еще слагавшемуся мальчику, с не развившейся еще грудью, с плоховатым слухом и с жиденьким голоском... Немало было пролито им слез на спевках, и много /67/ детского здорового сна отняли у нею эти ночные, поздние спевки. Павел Егорович во всем, что касалось церковных служб, был аккуратен, строг и требователен. Если приходилось в большой праздник петь утреню, он будил детей в два и в три часа ночи и, невзирая ни на какую погоду, вел их в церковь. Находились сердобольные люди, которые убеждали его, что лишать детей необходимого сна - вредно, а

заставлять их не по силам напрягать детские груди и голоса - прямо-таки грешно. Но Павел Егорович был совсем иного мнения и искренне и с убеждением отвечал:

- Почему же бегать по двору и кричать во всю глотку - не вредно, а пропеть в церкви обедню - вредно? На Афоне мальчики-канонархи по целым ночам читают и поют - и ничего им от этого не делается. От церковного пения детские груди только укрепляются. Я сам с молодых лет пою и, слава богу, здоров. Для бога потрудиться никогда не вредно.

К чести Павла Егоровича нужно сказать, что он искренне и глубоко верил в то, что говорил. Он верил в загробную жизнь и был убежден в том, что каждая пропетая его детьми обедня или всенощная приближает их души к богу и уготовляет им царство небесное и что все спевки и недосыпания "зачтутся им на том свете". На себя же он смотрел как на отца, который перед самым богом обязан внушать детям благочестие и любовь к церкви с самого раннего их возраста. Он называл это: "давать детям направление", и давал его не без задней, впрочем, мысли, - что и ему самому за эти хлопоты будет уготовано местечко в раю.

В тогдашней гимназии система преподавания была еще толстовская<sup>{67}</sup>, тяжелая, с массою латыни даже в младших классах. Приходил Антоша домой с уроков обыкновенно в четвертом часу дня, усталый и голодный, и после обеда тотчас же принимался за приготовление уроков дома или же в лавке, куда его чуть не каждый день посылал Павел Егорович приучаться к торговле и, главным образом, исполнять обязанности "хозяйского глаза". К девяти часам вечера усталость брала свое, и измученные дух и тело настойчиво требовали отдыха. Но в дни спевок об отдыхе думать было нечего. Являлись кузнецы. Вместе с ними являлся и посланец в детскую с приказом: /68/

- Папаша зовет на спевку!..

Спевки производились в большой комнате, примыкавшей к лавке.

Кузнецы усаживались вокруг круглого стола на табуретках и ящиках из-под мыла и из-под стеариновых свечей. На такую же мебель усаживались и дремавшие гимназисты. Павел Егорович вооружался скрипкой, которую "по старине" прижимал не к подбородку, а к левой стороне груди, - и спевка начиналась. Перед певцами лежат раскрытые нотные тетради, но они лежат только для проформы, потому что ни один из них не грамотен и все до единого поют "на слух", а слова песнопений просто заучивают наизусть. Для них названия нот: до, ре, ми... - пустой звук, а диезы и бемоли - что-то вроде жупела. Иной раз бас или тенор начинают фальшивить, и Павел Егорович, забывшись, вскрикивает с сердцем:

- Ну, что вы, Иван Дмитриевич, врете? Смотрите в ноты: ведь там стоит до-диез!..

- Да ведь я же, Павел Егорович, неграмотный! - конфузливо защищается кузнец. - Вы лучше проиграйте мне это место еще раз на скрипке...

Павел Егорович начинает досадливо водить смычком по струнам. Кузнец старается изо всех сил прислушиваться, но схватывает тугу. А время все идет да идет. У Антоши давно уже слипаются глаза и голова отяжелела. Но уйти и лечь спать он не смеет. Когда же около полуночи певчие, одолев с грехам пополам "Всемирную славу" или "Чертог твой, спасе", прощаются и расходятся, - у Антоши едва хватает сил добраться до постели. Случается засыпать и в платье. То

же происходит и с его старшими братьями... А завтра в семь часов утра уже надо вставать в гимназию...

Пели главным образом в монастыре и во "Дворце".

Монастырь - до известной степени церковь историческая. Принадлежит он, кажется, иерусалимскому патриарху. Штат его составляют греческий архимандрит и несколько греческих иеромонахов и дьяконов, присылаемых из Иерусалима. Служба производится на греческом языке. Известно, что император Александр I последние годы {68} своей жизни провел в Таганроге и там же и умер. Гроб с его бренными останками, по каким-то доселе никому не известным соображениям, был поставлен не в соборе и не в какой-либо русской церкви, а именно в /69/ этом греческом монастыре. Тут он и стоял на катафалке среди храма довольно долгое время, до перевозки в Петербург. Место, где стоял гроб, обнесено внутри церкви металлической решеткой, охватывающей вделанную в пол мраморную плиту, с мраморным же крестом. В головах этой плиты поставлена вызолоченная колонна с врезанною в ней иконою, перед которою Александр Благословенный, по преданию, имел обыкновение молиться. Насколько это предание верно - неизвестно. На площади, перед фасадом монастыря, стоит памятник работы скульптора Мартоса, изображающий императора с протянутой вперед правою рукою. В руке - свиток, свернутый в трубку. Памятник обнесен чугунной оградой из цепей и ныне так зарос густыми акациями, что почти не виден из-за их зелени.

В монастыре - три престола: главный и два боковых. Доходы монастыря, собираемые с прихожан-греков, были невелики; русские же люди посещали эту церковь неохотно, потому что не знали греческого языка. Чтобы поднять доходы, архимандрит и иеромонахи придумали открыть богослужение на русском языке. Но чтобы не умалять значения своего монастыря как греческого, решили служить по воскресеньям и большим праздникам ранние обедни в одном из боковых приделов, оставляя главный престол исключительно для служб греческих. Иеромонахи и диаконы - народ, нужно правду сказать, достаточно малограмотный - вызубрили русский текст обедни не без труда и произносили русские слова довольно уродливо. Но это делу не помешало: русские богомольцы стали посещать эти ранние обедни охотно, и тарелочный обор монастыря возрос ощутительно. К этим-то ранним обедням и пристроился Павел Егорович со своим хором из кузнецов и трех детей-гимназистов. Пели здесь, кажется, года три. Для монахов же этот даровой любительский хор был сущим кладом. Они пользовались его услугами без церемонии, самым уверенным тоном поощряли обещания щедрой награды на том свете, на небесах, и только к концу третьего года преподнесли в конверте тридцать рублей, что составило менее двух рублей на певческую душу.

Антон Павлович пел в монастыре альтом, и его, как и следовало ожидать, почти не было слышно. Мужские сильные голоса подавляли слабые звуки трех детских /70/ грудей. Но Павел Егорович не принимал этого в расчет, и ранние обедни пелись аккуратно и без пропусков, невзирая ни на мороз, ни на дождь, ни на слякоть и глубокую, вязкую грязь немощеных таганрогских улиц. А как тяжело было вставать по утрам для того, чтобы не опоздать к началу службы!..



Единственным развлечением мальчиков во время обедни в летнее время было следить за жизнью и работой кобчиков. С хор, на которых помещались певчие, были видны небольшие круглые окна второго яруса в стенах церкви. Просветы этих окон были заделаны решетками, и тут, в петлях этих решеток, кобчики-хищники вили свои гнезда и выводили птенцов. Птенцы обыкновенно сидели в гнездах смирно, но когда родители, прилетая с лова, приносили в клювах мышь или какого-нибудь другого мелкого зверька, то они поднимали резкий и неприятный писк и принимались терзать своими хищными клювами принесенную добычу. Эти сцены, от наблюдения которых, пожалуй, не отказался бы и Брэм, несколько разнообразили монотонность и скуку подневольного пения.

По возвращении от обедни домой пили чай. Затем Павел Егорович собирал всю семью перед киотом с иконами и начинал читать акафист спасителю или богородице, причем дети должны были петь после каждого икоса: "Иисусе сладчайший, спаси нас" и после каждого кондака: "Аллилуйя". К концу этой домашней молитвы уже начинали звонить в церквях к поздней обедне. Один из сыновей-гимназистов - по очереди или же по назначению отца - отправлялся вместе с "молодцами" в качестве хозяйского глаза отпирать лавку и начинать торговлю, а прочие дети должны были идти вместе с Павлом Егоровичем к поздней обедне. Воскресные и праздничные дни для детей Павла Егоровича были такими же трудовыми днями, как и будни, и Антон Павлович не без основания не раз говаривал братьям:

- Господи, что мы за несчастный народ! Все товарищи-гимназисты по воскресеньям гуляют, бегают, отдыхают и ходят в гости, а мы должны ходить по церквам!..

Раз в году, на первый день троицы, Антон Павлович и его братья принимали участие в монастырском празднике. Это был престольный праздник главного придела, /71/ и, после торжественной греческой службы, в покоях архимандрита собирались почетные прихожане-греки с поздравлениями. В качестве почетного гостя ходил и Павел Егорович с детьми. Поздравление заключалось в четырехголосном пении тропаря: "Благословен еси, Христе боже наш, иже премудры ловцы явлей..." После обычных монастырских официальных открывалась дверь в соседний большой покой, и почетные гости приглашались туда к торжественной трапезе, состоявшей из водок, сантуринских вин и разных греческих соленых закусок и национальных блюд. Эти-то редкие греческие соленые рыбки, маслины, иностранная снедь и сласти и составляли главную приманку для певчих. В этот день греки - и духовные, и светские - кутили изрядно и добросовестно и, попеременно с духовным греческим пением, вспоминали свою далекую Элладу и целый лабиринт окружающих ее островов.

Всему бывает конец. Прекратились и ранние обедни в монастыре. Прекратились, кажется, оттого, что иеромонаха, умевшего служить по-русски, убрали в Иерусалим, а на смену ему прислали другого, говорившего только на своем родном языке. Хор Павла Егоровича остался, так сказать, без дела и без места. Но Павел Егорович нашелся и тут. Отстроилась долго стоявшая впусе Митрофаниевская церковь. Он перекочевал в нее. Но тут уже не было прежнего широкого раздолья и почета: в церкви был собственный, платный хор, и Павлу

Егоровичу пришлось ютиться с грехом пополам на левом клиросе, вместе с дьячками, смотревшими довольно косо. Кузнецы, видя такой далеко не дружественный прием, мало-помалу разбрелись. Остался только один неутомимый регент с детьми, которые, к своему великому горю, не могли и не смели разбрестись и должны были все-таки петь и подтягивать дьячкам.

Антон Павлович на этом клиросе не раз писал бабам на бумажках и на просфорах для проскомидии "о здравии" и "за упокой", и это записывание имен для поминовения послужило ему впоследствии темой для его рассказа "Канитель", в котором старуха путает имена своих здравствующих и умерших родственников.

Хор, однако же, не распался. Судьба готовила ему новое поприще для приложения его "усердия" - и это был самый ужасный, самый тяжелый и самый утомительный /72/ период для Антона Павловича. Это было то время, когда в подрастающем мальчике начинает развиваться самолюбие и когда каждый ложный шаг, каждая ошибка и каждый косой взгляд кажутся преувеличенными и очень больно терзают молодую душу.

В Таганроге существует дом, называемый Дворцом. Это - большой, угловой, одноэтажный дом с садом, принадлежавший некогда - как гласит предание - частному лицу, кажется, генералу Папкову. В этом доме жил и умер Александр I. С тех пор он и стал называться Дворцом, и по его панелям и дном, и ночью расхаживают взад и вперед с шашками наголо часовые-казаки. Одна из комнат в этом доме обращена в домовую церковь императора. Церковь - замечательно скромна и проста. Иконостас в ней - полотняный и такой зыбкий, что когда отворяются царские врата, то он весь волнуется и дрожит. Он делит комнату на две части, в одной из которых помещается алтарь, а другая отведена для молящихся. Пол устлан старыми, потертыми коврами. Церковь эта очень долго стояла запертою, и ключ от нее хранился у смотрителя Дворца. Какими-то судьбами и ходатайствами ее приписали к собору и отдали в распоряжение соборного протоиерея. Последний отрядил туда одного из соборных же иереев и открыл в ней богослужение.

Службы происходили по большим праздникам и по постам. Особенно тяжелы они были в великом посту, на страстной неделе. В дворцовую церковь ездила говеть городская знать во главе с градоначальником (Таганрог тогда был градоначальством). Публика была все отборная, аристократическая, и Павлу Егоровичу очень хотелось прихвастнуть перед нею и своим хором, и умением дирижировать, а главное - умением воспитывать своих детей не как-нибудь, а в страхе божием. Поэтому он всячески старался выдвигать их и этим - сам того не подозревая - причинял им много огорчений. В великопостной службе есть красивое трио: "Да исправится молитва моя". Поется эта молитва обыкновенно среди церкви, на виду у всех молящихся, и исполнение ее, чтобы оно было хоть сколько-нибудь сносно, требует непременно хороших голосов. Голосами своих чад Павел Егорович прихвастнуть не мог и знал это, но болезненное самолюбие и желание показать себя перед /73/ аристократией были в нем в этом случае непобедимы. Он заставил своих троих сыновей-гимназистов разучить это песнопение и неутомимо выводил их на середину церкви.

Понять психику Антона Павловича в эти мгновения не трудно. Неуверенность в своих силах, свойственные детскому возрасту робость и боязнь взять фальшивую ноту и осрамиться - все это переживалось им и действовало на него угнетающим образом. Само собою понятно, что при наличии таких ощущений голоса доморощенного трио дрожали, пение путалось и торжественное "Да исправится" не менее торжественно проваливалось. К тому же заключительный куплет приходилось исполнять обязательно на коленях, и строгий регент требовал этого, забывая, что на ногах детей сапоги страдают недочетами в подметках и каблуках. А выставлять напоказ, публично, протоптанную, дырявую грязную подошву - как хотите - обидно, особенно же для гимназиста, которого могут засмеять товарищи и который уже начинает помышлять о том, чтобы посторонние были о нем выгодного мнения...

Антон Павлович всякий раз краснел и бледнел от конфуза, и самолюбие его страдало ужасно. Дома же после неудачного трио всем троем певцам приходилось выслушивать от строгого отца и оскорбленного в своих лучших ожиданиях регента внушительные упреки за то, что его осрамили собственные дети...

Великопостные службы на страстной длинны и утомительны. Если только выстаивать их от начала до конца утомительно, то петь их - утомительнее вдвое. Детям Павла Егоровича и его хору приходилось являться в церковь раньше всех и уходить позже всех. Тягота к концу недели становилась еще тем ощутительнее, что после долгих служб и поздних всенощных не было возможности отдохнуть: хор прямо из церкви собирался на спевки - репетировать предстоящую пасхальную службу. К концу страстной недели Антон Павлович уже чувствовал себя переутомленным и несколько напоминал бродячую тень.

Пасхальная служба была много веселее. И мотивы пасхального канона веселы, и кончается она скоро. Во Дворце хор начинал утреню в полночь и в три часа утра был уже свободен. Первым днем пасхи и кончалось принудительное пение. Дворцовая церковь /74/ запиралась. Антон Павлович и его братья, однако же, были обязаны ходить всю светлую неделю в другие церкви - не петь, а просто молиться, или, как говорит Павел Егорович, не пропускать церковной службы. Но это уже не было так утомительно. Все-таки отдыхали... до фоминой, а там опять начинались праздничные и воскресные службы с пением на разных клиросах.

Благодаря великопостному пению Антону Павловичу приходилось испытывать и еще одно неудобство. Гимназические педагоги задавали на праздники много работ на дом, а выполнять их при таком ходе жизни не было ни времени, ни возможности. Получались нагоняи и с этой стороны. Куда ни кинь - все клин.

Хор, однако же, все-таки распался. Антон Павлович в это время переходил, кажется, уже в четвертый класс гимназии. В силу житейских обстоятельств Павел Егорович перекочевал на жительство в Москву, - и пение прекратилось, оставив по себе в душе покойного писателя то безотрадное воспоминание, которое давало ему право в зрелые годы с грустью говорить, что "в детстве у него не было детства"... /75/

## ***М.П. ЧЕХОВ. АНТОН ЧЕХОВ НА КАНИКУЛАХ***

Семья Чеховых эмигрировала из Таганрога в 1876 году, а Антон Павлович оставался там один до 1879 года, чтобы закончить курс гимназии и получить аттестат зрелости. В те времена в Таганроге никто ни о каких дачах не знал, и все, у кого не было своего хутора или имения, оставались на все лето жариться в городе. Оставались и Чеховы. Их было пять братьев и одна сестра {75}, и едва только кончались экзамены, как братья Чеховы вместе со своими одноклассниками и соседскими мальчиками отдавались каникулам в полном смысле этого слова. Благодаря страшным сухим жарам все братья ходили босиком. Спать в комнатах не было никакой возможности, и поэтому все они устраивали на дворе и в садике балаганы, в которых и ночевали. А.П., будучи тогда гимназистом пятого класса, спал под кущей посаженного им дикого винограда и называл себя "Иовом под смоковницей". Под ней же он писал тогда стихи, хотел сочинить сказку. Я помню только ее начальные строки:

Эй вы, хлопцы, где вы, эй!  
Вот идет старик Аггей.  
Он вам будет сказать сказку  
Про Ивана и Савраску... и т.д.

В то время А.П. вообще предпочитал стихи прозе, как, впрочем, и всякий гимназист его возраста. /76/

В нашем дворе жила старушка С., которая у наших родителей нанимала маленький флигелек. За ее шепелявость А.П. прозвал ее "Шамшой". У этой Шамши была дочь Ираида, гимназисточка, которая, по-видимому, очень нравилась будущему писателю. Но ухаживания Антоши проходили как-то по-своему. Однажды, в воскресенье, Ираида, в соломенной шляпке и наряженная как бабочка, выходила из своего флигелька к обедне. А.П. в это время ставил самовар. Когда девочка проходила мимо него, то он что-то сострил на ее счет. Она надула губки и назвала его мужиком. Тогда он со всего размаха ударил ее прямо по шляпке мешком из-под древесного угля. Пыль пошла, как черное облако. Как-то, размечтавшись о чем-то, эта самая Ираида написала в саду на заборе какие-то трогательные стихи. А.П. ей тут же, на заборе, ответил мелом следующим четверостишием:

О поэт заборный в юбке,  
Оботри себе ты губки.  
Чем стихи тебе писать,  
Лучше в куколки играть.

Вставали в этих шалашах очень рано. Иногда наша мать, Евгения Яковлевна, поручала с вечера братьям Антону и Ивану как можно раньше сходить на базар и купить там провизии к обеду. Ходил с ними туда и я, тогда еще маленький пригостишка. Однажды А.П. купил живую утку и, пока шли домой, всю дорогу теребил ее, чтобы она как можно громче кричала.

- Пускай все знают, - говорил он, - что и мы тоже кушаем уток.

На базаре А.П. присматривался к певчим птицам и к голубям, с видом знатока рассматривал на голубях перья и оценивал их. Это, мол, турман, а это - дикарь. Около голубей всегда можно было встретить такого же любителя Еру Дубодогло и поговорить с ним о ловле щеглов и чижей. Были у А.П. и свои собственные голуби, которых он каждое утро выгонял из голубятника вместе с жившим у нас на побегушках мальчуганом, страстным голубятником, Мишкой Черемисовым. Этот Мишка очень любил слушать проповеди священника и, возвращаясь от богослужения домой, всякий раз принимался сочинять проповеди и сам, причем каждое слово начинал с большой буквы. Писал он /77/ необыкновенную чепуху, и А.П. всегда поощрял его в этом и сам иногда диктовал ему. Когда два наши старшие брата, Александр и Николай, уехали в Москву поступать - один в университет, а другой в училище живописи, Мишка писал им туда проповеди, в которых братья тотчас же угадывали руку Антона. Я помню, что одно из таких писем-проповедей начиналось так: "Братие. Не будьте благомысленны".

Каждый день ходили на море купаться. По дороге заходили за знакомыми, и к морю шла всегда большая компания. Купались обыкновенно на Банном съезде, где берег был настолько отлогий, что для того, чтобы оказаться в воде по шею, нужно было пройти от берега по крайней мере полверсты. Вместе с нами ходили и две черные собаки, принадлежавшие А.П. В воде обыкновенно сидели целыми часами и когда шли обратно, то необыкновенно хотелось пить. По пути, на углу Итальянского переулочка и нашей улицы, была палатка, в которой продавали квас, - и было счастьем, когда у кого-нибудь из мальчиков находилась в кармане копейка, так как на копейку продавали целый громадный деревянный ковш, к которому мы припадали одновременно со всех сторон. Кто-нибудь из нас оказывался счастливец: он возвращался домой с моря с так называемой "болбиркой". Это кусок коры какого-то дерева, из которой местные рыбаки делали обыкновенно на свои сети поплавки. Найти на берегу "болбирку" считалось у нас особым расположением судьбы. Кора эта легко резалась по всем направлениям, и счастливцев долго сидел потом отдельно от всех и вырезал из нее кораблик или человека. Таким счастливецом не раз бывал и гимназист Антоша.

Часто ходили ловить рыбу, но занимались этим уже с другой стороны, невдалеке от гавани, там, где было устроено нечто вроде набережной, грубо сложенной из диких камней. Ловились все больше бычки. Один раз, я помню, поймали по числу дней в году - 365 штук, которых потом засолили, но они испортились, и их выкинули. В промежутках между ловлей купались, несмотря на то, что все дно было усыпано острыми камнями. Именно здесь, в одно из таких купаний, А.П. бросился с берега в воду и рассек себе об острый камень лоб. Шрам на левой стороне лба под самыми волосами /78/ оставался у него до самой смерти

и даже был внесен в качестве приметы в его паспорт, с которым он приехал в Москву из Таганрога по окончании курса гимназии, чтобы поступать в университет.

Довольно редко ходили гулять в городской сад, который тогда назывался Казенным, и еще реже выезжали за город. Сколько помню, всей семьей выезжали за все мое детство в деревню всего только один раз - это в слободу Криничку. К этой поездке приготавливались задолго. Старший брат Александр долго клеил себе из сахарной бумаги шляпу с широкими полями, которой потом испугал лошадь, а брат Николай, будучи пятнадцатилетним мальчиком, добыл себе откуда-то складной цилиндр (шапокляк) и задумал ехать в нем. Насмешкам со стороны Антона не было конца. Мамаша Евгения Яковлевна, конечно, напекла и наварила всякой снеди в дорогу. Наняли простого дрогаля, то есть ломового извозчика, Ивана Федорыча, устлали его дроги подушками, одеялами и ковром, и все семеро, не считая самого извозчика, уселись на дроги и поехали: мамаша, сестра Маша, братья - Александр в шляпе из бумаги, Николай в цилиндре, Антон, Иван и я. Даже и не представляю себе теперь, как мы могли разместиться на этих дрогах и ехать целые семьдесят верст туда и семьдесят обратно. И все время Николай сидел в цилиндре, босой и, прищурив один глаз, терпеливо выслушивал от Антона насмешки и название "Косой".

- Косой, дай покурить. Мордокривенко, у тебя есть табак?

Выехали за город, миновали еврейское кладбище - и перед нами открылся широкий Миусский лиман с церквами на том берегу. Мать истово крестилась на сверкавшие кресты на колокольнях, а нам, молодежи, было не до церквей, так как мы успели намолиться уже и дома. Нас охватило счастье свободы, выжженная уже июльская степь не казалась нам голой, и наше внимание привлекали к себе то птицы, каких мы никогда не видали в городе, то суслики, вылезавшие из норок, становившиеся на задние лапки и с писком и удивлением смотревшие нам вслед. Однако капризы брата Ивана раздражали всех.

- Джигалка, - кричал ему Антон, любивший /79/ давать каждому прозвание, - ты скоро, свинья этакая, окончишь?

А извозчик Иван Федорыч только покачивал головой и добродушно ворчал:

- Ну и парнишка... Когда вернемся, всех покатаю, а его не возьму.

Первый привал делали в Самбеке, на берегу речки. Распрягли лошадь, варили кашу, закусывали на ковре. Антон и Александр разводили костер. Николай в цилиндре лежал на траве и мечтательно, прищурив глаз, молча смотрел в пространство, а Иван, подсмывая носом, переобувался.

Проехали затем Абросимовку, Мигрину, Чутину и к вечеру, еще до захода солнца, добрались до Кринички. Это было обыкновенное село, в котором при церкви был колодец с очень холодной водой, почитавшейся целебной. Около нее был выстроен барак, в котором этой водой обливались, черпая ее ведрами из колодца. При въезде в Криничку Антон, все время дразнивший Николая за его цилиндр, наконец не выдержал и обил у него шляпу с головы. Цилиндр попал как раз под колесо, и его раздавило так, что с боков повылезли наружу пружины. Тем не менее безропотный Николай подобрал свой головной убор, снова надел его и

так, с пружинами, торчавшими из боков, и продолжал дальнейший свой путь. А в это время Александр кричал, сколько хватало у него сил:

- Эй, дивчина! Пойди скажи батюшке, что архирейская певческая приехала.

Не успели доехать и остановиться у какого-то крестьянина, как Александр и Антон уже достали откуда-то бредень и пошли на реку ловить рыбу. Поймали пять маленьких щучек и около сотни раков, из которых на следующий день мамаша сварила нам превосходный обед.

Целых двое суток провели мы в Криничке, причем не обошлось без происшествия: пропал бредень, которым Антон и Александр ловили рыбу. Пришла баба и наскандалила, очевидно рассчитывая получить отступного. Антон смутился и стал ей доказывать, что после ловли бредень был поставлен обратно на свое место, а Александр, серьезно глядя ей в глаза, нагло говорил: /80/

- Соображаясь с европейской политикой, я могу привлечь вас к ответственности за клевету. Прошу вас не забывать, что я коллежский регистратор.

И странное дело. В то наивное время этих слов было достаточно, чтобы бредень сразу нашелся и чтобы все обошлось как нельзя лучше.

Из Кринички отправились к дедушке в Княжую, верст за двадцать в сторону. Наш дедушка Егор Михайлович был в то время управляющим у графа Платова, сына известного атамана, героя 1812 года. Княжая представляла собою заброшенную барскую усадьбу с большим фруктовым садом при реке. Дедушка и бабушка жили в простой хатке, выстроенной ими специально для себя рядом с большим домом, так что когда мы приехали туда, то нас, мальчиков, поместили в этом доме, где мы никак не могли уснуть от необыкновенного множества блох, несмотря на то, что дом целыми десятилетиями оставался пустым. Сад, а главное простор и полная безответственность перед родителями делали наше пребывание в Княжой счастливым. И все время Антон потешался над Николаем и острил над его цилиндром. Здесь же этот несчастный цилиндр и нашел свою судьбу. Николай не мог расстаться с ним и во время купанья. Голый, в цилиндре, он барахтался в реке, когда Антон подкрался к нему сзади и сбил с него цилиндр. Шляпа свалилась у Николая с головы, упала в реку и, ко всеобщему удивлению, захлебнула воды и... утонула.

В этом же году А.П. тяжело заболел и чуть не отправился к праотцам. Несколько лет подряд у нас жил нахлебником мелкий чиновник коммерческого суда Гавриил Парфентьевич. Днем он служил в суде, а по вечерам играл в клубе на большие ставки, так что лет через десять имел уже своих лошадей, имение и капиталец. У него был брат Иван Парфентьевич, не имевший за душой ни гроша, но счастливо женившийся на богатой пожилой вдове, имевшей около Таганрога большую усадьбу. Эту Федосью Васильевну А.П. описывал потом не раз в своих произведениях, и она послужила для него прототипом для его Зюзюшки с ее крыжовенным вареньем в драме "Иванов". Этот самый Иван Парфентьевич пригласил к себе погостить Антошу. По дороге в имение потный Антоша выкупался в /81/ холодной реке и захватил перитонит в самой тяжелой форме.

- Заболел у меня Антоша, - говорил мне потом, лет двадцать спустя, Иван Парфентьевич, с которым я встретился случайно у моей тетушки Марфы Ивановны, - не знаю, что с ним делать. Уж я его завез на еврейский постоялый двор, и там мы его с еврейкой и уложили на ночь.

Антошу привезли домой тяжело больным. Как сейчас вижу его, бледного, осунувшегося, худого. Около него гимназический доктор Шремпф, который перед каждой фразой говорит с немецким акцентом:

- Антоша, если ты хочешь быть здоров...

Озабоченная мамаша жарит на сковородке льняное семя для припарок и трет миндаль для питья, а я бегая в аптеку Мельхера, что против памятника Александра I, за пилюлями, на каждой из которых, к моему удивлению, напечатано имя их изобретателя: "Covin, Paris". Уже будучи врачом, А.П. говорил впоследствии, что это совершенно ненужные, рекламные пилюли.

Эта болезнь оставила в А.П. большие воспоминания. Это была первая тяжкая болезнь, какую он испытал в жизни, и именно ей он приписывал то, что уже со студенческих лет стал хворать жестоким геморроем. Постоялый же двор, в который завозил его Иван Парфентьевич, и симпатичные евреи выведены им в "Степи" в лице Моисея Моисеевича, его жены и брата Соломона.

В июле 1876 года семья Чеховых, как я упомянул, эмигрировала из Таганрога в Москву. В Таганроге остался один Антон П-ч, чтобы закончить шестой, седьмой и восьмой классы гимназии, и его жизнь за эти три года осталась для меня неизвестной. За все это время он только один раз приехал к нам в Москву на рождество, отгостил и уехал. Сколько знаю, он проводил свои гимназические каникулы за этот период времени в следующих трех местах: у вышеупомянутого Ивана Парфентьевича, вместе с которым разъезжал по степи по разным делам, вроде продажи Варламову шерсти ("Степь"), у его племянника Пети Кравцова и у своего приятеля по гимназии В.И.Зембулатова - впоследствии врача Московско-Курской железной дороги.

У нас в Таганроге был свой собственный дом на Конторской улице, выстроенный нашим отцом на /82/ пустыре, подаренном ему нашим дедом Егором Михайловичем, жившим в Княжой. Дом этот был выстроен на последние крохи, причем недостававшие пятьсот рублей были взяты под вексель из местного общества взаимного кредита. Поручителем по векселю был некто Костенко, служивший в том же кредите. Долгое время переворачивали этот несчастный вексель, пока, наконец, отцу не пришлось признать себя несостоятельным должником. Костенко уплатил по векселю и предъявил к отцу встречный иск в коммерческом суде. В то время неисправных должников сажали в долговую яму, и отцу нужно было бежать. Но куда? В то время два его старшие сына, Александр и Николай, уже учились в Москве. Ну, конечно - в Москву. Таким образом, благодаря этому векселю судьбой предрешена была эмиграция всей чеховской семьи в Москву.

Дело о векселе производилось в коммерческом суде. Там же, в этом суде, служил и друг семьи, Гавриил Парфентьевич, и дело устроилось так, что без всяких торгов наш дом был укреплен за ним, как за собственником, всего только за пятьсот рублей. Таким образом, в наш дом, уже в качестве хозяина, въехал



Гавриил Парфентьевич, и последняя связь Чеховых с Таганрогом, к скорби матери, порвалась навеки. Пока происходила эта процедура, Антоша продолжал жить в отцовском доме. Да так вместе с ним перешел и к новому владельцу. У Гавриила Парфентьевича был племянник Петя Кравцов, сын казацкого помещика из Донецкого округа, который готовился к поступлению в юнкерское училище. И вот за стол и квартиру Антоша должен был репетировать этого Петю, близко сошелся с ним и полюбил его. Когда наступало лето, то этот Петя приглашал его к себе на хутор, и А.П. впоследствии с восторгом рассказывал мне о своем пребывании в этой чисто американской первобытной семье. Там он научился стрелять из ружья, понял все прелести ружейной охоты, там он выучился гарцевать на безудержных степных жеребцах. Там были такие злые собаки, что, для того чтобы выйти ночью по надобности на двор, нужно было будить хозяев. Там не знали счета домашней птице, которая настолько дичала, что не давалась в руки, и для того чтобы иметь курицу на обед, в нее нужно было стрелять из ружья. Там уже начиналась антрацитная и /83/ железнодорожная горячка, и уже слышались звуки сорвавшейся в шахте бадьи ("Вишневый сад"), строились железнодорожные насыпи ("Огни") и катился сам собой оторвавшийся от поезда товарный вагон ("Страхи"). Впоследствии, уже будучи литератором и врачом, А.П. все еще помнил об этом Пете и посылал ему олеографии, которые давались в премии к разным иллюстрированным журналам. Я помню, как Петя прислал ему однажды за это благодарственное письмо, в котором высказывал сожаление, что его родные, получив эти олеографии, "оценили их не по качеству, а по количеству".

Ездил А.П. и к В.И.Зембулатову в усадьбу {83}, как только наступало лето. Любитель давать каждому человеку название, Антоша, еще гимназистом, прозвал этого толстяка Макаром. Так эта кличка и осталась за почтенным доктором до самой его смерти. На вопрос учителя, как по-гречески слово "блаженный", В.И. вместо "макар" ляпнул "макар" и этим, благодаря Антоше, перекрестил себя для всей гимназии и затем для университета и для жизни. Я очень жалею, что судьба разлучила меня на три года с братом и что эти три года его жизни так и остались неизвестными в его биографии. Впоследствии, уже после смерти А.П., А.С.Суворин рассказывал мне, со слов его самого, следующее: где-то в степи, в чьем-то имении, А.П., будучи еще гимназистом, стоял у одинокого колодца и глядел на свое изображение в воду. Пришла девочка лет пятнадцати за водой. Она так пленила собой будущего писателя, что он тут же обнял ее и стал целовать. Затем оба они еще долго простояли у колодца и смотрели молча в воду. Ему не хотелось уходить, а она совсем позабыла о своей воде. Об этом Чехов, уже будучи большим писателем, рассказывал Суворину, когда оба они разговорились на тему о параллельности токов и о любви с первого взгляда.

В 1879 году, уже к концу лета, А.П. приехал в Москву поступать в университет и так и остался в ней совсем. Тогда мы жили очень бедно, в самом настоящем подвале дома церкви Николая, что в Грачах, нам совсем было не до дач и не до выездов за город на каникулы, и А.П., уже студенту, приходилось каждое лето проводить в Москве и не отправляться дальше /84/ Богородского, Сокольников и других подмосковных дачных поселков, так талантливо

осмеянных им в "Пестрых рассказах". По-видимому, он не чувствовал себя скучно летом в душной Москве. Антон Павлович заводил знакомства, входил в литературную среду, заинтересовался газетами и журналами, был своим человеком в московских редакциях. В этот период он совершил вместе с братом Николаем поездку в Таганрог, где они и попали на свадьбу брата нашей тетушки Марфы Ивановны {84} и даже были шаферами. Удалые, веселые, они разошлись до того, что выбросили в окошко, прямо в снег, нераскупоренное шампанское. Впоследствии тетя рассказывала мне, что весной, когда сошел снег, все эти бутылки нашли в саду невредимыми и распили потом за здоровье обоих братьев. Плодом этой поездки была потом большая, in folio\*, карикатура, рисованная Николаем, с текстом Антоши Ч., помещенная им в журнале "Зритель", кажется под заглавием "Свадебный сезон" {84}. Начинается она так: "Господа шафера, черти, подождите, Марья Власьевна потерялась..." и т.д.

---

\* в лист (лат.).

В 1880 году наш брат Иван Павлович выдержал экзамен на приходского учителя и получил место в заштатном городке Воскресенске, Московской губернии, в одном километре от которого находится знаменитый монастырь Новый Иерусалим, составляющий точную копию с подлинного иерусалимского храма в Палестине. Во всем этом городе было всего только одно учебное заведение - приходское училище, которым и стал заведовать Иван Павлович. Попечителем этого училища был знаменитый суконщик Цуриков, который не пожалел средств на его сооружение, и у Ивана Павловича оказалась вдруг просторная, хорошо обставленная квартира, рассчитанная не на одинокого холостого юношу-учителя, а прямо на целую семью. Для Чеховых, живших тогда тесно и бедно, это было чистой находкой. Едва только у Миши и у Маши кончались экзамены, как Евгения Яковлевна уже ехала с ними в Воскресенск на подножный корм и проживала там до самого начала учения. В Воскресенске тогда стояла батарея ("Три сестры"), которой командовал полковник Маевский. С первого же появления своего в этом городке Иван /85/ Павлович был приглашен к Маевскому давать уроки его девочкам Ане и Соне, у которых был еще маленький братишка Алеша ("Детвора"). Кроме этой семьи, которая давала тон всей жизни в Воскресенске, здесь постоянно проживал еще известный автор проекта введения земских соборов П.Д.Голохвастов и его жена Ольга Андреевна, драмы которой шли в Малом театре в Москве. Поручик батареи Е.П.Егоров был близким приятелем братьев Чеховых и упомянут А.П. в его рассказе "Золотая Коса". Впоследствии этот Е.П.Егоров вышел в отставку и был земским начальником в Нижегородской губернии, куда в 1892 году к нему ездил А.П., и оба они принимали там участие в борьбе с голодом и в обеспечении крестьян рабочими лошадьми.

Еще будучи студентом, А.П. наезжал летом в Воскресенск, где с первых же шагов нашел порядочный круг знакомых. Высокий, в черной крылатке и широкополой черной шляпе, он принимал участие в каждой прогулке, а гуляли

большими компаниями и каждый вечер, причем дети гурьбой бежали далеко впереди, а взрослые шли позади и вели либеральные беседы на злобы дня.

Тогда же, начиная с 1881 года, А.П. стал участвовать в приеме больных в Чикинской земской больнице, находившейся километрах в двух от Воскресенска, которою заведовал известный в то время земский врач П.А.Архангельский. Павел Арсентьевич был очень общительным человеком, и около него всегда собиралась для практики медицинская молодежь, из которой многие сделались потом врачебными светилами. Там А.П. познакомился с В.Н.Сиротининым, Д.С.Таубер, М.П.Яковлевым. Часто, после многотрудного дня, вся эта молодежь собиралась у одинокого Архангельского, и создавались вечеринки, на которых говорилось много либерального и обсуждались выдающиеся произведения тогдашней беллетристики и научной литературы. Салтыков-Щедрин не сходил с уст - им положительно бредили. Тургеневым зачитывались.

В 1884 году А.П. окончил курс в университете и явился в Чикинскую больницу на практику уже в качестве врача. Здесь-то он и почерпнул сюжеты для своих рассказов "Беглец", "Хирургия" и др., а знакомство /86/ с воскресенским почтмейстером Андреем Егорычем дало ему тему для рассказа "Экзамен на чин".

В том же году, в середине лета, А.П., прихватив и меня с собой, отправился в Звенигород, уже в качестве заведующего тамошней больницей на время отпуска ее врача С.П.Успенского. Вот тут-то А.П. пришлось окунуться в самую гущу провинциальной жизни. Кроме лечения больных в земской лечебнице, он исполнял еще и должность уездного врача, уехавшего жениться, а потому обязан был выезжать с судебным следователем на вскрытия, исполнять поручения местной администрации и быть экспертом в суде. Именно здесь был дом, в котором помещались сразу все правительственные учреждения и о котором один из героев Чехова говорит: "Здесь и полиция, здесь и милиция, здесь и юстиция - совсем институт благородных девиц" {86}. Звенигородские впечатления дали Чехову темы для рассказов "Мертвое тело", "Сирена" и др.

В двадцати пяти верстах от Воскресенска, в котором учительствовал И.П., находится Павловская слобода, в которой стояла артиллерийская бригада. К этой бригаде принадлежала и та батарея с Маевским во главе, которая квартировала в Воскресенске. По какому-то случаю в Павловской слободе был бригадный бал, на котором, само собой разумеется, должны были присутствовать и офицеры из Воскресенска. Поехал туда с ними и И.П. Каково же было его удивление, когда по окончании бала все эти офицеры решили заночевать в Павловской слободе, а ему с утра уже нужно было открывать свое училище. К тому же была зима и отправиться домой пешком было невозможно. На его счастье, из офицерского собрания вышел один из приглашенных гостей, которому тут же была подана тройка. Увидев на крыльце собрания беспомощного И.П., человек этот предложил ему место около себя и довез его до Воскресенска, а сам поехал далее. Это и был А.С.Киселев, живший в Бабкине, в пяти километрах от Воскресенска, племянник известного парижского посла и господаря Молдавии графа П.Д.Киселева, основавшего в России министерство государственных имуществ. Алексей Сергеевич Киселев был женат на дочери известного тогда московского красавца и директора тогдашних императорских театров В.П.Бегичева - Марии /87/

Владимировне. У них были дети - Саша (девочка) и Сережа, ставшие впоследствии друзьями Антона Чехова, для которых он написал свою шутку с иллюстрациями "Сапоги всмятку". Познакомившись за дорогу с И.П., А.С.Киселев пригласил его к себе в репетиторы - так и сложилась связь чеховской семьи с Бабкиным и его обитателями. Началась она с того, что наша сестра Маша познакомилась через И.П. с Киселевыми и, сдружившись с Марией Владимировной, стала гасить в Бабкине, а затем, с весны 1885 года, и вся семья Чеховых переехала туда на дачу.

Как уже писалось не раз, Воскресенск и Бабкино сыграли выдающуюся роль в развитии дарования Антона Чехова. Не говоря уже о действительно очаровательной природе, где к услугам дачников были и большой английский парк, и река, и леса, и луга, а из Воскресенска, из Нового Иерусалима, доносился бархатный звон колокола, - и самые люди собрались в Бабкине точно на подбор. Получались решительно все толстые журналы: Киселевы были очень чутки ко всему, что относилось к искусству и литературе; В.П.Бегичев так и сыпал воспоминаниями, знаменитый в свое время тенор М.П.Владиславлев пел модные романсы, а Е.М.Ефремова каждый вечер знакомила с Бетховеном и другими великими музыкантами. Тогда композитор П.И.Чайковский, только что еще начавший входить в славу, занимал бабкинские умы. Мария Владимировна Киселева рассказывала удивительные истории. Между прочим, рассказом "Смерть чиновника" Антон Чехов обязан случаю, рассказанному В.П.Бегичевым и действительно имевшему место в московском Большом театре. "Налим" происходил в натуре при постройке купальни, "Дочь Альбиона" - мисс Матьюз, гувернантка приезжавших в Бабкино гостей. "Недоброе дело" и "Ведьма" навеяны одинокой церковью с сторожкой, стоявшей на большой дороге в Дарагановском лесу.

Поразительно, что Бабкино сыграло выдающуюся роль и в художественном развитии творца школы русского пейзажа И.И.Левитана. Верстах в трех от Бабкина, по ту сторону реки, на большой Клинской дороге, находилась деревня Максимовка. В ней жил горшечник Василий, горький пьяница, пропивавший буквально все, /88/ что добывал, и не было времени, когда бы его жена не ходила брюхатой. Совершенно независимо ни от кого художник Левитан отправился летом на этюды и поселился у этого горшечника. Как известно, на Левитана находили иногда припадки меланхолии. В таких случаях он брал ружье и уходил на неделю или на две из дому, пропадал неизвестно где и не возвращался до тех пор, пока жизненная радость не осеняла его снова. Или же он сидел, мрачный и молчаливый, дома, в четырех стенах, и ни с кем не общался, или же, как дух изгнания, окрестив на груди руки и повесив голову, блуждал в одиночестве невдалеке.

Случилось так, что дождь лил несколько дней подряд, унылый, тоскливый, упорный, как навязчивая идея. Пришла из Максимовки жена горшечника пожаловаться на свои болезни и сообщила, что ее жилец Тесак (Исаак) Ильич захворал. Для Чеховых было приятным открытием, что Левитан находился так близко от Бабкина, и А.П. захотелось его повидать. Мы уже

отужинали, дождь лил как из ведра, в большой дом (к Киселевым) мы не пошли, и предстоял длинный вечер у себя во флигеле.

- А знаете что, - вдруг встрепнулся А.П., - пойдемте к Левитану.

Мы - А.П., брат Иван и я - надели большие сапоги, взяли с собой фонарь и, несмотря на тьму кромешную, пошли. Спустились вниз, перешли по лавам через речку, долго шлепали по мокрым лугам и затем по болоту и наконец вошли в дремучий Дарагановский лес. Было дико в такую пору видеть, как из мрака к фонарю протягивались лапы столетних елей и кустов. А дождь лил как из ведра. Но вот и Максимовка. Отыскивали избу горшечника, которую узнаем по битым вокруг нее черепкам, и, не постучавшись и не окликнув, вламываемся к Левитану, чтобы сделать ему сюрприз, и направляем на него фонарь.

Левитан вскакивает, хватается револьвер и наводит его на нас. А затем, узнавши нас, он хмурится от света и говорит:

- Чегт знает, что такое... Какие дугаки. Таких еще свет не пгоизводил...

Мы посидели у него, посмеялись, А.П. острил много, и благодаря нам развеселился и Левитан. /89/

А несколько времени спустя он переселился к нам в Бабкино и занял отдельный маленький флигелек. Один из бабкинских обитателей по этому поводу написал стихи:

А вот и флигель Левитана,  
Художник милый здесь живет,  
Встает он очень-очень рано,  
И, вставши, тотчас чай он пьет

А.П. написал вывеску и прибил ее над дверью флигелька: "Ссудная касса купца Левитана".

Такую экскурсию, какую мы совершили в Максимовку, можно было предпринимать только будучи молодыми и очень веселыми.

В Бабкине А.П. прожил три лета подряд, в 1885, 86 и 87 годах. Здесь он написал все свои самые веселые, самые жизнерадостные вещи, которые помещал в "Осколках" и в "Петербургской газете". Писал он на маленьком столике на чугунных ножках, сделанном из подставки под ножную швейную машину. Его талант развертывался во всю свою ширь, и Чехов шел быстрым шагом к славе. Между тем и слава его как врача распространялась вокруг Бабкина по радиусу по меньшей мере верст в пятнадцать. К нему съезжались и сходились больные со всех окрестных деревень, так что у нас образовалось нечто вроде амбулатории с целой аптекой, причем отпускать и развешивать лекарства, а также варить сложные мази лежало на моей обязанности А.П. как врача не щадили даже по ночам. Один раз за ним приехали из Карцева, за двенадцать верст, в грозовую ночь, он захватил с собой и меня, и мы оба, в первый раз в жизни, проезжая мимо болота, собственными глазами видели блуждающие огни.

В марте 1888 года у А.П. на Кудринской-Садовой заговорили о даче. В Бабкино ехать уже не хотелось, ибо ему нужны были новые места и новые сюжеты, и он стал даже поговаривать о Святых горах Харьковской губернии и о

дачах в Карантине близ Таганрога. Но в это время на помощь явился А.И.Иваненко. Хохол, уроженец города Сумы, он схватился обеими ладонями за щеки и, покачивая головою с боку на бок, стал с увлечением расхваливать свою родину и советовать А.П. поехать на дачу именно туда. Он указал при этом на местных помещиков Линтваревых, живших /90/ около Сум, на Луке. А.П. попросил его описать с ними, и вскоре был получен от них благоприятный ответ. Таким образом, вопрос о поездке в Украину был решен, хотя и не окончательно, так как А.П. не решался еще сразу нанять дачу заглазно и ехать так далеко всею семьей, без более точных сведений как о самой даче, так и об ее владельцах Линтваревых.

В это время я был студентом третьего курса. Заработав перепиской лекций и печатанием рассказов в детских журналах, как теперь помню, восемьдесят два рубля, я решил прокатиться на юг, в Таганрог и в Крым, и возвратиться оттуда прямо на север. Решения ехать в Украину я не одобрял, так как очень привык к Бабкину и нежно привязался к его милым обитателям. Когда я выезжал 17 апреля из Москвы, то А.П. обратился ко мне с просьбою свернуть от Курска к Киеву и, доехав до Ворожбы, снова свернуть на Сумы, побывать у Линтваревых, осмотреть там дачу на Луке, познакомиться, сообразить, что и как, и обо всем подробно ему отписать.

Эта поездка не входила в мои планы, тем не менее я туда поехал.

После щегольского Бабкина с его английским парком, цветами и оранжереями Лука произвела на меня жалкое впечатление. Усадьба была запущена, посреди двора стояла лужа, в которой с наслаждением валялись громадные свиньи и плавали утки, сад походил на запущенный лес, да еще в нем находились могилки покойников - предков Линтваревых; сами Линтваревы, считавшие себя либералами, увидевши на мне студенческий мундир с ясными пуговицами, отнеслись ко мне как к консерватору. Одним словом, мое первое знакомство с Лукой оказалось не в ее пользу. Так я и писал Антону с дороги, советуя ему не очень торопиться с переездом на лето в Сумы.

Но, пока я гостил в Таганроге да пока ездил в Крым, А.П. все-таки снял дачу у Линтваревых на Луке и с первых же чисел мая переехал туда с матерью и сестрой.

Возвратившись с юга, я застал у А.П. поэта А.Н.Плещеева. Старик приехал к нему гостить из Питера, что при его преклонных годах можно было назвать настоящим подвигом. Все обитатели Луки носились с ним, как со святыней, - тут-то я и увидал всех Линтваревых и самую Луку в их настоящем виде. /91/

Вот как А.П. сам охарактеризовал Луку: "Живу я на берегу Псла, во флигеле старой барской усадьбы. Нанял я дачу заглазно, наугад, и пока еще не раскаялся в этом. Река широка, глубока, изобильна островами, рыбой и раками... Берега красивы, зелени много... Природа и жизнь построены по тому шаблону, который теперь так устарел и бракуется в редакциях, не говоря уж о соловьях, которые поют день и ночь, о лае собак, который слышится издали, о старых запущенных садах, о забитых наглухо очень поэтичных и грустных усадьбах, в которых живут души красивых женщин, не говоря уж о старых, дышащих на

ладан лакеях-крепостниках, о девицах, жаждущих самой шаблонной любви. Недалеко от меня имеется даже такой заезженный шаблон, как водяная мельница (о 16 колесах) с мельником и его дочкой, которая всегда сидит у окна и, по-видимому, чего-то ждет. Все, что я теперь вижу и слышу, мне кажется давно уже знакомо по старинным повестям и сказкам" (к А.С.Суворину, 30 мая 1888 г.).

Семья Линтваревых состояла из предобрейшей старушки-матери и пяти ее взрослых детей: две дочери были врачами, третья - бестужевка; один сын был серьезным пианистом, другой - политическим изгнанником из университета. Все они были необыкновенно добрые люди, ласковые, отзывчивые и, я сказал бы, не особенно счастливые. Приезд к ним А.П., а с ним вместе и разных знаменитостей вроде А.П.Плещеева, которому они привыкли поклоняться еще в дни своего студенчества, по-видимому пришелся им по вкусу. Установились превосходные отношения, которые пережили Луку на многие годы. Как и в Бабкине, и здесь преобладали музыка и разговоры о литературе, в особенности когда на Луку приехал, тоже на дачу, виолончелист М.Р.Семашко и побывали А.С.Суворин и К.С.Баранцевич. Ловили рыбу и раков, ездили на челнах к мельнице и по ту сторону реки. А.П. много писал, но жизнь на Украине почему-то не давала ему столько тем, как в предшествовавшие годы в Бабкине: он интересовался ею только платонически. Если не считать старого крепостного лакея Григория Алексеевича, который навезл ему собою Фирса в "Вишневом саду", да двух-трех заметок в записной книжке, вроде "Липовая аллея из пирамидальных тополей", и "Черкесский князь ехал /92/ в малиновом шерботе в открытом фельетоне", какими подарила нас гостившая на Луке учительница Лидия Федоровна, то Лука в литературном отношении не дала Чехову ничего. Он писал здесь на уже готовые, привезенные им с собою с севера темы и окружавшую его жизнь наблюдал только этнографически.

В первый же год пребывания на Луке, в середине лета, А.П. отправился гостить к А.С.Суворину в Феодосию. Там, совместно с его сыном Алексеем Алексеевичем, он разработал обширный план поездки в Среднюю Азию и в Персию, и в июле оба они отправились в путь. Они поехали вдоль кавказского побережья до Батума, и А.П. писал оттуда восторженные письма: "Я в Абхазии" {92}, и т.д. Именно по пути в Батум чуть не случилось столкновение двух пароходов - "Дира", на котором ехал Чехов, и английского "Твиди". Но путешествие в Среднюю Азию не суждено было осуществиться, так как по пути получилась из Феодосии телеграмма, что неожиданно скончался другой сын Суворина, и попутчику А.П. необходимо было спешно вернуться домой. Доехав только до Баку, оба путника вернулись в Тифлис, затем отправились по Военно-Грузинской дороге на север, расстались в Тихорецкой, и далее А.П. уже один поехал в Сумы, на Луку. Но как ни малорезультатна была эта поездка Чехова, она дала тем не менее ему хотя и отдаленный материал для будущей повести "Дуэль".

В это же лето А.П. совершил две поездки в самую глубь Украины, в июне и в августе, с целью купить себе там хутор. Он отправился в Миргородский уезд, туда, "где неистовствовал Ноздрев и где Иван Иванович поспорил с Иваном Никифоровичем". Обе эти поездки были совершены на лошадях четвериком, в большом старинном экипаже, через Межиричи, Рашевку, Сары и Бакумовку в

Сорочинцы, где родился Гоголь и где наводила на всех ужас "красная свитка" {92}. Во второй поездке участвовал и я, и она никогда не изгладится из моих воспоминаний. На А.П. она произвела тоже сильное впечатление, о чем он тогда же писал А.Н.Плещееву {92}. Вернулись мы обратно на Луку уже по железной дороге, через Кременчуг, Полтаву и Люботин.

Приезжал на Луку гостить П.М.Свободин - тогда артист Александринского театра. Он сразу же завоевал всеобщие симпатии и стал там своим человеком. Он был /93/ неистощим на выдумки, и случалось даже видеть, как на берегу Псла он стоял с удочкой и ловил рыбу или раков, нарядившись во фрачную пару, крахмальные воротнички, белые перчатки и цилиндр. Целой компанией ездили в соседний городишко Ахтырку, где, чтобы смутить прислугу в гостинице, П.М.Свободин разыгрывал графа, а А.П. его камердинера и подобострастно называл его "вашим сиятельством".

Следующее лето (1889 года) Чеховы опять провели на Луке, но уже не так весело и жизнерадостно, как это было до сих пор. Их семью посетило несчастье: умер брат А.П. - художник Николай, и до сих пор лежит на мирном Лучанском кладбище. Смерть его застала А.П. врасплох, когда вместе с братом Иваном он опять, в третий раз, отправился на лошадях в те же Сорочинцы смотреть продававшийся хутор. Едва он приехал туда, весь промокший от дождя, как ему уже подали мою телеграмму о смерти брата, так что пришлось сразу же, не отдохнувши, ехать обратно на похороны. И в этот второй год приезжал на Луку П.М.Свободин, но чувствовалось уже не то, и ясно было, что в А.П. происходило что-то роковое. Он спешил с покупкой хутора, а между тем и в его здоровье произошла перемена к худшему, и когда мы вернулись затем к осени в Москву, то я стал слышать через дощатую перегородку, разделявшую наши спальни, тяжелые припадки утреннего кашля.

В этом году я кончил курс в университете, и, отчасти благодаря моим лекциям по уголовному праву и судопроизводству, А.П. стал собираться на Сахалин. Он готовился к этой поездке осень, зиму и часть весны и 20 апреля 1890 года отправился на Дальний Восток. Мы остались сиротами, одни.

Таким образом, 1890 год прошел для Антона Чехова вовсе без каникул.

В его отсутствие я получил место в городе Алексине, Тульской губернии, на высоком берегу Оки. Это был жалкий городишко, всего только с семьями жителей, но окрестности вокруг него были очаровательны. Вид с кручи, с того места, где находится собор, вниз на Оку, на протянувшийся через нее, как кружево, железнодорожный мост, на поселок с лесопилками, развернувшийся на той стороне, а главное, на Калужскую /94/ губернию с большой дорогой, обсаженной березами, и рядом с ней на железнодорожное полотно, в особенности когда взбирался на гору поезд, подталкиваемый сзади вторым локомотивом, - был не сравним ни с чем. По ту сторону, у станции, на лужку, некто Ковригин выстроил три дачки. Из одной был виден весь железнодорожный мост и круто поднимавшийся противоположный берег. И, глядя на нее с этого высокого берега зимою 1890 года, я даже и в воображении не имел, что мы, Чеховы, будем жить в ней всей семьей.



Весною 1890 года А.П. отправился на остров Сахалин. Он возвратился оттуда 8 декабря того же года. После грандиозного путешествия жизнь в Москве сразу же показалась А.П. мизерной и неинтересной, а потому и не удивительно, что в начале марта он махнул вместе с А.С.Сувориным за границу. До этого он еще ни разу не был в Западной Европе. И она поразила его во всех отношениях: он увлекался в ней и культурностью, и природой, и городами. Он посетил "голубоглазую" Венецию, Рим, Неаполь. В Неаполе он побывал на самом кратере Везувия. Затем он отправился в Париж, вкусил все его премудрости. Был в Биаррице и видел там бой быков, что послужило для него добавлением к тем тяжелым впечатлениям, которые он испытал на Сахалине, присутствуя при телесных наказаниях, которым подвергали каторжных. Тем не менее эта поездка произвела на А.П. очень большое впечатление и послужила для него именно тем каникулярным отдыхом, который умели ценить разве только одни гимназисты после многотрудных экзаменов по греческому языку и по латыни.

А тем временем подкрадывался уже май 1891 года, когда необходимо было подумывать о возвращении на родину и о даче, так как нельзя же было прожить все лето в Москве.

И вот мне было поручено найти дачу под Алексином во что бы то ни стало. Так я и получил директиву - "во что бы то ни стало". Мои поиски оказались безрезультатными, а время не ждало, так как А.П. ехал уже в Россию, и я снял одну из тех жалких ковригинских дач у железнодорожного моста на берегу Оки, о которых писал выше.

1-го мая А.П. был уже в Москве, а 3-го в Алексине. Конечно, дача моя ему не понравилась, так как при ней /95/ не было даже забора, а стояла она одиноко у опушки леса; было вообще неуютно и невесело, и к тому же с первого же дня задул такой ветер, что не хотелось выходить на воздух. У нашей сестры Марии Павловны была подруга Лидия Стахиевна Мизинова, очаровательная девушка, которую сестра в шутку представляла так: "Подруга моих братьев и моя". И действительно, эта Лидия Стахиевна, или, как все мы ее звали, Лика, была нашим лучшим другом. Я не скажу, чтобы кто-нибудь из нас, братьев, пылал к ней, но нам было с нею весело, и мы без нее скучали. Она обладала необыкновенным даром понимать шутки и отвечать на них еще более острыми и более удачными шутками. Она никогда не хныкала, не жаловалась и всегда была весела, хотя мы и знали отлично, как иногда тяжело ей приходилось в жизни. Когда она приезжала к нам, то у нас все оживало, и даже отец наш Павел Егорович подсаживал ее к себе и угощал настоечкой из березовых почек.

Поселившись на даче под Алексином, тотчас же выписали Лику. Она приехала к нам на пароходе, через Серпухов, вместе с Левитаном, и, откровенно говоря, нам некуда было их обоих положить. Начались смехи, неистощимые остроты А.П., влюбленные вздохи Левитана.

Вообще у нас на берегу Оки сразу как-то повеселело. А то угрюмость дачи и беспрестанный ветер сразу понизили у всех нас настроение - и больше всех мучился я.

Вместе с Ликой и Левитаном ехал на пароходе молодой человек в поддевке и в больших сапогах, оказавшийся местным помещиком, некто

Е.Д.Былим-Колосовский. Они познакомились. Узнав от Лики, что она едет к Чеховым, которые поселились на даче у железнодорожного моста, Колосовский принял это к сведению, потому что не прошло и двух дней, как он уже прислал за нами две тройки, приглашая нас к себе. Мы поехали. Это было так провинциально и забавно, а главное - загадочно, так как этого Колосовского мы, Чеховы, не видали в глаза. Но путешествие вышло довольно интересное. Проехав верст десять - двенадцать, мы увидели себя в великолепной запущенной барской усадьбе Богимове, с громадным каменным домом, в котором останавливалась еще Екатерина II, когда ехала к Потемкину /96/ на юг, с бесконечными липовыми аллеями, уютной рекой, прудами, водяной мельницей и пр. и пр. Комнаты в доме были так велики, что эхо повторяло слова. В гостиной были колонны. В зале - хоры для музыкантов. Кончилось дело тем, что, побывав в Богимове, А.П. уже писал 17 мая той же Лике, возвратившейся от нас в Москву, следующие строки: "Золотая, перламутровая и фильдекосовая Лика... мы оставляем эту дачу и переносим нашу резиденцию в верхний этаж дома Колосовского, того самого, который напоил Вас молоком и при этом забыл угостить Вас ягодами"; и 18 мая А.С.Суворину: "Ликуй ныне и веселися, Сионе!.. Я познакомился с неким помещиком Колосовским и нанял в его заброшенной, поэтической усадьбе верхний этаж большого каменного дома. Что за прелесть, если бы Вы знали. Комнаты громадные, как в благородном собрании, парк дивный, с такими аллеями, каких я никогда не видел, река, пруд, церковь для моих стариков и все, все удобства". И 20 мая ему же: "Я перебрался на другую дачу. Какое раздолье! Комнаты громадные. Когда мы устанавливали мебель, то утомились от непривычного хождения по громадным комнатам. Прекрасный парк, пруд, речка с мельницей, лодка - все это состоит из множества подробностей, просто очаровательных".

В Богимове мы уже застали "готовых" дачников. Это были: В.А.Вагнер - впоследствии известный профессор зоологии, живший там с женой и тетушкой, и семья тоже известного художника, академика А.А.Киселева, которая состояла из милых детей-подростков, угощавших А.П. спектаклями из ими же инсценированных его рассказов {96}. Сам А.А.Киселев был в начале лета на этюдах на Кавказе, но вскоре возвратился в Богимово. Таким образом, в интеллигентной компании недостатка не было, и жизнь протекала далеко не скучно.

А.П. занимал в Богимове бывшую гостиную - громадную комнату с колоннами и с таким невероятных размеров диваном, что на нем можно было усадить рядом человек двенадцать. На этом диване он опал. Когда ночью проносилась гроза, то от ярких молний вспыхивали все громадные окна, так что становилось даже жутко. Каждое утро А.П. поднимался чуть свет, часа в четыре, поднимался вместе с ним и я спозаранку и варил кофе в специально привезенном мною из Тулы /97/ двухэтажном кофейнике. Напившись кофе, А.П. усаживался за работу, причем всегда писал не на столе, а на подоконнике, то и дело поглядывая в парк. Писал он свою повесть "Дуэль" и приводил в порядок сахалинские материалы, что действительно представляло собою "каторжную работу". Работал

он, не отрываясь, до одиннадцати часов, после чего ходил в лес за грибами, ловил рыбу или расставлял верши. В час дня мы обедали, причем на моей обязанности лежало приготовить к обеду какую-нибудь вкусную горячую закуску, о чем всегда просила меня мать, - и я изошрялся на все лады и достиг такого совершенства, что из меня выработался потом довольно сносный и изобретательный кулинар. И сам А.П. настолько привык в Богимове к моему творчеству, что всякий раз, выходя к столу, обращался ко мне с вопросом:

- Миша, нет ли у тебя чего-нибудь такого-этакого подзакусить?

После обеда А.П. ложился спать, а затем снова принимался за работу и не отрывался от нее до самого вечера. Вечером же начинались дебаты с зоологом В.А.Вагнером на темы о вырождении, о праве сильного, о подборе и т.д., легшие в основу философии фон Корена в "Дуэли".

Этим я заканчиваю каникулы Антона Чехова. Богимову было суждено остаться последней дачей А.П., так как в следующем, 1892 году он уже приобрел свое собственное имение Мелихово, и его дачные мытарства окончились. Теперь лето и зима соединились для него вместе, и сельская жизнь, о которой он всегда так мечтал, приняла его в свои объятия сразу на целые годы и продолжалась до тех пор, пока болезнь не заставила его бросить север и переселиться на постоянное жительство в Крым.

### ***В.А.СИМОВ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ЧЕХОВЕ***

Сорок пять лет тому назад. По многочисленным материалам мы легко себе представляем Антона Павловича в семейном кругу, в домашней обстановке московской, мелиховской или ялтинской, наконец хорошо знаем его литературное окружение. Но есть еще маленький, дружный коллектив, где Чехов часто и охотно бывал. И эта черточка из его биографии сравнительно слабо освещена.

Чтобы полнее воспринять изображаемый здесь эпизод, нужно перенестись в Москву восьмидесятых годов. Постановка оперного дела тогда была довольно печальна.

За кулисами Большого театра царил бюрократизм, на сцене господствовала рутина, оперы ставились без всякого разбора, небрежно и спешно.

Оживление в этой области искусства началось только после организации "Частной русской оперы" {98}.

Раньше центр тяжести лежал исключительно на инструментально-вокальных силах - слушатели обращали внимание только на голос и оркестр. Самая же постановка, так сказать, оформление спектакля стояли на втором плане.

И вот в "Частной опере" впервые в России были привлечены к участию в сценической постановке художники. Вместо шаблонных, грубо намалеванных, пышных, но безвкусных декораций перед глазами изумленных и очарованных зрителей засверкали чудесные полотна /99/ по изумительно интересным эскизам В.М.Васнецова, Поленова, Врубеля, Коровина, Серова...

Здесь осуществилось гармоническое сочетание трех родов искусства - музыки, драмы (то есть вдумчивой игры) и живописи.

Открытие спектаклей "Частной оперы" состоялось 9 января 1885 года. Поставлена была "Русалка" (эскизы В. Васнецова), но к подготовке этого спектакля было приступлено значительно раньше. Еще с осени 1884 года шли усиленные репетиции этой оперы, потом "Фауста" и "Виндзорских кумушек" (эскизы В. Д. Поленова).

Вместо банальных "оперных" костюмов (над чем так добродушно подсмеивался Станиславский, имевший к ним некоторое тяготение), мишурно красивых, театрально маскарадных, но безлично условных, появились стильные, выдержанные в духе времени одеяния; вместо хористов, специально наряженных для оперы, на подмостках задвигалась и зашумела подлинная толпа.

Словом, все было сделано, чтобы воскресить старину с ее своеобразием, чтобы со сцены веяло ароматом эпохи, чтобы глядел подлинный облик древней Руси или западноевропейского средневековья.

Подготовка велась с огромным увлечением и глубокой любовью к делу. Одним из таких уголков художественной работы являлась декорационная мастерская на 1-й Мещанской.

Во дворе довольно грязного дома какая-то мастерская была приспособлена для писания декораций. Мрачные, когда-то беленые стены теперь разрисованы, как водится, усердием маляра или умелой рукой талантливого декоратора, не пожалевших ярких красок - ультрамарина, а то и бакана. Издали стены напоминали распущенный павлиний хвост, местами ошипанный, или кусок затейливой восточной ткани. (Сравни карикатуры в пушкинских черновых тетрадах.) Средняя стена обращена в арку, разделяющую помещение на две больших половины. Громадная русская печь в середине. Смеркается. Зажжены лампы с конусообразными абажурами; свет широкими пучками падает вниз, делая черным и без того закопченный потолок. Воздух спертый: пахнет клеем, льняными новыми холстами. Весь пол устлан только что сшитыми и загрунтованными занавесями декораций, написанных днем. Игралы свежие /100/ краски причудливыми заливами, вышедшими из-под кисти в процессе непосредственного творчества, которое еще не предстало перед глазами присяжного знатока - критика или рядового зрителя. Еще нет ни охлаждающих порицаний, ни увлекающих восторгов. Это один из лучших моментов жизни художника-декоратора - момент самовлюбленности, сменяющийся подчас неудовлетворением, исканием чего-то ярко наметившегося, но еще не достигнутого. Радость и страдание рядом...

Единственный пункт наблюдения над результатом работы - самая высокая точка в мастерской - это печка, доминирующая над всем. Снизу она ярко освещена, верх же ее теряется в таинственных полутонах. К ней приставлена стремянка, на самой печи подстилкой служат свободные холсты. Что может быть приятнее после тяжелой, напряженной работы, в ожидании просушки холстов, лежать, сидеть, отдыхать и глядеть сверху, уже целиком воспринимая оживающие формы и краски, по чутью только угадываемые внизу, вблизи, во время процесса работы, и намечать дальнейшее разрешение задачи?

Вечер. Уже десять часов. Исаак Ильич Левитан, Николай Павлович Чехов и я - счастливые обитатели этой печи. Константин Коровин тоже писал здесь, но у него с Левитаном было художественное соревнование, поэтому он работал отдельно. Ноги гудят от усталости. Надо передохнуть, чтобы с новой энергией писать всю ночь, так как назавтра генеральная репетиция.

Маляр Москвичев, успевший хлебнуть лишнее, тоже покоится в холстах, у подножия этой печи.

Тишина... Вот хлопнула входная дверь с ее скрипучим припевом. Кто бы мог зайти в такой поздний час? Если "сам", патрон, Савва Иванович Мамонтов, - тогда было бы шумнее, так как с хозяином непременно явились бы его постоянные спутники и ассистенты. Ну, значит, обычный наш посетитель, появляющийся запросто, как только выберет свободный вечерок. Знакомые шаги, знакомое приветствие, хорошо знакомая фигура с милым, улыбающимся лицом.

Сразу повысилось настроение, мы рады дорогому гостю. Вошедший раздевается, мы глядим сверху на стройный силуэт в скромной серой пиджачной паре и дружелюбно приглашаем: /101/

- Лезьте, лезьте, Антон Павлович, к нам на печь!.. Здесь тепло, уютно, да чай с колбасой еще вдобавок.

Любили мы приход "Чехонте", который неизменно вносил с собой жизнерадостную струйку здорового веселья.

Мягкий в обращении, трогательно деликатный, неистощимый на шутки, чуткий к красоте - Чехов давно и крепко завоевал наши симпатии. Он приветствовал всех одинаково ласково, начиная с Москвичева, который конфузливо прятался в холстах. Со своим братом он держал себя так, что казалось, будто уже виделся с ним в этот день. Влезал по стремянке наверх, разглядывал декорации, охотно принимал участие в обмене мнений, высказывая меткие и очень основательные замечания не живописца-профессионала, а просто художника по натуре. Но вскоре он сосредоточивал на себе общее внимание собственными рассказами, по большей части импровизациями, полными заразительного юмора, насыщенными огромной наблюдательностью и выраженными в форме необыкновенно образной. Бывало, слушаешь его низковатый голос, великолепно передающий всевозможные интонации, и буквально помираешь со смеху, а сам рассказчик спокоен, серьезен и с едва заметной улыбкой в уголках рта посматривает на своих дружно, заливисто смеющихся собеседников.

Обыкновенно Антон Павлович потешал нас художественными миниатюрами (так ему свойственными в ту пору творчества), взятыми из жизни крестьян, духовенства и уездной полиции.

Вот его любимый рассказ, к которому он иногда присоединял звуковые вариации.

Утро в поле, сыроватое от утреннего тумана. Врезавшись в полосу овса, стоит телега. Деревенская лошадевка, лениво пощипывающая колосья, вытертым хвостом отмахивается от назойливых оводов. Вожжи-веревки давно уже свесились и запутались в колесах.

На телеге в соломе спят три фигуры: худенький попик с козлиной бородкой, в ряске, стянутой шитым широким поясом.

Лежит он в цепких объятиях дьячка с косичкой, в длинном синем полукафтаны. Ноги обоих сильно прижаты грузным туловищем отца дьякона с всклокоченной копной рыжей гривы, которая обильно утыкана соломенной /102/ кострикой. В селе (если память не изменяет) Пыряеве, у старосты, справляли храмовой праздник; что же удивительного, что после усиленного возлияния и хороших проводов с посошками вся компания полегла мертвецки, в надежде на сивку, которая - не впервые - довезла бы их до дому, если бы не встретилось по дороге соблазнительное угощение - спелый овес.

Солнышко давно уже вышло из-за леса; припекая, первым разбудило батюшку, носившего одно из редко встречающихся имен. Рука его хотела сотворить крестное знамение, но неудержимо одолела икота, чередуясь с привычным возгласом - "во имя отца и...". Дьячок, спавший с открытым беззубым ртом, несколько раз старался высвободить свою руку из-под батюшки (жест А.П-ча); пробудившись окончательно, старик кое-как, с трудом, получил некоторую свободу действий. "Пре... пресв... богородица..." - бормотал он, так и не dokonчив начатой молитвы, пока не заворочался отец дьякон да спросонья так хватил: "Яко до царя всех подыдем!" - что испуганная лошаденка шарахнулась в сторону, свалив телегу набок. Все трое очутились на земле, среди помятых колосьев; с недоумением озирались некоторое время, потом медленно стали оправляться.

Рассказ кончен как бы многоточием. По всей вероятности, это сценка с натуры, из наблюдений его в период летнего пребывания в окрестностях Москвы.

Антон Павлович приправлял свое повествование такими звукоподражаниями, паузами, мимикой, насыщал черточками такой острой наблюдательности, что все мы надрывались от смеха, хохотали до колик, а Левитан (наиболее экспансивный) катался на животе и дрыгал ногами. Конечно, здесь главную роль играло мастерство передачи автора, не скупившегося на такие подробности, которые с трудом можно восстановить.

А наш полупьяный маляр тоже принимал участие в общем увлечении и, боязно приподымаясь по стремянке, вырастал, как привидение. Если бы посмотреть на него с полу, то можно бы руками развести от удивления, так как он, увлекшись поклонением Бахусу, пропил все свое нижнее снаряжение и ходил в жениной шерстяной юбке.

"Дела давно минувших дней..." - когда вспоминаешь этот и другие, несколько видоизмененные рассказы Чехова, понимаешь, что подобные темы были не /103/ беспочвенным зубоскальством, а своего рода протестом против отрицательных явлений нашей невеселой русской действительности. Любопытно сравнить эти чеховские сюжеты с картинами Перова (1882): "Проповедь в селе", "Сельский крестный ход на пасхе", "Чаепитие в Мытищах" {103}, "В трапезной" и особенно характерную картину и даже почти тождественного содержания - "После праздника" (клячонка, своротившая с дороги в овсы, в телеге - подвыпившие служители церкви).

Подобные темы затрагивались и "передвижниками" {103}. Значит, Антон Павлович был не одинок в разработке сатирического жанра, взятого из этого

уголка русской жизни. Однако живописные полотна появлялись на выставках, а миниатюры Чехонте никогда не появлялись в печати, так как их не пропустила бы тогдашняя цензура не только в подлинном их виде, но и в данной, значительно смягченной передаче. По-видимому, они и предназначались для тесного, интимного кружка.

### ***В.А.ГИЛЯРОВСКИЙ. ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ ЛЮДИ***

О встречах в моей юности я начал писать через десятки лет. Они ярко встали передо мной только издали. Фигуры в этих встречах бывали крупные, вблизи их разглядеть было нелегко; да и водоворот жизни, в котором я тогда крутился, не давал, собственно, возможности рассмотреть ни крупного, ни мелкого.

В те времена героями моими были морской волк Китаев и разбойничий атаман Репка. Да и в своей среде они выделялись, были тоже героями. Вот почему и писать о них было легко {104}.

Не то - Чехов. О нем мне писать нелегко. Он вырос передо мной только в тот день, когда я получил поразившую меня телеграмму о его смерти и тотчас же весь отдался воспоминаниям о нем.

Познакомился я с ним, когда он был сотрудником мелкой прессы, строчившим ради заработка маленькие этюдики и разбрасывавшим их по мелким изданиям. Мы вместе с ним начинали в этих изданиях, - он писал сценки, я - стишки и тоже сценки да еще репортерствовал, что давало мне в те времена больше, чем его рассказы, мало заметные первое время.

Сперва у нас были мимолетные встречи, а потом началась дружба. Я полюбил Антошу, и он меня любил до конца жизни, хотя последнее время мы и отдалились друг от друга.

В те годы, когда он еще ограничивался мелкими сценками, еще до издания его книжки "Сказки /105/ Мельпомены", я уже занял в "Русских ведомостях" солидное положение и, кроме репортажа, печатал статьи и фельетоны.

"Русские ведомости" считались "большой прессой", и Чехов появился в этой газете только в 1893 году, после того как печатался в 1892 году в "Русской мысли" и в 1888 году в "Северном вестнике", где была помещена его "Степь", которая произвела на меня огромное впечатление. И впоследствии этот рассказ был у нас с ним одной из любимых тем для разговоров. А до "Степи" он был для меня только милым Антошей Чехонте, рассказов которого, разбросанных по газетам и журналам, я почти и не читал, - в кипучей репортерской жизни не до чтения было, да и не все газеты и журналы попадали мне в руки.

"Сказки Мельпомены" и подаренные им мне "Пестрые рассказы" {105} меня не заинтересовали, все это было так знакомо и казалось мелочью.

Первое, что осталось у меня в памяти, - это "Каштанка", да и то тут была особая причина.

Как-то раз я вернулся из поездки домой, и мне подали "Новое время":

- Прочитай-ка насчет Каштанки.

Заглавие было другое {105}, но я увидел подпись Чехова и прочел эту прекрасную вещь, напомнившую мне один из проведенных с Антошей Чехонте вечеров... А через год была напечатана "Степь" {105}, и я уверовал в талант моего друга...

Шли годы, Чехова "признали". Его приглашали к себе, добивались знакомства с ним. Около него увивались те, кто так недавно еще относился к нему не то снисходительно, не то презрительно: так, сотруди́чек мелкой прессы...

А затем у него началась связь с Художественным театром. Жить стали Чеховы богаче, кончились наши ужины с "чеховским салатом" - картошка, лук, маслины - и чаем с горячими баранками, когда мы слушали виолончель Семашки, молодых певиц и молодого еще певца Тютюника, который, маленький, стоя, бывало, у рояля, своим огромным басом выводил: "...Вот филин замахал крылом" - и в такт плавно махал правой рукой.

Шумно и людно стало теперь у Чеховых...

Иногда все-таки урывались часы для дружеской беседы, и когда мы оставались вдвоем, без посторонних, - /106/ Чехов опять становился моим старым, милым Антошей, на которого смотреть было радостно, а среди окружавшего его теперь общества мне всегда бывало как-то жаль его - чувствовалось мне, что и ему не по себе... Недаром он называл сотрудников "Русских ведомостей" - мороженые сиги...

- Ты - курьерский поезд. Остановка - пять минут. Буфет.

Так Чехов сказал мне однажды, еще в те времена, когда он жил в "комоде", в этом маленьком двухэтажном коттедже на Кудринской-Садовой, куда я забегал на часок, возвращаясь из газетных командировок или носясь по Москве в вихре репортерской работы.

Приходят на память эти слова Чехова, когда начинаю писать воспоминания, так непохожие на обычные мемуары. Ведь мемуары - это что-то последовательное, обстоятельное - изо дня в день, из года в год... Их хорошо писать отставным генералам, старым чиновникам, ученым на покое - вообще людям, прожившим до старости на одном месте, на одной службе.

У бродяги мемуаров нет, - есть клочок жизни. Клочок там, клочок тут - связи не ищи... Бродяжническую жизнь моей юности я сменил на обязанности летучего корреспондента и вездесущего столичного репортера. Днем завтракаешь в "Эрмитаже", ночью, добывая материал, бродишь по притонам Хитрова рынка. Сегодня, по поручению редакции, на генерал-губернаторском рауте пьешь шампанское, а завтра - едешь осматривать задонские зимовники, занесенные снегом табуны, и вот - дымится джулун.

Над костром в котелке кипит баранье сало... Ковш кипящего сала - единственное средство, чтобы не замерзнуть в снежном буране, или, по-донскому, шургане... Николай Рубинштейн дирижирует в Большом театре на сотом представлении "Демона", присутствует вся Москва в бриллиантах и фраках - я описываю обстановку этого торжественного спектакля; а через неделю уже Кавказ, знакомые места, Чертова лестница, заоблачный аул Безенги, а еще выше,



под снежной шапкой Коштан-тау, на стремнинах ледяного поля бродят сторожкие туры. А через месяц Питер, встречи в /107/ редакциях и на Невском... То столкнешься с Далматовым, то забредешь на Николаевскую, 65, к Николаю Семеновичу Лескову, то в литературном погребке на Караванной смотришь, как поэт Иванов-Классик мрачно чокается с златокудрым, жизнерадостным Аполлоном Коринфским, и слушаешь, как восторженный и бледный Костя Фофанов, закрыв глаза, декламирует свои чудесные стихи, то у Глеба Успенского, на пятом этаже в его квартирке на Васильевском острове, в кругу старых народников рассказываешь эпизоды из своей бродяжной жизни бурлацкой... А там опять курьерский поезд, опять мечешься по Москве, чтобы наверстать прошедшую прогульную неделю...

И так проходила в этих непрерывных метаниях вся жизнь - без остановки на одном месте. Все свои, все друзья, хотя я не принадлежал ни к одной компании, ни к одной партии... У репортера тех дней не было прочных привязанностей, не могло быть... Прочных знакомств летучему корреспонденту тоже не было времени заводить - единственное знакомство у меня в то время, знакомство домами, было с семьей Чехова, да и то до тех пор, пока Чехов не вошел в славу.

Разные были мы с ним люди.

Я долго не мог вспомнить, как и когда началось наше знакомство и где произошла у меня первая встреча с Чеховым. Об этом он мне как-то раз напомнил сам; оказалось, что в эту первую встречу я Чехова и не заметил. Помнил только вторую, в редакции "Будильника", где редактор Н.П.Кичеев представил мне симпатичнейшего юношу с заброшенными назад волосами.

- Антоша Чехонте - Дядя Гиляй. Знакомьтесь.

- Мы уже знакомы... Нас познакомил Селецкий, помните?... Вы мне еще чуть руку не сломали.

Я сделал вид, что помню.

С этого дня мы стали встречаться особенно часто в "Будильнике" и "Зрителе" у Всеволода Давыдова. Совсем друзьями сделались. Как-то за столом у меня дома, в случайном разговоре о Русском гимнастическом обществе, он сказал улыбаясь:

- Я тоже член-учредитель Гимнастического общества. Селецкий меня и брата Николая записал в /108/ учредители... Так, для счета... Вот там-то мы с тобой, Гиляй, и познакомились {108}. Помнишь?

Так как стесняться было нечего, я сказал откровенно:

- Нет, не помню.

И рассказал Антон Павлович, как его случайно завел Селецкий, тогдашний председатель общества, в гимнастический зал в доме Редлиха на Страстном бульваре:

- Посреди огромною зала две здоровенные фигуры в железных масках, нагрудниках и огромных перчатках изо всех сил лупят друг друга по голове и по бокам железными полосами, так что искры летят - смотреть страшно. Любуюсь на

них и думаю, что живу триста лет назад. Кругом на скамьях несколько человек зрителей. Сели и мы. Селецкий сказал, что один из бойцов - Тарасов, первый боец на эскадронах во всей России, преподаватель общества, а другой, в высоких сапогах, его постоянный партнер - поэт Гиляровский. Селецкий меня представил вам обоим, а ты и не поглядел на меня, но зато так руку мне сжал, что я чуть не заплакал.

Чехов с тех пор так и не бывал больше в Гимнастическом обществе, но разговаривали мы о нем впоследствии не раз, а в 90-х годах он даже внес членский взнос и снова стал числиться членом, желая сделать мне, председателю общества, приятное. Привез я ему как-то в Мелихово список членов общества, где и его фамилия была напечатана.

- Ну, какой же я гимнаст! - сказал он улыбаясь. - Я человек слабый, современный, а вы с Тарасовым точно из глубины веков выплыли. Тамплиеры! Витязи! Как тогда хлестались вы мечами! Никогда не забуду. А ты и меня в гладиаторы!.. Нет уж, куда мне!.. Да и публика у вас не по мне, - пробежал он глазами по списку членов общества.

- Нет, публика у нас простая - конторщики, приказчики, студенты. Это - люди активные, ну, а те вот - Морозовы, Крестовниковы, Смирновы-винооторговцы и еще некоторые - только платят членские взносы.

- Значит, мы мертвые души? Люди настоящего века. А придет время, - может быть, лет через сто, - будут все сильными, будет много таких, как ты и Тарасов... Придет время!..

И несколько лет Антон Павлович числился членом общества, но никогда там не бывал, хотя ценил и любил /109/ силу и ловкость в других. Когда я приезжал в Мелихово, то обязательно он и его отец, Павел Егорович, вели меня к лошадям, пасшимся в леваде, сзади двора, и бывали очень довольны, когда я им показывал какие-нибудь штуки по вольтижировке или джигитовке.

- Знаешь, Гиляй, пробовал я тебя описывать, да ничего не выходит, - говорил мне не раз Антоша. - Не укладываешься ты, все рамки ломаешь. Тебе бы родиться триста лет назад или, может быть, лет сто вперед. Не нашего ты века.

Разные мы с ним были люди, а любили друг друга. Я его, слабого и хрупкого, любил какой-то особой, нежной любовью. И как радостны бывали наши встречи! В юные годы мы очень часто виделись. Раз, в 1882 году, целую неделю работали в Окружном суде на деле Скопинского банка - известном процессе, который вел прокурор С.С.Гончаров. Антон Павлович писал заметки об этом процессе в "Петербургской газете" под псевдонимом "Рувер" {109}.

Много в Скопине воров,  
Погубил их Гончаров! -

острил Чехов.

В 1884 году я женился, наши семьи познакомились. Помню, как-то в субботу, получив в "Русских ведомостях" гонорар за неделю, что-то около ста рублей, я пришел в "Будильник" и там встретил Чехова. На его долю гонорара в "Будильнике" пришлось что-то мало, а я похвастался деньгами.

- Ну так вот - завтра пеки пирог у себя и скажи Марии Ивановне, что мы все придем. И Левитана приведем...

Под влиянием разговоров о Крыме Левитан, найдя на моем столе альбом, сделал в нем во время общей беседы два прекрасных рисунка карандашом: "Море при лунном свете" и "Ветлы". Тотчас после него Николай Павлович Чехов нарисовал в альбоме красным, черным и синим карандашами великолепную женскую головку. Антон Павлович, долго смотревший на художников, сказал:

- Разве так рисуют? Ну, головка! Чья головка? Ну, море! Какое море? Нет, надо рисовать так, чтобы всякому было понятно, что хотел изобразить художник. /110/

Он взял альбом. Рисунок, готовый через несколько минут, был встречен общим хохотом. Антон Павлович, отдавая мне альбом, сказал:

- Береги, Гиляй, это единственное мое художественное произведение: никогда не рисовал и больше никогда рисовать не буду, чтобы не отбивать хлеб у Левитана.

На рисунке изображена была гора, по которой спускается турист, в шляпе и с палкой, башня, дом с надписью "Трактир", море, по которому плывет пароход, в небе - летящие птицы; внизу - надпись: "Вид имения "Гурзуф" Петра Ионыча Губонина", а кроме того, везде были пояснения: "море", "гора", "турист", "чижи"...

Первые годы в Москве Чеховы жили бедно. Отец служил приказчиком у галантерейщика Гаврилова {110}, Михаил Павлович и Мария Павловна учились еще в гимназии. Мы с женой часто бывали тогда у Чеховых, - они жили в маленькой квартире в Головином переулке, на Сретенке. Веселые это были вечера! Все, начиная с ужина, на который подавался почти всегда знаменитый таганрогский картофельный салат с зеленым луком и маслинами, выглядело очень скромно, ни карт, ни танцев никогда не бывало, но все было проникнуто какой-то /111/ особой теплотой, сердечностью и радушием. Чуть что похвалишь - на дорогу обязательно завернут в пакет, и отказываться нельзя. Как-то раз в пасхальные дни подали у Чеховых огромную пасху, и жена моя удивилась красоте формы и рисунка. И вот, когда мы собрались уходить, вручили нам большой, тяжелый сверток, который велели развернуть только дома. Оказалось, в свертке - великолепная старинная дубовая пасочница.

Мы с Антоном работали в те времена почти во всех иллюстрированных изданиях: "Свет и тени", "Мирском толке", "Развлечении", "Будильнике", "Москве", "Зрителе", "Стрекозе", "Осколках", "Сверчке". По вечерам часто собиралась у Чеховых небольшая кучка жизнерадостных людей: его семейные, юноша-виолончелист Семашко, художники, мой товарищ по сцене Вася Григорьев, когда великим постом приезжал в Москву на обычный актерский съезд. Мы все любили его пение и интересные рассказы, и Антоша нередко записывал его меткие словечки, а раз даже записал целый рассказ о случае в Тамбове, о собаке, попавшей в цирк. Это и послужило темой для "Каштанки" {111}.

В 1885 и 1886 годах я жил с семьей в селе Краскове по Казанской дороге, близ Малаховки. Теперь это густонаселенная дачная местность, а тогда несколько крестьянских домов занимали только служащие железной дороги. В те времена Красково пользовалось еще разбойничьей славой, деля ее с соседней деревней Кирилловкой, принадлежавшей когда-то знаменитой Салтычихе. И из Кирилловки и из Краскова много было выслано крестьян за разбои в Сибирь. Под самым Красковым, на реке Пехорке, над глубоким омутом стояла громадная разрушенная мельница, служившая притоном "удалым добрым молодцам". В этом омуте водилась крупная рыба, и, между прочим, огромные налимы, ловить которых ухитрялся только Никита Пантюхин, здешний хромо́й крестьянин, великий мастер этого дела. На ноге у него много лет была какая-то хроническая гниющая рана, которую он лечил, или прикладывая ил из омута и пруда, или засыпая нюхательным табаком. Никита сам делал рыболовные снаряды и, за неимением средств на покупку свинца, употреблял для грузил гайки, /112/ которые самым спокойным образом отвинчивал на железнодорожном полотне у рельсов на местах стыка. Что это могло повлечь за собой крушение поезда, ему и на ум не приходило.

Чехов очень, интересовался моими рассказами о Краскове и дважды приезжал туда ко мне. Мы подолгу гуляли, осматривали окрестности, заглохшие пруды в старом парке. Об одном пруде, между прочим, ходило предание, что он образовался на месте церкви, провалившейся во время венчания вместе с духовенством и брачующимися. Антон Павлович записал это предание. И вот на берегу этого самого пруда в зарослях парка мы встретили Никиту. Он ловил карасей и мазал илом свою ужасную ногу. Антон Павлович осмотрел ногу и прописал какую-то мазь; я ее привез, но Никита отказался употреблять лекарство и заявил:

- Зря деньги не плати, а что мазь эта стоит - лучше мне отдавай деньгами либо табак нюхательного купи: табак червяка в ноге ест.

Рассказал я Чехову, как Никита гайки отвинчивает, и Антон Павлович долго разговаривал с ним, записывал некоторые выражения. Между прочим, Никита рассказывал, как его за эти гайки водили к уряднику, но все обошлось благополучно.

Антон Павлович старался объяснить Никите, что отвинчивать гайки нельзя, что от этого может произойти крушение, но Никите это было совершенно непонятно. Он только пожимал в ответ плечами и спокойно возражал:

- Нешто я все гайки-то отвинчиваю? В одном месте одну, в другом - другую... Нешто мы не понимаем, что лъзя, что нельзя?

Никита произвел на Чехова сильное впечатление. Из этой встречи впоследствии и родился рассказ "Злоумышленник". В него вошли и подлинные выражения Никиты, занесенные Чеховым в свою знаменитую записную книжку.

Мы жили в доме де Ладвез на Второй Мещанской, в маленькой квартирке в нижнем этаже. В это время был большой спрос на описание жизни трущоб, и я

печатал очерк за очерком, для чего приходилось слоняться /113/ по Аржановке и Хитровке. Там я заразился: у меня началась рожа на голове и лице, температура поднялась выше 40 градусов. Мой полуторогодовалый сын лежал в скарлатине, - должно быть, и ее я тоже принес из трущоб. На счастье, мой друг, доктор А.И.Владимиров, только что окончивший университет, безвыходно поселился у меня и помогал жене и няне ухаживать за ребенком. У меня рожа скоро прошла, но тут свалилась в сыпном тифу няня Екатерина Яковлевна, - вошь я занес, конечно, тоже с Хитрова рынка... И вот в это самое время случайно забежал ко мне Антон Павлович. Он пришел в ужас и стал укорять нас, что не послали за ним. Осмотрел няню, сына, проглядел рецепты и остался доволен лечением. Тут вернулся Владимир, и мы все вместе уговорили Антона Павловича не приходить больше в наш очаг заразы. Суровый Владимир для убедительности перевел все на профессиональную почву: дескать, лечу я и прошу не мешать. Как будто - уговорили. Не прошло, однако, и двух дней, как Антон Павлович явился опять и затем стал заходить и оправляться чуть ли не ежедневно. Тогда мы решили не отпирать ему дверей, несмотря на все просьбы, разговаривали с ним сквозь щель, не снимая с двери цепочки.

Антон Павлович подарил мне первый литографированный экземпляр своей пьесы "Иванов", которая была поставлена в бенефис Н.В.Светлова в театре Корша{113}. Вот что об "Иванове" рассказывал мне брат Антоши, Иван Павлович:

- Я носил пьесу в театр Корша. Понравилась. Потом как-то зашел я на репетицию и застал в буфете бенефицианта Светлова и Градова-Соколова Светлов ругательски ругал пьесу: "Какая это пьеса для бенефиса? Одно название чего стоит - "Иванов". Кому интересен какой-то Иванов? Никто и не придет". - "Нет, брат, ошибаешься, - возразил Градов-Соколов. - Во-первых, автор - талантливый писатель, а во-вторых, название самое бенефисное: "Иванов" или "Иванов". Каждому "Иванову" и "Иванову" будет интересно узнать, что такое про него Чехов написал. И если только одни Ивановы придут - у тебя уж полный сбор обеспечен..."

И действительно, Градов-Соколов предсказал верно. /114/

Когда начался разъезд после спектакля, только и слышалось у подъезда:

- Карету Иванова!
- Одиночку Иванова!
- Лихач от Большой Московской с Ивановым!
- Кучер полковника Иванова!..

В 1886 году от Антона Павловича я получил его книжку "Пестрые рассказы", изданные "Осколками". Самую первую свою книжечку, "Сказки Мельпомены", он дал мне еще в 1884 году. Вслед за "Пестрыми рассказами" он напечатал в том же году в типографии братьев Вернер, на Арбате, вторую книгу - "Невинные речи">{114}. У Вернеров мы оба работали в издаваемом ими журнале "Сверчок".

Чехов посоветовал и мне собрать и издать свои очерки и рассказы, которых за последние два года, благодаря моему увлечению беллетристикой, накопилось порядочно.

- Кто же мне издаст?

- А Собачий Воротник.

Так Чехов называл младшего Вернера, щеголя, носившего пальто с воротником из какого-то серого меха.

Но Собачий Воротник отказался издать мою книгу, а предложил напечатать ее в кредит. И я напечатал "Трущобные люди".

Ее сожгли. Уцелел лишь один экземпляр, переплетенный из листов, тайком данных мне фактором\*. Единственный экземпляр моей книги я подарил жене {114}. Близкие знакомые, желавшие прочитать книгу, приходили к нам. Пришел и Чехов.

---

\* Фактор - в дореволюционной России управляющий технической частью типографии.

- Ну, конечно нецензурно. Хоть ты мне бы показал, что печатать хочешь... Можно было бы что-нибудь сделать. А то уж одно название - "Трущобные люди" - напугало цензуру. Это допустимо было в шестидесятых годах, когда цензоры либеральничали в угоду времени. Ну и дальше заглавия: "Человек и собака", "Обреченные", "Каторга", "Последний удар"... Да разве это теперь возможно?

- Вы подумайте, Антон Павлович, - у жены это любимое слово было, - вы подумайте, как же не /115/ напечатать книгу, когда все помещенные в ней очерки были раньше напечатаны?

- В отдельности могли проскочить и заглавия и очерки, а когда все вместе собрано, действительно получается впечатление беспросветное... Все гибнет, и как гибнет! Мрачно все...

И тут же Чехов утешил нас:

- Ну, да скоро доживем мы до того времени, когда эту книгу Гиляя напечатают, и увидим ее большой успех... А это будет... будет... Идет к тому...

Сожгли мою книгу, и как будто руки отшибло писать беллетристику. Я весь отдался репортерству, изредка, впрочем, писал стихи и рассказы, но далеко уже не с тем жаром, как прежде.

Я увлекся конским спортом - вспомнил юность, степи, табуны. Я отдыхал на скачках, главным образом не на самых скачках, а на утренних работах скаковых лошадей.

Потом начал писать в казенном журнале "Коннозаводство" и московском "Русском спорте", а впоследствии редактировал "Журнал спорта". Я интересовался только верховыми лошадьми, купеческого рысака я не любил, - и метался по степям, по табунам, увлекаясь давно знакомым мне делом.

С Чеховым я встречался все реже и реже... Уже давно кончились наши субботы у меня и воскресенья у Чеховых. Антон Павлович стал идти в гору.

"Русские ведомости", которые я почти оставил, стали за ним ухаживать, "Русская мысль" - тоже... А потом - Художественный театр. Но хотя наши встречи и стали реже, они всегда были самые теплые, дружеские и по-прежнему веселые. Вспоминается, например, такой случай.

Как-то в часу седьмом вечера, великим постом, мы ехали с Антоном Павловичем с Миусской площади из городского училища, где брат его Иван был учителем, ко мне чай пить. Извозчик попался отчаянный: кто казался старше, он ли, или его кляча, - определить было трудно, но обоим вместе сто лет насчитывалось наверное; сани убогие, без полости. На Тверской снег наполовину стоял, и полозья саней то и дело скрежетали по камням мостовой, а иногда, если каменный оазис /116/ оказывался довольно большим, кляча останавливалась и долго собиралась с силами, потом опять тащила еле-еле, до новой передышки. Наших убеждений извозчик, по-видимому, не слышал и в ответ только улыбался беззубым ртом и шамкал что-то невнятное. На углу Тверской и Страстной площади каменный оазис оказался очень длинным, и мы остановились как раз против освещенной овощной лавки Авдеева, славившейся на всю Москву огурцами в тыквах и солеными арбузами. Пока лошадь отдыхала, мы купили арбуз, завязанный в толстую серую бумагу, которая сейчас же стала промокать, как только Чехов взял арбуз в руки. Мы поползли по Страстной площади, визжа полозьями по рельсам конки и скрежеща по камням. Чехов ругался - мокрые руки замерзли. Я взял у него арбуз.

Действительно, держать его в руках было невозможно, а положить некуда. Наконец я не выдержал и сказал, что брошу арбуз.

- Зачем бросать? Вот городской стоит, отдай ему, он съест.

- Пусть ест. Городской! - поманил я его к себе.

Он, увидав мою форменную фуражку, вытянулся во фронт.

- На, держи, только остор...

Я не успел договорить: "осторожнее, он течет", как Чехов перебил меня на полуслове и трагически зашептал городскому, продолжая мою речь:

- Осторожнее, это бомба... неси ее в участок...

Я сообразил и приказываю:

- Мы там тебя подождем. Да не урони, гляди.

- Понимаю, вашевскродие.

А у самого зубы стучат.

Оставив на углу Тверской и площади городского с "бомбой", мы поехали ко мне в Столешников чай пить.

На другой день я узнал подробности всего вслед за тем происшедшего. Городской с "бомбой" в руках боязливо добрался до ближайшего дома, вызвал дворника и, рассказав о случае, оставил его вместо себя на посту, а сам осторожно, чуть ступая, двинулся по Тверской к участку, сопровождаемый кучкой любопытных, узнавших от дворника о "бомбе".

Вскоре около участка стояла на почтительном расстоянии толпа, боясь подходить близко и создавая целые /117/ легенды на тему о бомбах, весьма животрепещущую в то время благодаря частым покушениям и арестам. Городской вошел в дежурку, доложил околодочному, что два агента охранного

отделения, из которых один был в форме, приказали ему отнести "бомбу" и положить ее на стол. Околодочный притворил дверь и бросился в канцелярию, где так перепугал чиновников, что они разбежались, а пристав сообщил о случае в охранное отделение. Явились агенты, но в дежурку не вошли, ждали офицера, заведовавшего взрывчатыми снарядами, без него в дежурку войти не осмеливались.

В это время во двор въехали пожарные, возвращавшиеся с пожара, увидели толпу, узнали, в чем дело, и старик-брендмейстер, донской казак Беспалов, соскочив с линейки, прямо как был, весь мокрый, в медной каске, бросился в участок и, несмотря на предупреждения об опасности, направился в дежурку.

Через минуту он обрывал остатки мокрой бумаги с соленого арбуза, а затем, не обращая внимания на протесты пристава и заявления его о неприкосновенности вещественных доказательств, понес арбуз к себе на квартиру.

- Наш, донской, полосатый. Давно такого не едал.

Немало квартир переменили Чеховы, во всех приходилось мне у них бывать. Припоминаю один курьез из тех времен, когда они жили на Большой Якиманке{117}. Пришел я к Чеховым как-то под вечер и нашел Антона ходящим из угла в угол по кабинету: лицо - бледное, осунувшееся.

- Что с тобой?

- Живот болит. Завязал шарфом - не помогает, надо радикально лечиться, - и позвал служившего у него мальчика: - Бабакин, сходи в аптеку и купи касторки в капсулах.

Аптека была рядом, и мальчик живо принес касторку. Чехов развернул коробку и со смехом показал мне две огромные капсулы.

- Каковы? За кого они меня приняли? - Он взял перо и крупными буквами написал на коробке: "Я не лошадь". /118/

Бабакин снова отправился в аптеку и на этот раз принес шесть капсул в коробочке. Аптека получила желанный автограф.

В 80-х годах Антон Павлович купил себе небольшое имение Мелихово{118} в Серпуховском уезде, в двенадцати верстах от станции Лопасня, Курской железной дороги.

Антон Павлович очень любил свой тихий мелиховский уголок, свой "вишневый сад".

Особенно хорошо там бывало ранней весной. Иногда я ездил туда на пасху, когда съезжались в Мелихово гости и вся патриархальная семья Чеховых была в сборе.

Налево от передней помещался кабинет Антона Павловича, с полками книг и письменным столом, на котором всегда лежала папка с начатым рассказом или повестью. Он обыкновенно при гостях работал отрывками, но все-таки писал



каждый день; напишет немного, потом оторвется от работы, выйдет к гостям поговорить, затем опять садится писать. Иногда во время обеда он внезапно вставал из-за стола, уходил в кабинет, набрасывал несколько строк и, вернувшись в столовую, продолжал застольную беседу. Удивительно легко у него гостилося. Всякий делал, что хотел, никто никому не мешал. И в то время, когда он писал, к нему можно было входить в кабинет, не боясь помешать. Так по крайней мере на моей памяти это всегда бывало в Мелихове.

Столовая была рядом с кабинетом. У Антона Павловича имелось свое излюбленное место у конца стола, вблизи от двери в кабинет.

В те времена он не отказывался от рюмки водки и стакана вина и всегда сажал меня рядом с собой и любил сам наливать мне. По правую руку от меня всегда занимал место его отец, Павел Егорович, тоже разделявший нашу компанию. А дальше мать, Евгения Яковлевна, сестра, Мария Павловна, и братья.

Уроженцы Таганрога, они любили южные кушанья, и Евгения Яковлевна мастерски их готовила и любила угощать - по-донскому. И настоечка, и наливочка, и пироги - всего бывало всегда вволю. А уезжающим в Москву обязательно завертывали чего-нибудь вкусного на дорогу. /119/

С восторгом я вспоминаю о Мелихове. Это, кажется, лучшее время из жизни Чехова. Здоровье его тогда находилось в сравнительно хорошем состоянии, был он жизнерадостен, любил природу. Да и задумываться было некогда: литературная работа, хозяйство, сад, в котором Антон Павлович всегда копался, занимаясь посадками, а потом вечная толпа баб и мужиков, пришедших к своему "дохтуру" с разными болезнями. И всегда - гости и гости.

Когда последних съезжалось слишком много, а особенно "дамского сословия", мы, своя компания, с Антоном Павловичем во главе, переселялись в баню. Впрочем, ее только называли баней. В действительности там при бане было несколько комнат, прекрасно обставленных, с кроватями и диванами. Славно время проводили мы там - и наливочка, и чаек, и разговоры да чтения с вечера до утра.

Кто-то из братьев Чеховых имел фотографический аппарат, снимал виды и группы. И вот однажды ранней весной, только что снег сошел, мы гуляли в саду, Антон Павлович обратился ко мне:

- Гиляй, я устал, покатай меня на тачке! - и сел в тачку. Туда же поместился его брат Миша, бывший тогда еще гимназистом {119}, а когда я привез их к дому, то пожелали снять фотографию. Кроме нас трех, на группе - Иван Павлович Чехов и двоюродный брат Антона Павловича - Алеша Чехов {119}.

Я частенько наезжал в Мелихово. Иногда Антона вызывал меня письмами. Вот одно из них, случайно уцелевшая открытка: {119}

"Москва. Столешников, дом Корзинкина. Вл. Ал. Гиляровскому. Хочешь, чтобы тебя забыли друзья? Купи имение и поселись в нем. Потяни, Гиляй, за хвостик свою память и вспомни о поздравляющем тебя литераторе Чехове. Христос воскрес! Твой А. Чехов. Мелихово.

Р.С. Лошади теперь хорошие. Приезжай".

Помню, раз, должно быть в 900-м году, напечатал я фельетон о выступлении декадентов в Художественном кружке и их жестоко вышутил. Заглавие фельетона было: "Люди четвертого измерения" {119}. В ответ я получил от Чехова такую открытку: /120/

"Милый дядя Гиляй, твои "Люди четвертого измерения" великолепны, я читал и все время смеялся. Молодец, дядя! После 20 апреля буду в Москве. Крепко жму твою ручищу. Твой А.Чехов. 23 марта 190[3]г."

Помню, что я ответил ему тогда открыткой с такими стихами:

Каламбуром не избитым  
Удружу - не будь уж в гневе:  
Ты в Крыму страдал плевритом,  
Мы на севере - от Плеве

Когда приехал Чехов в Москву, я спросил его, получил ли он открытку. Оказалось - нет. Я ему повторил стихи.

- Ну вот, ты напиши-ка мне их, а открытка твоя, наверное, пригвождена к делу приставом Гвоздевичем...

Как-то мы завтракали вдвоем с Антоном Павловичем в "Славянском базаре". Он зимой приехал в Москву из Ялты.

- Ты помнишь Епифанова? - спросил Чехов меня. - Сценки писал...

- Ну да, Сережу... Алкоголик, бедняга...

- Наткнулся я на него в Ялте в больнице за несколько дней до смерти.

Носил ему гостинцев... Все ему он радовался... Вспоминали старых товарищей, Москву, трактиры... Когда заговорил я о тебе, он только два слова сказал: "Было попито!"

Я тут же рассказал один случай с Епифановым, который очень понравился Чехову, и он взял с меня слово, что я его обязательно напечатаю. Это был уже блеск его славы, и мелочей он не писал. Я дал ему слово - и забыл.

Мы сидели как-то в редакции "Московского листка", где Н.И.Пастухов, по обыкновению в расстегнутом халате и в туфлях, рассматривал за письменным столом принесенный репортерами материал. Сережа Епифанов, небесталанный поэт и автор сенок, принес уличную картинку о том, как толпа в самый Новый год собралась на Цветном бульваре около лежавшего на снегу замерзшего попугая, прекрасного белого какаду. Епифанов рассказывал, что в Москве появились попугаи, живут они на бульварах, все это в смешной форме. /121/ Пастухов прочел сценку и сказал: "Не пойдет! - ты вот найди, откуда это попугай взялся и как он на бульвар попал, тогда пойдет!" - "Это невозможно, Николай Иванович". - "Какой же ты после этого репортер выходишь? Может, сам нашел на помойке дохлую птицу и подкинул ее, чтобы сценку написать? Вон Гиляй с Вашковым купили на две копейки грешников у разносчика, бросили их в Патриарший пруд, народ собрали и написали сценку "Грешники в Патриаршем

пруде". Там хоть смешно было... А это что? Сдох попугай, а ты сценку в сто строк. Вот найди теперь, откуда птица на бульвар попала. Эх ты, строчило-мученик!"

Пастухов встал и ушел.

На углу Петровки и Рахмановского переулка, в доме Левенсона, над трактиром Зверева, помещались тогда мебелирашки "Надежда", которые были населены главным образом проститутками из средних, мелкими служащими и актерами. В те времена, когда Пастухов послал Епифанова разыскивать попугая, в самом лучшем из номеров "Надежды" жил некто Кондратьев, красивый высокий блондин с огромными выхоленными усами. Он рекомендовался всем как отставной офицер, но, судя по его языку, уж слишком упрощенному, этому верить было трудно. Известно только было, что он жил картежной игрой и бильярдом и был завсегдатаем бильярдного трактира Саврасенкова близ памятника Пушкину. Эта бильярдная, занимавшая два зала, с лучшими фрейберговскими бильярдами, служила в Москве самым крупным притоном для шулеров. Игра происходила на деньги, причем публика, теснившаяся по длинным диванам вдоль стен, держала иногда крупные суммы за игроков-шулеров, и спуск шел вовсю. Играли здесь знаменитости того времени: Пискун, Соломон, Шулькевич, Голиаф, Малинин и, не последний среди них, Кондратьев. Играл еще маляр Кирюша, умевший показывать такую игру, что у шулеров выигрывал партии.

Из редакции "Листка" после отповеди Пастухова мы с Епифановым вышли очень огорченные, и я повел его к Саврасенкову утешать графинчиком водки с приличной закуской. Мы сели на большой диван, как раз против бильярда, где велась игра. К нам подсел великан, игрок Голиаф, которого я давно знал, и, указывая на игравших, сказал: /122/

- Вот Малинин, что он вчера с Кондратьевым сделал - смехота!

- А что?

- Уж и не говорите. У Кондратьева на празднике деньжонки завелись, ну, Васька к нему и подмазлся и прямо отсюда, это третьего дня было, к нему в гости навязался. Выпили в номере чайку, водочки вдвоем, а потом ему Малинин банчишко заложил один на один. Игра шла начистоту. Играли долго. Под утро Малинин все деньги у него выиграл, часы, портсигар, а тот зарвался, из себя вон лезет. А Васька ему: "Хочешь на попугая?" А в комнате у него белый попугай любимый жил. "Да на что он мне? Ну, изволь, согласен". Долго ли, коротко играли, Кондратьев к попугая проиграл. "Получай, твой попугай! Хочешь на собаку? У меня пойнтер есть ланских кровей, цены нет". - "Где же он?" - "Да внизу, в швейцарской, в номере держать нельзя, хочешь за триста рублей?" - "Ладно, давай и кобеля!" Кондратьев вышел из номера за собакой, а Малинин взял попугая из клетки да и выкинул его через форточку на улицу, а сам надел шубу и наутек. "Куда же ты?" - "Не могу, домой пора". И ушел. Сейчас вот Малинин все это нам и рассказывал. Кондратьев за ним бегаёт, плачет: "Отдай попугая, я без него жить не могу", а он уже сдох давно, на Цветном бульваре ребята его таскали замерзлого.

Это была удача! Епифанов подробно описал всю рассказанную нам историю, принес Пастухову и получил за это 25 рублей и теплое пальто в подарок.

В пятом томе писем А.Чехова есть письмо от 25 ноября 1899 года Горькому из Ялты:

"Здесь в приюте для хроников, в одиночестве, в забросе умер поэт "Развлечения" Епифанов, который за два дня до смерти попросил яблочной пастилы и, когда я принес ему, то он вдруг оживился и зашипел своим больным горлом, радостно: "Вот эта самая! Она!" Точно землячку увидел".

Я прочел это письмо в собрании писем, изданных Марией Павловной{122}, вспомнил данное слово и написал то, что рассказывал когда-то Антону Павловичу об Епифанове. /123/

"Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким "тррр" полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую, монотонную музыку..."

С такой любовью описывает Антон Павлович утро в степи.

А дальше день, знойный июльский день:

"Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же - небо, равнины, холмы... Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи, все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной... Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник, вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла..."

Славно удалось его первое большое произведение "Степь"!

Не та буйная, казацкая, гоголевская степь с ее налетами запорожцев, а тихая, спокойная степь времени его детства и юности.

Антон Павлович - степняк прирожденный, от прадедов. Когда вышла его "Степь", я много беседовал с ним о степях, которые сам страстно люблю. В этих беседах принимал участие и его отец.

Из рассказов Павла Егоровича и его детей я узнал и родословную Чеховых.

Дед Антона Павловича, Егор Михайлович Чех, принадлежал к крепостным знаменитого донца графа Платова. Почему прозвание его было Чех, так и осталось неизвестным. Он жил и работал в степных слободах Крепкой и Княжой, заработал достаточно денег, чтобы выкупиться на волю, что и сделал. Дети у него были уже свободны, три сына, - Михаил, Павел и Митрофан.

Михаил, старший, был отцом отдан в ученье в переплетчики в Калугу, где скоро получил известность как лучший мастер. Он назывался не Чехов, а Чохов. Своему отцу он прислал подарок - весьма сложно сделанную шкатулку со следующей надписью: "Примите, дражайший родитель, плод усердного труда моего". Шкатулкой этой очень дорожил Антон Павлович.

Митрофан Егорович открыл бакалейную торговлю в /124/ Таганроге. После него остались два сына: Владимир, учительствовавший в Таганроге, и Егор, служивший в Русском обществе пароходства и торговли. Это был любимец Антона Павловича, который звал его "Жоржик". Я бывал в Ялте у Антона Павловича, встречал у него Егора Митрофановича.

Павел Егорович, отец Антона Павловича, начал свою молодость трудной работой прасола. Он гонял скот - и красный калмыцкий, и серый украинский - в Москву, в Харьков и другие большие города. Во время путешествия с гуртами, где верхом, где пешком, он попал в Шую и там высмотрел себе невесту. Это и была Евгения Яковлевна. Она урожденная Морозова, дочь купца.

Женившись, Павел Егорович задумал переменить полную приключений кочевую жизнь прасола на оседлую и открыл в Таганроге, по примеру брата, колониальную лавочку.

Дети Михаила Чохова все были коммерсанты.

Дети Павла Егоровича: покойный Николай был весьма талантливый художник, Антон, Александр и Михаил - писатели, Иван - учитель, Мария - художница-пейзажистка. Павел Егорович, став коммерческим человеком, все-таки не утратил той поэтической жилки, которую заставила забиться в груди его степная прасольская жизнь.

Много раз я беседовал с Павлом Егоровичем. Холодный, расчетливый практик исчезал, и предо мной вставал совершенно другой человек, полный поэзии, когда разговор переходил на степь, на привольную жизнь, на табуны, на казачество. Молодел и изменялся Павел Егорович.

В том же Мелихове, бывало, когда я возвращался на север из моих частых поездок по южнорусским степям, - разговоримся мы, заслушается, оживится старик и предложит:

- Пойдемте-ка, я вам наших лошадок покажу.

- Вот садитесь-ка на эту, проезжайте, - как идет! Только что с Дона привели! - и начнет расписывать достоинства лошадки, заглянет в старину и скажет: - Эх, бывало, и я когда-то ездоком был!

А то еще у него увлечение было - скрипка.

Вспоминал он иногда и некоторые строки Кольцова. /125/

Видно, что поэзия степной жизни, глубоко вкоренившаяся в юности, и любовь к степи, переданная сыну, таились в душе его и, хотя изредка, все-таки пробивались сквозь толстую, наносную, многолетнюю кору практической жизни и борьбы с нуждой.

А нуждаться ему приходилось в прежние годы. Торговля в Таганроге шла неважно. Надо было подыскивать еще заработки. И тут-то вот скрипка, знание музыки и хороший голос создали новую профессию Павлу Егоровичу...

На родной сестре Евгении Яковлевны, Федосье Яковлевне, был женат друг и товарищ Павла Егоровича А.Б.Долженко, начавший свою деятельность такими же степными путешествиями по России за скупкой холста и разных крестьянских изделий. Бывали оба они в Шуге и женились на родных сестрах. А.Б.Долженко потом завел мануфактурную торговлю в Таганроге, был большой любитель духовного пения и на этом сошелся с Павлом Егоровичем. Сначала они

пели в греческом монастыре, потом во Дворце, в походной церкви и в соборе. Павел Егорович обучал хор под скрипку и был регентом.

Это давало почетное положение в городе, а хор его приезжали слушать даже из Ростова и других городов.

В хоре пели все дети Чеховы и сын А.Б.Долженко, Алексей, до настоящего времени один из друзей семьи Чехова, сверстник младших. Александр Павлович, старший, пел сначала дискантом, потом басом, Николай, хороший скрипач, помогал отцу и особенно много пел, что отразилось на его здоровье и, возможно, послужило причиной его болезни; Антон пел альтом.

Семья жила очень дружно. Антон Павлович был смирнее всех. У него была очень большая голова, и его звали Бомбой, за что он сердился. Любимым занятием Антона было составление коллекций насекомых и игра в торговлю, причем он еще ребенком мастерски считал на счетах. Все думали, что из него выйдет коммерсант.

В том, что Антон Павлович сделался писателем, мы многим обязаны его матери, Евгении Яковлевне, а также и тому, что коммерческие дела отца его в Таганроге шли плохо. Старшие дети учились, Александр был уже в четвертом классе гимназии, когда пришло время отдавать учиться Антона... /126/

В "Степи" Чехова отец Христофор разговаривает с купцом Кузьмичевым. Первый стоит за учение и приводит в пример Ломоносова:

- Умственность, принимаемая с верой, дает плоды, богу угодные.

А Кузьмичев отвечает:

- Кому наука в пользу, а у кого ум путается. Сестра - женщина непонимающая, норовит все по-благородному и хочет, чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я при своих занятиях мог бы Егорку навек осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.

- А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учение постигать!

Вероятно, подобные разговоры происходили когда-то среди окружавших Антона Павловича в детстве.

Когда Антон был в четвертом классе, а Александр в восьмом, отец открыл новую лавку около вокзала, надеясь на наплыв публики.

И время каникул у обоих прошло в лавке. Единственным отдыхом было посидеть вечером на крылечке и послушать отдаленную музыку, доносившуюся из городского сада.

Покупатели были большей частью беднота, а торговцы-гимназисты обладали добрым сердцем, и в результате вместо барыша оказался убыток. Лавка была закрыта.

Антон снова очутился в гимназии. Николай и Александр были отправлены в столицу, первый - в Московское училище живописи и ваяния, второй - в университет.

Торговые дела Павла Егоровича шли все хуже. А тут еще домовладелец Моисеев плату за квартиру и лавку с четырехсот рублей в год возвысил до

восьмисот{126}. Это была последняя капля - и Чеховы, закрыв торговлю, переселились в Москву.

Здесь начали учиться младшие дети, Мария и Михаил, а вскоре приехал из Таганрога доучившийся там в гимназии Антон и поступил в университет, а затем стал сотрудничать в юмористических журналах.

Любил я чеховскую компанию, когда они жили в "комоде". Удивительно был похож на комод этот /127/ двухэтажный флигелек - он и сейчас такой же - на Кудринской-Садовой; он принадлежал тогда земляку Чехова, доктору Корнееву, донскому казаку. Вверху помещались столовая и комнаты для семьи, внизу - большой кабинет Антона Павловича, в который сверху была устроена внутренняя лестница прямо из столовой. Тогда я очень много разъезжал в разных командировках, то на холеру, то на чуму в астраханские пустыни, то на разные катастрофы, а то в задонские степи по делам табунного коневодства, в казачьи зимовки и калмыцкие улусы. И только налетом, возвращаясь в Москву, мог видеть я моего друга, и каждая встреча наша была взаимно радостна.

В один из таких приездов влетел я к Антону в кабинет. Он, по обыкновению, за письменным столом сидит.

- Откуда? - улыбнулся он, и глаза его засияли.

- Да отовсюду: с Волги, с Дона, с кубанских плавней, с терских гребней.

- Как ты загорел! Совсем чугунный. Ну, садись! Рассказывай!

- Вот тебе гостинец из родных краев - копченый гусь, сало, две бутылки цимлянского с Дона да шемайка вяленая с Терека.

Весь стол у Антона был обложен аккуратно связанными пачками конвертов с сохранившимися еще на них пятью сургучными печатями - денежных, со стола он перекладывал их на полку.

- Архив перебираю, - пояснил он мне. - Все редакционные дела. Вот "Осколки", вот "Стрекоза", вот "Петербургская газета"... Память о прожитых богатствах.

И он начал разворачивать мой кулек.

- А, с Дону, родное, степь-матушка!

Я тихо, бережно пожал ему руку, он улыбнулся.

- Эх, ты!.. Ну, рассказывай...

Не успел я рта разинуть, как сверху сбежал юноша в студенческом мундире - Н.Е.Эфрос... А из прихожей появились Семашко с виолончелью и певец Тютюник. Поздоровались, начали любоваться гостинцами. Эфрос почти тотчас же простился и убежал. Сверху послышался крик Марии Павловны:

- Антоша, завтрак готов!

- Несите все на стол! - обратился Антон Павлович /128/ к нам. - Вы, Семашко, рыбу, гуся и сало, а вы, певец, вино. Мы сейчас придем есть.

Они ушли наверх. Вдруг раздался звонок, вошла горничная.

- Антон Павлович, вас портной спрашивает.

- Глебов? Белоусов?

- Нет, не Федор Глебыч и не Иван Алексеич, а другой какой-то, с бородой и с узлом.

- Гиляй, милый, посмотри и, если чужой кто, скажи, что меня дома нет.

Я вышел в переднюю. У двери смиренно стоял в скромном драповом пальто бородатый мужчина, под мышкой у него был узел в черном коленкоре, в каком портные заказы приносят.

- Владимир Галактионыч! Вот не узнал... Из Нижнего? Ну, раздевайтесь!

- Да, вчера приехал.

- Антоша, Короленко пришел! - закричал я.

Только что мы уселись в кабинете, как раздался голос Евгении Яковлевны сверху:

- Антоша, кабачки остынут!

Пришлось прервать беседу и идти наверх, в столовую.

И почти всегда так бывало: когда ни придешь, постоянно народу у Чеховых труба нетолченная. Он уже начал входить в моду. Начался тот период, о котором так много писали, а я здесь описываю только мои личные впечатления, вспоминаю то время, когда мы - Гиляй и Антоша Чехонте - были близки. И хотя до конца жизни он остался для меня Антошей, а я для него Гиляем, прежней близости, когда Чехов "вошел в моду", уже не стало - слишком редки были встречи вдвоем.

Здоровье Антона Павловича становилось все хуже и хуже. Я изредка навещал его в Ялте. Приехал как-то раз я очень усталый от довольно бурно проведенного времени и норд-оста, потрепавшего нас между Новороссийском и Ялтой. Тогда у меня, чего никогда еще не бывало, появился тик, нервное подергивание лица и шеи.

- Это что тебя дергает? Это что еще за глупости? Как не стыдно, - ты, витязь, премированный за атлетику! - начал упрекать меня Чехов.

Меня опять дернуло. /129/

- Оставь, будь умным! Ты думаешь, что лучше будет, если ты так головой мотнешь? - И он точь-в-точь повторил мое движение с сердитым взглядом. Первый раз в жизни я увидел у него такие глаза.

- Ничего от твоего дерганья на свете лучше не будет, все как было, так и останется... Брось, не смей!

И, погрозив сердито пальцем, он сразу изменил тон и показал мне в окно на невзрачного человека, копошившегося около клумбы.

- Это наш Бабакай. Пойдем в сад, и ты мне скажи экспромт о Бабакае.

Я сочинил какие-то четыре строчки, из которых помню теперь только последнюю: "И какой-то Бабакай" {129}.

- Ну вот, теперь напиши это на косяке, - мы спускались в это время вниз по лестнице.

Я написал. Антон Павлович прочел.

- Это я с тебя стихами докторский гонорар взял за то, что от глупой привычки вылечил. Понял ты, что дергаться не надо, от этого никому ни лучше, ни хуже не будет, и перестань.

- Верю и не буду.



- Да, вот... Ты думаешь, я плохой доктор? Полицейская Москва меня признает за доктора, а не за писателя, значит - я доктор. Во "Всей Москве" напечатано: "Чехов Антон Павлович. Малая Дмитровка. Дом Шешкова. Практикующий врач". Так и написано, не писатель, а врач, - значит, верь!

И я поверил и больше ни разу не дернулся до сего времени.

Мы сидели на лавочке в саду, а Бабакай рылся в клумбе. У меня был кодак, я снял несколько раз Антона, Бабакай, дачу, Антон меня снял. Подошла Мария Павловна, - сняли и ее. Одна только ее карточка и вышла хорошо. Это единственный раз, когда Антон Чехов был фотографом. Подошел Бабакай.

- Антон Павлович, какие-то бабы из города в шляпках приходили, я сказал, что вас нет.

- Хорошо, Бабакай! Это он городских дам называет бабами, отбою от них нет, - пояснил мне Чехов.

- Судьба твоя такая. Без баб тебе, видно, не суждено. Ты подумай, сам говоришь: "От баб отбою нет". Служит у тебя Бабакай... Под Новым Иерусалимом ты /130/ жил в Бабкине, и мальчик у тебя был Бабакин... И сапоги мы с тобой покупали у Бабурина.

- Да, я и не подумал об этом, все баб... баб... баб... кругом! - рассмеялся он.

- Нет, еще не совсем кругом, а только что в начале баб. А чтоб завершить круг, ты вот на этой самой клумбе, которую копает Бабакай, посади баобаб.

В ответ Антоша со смехом вынул из кармана кошелек, порылся в нем и подал мне две запонки для манжет.

- Вот тебе за это гонорар. На память о баобабе... Обязательно посажу баобаб и выпишу его через Бабельмандебский пролив... Бабельмандебский!

Он опять расхохотался.

- Гиляй, знаешь что, - заключил он, - оставайся у меня жить. С тобой и умирать некогда.

А как любил Чехов степи! Они были постоянно темой наших разговоров, когда мы оставались вдвоем, и оба мы на этих воспоминаниях отдыхали от суеты столичной...

Еще в начале нашего знакомства он с удовольствием выслушивал мои стихи про Стеньку Разина, про запорожцев, которые еще тогда напечатаны не были.

Я уже говорил о том впечатлении, которое произвела на меня "Степь", напечатанная впервые в "Северном вестнике" в конце 80-х годов. При первой же встрече я высказал Чехову свой восторг:

- Прелесть! Ведь это же настоящая, настоящая степь! Прямо дышишь степью, когда читаешь.

- Скучно тебе было читать, скажи по совести!

- Тихо все, читаешь, будто сам в телеге едешь, тихо-тихо едешь.

- Вот оттого-то она и скучна тебе, так и быть должно. Моя степь - не твоя степь. Ведь ты же опоздал родиться на триста лет... В те времена ты бы ватаги буйные по степи водил, и весело б тебе было. Опоздал родиться...

Он засмеялся. А потом задумался и, глядя мне в глаза, медленно проговорил:

- Будет еще и твоя степь. И ватаги буйные будут. Все повторится, что было... Только мы с тобой не доживем до этого. А будет, будет это... И Гонты, и Гордиенки, и Стеньки Разины будут... Все будет... И шире и /131/ грознее еще разгуляется. Корка вверху лопнет, и полется; ведь в каждой станице таится свой Стенька Разин, в каждой деревне свой Пугачев найдется... Сорвется с цепи - а за ним все стаей, стаей...

Повторение этого разговора было у нас опять в Ялте, через несколько лет, когда я возвращался из "Нового света" - знаменитого голицынского виноделия. Антон Павлович был один - он да Евгения Яковлевна. Остальные все разъехались. Он чувствовал себя в этот день очень хорошо, мы опять гуляли по саду и разговаривали в кабинете перед открытым окном, глядя на море.

- Твои герои - в прошлом, сильные, могучие, с порывами; а мои нынешние - все кислота, киснут и скулят; как ты выражаешься - чеховщина.

Он надолго закашлялся.

- Да ведь так гнить без конца нельзя... Гниет болото, гниет, да и высохнет... И запылает от искорки торф в глубине и лес наверху. Только после нас это будет. Не вовремя ты родился. Или опоздал на триста лет, или раньше явился на сто. Помнишь, у тебя стихи. Я забыл. Как это?

- Какие?

- Идут полки... Бунчуки стали... кто гол... кто в бархате... атаман... усища...  
Всю картину вижу, а стихов не помню.

- Изволь:

Идет казацкой силы рать...  
Все ближе... ближе... Слышны крики,  
Видны отдельные полки,  
Звонят подковы, блещут пики,  
Горят на солнце бунчуки.  
На том папах,а,  
Из черна соболя окол,  
На этом рваная рубаха,  
На этом бархат, этот гол,  
И лишь полгруды закрывают  
Усы...{131}

- Вот... вот... Именно такие... Все будет, все будет... через сто лет.

Он вытянул руку к окну, к морю. /132/

- Гляди! Вот твои запорожцы летят на чайках, - прямо на гостиницу "Россия"! Вот ватаги с горы толпами прут, топоры сверкают. Слышишь, гудит?..

- Антоша, завтракать! - вошла Евгения Яковлевна.

Он сразу поник, опустил руку и обернулся ко мне:

- Идем.

Мы вышли из комнаты вслед за Евгенией Яковлевной.

"Так-то, Гиляюшка, все будет, все будет, только мы с тобой не увидим..." - еще звучало у меня в ушах.

В последний раз я видел Чехова почти накануне его отъезда за границу. Я вернулся с юга, и дома мне сказали, что Антон Павлович очень плох, хотел меня видеть и что доктора его увозят из России. Переодевшись, я тотчас отправился к нему, на четвертый этаж дома Полякова, N 22, по Леонтьевскому переулку. Только я протянул руку к звонку, как дверь сама навстречу мне отворилась и вышел доктор Ю.Р.Таубе.

- Ну вот и хорошо, Владимир Алексеевич, что вы приехали. Антон Павлович вспоминал вас, обрадуется.

- Каков он?

- Слаб. Послезавтра за границу.

На шум вышла в прихожую Ольга Леонардовна с очень суровым лицом, но при виде меня сразу прояснилась:

- Я испугалась, думала, чужой кто. Идите, Антоша рад будет вам...

Мы тихо подошли к кабинету. Сквозь полуотворенную дверь я увидел Антона Павловича. Он сидел на турецком диване с ногами. Лицо у него было осунувшееся, восковое... и руки тоже... Услышав шаги, он поднял голову... Один момент - и три выражения: суровое, усталое, удивленное - и веселые глаза. Радостная Антошина улыбка, которой я давно не видел у него.

- Гиляй, милый, садись на диван! - И он отодвинул ноги вглубь.

- Владимир Алексеевич, вы посидите, а я на полчаса вас покину, - обратилась ко мне Ольга Леонардовна.

- Да я его не отпущу! Гиляй, какой портвейн у меня! Три бутылки!

Я взял в свою руку его похудевшую руку - горячую, сухую. /133/

- А ну-ка пожми! Помнишь, как тогда... А табакерка твоя где?

- Вот она.

Он взял ее, погладил, как это всегда делал, по крышке и поднес ее близко к носу.

- С донничком? Степью пахнет донник. Ты оттуда?

- Из Задонья, из табунов.

- И неуков объезжал?

- И неуков объезжал, и каймак ел, и цымлу пил, и выморозки...

- Хорошо там у нас... Наши платовские целинные степи!

Он задумался.

- А я вот за границу еду, да... за границу...

- Прекрасно, а как вернешься, в степи тебя повезу, в табуны.

- Ах, степи, степи!.. Вот ты счастливеец... Ты там поэзии и силы набираешься. Бронзовый весь, не то что мы. Только помни: водку пей до пятидесяти лет, а потом не смей, на пиво переходи.

Я долго ему рассказывал о табунах, о калмыцком хуруле, о каторжной работе табунщиков зимой в голодовку да в шурганы, когда по суткам с коня не слезаешь, чтоб табун головой против ветра держать... а он слушал, слушал, сначала все крутил ус, а потом рука опустилась, глаза устремились куда-то вдаль... задумчивые, радостные... Думаю, степь увидал.

- Допивай портвейн, там в шкафу еще две бутылки... Хороший портвейн... Только твоя сливянка да запеканка домашняя лучше. Кланяйся Марии Ивановне да скажи, что приеду обязательно ее наливки пить... Помнишь, тогда... Левитан, Николай, опенки в уксусе...

И Антон Павлович с блаженной улыбкой закрыл глаза и опустил голову на подушку.

- Я так, минутку... не уходи, пей...

И задремал. За все время нашей беседы он ни разу не кашлянул. Я смотрел на осунувшееся милое лицо, спокойное-спокойное, на неподвижно лежавшие желтые руки с синими жилками и думал:

"Нет, Антоша, не пивать тебе больше сливянки, не видать тебе своих донских степей, целинных, платовских, так прекрасно тобой описанных..." /134/

Колышется живая площадь красными знаменами, красными платочками, красными майками. А среди этого красного, ритмически волнующегося моря вкраплены яркие зеленые, оранжевые и голубые пятна и полосы.

Послушная звукам оркестра, стройно движется демонстрация. Тысячи рук с рельефными мышцами сверкают и золотятся живой бронзой на солнце, опускаются и снова вырастают из цветных маек. Тысячи оживленных глаз и здоровых румяных лиц глядят весело и уверенно.

Шаг уверен, ярок, смел.  
Звучит ритмично мостовая,  
И бронза загорелых тел  
Горит на солнце, как живая.

- Все люди будут сильными! - сказал мне в одну из бесед А.П.Чехов.

- "Все люди будут сильными", - глядя на демонстрацию, повторил я слова Чехова.

В восторге смотрел я на эту полную сил и жизни молодежь, на стройные ряды загорелых ребятишек, радостным и звонким строем уверенно шагающих за своими старшими товарищами. На лицах у всех написано:

"Мы - сильные!"

И теперь, когда я заканчиваю эти строки, мое восьмидесятилетнее сердце болит о другие юных дней, и мне думается, будь он жив, - встретив такой праздник молодежи, он, автор "Хмурых людей", написал бы книгу: "Жизнерадостные люди". /135/

***В.Г.КОРОЛЕНКО. АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ***

С Чеховым я познакомился в 1886 или в начале 1887 года{135} (теперь точно не помню). В то время он успел издать два сборника своих рассказов. Первый, который я видел в одно из своих посещений на столе у Чехова, назывался "Сказки Мельпомены" и, кажется, составлял издание какого-то юмористического журнала. Самая внешность его носила отпечаток, присущий нашей юмористической прессе. На обложке стояло: "А.Чехонте", и был изображен мольберт, а перед ним - карикатурная фигура длинноволосого художника. Если память мне не изменяет, виньетку эту{135} рисовал брат Антона Павловича, художник, умерший в самом конце восьмидесятых или начале девяностых годов, человек, как говорили, очень талантливый, но неудачник... Эту первую книжку Чехова мало заметили в публике, и теперь редко кто ее, вероятно, помнит. Но некоторые (кажется, не все) рассказы из нее вошли в последующие издания.

Затем, помнится, в начале 1887 года появилась уже более объемистая книга "Пестрых рассказов", печатавшихся в "Будильнике", "Стрекозе", "Осколках" и на этот раз подписанных уже фамилией А.П.Чехова. Эта книга была замечена сразу широкой читающей публикой. О ней начали писать и говорить. Писали и говорили разное, но много, и в общем это был большой успех{135}. В газетных некрологах и заметках упоминается о том, /136/ будто А.С.Суворин первый рассмотрел среди ворохов нашего тусклого русского "юмора" неподдельные жемчужины чеховского таланта. Это, кажется, неверно. Первый обратил на них внимание Д.В.Григорович. Как кажется, он оценил эти самородные блески еще тогда, когда они были разбросаны на страницах юмористических журналов или, быть может, по первому сборнику "А.Чехонте". Кажется, Григорович же устроил издание "Пестрых рассказов", и едва ли не от него узнал о Чехове Суворин{136}, который и пригласил его работать в "Новом времени". В первые же свидания мои с Чеховым Антон Павлович показывал мне письма Григоровича. Одно из них было написано из-за границы{136}. Григорович писал о тоске, которую он испытывает в своем курорте, о болезни, о предчувствии близкой смерти. Чехов, [показывая] мне это письмо, прибавил:

- Да, вот вам и известность, и карьера, и большие гонорары...

Эта пессимистическая нотка показалась мне тогда случайной в устах веселого автора веселых рассказов, перед которым жизнь только еще открывала свои заманчивые дали... Но впоследствии я часто вспоминал эти слова, и они уже не казались мне случайными...

После выхода в свет "Пестрых рассказов" имя Антона Павловича Чехова сразу стало известным, хотя оценка нового дарования вызывала разноречие и споры. Вся книга, проникнутая еще какой-то юношеской беззаботностью и, пожалуй, несколько легким отношением к жизни и к литературе, сверкала юмором, весельем, часто неподдельным остроумием и необыкновенной сжатостью и силой изображения. А нотки задумчивости, лиризма и особенной, только Чехову свойственной печали, уже прокрадывавшиеся кое-где сквозь яркую

смешливость, - еще более оттеняли молодое веселье этих действительно "пестрых" рассказов.

## II

В то время в Петербурге издавался журнал "Северный вестник". Издательницей его была А.М.Евреинова, редакция (первоначальная) составила из бывших сотрудников "Отечественных записок". Во главе ее стоял /137/ Ник.Конст.Михайловский, близкое участие принимал Глеб Ив. Успенский и С.Н.Южак, а в редактировании беллетристического и стихотворного отдела участвовал А.Н.Плещеев. Меня приглашали тоже ближе примкнуть к этому журналу, и я ехал в Петербург, между прочим, и по этому поводу. В то время я уже прочитал рассказы Чехова, и мне захотелось проездом через Москву познакомиться с их автором.

В те годы семья Чеховых жила на Садовой, в Кудрине, в небольшом красном уютном домике, какие, кажется, можно встретить только еще в Москве. Это был каменный особнячок, примыкавший к большому дому, но сам составлявший одну квартиру в два этажа. Внизу меня встретили сестра Чехова и младший брат, Михаил Павлович, тогда еще студент. А через несколько минут по лестнице сверху спустился и Антон Павлович.

Передо мною был молодой и еще более моложавый на вид человек, несколько выше среднего роста, с продолговатым, правильным и чистым лицом, не утратившим еще характерных юношеских очертаний. В этом лице было что-то своеобразное, что я не мог определить сразу и что впоследствии, по-моему очень метко, определила моя жена, тоже познакомившаяся с Чеховым. По ее мнению, в лице Чехова, несмотря на его несомненную интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая простодушного деревенского парня. И это было особенно привлекательно. Даже глаза Чехова, голубые, лучистые и глубокие, светились одновременно мыслью и какой-то, почти детской, непосредственностью. Простота всех движений, приемов и речи была господствующей чертой во всей его фигуре, как и в его писаниях. Вообще, в это первое свидание Чехов произвел на меня впечатление человека глубоко жизнерадостного. Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья, которым были переполнены его рассказы. И вместе угадывалось что-то более глубокое, чему еще предстоит развернуться, и развернуться в хорошую сторону. Общее впечатление было цельное и обаятельное, несмотря на то, что я сочувствовал далеко не всему, что было написано Чеховым. Но даже и его тогдашняя "свобода от партий", казалось мне, имела свою хорошую сторону. Русская жизнь закончила с грехом пополам один из своих коротких /138/ циклов, по обыкновению не разрешившийся во что-нибудь реальное, и в воздухе чувствовалась необходимость некоторого "пересмотра", чтобы пуститься в путь дальнейшей борьбы и дальнейших исканий. И поэтому самая свобода Чехова от партий данной минуты, при наличии большого таланта и большой

искренности, казалась мне тогда некоторым преимуществом. Все равно, думал я, это не надолго... Среди его рассказов был один (кажется, озаглавленный "По пути"): {138} где-то на почтовой станции встречаются неудовлетворенная молодая женщина и скитающийся по свету, тоже неудовлетворенный, сильно избитый жизнью русский "искатель" лучшего. Тип был только намечен, но он изумительно напомнил мне одного из значительных людей, с которым сталкивала меня судьба. И я был поражен, как этот беззаботный молодой писатель сумел мимоходом, без опыта, какой-то отгадкой непосредственного таланта так верно и так метко затронуть самые интимные струны этого все еще не умершего у нас, долговечного рудинского типа... И мне Чехов казался молодым дубком, пускающим ростки в разные стороны, еще коряво и порой как-то бесформенно, но в котором уже угадывается крепость и цельная красота будущего могучего роста.

Когда в Петербурге я рассказал в кружке "Северного вестника" о своем посещении Чехова и о впечатлении, которое он на меня произвел, - это вызвало много разговоров. Талант Чехова признавали все единогласно, но к тому, на что он направит еще не определившуюся большую силу, относились с некоторым сомнением. Отношение к Чехову Михайловского читателям известно: он часто и с большим интересом возвращался к его работам, признавал огромные размеры его таланта, но тем суровее отмечал некоторые черты, в которых видел неправильное отношение к литературе и ее назначению. Ни о ком, однако, из сверстников Михайловский не писал так много, как о Чехове {138}, а в последние годы, как это тоже известно, он относился к Чехову с большой симпатией... Во всяком случае, в то время, о котором я рассказываю, "Северный вестник" Михайловского хотел бы видеть Чехова в своей среде, и мне пришлось выслушать упрек, что во время своего посещения я (тогда еще новичок в журнальном деле) не позаботился о приглашении Чехова как сотрудника. /139/

В следующее свое посещение я уже заговорил с Чеховым об этом "деле", но еще раньше меня говорил с ним о том же А.Н.Плещеев, заехавший к нему проездом через Москву на Кавказ. Чехов сам рассказал мне об этом свидании, подтвердил обещание, данное Плещееву, но вместе с тем выразил некоторое колебание. По его словам, он начинал литературную работу почти шутя, смотрел на нее частью как на наслаждение и забаву, частью же как на средство для окончания университетского курса и содержания семьи\*.

---

\* В то время он был уже врачом, хотя и без практики, а брат его, Михаил Павлович, начинал тоже печататься в юмористических журналах (под псевдонимом). (Прим В.Г.Короленко.)

- Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. Вот.

Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, - это оказалась пепельница, - поставил ее передо мною и сказал:

- Хотите - завтра будет рассказ... Заглавие "Пепельница".

И глаза его засветились весельем. Казалось, над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже с готовым юмористическим настроением...

Теперь, когда я вспоминаю этот разговор, небольшую гостиную, где за самоваром сидела старуха мать, сочувственные улыбки сестры и брата, вообще всю атмосферу сплоченной, дружной семьи, в центре которой стоял этот молодой человек, обаятельный, талантливый, с таким, по-видимому, веселым взглядом на жизнь, - мне кажется, что это была самая счастливая, последняя счастливая полоса в жизни всей семьи, - радостная идиллия у порога готовой начаться драмы... В выражении лица и в манерах тогдашнего Чехова мне вспоминается какая-то двойственность: частью это был еще беззаботный Антоша Чехонте, веселый, удачливый, готовый посмеяться между прочим над "умным дворником", рекомендуя в кухне читать книги, и над парикмахером, который во время стрижки узнает, что его невеста выходит замуж за другого, и потому оставляет голову клиента недостриженной {139}... Образы теснились к нему /140/ веселой и легкой гурьбой, забавляя, но редко волнуя... Они наполняли уютную квартирку и, казалось, приходили в гости зараз ко всей семье. Сестра Антона Павловича рассказывала мне, что брат, комната которого отделялась от ее спальни тонкой перегородкой, часто стучал к ней ночью в стенку, чтобы поделиться темой, а иной раз готовым уже рассказом, внезапно возникшим в голове. И оба удивлялись и радовались неожиданным комбинациям... Но теперь в этом беззаботном настроении происходила заметная перемена: и сам Антон Павлович, и его семья не могли не заметить, что в руках Антоши не просто забавная и отчасти полезная для семьи игрушка, а великая драгоценность, обладание которой может оказаться очень ответственным. Кажется, в то время был уже напечатан (в "Новом времени") очерк "Святою ночью" {140}, чудная картинка, проникнутая глубоко захватывающей, обаятельной грустью, еще примиряющей и здоровой, но уже, как небо от земли, удаленной от беспредметно смешливого настроения большинства "Пестрых рассказов". И в лице Чехова, недавнего беззаботного сотрудника "Осколков", проступало какое-то особенное выражение, которое в старину называли бы "первыми отблесками славы"... Я помню, что в словах матери, видимо счастливой и гордившейся успехом сына, звучали уже грустные ноты. Мы говорили с Антоном Павловичем о поездке в Петербург и о том, где мы там встретимся, и г-жа Чехова сказала со вздохом:

- Да, мне кажется, что Антоша теперь уж не мой...

Как это часто бывает, у матери было верное предчувствие...

Мы условились встретиться в Петербурге в редакции "Осколков", где я действительно нашел Чехова в назначенный день {140}, в кабинете редактора г.Лейкина. Здесь, между прочим, произошел небольшой инцидент: накануне г.Лейкин похвастался перед Чеховым прекрасным рассказом, присланным в "Осколки" неизвестным еще начинающим автором, помнится из Царского Села. Редактор пришел в восторг и пригласил автора для личных переговоров, с целью привлечь его к журналу. Чехов захотел прочитать рукопись. Оказалось, однако, что это был просто-напросто один из его собственных очерков, старательно переписанный с печатного и /141/ подписанный неведомой фамилией. Лучший признак известности: плагиат уже, очевидно, оценил новое дарование и тянулся к нему, как чужеядное растение...



### III

Через некоторое время первый журнальный рассказ А.П.Чехова был написан. Назывался он "Степь" {141}. Во время моего пребывания в Петербурге А.Н.Плещеев получил из Москвы письмо, в котором Чехов писал, что работа у него подвигается быстро. "Не знаю, что выйдет, но только чувствую, что вокруг меня пахнет степными цветами и травами" {141}, - так приблизительно (цитирую на память) определял Чехов настроение этой своей работы, и это же, несомненно, чувствуется в чтении. На этом первом "большом" рассказе Чехова лежал еще, правда, отпечаток привычной ему формы. Некоторые критики отмечали, что "Степь" - это как бы несколько маленьких картинок, вставленных в одну большую раму. Несомненно, однако, что эта большая рама заполнена одним и очень выдержанным настроением. Читатель как будто сам ощущает веяние свободного и могучего степного ветра, насыщенного ароматом цветов, сам следит за сверканием в воздухе степной бабочки и за мечтательно-тяжелым полетом одинокой и хищной птицы, а все фигуры, нарисованные на этом фоне, тоже проникнуты оригинальным степным колоритом. Младший Чехов (Михаил Павлович) говорил мне вскоре после того, как рассказ появился в "Северном вестнике", что в нем очень много автобиографических, личных воспоминаний.

Есть в нем, между прочим, одна подробность, которая казалась мне очень характерной для тогдашнего Чехова. В рассказе фигурирует Дениска, молодой крестьянский парень. Выступает он в роли кучера. Бричка с путниками останавливается в степи на привал в знойный, удушливый полдень. Горячие лучи жгут головы, откуда-то несется песня, "тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом... Точно над степью носился невидимый дух и пел", или сама она, "выжженная, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну... вины не /142/ было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя"... В это время Дениска просыпается первым из отдыхающих путников. Он подходит к ручью, пьет, аппетитно умывается, плескаясь и фыркая. Несмотря на зной, на тоскливый пейзаж, на еще более тоскливую песню, неизвестно откуда несущуюся и говорящую о неизвестной вине, Дениска переполнен ощущением бодрости и силы.

- А ну, кто скорее доскачет до осоки! - говорит он Егорушке, главному герою рассказа, и не только одерживает победу над усталым от зноя Егорушкой, но, не довольствуясь этим, предлагает тотчас же скакать обратно.

Я как-то шутя сказал Чехову, что он сам похож на своего Дениску. И действительно, в самый разгар восьмидесятых годов, когда общественная жизнь так похожа была на эту степь с ее безмолвной истомой и тоскливой песней, он явился беззаботный, веселый, с избытком бодрости и силы. То и дело у него неизвестно откуда являлись разные проекты, и притом как-то сразу, в готовом виде, с мелкими деталями... Однажды он стал развивать передо мною план

журнала, в котором будут участвовать беллетристы, числом двадцать пять, "и все начинающие, вообще молодые". В другой раз, устремив на меня свои прекрасные глаза с выражением внезапно созревающей мысли, он сказал:

- Слушайте, Короленко... Я приеду к вам в Нижний.
- Буду очень рад. Смотрите же - не обманите.
- Непременно приеду... Будем вместе работать. Напишем драму. В

четырёх действиях. В две недели.

Я засмеялся. Это был опять Дениска.

- Нет, Антон Павлович. Мне за вами не ускакать. Драму вы пишете один, а в Нижний все-таки приезжайте.

#### IV

Он сдержал слово, приехал в Нижний {142} и очаровал всех, кто его в это время видел. А в следующий свой приезд в Москву я застал его уже за писанием драмы {142}. Он вышел из своего рабочего кабинета, но удержал меня /143/ за руку, когда я, не желая мешать, собрался уходить.

- Я действительно пишу и непременно напишу драму, - сказал он, - "Иван Иванович Иванов"... Понимаете? Ивановых тысячи... обыкновеннейший человек, совсем не герой... И это именно очень трудно... Бывает ли у вас так: во время работы, между двумя эпизодами, которые видишь ясно в воображении, - вдруг пустота...

- Через которую, - сказал я, - приходится строить мостки уже не воображением, а логикой?..

- Вот, вот...

- Да, бывает, но я тогда бросаю работу и жду.

- Да, а вот в драме без этих мостков не обойдешься...

Он казался несколько рассеянным, недовольным и как будто утомленным. Действительно, первая драма далась Чехову трудно и повлекла за собою первые же серьезные чисто литературные волнения и огорчения. Не говоря о заботах сценической постановки, о терзаниях автора, видящего, как далеко слово от образа, а театральное исполнение от слова, - в этой драме впервые сказался перелом в настроении Чехова. Я помню, как много писали и говорили о некоторых беспечных выражениях Иванова, например о фразе: "Друг мой, послушайте моего совета: не женитесь ни на еврейках, ни на психопатках, ни на курсистках". Правда, это говорит Иванов, но русская жизнь так болезненно чутка к некоторым наболевшим вопросам, что публика не хотела отделить автора от героя; да, сказать правду, в "Иванове" не было той непосредственности и беззаботной объективности, какая сквозила в прежних произведениях Чехова. Драма русской жизни захватывала в свой широкий водоворот вышедшего на ее арену писателя: в его произведении чувствовалось невольное веяние какой-то тенденции, чувствовалось, что автор на что-то нападает и что-то защищает, и спор шел о том, что именно он защищает и на что нападает. Вообще эта первая драма,

которую Чехов переделывал несколько раз {143}, может дать ценный материал для вдумчивого биографа, который пожелает проследить историю душевного перелома, приведшего Чехова от "Нового времени", в котором он охотно писал вначале и куда не давал ни строчки в последние годы, - в "Русские ведомости", в "Жизнь" /144/ и в "Русскую мысль"... Беззаботная непосредственность роковым образом кончалась, начиналась тоже роковым образом рефлексия и тяжелое сознание ответственности таланта\*.

\* Драма "Иванов" была напечатана в "Северном вестнике" (март 1889 г.). (Прим. В.Г.Короленко.)

Следующий за "Степью" рассказ "Именины" {144} был тоже напечатан в "Северном вестнике". За ним следовал третий ("Огни"). Его настроение значительно усложнялось, а пожалуй, и омрачалось несколько циничными, но еще более грустно-скептическими нотами, и Чехов в переписке несколько раз выражает недовольство этим рассказом {144}. Остальное памятно, без сомнения, всей читающей России. За "Пестрыми рассказами" последовал сборник с характерным названием: "В сумерках". Затем "Хмурые люди" {144}; затем в "Русской мысли" появилась "Палата N 6" {144} - произведение поразительное по захватывающей силе и глубине, с каким выражено в нем новое настроение Чехова, которое я назвал бы настроением второго периода. Оно совершенно определилось, и всем стала ясна неожиданная перемена: человек, еще так недавно подходивший к жизни с радостным смехом и шуткой, беззаботно веселый и остроумный, при более пристальном взгляде в глубину жизни неожиданно почувствовал себя пессимистом. К третьему периоду я бы отнес рассказы, а пожалуй, и драмы последних годов, в которых звучит и стремление к лучшему, и вера в него, и надежда. Через дымку грусти, порой очень красивой, порой разъедающей и острой и всегда поэтической, эта надежда сквозит, как куполы церквей дальнего города, едва видные сквозь знойную пыль и удушливый туман трудного пути... И над всем царит меланхолическое сознание:

Жаль только: жить в эту пору прекрасную  
Уж не придется ни мне, ни тебе... {144}

## V

После этих первых встреч, довольно частых в начале нашего знакомства, мы виделись с Чеховым все реже и реже. Наши литературные связи и симпатии (я говорю /145/ о личных связях и симпатиях в литературной среде) в конце 80-х и начале 90-х годов были различны, и выходило так, что они перекрещивались редко также и впоследствии, когда он сошелся с родственными и мне литературными кругами. Я тогда же (то есть в конце 80-х годов) сделал было попытку свести Чехова с Михайловским и Успенским. Мы вместе с ним

отправились {145} в назначенный час в "Пале-Рояль", где тогда жил Михайловский и где мы уже застали Глеба Ивановича Успенского и Александру Аркадьевну Давыдову (впоследствии издательницу журнала "Мир божий"). Но из этого как-то ничего не вышло. Глеб Иванович сдержанно молчал (тогда у него начинали уже появляться признаки сильной душевной усталости и, пожалуй, предвестники болезни). Михайловский один поддерживал разговор, и даже Александра Аркадьевна - человек вообще необыкновенно деликатный и тактичный - задела тогда Чехова каким-то резким замечанием относительно одного из тогдашних его литературных друзей. Когда Чехов ушел, я почувствовал, что попытка не удалась. Глеб Иванович, с которым мы вместе вышли от Михайловского, заметил, с своей обычной чуткостью, что я огорчен, и сказал:

- Вы любите Чехова?

Я попытался изобразить то чувство, которое у меня было к Чехову, и то впечатление, какое он на меня производит. Он слушал с обычным своим задумчивым вниманием и сказал:

- Это хорошо... - но сам остался сдержанным. Теперь я понимаю, что веселость тогдашнего Чехова, автора "Пестрых рассказов", была чужда и неприятна Успенскому. Сам он когда-то был полон глубокого и своеобразного юмора, острота которого очень рано перешла в горечь. Михайловский чрезвычайно верно и чрезвычайно метко обрисовал в статье об Успенском ту целомудренную сдержанность, с какой он сознательно обуздывал свою склонность к смешным положениям и юмористическим образам из боязни профанировать скорбные мотивы злополучной русской действительности. Хорошо это или плохо - я здесь рассуждать не буду. Думаю, конечно, что было бы превосходно, если бы люди с такими природными залежами смеха в душе находили в себе и в окружающей атмосфере достаточно /146/ силы, чтобы победить великое уныние русской жизни своим еще более сильным смехом. Тогда мы имели бы, может быть, мировые шедевры сатирической литературы... Но... мечтать можно о чем угодно, а факт все-таки состоит в том, что современное русское уныние само побеждает русский юмор, и это с неизбежностью рокового закона отразилось - к сожалению, даже слишком скоро - на самом Чехове.

Но в то время еще было иначе, и я помню, с каким скорбным недоумением и как пытливно глубокие глаза Успенского останавливались на открытом, жизнерадостном лице этого талантливой выходца из какого-то другого мира, где еще могут смеяться так беззаботно. Чехов тоже инстинктивно сторонился от назревшего уже в Успенском настроения, которое сторожило его самого, - и они разошлись несколько холодно, пожалуй с безотчетным расположением друг к другу.

Теперь нет уже обоих. Успенский умер раньше, могила Чехова еще не закрылась, когда я пишу эти строки... Но оба сошли со сцены с надеждой на будущее и со жгучей скорбью о настоящем.

Вспоминается мне еще один разговор с Чеховым, о Гаршине. Не помню, было ли это после смерти Гаршина, или под конец его омраченной жизни... {146} Я недавно вернулся из Сибири {146}, и во мне еще были живы и свежи глубокие

впечатления от ее величаво-угрюмой природы и ее людей. И мне казалось, что если бы можно было отвлечь Гаршина от мучительных впечатлений нашей действительности, удалить на время от литературы и политики, а главное - снять с усталой души то сознание общей ответственности, которое так угнетает русского человека с чуткой совестью... если бы взамен этого поставить его лицом к лицу только с первобытной природой и первобытным человеком, - то, думалось мне, больная душа могла бы еще расправиться. Но Чехов возразил с категоричностью врача:

- Нет, это дело непоправимое: раздвинулись какие-то молекулярные частицы в мозгу, и уж ничем их не сдвинешь...

Впоследствии мне часто вспоминались эти слова. Через год-два "раздвинулись частицы" у Успенского, и сколько ни искал он исцеления во "врачующем просторе" родины, как ни метался по степям и ущельям /147/ Южного Урала, по горным хребтам Кавказа, по Волге и "захолустным рекам" средней России, - ему не удалось стряхнуть все глубже въедавшейся в душу тоски, как и сознания "общей ответственности" перед правдой жизни за все ее неправды. А затем "раздвинулись частицы" и у Чехова. Правда, это были частицы легких, а не мозга, ясность которого он сохранил до конца. Но кто скажет, какую роль в физической болезни играла та глубокая, разъедающая грусть, на фоне которой совершались у Чехова все душевные, а значит, и физические процессы...

Мои встречи с Чеховым во второй половине 90-х годов уже были не часты и случайны. В период уже определившейся болезни мы встретились только три-четыре раза. Один раз это было в 1897 г., в редакции "Русской мысли" {147}. В то время я тоже был болен. Чехов расспрашивал меня со вниманием товарища и врача и, выйдя из редакции, на улице задушевно пожал мне руку и сказал:

- Ничего... вы поправитесь, уверяю вас, вы поправитесь.

- И вы тоже поправитесь, Антон Павлович!.. - сказал я с верой, истекавшей из сильного желания верить.

- Да, да, надеюсь... Мне и теперь лучше, - ответил он, и мы расстались.

В последний раз я видел его в 1902 г. в Ялте, куда я приехал для разговора об одном общем заявлении {147}. Чехов написал мне, что хочет заехать в Полтаву, и я предупредил его, зная, как ему это трудно. Он жил на своей даче, которую построил (по-художнически непрактично) под Ялтой; с ним жили сестра и жена. Как и в первую нашу встречу, сестра Чехова встретила меня внизу, как и тогда, Чехов спустился по лестнице сверху. У меня сжалось сердце при этом воспоминании. Это был тот же Чехов, но куда девалась его уверенная, спокойная жизнерадостность? Черты обострились, стали как будто жестче, и только глаза все еще порой лучились и ласкали. Но и в них чаще виднелось застывшее выражение грусти. Сестра рассказывала, что по временам он сидит целые часы, глядя в одну точку... Во время разговора он взял лежавшую на столе книгу, недавно рекомендованную русскому читателю Л.Н.Толстым. /148/

- Поленца, "Крестьянин" {148}. Читали? Хорошая книга, - сказал он. - Вот если бы мне еще написать одну такую книгу... я считал бы, что этого довольно. Можно умереть.

Он умер раньше...

## VI

И опять невольно приходит в голову сопоставление: Гоголь, Успенский, Щедрин, теперь - Чехов. Этими именами почти исчерпывается ряд выдающихся русских писателей с сильно выраженным юмористическим темпераментом. Двое из них кончили прямо острой меланхолией, двое других - беспросветной тоской. Пушкин называл Гоголя "веселым меланхоликом", и это меткое определение относится одинаково ко всем перечисленным писателям... Гоголь, Успенский, Щедрин и Чехов...

Неужели в русском смехе есть в самом деле что-то роковое? Неужели реакция прирожденного юмора на русскую действительность, - употребляя терминологию химиков, - неизбежно дает ядовитый осадок, разрушающий всего сильнее тот сосуд, в котором она совершается, то есть душу писателя?... /149/

### ***И.Е.РЕПИН. О ВСТРЕЧАХ С А.П.ЧЕХОВЫМ***

Встречался очень редко. Живее всего он рисуется мне при первой встрече. Он посетил меня в моей студии у Калинкина моста (вероятно, в 1887 году).

Положительный, трезвый, здоровый, он мне напоминал тургеневского Базарова.

Как-то раз, сидя у меня, он увлекся воспоминанием своей практики земского врача {149}. Нарисовал несколько живейших картин в деревнях, когда он являлся туда на вскрытие трупов скоропостижно умерших.

Дело происходило больше на открытом воздухе.

Зрители выползали со всех углов и переулков и все смелее и смелее обступали доктора, раскладывавшего хирургические инструменты вблизи покойника, торжественно лежащего на столе посреди улицы. Увлеченный своим неприятным делом по обязанности, Чехов не замечал, как любознательные мальчишки все больше и больше подвигались к умершему, наконец мешали доктору... При этом воздух!.. Хотя и на открытом воздухе.

И вдруг при повороте раздутого мертвеца, полного газов, покойник сделал губами "бр-р-р". Публике показалось, что он оживает... С визгом бросились врассыпную, кувыркаясь друг через друга, во все стороны испуганные мальчишки.

Один раз в содружестве "Литературного общества" мне удалось сделать с него очень удачный набросок {149} /150/ (он не позировал). Кто-то выпросил этот набросок, по обыкновению.

Тонкий, неумолимый, чисто русский анализ преобладал в его глазах над всем выражением лица. Враг сантиментов и выпренных увлечений, он, казалось, держал себя в мундштуке холодной иронии и с удовольствием чувствовал на себе кольчугу мужества.

Мне он казался несокрушимым силачом по складу тела и души.

Куоккала /151/

### ***А.С. ЛАЗАРЕВ-ГРУЗИНСКИЙ. А.П. ЧЕХОВ\****

---

\* Кое о чем из истории моего долголетнего знакомства с Ан.П.Чеховым я уже рассказывал в печати, но большая часть этой главы написана мною в 1924-25 годах. (Прим. А.С.Лазарева-Грузинского.)

Первая встреча с Антоном Чеховым - одно из самых светлых воспоминаний моей молодости. В редакциях юмористических изданий, куда мне приходилось захаживать за гонораром, Чехов в это время уже почти не бывал. Я пришел к Чехову по его приглашению в 1887 году{151}, когда звезда его начала восходить ослепительно ярко после ряда великолепных беллетристических "субботников", появившихся в "Новом времени", - "Агафья", "Ведьма", "Мечты"{151}, - просидел у него целый вечер и ушел с таким впечатлением, как будто мы были знакомы несколько лет.

Пришел я в сумерки; в течение длинного зимнего вечера я не раз поднимался и начинал прощаться, но Чехов говорил:

- Ну, что там! Садитесь. Ни я, ни вы работать сегодня не будем (это был вечер Нового года). Потолкуем!

- Потолкуем!

Это был магнит, который при дальнейшем знакомстве неизменно притягивал меня к одному из больших и мягких кресел чеховского кабинета. Порой, придя, я заставал Чехова за работой, спешил проститься, но Чехов неизменно говорил: /152/

- Сядьте. Я скоро кончу. Потолкуем.

Я познакомился с Чеховым, когда он жил на Кудринской-Садовой в доме д-ра Корнеева, в оригинальном, как рассказы Чехова, флигельке, похожем на маленький замок; хорошо помню полукруглые окна, выходившие на Садовую, в форме башен. Квартира была расположена в двух этажах. Во втором этаже жили мать, отец и сестра Чехова, внизу был большой кабинет писателя и две спальни - его и брата Михаила, студента, кончавшего юридический факультет. Из нижнего в верхний этаж вела красивая чугунная лестница с широкой площадкой на повороте, на которой лежало отличное чучело волка. В большой комнате верхнего

этажа, расположенной над кабинетом Чехова, я помню пианино, аквариум, нарядную мебель и большую картину Николая Чехова, талантливо начатую, но заброшенную и не законченную им. Картина изображала швею, уснувшую на рассвете над работой. Вероятно, об этой картине Чехов писал брату Александру в апреле 83-го года: "Николай шалаберничает, гибнет хороший, сильный русский талант, гибнет ни за грош. Ты видишь его теперешние работы. Что он делает? Делает все то, что пошло, копеечно... А между тем в зале стоит начатой замечательная картина"{152}. Эта начатая, может быть, даже ранее 83-го года картина не была законченной и в 87-м году. Да, вероятно, так незаконченной и осталась.

Где теперь находится эта картина? На чеховской даче в Крыму?{152}

Указав на аквариум, пианино и мебель, Чехов сказал мне:

- Хорошо быть литератором, А.С. Это все дала мне литература.

Но когда я с некоторым почтением взглянул на вещи, данные литературой, Чехов рассмеялся и пояснил, что пианино взято им напрокат, а часть мебели принадлежит его брату Николаю. Кажется, это была в некотором роде "литературная" мебель. В письме к брату Александру в апреле 83-го года Чехов пишет: "Живем сносно. Есть пианино, мебель хорошая. Помнишь уткинскую мебель? Теперь вся она у нас"{152}.

Уткина была издательницей "Будильника" и после продажи журнала, вероятно, уехала из Москвы. /153/

В кабинете Чехова близ входа в его спальню открытые полки с книгами тянулись от пола до потолка. Это была библиотека Чехова, составившаяся по преимуществу с помощью покупок на старой московской Сухаревке, положившей начало библиотекам многих московских писателей и журналистов. Кстати: одна из моих сухаревских покупок чуть-чуть огорчила Чехова: почти вслед за выходом его сборника "В сумерках"{153} я купил на Сухаревке сборник стихотворений Минаева "В сумерках", вышедший в очень красивой красочной обложке в Петербурге в конце шестидесятых годов{153}. Чехов не знал, что книга с заглавием его сборника уже была раньше в продаже.

Книг в библиотеке Чехова жалось друг к другу немало, быть может до тысячи и даже значительно больше; все они имели очень зачитанный вид; здесь были старые, разрозненные толстые журналы, отдельные томики разных авторов, имевших некоторое влияние на творчество Чехова; покупалось все это в разное время, понемножку, при получении из редакций более крупного гонорара или аванса; полные собрания сочинений в те времена стоили дорого, и на них у Чехова не хватало денег. Да и помещение ранее не позволяло особенно шириться его библиотеке. Из переписки Чехова видно, в каких квартирках приходилось ему жаться до сравнительно большой квартиры в доме Корнеева, в которой было комнат шесть или семь.

Из книг чеховской библиотеки отмечу "Жен артистов" Доде, которых Чехов пародировал в альманахе "Будильника" на 1882 год, "Записки мелкотравчатого" Дрианского, знакомство с которыми помогло Чехову внести много оригинальных охотничьих терминов в его имевшую хороший успех пьеску "Предложение", томики Брет-Гарта, Золя, "Калифорнийский рудник" Дмитрия



Гирса, талантливого сотрудника "Отечественных записок". Чехов любил покупать старинные книги и курьезные, вроде "письмовников". Одна из старинных, купленных Чеховым на Сухаревке, книг - "Толкователь слов разных и терминов иностранных, в российском флоте употребляемых" (заглавие цитирую на память, приблизительно), - по словам Чехова, дала ему тему для превосходного юмористического рассказа об отставном контр-адмирале Ревунове-Караулове, приглашенном в /154/ качестве почетного гостя на свадьбу и доведшем толкованием морских терминов всех хозяев до белого каления. Юмористический рассказ этот - "Свадьба с генералом" - впервые был напечатан в N 50 "Осколков" за 1884 год. Этот же персонаж под именем Федора Яковлевича Ревунова-Караулова, капитана 2-го ранга, позже вошел в забавную пьеску Чехова "Свадьба". Перечитывая рассказ о контр-адмирале, нельзя не восхищаться тем искусством, с каким фантазия Чехова облекла сухие морские термины в плоть и кровь.

Об одном из "письмовников" память моя сохранила такую сцену. Однажды в Бабкине или Мелихове, в серый день, когда стекла окон стали тусклыми от потоков дождя, Чехов достал какой-то "письмовник" и начал читать его мне и Ивану Павловичу, гостившему в деревне. Читал он очень забавно, а письма были почти сплошь такой отчаянной чепухой, что мы все не могли не смеяться, и скука, навеянная серым днем, от нас отошла.

Но вернусь к дому Корнеева на Садовой.

Взяв одну из книг чеховской библиотеки, я уходил с головою в чтение, а Чехов оканчивал начатый рассказ, тщательно обдумывая каждую фразу, медленно нанизывая строчки, как медленно нанизывают тонкие искусные пальцы жемчуг для какой-нибудь пленительнейшей из драгоценных вещей старины. Времена небрежного многописания в эти дни уже безвозвратно прошли для Чехова; "Антошу Чехонте" сменил взыскательный художник, не допускавший неряшливости письма в собственной работе и строго относившийся к неряшеству в работе других.

Чехов не был скороспелым баловнем фортуны и успеха добился медленным, тяжелым, почти "каторжным" трудом, как определял его труд в письме ко мне ранее меня познакомившийся с Чеховым петербургский журналист и секретарь "Осколков" - Билибин. Чехова мало знали даже после ряда прелестных маленьких вещиц, и к первым годам его литературной карьеры применимы слова Пушкина о том, что мы ленивы и нелюбопытны {154}. Горькая ирония чеховского "Пассажира 1-го класса" {154}, несомненно, имеет автобиографические черты.

Однажды, кажется даже при первой встрече, я спросил Чехова:

- У вас много знакомых? /155/

Чехов ответил:

- Нет.

Я удивился; я сказал, что, сидя в глуши {155} покровских лесов, думал об обширном кружке его московских знакомых, но он только рукою махнул:

- Полноте, кому нужны мы, пишущие люди? Кто интересуется нами? Вы знаете, я окончил Московский университет. В университете я начал работать в журналах с первого курса; пока я учился, я успел напечатать сотни рассказов под псевдонимом "А.Чехонте", который, как вы видите, очень похож на мою фамилию. И решительно никто из моих товарищей по университету не знал, что "А.Чехонте" - я, никто из них этим не интересовался. Знали, что я пишу где-то что-то, и баста. До моих писаний никому не было дела.

Как курьез, мимоходом отмечу, что угадать Антона Чехова в "Антоше Чехонте" было до крайности легко еще потому, что масса страниц хотя бы в московском журнале "Зритель" состояла из текста Антоши Чехонте, иллюстрированного рисунками его брата Н.Чехова, ставившего под ними свою полную подпись. Но никто не хотел угадывать. Стена равнодушия стояла в юности между товарищами Чехова по университету и им. Поистине мы ленивы и нелюбопытны.

В сумбурной статье Н.М.Ежова о Чехове ("Исторический вестник", 1909), о которой я буду говорить дальше, автор уверяет, что переписка Чехова не может дать о нем надлежащего представления, ибо в письмах своих Чехов "прихорашивался", а вот если бы расспросить товарищей Чехова по университету, их рассказы, несомненно, дали бы интереснейший сырой материал.

Уже из рассказов самого Чехова ясно, какой материал о нем могли дать его товарищи по университету. И действительность совершенно не подтвердила предположений Н.М.Ежова. Как раз в последние годы судьба сводила меня с товарищами Чехова по университету, но кроме того, что Чехов ходил на лекции аккуратно и садился где-то "близ окошка", мне от них ничего не пришлось услышать. Они не могли дать ни одной характерной бытовой черты.

Но вышеописанное равнодушие не вызывало ответного равнодушия Чехова. Чехов был одним из самых отзывчивых людей, которых я встречал в своей жизни. /156/ Для него не существовало мудрого присловья "моя хата с краю, я ничего не знаю", которым практические люди освобождаются от излишних хлопот. Услышав о чьем-либо горе, о чьей-либо неудаче, Чехов первым долгом считал нужным опросить:

- А нельзя ли помочь чем-нибудь?

Необычайно трогательна и характерна фраза Чехова, которую вспоминает, кажется, Мария Павловна, на ту тему, что на каждую просьбу нужно отозваться, и если нельзя дать того, что просят, в полной мере, то нужно дать хоть половину, хоть четверть, но дать непременно.

Эту отзывчивость Чехов пронес через всю свою жизнь, как драгоценное вино, не расплескав, не утратив ни капли.

В письменном столе Чехова вечно лежали чужие рассказы, он исправлял их, рассылал в те издания, где сам работал, и даже в те, где сам не работал, в "Московскую иллюстрированную газету" например; давал советы начинающим авторам, если видел в них хотя тень дарования; хлопотал об издании книг тех беллетристов, у которых уже успели накопиться материалы для книг.

- Вам нужно издаться! - говорил он мне и другим беллетристам при мне много раз. - Вас будут знать. Выпущенная книга повысит ваш гонорар.

На робко брошенные мысли, что издаться не легко, что охотников до издания книг начинающих авторов немного, Чехов возражал:

- Пустяки! Подождите, нужно будет придумать что-нибудь.

И, конечно, при своих литературных связях он придумывал кое-что и находил для своего протеже издателя.

На первом же году знакомства Чехов спросил меня:

- Скажите, А.С., сколько в месяц дает вам литература?

Я мысленно подсчитал свой месячный заработок и назвал цифру; цифра оказалась очень маленькой.

Чехов нахмурился:

- Так мало?!

- Что же делать?! Мои литературные заработки случайны.

В первые годы писательства я работал только в юмористических журналах, а журналы эти не особенно /157/ щедро оплачивали литературный материал; щедрое других был Лейкин, который, кроме того, чтобы привязать меня к "Осколкам", печатал мои статьи с таким расчетом, чтобы в месяц мне набегало не менее 35-40 рублей. Это была моя "осколочная" рента. Но другие редакторы юмористических изданий совершенно моих интересов не блюли, и то я застал уже лучшие времена, когда гонорар выплачивался везде без задержки. С худшими познакомился при начале своей литературной карьеры Чехов: "Осколков" еще не существовало, а в Москве аккуратно платили гонорар далеко не везде и не всегда.

Разговор о моих скудных литературных заработках оборвался, но Чехов его не забыл; через два-три месяца он решил бросить работу в "Петербургской газете", где около трех лет довольно аккуратно печатал беллетристические наброски по понедельникам; {157} в это время Чехов уже писал "Степь", и "Петербургская газета" не представляла для него интереса. И вот, в результате решения расстаться с газетой, ко мне в глушь Покровского уезда пришло из Москвы такое письмо от Чехова, помеченное 22 марта 1888 года:

"Милейший Александр Семенович! Для Вас представляется возможность работать в "Петербургской газете". Если Вы согласны (наверное, да), то поспешите написать Лейкину приблизительно следующее:

"Чехов писал мне, что Вы согласны взять на себя труд познакомить меня с "Пет. газ." и порекомендовать меня ей для понедельников. Благодаря Вас за любезность, я спешу воспользоваться и проч. и проч."

Что-нибудь в этом роде. Полубезнее и официальнее. Само собой разумеется, что, начав работать в "Газете", Вы потеряете необходимость мыкать свою музу по "Развлечениям" и проч.

В Питере я прожил 8 дней очень недурно. Останавливался у Суворина: разлитая чаша... Суворин - замечательный человек нашего времени\*.

---

\* Позже взгляд Чехова на Суворина значительно изменился. (Прим. А.С.Лазарева-Грузинского.)

Буду рад, когда Вы напишете субботник. С.Голике не говорил о Вашей книге, ибо он не был на вокзале среди провожатых. Впрочем, успеете. /158/

Печатаем 2-е издание "Сумерек", новую книгу {158} и детскую книгу "В ученом обществе" {158}.

Будьте здоровы.

Ваш А.Чехов".

Конечно, Чехов и сам мог бы рекомендовать меня в "Пет. газету", но он боялся обидеть Лейкина; Лейкин считался столпом газеты и по традиции проводил туда сотрудников "Осколков": ранее провел Чехова, в 1888 году - меня.

Я последовал совету Чехова и написал Лейкину; Лейкин ответил, что охотно рекомендует меня, и дал два-три дельных указания насчет "Пет. газеты"; помню, он советовал мне заботиться более о том, чтобы дебютный рассказ был свеж и занимателен, а не о том, чтобы он был юмористичен или смешон; для "Пет. газеты" этого не нужно. Дебютный рассказ у меня вышел удачным. Лейкин передал его в газету, в следующий же понедельник он появился в газете, а из редакции мне было прислано письмо с предложением продолжать работу. Конечно, я откликнулся на предложение; около восьми лет я печатался по понедельникам на страницах "Пет. газеты", и это постоянное сотрудничество дало мне определенный, довольно значительный по тому времени заработок и помогло из глухих лесов перебраться в Москву.

Когда после пяти-шести рассказов, появившихся в газете, я приехал в Москву, Чехов весело сказал мне:

- Поздравляю!

- С чем это?

- Был у меня Худеков. Вы знаете, он в восторге от вас!

Худеков, проездом в Петербург, заглянул к Чехову и просидел у него вечер. Худеков просил Чехова не бросать "Пет. газету" совсем и хотя изредка давать туда рассказы, обещая платить, помнится, по полтиннику за строчку, что было значительно выше нововременского гонорара. Чехов рассказывал подробно, что именно говорил обо мне Худеков (я не помню этого), и ему было приятно передать хорошие вести. Позже, через год или полтора, вернувшись из Ялты, он так же весело рассказал мне, что где-то за табльдотом в Ялте встречался /159/ с моими поклонниками и слышал, как какой-то франт говорил франтихе:

- А знаете, Нина Яковлевна, нынче в "Петербургской газете" опять рассказ Грузинова идет.

И мы оба смеялись, потому что русский человек не может не перевернуть фамилии автора в лучшем случае, а в худшем на вопрос об авторе понравившейся ему вещи ответит вам простодушно:

- Фамилия автора? Ну, знаете, я ее не запомнил!

Не удосужившись во время пребывания в Петербурге поговорить об издании моей книги с Голике, Чехов впоследствии перетолковал об издании ее с Лейкиным, и первая книжка моих рассказов Лейкиным была издана.

Вот письмо Чехова об издании книжки от 31 августа 1888 года:

"31 августа 1888 г.

Простите, добрейший Александр Семенович, что я запаздываю ответом на Ваше письмо; а ответ нужен, ибо мне заданы Вами кое-какие вопросы.

Вопрос о книге, по моему мнению, должен быть решен в положительном смысле. Чем раньше, тем лучше.

Книга, извините за выражение, даст Вам кукиш с маслом; пользу от нее (14 р. 31 коп.) получите Вы не раньше, как через 5 лет, а в соиздательстве с милейшим Лейкиным не раньше, как через 21 год. Но, надеюсь, Вы, как истый Грузинский, ждете от книги не финансов, а совсем иной пользы, о чем мы с Вами уже и говорили. Издать книгу - это значит повысить свой гонорар и стать одним чином выше. Для пишущего книга, умело изданная, по значению своему равносильна стихии... Она влечет в храм славы и, что важнее и серьезнее всего, делает Вас известным в кружках литературных, т.е. в тех, извините за выражение, ватерклозетах, в которые, к счастью для человечества, дозволяется входить только очень немногим, но без которых пишущему индивиду обойтись невозможно (к несчастью, конечно). Как писать: к счастью или к счастью? Забыл.

Теперь вопрос: где издать книгу? Если хотите издать в "Осколках", то сделайте это помимо Николая Александровича. Лейкин хороший человек, но Голике еще лучше. Если бы я был уверен, что после Вашей смерти это письмо не попадет в руки Лейкина, то высказался бы /160/ перед Вами смелее и с полной откровенностью; но так как письма мои Вы бережете, то осторожно ставлю точку и молчу.

Издать у Суворина можно. Протежировать я берусь и письменно и устно. Суворин никогда Вас не читал (он не читает газетной беллетристики, а в журналах пробегает рецензии - только), но он верит мне, ибо я еще его ни разу не обманывал, да и не обману, если предложу издать Вашу книжку. Издать книжку, очень возможно, он согласится и сейчас, но в тысячу раз лучше, если Вы, прежде чем издавать, познакомитесь поближе с "Нов. вр.", т.е. напечатаете в нем 3-4 субботника. Суворину приятнее будет издать своего человека. Про Вас я уже говорил обоим Сувориным: и отцу и сыну... Буду говорить и, буде пожелаете, писать Буренину. Можете быть уверены, что каждый Ваш рассказ прочтется. В субботниках чувствуется большая нужда.

В Москве буду 5-6 сентября. Это письмо посылаю через N. (Чехов направил письмо по адресу нашего общего московского знакомого), ибо не знаю, где вы: планируете ли по Москве, или же воспитываете грядущие поколения в Киржаче. Поклон N.

Ваш А.Чехов".

Чехов оказался отличным провидцем, материальной пользы от изданных Лейкиным моих "Нескучных рассказов" я не получил даже и через двадцать один год. Когда издание окупилось, Лейкин сделал совершенно нелепое распоряжение выдавать мою книгу книгопродавцам только за наличный расчет, тогда как даже

издания классиков солидные фирмы получали на комиссию, да и свои собственные, весьма читавшиеся книги он давал столичным книгопродавцам на комиссию в каком угодно количестве. Распоряжение Лейкина, конечно, не содействовало дальнейшему движению моей книги. Но о ней было несколько одобрительных рецензий. Многие из рассказов были переведены Филиппом Матефой на чешский язык. В Праге эти переводы, печатавшиеся по преимуществу в воскресных приложениях лучших чешских газет, вышли отдельным томиком в какой-то универсальной библиотеке наряду с томиками выдающихся западных писателей: Мериме, Мопассана, Брет-Гарта, Ришпена, Матильды Серао и др. Да однажды, сидя в /161/ приемной зубного врача и карикатуриста Чемоданова, я видел, как одна из его пациенток в ожидании приема смеялась, читая "Нескучные рассказы".

Вот и все, что я могу записать им на приход.

Ничто так не любил Чехов в человеке, как талант, и людей, обнаруживавших хотя бы небольшие блески таланта, не стеснясь выделял из среды заурядной толпы. Вот два случая, врезавшихся в мою память.

Однажды при мне в кабинете Чехова сидели молодой беллетрист \*\*\* и один из приятелей Чехова, тоже причастный к литературе, малый добрый, но не в достаточной мере тактичный.

- Гм... так ты работаешь у Лейкина? - спросил он беллетриста.

- Работаю, - скромно объяснил беллетрист.

- А я бросил. К чертям послал. Ну его!

Чехов поморщился, минут пять говорили о посторонних вещах.

- Так работаешь, значит, у Лейкина? - возвратился добрый малый к старой теме. - И теперь работаешь?

- Да, да, работаю, - сконфуженно подтвердил беллетрист.

- А я его к чертям послал! Я бросил.

При всей деликатности и мягкости Чехов умел спокойно, добродушно, но вместе с тем твердо ставить на свое место зарывавшихся лиц. Когда человек, причастный к литературе, в третий раз заявил, что он бросил работу у Лейкина, свертывавший папироску Чехов повернулся к нему и сказал спокойно:

- Послушай, ведь он же талантливый человек и нередко пишет отличные вещи, а тебе литература может дать разве пятнадцать копеек в месяц. Прекрасно сделал, что бросил.

Разговор о Лейкине больше не возобновлялся. В другой раз при мне один из братьев Чехова осадил того же беллетриста, собиравшегося проехаться по Волге, не совсем тактичным допросом:

- Но ведь туда придется потратиться... У вас есть деньги?

Чехов, слушавший с улыбкой этот допрос, вдруг сказал брату:

- Брось! Он - талантливый человек, сядет к столу, напишет, вот и деньги! /

162/

Большими друзьями Чехова были талантливый архитектор Шехтель, талантливый пейзажист Левитан, он очень дружил с талантливыми артистами - покойным Свободным, здравствующим Давыдовым, позже - с Потапенкой, с Максимом Горьким.

- Посмотрите, как талантливо сделал Чемоданов толпу! - показал он мне однажды страницу старого "Будильника", в котором доктор и карикатурист Чемоданов действительно интересно залил страницу целым морем голов.

- "Талантливо!"

Этого было, совершенно достаточно, чтобы привлечь к себе внимание Чехова.

В цитированном выше письме Чехов пишет, что Суворин верит ему, потому что он ни разу не обманывал Суворина; я тоже не обманывал Чехова, давая отзывы о литературной братии и т.п., и с удовольствием вспоминаю, что Чехов в присутствии родных или знакомых не раз говорил, желая услышать мой отзыв о новой пьесе, которой он еще не видел, или о новой книжке журнала, которой он не успел прочесть:

- Расскажите мне, А.С., я хочу слышать ваше мнение. Я вам верю.

Об одном из моих отзывов я до сих пор не могу вспоминать без улыбки.

Помню, в первую пору знакомства с Чеховым мы вели оживленный спор о вещах, вошедших в его сборник "Пестрые рассказы". Некоторыми Чехов был очень недоволен, я отстаивал их и затем сказал:

- Но есть у вас рассказ, который черт знает зачем попал в сборник. На вашем месте я ни за что бы его не включил!

- Какой это? - заинтересовался Чехов.

- "О вреде табака".

Мне показалось, что Чехов посмотрел на меня какими-то странными глазами; но затем он сказал задумчиво:

- Нет, что же... "О вреде табака" не плохой рассказ... - Он добавил еще что-то в его защиту, все глядя на меня странными глазами, но я ответил упрямо:

- Не знаю... Может быть... Но я бы в свой сборник его не включил. /163/

У меня создалось такое впечатление, что Чехов питает пристрастие к своему слабому детищу, подобно тому как многие родители наиболее любят своих захудалых детей, и только уже после смерти Чехова, читая в первом томе его писем письмо к В.В.Билибину от 14 февраля 86 года, я узнал истинный взгляд Чехова на никогда не нравившуюся мне вещь:

"Работы очень много, - пишет Чехов. - Некогда даже обедать. Сейчас только что кончил сцену-монолог "О вреде табака", который предназначался в тайнике души моей для комика Градова-Соколова. Имея в своем распоряжении только 2 1/2 часа, я испортил этот монолог и... послал его не к черту, а в "Пет. газ.". Намерения были благие, а исполнение вышло плохиссимое"...

Письмо это писано Чеховым приблизительно за год до нашего спора о слабом монологе; кстати: во второе издание "Пестрых рассказов" Чехов, насколько помню, этот монолог не включил {163}.

В одном из писем к Е.М.Ш., рассказы которой Чехов исправлял, шлифовал и рассылал по редакциям очень усердно, Чехов поминает обо мне и говорит, что я "тоже прошел через его цензуру" {163}. Я не знаю точно, что подразумевал Чехов под этими словами, но если правку рассказов, то это не совсем верно. Фактически Чехов исправил 2-3 моих субботника, которые прошли в "Нов. времени" и за которые Суворин - помимо Чехова, ибо Чехов был удивлен

этим гонораром - заплатил мне небывалый для нововременских новичков гонорар. Да еще Чехов просмотрел мой водевиль "Старый друг" и сделал мне много ценных указаний. В "Осколках" я напечатал длинный ряд рассказов еще до знакомства с Чеховым, а затем ни один мой рассказ из десятков и даже сотен, появившихся в "Пет. газете" или где бы то ни было, не был известен Чехову до появления его в печати. Я не любил быть навязчивым, да и самая срочность постоянной работы в "Пет. газете" служила препятствием для какой-либо правки Чехова, тем более что я около трех лет до переезда в Москву писал в газету из глухого угла Владимирской губернии. Во время редактирования Чеховым беллетристического отдела в "Русской мысли" {163} он не раз предлагал мне написать рассказ для журнала, а я не раз сообщал ему темы, на которые думал писать; некоторые темы Чехов вполне одобрил, но тут дело не /164/ дошло ни до правки, ни до цензуры Чехова, потому что никакого рассказа для "Русской мысли" я не написал. Я не был ленив, работал много, но у меня было почти физическое отвращение к работе в толстых журналах, потому что в газетах я писал свободно то, что мне хотелось писать, писал - как поют птицы, а для толстых журналов в те годы тенденция была почти обязательна. Я испытывал то чувство, которое Чехов так метко характеризует в одном из писем 94 года: "хочется про чертей писать, про страшных, вулканических женщин, про колдунов, но, увы, требуют благонамеренных повестей и рассказов из жизни Иванов Гаврилычей и их супруг". Мне смертельно не хотелось писать этих благонамеренных повестей, и я не мог принудить себя к этой работе.

Но если откинуть узкий смысл правки рассказов, то, безусловно, я многим обязан Чехову, и влияние его на меня было очень велико. Он открывал мне тайны писательства, до которых без его помощи мне пришлось бы брести ощупью весьма продолжительный срок. Такие замечания Чехова: "для того чтобы подчеркнуть бедность просительницы, не нужно тратить много слов, не нужно говорить о ее жалком, несчастном виде, а следует только вскользь сказать, что она была в рыжей тальме", были для меня целым откровением {164}. (Кстати: эту рыжую чеховскую тальму в своих статьях о Чехове покойный Измайлов цитировал, можно сказать, до износа.) Некоторые взгляды Чехова звучали парадоксально, но были, в сущности, верны. "Искусство писать, - говорил он мне, - состоит, собственно, не в искусстве писать, а в искусстве... вычеркивать плохо написанное". Так и бывает, так и должно быть с новичками, у которых есть дарование и есть вкус, принуждающий бежать вялости, серости, шаблона. Рукопись новичка должна пестреть десятками помарок, которые, впрочем, не всегда уменьшают ее размер; ведь на смену вялых, слабых, плохо изложенных мыслей являются новые, яркие мысли, красивые слова. Позже рукописи могут быть прекрасными и без единой помарки, как были прекрасны рукописи Чехова, лишённые поправок, но это потому, что у людей, искусившихся в писательстве, процесс смены вялого жизненным и серого ярким происходит уже не на бумаге, а до перенесения слов и мыслей на бумагу, в мозг.

В одном письме ко мне Чехов писал: /165/

"Стройте фразу, делайте ее сочнее, жирней... Надо рассказ писать 5-6 дней и думать о нем все время, пока пишешь, иначе фразы никогда себе не



выработаете. Надо, чтобы каждая фраза прежде, чем лечь на бумагу, пролежала в мозгу дня два и обмаслилась. Само собой разумеется, что сам я по лености не придерживаюсь сего правила, но вам, молодым, рекомендую его тем более охотно, что испытал не раз на себе самом его целебные свойства и знаю, что рукописи всех настоящих мастеров испачканы, перечеркнуты вдоль и поперек, потерты и покрыты латками" {165}.

По поводу этих перечеркнутых и испачканных рукописей мне пришлось как-то говорить с Чеховым. Ничуть не отрицая необходимости работать над рукописями, я ссылаясь на здравые, по моему мнению, слова одного из критиков, который говорил, что секрет творчества не в бесконечных поправках, иначе с помощью этих поправок можно бы создавать шедевры, но ведь этого не бывает, и каждый автор может дать вещь только в меру своего дарования или таланта. Чехов этого не оспаривал.

В том же письме к Е.М.Ш. Чехов бросает замечание, что я как будто не оправдал тех надежд, которые на меня возлагали. Не знаю, что это были за надежды, но в газетных новеллах я хорошо решал те задачи, которые перед собой ставил. Печатали меня охотно и много. Позже, в 1899 году, когда я сообщил Чехову, что ушел из "Новостей дня" после восьмилетней работы и скучаю, он писал мне из Ялты: "Отчего бы не попробовать Вам работать в "Неделе", в "Сыне отечества", "Биржевых ведомостях"? Ведь газет так много, и Ваше сотрудничество каждую из них было бы принято с распростертыми объятиями" (письмо от 10 февраля 1899 г.). Но в указанные Чеховым издания мне не пришлось обращаться, в том же феврале я получил предложения постоянной работы от двух больших газет - петербургской и харьковской, в которых и работал - в петербургской до ее запрещения в 1901 году, а в харьковской - до ее закрытия в 1918 году.

Среди писательских заветов Чехова восьмидесятых годов неизменным было предостережение против тенденциозности писаний. В те годы Чехов был страшным врагом тенденциозности и возвращался к этому вопросу /166/ с каким-то постоянным и странным упорством и в зимние вечера в кабинете корнеевского дома, и в летние дни во время прогулок в бабкинском лесу; каждый раз наш разговор на эту тему заканчивался фразой Чехова:

- И что бы там ни болтали, а ведь вечно лишь то, что художественно!

В одном из писем, кажется к Щеглову {166}, Чехов обмолвился странным признанием, что не сумеет объяснить, почему ему нравится Шекспир и совсем не нравится Златовратский. Но его заключительная фраза к речам о тенденциозности могла бы служить прекрасным ответом на вопрос о Шекспире и Златовратском.

Однако почему Чехов так упорно возвращался тогда к мыслям о тенденциозности? Мне кажется, этим его писательский организм реагировал на те упреки в "безразличии", "безучастии" и даже "беспринципности", которые по адресу Чехова рассыпали Михайловский, Скабичевский и другие специалисты критических дел.

У Чехова я познакомился с Александром Игнатьевичем Иваненко, молодым музыкантом, которого переписка Чехова рисует очень простодушным человеком и с которого Чехов будто бы написал Епиходова. Иваненко был очень

мил, но не так простодушен, как об этом можно думать по чеховским письмам, а что касается до житейских несчастий, то Иваненке действительно не везло. Он рассказывал мне, что был принят в консерваторию по классу рояли, но перед началом учения прихворнул, и когда явился в консерваторию недели через две после начала занятий, оказалось, что все рояли уже разобраны учениками, для него не осталось ни одного свободного часа, и учиться ему было не на чем.

- Хотите играть на флейте? Вот все, что могу вам предложить, - сказала какое-то консерваторское начальство.

Иваненко махнул рукой и начал учиться играть на флейте. Мечтать о рояли и кончить флейтой - это действительно несчастье, достойное Епиходова. Но дело не в этом. Дело в том, что благодаря Иваненке я узнал справедливость изречения: история повторяется.

Кажется, еще так недавно Чехов писал и говорил обо мне Суворину, а уже в 1892 году, редактируя "Будильник", я получил от Чехова такую записку: /167/

"Мой знакомый А.И.Иваненко с моего благословения написал рассказ. Не дадите ли Вы по пятаку за строчку? Я сердит на Вас, Александр Семенович, и имею на то полное основание. Поклон.

Ваш А.Чехов" {167}.

У Иваненки кое-что можно было брать, и несколько рассказов его я напечатал в "Будильнике". Подписывался Иваненко псевдонимом "Юс малый". А Чехова я запросил, за что он сердит на меня, но ответ получил примерно через месяц. Чехов писал:

"2 октября 1892 г.

Простите, добрейший Александр Семенович, что я так поздно отвечаю на Ваше письмо. Виною тому текущие дела и лень.

Да, я на Вас неистово сердит, но единственно за то только, что Вы минувшим летом отказали мне в удовольствии видеть Вас у себя в Мелихове. Я весьма огорчен. Теперь уже нет смысла ехать ко мне, так как идет холодный дождь и дороги прескверные, приходится невылазно сидеть в комнате. Попробую еще раз пригласить Вас на рождество и в другой раз весною, а там уж как знаете... Летом у меня Вы увидели бы много курьезного и, пожалуй, интересного. У меня просторно, есть бараны, есть щенки Мюр и Мерилиз, есть всякая овощь и даже пара свиней. Тишина и благообразие воздуха... Я вижу, Вы зеваете, воображая мою жизнь, но, уверяю Вас, остроумцам из "Иллюстрированной газеты" живется скучнее, чем уездным обывателям, а ведь от Москвы так и несет названными остроумцами, жареной колбасой и Левинским!

За Иваненку благодарю. Только, пожалуйста, не особенно урезывайте его творения. Ведь он пишет не для славы, а для пищи и одежды. У него, несомненно, есть свежесть и хохлацкая игривость, но он сильно отстал в знаках препинания.

Участковым врачом я буду состоять до 15 октября, когда упразднят в моем участке холеру. У меня прибавится досуга, и я, пожалуй, буду чаще наведываться в Москву, хотя мне ехать туда и жить там положительно не для чего.

На моей литературной бирже настроение далеко не бойкое. Приготовил для печати одну повесть и оканчиваю /168/ другую - вот и все за пять летних месяцев. Денег нет. Вчера заработал медициной шесть рублей, да хочу продать 200 пудов ржи, но это все гроши. Вся надежда на повести.

Как поживает N{168}? Что он пописывает? Вот бы кому забросить к черту Плющиху и последовать моему примеру. В деревне и дешевле, и здоровее, и горизонты не заслонены домами.

Будьте здоровы и благополучны.

Ваш А.Чехов.

Вот мои расходы по имению за текущее лето:

Молотилка 30 р. --\

Экипаж с верхом 70 р. --/ Куплено по случаю.

Новый пруд 150 р.

Перестройка конюшни 30 р.

-----

Итого 280 р.

Да по мелочам вышло тысячи две".

Я пригласил Иваненку к себе, он бывал у меня и рассказывал много интересного о семье Чехова и особенно о Николае Чехове, тогда уже покойном. Вместе с Чеховыми он жил где-то близ Сум на даче, да и вообще был южным уроженцем и земляком Чехова.

В том же 1892 году я получил от Чехова еще одну записку с упоминанием об Иваненке. Записка без даты: {168}

"Здравствуйте, Александр Семенович! Остановился я у черта на куличках - Новая Басманная, Петровско-Басманное училище. Приехал я по весьма важным и спешным делам и 17 уеду опять. Нужно спешить, так как дома около меня холера. Приеду еще через 1 - 1 1/2 недели. Не повидаться ли нам? Мне известно, что завтра к 12 дня меня дома не будет, а остальное мне неизвестно. Я соскучился по Вас...

Пользуясь тем, что сожитель наш "Юс малый" посылает Вам свой рассказ, я вкладываю это письмо в его пакет - способ избавить себя от 5 коп. марки! Завтра в 12 ч. в "Славянском базаре" завтракаю с Лавровым и Гольцевым. Весьма вероятно, что к 3-4 часам или к 5 буду дома. Поехал бы к Вам, но, честное слово, занят по горло.

Ваш А.Чехов". /169/

Все эти письма и записки Чехова не вошли в собрание его писем и являются в печати впервые {169}.

Два слова об Иваненке. Писателя, хотя бы самого маленького, из Иваненки не вышло, и он вскоре сам бросил писание рассказов, да, помнится, и в консерватории у него что-то обстояло не совсем благополучно; он не кончил консерватории и уехал на родину, на юг.

Я познакомился с Чеховым, как уже поминал выше, в самом начале 87-го года. Один из русских писателей {169}, рассказывая о первой встрече с Чеховым приблизительно в то же время, писал, что в лице Чехова он нашел много сходства с лицом простого деревенского парня, и это же подтвердил кто-то из его семьи. О таких субъективных впечатлениях не спорят. Мне же Чехов показался всего более похожим на интеллигентного, бесконечно симпатичного студента, каким, в сущности, он и был года за два, за три до нашей встречи. От этого времени сохранился замечательный портрет Чехова, дающий о нем превосходное представление. Мне он подарен Чеховым в апреле 1889 года (под надписью на портрете есть дата), но снят в Петербурге у Пазетти, кажется, годом раньше; лицо в три четверти; на Чехове пиджак, крахмальная сорочка и белый галстук.

Этот портрет мне всегда казался очаровательным благодаря тому выражению смелости, которое вообще было свойственно Чехову, кроме дней тяжелой болезни, но которого нет между тем ни на одном из чеховских портретов, более или менее известных публике. Ведь даже письма Чехова дают представление о нем как о смелом человеке, но на портретах его более не смелости, а задушевности и грусти.

В конце восьмидесятых годов у Чехова оставалось уже не так много необычайной жизнерадостности, о которой мне рассказывали общие знакомые, дружившие с Чеховым в годы его студенчества, и, между прочим, брат известного пейзажиста, тоже художник, Адольф Ильич Левитан.

- Во время наших пирушек Антоша был душой общества, - рассказывал Левитан. - Бог знает, чего только он не придумывал. Мы умирали от смеха.

Но болезнь в конце восьмидесятых годов еще не обострилась у Чехова, и иногда ему хотелось дурачиться. Он брал что-нибудь вроде рекламного прейскуранта /170/ аптекарского магазина, становился в позу и начинал нам читать этот прейскурант, делая скользкие, а иногда и совсем нецензурные примечания к названию и свойствам медикаментов. Остроумие искрилось в этих примечаниях, и даже люди, искусившиеся в юморе, не могли не смеяться. В первые дни нашего знакомства он очень уговаривал меня не уезжать и остаться в Москве на его именины, на которых он будет танцевать какую-то необычайную, никогда не виданную мною кадрили. Партнерами его по кадрили он называл, помнится, Левитана, брата Николая и Шехтеля. Но я вернулся на службу раньше именин Чехова, и мне не удалось увидеть этой замечательной кадрили.

Подобно тому как он читал прейскуранты, Чехов однажды поднялся с кресла, взял со стола тоненькую тетрадку и, стоя посреди комнаты, жестикулируя, меняя голоса, прочел нам очень живую и веселую пьеску. Это был только что законченный им "Медведь" {170}.

Читал Чехов мастерски, - известно, что в ранней юности он не без успеха выступал на сцене; всю пьеску он прочел свободно, не задыхаясь, не спадая с голоса, хотя от публичных выступлений на литературных вечерах уклонялся и тогда, и позже, ссылаясь на слабость голоса, на быструю утомляемость. От публичных выступлений его удерживал, по его собственному признанию, беспричинный и глупый страх толпы, чувство, которое было для него непреодолимым. В небольших компаниях не было человека общительнее его.

Среди других курьезов когда-то в Москве вышла брошюрка, трактовавшая Чехова как какого-то уединенного философа; на самом деле Чехов не терпел одиночества и уединялся только от несимпатичных ему людей, от людей назойливых и не представлявших для него интереса. Но даже и от этих людей он не всегда уединялся. Одно время его одолел беллетрист Сергей Филиппов, издававший какие-то спутники и путеводители и печатавший рассказы в "Русских ведомостях".

- Приходит, сидит целыми часами, - жаловался мне Чехов, - и целыми часами рассказывает какую-то чепуху.

- Да что именно?

- А черт его знает что!

Чехов махнул рукой. Дня через два я зашел вечером /171/ к Чехову и как раз застал у него Сергея Никитича Филиппова; просидел Филиппов целый вечер, говорил не смолкая и действительно рассказывал черт знает что. Между прочим вздором он рассказал, что страшно боится покойников, и, когда у него умер отец, он, взрослый и, нужно заметить, весьма кряжистый мужчина, дрожал от страха, не мог войти ночью в комнату, где лежало тело отца, и чуть ли даже не смог проститься с покойником. Мне вся эта история показалась неправдоподобной, да и Чехов слушал ее хмуровато: боязнь покойника была еще менее понятна, еще менее могла понравиться Чехову как врачу. В лучшем случае страхи этого здорового, бородатого мужчины были только трусостью и лестной рекомендации дать ему не могли.

С.Н.Филиппов одолевал Чехова в доме Корнеева, а когда Чехов переехал на Малую Дмитровку, в дом Фирганг, придя как-то вечером к Чехову, я застал неизвестного мне старичка с немецкой фамилией, который был тоже охотник поговорить, и едва я прислушался к его речам, на меня пахнуло С.Н.Филипповым. Чехов сидел в кресле, гладил мангуса и казался утомленным. К счастью, старичок с немецкой фамилией скоро ушел, Чехов оживился.

- Кто это? - спросил я.

- Писатель {171}. Одолел. Заговорил.

- Что же он пишет?

- Какие-то статьи в "Наблюдателе". Под псевдонимом "Молотов". Вы не читали?

- Нет. А зачем он к вам ходит?

- А черт его знает зачем!

Но даже от С.Н.Филиппова, даже от "Молотова" Чехов не пытался уединиться; не пытался потому, что был не уединенный, а необычайно "общественный" человек. Мне он предлагал писать вместе с ним водевиль

"Гамлет, принц датский" {171}. А.С.Суворину предлагал писать большую пьесу; когда Курепин надумал писать коллективный роман, Чехов тотчас согласился принять в нем участие; {171} то и дело Чехов приглашал к совместным поездкам; с молодым Сувориным собирался чуть ли не в Иерусалим, а мне говорил:

- Поедьте в Финляндию!

Или: /172/

- Я еду в Петербург. Поедьте вместе.

Мне ни разу не случалось ездить с Чеховым в Петербург, но я провожал его на Николаевский вокзал при его поездках в Петербург очень часто. Чехов говорил мне, что при отъезде из дома его охватывает жуткое чувство одиночества, время на вокзале перед отъездом тянется чересчур тоскливо и он рад, когда кто-нибудь из добрых знакомых возле него. Я же в Москве бывал только в каникулярное время, и дни мои были свободны. Помню одни из подобных проводов ранней весной 87-го или 88-го года. Дорога портилась, полозья саней скрипели, ударяясь об обнажавшиеся камни и рельсы конки, и я не совсем доверчиво слушал фантазию Чехова на ту тему, что лошадь, которая нас везет на вокзал, должна испытывать удовольствие от своего труда. Но когда он мне передал тему рассказа, который просится под его перо, я решительным образом забраковал эту тему. В дополнение к тому, что я писал (в сборнике "Энергия") о неосуществившихся и пропавших романах и пьесах Чехова {172}, скажу пару слов и про этот неосуществившийся рассказ.

Чехов передал мне, что ему хочется описать впечатления простого деревенского парня, который попал в большой город и в первый раз едет на извозчике. Живя в глуши, бродя по лесным дорогам и по деревенским проселкам, я то и дело встречался с этими деревенскими парнями, проезжавшими мимо на бойких лошадях, а в дни свадеб и в дни масленичного катанья мчавшимися на отличных тройках с непрестанно звеневшими бубенцами. Ну какое впечатление могла произвести и чем поразить такого парня езда на какой-нибудь заморенной московской кляче?

Я высказал Чехову свои соображения, он чуть-чуть поспорил со мной, но, насколько я знаю, рассказ на такую тему Чеховым не был написан.

Как удивительно противоречивы показания современников о Чехове, доказывает следующий факт. В воспоминаниях И.Н.Потапенки о Чехове имеются любопытные строчки:

"Творчество стыдливо, и у Чехова это было выражено ярче, чем у кого другого. Никогда он не писал в присутствии кого бы то ни было. Творческая работа Чехова чужого глаза совсем не переносила" {172}. /173/

А К.С.Баранцевич, гостивший на юге у Чехова, рассказывает {173}, что на столе в кабинете Чехова валялось несколько четвертушек бумаги, и на одной из них был начат Чеховым какой-то рассказ. За целую неделю, если судить на взгляд, в рассказе не прибавилось ни строчки, и всякий желающий мог свободно читать начатую работу Чехова. На даче околачивался какой-то почти неизвестный Чехову захолустный обыватель, и этот обыватель тоже мог читать чеховский набросок.

В этих противоречивых показаниях истина всецело на стороне К.С.Баранцевича.

Кроме первых лет юмористического скорописания, все остальные годы Чехов творил очень медленно, вдумчиво, чеканя каждую фразу. Но работая медленно и вдумчиво, Чехов никогда не делал из своей работы ни таинства, ни священнодействия, никогда его творчество не требовало уединения в кабинете, опущенных штор, закрытых дверей. У Чехова слишком много было внутренней творческой силы и той мудрости, о которой говорит тот же Потапенко, - да и не один он, - чтобы обставлять работу свою такими побрякушками.

Не думаю, чтобы я представлял исключение из общего правила, но при мне Чеховым были написаны многие рассказы в "Пет. газету" (между прочим, "Сирена"), некоторые "субботники" в "Новое время", многие страницы "Степи". Я потому запомнил "Сирену", что писал ее Чехов в Бабкине целый день, а кончив, обратился ко мне с просьбой:

- Прочитайте "Сирену" {173}, А.С.! Не пропустил ли я где-нибудь слова или запятой? Нет ли бессмыслиц? Кстати, это рекорд: рассказ написан без единой помарки.

"Сирена" была действительно написана без помарок; пока Чехов курил и устало потягивался, я прочел рассказ; все слова и все запятые были на своих местах; только в конце рассказа, там, где один из персонажей берется за шляпу, вместо шляпы стояла "шляпка". Чехов исправил опisku, сказав шутливо:

- Нужно исправить! Он - не дама.

При мне и брате Иване Павловиче Чеховым был написан небольшой, но прекрасный рассказ о настоятеле монастыря, который так красиво рассказывал монахам о зле и соблазнах мира, что наутро все монахи покинули монастырь {173}. Закончив рассказ, Чехов прочел нам его, и /174/ затем младший брат Чехова, Михаил Павлович, повез рассказ на Николаевский вокзал, чтобы сдать его на курьерский поезд.

Не делал секрета Чехов ни из своих тем, ни даже из своих записных книжек.

Однажды, летним вечером, по дороге с вокзала в Бабкино и Новый Иерусалим, он рассказал мне сюжет задуманного им романа, который, увы, никогда не был написан. А в другой раз, сидя в кабинете корнеевского дома, я спросил у Чехова о тонкой тетрадке.

- Что это?

Чехов ответил:

- Записная книжка {174}. Заведите себе такую же. Если интересно, можете просмотреть.

Это был прообраз записных книжек Чехова, позже появившихся в печати; книжечка была крайне миниатюрных размеров, помнится самодельная, из писчей бумаги; в ней очень мелким почерком были записаны темы, остроумные мысли, афоризмы, приходившие Чехову в голову. Одну заметку об особенном лае рыжих собак - "все рыжие собаки лают тенором" - я вскоре встретил на последних страницах "Степи".

В 1892 году из Москвы Чехов переехал в мелиховскую усадьбу, где мне приходилось бывать только изредка, всегда в компании с кем-нибудь; естественно, что при гостях Чехов не работал, но думаю, что его десятилетние писательские привычки остались.

В прекрасной книге жизни Чехова есть одна загадочная, как будто темная страничка; это - история с "Попрыгуньей".

В восьмидесятых годах Чехов дружил в Москве с Софьей Петровной Кувшинниковой. Это была дама уже не первой молодости, лет около сорока, художница-дилетантка, работою которой руководил Левитан. Никакой художественной школы, как я слышал, она не кончила. Муж ее был полицейским врачом, кажется при Суцевской части. Раз в неделю на вечеринки Кувшинниковых собирались художники, литераторы, врачи, артисты. Часто бывали Чехов и Левитан. Я не был знаком с Кувшинниковой, но о ней мне много рассказывали жанрист Левитан, брат знаменитого пейзажиста, покойная артистка Малого театра Вера Сергеевна Васильева и кое-кто еще из друживших с Кувшинниковой лиц. По просьбе /175/ Измайлова я дал ему некоторые сведения о Кувшинниковой, и они напечатаны в его книге о Чехове{175} без ссылки на меня.

По общему отзыву, Софья Петровна была женщиной интересной и незаурядной, хотя не отличавшейся красотой. В ней было что-то, что собирало в ее кружок выдающихся людей, но, кажется, стремления к оригинальности в ней было больше, чем подлинной, неподдельной оригинальности. Очень красочно и ярко В.С.Васильева описывала мне свою первую встречу с Кувшинниковой.

Весенним солнечным утром в дачной местности, где стоял какой-то эскадрон и по знакомству можно было достать верховую лошадь, В.С.Васильева шла по лугу. И видит, что к ней летит странная амазонка, в развевающемся капоте, с развевающимися волосами, с обнаженными ногами, вся - стремление, вся - порыв; легкий капот амазонки надет прямо на голое тело. Это и была Софья Петровна Кувшинникова, позже числившая В.С.Васильеву в числе ближайших друзей.

Когда в 1892 году в двух номерах "Севера" появился известный рассказ Чехова "Попрыгунья", в Москве заговорили, что Чехов героиню "Попрыгуньи" списал с Кувшинниковой, а любовь героини к художнику Рябовскому - это любовь Кувшинниковой к Левитану. Неосторожность или ошибка Чехова в сюжете "Попрыгуньи" несомненны: взяв в героини художницу-дилетантку, в друзья дома он взял художника, да еще пейзажиста. Но еще большую ошибку он сделал, дав в мужья героине врача. Положим, муж Кувшинниковой был не выдающийся врач, будущее светило науки, как муж "попрыгуньи", а заурядный полицейский врач, все же в общем это увеличило сходство семьи "попрыгуньи" с семьей Кувшинниковой и дало лишний повод различным литературным и нелитературным Тартюфам вопить по адресу Чехова: "разбой! пожар!", а Кувшинниковой и Левитану - лишний повод к претензии на Чехова. Если бы Чехов сделал мужем "попрыгуньи" не врача, а ну хотя бы педагога или инженера, у Тартюфов не нашлось бы материала для воплей о "пасквиле", о котором вопили они весьма усердно.



Да, Чехов ошибся. Без этой ошибки история с "Попрыгуньей" была бы решительным вздором, потому что /176/ серьезный и вдумчивый Левитан совершенно не походил на ничтожного Рябовского, а пустельга-"попрыгунья" - на Кувшинникову, во всяком случае не бывшую пустельгой. Чехов любил Левитана и карикатурить его не стал бы. Мне Чехов говорил о Левитане: "Это еврей, который стоит пятерых русских", и с какою-то почти нежностью рассказывал, что, уехав в Италию, Левитан так стосковался там по русской природе, что быстро вернулся назад. У Левитана была тонкая, художественная натура; кроме живописи, он страстно любил музыку, и я помню, как однажды, очутившись в Новом театре на "Гугенотах" с очень плохим составом исполнителей, он испытывал почти физическую боль при какофонии певцов (наши места были рядом) и бежал из театра задолго до окончания оперы.

Наиболее отрицательным типом в "Попрыгунье" является Рябовский, потому что у самой "попрыгуньи" все же бывают минуты раскаянья и добрых порывов души, но и Левитан, разожженный Тартюфами, кончил тем, что с год или года полтора подулся на Чехова, а затем старая дружба поставила крест на истории с "Попрыгуньей" и не прерывалась до смерти Левитана в течение шести или семи лет {176}. Рассердилась на Чехова и Кувшинникова, вероятно под влиянием тех же Тартюфов, так как сорокалетней женщине - и притом не пустельге - узнавать себя в двадцатилетней пустельге не было особых резонов. Я не знаю, состоялось ли примирение между Чеховым и Кувшинниковой, но, конечно, утверждение кого-то из "историографов" случая с "Попрыгуньей", что от дома Кувшинниковой Чехову было "категорически отказано" {176}, - решительный вздор.

Характерно одно: московская сплетня, рассказывая о раздражении Кувшинниковой и Левитана, ни одним словом не поминала, как же на "Попрыгунью" реагировал муж? Из этого умолчания можно сделать вывод, что коллега Чехова по медицинскому факультету, как более уравновешенный человек, не придавал особого значения рассказу и смотрел на него не как на "пасквиль", а просто как на художественную вещь, как на одну из лучших миниатюр за последний период творчества Чехова.

А теперь два слова о "пасквиле". Пасквилем называется письменное или печатное произведение, заключающее в себе оглашение позорящих чью-либо / 177/ честь обстоятельств. Какие же позорящие чью-либо честь обстоятельства оглашает Чехов в "Попрыгунье"?

Осип Дымов - чудеснейший человек, стоящий вне всякого упрека. Попрыгунья довела своим поведением и изменой мужа почти до самоубийства. Но ведь С.П.Кувшинникова мужа до самоубийства не доводила, во дни появления "Попрыгуньи" ее муж был жив и здоров, значит к ней это "оглашение" не могло относиться. Остается оглашение романа, но роман был известен всем знакомым, роман был решительно другого свойства, чем роман "попрыгуньи", и к трагическим результатам не привел. Такие романы имела добрая половина литературной и художественной Москвы. И в массе случаев мужья после разъезда не играли трагедии, а просто и мило ходили в гости к прежней жене и ее новому другу. Мог ли Чехов иметь что-либо против таких романов? Чехов был

свободолюбив и никогда не выступал в роли цензора нравов. Но, в общем, все же нельзя отрицать в "Попрыгунье" какой-то неосторожности, какой-то литературной ошибки Чехова.

Софья Петровна Кувшинникова пережила и мужа, и Левитана, и Чехова и своею красивою смертью доказала, что она - не пустельга. Об ее смерти мне рассказывал Адольф Левитан. Живя в глуши под Москвою, на даче, она заразилась, ухаживая за каким-то одиноким, оброшенным заразным больным, и умерла в несколько дней.

Художницей она была слабой. Я побывал на посмертной выставке ее картин в Московском обществе любителей художеств; картин хватило на целую выставку, но успеха выставка не имела.

Литературные Тартюфы, кроме "Попрыгуньи", называют "прямым пасквилем" чеховскую "Ариадну" {177}. В "Ариадне" Чехов будто бы вывел известную артистку Л.Б.Яворскую. Это уже решительный вздор.

Л.Б.Яворская в пору знакомства с Чеховым играла в московском театре Корша. Это была красивая, изящная женщина и не блестящая, но весьма и весьма интересная комедийная актриса. Благодаря ей и талантливой игре Яковлева (Наполеон) известная пьеса Сарду "Мадам Сан-Жен" при первой ее постановке в Москве прошла у Корша свыше ста раз в одном сезоне. Вся Москва бегала смотреть "Мадам Сан-Жен". И действительно, Катрин Юбше в исполнении Яворской и Наполеона в /178/ исполнении Яковлева стоило и стоило посмотреть. Чехов чуть-чуть был увлечен Яворской. Однажды, зайдя в театр Корша днем за редакционными билетами, я увидел Чехова выходящим откуда-то из глубины театральных недр.

- Антон Павлович, что вы тут делаете? - с удивлением спросил я. - Я думал, вы в Мелихове. Ах, да! я и забыл, что вы ухаживаете за Яворской!

- Откуда вы знаете это?

- Откуда? Да об этом вся Москва говорит!

- Tout Moscou, tout Moscou!\* - рассмеялся Чехов, но в дальнейшем разговоре (мы ушли вместе) не отрицал ухаживанья. А затем увлечение прошло, Яворская уехала из Москвы в Петербург, и к мимолетному роману Чехова была поставлена точка.

---

\* Вся Москва, вся Москва! (фр.)

Кто первым пустил в публику и затем в печать вздор об "Ариадне"?

Возможно, что сама же Яворская. Как актриса, Л.Б.Яворская любила рекламу, а вздор с "Ариадной" делал вокруг ее имени некоторую шумиху. Журналисты, явно не расположенные к Чехову, делали вид, что верят сплетне, а искренне верили ей только люди малоосведомленные, плохо знавшие Чехова да и саму Яворскую. Решительно никакого "пасквиля" в "Ариадне" на Л.Б.Яворскую нет. Л.Б.Яворская была актриса, прежде всего актриса и как не актриса была не мыслима. Ариадна же - не актриса и не причастна к сцене ни с какой стороны.

Большой труд А.А.Измайлова "Чехов", составленный из его газетных статей, не обработан при выпуске и издан очень небрежно, с массой

погрешностей, придающих совершенно неверное освещение фактам. Исправлю две-три, касающиеся моих сообщений.

Я как-то рассказывал Измайлову, что, зная доброту Чехова, братья-писатели не особенно церемонились с ним. Л.И.Пальмин однажды вызвал Чехова к себе, как к больному, телеграммой; когда же Чехов явился, оказалось, что Пальмина не было дома, а романист Прохоров-Риваль протащил Чехова через половину Москвы лечить горничную меблированных комнат, в которых он жил, от пустой головной боли. Последние четыре слова /179/ этой фразы у Измайлова опущены ("Чехов", стр. 215), получается явный вздор, как будто Чехов был специалистом по лечению, скажем, генералов, что ли, и лечить горничную считал ниже своего достоинства. Дело не в том, что пациентка была горничной, а в том, что у ней была пустейшая головная боль, с которой она сама могла дойти до Чехова.

На стр. 166 "Чехова" Измайлов пишет:

"Юмористический жанр требовал таких жертв себе, что А.П. иногда считал нужным даже скрывать свое новое "произведение" от домашних. В одних из воспоминаний о нем (А.Грузинского) рассказан комический случай, как А.П., сам спрятавший вкладной лист "Осколков" с каким-то скабрёзным рисунком, притворно помогал сестре, заинтересовавшейся номером, найти его".

Маленькое сообщение мое, черточка из жизни Чехова, и здесь спутано, сбито, и получается новый явный вздор: Чехов иногда считал нужным скрывать от домашних свое новое произведение и потому прятал лист со скабрёзным рисунком. Да что же, Чехов рисовал в "Осколках" карикатуры, что ли? Ведь не мог же не знать Измайлов, что карикатур Чехов не рисовал!

Вот моя картинка из жизни Бабкина в июле 1887 года:

"Приносят почту. Среди газет N журнала "Осколки". В N очень забавный, но несколько легкомысленный рассказ Чехова о надворном советнике Семигусеве, на крыльцо которого прачка на короткое время положила своего младенца ("Беззаконие"). Надворный советник находит младенца, принимает его за своего собственного, подкинутого одной из его пассий со злобы, и чуть ли не идет с младенцем к жене каяться во грехах. В рассказе есть несколько фраз, к которым вполне применимы слова Беранже, говорившего, что он пишет не для институток. Нас зовут завтракать.

- Вы прочли "Осколки", А.С.? - спрашивает Чехов.

- Да.

- Я тоже. Нужно их прибрать.

Чехов запирает текст в стол и оставляет только картинки. После завтрака мы собираемся идти за грибами и на минуту возвращаемся в кабинет, кажется затем, чтобы захватить папиросы.

- Антоша, пришли "Осколки"? - спрашивает сестра Чехова, в то время только что вышедшая из подростков. /180/

- Пришли, - отвечает Чехов и подает сестре картинки.

- Антоша, а где же текст?

- Текст? Я не знаю, где текст. А.С., вы не брали текст? - спрашивает он у меня серьезно.

- Нет, не брал, - еще серьезнее отвечаю я.

- Я тебе найду текст, Маша, - утешает сестру Чехов. - Только не сейчас, после..."

И все.

Вступление о юмористическом жанре - никчемно, потому что никаких жертв он не требовал. Лейкин не любил скабрёзных вещей, и Чехов да и другие сотрудники "Осколков" писали их крайне редко.

В 1909 году, в пятилетие со дня смерти Чехова, выступил со своим "Опытом характеристики" Чехова Н.М.Ежов {180}. "Опыт" произвел в прессе тех лет большой шум {180}, и с очень резкими возражениями против "Опыта" выступили проф. Сакулин, Григ. Спир. Петров, Измайлов и др. известные журналисты. К сожалению, возражения затрогивали более нравственную сторону дела, а не были фактическим опровержением того вздора о Чехове, который в очень большом количестве дал в своем "Опыте" автор, что и позволило Н.М.Ежову во втором его выступлении "Моя статья о Чехове" {180} утверждать, что ни один из сообщенных фактов не был опровергнут. По существу же, факты не были опровергнуты не потому, что их нельзя было опровергнуть, а потому, что никто их опровержением не занялся.

Нравственная сторона дела весьма важная, но, конечно, не все же исчерпывающая сторона. Один из журналистов, например, упрекал Н.М.Ежова, примерившего светлого и хорошего человека на свой аршин и нарисовавшего его дрянцом человеком, в некоторой неблагодарности, так как Н.М.Ежов именно Чехову обязан всей своей литературной карьерой. Все это так. Но что же тут делать, если чувство благодарности, предположим, Н.М.Ежову незнакомо, и откуда он может взять его, если этого чувства у него нет? А самое главное - плох ли, хорош ли, благодарен или не благодарен Чехову Н.М.Ежов, сам Чехов не может стать от этого ни хуже, ни лучше, если бы характеристика Чехова Н.М.Ежовым была верна. Поэтому, оставляя в покое /181/ нравственную сторону вопроса, я коснусь только его фактической стороны.

Недавно я внимательно перечитал "Опыт характеристики". Все, что касается семьи Ант.П., отца, воспитания детей, т.е. все, что Н.М.Ежов переписал у Ал.П.Чехова (А.С-го) и о чем рассказывал ему Ник.Павл.Чехов, фактически верно и точно. Но там, где Н.М.Ежов пытается делать собственные характеристики, подводить самостоятельные итоги, он обнаруживает полное незнание того, о чем он берется судить, и сделанные им выводы оказываются явным вздором. Примером неосведомленности Н.М.Ежова может служить тот простой факт, что он не знает даже, скольких лет умер Чехов. В последней главе своего "Опыта" он пресерьезно сообщает, что "Чехов скончался сравнительно молодым человеком, всего 42 лет от роду".

Бесцельно и скучно отмечать шаг за шагом все, что насочинял Н.М.Ежов в своем "Опыте", поэтому я отмечу только два-три вздора и поставлю к отметкам точку. Покойный Измайлов в "Чехове" называет статью Ежова мутной и полной предубеждений против Чехова и говорит, что в силу осторожности ее хочется обойти. А.А.Измайлов не разбирался в статье внимательно, но критическое чутье

подсказало ему верный взгляд на статью Н.М.Ежова. Несомненно, эту статью нужно обходить, и людям, пишущим о Чехове, совершенно с нею не считаться.

А теперь возвращусь к статье.

В гл. V "Опыта", рассказывая о "Лешем", Н.М.Ежов говорит:

"Центральной фигурой в нем являлся лесничий, любящий лес и рассуждающий о том, какова будет посаженная березка... через тысячу лет? Он-то и был "Леший", не знавший (вместе с автором), что "тысячелетних" берез не бывает".

Такое "невежество", конечно, было бы в высшей степени постыдным и для автора и для лесничего, но дело-то в том, что в "Лешем" ни о какой тысячелетней березке лесничий не рассуждает и вообще речей о тысячелетней березке нет. Н.М.Ежов в высшей степени бесцеремонно сам сочинил эту тысячелетнюю березку и делает Чехова ответственным за собственное его, Ежова, сочинение. /182/

Н.М.Ежов не знает не только текста Чехова, - не знает Буренина, не знает "Нового времени", в котором работал много лет. В гл. II, говоря о вступлении Чехова в "Новое время", Н.М.Ежов пишет, что не Григорович рекомендовал Чехова Суворину, нет, это произошло не совсем так. "Может быть, Чехов никогда не попал бы в "Новое время", если бы в этой газете действительно не имелось "недреманного литературного ока" в лице В.П.Буренина. Уже давно этот критик, просматривая газеты и журналы, заметил очерки А.Чехонте и не раз говорил в редакции "Нов. времени" при Суворине и других, что в малой прессе и в лейкином юмористическом журнале есть маленький Мопассан, какой-то Чехонте, пишущий очень остроумные рассказы. Однажды, беседуя с заехавшим в редакцию Григоровичем, г.Буренин сказал:

- Читали вы рассказы Чехонте? Прочитайте, славная вещь! И хорошо бы его куда-нибудь в серьезный журнал пристроить".

Эта неизвестно для чего сочиненная Н.М.Ежовым и вложенная им в уста В.П.Буренина фраза стоит сочиненной им же тысячелетней березки. Все мало-мальски знакомые с В.П.Бурениным и "Новым временем" люди знают, что в устах В.П.Буренина она так же умна, как намерение облагодетельствовать бедную девушку, отправив ее для продажи на рынок невольниц. Буренин, ненавидевший толстые журналы и начавший травить Чехова именно после его перехода в толстые журналы, мечтает "пристроить" Чехова в толстый журнал?! Нет, это положительно стоит тысячелетней березки! Я не говорю уже о том (это частность), что В.П.Буренин, старый и опытный журналист, привык, конечно, излагать свои мысли более литературным языком: "пристраивают" бедных старух в богадельню да маменькиных сынков на теплые места, а не талантливых писателей в толстые журналы. Разве Чехов хотя бы того же Н.М.Ежова "пристроил" в "Новое время"?

Далее Н.М.Ежов пишет:

"Быстрая литературная карьера А.П.Чехова совершенно изменила его самого и его отношения к окружающим. Удача вскружила ему голову. Он стал суховат с прежними благоприятелими, стал глядеть свысока на знакомства. Прежние товарищи по небольшим изданиям /183/ казались ему мелюзгой"...

"Чехов, войдя в известность, ужасался при появлении всякого малозначительного гостя и не любил разговоров даже с близкими знакомыми (?); только там, где для самого Чехова имелся интерес, выступали на сцену и любезности, и приглашения вновь, и дружеские поцелуи".

Как один из "прежних благоприятелей" Чехова, на основании собственных воспоминаний и писем Чехова, категорически утверждаю, что все это вздор. Литературные удачи ничуть не изменили отношения Чехова ни к В.А.Гиляровскому, ни ко многим другим "благоприятелям" из среды писателей и журналистов, ни ко мне. Как раньше, в 1887 году, он сетовал в письмах, что я не зашел проститься, уехал от его именин, и звал к себе, так и после пушкинской премии и литературных удач он писал мне: "не повидаться ли нам?" (92 г.), "я соскучился по Вас" (92 г.), "Я ждал Вас всю неделю. Отчего Вы не приехали?" (92 г., из Мелихова), "Если найдется свободная минутка, то напишите мне. Я очень скучаю" (99 г., из Ялты), "все праздники я буду сидеть дома и читать корректуру. Буду очень рад повидаться с Вами" (99 г., Москва), "Очень бы хотелось повидаться с Вами, потолковать. Напишите мне, в какой день и час Вы могли бы зайти ко мне, и тогда я останусь дома, буду поджидать" (903 г., Москва).

Оригиналы всех писем, откуда я извлек эти фразы Чехова, у меня целы; где же здесь "сухость" и "гляденье свысока"? Или, быть может, приглашения и дружелюбие Чехова объясняются тем, что для самого Чехова имелся в свидании со мной "интерес"? Но какой же? Клятвенно уверяю, что как для Чехова, так и для меня в них имелся единственный интерес - интерес старинной приязни.

Бывали случаи - об этом я слышал от самого Чехова, - когда Чехов обрывал переписку и прекращал сношения с людьми, к которым ранее относился с большой приязнью. Но происходило это не по той причине, на которую указывает Н.М.Ежов, а потому, что люди эти оказывались очень грубыми, плохо воспитанными людьми (Чехов не переносил грубости), к тому же совершенно не оправдавшими тех надежд, которые возлагал на них Чехов. Потеряв интерес к ним, Чехов не видел причин поддерживать старое знакомство, и только. А его / 184/ известность, его литературные удачи были тут решительно ни при чем.

Н.М.Ежов с некоторою гордостью устанавливает точный цвет глаз Чехова. Да, цвет глаз он разглядел, но то, что было за глазами - души Чехова, - он не разглядел и не понял, не знает ее, с легким сердцем сочиняет небылицы и судит о Чехове вкривь и вкось.

Кстати, кроме "Опыта", напечатанного в "Историческом вестнике", Н.М.Ежов неоднократно выступал с писаньями о Чехове в газетных фельетонах, неизменно обнаруживая в этих писаньях ту же неосведомленность и ту же бесцеремонность в обращении с истиной, образчики которых я привел выше. В одном из таких фельетонов Н.М.Ежов рассказывает, что у Чехова "не было основательного знания того быта, который он пробовал серьезно затронуть". Как пример этого незнания Н.М.Ежов приводит рассказ "Бабы", в котором Чехов будто бы совершенно неверно изобразил канун большого праздника в фабричной среде, что дает повод критику Чехова назидательно воскликнуть: "с подобным поверхностным отношением к делу ничего путного нельзя написать: не только рассказа "с идеей", а и простой корреспонденции".

Конечно, всем, внимательно читавшим Чехова, хорошо известно, что в чеховском рассказе "Бабы" ни о какой фабричной среде, ни о каком кануне большого праздника и речи нет. Но это простое обстоятельство очень мало заботит Н.М.Ежова. Он твердо уверен, что хотя "с подобным поверхностным отношением к делу" даже простой корреспонденции путно нельзя написать, но писать критические статьи о Чехове и легко и возможно.

В том же фельетоне, отзываясь весьма неодобрительно о "Жене" и "Дуэли", Н.М.Ежов уверяет, что "эти повести Чехова, печатавшиеся в "Русской мысли" эпохи Лаврова и Гольцева, как бы восприняли на себя бесцветность самого журнала". Хвалить или порицать "Жену" и "Дуэль" Н.М.Ежов, конечно, вполне волен, это дело его личного вкуса, но интересно было бы узнать, как на этих вещах Чехова могла отразиться бесцветность "Русской мысли", когда в пору их написания и напечатания Чехов в "Русской мысли" даже и не /185/ работал, а напечатаны они были, как это всем, кроме Н.М.Ежова, известно, - "Жена" в "Северном вестнике" (1892, N I), а "Дуэль" в "Новом времени" (1891, NN 5621, 5622 и след.)?

В извиненье Н.М.Ежова можно сказать, что судит о Чехове вкривь и вкось не один он, охотников до подобных суждений весьма много. Они говорят о сдержанности, о скрытности Чехова. Конечно, он не видел нужды исповедоваться первому встречному, но масса интимных вещей, рассыпанных в письмах Чехова, доказывает, что Чехов не был скрытным. Мне он рассказывал об одном своем студенческом увлечении то, что другие, наверно, предпочли бы не рассказывать. Будучи скрытным или чрез меру тщеславным, а его рисовали порой и таким, он не стал бы передавать неодобрительных отзывов о своих вещах. А только от Чехова я узнал, что после "Степи" А.В.Круглов писал в какой-то маленькой петербургской газетке: "Нужно обладать большой долей самомнения и нахальства, чтобы после Гоголя браться за описание степи". Позже А.В.Круглов переменял мнение о Чехове и после смерти Чехова писал где-то {185}, что горячо любил Чехова и что портрет "дорогого Антона Павловича" - лучшее украшение его письменного стола.

Чехов был одним из самых душевных людей, которых я знал когда-либо. Я не скажу ничего нового, отметив, что в Чехове были видны большой ум и большая духовная сила, но, кроме того, в его внешности, в манере держать себя сквозило какое-то врожденное благородство, точно он был странным и чуждым пришельцем в доме родителей, быть может и милых (мать Чехова), но совсем уже не затейливых людей. И мне казалось, что от Чехова не может укрыться ни малейшая фальшь и ему невозможно солгать; позже то же писал о Льве Толстом один из знакомых Толстого. Очень талантливым членом семьи Чеховых был рано умерший художник - Николай, но это был простой, очень несложный "рубаха-парень". Антон Чехов стоял от него на недостижимой высоте, и появление Антона в семье Чеховых было для меня загадкой, которой я не мог разрешить за всю жизнь.

В восьмидесятых годах, когда я познакомился с Чеховым, он казался мне очень красивым, но мне хотелось услышать женское мнение о наружности

Чехова, и я /186/ спросил одну женщину исключительной красоты, когда-то встречавшуюся с Чеховым, что представлял собой Чехов на женский взгляд?

Она ответила:

- Он был очень красив...

Подобно Щедрину, Чехов превыше всего ставил писательское звание, всегда интересовался писателями, большими и маленькими, и немало из этих последних вывел или по крайней мере стремился "вывести в люди".

Познакомившись у Чехова с Лейкиным, я на следующий день сказал Чехову, что первое знакомство с Лейкиным оставило во мне приятное впечатление. Чехов ответил:

- У Лейкина, как и у всех нас, есть свои недостатки. Но есть и достоинства. Лейкин прежде всего - литератор. И это нужно ценить. Возьмите Горбунова: тот все дружит с генералами, а у Лейкина нет этих замашек. Для Лейкина прежде литератор, а затем - генерал.

Несмотря на наружную сдержанность, в характере Чехова было много азарта, страсти, увлечения тем делом, за которое он брался. С увлечением он ухаживал за своими цветами в Мелихове, с увлечением играл в крокет в Бабкине - помню, иногда партия затягивалась, на землю опускались густые сумерки, но Чехов не хотел бросать игры, и мы с Киселевым кончали партию, подставляя зажженные спички к невидимым шарам, - с увлечением работал за письменным столом над рассказами, без чего, несмотря на большой талант, в книгах Чехова не было бы рассыпано так много превосходных вещей. Надумав писать "субботник" для "Нового времени", он отдавал всего себя теме и, случалось, по целой неделе сосредоточенно думал только о ней.

С легкой руки артистов Художественного театра {186}, которые оригинальности ради нередко каждый тип на сцене снабжают каким-нибудь необычайным говорком, во многих воспоминаниях Чехов заговорил удивительным языком, каким он никогда не говорил в действительности: "я же... вы же видите... послушайте же" и т.д. Чехов любил обращение "батенька", любил слово "знаете", - и только. Однажды я рассказал ему, что один из наших приятелей, человек женатый, увлекся знакомой барышней, очень красивой (к слову сказать, о красоте этой барышни есть отметки в чеховской переписке), и хочет просить у жены развода. /187/

Чехов ответил задумчиво:

- Ну, батенька, не даст она развода ему!

- Почему?

- Просить развода у женщины... да знаете, это то же, что сказать беллетристу: "мне не нравится ваш рассказ"!

В разговоре Чехова, как драгоценные камни, сверкали оригинальные сравнения, но, в общем, он говорил превосходным, правильным языком, да не мог такой мастер слова мямлить и твердить что-то несусразное:

- Я же... послушайте же... - и т.д.

Кстати, Чехов угадал: наш приятель не получил от жены развода и до смерти, около двадцати лет, прожил с любимой женщиной, как говорили раньше, в "гражданском браке".



Чьи-то воспоминания рисовали Чехова чуть ли не трусом. Хотя оружие писателей, по определению самого же Чехова, - не огнестрельное оружие\*, но память моя сохранила один случай, хорошо рисующий "трусость" Чехова.

\* На сборнике "В сумерках" Чехов написал мне "Собрату по оружию (не огнестрельному, - примечание для его начальства)". (Прим. А.С.Лазарева-Грузинского.)

Однажды, в жаркий июльский день, мы с Чеховым в большом лесу близ Бабкина собирали грибы. Чехов очень любил это занятие и, чтобы отправиться в лес, делал после завтрака перерыв даже в срочной работе. Лес близ Бабкина был березовый, как я поминал уже, большой, и грибов в нем водилось множество.

Сначала мы брели вместе, затем разошлись; вначале перекликались, затем потеряли друг друга, и Чехов перестал отзываться на мой призыв. Я жил лет семь перед этим в глухих лесах Покровского уезда, где в то время не совсем еще перевелись медведи, привык к лесу, но не мог поручиться, что быстро найду выход из бабкинского леса. Да и Чехов мог хватиться и искать меня где-нибудь совсем в другой стороне. В результате, после некоторого раздумья, я пошел в ту сторону, где скрылся Чехов, и, пройдя с полверсты, начал звать Чехова насколько мог громко: /188/

- Антон Па-вло-вич!!!

Вдруг кусты невдалеке от меня затрещали, раздвинулись, и на поляну, где я стоял, широко шагая, вышел, почти выбежал Чехов. В одной руке у него покачивался тоненький хлыстик, которым он раздвигал траву, собирая грибы, в другой беспомощно трепыхалась корзинка с грибами.

- Что с вами, А.С.? - испуганно спросил Чехов.

- Со мной? Ровно ничего.

- Я думал, на вас волк напал!

Я рассмеялся и сказал, что если бы на меня напал волк, я не стал бы звать его на помощь, но это было бесконечно трогательно - с тоненьким хлыстиком, который едва ли вспугнул бы и зайца, он бежал, чтобы помочь мне отбиться от волка.

С тех пор прошло более тридцати лет, но и сейчас, как живая, стоит передо мной в березовом бабкинском лесу, с испугом в глазах, стройная фигура этого прекрасного писателя и благородного человека...

***ВЯЧ.ФАУСЕК. МОЕ ЗНАКОМСТВО С А.П.ЧЕХОВЫМ***

Это было в Ялте в 1893 году {189}, где я служил в то время. С А.П.Чеховым я познакомился совершенно неожиданно в доме моего сослуживца, помощника акцизного надзирателя З[вьягина]. Как у З. завязалось знакомство с Чеховым, я точно не знаю {189}. Кажется, через сестру его, М.П.Чехову.

З. всегда имели большую квартиру в Ялте и часть ее отдавали по комнатам приезжим. Одно время у них жила М.П.Чехова, которую я также знал. З. очень гордился своим знакомством с Антоном Павловичем и часто о нем рассказывал.

Я пришел тогда к З. с деловыми бумагами, только что возвратившись из служебной поездки в горы, весь в пыли, как слез с коня. Вижу, в гостиной у З. сидит гость, какой-то, как мне показалось, молодой человек.

- Пожалуйста, пожалуйста! - закричал мне З. и, встав с кресла, пошел навстречу.

По улыбке и какому-то особенному выражению лица З. я понял, что делового разговора, из-за которого я пришел, сегодня быть не может.

З. познакомил нас.

- Антон Павлович Чехов! - значительно сказал он. - Вот какой у меня сюрприз для вас!

- Антон Павлович?! Так вот он какой, "Чехов"! - невольно вырвалось у меня. /190/

На меня через *pinse-nez* смотрели добрые, улыбающиеся глаза. Припухлость век у висков, знакомая еще по фотографическим снимкам, придавала всему лицу А.П.Чехова вид какого-то особенного, большого добродушия.

Разговор начался с обычных в таких случаях незначительных реплик: Чехов сказал, что знает моего брата, Виктора Андреевича. Я сказал, что знаю его сестру, Марию Павловну.

Потом Чехов спросил:

- Вы пишете?

В то время несколько моих беллетристических рассказов были напечатаны в "Детском чтении". Кроме того, я писал "Арабески" в "Крымском вестнике" и был постоянным корреспондентом "Русских ведомостей" с южного берега Крыма.

Кажется, именно это обстоятельство, т.е. мое маленькое писательство, помогло завязаться нашему знакомству. Что я прильнул к Чехову, как шлюпка пристаёт к большому судну, это, конечно, было естественно. Что Чехов гостеприимно встретил мое писательство, это тоже вышло у него как-то очень просто и сердечно. Впрочем, было и еще одно обстоятельство, способствовавшее нашему сближению: это наше территориальное и отчасти академическое землячество. Чехов окончил курс в таганрогской гимназии. Я из Таганрога ушел в ученическое плавание, а потом, разочаровавшись в море, тоже поступил в таганрогскую гимназию. Таганрог, общие знакомые, гимназия и учителя дали нам богатый материал для воспоминаний и смеха. Чехов рассказывал о своем прошлом с большим оживлением и юмором, при этом любил и умел посмеяться от души.

## II

Ялтинская набережная в сезонное время - это выставка приезжих людей. Всех тут можно видеть. Постоянно можно было встретить тогда и Чехова. По большей части он гулял с М[иролюбовым], в то время певцом московской оперы, высланным врачами в Ялту по причине плохого состояния его легких. При первой же /191/ встрече Чехов познакомил нас, и потом мы часто гуляли все вместе. Иногда присоединялся к нам З.

А.П.Чехов был очень общителен и любил "компанию". В компании не отказывался и выпить, хотя пил очень умеренно. Уже тогда он жаловался на перебои в сердце. Пойти ли в невзрачный трактир Болотникова у Дерекойского моста есть шашлыки, или куда-нибудь в погребок пить вино Чехов никогда не отказывался. Иногда к нашей компании примыкали новые и новые люди, чьи-нибудь знакомые; составлялись столы, настроение подвигивалось. Какие-нибудь "шашлыки" кончались поездкой за город и потом продолжительным присестом за "кофеем" в "Центральной" гостинице. Чехов никогда не отставал от "теплой" компании. Едва ли это могло доставлять ему большое удовольствие. Сидит, бывало, молча, улыбается, делает вид, что попивает вино. Не наблюдал ли он в это время, не приглядывался ли к распоясавшимся людям?

Чехов жил в гостинице "Россия" {191}.

Однажды он сказал мне:

- Отчего не заходите? Заходите, поболтаем!

- В какое время? Когда вы не заняты, Антон Павлович?

- Да когда хотите! Я всегда занят. И всегда могу бросить работу. Я люблю отдохнуть, поговорить!

Я стал заходить в гостиницу "Россия".

Как живо я помню это!

Тук-тук в двери номера.

- Можно?

- Войдите! - раздается голос Антона Павловича.

И слышен звук отодвигаемого стула.

Чехов стоит, опершись задом на стол, из-за которого, видимо, только что встал. На столе чернила, перо, исписанные листы бумаги. Очевидно, я застал его за работой.

- Ну, вот и помешал вам! Вы писали!

- Нисколько! Здравствуйте! Садитесь! Я же сказал вам, что всегда пишу! - говорит, улыбаясь, Антон Павлович.

- Даже после обеда?

- Да, и после обеда. Я не отдыхаю. Как только пройдет послеобеденная тяжесть в желудке, так и пишу.

И он говорил о своем писании. /192/

- Иногда не пишется - я тогда бросаю и иду гулять, или в гости, или в кабачок. Потом, глядишь, и наладилось и пошло. А иногда, хоть убей, не удастся работа. Пишу, мараю, переделываю, но, сколько ни тружусь, все выходит ерунда. Так и бросаю. То, что напечатано моего, это едва ли составит половину того, что я написал в жизни. У меня целый чемодан ненапечатанных рукописей - начатых, измаранных и неоконченных рассказов.

Я как-то спросил А.П., отчего он так пессимистически настроен последнее время и русская жизнь представлена так мрачно в его последних произведениях.

Чехов ответил:

- Боже мой! Довольно я написал в веселом роде, а много и просто шутовского. Пора мне серьезнее глядеть на жизнь.

### III

В то время в Ялте была распространена моя книжечка "Ялта и ее окрестности". Однажды Чехов встретил меня словами: "Я прочитал вашу книжку", - и начал ее критиковать.

- Исторический очерк Ялты написан хорошо. Легенда о "золотой колыбели и наковальне" прелестна, - говорил Чехов. - А справочный отдел совершенно недостаточен. Он должен быть вдвое, втрое, во много раз полнее.

- Но ведь я писал книжку один и между делом! - оправдывался я. - А для справочного, календарного отдела нужен коллективный труд!

Чехов перебил меня.

- Вот уж не согласен с этим. Я страшно ревнив к своей литературной работе и никого к сотрудничеству с собою и близко не подпущу. Я дорожу каждым написанным мною словом и не намерен ни с кем делить ни труда, ни славы. Я люблю успех. Люблю видеть успех других. Люблю пользоваться им сам.

- Вы вообще мало пишете! - продолжал А.П. - Журналист должен писать решительно обо всем.

- Но что может дать журналисту Ялта, большой вокзал летом и глухой уездный городок зимою? /193/

- Ну нет! - возразил мне Чехов. - Живя постоянно в Крыму, вы находитесь в счастливых условиях. Вокруг нас любопытный татарский быт, правы; в каждом горном урочище прячется легенда!

- Надо знать язык! - заметил я.

- Положим! Но и без этого обойтись можно! - настаивал А.П. - Вот З. знает татарский язык. Он может быть вам полезен! И отчего бы вам не попробовать писать в беллетристическом духе?

- Пробую!

- Ну и что же?

Я рассказал Чехову, что недавно вышла из печати моя книжечка - очерки плавания по Средиземному морю {193} - из моей одиссеи, предпринятой из

Таганрога. Чехов спросил, заметили ли мою книжку в большой печати? Я сказал, что о книжке были отзывы в некоторых толстых журналах.

- Обругали, конечно? - спросил Антон Павлович.

- Нет, похвалили!

- Ну, это вы счастливцев! - сказал Чехов.

И продолжал:

- Наша критика - это что-то ужасное! Не ждите от нее поддержки, снисхождения к начинающему литературному работнику. Она беспощадна, она просто жестока. Так и ищет, что бы обругать. Если бы вы знали, как меня ругали, жестоко, несправедливо, беспощадно!

Чехов сказал это с горечью и видимым раздражением. Всегда бродящая на лице его добродушная улыбка исчезла в эту минуту.

Впрочем, это продолжалось недолго. Улыбка скоро опять появилась на его лице, и веки глаз добродушно прищурились.

- Вот что! - сказал А.П. - У вас есть ваша книжка?

- Есть!

- Один экземпляр дайте мне: я прочту. А другой, пожалуйста, пошлите на станцию Лопасня{193} Московско-Курской дороги. Я сейчас вам дам адрес.

А.П. сел писать и, подавая мне адрес, объяснил:

- Там, видите ли, у нас больница земская. И библиотека маленькая при ней. Средства у нас маленькие. Библиотеку, собственно, я завел и поддерживаю ее. Так, пожалуйста, пошлите. /194/

Прощаясь, Антон Павлович сказал:

- Вот еще что! Сегодня приехала сюда артистка Медведева. Очень добрая старушка. Она уже давно не играет, начинают ее забывать. Напишите в "Крымском вестнике" маленькую заметку, что "в Ялту приехала заслуженная артистка императорских театров Медведева". Пожалуйста, вам это ничего не стоит, а старушке это польстит. Ей будет приятно убедиться, что ее знают и не забывают.

Наверное, старушка Медведева не догадалась, кому она обязана за оказанное ей местной газетой внимание. Она ведь не знала, что А.П.Чехов любит не только свой успех, но и "успех других".

#### IV

В то время у А.П.Чехова было уже большое литературное имя. С ним искали знакомства, искали случая хотя бы увидеть его. Ялтинские дамы и молодежь специально отправлялись гулять на набережную затем, чтобы видеть, как гуляет Чехов с певцом М., и еще издали, по огромному росту всегдашнего спутника Чехова, узнавали через толпу, в каком месте набережной Антон Павлович находится. Концерт М., устроенный им тогда в зале гостиницы "Россия", привлек такую массу публики, что она едва помещалась в зале.

Конечно, такой успех концерта М., певца хотя и очень интересного, обладавшего огромной силой басом - "черноземная сила", как определял голос М. Антон Павлович, - но малоизвестного большой публике, в значительной мере был обязан имени Чехова. Публика знала, что Чехов будет на концерте М., и шла на концерт с уверенностью увидеть, между прочим, и знаменитого Чехова.

- Чехов! Чехов! Вон он стоит! Вон он пошел! Вон он остановился!

Такой полусшепот то и дело слышался в густой толпе.

Искатели "Чехова" не давали покоя Антону Павловичу и на дому. Часто к нему как к доктору обращались за медицинским советом, или, правильнее, под предлогом получить медицинский совет.

Таким А.П. говорил, что не "практикует", и направлял к местным врачам.

Бывали у А.П. и курьезы с посетителями. /195/

Он рассказывал мне, как к нему пришла молодая дама.

- Конфузится, не может говорить от волнения, смотрит исподлобья! - говорил А.П. - Я ее принимаю, прошу садиться, спрашиваю: "Чем могу служить?" Она села и, преодолев волнение, говорит: "Извините... простите меня! Я хотела... на вас посмотреть! Я никогда... не видала писателя!"

В другой раз А.П. встретил меня, видимо чем-то взволнованный.

- Послушайте! - говорит. - Что это у вас тут за барон В.?

И Чехов протянул мне визитную карточку барона, увенчанную короной.

Говорю, есть такой барон. Принадлежит к местному бомонду, очень богат, дачу роскошную имеет в Ялте. Личность, ровно ничем не замечательная.

- Можете себе представить?! Является ко мне, представляется и просит сегодня же у него обедать, что у него соберутся гости и тому подобное?! Какой-то наивный нахал!?

- Что же вы ему сказали?

- Спровадил его! Сказал ему, что не имею чести его знать и обедать к нему не пойду. Он только что ушел от меня!

На другой же день я мог сообщить Антону Павловичу, что барон В. имеет все основания быть на него в претензии. Он назвал гостей "на Чехова", и гости в назначенное время съехались к нему обедать. А обед оказался "без Чехова"...

Едва ли не Чехову обязана была своим успехом также лекция Радецкого "О физическом воспитании детей".

Вижу я как-то А.П. с незнакомым господином. Они сидели на скамеечке над морем. Чехов подозвал меня и познакомил со своим собеседником. Оказался г.Радецкий.

Разговор у них шел о том, как бы устроить в Ялте лекцию Радецкого. Но Радецкий был стеснен временем, а для того, чтобы прочесть лекцию, надо было хлопотать о разрешении, о помещении и т.д. Чехову пришло на мысль обойти эти затруднения таким образом: вместо лекции устроить "собеседование" на ту же тему у /196/ кого-нибудь в доме и пригласить избранный круг местных общественных деятелей. Чтобы посоветоваться об этом, и позвал меня Антон Павлович. Я предложил для замаскированной лекции свою квартиру.

Я жил на краю города, высоко на горе, около кладбища, и Чехов усомнился, чтобы "туда собрались". Но я поручился Радецкому за успех дела, и "лекция" была назначена у меня в доме в тот же вечер.

Оповестить нужных людей о предстоящей у меня лекции и обеспечить ей обещанный "успех" мне не стоило большого труда. Достаточно пройти по набережной взад и вперед один раз, чтобы распустить по Ялте какой угодно слух. Только кое-кому мне пришлось послать на дом записки. А чтобы приглашаемые наверно пришли и не уstraшились крутого подъема "на дачу грека Солоникио", где я жил, мне стоило только упомянуть о том, что "будет Чехов". Я так и делал. Останавливал, приглашал вечером к себе "на Радецкого" и невинно, вскользь прибавлял магические слова.

- Приходите! - говорил я. - Будет интересно! Чехов будет!

Первыми пришли ко мне Чехов с Радецким. Увидев, что мы с женой превратили самую большую нашу комнату в аудиторию, для чего наставили рядами всю мягкую мебель и стулья, какие имели и смогли взять займы у соседей, а для лектора, как водится, приготовили стол с традиционным графином с водой и стаканом, А.П. поднял меня на смех.

- И никто не придет! - дразнил он меня.

- Придут! - утверждал я.

- Ну, кто ползет к вам на такую кручу? - спорил Чехов.

- Вот увидите! - храбро отвечал я.

Моя правда оказалась! К назначенному времени гости стали сходить, и скоро собралось человек сорок, почти все, кого я звал. Аудитория была заполнена. Собрались врачи, учителя гимназии, учителя и учительницы школ, некоторые гласные Думы и проч. Радецкому пришлось пойти к "кафедре" и формально прочитать лекцию.

Когда поздно вечером стали расходиться, известный в Ялте доктор Штангеев, лукаво подмигнув, сказал мне, прощаясь: /197/

- Сходочку устроили?

- Ну, ну! Зачем страшные слова! - защищался я.

Последними уходили Чехов с Радецким{197}.

- Как это вам удалось залучить к себе столько народу? - спросил меня Антон Павлович.

- Ну, это уж мой секрет! - уклонился я от прямого ответа. - Слово такое знаю!

## V

С балкона нашей дачи открывался великолепный вид на Ялту. Вся она лежала под нами, живописно сбегая амфитеатром по склону Дарсаны и Магаби к берегу моря. Ялтинский мол и пристань и далее широкий горизонт Черного моря довершали прелесть открывающейся панорамы. А.П.Чехову очень нравилось у нас на балконе.

- Это награда за трудность подъема на вашу дачу! - говорил он.

Я не помню, когда А.П. в первый раз пришел к нам. Оттого, вероятно, не помню, что А.П. бывал тогда у нас в доме очень часто, и память слила отдельные черты этих посещений в одно общее впечатление. Моя жена любила скульптуру и урывками занималась лепкой. Ей захотелось вылепить бюст Антона Павловича, и она просила разрешения снять с него для этой цели фотографию. Чехов охотно дал свое согласие, и в одно прекрасное утро операция эта была произведена над ним у нас на балконе. Снимал Антона Павловича наш случайный квартирант, искусный фотограф-любитель, ветеринарный врач из Харькова г.Венедиктов. Чехов отдался во власть фотографа и безропотно слушался распоряжений жены и г.Венедиктова. Последний снял Чехова несколько раз: для целей лепки нужен был "фас" и "профиль" лица. С этих негативов г.Венедиктов сделал жене два чудесных кабинетных портрета А.П. Он был спят "по-домашнему", в пиджаке, в мягкой летней рубашке со шнурком вместо галстука под отложным мягким воротником.

Жена приступила к работе. Антона Павловича заинтересовала техника лепки, и он стал заходить к нам смотреть, как работает жена и как подвигается вперед дело. Заметив, что жена пользуется его посещениями, /198/ чтобы исправлять сделанное за глаза по живой натуре, Антон Павлович сам предложил ей себя в натурщики и назначил время, когда будет приходить для сеансов. Вскоре Антон Павлович совсем освоился у нас, забавлялся с детьми, засиживался, иногда оставался обедать. Во время сеансов читал газеты или беседовал с нами. Тогда в "Русской мысли" печатались его очерки Сибири {198}, откуда он недавно возвратился. А.П. много рассказывал о своем пребывании в Сибири и технических приемах исполненной им работы об этом путешествии. Как-то затеялся разговор о художественном творчестве, и я спросил Антона Павловича, какой психологии творчества подчиняется он сам? Пишет ли людей с натуры, или персонажи его рассказов являются результатом более сложных обобщений творческой мысли?

- Я никогда не пишу прямо с натуры! - ответил Антон Павлович.

- Впрочем, это не спасает меня как писателя от некоторых неожиданностей! - прибавил он. - Случается, что мои знакомые совершенно неосновательно узнают себя в героях моих рассказов и обижаются на меня!

И он рассказал, как однажды в Москве, в хорошо знакомом ему семейном доме, где он часто бывал, его приняли так дурно, так явно враждебно, что он, в недоумении, должен был уйти. Как потом ему сказали, причиной такой перемены к нему в этом доме была обида. Семейство это в одном из последних рассказов Антона Павловича "узнало себя" {198} и стало смотреть на автора рассказа как на предателя.

- А я и в мыслях не имел писать портреты с этих коих знакомых! {198} - заключил Антон Павлович.

Как-то я сказал Антону Павловичу, что в Ялту приехал Оболенский и очень хочет с ним познакомиться.

- Какой Оболенский? Леонид? - спросил Чехов.

- Да, Леонид Егорович!



- Вот с ним мне до сих пор как-то не случалось встретиться. Познакомьте, я буду очень рад. Я этому человеку так много обязан.

И Чехов рассказал, что еще в начале его литературной карьеры, когда он писал еще под псевдонимом Чехонте и был полной неизвестностью, Л.Е.Оболенский напечатал фельетон, в котором очень лестно отозвался об его работах {198}. /199/

- Это был первый критик, который меня заметил и поощрил! - сказал Антон Павлович. - А мне в то время ободряющее слово литературной критики было очень нужно, очень дорого. Я тогда еще блуждал в поисках своего настоящего призвания, сомневался в достоинстве своих писаний, в своем литературном даровании. Оболенский первый своей похвалой окрылил меня и вдохновил на продолжение занятий художественной литературой. Я давно жду случая поблагодарить его за это!

Чехов с Оболенским познакомились.

Кажется, тогда именно мы целой компанией ездили в Массандру. З. отрекомендовал Антона Павловича виноделу С., и это тотчас возымело свое действие. С. расцвел от неожиданного удовольствия и сделал, с своей стороны, все что мог, чтобы оказать знаменитому гостю радушное гостеприимство; отворил перед нашей компанией заповедные подвалы удельного ведомства и угостил замечательными старыми ликерными винами, хранившимися еще со времен графа Воронцова.

В конце лета Антон Павлович уехал из Ялты. Бюст был окончен уже в его отсутствие и испорчен мастером при отливке из гипса. Одним из дорогих памятников того времени осталась у нас одна из фотографий Чехова, снятого на балконе г.Венедиктовым. Чехова с тех пор мы не встречали больше.

## VI

Об А.П.Чехове написано много воспоминаний. Многие знали его ближе и лучше меня. Духовный образ этого замечательного, - кроткого человека давно обрисован полно и верно, и мои беглые очерки встреч и общения с ним могут пополнить литературу о Чехове только, может быть, мелкими штрихами. Мне же эти строки дороги как личное переживание, и писал я их для себя, как воспоминания о светлых днях моей жизни, озаренных и согретых Чеховым, его добрым, простым отношением ко мне и моей семье. Делюсь я этими воспоминаниями с читателями в день пятилетия со дня смерти писателя потому, что, как мне кажется, все, что касается А.П.Чехова, не может не быть интересным.

С Юрки, Полтавск. губ.  
27 июня 1909 г. /200/

I

24 января 1889 года я получила записочку от сестры: "Приходи сейчас же, непременно, у нас Чехов". Сестра была замужем за редактором-издателем очень распространенной газеты {200}. Она была много старше меня. Маленькая, белокуренькая, с большими мечтательными глазами и крошечными ручками и ножками, она всегда возбуждала во мне чувства нежности и зависти. Рядом с ней я казалась самой себе слишком высокой, румяной и полной... Ничуть не похожей на мечту, как она. Кроме того, я была москвичкой и только второй год жила в Петербурге, следовательно я была еще провинциалкой, а она была не только столичной дамой, но и много путешествовала за границей, носила парижские туалеты, жила в собственном богатом особняке. У нее бывали многие знаменитости: артисты, художники, певцы, поэты, писатели. Да и ее прошлое, ее замужество по любви с "увозом" прямо с танцевального вечера, в то время как отец, ненавидевший ее избранника, особенно зорко наблюдал за ней, все это окружало ее в моих глазах волшебным ореолом. А что представляла из себя я! Девушку с Плющихи, вышедшую замуж за только что окончившего студента, занимавшего теперь должность младшего делопроизводителя департамента народного просвещения. Что было в моем прошлом? Одни несбывшиеся мечты. Я была невестой человека, которого, мне казалось, я горячо любила. Но я в нем разочаровалась /201/ и взяла свое слово обратно. И из всего этого, очень тяжелого для меня, переживания я вынесла твердое решение: не поддаваться более дурману влюбленности, а выбрать мужа трезво, разумно, как выбирают вещь, которую придется долго носить. И я выбрала и гордилась своим выбором. Он был очень умен, очень способен и, помимо университета, приобрел много разнородных знаний благодаря своей любознательности и любви к чтению.

Несколько грубоватый в своих выражениях, он был искренен, прям, часто язвителен, никогда не стеснялся выразить свое мнение и, несмотря на свой очень молодой возраст, импонировал даже взрослым и внушал к себе уважение.

- Зубаст! - говорил про него мой зять, муж сестры Нади, и смеялся.

Но и он относился к Мише не как к мальчишке, а как равный к равному. Я еще хорошо помнила, как он отозвался о моем прежнем женихе, офицере.

- Что ж, - сказал он, - хорош! И рейтузы обтянуты, и ус... "Гусар, на саблю опираясь"... {201} Хорош!

Этот отзыв, по всей вероятности, положил начало моему охлаждению.

Миша знал, что я не люблю его, как принято любить женихов. Он сам принимал горячее участие в моем неудачном романе и даже держал пари с моим прежним женихом, что я не выйду за него замуж.

Пари было заключено на полдюжины шампанского в моем присутствии и было принято как шутка. Мы так и поняли, что Миша хочет угостить нас. Но он

был предусмотрительнее и проницательнее нас. Свое пари он выиграл, но... шампанского не получил. "Зато женюсь-то я, а не он", - утешался Миша, и ему, казалось, было совсем безразлично, что его будущая жена только ценит, а не любит его. Он как будто даже забыл о моем признании. Но, как потом оказалось, совсем не забыл, и я за это признание долго и тяжело платилась.

Была мечта - сделаться писательницей. Я писала и стихами и прозой с самого детства. Я ничего в жизни так не любила, как писать. Художественное слово было для меня силой, волшебством, и я много читала, а среди моих любимых авторов далеко не последнее место занимал Чехонте. Он печатался, между прочим, и в газете, /202/ издаваемой моим зятем, и каждый его рассказ возбуждал мой восторг. Как я плакала над Ионой {202}, который делился своим горем с своей клячей, потому что никто больше не хотел слушать его. А у него умер сын. Только один сын у него был и - умер. И никому это не было интересно. Почему же теперь, когда Чехов это написал, всем стало интересно, и все читали, и многие плакали? О, могущественное, волшебное художественное слово!

"Приходи сейчас же, непременно, у нас Чехов". Я сама кормила своего сынишку Левушку, которому было уже девять месяцев, но весь вечер я могла быть свободна, так как после купанья он долго спокойно спал, да и няня у меня была надежная, очень преданная и любящая. Она и меня вынянчила в свое время.

Миша был занят, да его и не интересовало знакомство с Чеховым, и я ушла одна.

Он ходил по кабинету и, кажется, что-то рассказывал, но, увидев меня в дверях, остановился.

- А, девица Флора, - громко сказал Сергей Николаевич, мой зять. - Позвольте, Антон Павлович, представить вам девицу Флору. Моя воспитанница.

Чехов быстро сделал ко мне несколько шагов и с ласковой улыбкой удержал мою руку в своей. Мы глядели друг на друга, и мне казалось, что он был чем-то удивлен. Вероятно, именем Флоры. Меня Сергей Николаевич так называл за яркий цвет лица, за обилие волос, которые я еще заплетала иногда в две длинные, толстые косы.

- Знает наизусть ваши рассказы, - продолжал Сергей Николаевич, - и, наверное, писала вам письма, но скрывает, не признается.

Я заметила, что глаза у Чехова с внешней стороны точно с прищипочкой, а крахмальный воротник хомутом и галстук некрасивый.

Когда я села, он опять стал ходить и продолжать свой рассказ. Я поняла, что он приехал ставить свою пьесу "Иванов", но что он очень недоволен артистами {202}, не узнает своих героев и предчувствует, что пьеса провалится. Он признавался, что настолько волнуется и огорчается, что у него показывается горлом кровь. Да и Петербург ему не нравится. Поскорее бы все кончить /203/ и уехать, а впредь он дает себе слово не писать больше для театра. А ведь артисты прекрасные и играют прекрасно, но что-то чуждое для него, что-то "свое" играют.

Вошла сестра Надя и позвала всех к ужину. Сергей Николаевич поднялся, и вслед за ним встали и все гости. Перешли в столовую. Там были накрыты два

стола: один, длинный, для ужина, а другой был уставлен бутылками и закусками. Я встала в сторонке у стены. Антон Павлович с тарелочкой в руке подошел ко мне и взял одну из моих кос.

- Я таких еще никогда не видел, - сказал он. А я подумала, что он обращается со мною так фамильярно только потому, что я какая-то девица Флора, воспитанница. Вот если бы он знал Мишу и знал бы, что у меня почти годовалый сын, тогда...

За столом мы сели рядом.

- Она тоже пописывает, - снисходительно сообщил Чехову Сергей Николаевич. - И есть что-то... Искорка... И мысль... Хотя с куриный нос, а мысль в каждом рассказе.

Чехов повернулся ко мне и улыбнулся.

- Не надо мысли! - сказал он. - Умоляю вас, не надо. Зачем?

Надо писать то, что видишь, то, что чувствуешь, правдиво, искренно. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или другим рассказом. На эти вопросы я не отвечаю никогда. Я ничего не хочу сказать. Мое дело писать, а не учить! И я могу писать про все, что вам угодно, - прибавил он с улыбкой. - Скажите мне написать про эту бутылку, и будет рассказ под таким заглавием: "Бутылка". Не надо мыслей. Живые, правдивые образы создают мысль, а мысль не создаст образа.

И, выслушав какое-то льстивое возражение от одного из гостей, он слегка нахмурился и откинулся на спинку стула.

- Да, - сказал он, - писатель это не птица, которая щебечет. Но кто же вам говорит, что я хочу, чтобы он щебетал? Если я живу, думаю, борюсь, страдаю, то все это отражается на том, что я пишу. Зачем мне слова: идея, идеал? Если я талантливый писатель, я все-таки не учитель, не проповедник, не пропагандист. Я правдиво, то есть художественно, опишу вам жизнь, и вы /204/ увидите в ней то, чего раньше не видали, не замечали: ее отклонение от нормы, ее противоречия...

Он неожиданно повернулся ко мне.

- Вы будете на первом представлении "Иванова"? - спросил он.

- Вряд ли. Трудно будет достать билет.

- Я вам пришло, - быстро сказал он. - Вы здесь живете? У Сергея Николаевича?

Я засмеялась.

- Наконец я могу сказать вам, что я не девица Флора и не воспитанница Сергея Николаевича. Это он так зовет меня в шутку. Я сестра Надежды Алексеевны и, вообразите, замужем и мать семейства. И так как я кормлю, я должна спешить домой.

Сергей Николаевич услышал, что я сказала, и закричал мне:

- Девица Флора, придут за гобой, если нужно. Мы живем в двух шагах, - объяснил он Антону Павловичу. - Сиди. Спит твой пискун. Антон Павлович, не пускайте ее.

Антон Павлович нагнулся и заглянул мне в глаза. Он сказал:

- У вас сын? Да? Как это хорошо.

Как трудно иногда объяснить и даже уловить случившееся. Да, в сущности, ничего и не случилось. Мы просто взглянули близко в глаза друг другу. Но как это было много! У меня в душе точно взорвалась и ярко, радостно, с ликованием, с восторгом взвилась ракета. Я ничуть не сомневалась, что с Антоном Павловичем случилось то же, и мы глядели друг на друга удивленные и обрадованные.

- Я опять сюда приду, - сказал Антон Павлович. - Мы встретимся? Дайте мне все, что вы написали или напечатали. Я все прочту очень внимательно. Согласны?

Когда я вернулась домой, Левушку уже пеленала няня, и он кряхтел и морщился, собираясь покричать.

- У меня сын? Как это хорошо, - сказала я ему смеясь и радуясь.

Миша вошел в детскую следом за мной.

- Взгляни на себя в зеркало, - сердито сказал он. - Раскраснелась, растрепалась. И что за манера носить /205/ косы! Хотела поразить своего Чехова. Левушка плачет, а она, мать, с беллетристами кокетничает.

Слово "беллетрист" было у Миши синонимом пустобреха. Я это знала.

- Чехов - беллетрист? - сухо спросила я.

Миша стал ходить по комнате.

- А что? Поправился? Расскажи.

Я показала ему глазами на Леву: он глотал, закатывая глазки, нельзя было мешать ему. Миша ушел и стал ходить и свистеть в другой комнате. Я давно привыкла к его свисту, но теперь не могла не возмутиться. Вечный "Стрелочек"! "Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать..." Неужели ему самому не противно?

И я чувствовала, как я потухала. Чувствовала, как безотчетная радость, так празднично осветившая весь мир, смиренно складывала крылья, свертывала свой ослепительный павлиний хвост, жалобно вытягивала шею. Кончено! Все по-прежнему. И жить будем по-прежнему. Почему жизнь должна быть легка и прекрасна? Кто это обещал?..

Но у меня сын. Да, сын! Вот этот комочек. У него кругленькие щечки и на одной капля молока. Он вытащил из-под пеленки ручонку и положил ее ко мне на грудь. Лапка моя ненаглядная! Спи, моя радость!

## II

Что такое семейное счастье? Это редкое, очень прихотливое растение, за которым нужен постоянный, очень заботливый уход.

С рождения Левы я стала очень ухаживать за своим "семейным счастьем".

Прошло уже три года с моего первого свидания с Чеховым. Я часто вспоминала о нем и всегда с легкой мечтательной грустью. А у меня уже было трое детей: Лева, Лодя и грудная Ниночка. Миша был примерным отцом. Чтобы увеличить средства к жизни, он взял еще вечернюю работу, а все свободное время

возился и нянчился с детьми. Но он был несколько неловок и когда брал ребенка на руки, ронял с него одеяло и пеленки, а играя со старшими, ломал их игрушки. Мальчики с укоризной говорили ему: "Эх, папа!" - но всегда ждали его прихода с радостью и нетерпением. Даже /206/ Ниночка тянулась к нему ручонками и ласково ворковала на его руках.

Несомненно, наше семейное счастье окрепло. Миша как-то сказал мне:

- Ну что, мать? Пришпилили тебе хвост? Не хочешь теперь разводиться? Я поморщилась.

- Что? выражение тебе не нравится? Так ведь я не беллетрист. А ведь помнишь, как ты в первый же год предлагала мне разойтись?

Еще бы этого не помнить! Этот первый год моего замужества остался у меня в памяти как кошмар. Во-первых, полной неожиданностью был невероятно скверный характер мужа и его несносная требовательность. Первый раз мы поссорились, только что вернувшись из церкви, где нас повенчали. Он требовал, чтобы я надела калоши, чтобы идти гулять. Я не хотела надевать калош. Мы стояли друг против друга, как два молодых петуха перед дракой. Позже мы ссорились из-за таких же пустяков по несколько раз в день. Я отстаивала свою самостоятельность, он - свой авторитет.

А откуда взялся этот авторитет? Он был всего на год старше меня, и я помнила его еще гимназистом второго класса. И разве он смел противоречить мне хотя в чем-нибудь, пока я не стала его женой?

Я хотела заниматься литературой. Гольцев как-то предложил мне принести ему все, что я написала, и затем стал заставлять меня работать. Он объяснял мне недостатки моих рассказов и требовал, чтобы я их переделывала. Иногда он говорил мне: "Это совсем хорошо, можно было бы даже напечатать, но вам еще рано. Поработайте".

Когда я ему сказала, что выхожу замуж, он огорченно воскликнул:

- Ну, теперь кончено! Теперь из вас ничего не выйдет!

А я тогда дала себе слово, что ничего не "кончено", что я буду работать и что замужество ничему не помешает. Но я ошиблась! Сразу жизнь сложилась так, что у меня совсем не было времени писать. Миша до обеда был в департаменте. Казалось бы, я могла быть свободной и делать то, что я хочу, тем более, что у меня была прислуга. Но это только так казалось. Весь день уходил /207/ на мелочи: я должна была идти за покупками и брать припасы именно там, где назначал Миша: кофе на Морской, сметану на Садовой, табак на Невском, квас на Моховой и т.д.

И должна была делать соус к жаркому сама, а не поручать это дело кухарке; я должна была набить папиросы. И еще главной заботой моей жизни были - двери. Двери должны были быть плотно закрыты весь день, чтобы из кухни не проникал чад, и настежь открыты вечером, чтобы воздух сравнялся. И горе мне, если, возвращаясь со службы, Миша улавливал малейший запах из кухни. Вечером, когда Миша садился писать свою диссертацию, я тогда устраивалась в спальне и принималась за свою рукопись, но сейчас же раздавался окрик:

- Зачем дверь в спальню закрыта? Открой! Да ты что там делаешь? Иди ко мне!

- Мне хочется писать.

- Тебе только хочется, а мне надо. И я тут запутался в предложении.

Помоги-ка мне выбраться, беллетристка.

Потом он начинал ходить по комнате и свистеть "Стрелочка".

Когда я ему предложила разойтись, он сказал:

- Из-за чего? Подумай. Ведь все наши недоразумения и ссоры из-за твоего упрямства. Ты привыкла жить безалаберно, руководствуясь только капризом. Ты считаешь это свободой, а я - беспорядком. У меня скучнейшая служба, потому что ты пожелала жить в городе, а не в деревне, где я мог бы заниматься хозяйством. Я с этим помирился. Почему ты не можешь помириться с тем, что тебе приходится держать дом в порядке? Неужели ты можешь требовать, чтобы я только восхищался твоей красотой и говорил тебе любезности? И ты хочешь разводиться? Из-за чего? Стыдно!

Но я предложила ему разойтись не из-за того, что он не говорил мне любезностей, а из-за его слишком тяжелого и, как оказалось, наследственного нрава. Я думала заставить его встряхнуться, оглянуться на себя. Я предложила ему разойтись после того, как он, уже далеко не в первый раз, с бешенством кричал, что я не имела права женить его на себе, искалечить всю его жизнь из-за каких-то соображений и расчетов, из эгоизма, без /208/ любви, зная, как велика и сильна его любовь. Разве он не встретил бы девушку, которая по-настоящему полюбила бы его! Полюбила бы, а не выбрала бы, как я.

Как это ни странно, но с такой точки зрения я никогда не смотрела на наш брак. И я стала чувствовать за собой какой-то неоплатный долг. Как было исправить эту чудовищную вину, если была вина? Ведь я ничего не скрыла от него, и он знал с самого начала, что я не люблю его. Поэтому, после одного очень бурного скандала, я и предложила ему разойтись. Но разве он мог на это согласиться?

Я отлично знала, что он любит меня больше, а не меньше прежнего, что он жить без меня не может. А кроме того, мы уже знали, что у нас будет Левушка, и с одинаковым умилением и нетерпением ждали его.

И его рождение внесло "семейное счастье". Мы стали менее упорно бороться друг с другом, стали уступчивее. Явилось еще двое детей, и уж не могло быть речи о том, чтобы мы разъехались или развелись. Мне "пришпилили хвост", а Мише пришлось очень много работать, чтобы содержать семью.

В эти три года мы очень сжились, сдружились, и мне стало гораздо легче сносить припадки гнева Миши, тем более что он всегда в них горько раскаивался и старался загладить свою вину. Он даже почти не мешал мне писать в свободное время, а я начала печататься, и теперь жизнь казалась мне полной и часто, когда дети не болели, счастливой.

Было только скучно.

### III

В январе 1892 года Сергей Николаевич праздновал 25-летний юбилей своей газеты {208}. Торжество должно было начаться молебном, а затем приглашенные должны были перейти в гостиную, где был накрыт длиннейший стол для обеда. В столовой гости не поместились бы, и поэтому там все было приготовлено для церковной службы.

Из гостиной в столовую проходили вдоль балюстрады лестницы из передней, а против лестницы было вделано в стену громадное зеркало. Я встала у дверей гостиной и могла, не отражаясь сама в зеркале, видеть в нем /209/ всех, кто поднимался, раньше, чем они показывались на площадке. Шли мужчины и женщины, много знакомых, много незнакомых, и я с тоской думала о том, какой скучный предстоял день. Посадят меня за стол с каким-нибудь важным гостем, которого я должна буду занимать, а обедать будут долго, долго, часами, и все надо будет ухитриться находить темы для разговора, казаться оживленной и любезной.

И вдруг я увидела в зеркале две поднимающиеся фигуры. Случается, что один взгляд снимает моментальную фотографию и сохраняет ее в памяти на всю жизнь. Я как сейчас вижу непривлекательную голову Суворина, а рядом молодое, милое лицо Чехова. Он поднял правую руку и откинул назад прядь волос. Глаза его были чуть прищурены, и губы слегка шевелились. Вероятно, он говорил, но я не могла этого слышать. Они поспели к самому началу молебна. Все столпились в столовой, слышалось пение, тогда я тоже вмешалась в толпу. И, пока служили и пели, я вспоминала мою первую встречу с Антоном Павловичем, то необъяснимое и нереальное, что вдруг сблизило нас, и старалась угадать, узнает ли он меня? Вспомнит ли? Возникнет ли опять между нами та близость, которая три года назад вдруг так ярко осветила мою душу?

Мы столкнулись в толпе случайно и сейчас же радостно протянули друг другу руки.

- Я не ожидала вас видеть, - сказала я.

- А я ожидал, - ответил он. - И знаете что? Мы опять сядем рядом, как тогда. Согласны?

Мы вместе прошли в гостиную.

- Давайте выберем место?

- Бесполезно, - ответила я. - Вас посадят по чину, к сонму светил; одним словом, поближе к юбилею.

- А как было бы хорошо здесь - в уголке, у окна. Вы не находите?

- Хорошо, но не позволят. Привлекут.

- А я упрусь! - смеясь сказал Чехов. - Не поддамся.

Мы сели, смеясь и подбадривая друг друга к борьбе.

- А где же Антон Павлович? - раздался громкий вопрос Сергея Николаевича. - Антон Павлович! Позвольте вас просить...

Надя тоже искала глазами и звала. /210/

Чехов приподнялся и молча провел рукой по волосам.

- Ах, вот они где. Но и вашей даме здесь место рядом с вами. Прощу!



- Да пусть, как хотят, - неожиданно сказала Надя. - Если им там больше нравится...

Сергей Николаевич засмеялся, и нас оставили в покое.

- Видите, как хорошо, - сказал Антон Павлович. - Победили.

- Вы многих тут знаете? - спросила я.

- А не кажется вам, - не отвечая, заговорил Антон Павлович, - не кажется вам, что когда мы встретились с вами три года назад, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки?

- Да... - нерешительно ответила я.

- Конечно, да. Я знаю. Такое чувство может быть только взаимное. Но я испытал его в первый раз и не мог забыть. Чувство давней близости. И мне странно, что я все-таки мало знаю о вас, а вы - обо мне.

- Почему странно? Разлука была долгая. Ведь это было не в настоящей, а в какой-то давно забытой жизни?

- А что мы были тогда друг другу? - спросил Чехов.

- Только не муж и жена, - быстро ответила я.

Мы оба рассмеялись.

- Но мы любили друг друга. Как вы думаете? Мы были молоды... И мы погибли... при кораблекрушении? - фантазировал Чехов.

- Ах, мне даже что-то вспоминается, - смеясь сказала я.

- Вот видите. Мы долго боролись с волнами. Вы держались рукой за мою шею.

- Это я от растерянности. Я плавать не умела. Значит, я вас и потопила.

- Я тоже плавать не мастер. По всей вероятности, я пошел ко дну и увлек вас с собой.

- Я не в претензии. Встретились же мы теперь как друзья.

- И вы продолжаете вполне мне доверять?

- Как доверять? - удивилась я. - Но ведь вы меня потопили, а не спасли. /

211/

- А зачем вы тянули меня за шею?

Антон Павловича не забывали присутствующие. Его часто окликали и обращались к нему с вопросами, с приветствиями, с комплиментами.

- Я сейчас говорю соседу: "Какая конфетка ваш рассказ..."

Эта "конфетка" нас ужасно рассмешила, и мы долго не могли смотреть друг на друга без смеха.

- А как я вас ждала, - вдруг вспомнила я. - Как я вас ждала! Еще когда жила в Москве, на Плющихе. Когда еще не была замужем.

- Почему ждали? - удивился Антон Павлович.

- А потому, что мне ужасно хотелось познакомиться с вами, а товарищ моего брата, Попов, сказал мне, что часто видит вас, что вы славный малый и не откажетесь по его просьбе прийти к нам. Но вы не пришли.

- Скажите этому вашему Попову, которого я совершенно не знаю, что он мой злейший враг, - серьезно сказал Чехов.

И мы стали говорить о Москве, о Гольцеве, о "Русской мысли".

- Не люблю Петербурга, - повторил Чехов. - Холодный, промозглый весь насквозь. И вы недобрая: отчего вы не прислали мне ничего? А я вас просил. Помните? Просил прислать ваши рассказы.

Стали подходить чокаяться шампанским. Чокались, кланялись, улыбались. Антон Павлович вставал, откидывал волосы, слушал, опустив глаза, похвалы и пожелания. И потом садился со вздохом облегчения.

- Вот она - слава, - заметила я.

- Да, черт бы ее побрал. А ведь большинство ни одной строчки не прочли из того, что я написал. А если и читали, то ругали меня. А мне сейчас не слов хочется, а музыки. Почему нет музыки? Румын бы сюда. Необходима музыка. Вам сколько лет? - спросил он неожиданно.

- Двадцать восемь.

- А мне тридцать два. Когда мы познакомились, нам было на три года меньше: двадцать пять и двадцать девять. Как мы были молоды.

- Мне тогда еще не было двадцати пяти, да и теперь нет двадцати восьми. В мае будет.

- А мне было тридцать два. Жалко. /212/

- Мне муж часто напоминает, что я уже не молода, и всегда набавляет мне года. Вот и я немного набавляю.

- Не молоды? В двадцать семь лет?

Стали вставать из-за стола. Обед тянулся часа три, а для меня прошел быстро. Я увидела Мишу, который пробирался ко мне, и сразу заметила, что он очень не в духе.

- Я еду домой. А ты?

Я сказала, что еще останусь.

- Понятно, - сказал он, но мне показалось нужным познакомить его с Чеховым.

- Это мой муж, Михаил Федорович, - начала я.

Оба протянули друг другу руки. Я не удивилась сухому, почти враждебному выражению лица Миши, но меня удивил Чехов: сперва он будто пытался улыбнуться, но улыбка не вышла, и он гордым движением откинул голову. Они не сказали оба ни слова, и Миша сейчас же отошел.

Я осталась, но ненадолго: гости стали поспешно расходиться. Хозяева устали.

А дома меня ждала гроза. Мише очень не понравилась наша оживленная беседа за столом, очень не понравилось, что мы не сели там, где нам было назначено.

- Вы обращали на себя всеобщее внимание, - кричал Миша, - а ты вела себя неприлично. Мне стыдно было за тебя! Стыдно!

- А мне и сейчас за тебя стыдно. Что это за сцена ревности? Этого еще не доставало.

- Не ревности, а... а... негодования. Моя жена, мать моих детей, должна вести себя прилично.

Мы то ссорились, то дулись весь вечер.

Но я тогда не ожидала, что еще ждет меня.

Какой-то услужливый приятель рассказал Мише, что в вечер юбилея Антон Павлович кутил со своей компанией в ресторане, был пьян и говорил, что решил во что бы то ни стало увезти меня, добиться развода, жениться. Его будто бы очень одобряли, обещали ему всякую помощь и чуть ли не качали от восторга. Миша был вне себя от возмущения. Он наговорил мне столько обидного и грубого, что в другой раз я бы этого не стерпела. Но в настоящем случае казалось мне, что он прав. О, какое это было крушение! Почти невероятно, что из-за Чехова я попала в грязную историю. Но как же /213/ не верить? В сущности, я так мало знала Антона Павловича. Я считала его близким, симпатичным, благородным. Вся душа моя тянулась к нему, а он, пьяный, выставил меня на позор и на посмешище.

- Ты кинулась ему на шею, психопатка! - кричал Миша, - завязала любовную интрижку под предлогом любви к литературе. Ты носишь мое имя, а это имя еще никогда по кабакам не трепали. Он хочет увезти тебя, а знаешь ли ты, сколько у него любовниц? Пьяница! бабник!

Я была ошеломлена, убита. Но когда я немного успокоилась и была в состоянии думать, я сказала себе: а все-таки этого не может быть. Это чья-то злобная выдумка, чтобы очернить в моих глазах Чехова и восстановить против него Мишу. Кому это могло быть нужно? Я решила, что Миша мог слышать эту сплетню только от двух лиц. Одно было вне всяких подозрений, другое... И сейчас же мне вспомнилось, что это другое лицо сидело за юбилейным столом наискось от нас и, по-видимому, очень скучало. Он был писатель и печатал толстые романы {213}, но никаких почестей ему не оказывали и даже на верхний конец стола не посадили. К Чехову он обращался с чрезвычайным подобострастием и выражал ему свои восторги, но не было никакого сомнения, что он завидует ему до ненависти, в чем я впоследствии убедилась.

После обеда он сказал мне мимоходом:

- Я никогда не видал вас такой оживленной.

"Он! - решила я. - Конечно, несомненно - он. Выдумал, насплетничал..." Я справилась и узнала, что действительно он участвовал на ужине после юбилея. Я сказала о своих предположениях Мише.

- Наврал? Возможно. Да, это он мне рассказал, - признался Миша. - Но ведь это известная скотина!

Я почувствовала большое облегчение.

Прощаясь, я дала слово Антону Павловичу написать ему и прислать свои рассказы, и теперь я решила, что это можно сделать, но все-таки в письме упрекнула его за лишнюю болтовню за приятельским ужином. Он сейчас же ответил мне:

"Ваше письмо огорчило меня и поставило в тупик. Что сей сон значит? Мое достоинство не позволяет мне оправдываться, к тому же обвинение Ваше слишком /214/ неясно, чтобы в нем можно было разглядеть пункты для самозащиты. Но, сколько могу понять, дело идет о чьей-нибудь сплетне. Так, что ли?

Убедительно прошу Вас (если Вы доверяете мне не меньше, чем сплетникам), не верьте всему тому дурному, что говорят о людях у Вас в Петербурге. Или же если нельзя не верить, то уж верьте всему и в розницу и оптом: и моей женитьбе на миллионах, и моим романам с женами моих лучших друзей и т.д. Успокойтесь, бога ради. Впрочем, бог с Вами. Защищаться от сплетни - это все равно, что просить у жида займы: бесполезно. Думайте про меня, как хотите.

...Живу в деревне. Холодно. Бросаю снег в пруд и с удовольствием помышляю о своем решении никогда не бывать в Петербурге" {214}.

С этих пор началась наша переписка с Антоном Павловичем. Но меня ужасно огорчало его решение никогда больше не приезжать в Петербург. Значит, мы больше никогда с ним не увидимся? Не будет больше этих ярких праздников среди моей "счастливой семейной жизни"?

И каждый раз при этой мысли больно сжималось сердце.

#### IV

В те случайные промежутки, когда у нас в доме было вполне благополучно: дети здоровы, Миша спокоен и в духе, я часто думала о том, что я пользуюсь в настоящее время самым большим счастьем, которое суждено мне судьбою. Большого и иного не должно быть никогда. Правда, радовали еще успехи по литературе, были письма Чехова. Но писать мне удавалось не много и не часто, потому что дети неизбежно хворали, то врозь, то все вместе, и тогда я могла думать только о них, отдавать все свое время и днем и ночью только им. Да и Мишин несчастный характер прорывался против его воли так неожиданно, что остеречься и уберечься было невозможно. И это делало меня всегда очень несчастной.

Письма Антона Павловича я получала тайком, через почтовое отделение, до востребования, и делала это потому, что боялась, как бы письмо не пришло в мое отсутствие и не попало бы в недобрый час. Но Миша знал /215/ о нашей переписке, и я иногда давала ему некоторые письма на прочтение.

- Ты видишь, как они мне полезны. Я пользуюсь его советами...

- Ерунда, - говорил Миша. - А я воображаю, какую ахинею ты ему пишешь. Вот что я желал бы почитать. Дай как-нибудь. Дашь?

Нет, я не дала.

И вдруг зашла ко мне сестра Надя и сказала с хитрой улыбкой:

- Постарайся прийти к нам сегодня вечером без Миши. Смотри, только без Миши.

- Почему? - удивилась я.

- А вот увидишь. Знаешь, что я выдумала? Ни за что не угадаешь!

"Скучную историю".

- Не понимаю.

- Ну, "Скучную историю". Ведь ты читала же.
- Конечно. Но что же ты могла придумать?
- Помнишь, там: бутылка шампанского, сыр...
- Да ты сегодня ждешь... Чехова?

Я чувствовала, как вся кровь бросилась мне в лицо. Надя засмеялась.

- Потому я и прошу: приходи без Миши. Даже Сережи не будет, он вернется только к двенадцати, и ужинать мы будем все вместе. Придет еще кто...

- У Миши сегодня вечер не свободен, спешная работа, - сказала я.
- Отлично! Будет очень уютно.

Я сказала Мише, что иду "на Чехова". Он нахмурился, но промолчал. Ему нельзя было не пустить меня: это возбудило бы слишком много толков, а он этого боялся.

Антон Павловича не было, когда я пришла к Наде. Она сидела у себя в комнате в капоте и писала. И опять у нее был хитрый вид.

- Ты еще не одета?

- Успею. Знаешь, Лида, тебе следовало бы делать прическу ниже. Хочешь, я тебя перечешу? К тебе так больше пойдет.

- Ни за что не хочу! Ах, Надя! - сказала я смеясь, но с укоризной.

- Ничего дурного я не делаю и тебе никогда не посоветую! - вдруг возмутилась Надя. - Жить так, как /216/ ты живешь, - нельзя. Помнишь, когда ты стала невестой, я тебе говорила: ты плохо выбрала, Миша тебе не пара. Довольно с него того, что он получил. А он запер тебя в клетку, делает из тебя кухарку. Из таких, как ты, кухарок не делают. Меня это возмущает. Вырвись из-под этого ига! Живи, как должна жить! У тебя столько возможностей, и все он подавил...

- Надя! - испуганно вскрикнула я.

- Да, не выдержала, высказалась и очень рада. Ты дурно не поступишь, я в тебе уверена, но не уступай того, что принадлежит тебе по праву, не уничтожайся. Это возмутительно!

Надя редко так горячилась, и я была поражена.

- Поздно! - сказала я.

И в это время Петр доложил, что приехал Антон Павлович Чехов {216}.

- Ах, а мне еще надо одеться. - Иди, Лида, займи его.

Я пошла. Он стоял в кабинете.

- А как же ваше решение не бывать больше в Петербурге?

- Я, видно, человек недисциплинированный, безвольный... У вас расстроенный вид. Вы здоровы? Все благополучно?

- И здорова, и благополучно, и все хорошо.

Мы сели к круглому столу, на котором стоял поднос с куском сыра и фруктами. Бутылки еще не было.

- Да, я опять в Петербурге... И, вообразите, опять хочется писать пьесу...

Надя вышла не скоро. Мы успели поговорить о театре, о журналах, о редакторах, к которым он меня усиленно посылал.

Петя принес замороженную бутылку.

- Вы узнаете? - спросила Надя, указывая на поднос.

Он сразу не понял.

- "Скучная история", - напомнила Надя.

Он улыбнулся и откинул прядь волос.

- Да, да...

Скоро в кабинет стали входить гости.

- А Сергей Николаевич только к двенадцати, - говорила Надя.

Разговор стал общим. /217/

Вдруг я спросила Антона Павловича:

- А вы еще не видали Чехова?

- Кого? - удивился он.

- Чехова. Вы когда приехали?

- Я приехал вчера, - ответил он, - но я сам Чехов.

Я сконфузилась.

- Лейкина, Лейкина! - закричала я. - Я знаю, что вы Чехов.

Все засмеялись, а Антон Павлович смеялся и смотрел, как я краснею до слез.

- Нет, я еще не видал Лейкина, - сказал он. - Ведь вы про Лейкина?

Наверно, про Лейкина? Не про кого другого?

Я тоже начала смеяться и вдруг испугалась, что не смогу остановиться и заплачу, и потихоньку вышла из комнаты.

Что это со мной? Как глупо! Это нервы из-за Надиных разговоров.

Когда я вернулась, Чехов встал и пошел мне навстречу. Мы поговорили стоя и как-то незаметно перешли в гостиную.

- Расскажите мне про ваших детей, - попросил Антон Павлович.

О, это я делала охотно!

- Да, дети... - задумчиво сказал Чехов. - Хороший народ. Хорошо иметь своих... иметь семью...

- Надо жениться.

- Надо жениться. Но я еще не свободен. Я не женат, но и у меня есть семья: мать, сестра, младший брат. У меня обязанности.

- А вы счастливы? - спросил он вдруг.

Меня этот вопрос застал врасплох и испугал. Я остановилась, облокотившись спиной о рояль, а он остановился передо мной.

- Счастливы? - настаивал он.

- Но что такое счастье? - растерянно заговорила я. - У меня хороший муж, хорошие дети. Любимая семья. Но разве любить - это значит быть счастливой? Я в постоянной тревоге, в бесконечных заботах. У меня нет покоя. Все силы своей души я отдала случайности. Разве от меня зависит, чтобы все были живы, здоровы? А в этом для меня теперь все, все! Я сама по себе постепенно перестаю существовать. Меня захватило и /218/ держит. Часто с болью, с горьким сожалением думается, что моя-то песенка уже спета... Не быть мне ни писательницей, ни... Да ничем не быть. Покоряться обстоятельствам, мириться, уничтожаться. Да, уничтожаться, чтобы своими порывами к жизни более широкой, более яркой не повредить семье. Я люблю ее. И скоро, очень скоро я покорюсь, уничтожусь. Это счастье?

- Это ненормальность устройства нашей семьи, - горячо заговорил Чехов.  
- Это зависимость и подчиненность женщины. Это то, против чего необходимо восстать, бороться. Это пережиток... Я отлично понимаю все, что вы сказали, хотя вы и не договариваете. Знаете: опишите вашу жизнь. Напишите искренне и правдиво. Это нужно. Это необходимо. Вы можете это сделать так, что поможет не только себе, но и многим другим. Вы обязаны это сделать, как обязаны не только не уничтожаться, а уважать свою личность, дорожить своим достоинством. Вы молоды, вы талантливы... О нет. Семья не должна быть самоубийством для вас... Вы дадите ей много больше, чем если будете только покоряться и мириться. Что вы, бог с вами.

Он повернулся и стал ходить по комнате.

- Я сегодня нервна. Я, конечно, многое преувеличила...

- Если бы я женился, - задумчиво заговорил Чехов, - я бы предложил жене... Вообразите, я бы предложил ей не жить вместе. Чтобы не было ни халатов, ни этой российской распущенности... и возмутительной бесцеремонности.

В гостиную вошел Петя.

- Лидия Алексеевна! За вами прислали из дома.

- Что случилось? - вздрогнув, вскрикнула я.

- Левушка, кажется, прихворнул. Анюта прибежала.

- Антон Павлович, голубчик... Я не вернусь туда прощаться. Вы объясните Наде. До свидания!

Я вся дрожала.

Он взял мою руку.

- Не надо так волноваться! Может быть, все пустяки. С детьми бывает...

Успокойтесь, умоляю вас.

Он шел со мной вниз по лестнице.

- Завтра дайте мне знать, что с мальчиком. Я зайду к Надежде Алексеевне.

Дома выпейте рюмку вина. /219/

Анюта спокойно стояла в передней.

- Что слевой?

- Да барин меня за вами послал, чтобы вы домой.

- Что у Левы болит?

Анюта, девушка лет семнадцати, служила помощницей старухи-няни.

- Знаю только, он проснулся и стал просить пить. А не жаловался. Барин пришел...

Миша сам открыл мне дверь.

- Ничего, ничего, - смущенно заговорил он. - Он уже опять спит, и, кажется, жару нет. Без тебя я встревожился. Без тебя я не знаю, что делать. Пил почему-то. Разве он ночью пьет? Про тебя спросил: где мама? Мама скоро придет? Видишь, мать, без тебя мы сироты.

Он пошел со мною в детскую. Лева спокойно спал. Никакого жара у него не было.

Миша крепко обнял меня, не отпуская.

- Ты моя благодетельная фея. При тебе я спокоен и знаю, что все в порядке.

Мне вспомнилось, как он за обедом разбросал по полу все оладьи, потому что, по его мнению, они не были достаточно мягкими и пухлыми: "Ими только в собак швырять".

- А ты представляешь себе, как ты меня испугал?..

- Ну, прости. Сердишься? Уж такая ты у меня строгая. Держишь меня в ежовых. А я все-таки без тебя жить не могу. Ну, прости. Ну, поговорим... Весь вечер без тебя...

А я уже знала теперь. В первый раз, без всякого сомнения, определенно, ясно, я знала, что люблю Антона Павловича. Люблю!

## V

Была масленица. Одна из тех редких петербургских маслениц - без оттепели, без дождя и тумана, а мягкая, белая, ласковая.

Миша уехал на Кавказ, и у нас в доме было тихо, спокойно и мирно.

В пятницу у Лейкиных должны были собраться гости {219}, и меня тоже пригласили. Жили они на Петербургской, в собственном доме. /220/

Я сперва поехала в театр, кажется на итальянскую оперу, где у нас был абонемент. К Лейкиным попала довольно поздно. Меня встретила в передней Прасковья Никифоровна, нарядная, сияющая и, как всегда, чрезвычайно радушная.

- А я боялась, что вы уже не приедете, - громко заговорила она, - а было бы жаль, очень жаль. Вас ждут, - шепнула она, но так громко, что только переменялся звук голоса, а не сила его.

- Я задержала? Кого? Что?

- Ждут, ждут...

- Блины? Неужели у вас блины?

- А как же? А как же? - и она расхохоталась и потащила меня за руку в кабинет Николая Александровича. Там было много народу. Лейкин встал и заковылял мне навстречу.

- Очень вы поздно. А-а! в театре были... А муж ваш на Кавказе? Кажется, вы со всеми знакомы? Потапенко, Альбов, Грузинский, Баранцевич...

- Рыбы стоны! {220} - закричала Прасковья Никифоровна и захохотала.

Оставался еще один гость, которого не назвали. Он встал с дивана и остался в стороне. Я обернулась к нему.

- Блин! - крикнула Прасковья Никифоровна. - Вот это блин и есть.

Мы молча пожали друг другу руки.

- Ты, Прасковья Никифоровна... Почему блин? Почему Антон Павлович блин? - недоумевал Николай Александрович.

Все опять заняли свои места.

- Вот я говорю, - возобновляя прерванный разговор, заговорил Николай Александрович, обращаясь ко мне, - я ему говорю, - кивнул он на Чехова, - что жалко, что он со мной не посоветовался, когда писал свой последний рассказ. Что



ж. Я не говорю. Он написал хорошо, но я бы написал иначе. И было бы еще лучше. Помните у меня - видны из подвального этажа только идущие ноги: прошмыгали старые калоши... просеменили дамские туфельки, пробежали рваные детские башмаки. Ново. Интересно. Надо уметь сделать рассказ. Я бы сделал иначе.

Антон Павлович улыбнулся. /221/

- Ваш подвальный этаж вам чрезвычайно удался, - заметил кто-то из гостей.

И сейчас же образовался целый хор хвалителей. Вспоминали другие рассказы, смеялись, удивлялись юмору. А мне вспомнились слова Нади: "Ты знаешь? Он совсем не думает, что пишет смешное. Он думает, что пишет очень серьезно. Ведь он списывает с натуры, со своих и жениных родственников. Даже с себя. Выходит очень смешно, а ему кажется, что это серьезно. Он сам не замечает смешного, почему он пишет, а не торгует в лавке? Странный талант!"

Скоро позвали ужинать. Было всего очень много: и закусок, и еды, и водки, и вин, но больше всего было шума. Только один хозяин сидел серьезный и как бы подавленный своими заслугами и как литератор, и как думский деятель, и как гостеприимный домовладелец. Он только нахваливал подаваемые блюда и все сравнивал с Москвой.

- А такого сига, Антон Павлович, вам в вашей Москве подадут? Нежность, сочность. Не сиг, а сливочное масло. Вы там хвалитесь поросятами. А не угодно ли? Не хуже, я думаю. У Сергея Николаевича я на днях за обедом телятину ел. Я бы его угостил вот этой! Надо самому выбрать, толк надо знать. У меня действительно телятина! А он миллионер.

Антон Павлович был очень весел. Он не хохотал (он никогда не хохотал), не возвышал голоса, но смешил меня неожиданными замечаниями. Вдруг он позавидовал толстым эполетам какого-то военного (а может быть, и не военного) и стал уверять, что если бы ему такие эполеты, он был бы счастливейшим человеком на свете.

- Как бы меня женщины любили! Влюблялись бы без числа! Я знаю!

Когда стали вставать из-за стола, он сказал:

- Я хочу проводить вас. Согласны?

Мы вышли на крыльцо целой гурьбой. Извозчики стояли рядом вдоль тротуара, и некоторые уже отъезжали с седоками, и, опасаясь, что всех разберут, я сказала Чехову, чтобы он поторопился. Тогда он быстро подошел к одним саням, уселся в них и закричал мне:

- Готово, идите. /222/

Я подошла, но Антон Павлович сел со стороны тротуара, а мне надо было обходить вокруг саней. Я была в ротонде, руки у меня были несвободны, тем более что я под ротондой поддерживала шлейф платья, сумочку и бинокль. Ноги вязли в снегу, а сесть без помощи было очень трудно.

- Вот так кавалер! - крикнул Потапенко отъезжая.

Кое-как, боком, я вскарабкалась. Кто-то подоткнул в сани подол моей ротонды и застегнул полость. Мы поехали.

- Что это он кричал про кавалера? - спросил Чехов. - Это про меня? Но какой же я кавалер? Я - доктор. А чем же я проштрафился как кавалер?

- Да кто же так делает? Даму надо посадить, устроить поудобнее, а потом уже самому сесть как придется.

- Не люблю я назидательного тона, - отозвался Антон Павлович. - Вы похожи на старуху, когда ворчите. А вот будь на мне эполеты...

- Как? Опять про эполеты? Неужели вам не надоело?

- Ну вот. Опять сердитесь и ворчите. И все это оттого, что я не нес ваш шлейф.

- Послушайте, доктор... Я и так чуть леплюсь, а вы еще толкаете меня локтем, и я непременно вылечу.

- У вас скверный характер. Но если бы на мне были густые эполеты... В это время он стал надевать перчатки, длинные, кожаные.

- Покажите. Дайте мне. На чем они? На байке?

- Нет, на меху. Вот.

- Где вы достали такую прелесть?

- На фабрике, около Серпухова. Завидно?

Я их надела под ротондой и сказала:

- Ничуть. Они мои.

Извозчик уже съезжал с моста.

- А куда ехать, барин?

- В Эртелев переулок! {222} - крикнула я.

- Что? Зачем? На Николаевскую.

- Нет, в Эртелев. Я вас провожу, а потом усядусь поудобнее и поеду домой.

- А я за вами, сзади саней побегу, как собака, по глубокому снегу, без перчаток. Извозчик, на Николаевскую! /223/

- Извозчик! В Эртелев!

Извозчик потянул вожжи, и его кляча стала.

- Уж и не пойму... Куда же теперь?

Поехали на Николаевскую. Я отдала перчатки, а Антон Павлович опять стал нахваливать их, подражая Лейкину:

- Разве у Сергея Николаевича есть такие перчатки? А миллионер. Не-ет. Надо самому съездить в Серпухов (или в Подольск? забыла) на фабрику, надо знать толк... Ну, а вы будете писать роман? Пишите. Но женщина должна писать так, точно она вышивает по канве. Пишите много, подробно. Пишите и сокращайте. Пишите и сокращайте.

- Пока ничего не останется.

- У вас скверный характер. С вами говорить трудно. Нет, умоляю, пишите. Не нужно вымысла, фантазии. Жизнь, какая она есть. Будете писать?

- Буду, но с вымыслом. Вот что мне хочется. Слушайте. Любовь неизвестного человека. Понимаете? Вы его не знаете, а он вас любит, и вы это чувствуете постоянно. Вас окружает чья-то забота, вас согревает чья-то нежность. Вы получаете письма умные, интересные, полные страсти, на каждом шагу вы ощущаете внимание... Ну, понятно? И вы привыкаете к этому, вы уже ищете,

боитесь потерять. Вам уже дорог тот, кого вы не знаете, и вы хотите знать. И вот что вы узнаете? Кого вы найдете? Разве не интересно?

- Нет. Не интересно, матушка! - быстро сказал Чехов, и эта поспешность и решительность, а еще слово "матушка", которое тогда еще не вошло у нас в обычай, так насмешили меня, что я долго хохотала.

- Почему я - матушка?

Мы подъезжали к Николаевской.

- Вы еще долго пробудете здесь? - спросила я.

- Хочется еще с неделю. Надо бы нам видаться почаще, каждый день.

Согласны?

- Приезжайте завтра вечером ко мне, - неожиданно для самой себя предложила я.

Антон Павлович удивился:

- К вам?

Мы почему-то оба замолчали на время.

- У вас будет много гостей? - спросил Чехов.

- Наоборот, никого. Миша на Кавказе, а без него /224/ некому у меня и бывать. Надя вечером не приходит. Будем вдвоем и будем говорить, говорить...

- Я вас уговорю писать роман. Это необходимо.

- Значит, будете?

- Если только меня не увлекут в другое место. Я здесь (у Суворина) от себя не завишу.

- Все равно, буду вас ждать. Часов в девять.

Мы подъехали, и я вышла и позвонила у подъезда.

Извозчик с Чеховым отъехал и стал поворачивать, описывая большой круг по пустынной широкой улице. Мы продолжали переговариваться.

- Непременно приеду, - говорил Чехов своим прекрасным низким басом, который как-то особенно звучал в просторе и тишине, в мягком зимнем воздухе. - Хочу убедить вас писать роман. И как вы были влюблены в офицера.

- Кто это сказал?

- Вы сами. Давно. Не помните? Будете спорить?

Дверь отпирал швейцар в пальто внакидку.

- Ну, до завтра.

- Да. А вы не будете сердиться? Будете добрее? Женщина должна быть кротка и ласкова.

Я, раздеваясь в спальне, думала:

"Пригласила. Будет. Что же это я сделала? Ведь я его люблю, и он... Нет! Он-то меня не любит. Нет! Ему со мной только легко и весело. Но ведь теперь я уже сделала проступок. Миша с ума сойдет, а я... мне уж нечем защищаться и бороться. Правоты у меня нет. Но какое счастье завтра! Какое счастье!"

Не было у меня предчувствия, что меня ждет.

И вот настал этот вечер.

С девяти часов я начала ждать.

У меня был приготовлен маленький холодный ужин, водка, вино, пиво, фрукты. В столовой стол был накрыт для чая. Я представила себе так: сперва я затащу Чехова в детскую. Пусть позавидует. Дети еще не будут спать, а будут ложиться, а тогда они особенно прелестны. Самое веселое у них время. Потом мы пойдем пить чай. Потом перейдем в кабинет, где гораздо /225/ уютнее, чем в гостиной. Сколько необходимо сказать друг другу.

Ужинать позднее. Шампанского я не посмела купить. Чувствовалось, что это было бы чуть не оскорблением Мише.

Да и на то, что я купила, истратила денег больше, чем могла. (Помню, я решила: не заплачу по счету в свечную, подождут.)

В начале десятого раздался звонок. Прижавши руку к сердцу, я немного переждала, пока Маша шла отворять, пока отворила и что-то ответила на вопрос гостя. Тогда я тоже вышла в переднюю и прямо застыла от ужаса. Гостей было двое: мужчина и женщина, и они раздевались. Меня особенно поразило то, что они раздевались. Значит, это не было недоразумение: они собирались остаться, сидеть весь вечер. А всего несноснее было то, что это были Ш., Мишины знакомые, к которым он всегда тащил меня насильно, до того они были мне несимпатичны. Против него я еще ничего не могла сказать, но она... Я ее положительно не выносила. И он, и она были математики, преподавали где-то, у них в квартире стояли рядом два письменных стола, и это меня почему-то возмущало. Оба были очень заняты и навещали нас, слава богу, чрезвычайно редко. Надо же им было попасть именно в этот вечер!

- Да, это мы, мы! - закричала В.У. - А Михаил Федорович на Кавказе? Ха! ха! ха!

У нее была манера хохотать во все горло по всякому поводу и даже без всякого повода. Если она говорила - она хохотала. Как она могла преподавать? Я помню, что она рассказывала мне про смерть ее единственного ребенка и при этом заливалась хохотом.

И теперь этот хохот разнесся по всей квартире. Конечно, пришлось пригласить их в гостиную. Тускло горела большая лампа, и весь воздух был пропитан тоской. А В.У. бушевала; она рассказывала, как одна девушка заболела меланхолией вследствие смерти или измены ее жениха и как В.У. посоветовала ей решать задачи. Она стала решать и выздоровела, утешилась и теперь усиленно занимается математикой и счастлива.

- Почему вы не решаете задачек? - удивлялась она мне, - это дисциплинирует ум, исключает всякую /226/ мечтательность, укрепляет волю. Заставляйте детей решать задачки. Вы увидите, как это им будет полезно, ха, ха, ха.

В десять часов Маша доложила, что чай подан.

Я вздрогнула и кинулась в столовую. Так оно и было! Весь мой ужин стоял на столе. И вино и фрукты.

- Да как же? - оправдывалась Маша на мой упрек, - при барине всегда...  
Еще нарочно пошлет купить угощение...

- Да здесь целый пир! - вдруг закричала В.У. за моей спиной. - Вы ждали гостей? Петя, мы с тобой так рано обедали... Как приятно. Ха, ха, ха. Но почему?

Они с аппетитом принялись за еду. Я угощала, подкладывала.

- Очень вкусный соус. Это ваша кухарка? Как? Вы сами? А Михаил Федорович говорил, что вы не любите хозяйничать. Больше в сфере фантазии, поэзии.

И тут она так расхохоталась, что даже подавилась.

На наших больших столовых часах было половина одиннадцатого. Ясно, что Антон Павлович не придет, и я уже была этому рада. Все равно все пропало.

Вдруг в передней раздался звонок, и я услышала голос Антона Павловича. Он о чем-то спросил Машу.

- Что с вами? - крикнула В.У. - Петя! Скорей воды... Лидии Алексеевне дурно.

Но я сделала над собой невероятное усилие и оправилась.

- Нет, я ничего, - слабо сказала я. - Почему вам показалось?

- Но вы побледнели, как мел... Теперь вы вспыхнули...

Вошел Антон Павлович, и я представила друг другу своих гостей.

Какой это был взрыв хохота!!

- Как? Антон Павлович Чехов? И Лидия Алексеевна не предупредила нас, что ждет такого гостя? Как мы счастливо попали! Вот когда вы ответите мне, Антон Павлович, на вопросы, которые я ставила себе каждый раз, как читала ваши произведения. Я хочу, чтобы вы ответили.

Она напала на Чехова, как рысь на беззащитную лань. Она впиалась в него, терзала, рвала на части, кричала, хохотала. Она обвиняла его, что он тратит свой большой талант на побасенки, что он ходит кругом и /227/ около, а не решает задачи, не дает идеала. Все у него расплывчато, нет точности, нет математичности. Математичности нет, нет! Ха, ха, ха!

Антон Павлович несколько раз растерянно оглядывался на меня. Вдруг он спросил меня:

- Вы курите? - В.У. на миг замолчала, удивленно моргая. Я тоже удивилась.

- Нет...

- Мне показалось, что у вас папироса.

- У меня ничего нет, - и я показала ему руки.

- Вам не надо курить.

Я предложила ему закусить. Он отказался.

В.У. опять закричала, подсакивая на своем стуле и сотрясая воздух. И от этого крика было душно, трудно было дышать. Я боялась, что мне опять будет дурно, потому что чувствовала сильную слабость и легкое головокружение.

Антон Павлович защищался слабо, нехотя, говорил односложно. Он сидел над своим стаканом чая, опустив глаза.

Но вдруг Ш. встал и сказал жене:

- Вера, нам пора домой.

- Домой? - вскрикнула она. - Но, Петя, когда я дождусь еще случая высказать то, что Чехов должен выслушать? Должен же он понять свой долг как писатель...

Она опять забарабанила, но меня утешало то, что ее муж стоял, а не садился вновь. Он настаивал, что пора ехать, и я, конечно, не возражала. Но я боялась, что он не сладит с расхोдившейся женой и предоставит ей возможность исполнить свой долг и наставить Чехова на путь истинный. Но, к счастью, он сладил. Она в последний раз ринулась на Чехова, стала жать и трясти его руки и кричать ему в уши, что он большой, большой талант и что она верит в него и ждет от него многого. Наконец крик перешел в переднюю, потом на лестницу, и взрыв хохота потряс все этажи. Дверь хлопнула, и мы с Антоном Павловичем в изнеможении перешли в кабинет.

- Вы устали, - сказал Антон Павлович. - Я уйду, вас утомили гости.

Что со мной делалось? Я едва могла говорить.

- Прошу вас, оставайтесь.

- Кстати... не можете ли вы дать мне то, что обещали. Газеты с вашими рассказами и рукопись. /228/

Я все собрала заранее и передала ему пакет.

- Почему вы не хотите, чтобы я обратился с рукописью к Гольцеву, в "Русскую мысль"?

- Потому что ее примут не за ее достоинство, а по вашей протекции.

- Но ведь я-то отдам ее по достоинству. Вы не верите мне?

- Не то что не верю, Антон Павлович, а я вашей оценки часто совсем не понимаю. "Рассказ хорош, даже очень хорош, но то, что есть Дуня (героиня моего рассказа), должно быть мужчиной. Сделайте ее офицером, что ли. А героя (у меня герой был студент, и он любил Дуню), героя - чиновником департамента окладных сборов" {228}. Видите, я даже выучила наизусть вашу рецензию. Но какой же роман между офицером и чиновником департамента окладных сборов? А если романа вовсе не нужно, то что же хорошо и даже очень хорошо в моем рассказе?

- Ну, и оставили бы все, как было. Правда, хорошо. Ведь я писал вам, что по языку вы мастер и что я платил бы вам, будь я редактором, не меньше двухсот за лист. А вы идете не туда, куда я вас посылаю, а бог знает куда. Зачем вы попали в "Сын отечества"? С.Н.Кривенко - милейший человек, но не в этом суть. Вы знаете, как прозвали его газету? Очень метко. Труп честного покойника. И вы не оживите этот труп. К чему вы пошли туда?

- Это что, - вяло сказала я. - Вы не знаете, куда я еще ходила! К Буренину. Чехов так и подскочил. Даже фалды его сюртука взлетели.

- Какой идиот послал вас к этому негодяю? - не повышая голоса, но грозно спросил он и так нахмурился, что я удивилась.

- Да, ходила, - подтвердила я. - Он сказал мне, что если я сама буду приносить ему свои рассказы... Понимаете? Ему и сама... - то он будет их печатать.

Сказала и раскаялась. Совсем лишнее! глупо! Ведь это мне просто понравилось, что Антон Павлович сердится, и я постаралась еще усилить впечатление. Это называется кокетством.

- Ну, конечно, я ушла со своей рукописью {228} и никогда больше носа туда не покажу, - прибавила я. /229/

- Умоляю вас, верьте мне немножко. Следуйте моим советам и не подвергайтесь опасности попасть в неловкое положение. Хороших людей гораздо больше, чем дурных. Хотелось бы уберечь вас от дурных.

Он успокоился, а я пошла в столовую за вином. Да и закусить бы надо. Но... какие жалкие остатки оставили Ш.! Я собрала, что могла, и отнесла на Мишин письменный стол. Свою пачку с рукописями я отложила на круглый столик у окна.

- Я не хочу этого, - сказал Чехов, и мне показалось, что он сказал это безразлично. Взял бутылку с вином, отставил ее и налил себе пива. Мне было и стыдно и больно. Приняла гостя, нечего сказать.

- Вам надо лечь спать, - сказал Чехов, - вас утомили гости. Вы сегодня не такая, как раньше. Вид у вас равнодушный и ленивый, и вы рады будете, когда я уйду. Да, раньше... помните ли вы наши первые встречи? Да и знаете ли вы?.. Знаете, что я был серьезно увлечен вами? Это было серьезно. Я любил вас. Мне казалось, что нет другой женщины на свете, которую я мог бы так любить. Вы были красивы и трогательны, и в вашей молодости было столько свежести и яркой прелести. Я вас любил и думал только о вас. И когда я увидел вас после долгой разлуки, мне казалось, что вы еще похорошели и что вы другая, новая, что опять вас надо узнавать и любить еще больше, по-новому. И что еще тяжелее расстаться...

Он сидел на диване, откинувшись головой на спинку; я - против него на кресле. Наши колени почти соприкасались. Говорил он тихо, точно гудел своим чудесным басом, а лицо у него было строгое, глаза смотрели холодно и требовательно.

- Знали вы это?

У меня было такое чувство, точно он сердится, упрекает меня за то, что я обманула его; изменилась, подурнела, стала вялая, равнодушная и теперь не интересна, не гостеприимна и, сверх того, устала и хочу спать.

"Кошмар", - промелькнуло у меня в голове.

- Я вас любил, - продолжал Чехов уже совсем гневно и наклонился ко мне, сердито глядя мне в лицо. - Но я знал, что вы не такая, как многие женщины, которых и я бросал и которые меня бросали; что вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. /230/ И вы были для меня святыней. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить. Знали ли вы это?

Он взял мою руку и сейчас же оставил ее, как мне казалось, с отвращением.

- О, какая холодная рука!

И сейчас же он встал и посмотрел на часы.

- Половина второго. Я успею еще поужинать и поговорить с Сувориным, а вы ложитесь скорей спать. Скорей.

Он что-то искал глазами на столе, на диване.

- Я, кажется, обещал еще завтра повидаться с вами, но я не успею. Я завтра уезжаю в Москву. Значит, не увидимся.

Он опять внимательно оглянулся, пошел к столику у окна и взял пакет с рукописями. Я же сидела как мертвая, не шевелясь.

В ушах у меня шумело, в голове вихрем неслись мысли, но ни одной я не могла остановить, схватить, понять. Сказать я тоже ничего не могла. Что делалось в моей голове? Как это было мучительно! Мысли это неслись или облака несло ветром? Каждую минуту я могла упасть в обморок. Мысли... Облака... - "А Антон Павлович уходит".

Я с трудом встала и пошла его провожать.

- Так не увидимся, - повторил он. Я молчала и только вяло пожала его руку.

Мы жили на четвертом этаже. Вся лестница была ярко освещена. Я стояла на площадке и смотрела, как он бежит вниз. На первом повороте я его окликнула:

- Антон Павлович!

Он остановился и поднял голову. Подождал и опять побежал.

Я ничего не сказала.

## VII

Когда Антон Павлович ушел, я закуталась в платок и стала ходить по комнатам. Ходила и тихо стонала. Было не то что больно, а невыносимо тревожно, тесно в груди. Перед глазами все стояло лицо Антона Павловича, строгое, с холодными, требовательными глазами. Представлялись и жалкие остатки ужина на блюдах... Невольно я отмахивалась рукой: фу! Кошмар! /231/

Очень устала ходить и немного пришла в себя. В голове облака начали проясняться, исчезать.

"Я вас любил..." - вдруг ясно прозвучало в ушах.

Я пришла в темный кабинет и села на прежнее место.

"Знали вы это?"

Закрыв глаза, я сидела, откинувшись на спинку кресла.

"Я любил вас. Мне казалось, что нет другой женщины на свете, которую я мог бы так любить..."

Я закрыла лицо руками и дрожала.

"...еще тяжелее расстаться... Еще тяжелее..."

И тогда я заплакала.

"А теперь? - думала я, - кончено? Расстались? Завтра уедет в Москву. Я - не такая, как была: неинтересная, вялая, сонная, негостеприимная. Подурнела, постарела... Любил... И за это теперь ненавидит. И глаза ненавидящие... Кончено, все кончено! и свидания, и дружба, и переписка. Расстались, а ему не тяжело".

И вдруг я вспомнила: а мои рукописи-то он взял! Долго искал, нашел и взял. Значит, вернет, может быть напишет что-нибудь? Еще, значит, не все



кончено... Не совсем все, можно еще ждать чего-то? Читать будет мое. Конечно, из великодушия, по доброте своей, но со скукой, с досадой, может быть с отвращением. Ах, лучше бы не читал!

Я плакала навзрыд, вытирая мокрое лицо мокрым платком.

- Нет, я не знала! - повторяла я про себя, отвечая на его вопрос: знали ли вы? - Нет, я не знала! Я была бы счастлива, если бы знала, а я не была счастлива, никогда, никогда!

"Вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить".

Он это сказал. И еще: "Вы были для меня святыней..."

Я встала и зажгла свечу.

- Не забыть бы ни одного слова! записать. Я сейчас плохо понимаю, но я еще слышу его голос. Припомнить все! Потом пойму. - Я записывала и, если только представляла слова не в том порядке, сейчас слышала это. Вызывала голос и восстанавливала точно. Он говорил много, я записала мало, только то, что звучало в ушах его голосом. /232/

Почему-то меня эта запись немного успокоила. Я начала рассуждать.

Да когда же это я успела постареть, подурнеть и т.д.? Ведь только вчера (неужели вчера?) мы болтали и хохотали, и оба чувствовали ту близость, которая возникла между нами с самой первой встречи.

И вчера он хотел видаться все дни, которые он пробудет в Петербурге.

И зачем было ему говорить о своей былой любви?

А если он страдал весь вечер, как и я? Я обещала, что мы будем одни, и вдруг напустила на него эту Ш., которая истерзала его.

А если... если он не решился сказать "люблю" и сказал "любил" и ждал моего ответа, а я сидела как мертвая и не сказала ни одного слова? Если эти ненавидящие глаза и гневное лицо были выражением страдания? Если мы оба не поняли друг друга и я думала, что Антон Павлович "бросил" меня, а он думал, что я молчу, потому что равнодушна, хочу спать и мне надоели гости?

Я переходила от одного предположения к другому, но когда я останавливалась на мысли, что я оттолкнула Антона Павловича, мне было еще тяжелее, чем когда я думала, что я надоела ему. И неразрешим был вопрос: хотел ли Антон Павлович сблизиться, или хотел он отделаться от меня.

Уж очень невероятна, невозможна для меня была мысль, что он не только любил, но и любит меня до сих пор.

Запуталась я и замучилась ужасно.

А на другой день я получила с посыльным пакет с книгой и моими рукописями и письмо {232}. Книга была только что вышедший сборник его рассказов с сухой надписью: "Л.А.Авиловой от автора". Письмо следующее:

"15 февраля 1895 года. СПб.

Несмотря даже на то, что в соседней комнате пели Маркони и Баттистини, оба Ваши рассказа я прочел с большим вниманием. "Власть" милый рассказ, но будет лучше, если Вы изобразите не земского начальника, а просто помещика.

Что же касается "Ко дню ангела", то это не рассказ, а вещь, и притом громоздкая вещь. /233/ Вы нагромодили целую гору подробностей, и эта гора заслонила солнце. Надо сделать или большую повесть, этак листа в четыре, или же маленький рассказ, начав с того момента, когда барина несут в дом.

Резюме: Вы талантливый человек, но Вы отяжелели, или, выражаясь вульгарно, отсырели и принадлежите уже к разряду сырых литераторов. Язык у Вас изысканный, как у стариков. Для чего это Вам понадобилось ощупывать палкой прочность поверхности снега? И зачем прочность, точно дело идет о сюртуке или мебели (нужно плотность, а не прочность). И поверхность снега тоже неловкое выражение. Затем встречаются и такие штуки: "Никифор отделился от столба ворот" или "отделился от стены".

Пишите роман. Пишите роман целый год, потом полгода сокращайте его, а потом печатайте. Вы мало отделяете, писательница же должна не писать, а вышивать по бумаге, чтоб труд был кропотливым, медлительным. Простите за сии наставления. Иногда приходит желание напустить на себя важность и прочесть нотацию. Сегодня я остался, или, вернее, был оставлен, завтра непременно уезжаю.

Желаю Вам всего хорошего. Искренне преданный

Чехов".

Разбрал меня Антон Павлович: "отяжелела, отсырела". Сердится. А я уже успела о многом размыслить и хотя не пришла ни к чему определенному, но, казалось мне, стала рассуждать логично. Очень мне не по душе была эта логика, очень не хотелось ей подчиняться, но должен же был разум взять верх над чувством? Из-за этого чувства сколько уж я наделала глупостей! Пригласила Антона Павловича, когда Миши не было дома. Что он мог подумать? Соблазняла его тем, что мы будем одни. Что он мог заключить?

Все это я делала без дурного умысла и воображала, что и Антон Павлович не видит в этом ничего предосудительного. А теперь я вспоминала слова Миши: "Удивительно, до чего ты наивна! Прямо до глупости. Все мужчины более или менее свиньи, и надо с этим считаться. Не клади плохо, не вводи вора в грех. У тебя же какая-то мания доверия. Сколько раз я тебе говорил: не суди по себе. Ты урод. У тебя темперамента ни /234/ на грош, а воображения - сверх головы. Ты не знаешь людей, а воображаешь их, считаешь их такими, какими тебе захочется их видеть, ну и садишься в лужу".

Я поняла, что села в лужу.

Оставалось только повиниться Мише, лишний раз услышать от него горькую правду, а затем... затем предать все забвению и опять жить без праздничного, яркого солнца, без этого тайного счастья, уже привычного, уже необходимого.

Но "у женщины логики нет", - всегда говорил Миша. И опять он оказывался прав (я всегда огорчалась, когда он оказывался прав).

Я не знаю, как это случилось, но вдруг все мои рассуждения смело, как вихрем. И этот вихрь была моя вера, моя любовь, мое горе.

"Я вас любил и думал только о вас..."

И я решила. Он уехал потому, что я оттолкнула его. Да, конечно, я оттолкнула! Я причинила ему боль. И он не знает, в каком я была состоянии... и какое это было ужасное недоразумение... и как мне тяжело.

Промучившись еще дня два, я приняла решение. В ювелирном магазине я заказала брелок в форме книги. На одной стороне я написала: "Повести и рассказы. Соч. Ан.Чехова", а с другой - "Стран. 267, стр. 6 и 7".

Если найти эти строки в книге, то можно было прочесть: "Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее" {234}.

Когда брелок был готов, я вырезала в футляре напечатанный адрес магазина, запаковала и послала в Москву брату. А его просила отнести и отдать в редакцию "Русской мысли".

Брат передал футляр Гольцеву для передачи Антону Павловичу.

Я сделала все это с тоски и отчаяния, перемахнула, лишь бы Антон Павлович не чувствовал себя отвергнутым и лишь бы не потерять его совсем. Адрес же вырезала, чтобы не было явного признания, чтобы все-таки оставалось сомнение для него, а для меня возможность отступления. Не могла же я отдать ему свою жизнь! Разве что сразу четыре жизни: мою и детей. Но разве Миша отдал бы их мне? И разве Антон Павлович мог их взять? /235/

## VIII

Не могло быть сомнения, что Антон Павлович получил мой подарок. Я ожидала последствий и тревожилась и волновалась. То мне казалось, что он приедет, то я ждала от него письма и вперед сочиняла содержание. Иногда это была холодная отповедь, на которую я тотчас же отвечала возможно язвительнее, то несколько небрежных строк, милостыня, как бы разрешение продолжать знакомство и переписку.

Но время шло, и не было ни Чехова, ни письма {235}, не было ровно ничего.

Как мне надоело разбираться в моих мыслях! Повторять про себя все сказанные Чеховым слова, которые я уж выучила наизусть и которые всегда ярко вызывали в памяти лицо и голос Антона Павловича.

Одно для меня было ясно: ничего не могло быть понятнее, естественнее и даже неизбежнее, чем то, что я полюбила Чехова. Я не могла не восхищаться не только его талантом, но и им самим, всем, что он говорил, его мыслями, его взглядами.

Правда, говорил он мало, но и этими короткими фразами точно освещал жизнь всей своей большой, сложной, благородной личностью.

Для меня его взгляд был не то что законом, которому нужно подчиниться, а откровением, которое нельзя не схватить с жадностью и нельзя откинуть, забыть. Мне часто приходилось слышать беседы "умных" людей и испытывать досаду, неприязнь, даже возмущение.

Выражая это возмущение, я чувствовала, что не умею обосновать его, но и преодолеть не могла. Когда говорил Антон Павлович, хотелось смеяться от счастья. Он как-то открывал в душе человека лучшее, и человек изумленно радовался, что обладает такими сокровищами, о которых и не подозревал. Я по крайней мере всегда испытывала это чувство. Вот почему было естественно и неизбежно, что я любила Антона Павловича. Но почему бы он мог любить меня? Только потому, что я была молода и приблизительно красива? Но сколько женщин были моложе и красивее! Правда, он любил мои письма, находил меня талантливой, иногда соглашался с моим мнением. Как-то он сказал мне: "У вас врожденная, не прописная нравственность. Это много". /236/ Сказал он это по следующему поводу: завязался общий разговор о том, справедливо ли, что ошибка в выборе мужа или жены должна испортить всю жизнь? Одни говорили, что справедливость тут ни при чем и что раз церковь благословила союз, то он должен быть крепок и нерушим. Другие горячо протестовали, приводя всякие доводы. Чехов молчал - и вдруг тихо спросил: "А ваше мнение?" Я сказала: "Надо знать, стоит ли". - "Не понимаю. Как стоит ли?" - "Стоит ли новое чувство тех жертв... Ведь непременно должны быть жертвы. Прежде всего - дети. Надо думать о жертвах, а не о себе. К себе не надо жалости. Тогда ясно: стоит или не стоит".

Позже, гораздо позже, я вспомнила этот разговор и могла предположить, что он имел большое значение. Тогда Антон Павлович и сказал мне:

- У вас не прописная нравственность... Это много.

Но разве этого было достаточно, чтобы он мог любить? Он!

Не могло быть сомнения, что Антон Павлович получил брелок, но не отозвался ничем, даже переписка наша прекратилась. Надо было жить без него.

И я жила. По-видимому, жила даже веселее прежнего.

Старший сын сестры Нади женился. Сергей Николаевич перестроил и отделал для молодых второй этаж своего дома, и как только они поселились там, так принялись веселиться. К моему удивлению, Миша не только никогда не отказывался от их приглашений, но тоже веселился от души и стал гораздо оживленнее и общительнее. Своих старых, необычайно скучных знакомых он почти забросил, и у нас образовался новый круг, в котором гораздо легче дышалось. Собирались часто и много танцевали, флиртовали и всячески забавлялись. Случалось, что расходились раньше обычного только из-за того, что слишком уставали от хохота. У меня тоже был флирт, и такого милого и забавного поклонника у меня еще никогда не бывало. Он был молод, красив, элегантен и до того заразительно весел, что мог расшевелить мертвого. При каждом удобном случае он признавался мне в любви и всегда очень забавно: провожая меня на извозчике домой, целовал воротник моей шубы, совал мои ноги в свою высокую бобровую шапку, чтобы я не озябла... Один раз он сказал, что ему тяжело /237/ от сознания, что Миша может на него сердиться, если подозревает, как он увлечен. Он признался, что очень любит и уважает Мишу и не хотел бы предательски поступить относительно его. Поэтому он думает, что лучше всего не скрывать, как он относится ко мне. Пусть он знает! Пусть решит, достоин ли он его дружбы.

Я передала, смеясь, этот разговор мужу, а он тоже весело рассмеялся...

- Дурак твой Кока, - сказал он, - если воображает, что он опасен мне.

Скажи ему при случае, что я его тоже очень люблю и разрешаю ему ухаживать за тобой сколько его душе угодно.

Я запротестовала:

- Напрасно! Он мне тоже очень нравится. И я не понимаю, почему ты как будто не замечаешь этого. Почему, когда ездили на тройках, он с твоего согласия ехал со мной на лихаче? Почему мы постоянно вместе?..

Миша еще больше развеселился.

- Но ведь тебе весело с ним? Ну и прекрасно.

И, лукаво прищурившись, он прибавил:

- А разве не забавно, что он и не воображает, какого дурака разыгрывает. Думает, что он опасен. Ха! Ха! А я вот посмотрю, какая у него будет рожа, когда он раскусит, на кого он попал.

Я невольно вспомнила бурные сцены ревности из-за Антона Павловича, и мне стало обидно и досадно.

А Миша точно угадал мои мысли.

- А! Это дело другое! - вскрикнул он, и его веселое настроение сразу пропало. - Ты подумала о Чехове? О, это дело другое!

А мне казалось, что я с каждым днем все меньше и меньше думаю об Антоне Павловиче. Он отвернулся от меня, ну и я стала равнодушной. Я, несомненно, выздоравливала. Разве я тосковала? Разве я предпринимала хотя что-нибудь, чтобы опять сблизиться с ним? Разве, наконец, мне не было искренне весело в новой компании, в обществе этого "дурака" Коки?

И только иногда, изредка, вернувшись из какой-нибудь поездки за город или с вечера с танцами, удостоверившись, что Миша заснул, я садилась к столу и писала Антону Павловичу письмо.

Я писала и плакала. Плакала так, что потом ложилась изнеможенная, разбитая. /238/

Писем этих я никогда не отсылала, да и в то время, как писала, знала, что не пошлю.

Знала, что и от него не получу больше никогда ничего {238}. Мой брелок (если он догадался, что он от меня), возможно, раздосадовал его. Разве не мог он принять этот подарочек как неуместную шутку? Когда, возвращаясь от Лейкиных, я передала ему тему своего будущего рассказа и старалась внушить ему, как интересно быть любимым неизвестным\*, он решительно ответил:

---

\* Тогда Куприн еще не написал "Гранатовый браслет" (Прим. Л.А.Авиловой.)

- Не интересно, матушка!

Не вспомнился ли ему этот разговор? Не представилось ли ему, что я так неискусно решила заинтриговать его?

"И пусть будет так! - думала я. - Пусть будет так!"

## IX

Опять была масленица. Я сидела вечером в кабинете Миши и читала. Брат, приехавший из Москвы, играл в гостиную на рояли, муж за письменным столом что-то писал. Вдруг крышка рояля хлопнула, и брат Алеша быстро вошел к нам.

- Не могу я больше в этой адской скучище мучиться! - крикнул он. - Неужели я за этим приехал в Петербург? Едемте куда-нибудь!

Миша посмотрел на часы.

- Куда теперь ночью ехать? Ты с ума сошел.

- Двенадцати еще нет. Какая же ночь? Ну, двигайтесь!

Он схватил меня за руку и стал тащить.

- Но куда ехать? - слабо протестовала я.

Алеша взял газету.

- Маскарад сегодня в театре Суворина. Прекрасно!

- А костюмы? Или домино?

- Пустяки! Найдем. Только живее!

Он стащил меня с кресла и бегом проводил в опальную.

- Одевайся! и я...

Миша наотрез отказался ехать. /239/

Когда мы одевались в передней, он кричал нам:

- Сумасшедшие! Шлендры!

- Молчи, департаментская крыса! - отвечал Алеша.

Мы взяли извозчика и поехали на Владимирскую. Там был маленький костюмерный магазин, но, увы! Он был уже заперт.

- Ничего не значит, - сказал Алеша и стал стучать в дверь.

- Перестань! - кричала я ему с извозчика. - Что ты делаешь! Ну, скандал: городской идет.

- И прекрасно! - нисколько не смутился брат.

Когда городской подошел, Алеша тихо сказал ему что-то и, мне показалось, пожал ему руку, и тогда тот сейчас же постучал сам, и, несмотря на то, что стучал он гораздо тише, дверь немедленно отворилась, и на пороге показалась хозяйка в нижней юбке и ночной кофте. Городовой сказал ей несколько слов, откозырял Алеше и даже помог мне выйти из саней.

Мы выбирали костюмы при свете одной свечи. Но и выбрать было не из чего: все было разобрано. Мне удалось только найти черное домино. По моему росту оно было немного коротко, но пришлось удовольствоваться и этим.

Через несколько минут мы подъезжали к театру.

- Ты не бросай меня одну, - просила я брата, - мне будет жутко.

Зал театра показался мне каким-то кошмаром. Он был битком набит, двигаться можно было только в одном направлении, вместе с толпой. Я нащупала в своей сумке пару орехов (остались после игры в лото с детьми) и сунула их в рот, чтобы не забыться и не заговорить своим голосом, если встречу знакомых.

- Не подавись! - предупредил брат и вдруг чуть не вскрикнул: - Смотри направо...

Направо стоял Чехов и, прищурившись, смотрел куда-то поверх голов вдаль.

- Теперь, конечно, я свободен? - сказал Алеша и сейчас же исчез.

Я подошла к Антону Павловичу {239}.

- Как я рада тебя видеть! - сказала я.

- Ты не знаешь меня, маска, - ответил он и пристально оглядел меня.

От волнения и неожиданности я дрожала, /240/ может быть он заметил это? Ни слова не говоря, он взял мою руку, продел под свою и повел меня по кругу. Он молчал, и я тоже молчала. Мимо нас проскользнул Владимир Иванович Немирович-Данченко.

- Э-ге-ге! - сказал он Чехову. - Уже подцепил!

Чехов нагнулся ко мне и тихо сказал:

- Если тебя окликнут, не оборачивайся, не выдавай себя.

- Меня здесь никто не знает, - пропищала я.

Немирович как-то ухитрялся кружить вокруг нас и все повторял свое: "Э-ге-ге!"

- Неужели он узнал тебя? - беспокоился Чехов. - Не оборачивайся! Хочешь пить? Пойдем в ложу, выпьем по стакану шампанского.

Мы с трудом выбрались из толпы, поднялись по лестнице к ложам и оказались в пустом коридоре.

- Вот, как хорошо! - сказал Чехов. - Я боялся, что Немирович назовет тебя по имени и ты как-нибудь выдашь себя.

- А ты знаешь, кто я? Кто же? Скажи!

Я вырвала у него свою руку и остановилась. Он улыбнулся.

- Знаешь, скоро пойдет моя пьеса, - не отвечая на вопрос, сообщил он.

- Знаю. "Чайка".

- "Чайка". Ты будешь на первом представлении?

- Буду. Непременно.

- Будь очень внимательна. Я тебе отвечу со сцены. Но только будь внимательна. Не забудь.

Он опять взял мою руку и прижал к себе.

- На что ты мне ответишь?

- На многое. Но следи и запомни.

Мы вошли в пустую аванложу. На столе стояли бутылки и бокалы.

- Это ложа Суворина. Сядем. Чокнемся.

Он стал наливать шампанское.

- Не понимаю! - сказала я. - Ты смеешься? Как ты можешь сказать мне что-нибудь со сцены? Как я пойму, что именно эти слова относятся ко мне? Да ведь ты и не знаешь, кто я?

- Ты поймешь... Сядь, пей пожалуйста.

- Жарко!

Я подошла к зеркалу. /241/

- Хочешь попудриться? Я отвернусь: сними маску. - И он сел ко мне спиной. Я следила за ним в зеркало: он не шевельнулся, а я маску не сняла.

Потом мы сидели рядом и пили.

- Тебе нравится название: "Чайка"?

- Очень.

- Чайка... Крик у нее тоскливый. Когда она кричит, хочется думать о печальном.

- А почему ты сегодня печальный? - спросила я. - Все глядишь вверх, будто тебе ни до кого дела нет, даже глядеть на людей скучно. - Он улыбнулся.

- Ты не угадала, маска, - сегодня мне не скучно.

Я опять вернулась к "Чайке".

- Ну, как можно сказать что-нибудь со сцены? Если бы еще ты знал, кто я, то я бы подумала, что ты вывел меня в своей пьесе...

- Нет, нет!

- Ну, не понимаю и не пойму! Тем более что ответишь ты не мне, вероятно, а той, за кого ты меня принимаешь.

- Пойдем вниз, - предложил Антон Павлович. - Неприятно, если сюда придут.

Мы вернулись в зал, сперва ходили, а потом сели в уголке.

- Расскажи мне что-нибудь, - попросил Чехов. - Расскажи про себя. Расскажи свой роман.

- Какой роман? Это ты пишешь романы, а не я.

- Не написанный, а пережитый. Ведь любила ты кого-нибудь?

- Не знаю.

Двигалась мимо нас, шуршала и шумела толпа. Не обычная, нарядная толпа, а какая-то сказочная или кошмарная. Вместо женских лиц - черные или цветные маски с узкими прорезами для глаз. То здесь, то там высывались звериные морды из-под поднятых капюшонов мужских домино, ярко блестели пластроны фрачных сорочек. И над всем этим гремел непрерывно оркестр пьянящими вальсами, страстными ариями. Голова у меня слегка кружилась, нервы были напряжены, сердце то замирало, то билось усиленно. Вероятно, выпитое шампанское не прошло даром. Я прислонилась плечом к плечу Антона Павловича и близко глядела ему в лицо. /242/

- Я тебя любила, - сказала я ему. - Тебя, тебя...

- Ты интригуешь, маска, - сказал он. - И ты противоречишь себе: ты только что сказала "не знаю".

- Нет, это не противоречие. Может быть, это была и не любовь, но, кажется, не было ни одного часа, когда я не думала бы о тебе. А когда я видела тебя, я не могла наглядеться. Это было такое счастье, что его трудно было выносить. Ты не веришь мне? Дорогой мой! ненаглядный!

Он откинул прядку волос со лба и поднял глаза к потолку.

- Ты мне не веришь? Ответь мне.

- Я не знаю тебя, маска.

- Если не знаешь, то все-таки принимаешь меня за кого-то. Ты сказал, что ответишь мне со сцены.



- Сказал на всякий случай. Если ты не та, кому я хотел сказать, это значения не имеет. Тогда ты не поймешь.

- А кому ты хотел сказать?

Он улыбнулся:

- Тебе!

- Так что же ты говоришь, что ты меня не знаешь?!

- Знаю, что ты артистка и что ты сейчас очень хорошо играешь.

- И эта артистка должна быть очень, очень внимательна и следить?

- Ты!

Он опять улыбнулся и наклонил голову ко мне.

- Ты будь внимательна и следи. Но ты не кончила рассказывать свой роман. Я слушаю.

- Роман скучный, а конец печальный, Антон.

- Конец печальный?

- Я же тебе сказала, что не знаю, любила ли я действительно. Разве это значит любить, если только борешься, гонишь эту любовь, прислушиваешься к себе с постоянной надеждой: кажется, я уже меньше люблю кажется, я выздоравливаю, кажется, я наконец победила. Разве это любовь?

- Не было бы любви, не было бы и борьбы, - быстро сказал он.

- А! Значит, ты мне веришь!

- Я не знаю тебя, маска.

Он взял меня под руку и встал. /243/

- Тут много любопытных глаз. Ты не хочешь еще вина? Я хочу.

Мы опять поднялись в ложу, после того как Чехов удостоверился, что она пуста.

На столе стояли две почти полные бутылки. Мы опять уселись и теперь стали весело и бессвязно болтать. Он настаивал, что я артистка, что он знает меня в драматических ролях. Я стала дразнить его Яворской.

- Ты еще влюблен в нее, несчастный?

- Неужели ты думаешь, я тебе отвечу?

- А почему нет?

- Да только потому, что ты сама Яворская.

- Ты в этом уверен?

- Убежден.

- Давно бы сказал. Я бы сняла здесь маску.

- Сними.

- Нет, поздно, домой пора.

Мы выглянули в зал. Публика очень заметно поредела. Я увидела Алешу, который шурился во все стороны. Очевидно, искал меня. Мы, смеясь, быстро спустились и около лестницы столкнулись с Сувориным и К®.

- Антон Павлович! - закричал он. - Мы все вас искали, искали...

Я быстро пожала руку Антону Павловичу и бросилась к Алеше.

- Ты довольна? - спросил он.

- Довольна и немножко пьяна. А ты доволен?

- Доволен, но совершенно трезв.

И дорогой, и дома в постели я думала:  
"Я - Яворская? Он ответит со сцены Яворской?"

## Х

Мы с Мишей обыкновенно бывали на всех премьерах драматических представлений, и я думала, что и на этот раз мы пойдем вместе. Но Миша передал мне только один билет {243}.

- Вот тебе, чехистка! С трудом достал, и то не в партере, а в амфитеатре.

- А ты?

- У меня заседание. И, по правде сказать, не велика потеря...

Я отправилась одна и тоже, по правде сказать, была /244/ этому рада. Про то, что я жду ответа со сцены, я, конечно, никому не сказала, даже Алеше, но скрыть своего волнения я не могла. Давно ждала я этого дня и все время думала то одно, то другое. Узнал меня Антон Павлович или не узнал и принял за другую? Он сказал, что "убежден", что я Яворская. Я решила, что этого не может быть. Это он пошутил. Ни в фигуре, ни в манерах у меня с Яворской сходства не было ни малейшего. Но мало ли у него могло быть других знакомых женщин!

Между прочим, я вспомнила: в тот вечер я второй раз в жизни была в маскараде. В первый раз я была с Мишей и с целой компанией знакомых. Я старалась интриговать, но ко мне привязывались незнакомые и приглашали ужинать, кататься на тройке. Я путалась и обращалась в бегство. Было не весело, а противно, и ни за что я не пошла бы с кем-нибудь под руку и не приняла бы предложения выпить вина. С Чеховым я сейчас же согласилась подняться в пустую ложу, и почему-то меня даже не удивило, что он весь вечер вел себя так, как будто мы были не в маскараде, а в гостях у общих знакомых. Почему-то он даже оберегал меня от "любопытных" глаз и боялся, что я себя выдам. А я отнеслась к этому так, будто иначе и быть не могло. Раз я была с Чеховым, то все это было вполне естественным, кто бы я ни была. За это ручалось его уважение к женщине, за это ручалось его личное достоинство, его благородство. Нет, Чехов не был более или менее свинья.

Но кому же хотел он ответить со сцены?

- Тебе! - сказал он.

И когда я его спросила, артистка ли должна следить внимательно, он ответил:

- Ты!

И вот почему-то во мне росла уверенность, что это "ты" - это я. Весь день я была в большом возбуждении.

Театр был переполнен. Очень много знакомых лиц. Мое место было в амфитеатре с правого края, около двери, и на такой высоте, что я могла подавать руку, здороваться со знакомыми и слышать все разговоры проходящих и стоявших у дверей. Мне казалось, что все, как и я, возбуждены, заинтересованы. / 245/

Началось первое действие.

Очень трудно описать то чувство, с которым я смотрела и слушала. Пьеса для меня как-то пропадала. Я ловила каждое слово, кто бы из действующих лиц его ни говорил, я была напряженно внимательна, но пьеса для меня пропадала и не оставляла никакого впечатления. Когда Нина Заречная стала говорить свой монолог: "Люди, львы, орлы...", я услышала в партере какой-то странный гул и точно проснулась. Что это происходило? Показалось мне, что это пронесся по рядам сдержанный смех, или это был не смех, а ропот, возмущение? Во всяком случае, это было что-то неприятное, враждебное. Но этого не может быть! Чехов так популярен, так любим!

Занавес опустился, и вдруг в зале поднялось что-то невообразимое: хлопки заглушались свистом, и чем больше хлопали, тем яростнее свистели. И тогда ясно стал слышен и смех. Мало того, что смеялись, - хохотали. Публика стала выходить в коридоры или в фойе, и я слышала, как некоторые возмущались, другие злобно негодовали:

"Символика"... "Писал бы свои мелкие рассказы"... "За кого он нас принимает?"... "Зазнался, распустился"...

Остановился передо мной Ясинский, весь взъерошенный, задыхающийся.

- Как вам понравилось? Ведь это черт знает что! Ведь это позор, безобразие...

Его кто-то отвел.

Многие проходили с тонкой улыбкой на губах, другие разводили руками или качали головой. Всюду слышалось: Чехов... Чехов...

Если бы я даже хотела встать, я бы не могла. Но я и не хотела. В зале стало тихо, все злобствующее, язвительное, злорадно захлебывающееся - все ушло разливать свою желчь на просторе, собираясь в кружки, стараясь перекрыть друг друга. Литературно-журналистская братия! Та, которая кланялась ему низко, подобострастно льстила. Им ли было не радоваться, когда неожиданно явился случай лягнуть его побольнее. Слишком быстро и высоко он поднялся, и теперь они тянули его вниз, воображая, что его гордая голова уже никогда больше не поднимется над ними.

Когда антракт кончился и зал стал наполняться, я /246/ увидела в одной из лож налево Суворина. Я думала, что может появиться и Чехов, но его не было.

И опять упорно, но уже безнадежно, я стала внимательно следить за словами пьесы. Вспомнилось: Антон Павлович писал ее летом в маленьком флигельке Мелихова. Весь флигелек тонул в зелени. Из дома к нему порой доносились звуки рояля и пения. Ему было хорошо, когда он писал. Он сам рассказал мне об этом. Вспомнилось так, точно на один миг я увидела и флигелек, и Антона Павловича над рукописью со свесившейся прядкой волос на лбу. Далеко тогда был Петербург с Александринкой, далеко был день первого представления, а теперь далеко Мелихово с его покоем и тишиной, и вместо флигелька - переполненный зрительный зал и лица друзей, внезапно обратившиеся в звериные хари.

Пьеса с треском проваливалась {246}. Что же должен был теперь переживать Антон Павлович? Кто был с ним, чтобы он чувствовал рядом друга?

Кто мог облегчить его состояние? Как я завидовала бы этому человеку, если бы знала его!

А про ответ со сцены Антон Павлович, очевидно, пошутил. Сказал на всякий случай неизвестно кому.

Но вот... вышла Нина, чтобы проститься с Тригориным. Она протянула ему медальон {246} и объяснила: "Я приказала вырезать ваши инициалы, а с этой стороны название вашей книги".

"Какой прелестный подарок!" - сказал Тригорин и поцеловал медальон.

Нина ушла... а Тригорин, разглядывая, перевернул медальон и прочел: "страница 121, строки 11 и 12". Два раза повторил он эти цифры и спросил вошедшую Аркадину:

- Есть мои книги в этом доме?

И уже с книгой в руках он повторил: "страница 121, строки 11 и 12". А когда нашел страницу и отсчитал строки, прочел тихо, но внятно: "Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее".

С самого начала, как только Нина протянула медальон, со мной делалось что-то странное: я сперва замерла, едва дышала, опустила голову, потому что мне показалось, что весь зрительный зал, как один человек, обернулся ко мне и смотрит мне в лицо. В голове был /247/ шум, сердце колотилось, как бешеное. Но я не пропустила и не забыла: страница 121, строки 11 и 12. Цифры были все другие, не те, которые я напечатала на брелоке. Несомненно, это был ответ. Действительно, он ответил мне со сцены, и ответил мне, только мне, а не Яворской и никому другому.

"Тебе!" "Ты!" Он знал, что говорил это мне. Весь вечер он был со мной и знал, что со мной. Значит, сразу узнал меня. С первого взгляда. Но что в этих двух строках? Что в этих двух строках?

Я опять стала в состоянии смотреть на сцену, и теперь я видела пьесу. Но мне больше хотелось увидеть Антона Павловича. В ложе его не было, значит - он за кулисами. Туда пройти невозможно. Да и если бы и можно было, я бы не решилась. Если бы встретиться как-нибудь случайно и понять, почувствовать, не лишняя ли я? Не навязчиво ли мое присутствие? О, если бы я знала, что он хочет меня видеть! Но мне казалось, что сейчас, в его тяжелом состоянии, он едва бы узнал меня, прошел бы мимо, даже подсадовал бы, возможно, что я встретила его. Он ответил мне со сцены в пьесе, которая провалилась, и поэтому я должна была быть ему особенно неприятной. Недаром я, как виноватая, боялась его. Но в последнем антракте я все-таки обегала и коридоры и фойе. Ведь я сразу увидела бы по его лицу, нужна ли я ему.

Но я его нигде не встретила, а позже услышала, как говорили, что Чехов убежал из театра. Об этом шептались, передавая друг другу эту новость. Сбежал!

В последнем действии, которое мне очень понравилось и даже заставило на время забыть о провале пьесы, Коммиссаржевская (Нина), вспоминая ту пьесу Треплева, в которой она в первом действии играла Мировую душу, вдруг сдернула с дивана простыню, закуталась в нее и опять начала свой монолог: "Люди, львы, орлы..."

Но едва она успела начать, как весь зал покатился от хохота. И это в самом драматическом, самом трогательном месте пьесы, в той сцене, которая должна бы была вызвать слезы!

Смеялись над простыней, и надо сказать, что Коммиссаржевская, желая напомнить свой белый пеплум Мировой души, не сумела изобразить его более или /248/ менее красиво, но все-таки это был предлог, а не причина смеха. Я была убеждена, что захохотал с умыслом какой-нибудь Ясинский, звериные хари и подхватили, а публика просто заразилась, а может быть, даже вообразила, что в этом месте подобает хохотать. Как бы то ни было, хохотали все, весь зрительный зал, и весь конец пьесы был окончательно испорчен. Никого не тронул финальный выстрел Треплева, и занавес опустился под те же свистки и глумления, которые и после первого действия заглушили робкие аплодисменты.

У вешалок возбуждение еще не улеглось. И там смеялись. Громко ругали автора и передавали друг другу:

- Слышали? Сбежал! Говорят, прямо на вокзал, в Москву.

- Во фраке?! Приготовился выходить на вызовы! Ха, ха...

Но я слышала тоже, как одна дама сказала своему спутнику:

- Ужасно жаль! Такой симпатичный, талантливый... И ведь он еще так молод... Ведь он еще очень молод.

Дома меня ждал Миша с кипящим самоваром и холодным ужином. Он сам открыл мне дверь.

- Ну, что? Большой успех?

- Провал, - неохотно ответила я. - Ужасный провал!

- Не ходи в детскую, - предупредил он, удерживая меня за руку. - Я только что там был. Все спят, как сурки. Были очень веселы, бегали, играли. Сядь, расскажи.

- Провал, - повторила я и передала приблизительно, что я видела и слышала.

- Ах, уж и подлецы эти с... д... газетные писаки! - горячо сказал Миша. - Подхалимы, мерзавцы... То готовы ж... лизать человеку, пока он в славе, но споткнись он, все набросятся на него, как собаки. Говоришь, сбежал Чехов? Да, воображаю, какие у него кошки на сердце скребут! Да не его дело писать пьесы! Писал бы еще что-нибудь вроде "Степи". Тут он мастер.

Какое для меня было неожиданное облегчение, что Миша ругал не Чехова, а его врагов и завистников. Я ждала, что он придерется к случаю сказать про него что-нибудь враждебное, но ему, очевидно, стало жалко Чехова, и он забыл свою вражду. /249/

- Подожди, мать, - говорил он, - это пустяк, что его освистали. Покажет он им еще себя. Опять будут пресмыкаться и хвостом вилять, а он уж теперь их раскусит. Слишком добродушен твой Чехов: со всякой сволочью готов обниматься.

Я слушала с радостью, но у меня из головы не выходило: 121, И и 12.

Книга Чехова в библиотеке на полке, найти ее ничего не стоит. Найти и прочесть. Но надо пить чай, есть ветчину, слушать Мишу и отвечать. А что там? На этой странице 121 и на строках 11 и 12? Ах, скорей бы, скорей!

Наконец чай был отпит, Миша ушел в кабинет, повозился там, посвистел и прошел через гостиную в спальную.

- Мать! Ты скоро?

- Да, сейчас.

Тогда и я прошла в кабинет; пришлось зажечь свечу, так как Миша потушил лампу, и со свечой в руках я поспешно нашла и вынула книгу, дрожащими руками отыскала страницу 121 и, отсчитав строки, прочла: "...кие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?"

В полном недоумении я опять пересчитала строки. Нет, я не ошиблась: "...кие феномены..."

- Мать! старуха! - кричал Миша. - Что ты там делаешь?

"Что ты смотришь на меня с таким восторгом"... Я медленно закрыла книгу, положила ее на место. Смеется он, что ли, надо мной?

"Я тебе нравлюсь?"

Катит он теперь в Москву, сидит и думает. Нет, думать он сейчас не может. Он отмахивается от того, что продолжает видеть и слышать: растерянных артистов на сцене, звериных харь в зале, свист, хохот. О, я хорошо знала, помнила это состояние, я его пережила. Но вспоминается ли ему его "ответ"? Представляет ли он себе мое чувство, когда после такого долгого ожидания, после такого волнения и нетерпения я прочту: "Я тебе нравлюсь?" Стоило ли из-за этого втискивать в пьесу этот эпизод с медальоном?

Спать я не могла. И меня преследовали воспоминания того, что я видела в театре, впечатления этого /250/ грандиозного провала и мое собственное разочарование. "Я тебе нравлюсь?"

И вдруг точно молния блеснула в моем сознании: я выбрала строки в его книге, а он, возможно, в моей?

Миша давно спал. Я вскочила и побежала в кабинет, нашла свой томик "Счастливица", и тут, на странице 121, строки 11 и 12, я прочла: "Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается".

Вот это был ответ! Ответ на многое: на то, кто прислал брелок, кто была маска. Все он угадал, все знал.

Ну, и что же?

## XI

Собираясь в театр, я надела новое платье, серо-голубое, очень легкое, гофрированное, мягко шуршащее из-за шелковой подкладки. Парижская отделка была удивительная: она не блестела, а только мерцала. Платье мне очень нравилось, и я знала, что оно ко мне шло.

Было уже почти время ехать, как вдруг явился гость, приезжий из Москвы. Не желая опаздывать, я пошла будить Мишу, который, по обыкновению, спал после обеда.

- И.С.Д., - сказала я ему, - а мне пора.

Миша сразу проснулся.

- Сними колпак с лампы, - попросил он. - Ты в новом? Плохо видно. Я сняла. Стало светлей.

- Ведь это я выбирал материю, - сказал он. - Разве ты так выбрала бы? Недурной у меня вкус! А? И Александринка твоя молодец. Здорово шьет! Ну-ка, повернись. Красивая ты у меня баба, только очень упрямая.

- Так иди же. Ты слышал: Иван Сергеевич.

- Слышал. Черт бы его побрал. Этакие нелепые люди, эти москвичи! Лезут в гости или рано утром, или после обеда... Ну, посиди с ним минутку. Помнишь, он еще гимназистом в тебя так втюрился, что плакал в углу. Пусть опять влюбится. Ты сегодня - хоть куда. Ну, иди, а я покурю.

В театре Суворина шла какая-то переводная пьеса. Оглядывая зал, я вдруг увидела Чехова в ложе рядом с Сувориным. А я и не знала, что он в Петербурге. Почему он мне не написал, что собирается? Вообще /251/ странная дружба! Заметил меня и отвернулся. И как это смешно и дико: рара Суворин и тамапа Суворина, а в середине Чехов, их детище. И Чехов знает, что я его "обожаю", и, вероятно, поэтому поворачивается ко мне спиной. Носит он мой брелок?

Но он не знает, что я выздоравливаю, что уже нет у него прежней власти надо мной. Я критикую его рассказы, я очень независима. Я сделала большие успехи.

В антракте я пошла в фойе. Спешно спускаясь вниз уже после звонка, я увидела Антона Павловича. Он стоял в коридоре у дверей своей ложи, той самой, где мы когда-то пили шампанское. Увидев меня, он быстро шагнул мне навстречу и взял мою руку.

- Пьеса скучная, - поспешно сказал он. - Вы согласны? Не стоит смотреть ее до конца. Я бы проводил вас домой. Ведь вы одна?

- Пожалуйста, не беспокойтесь, - ответила я. - Если вы уйдете, вы огорчите Сувориных.

Антон Павлович нахмурился.

- Вы сердитесь. Но где и когда я мог бы с вами поговорить? Это необходимо.

- И вы находите, что самое удобное на улице, под дождем и снегом?

- Так скажите: где? когда?

- Пригласите меня, по привычке, ужинать в ресторан.

- По какой привычке? Почему вы думаете, что у меня такая привычка?

Что с вами?

Дверь ложи открылась, и показался Суворин.

- Видите, вас ищут. Идите скорей на ваше место.

Я засмеялась и быстро пошла по коридору.

- Кажется, ясно, что я выздоровела, - сказала я себе со злостью, хотела пойти в зрительный зал, но раздумала, пошла к вешалке, оделась и ушла. Действительно, шел снег и вместе со снегом - дождь. Ветер налетал порывами и мешал идти.

- Свезу? - спросил извозчик.

Я поколебалась и прошла мимо. Не хотелось домой, да и было слишком рано: меня не ждали.

- Удивительно умно все, что я сделала и сказала! - казнила я себя. - Выздоровела!.. Боже, до чего я несчастна! Кто мне навязал эту несчастную, дурацкую любовь! А он хотел поговорить со мной. О чем? "Необходимо..." И что же, я опять оскорбила его? /252/

Я подумала и с грустью решила: нет, он понял. Он все понимает, он все знает. Вот теперь видит мое пустое место, и ему тяжело.

Но как тяжело? Из сострадания?

Ах, если бы и он любил меня! Если бы...

А тогда что?

Я долго кружила по улицам и переулкам, но разрешить своего последнего вопроса не могла.

## ХII

Мы решили встретиться в Москве. Я должна была быть там в марте, Антон Павлович сказал, что приедет из Мелихова.

18 марта 1897 года он написал мне:

"Сердитая Лидия Алексеевна, мне очень хочется повидаться с Вами, очень - несмотря на то, что Вы сердитесь и желаете мне всего хорошего "во всяком случае". Я приеду в Москву до 26 марта, по всей вероятности в понедельник, в 10 часов вечера, остановлюсь в Б. Московской гостинице, против Иверской. Быть может, приеду и раньше, если позволят дела, которых у меня, увы! очень много. В Москве пробуду до 28, а потом, можете себе представить, поеду в Петербург. Итак, до свиданья. Смените гнев на милость и согласитесь поужинать со мной или пообедать. Право, это будет хорошо. Теперь я не надую Вас ни в коем случае, задержать меня дома может только болезнь. Жму Вам руку, низко кланяюсь.

Ваш Чехов".

Я послала ему свой московский адрес, и вот 23 марта я получила в Москве записку с посыльным:

"Б. Московская гостиница, N 5. Суббота.

Я приехал в Москву раньше, чем предполагал, когда же мы увидимся? Погода туманная, промозглая, а я немного нездоров, буду стараться сидеть дома. Не найдете ли Вы возможным побывать у меня, не дожидаясь моего визита к Вам? Желаю Вам всего хорошего.

Ваш Чехов". /253/

Я сейчас же ответила, что вечером буду у него.



Пусть этот вечер решит все вопросы, которые так измучили меня. Затем мы и назначили друг другу это свидание, чтобы все выяснить и решить. Я знала, что мы решим расстаться, но как? Скажет ли он мне наконец, что я значу для него? Одинаково ли трудно будет нам расстаться, или он, жалея меня, сам отнесется к этому равнодушно? Конечно, я пойму, я угадаю. Его письма всегда казались мне холодными, натянутыми, чужими. Что это за фраза: "Теперь я не надую вас". Когда он надувал? И как будто не он просил меня встретиться в Москве, а я его упросила. "Не надую!" Я решила непременно поставить ему это на вид, а еще и то, что он кончил же тем, что позвал меня ужинать в ресторан. Насчет того, что не будет ни неловкого положения, ни нежелательных встреч, я была совершенно спокойна. Я еще не забыла его поведения на маскараде.

В Москве я остановилась у моего старшего брата, а этот брат был женат на сестре моего мужа. Поэтому дома я не сказала, что собираюсь к Чехову. Знал об этом брат Алеша и устроил все так, что мне незачем было выдумывать что-либо, чтобы объяснить мое отсутствие вечером. Он воспользовался тем, что в этот день были мои именины, и позвал меня к себе. Старший брат и его жена были толстовцы, именин не признавали и именинных пиршеств избегали. Впрочем, все это относится только к брату, но не к его жене. Она с удовольствием явилась бы вечером к Алеше, посмотреть на гостей, послушать музыку, поужинать и даже выпить. Но Алеша сказал ей: "Я тебя не зову: у меня тесно, а ты очень толстая". Она обиделась и заявила, что не пошла бы, если бы даже он просил.

Я обещала Алеше приехать к нему попозже, очень долго я в гостинице все равно не засижусь.

Ехала я к Антону Павловичу с радостью, но без мучительного волнения. Я даже с удивлением чувствовала, что вполне владею собой, даже спокойна. С моей стороны не будет психопатии, а с его стороны спокойствие и выдержка всегда обеспечены. А сколько надо сказать! Сколько надо выяснить!

Как я и обещала в письме, в восемь часов я входила в "Московскую". /254/ Швейцар принял у меня пальто, и я стала подниматься по лестнице.

N 5.

Вдруг швейцар окликнул меня:

- А вы к кому?

- Номер 5. К Чехову.

- Так его дома нет. Вышел.

- Не может быть! Вероятно, он не велел принимать? Он нездоров. Он мне писал...

- Не могу знать. Только его нет. С утра уехал с Сувориным.

Я стояла на лестнице в полной растерянности.

Прибежал какой-то лакей.

- Вот не верят, что Антон Павловича дома нет, - сказал ему швейцар.

- Кажется, к себе в имение обратно уехали, - сообщил лакей. - Я слышал, они господину Суворину говорили: "Вечером домой..." А поехали они завтракать в Славянский. Значит, сюда и не вернулись.

- Он мне назначил. Я ему писала...

- Писем да записок с утра тут вон сколько накопилось, - сказал швейцар.

Тогда я быстро спустилась. На подзеркальнике грудкой лежала почта, и я быстро перебрала ее, нашла свое письмо и зажала его в руке. Теперь я убедилась, что Антона Павловича действительно нет дома, оделась и ушла. А лакей продолжал строить предположения:

- Не иначе, как в деревню уехали. Экстренность, что ли, какая... Они господину Суворину говорили...

Я взяла извозчика и поехала к Алеше.

К нему уже начали собираться гости, и уже было шумно и весело.

- Да, я раздумала, - сказала я Алеше на его недоумевающий взгляд.

Когда стали играть и петь, мне стало до того тяжело, что я не выдержала и спряталась в Алешину спальню. Сидела там и то мотала головой, то судорожно вздыхала.

Скоро Алеша вошел ко мне. Он был очень встревожен, но стеснялся спрашивать и молча глядел на меня. В комнате горела только лампадка у образов.

Я протянула к нему руки, и он опустил передо мной на колени.

- Что? Что? /255/

Когда я ему рассказала, как меня приняли в "Московской", он вскочил.

- А что ты думаешь?

- Я думаю, что Суворин увлек его куда-нибудь, а про меня он забыл. И ехал он к Суворину.

- А я тебе говорю, что этого не может быть! Чехов? Нет! Или эти негодяи там что-нибудь напутали, или... я не знаю что! Но, во всяком случае, нельзя же этого так оставить. Надо выяснить.

- Как?

- Поедем сейчас туда... Я войду и все выясню. Возможно, он уже дома.

- Но я... я ни за что не хочу его видеть!

- Хочешь, я ему скажу? Что сказать?

- Не знаю. Сейчас ничего не знаю. Не ходи к нему, ничего не говори.

Только справься...

- Но Чехов так поступить не мог! Тут не Суворин, а какая-нибудь важная причина. Ну, едем!

- А твои гости?

- Повеселятся и без меня. Няня их накормит...

Но мы не поехали, а пошли пешком, хотя с Плющихи до "Московской" очень далеко. Погода была такая весенняя, воздух такой упоительный! Только что прошел небольшой дождь, и казалось, даже камни мостовой стали душистыми. Снегу уже нигде не было, весна в этом году была ранняя. Говорили, что уже прошла река.

Мы шли и говорили про Антона Павловича.

- Пойми, Алеша, - убеждала я. - С тех пор, как я узнала, что люблю его, я только мучилась, только боролась, только старалась избавиться от этой любви. Я по-прежнему, нет! больше прежнего привязалась к Мише, а про детей... Ну, ты сам знаешь, что для меня дети! Видишь ли, я жила обыкновенной женской жизнью, пока не взошло для меня это солнце. Но когда оно взошло... Ты осуждаешь меня? Но подумай: если бы я полюбила бы какого-нибудь Коку, так

как он красивей, веселей, забавней Миши - я презирала бы себя. И случись такая гадость, неужели было бы трудно избавиться от нее? Надо только порвать сразу, не видеть, не слышать. Могут ли я это с Чеховым? Ведь он всюду. Тогда не надо ни читать, ни бывать в театре, ни слушать разговоров. Где его нет? Как от него уйти? А если нельзя, все равно нельзя, то как отказаться от того, что он /256/ дает мне? Пусть это мучительно, пусть отравлено, но то, что я имею от него, - это счастье! Его письма, его внимание, его голос, его глаза, устремленные на меня, о, какое это счастье! Иногда, вообрази, мне кажется, что он любит меня. Да, это случается, и тогда... Ну, тогда еще большая мука. Но какое счастье! Какое счастье! Видишь, я все говорю: счастье, а разве я счастлива? Это, знаешь, как улыбка на заплаканном лице.

Нет, конечно, он меня не любит, но он знает, что я его люблю, и это ему не неприятно. Все-таки это связывает нас, все-таки это какая-то близость. За что осуждать меня, если я никому, никому зла не делаю, ни у кого ничего не отнимаю? В чем я виновата?

- Да кто же говорит? - горячо протестовал Алеша.

- Миша говорит: все мужчины более или менее свиньи. Разве его можно приравнивать ко всем? Ни к кому я бы в гостиницу не поехала ни за что, а к нему поехала, потому что нет человека чище, выше, благороднее, чем он.

Алеша сказал:

- И сегодня, ты увидишь, он не виноват...

Алеша вошел в гостиницу один, но пробыл там недолго. Взял меня под руку, и мы пошли обратно.

- Не вернулся, - сказал он. - Говорят, приехал больной. Завтра еще справлюсь.

Опять стал накрапывать дождь и скоро пошел редкий, но крупный. Стало как будто еще теплей и ароматнее.

На другой день пришел Алеша и сообщил, что Антон Павлович серьезно заболел и его отвезли в клинику.

А 25-го утром я получила записку:

"Москва, март 1897 г.

Вот Вам мое преступное curriculum vitae\* в ночь под субботу я стал плевать кровью. Утром поехал в Москву. В 6 часов поехал с Сувориным в Эрмитаж обедать и едва сел за стол, как у меня кровь пошла горлом форменным образом. Затем Суворин повез меня в Славянский базар; доктора; пролежал я более суток - и теперь дома, т.е. в Больш. моск. гостинице.

---

\* краткое жизнеописание (лат.).

Ваш А.Чехов  
Понедельник". /257/

Около трех дня во вторник мы с Алешей входили в приемную клиники. Нас встретила женщина в белом: старшая сестра или надзирательница, не знаю.

- Вот... моя сестра хотела бы видеть Чехова, - сказал Алеша.

На лице женщины в белом выразился ужас, и она подняла плечи и руки.

- Невозможно! Совершенно невозможно! Антон Павлович чрезвычайно слаб. Может быть допущена только Марья Павловна.

- А нельзя ли нам поговорить с доктором?

- С доктором? Но это бесполезно. Он скажет вам то же, что и я.

- А все-таки я хотел бы...

Сестра пожала плечами, подумала и вышла.

Пришел доктор и сразу заявил:

- Антона Павловича видеть нельзя. Допустить вас я не могу ни в коем случае.

Тогда заговорила я.

- В таком случае передайте ему, пожалуйста, что я сегодня получила его записку и... вот... приходила, но что меня не пустили.

- Сегодня получили записку? Но он заболел еще третьего дня.

Я достала письмо Чехова и протянула ему.

- Он писал вчера.

Доктор отстранил письмо и насупился.

- Подождите, - сказал он и быстро вышел.

- Видишь? Пустит... - сказал Алеша.

Когда доктор вернулся, он сперва пристально посмотрел на меня, покачал головой и развел руками.

- Что тут поделаешь? - сказал он. - Антон Павлович непременно хочет вас видеть. Пойдите... Вы в Москве проездом?

- Да.

- И это, чтобы видиться с вами, он, больной, поехал из деревни в такую погоду?

- Приехал Суворин... - начала я.

Доктор усмехнулся.

- Так, так! И, чтобы встретиться с Сувориным, он рискнул жизнью? Дело в том, сударыня, что он опасен, что всякое волнение для него губительно. Вам, конечно, /258/ лучше знать, что вы делаете. Я снимаю с себя ответственность. Да.

Я растерялась.

- Что же мне делать? Уйти?

- Невозможно теперь. Он вас ждет. Волнуется. Что тут поделаешь?

Идемте.

Мы стали подниматься по лестнице.

- Чтобы он не говорил ни слова! Вредно. Помните: от разговора, от волнения опять пойдет кровь. Даю вам три минуты. Три минуты, не больше. Сюда... Ну... ну... - мягче прибавил он, - ничего... Сами будьте спокойнее. Через три минуты приду.

Он лежал один. Лежал на спине, повернув голову к двери.

- Как вы добры... - тихо сказал он.

- О, нельзя говорить! - испуганно прервала я. - Вы страдаете? Болит у вас что-нибудь?

Он улыбнулся и показал мне на стул около самой кровати.

- Три минуты, - сказала я и взяла со стола его часы. Он отнял их и удержал мою руку.

- Скажите: вы пришли бы?

- К вам? Но я была, дорогой мой.

- Были?! О, как не везет нам! не везет нам!

- Да не разговаривайте! нельзя. И это не важно.

- Что?

- Что я была и...

- Не важно? Не важно?

- Ведь лишь бы вы скорей поправились.

Он нахмурился.

- Так не важно?

- Ну, в другой раз. Ведь вы знаете, что все будет, как вы хотите.

Он улыбнулся.

- Я слаб, - прошептал он. - Милая...

- О чем вам рассказать, чтобы вы молчали?

- Сегодня едете?

- Нет, завтра.

- Так завтра непременно приходите опять. Я буду ждать. Придете?

- Конечно.

Вошел доктор и с любезной улыбкой обратился к Чехову: /259/

- Пора, Антон Павлович. Не утомитесь.

- Минутку... Лидия Алексеевна! У меня просьба...

Доктор предупреждающе поднял палец и потом подал ему листик бумаги и карандаш. Антон Павлович написал:

"Возьмите мою корректуру {259} у Гольцева в "Русской мысли" сами. И принесите мне почитать что-нибудь ваше и еще что-нибудь".

Когда я прочла, он взял у меня записку и приписал:

"Я Вас очень лю... благодарю". "Лю" он зачеркнул и улыбнулся.

Я простилась и пошла к двери.

Вдруг Антон Павлович окликнул меня.

- Лидия Алексеевна! Вы похожи на гастролершу! - громко сказал он.

- Это платье - Чайка, - смеясь, сказала я.

Доктор возмутился:

- Антон Павлович! Вы сами врач... Завтра, если вам будет хуже, - никого не пушу. Никого!

Мы с Алешей шли обратно, и я все время утирала слезы, которые катились по лицу.

Алеша молча отдувался и вздыхал.

- Алеша, - сказала я, - ты меня не жалеи: у меня на сердце тепло, тепло...

### ХІІІ

Дома меня ждали две телеграммы. Одна: "Надеюсь встретить 27. Очень соскучились". Другая: "Выезжай немедленно. Ждем целуем".

На другое утро третья: "Телеграфируй выезде. Жду завтра непременно".

Я отправилась в редакцию "Русской мысли" к Гольцеву за корректурой.

Гольцев удивился.

- Зачем она ему сейчас? Успел бы позже.

Узнав, что я была в клинике, он стал меня расспрашивать о состоянии здоровья Чехова и подозвал еще двух или трех лиц.

- Вот... свежие новости об Антоне Павловиче.

- Плохо, что весна, - сказал кто-то. - Вчера река прошла. Это самое опасное время для таких больных. /260/

- Я слышал, что он очень плох, очень опасен... - сказал еще кто-то.

- Значит, к нему допускают посетителей?

- Нет, нет, - сказал Гольцев. - Лидия Алексеевна передаст ему наши поклоны и пожелания. И скажите ему, что с корректурой спеха нет. Пусть не утомляется.

Я ушла из редакции очень расстроенная. Антон Павлович не произвел на меня впечатления умирающего, а тут говорили, что он очень, очень плох, упоминали про реку... "Самое опасное время"... Чувствовалось, что считали его погибшим.

Идти в клинику было рано (раньше двух меня не пустили бы), и я пошла на реку.

На Замоскворецком мосту я подошла к перилам и стала глядеть вниз. Лед уже шел мелкий, то покрывая собой всю реку, то оставляя ее почти свободной. День был солнечный, какой-то особенно голубой и сияющий, но в нем мне чудилась угроза, как и в мчащейся из-под моста буйной, нетерпеливой реке. Набегали льдины, кружились и уносились вдаль. Мне казалось, что река мчится все скорее и скорее, и от этого слегка кружилась голова.

Вот... Подточило, изломало, осилило и уносит. И жизнь мчится, как река, и тоже подтачивает, ломает, осиливает и уносит. "Самое опасное время"... "Плох Антон Павлович! Очень плох!"

Припоминалась мне его печать, которой он последнее время запечатывал свои письма. На маленьком красном кружочке сургуча отчетливо были напечатаны слова: "Одинокому везде пустыня".

"До тридцати лет я жил припеваючи", - как-то сказал он мне.

После тридцати осилила, изломала жизнь? И теперь уносит?

Эх, жизнь! Могла ли она удовлетворить такого исключительного человека, как Чехов? Могла ли не отравить его душу горечью и обидой? Эту глубокую, чистую душу, такую требовательную к себе.

Не нашел счастья Антон Павлович! Едва прошел хмель молодости, когда беспредметно бьет ключом в груди радость бытия, едва он серьезно и требовательно оглянулся кругом, как уже начал себя чувствовать в пустыне, как

уже стал одиноким. Быть может, смутно /261/ было вначале это чувство, но становилось все определеннее, все ощутимее, иначе, к чему бы заказывать себе такую печать? {261} И, возможно, не понимал он и не знает и теперь, что слишком высоко стоит он над всеми и что по его росту в нашей жизни счастья для него еще нет.

И вдруг почему-то вспомнилось смешное.

- Зачем вы прислали мне двугривенный? - спросил меня Антон Павлович.

- Двугривенный?!

- Ну да. Вы отдали его железнодорожному сторожу на станции Лопасня для передачи мне.

- Я вам записку передала!

- Записку сторож так замазал, что на ней ничего разобрать было невозможно, кроме разве вашей подписи. Двугривенный он мне вручил целешеньким. Я взял.

Это "я взял" смешило меня каждый раз, как я о нем вспоминала, и даже теперь мне опять стало смешно.

А река все мчалась и мчалась...

Нет! Антон Павлович не умрет... Допустить эту мысль - это потерять голову, это...

Я чуть не уронила пачку, которую держала под мышкой, встряхнула головой и быстро направилась к берегу.

Я пошла покупать цветы. Антон Павлович написал: "И еще что-нибудь". Так вот, пусть цветы будут "что-нибудь".

В клинику я пришла как раз вовремя. Меня встретила сестра.

- Нет, Антону Павловичу не лучше, - ответила она на мой вопрос. - Ночью он почти не спал. Кровохарканье, пожалуй, даже усилилось...

- Так меня не пустят к нему?

- Я спрашивала доктора, он велел пустить.

Сестра, очевидно, была недовольна и бросала на меня неодобрительные взгляды.

Я сорвала с своего букета обертку из тонкой бумаги.

- Ах! - вскрикнула сестра. - Но ведь этого нельзя! Неужели вы не понимаете, что душистые цветы в палате такого больного...

Я испугалась.

- Если нельзя, так оставьте... оставьте себе.

Она улыбнулась.

- Все-таки, раз вы принесли, покажите ему. /262/

В палате я сразу увидела те же ласковые, зовущие глаза.

Он взял букет в обе руки и спрятал в нем лицо.

- Все мои любимые, - прошептал он. - Как хороши розы и ландыши...

Сестра сказала:

- Но этого, Антон Павлович, никак нельзя: доктор не позволит.

- Я сам доктор, - сказал Чехов. - Можно! Поставьте, пожалуйста, в воду.

Сестра опять кинула на меня враждебный взгляд и ушла.

- Вы опоздали, - сказал Антон Павлович и слабо пожал мою руку.

- Нисколько. Раньше двух мне не приказано. Сейчас два.
- Сейчас семь минут третьего, матушка. Семь минут! Я ждал, ждал...

Он стал разбирать книги и газеты, которые я ему принесла. Корректуру положил на стол и слушал отчет о моем посещении Гольцева.

- К сожалению, я почти все читал, - тихо говорил он. - Неизданные статьи Л.Н.Толстого? Последние? Да, это я прочту с удовольствием. Я не разделяю...

- Нельзя вам говорить! - прервала я его, - а вы, кажется, собираетесь разбирать учение Льва Николаевича.

- Когда вы едете?

- Сегодня.

- Нет! Оставайтесь еще на день. Придите ко мне завтра, прошу вас. Я прошу!

Я достала и дала ему все три телеграммы. Он долго их читал и перечитывал.

- По-моему, на один день - можно.

- Меня смущает это "выезжай немедленно". Не заболели ли дети?

- А я уверен, что все здоровы. Оставайтесь один день для меня. Для меня, - повторил он.

Я тихо сказала:

- Антон Павлович! Не могу.

Я представила себе: что будет? Я пошлю телеграмму, что задержалась, и Миша сегодня же вечером выедет в Москву. Но положим, что он не выедет, /263/ дождется меня. Какой прием меня ожидает? И это бы ничего! Но ведь я дам ему уверенность, что люблю Антона Павловича, и сделаю так, что от нашего семейного счастья не останется и следа. И его и моя жизнь превратится в ад. А из-за чего? Из-за лишнего визита продолжительностью в три минуты.

Мысли беспорядочно неслись в моей голове.

- Значит, нельзя, - сказал Антон Павлович.

И я убедилась, что он опять все знает и все понимает. И Мишину ревность, и мой страх.

"Я уверен, что все здоровы".

- Не владею я собой... Слаб я... - прошептал он. - Простите...

Вошел доктор. Антон Павлович показал ему на цветы и уверенно сказал:

- Мне это не вредно.

Доктор наклонился, понюхал и неопределенно заметил:

- Хорошо!

Потом обратился ко мне:

- Плохо ведет себя наш больной: не спит, возбужден. - Засмеялся и прибавил: - Своеволен. Сладу с ним нет.

Я встала, чтобы уходить. Я понимала, что доктор очень не одобряет мои посещения и будет рад, что я уеду.

- Сегодня уезжаете? - как раз спросил он.

- Сегодня вечером.

- А если бы до вечера... - вдруг быстро начал Чехов, но, не договорив, замолчал, взглянул на доктора.



- Вам отдыхать надо, отдыхать, - твердил доктор.

Надо было проститься и уйти, но я была так поглощена своими мыслями, что плохо сознавала, что делала. И я стала собирать на кровати разбросанные книги и бумаги и заворачивать их.

Случайно я обернулась и увидела, что Антон Павлович лукаво улыбается и заслоняет обеими руками цветы. Я опомнилась, засмеялась и опять положила пакет на постель.

Ах, как мне хотелось встать тут на колени, около самой постели, и сказать то, что рвалось наружу. Сказать: "Любовь моя! Ведь я не знаю... не смею верить... Хотя бы вы один раз сказали мне, что любите меня, что я вам /264/ необходима для вашего счастья. Но никогда... Если я останусь сегодня, это будет решительный шаг. А говорить об этом нельзя. Вы слабы, вас нельзя волновать".

- Выздоровливайте! - сказала я и пожала руку Антону Павловичу сверху, как она лежала на одеяле.

- Счастливого пути, - сказал он, и я быстро пошла к двери. И, как в прошлый раз, он меня окликнул.

- В конце апреля я приеду в Петербург. Самое позднее в начале мая.

- Ну конечно! - сказал доктор.

- Но мне необходимо! - заволновался Антон Павлович.

- Конечно, конечно.

- Я говорю серьезно! Так вот, значит, в конце апреля... Я буду непременно.

- А до тех пор будем писать, - сказала я и быстро скрылась, поймав на себе строгий взгляд доктора.

На этот раз не было у меня тепла на сердце. Я отказала Антону Павловичу в его горячей просьбе: "...для меня". И вот для него я не смогла сделать такого пустяка, как остаться на один день.

"Я прошу..."

Не могла! Не одолела чего-то. А это "что-то" напирало со всех сторон: Мишино состояние духа, которое я чувствовала на расстоянии, отношение доктора и сестры, даже отношение моего старшего брата и его жены. Они как-то явно недоумевали: почему эти письма с посыльным? Почему меня пускают в клинику? Почему телеграммы из Петербурга?

Я знала, почему телеграммы: в редакции газеты Сергея Николаевича сразу стало известно о болезни Чехова, значит узнал и Миша. Известно стало и о том, кто посещает больного.

Я шла домой в очень тяжелом настроении, то обвиняя, то оправдывая себя, и вдруг увидела перед собой Льва Николаевича. Он часто гулял по Девичьему полю. Он узнал меня и остановился.

- Откуда вы? Из монастыря?

- Нет, из клиники.

Я рассказала ему про Антона Павловича.

- Как же, как же, я знал, что он заболел, но думал, что к нему никого не допускают. Завтра же пойду его навестить {264}. /265/

- Пойдите, Лев Николаевич. Он будет рад. Я знаю, что он вас очень любит.

- И я его люблю, но не понимаю, зачем он пишет пьесы.

"Вот, - думала я, - человек, который беспощадно осудил бы меня, если бы знал, что во мне происходит.

Я знаю наверно, как он осудил бы меня, этот гигант мысли и гениальности, но его мнение мне безразлично. Я не верю в его правоту. Как это может быть?"

Ужасно захотелось видеть кого-нибудь, кто не был бы ни враждебен, ни безразличен к тому, что я сейчас так мучительно переживала, и я пошла к Алеше.

#### XIV

Ночью в вагоне я не спала. Не могла сладить со своими сложными, запутанными мыслями и чувствами. Лежала и томила. Уж начало чуть-чуть светать, когда я вдруг очутилась на берегу моря. Море было свинцовое и тяжелое под низко нависшим тяжелым, свинцовым небом.

Волны бежали одна за другой, все с белыми сердитыми гребнями, и с непрерывным грохотом разбивались почти у моих ног. Рядом со мной шел Чехов и говорил что-то, но его слов я разобрать за шумом не могла. Вдруг впереди замелькало что-то маленькое, беленькое и стало быстро приближаться. Это был ребенок. Он бежал нам навстречу и радостно взвизгивал и подпрыгивал. Ему могло быть не больше двух-трех лет.

"- Ребенок! - вскрикнула я. - Откуда здесь мог взяться ребенок? И такой прелестный и веселый!

Антон Павлович вздрогнул и остановился.

- Это не ребенок, - задышавшись, сказал он, - нет! Это не ребенок. Я знаю! Он притворяется...

- Кто? - спросила я, чувствуя, что от страха у меня отнимаются ноги.

- Какой же ребенок, - продолжал Антон Павлович и встал впереди меня, как бы заслоняя и защищая. - У него рот в крови... рот в крови.

А ребенок был уже близко, но все бежал, взмахивая ручонками, радуясь и взвизгивая.

- Надо его бросить в море! - крикнул Антон Павлович. - В море! В море! А я не могу. Не могу-у-у". /266/

От ужаса я проснулась. Поезд с грохотом шел через мост, паровоз пронзительно свистел.

Все еще только занимался рассвет. Сколько же я спала? Минуту, не больше.

Миша увидел меня в окне вагона, вошел с носильщиком, показал ему мои вещи, схватил меня под руку и повел. Шли мы быстро, молча. Я только спросила:

- Что дети?

- Здоровы. Все хорошо.

Вышли на подъезд.

- Куда прикажете извозчика? - спросил носильщик.

- У меня есть. Неси за мной, - сказал Миша.

Подошли к извозчику, Миша откинул фартук.

- Простите, барин, я занят, - сказал извозчик.

- Да ведь я же тебя нанял, дурак! - крикнул Миша.

- Нет, не вы, - сказал сзади какой-то господин, бросил в пролетку чемодан и занес ногу на подножку.

- А я для вас фартук отстегнул? - закричал Миша. - Вы - нахал!

Другой извозчик кричал во все горло:

- Барин! я с вами приехал! барин! вы меня нанимали!

Я тащила Мишу за рукав.

- Я нахал? А вы кто? Или вы пьяны? Если бы вы не с дамой...

- Умоляю вас... - просила я, - умоляю...

- Барин, вы со мной приехали, - надрывался извозчик.

- Вас проучить надо, нахал! - упорствовал Миша, отталкивая мою руку, так как я изо всей силы тащила его, но я цеплялась, и его гнев обратился на меня.

- Ты отстанешь наконец?

Извозчик с седоком отъехали. Извозчик смеялся и крутил головой, а седок вежливо раскланялся.

Наш носильщик стоял и ждал у другой пролетки. Мы поехали. Миша молчал, и я тоже. Подъехали к нашему дому, а швейцара у дверей не оказалось. Он выбежал только тогда, когда Миша открыл дверь и закричал: "Швейцар!"

И тут опять разразилась гроза.

- Места своего не знаешь?! Зачем вас, дармоедов, держат! /267/

Я побежала вверх по лестнице и еще долго слышала Мишин голос.

В гостиной, обнимаясь с детьми, я опять услышала взрыв негодования: на этот раз виновата была горничная, потому что пахло чем-то, чем не должно было пахнуть.

Когда все смолкло, Миша вошел в гостиную и спокойно сказал:

- Ну, здравствуй, мать! Хорошо съездила?

- Съездила хорошо, а вернулась очень неприятно.

- Ну ладно, ладно! - сказал Миша, отмахиваясь рукой, - дам сейчас швейцару трешку. Что там! Иди, старуха, кофе пить! Ведите маму, детишки. Кофе горячий...

И вот опять потекла моя жизнь по старому руслу. Опять мелкие заботы по хозяйству, постоянная тревога за детей, и опять Мишина требовательность и раздражительность, ссоры, примирения, изредка крупные скандалы, гости, театры, Кока...

29-го я получила письмо от Антона Павловича.

"Москва 1897 г. марта 28.

Ваши цветы не вянут, а становятся все лучше. Коллеги разрешили мне держать их на столе. Вообще, Вы добры, очень добры, и я не знаю, как мне благодарить Вас.

Отсюда меня выпустят не раньше пасхи; значит, в Петербург попаду не скоро. Мне легче, крови меньше, но все еще лежу, а если и пишу письма, то лежа. Будьте здоровы. Крепко жму Вам руку.

Ваш Чехов".

Мои цветы...

А мне Москва уже казалась сном. И еще казалось, что я выдумала и лестницу наверх, и маленькую палату с кроватью, столом и стулом, и милое лицо на подушке, и темные, ласковые, зовущие глаза.

Чтобы я не взяла обратно цветы, он с лукавой улыбкой заслонял их руками.

Разве было все это?

Написал он мне: "Я Вас очень лю благодарю"?

Просил он меня остаться? и виновато признавался: "Я слаб... Я не владею собой".

И вот сейчас лежит он все там же, и цветы мои стоят /268/ перед ним на столе, но он уже не ждет меня. Я отказалась остаться "для него" даже на один день, и он понял, что для меня семья дороже его счастья, что моя любовь между прочим, что во мне ничего нет настоящего: ни мужества, ни самоотверженности, ни силы. Он теперь понял меня до дна и грустно усмехнулся. "Одиному везде пустыня".

Во мне он что-то искал, но не нашел.

"Счастливого пути!" - сказал он.

Посмею ли я теперь когда-нибудь хотя бы намеком сказать ему, что я его люблю?

Никогда! никогда!

Услышу ли я от него еще когда-нибудь: "Милая"?

Никогда! никогда!

Все кончено! все пропало! потому что я ничтожество и все чувства мои ничтожны. Я добра...

Взглянул на меня человек сверху, протянул мне руку. Но... он ошибся. Он услышал только трусливый лепет: "Антон Павлович! я не могу!"

И тогда спокойно ответил:

- Значит, нельзя.

О, как я теперь все иначе слышала и понимала, чем в Москве! Как я вдруг далеко, далеко отошла от Чехова! И как постепенно, незаметно я дошла до этого искреннего презрения к себе! Даже написать Чехову мне казалось невозможным.

А я мечтала о том, чтобы он полюбил меня!

Меня? Зачем?

Мне часто вспоминается рассказ Чехова. Кажется, он называется "Шутка" {268}.

Зимний день. Ветер. Ледяная гора. Молодой человек и молодая девушка катаются на санках. И вот каждый раз, как санки летят вниз, а ветер шумит в ушах, девушка слышит: "Я люблю вас, Надя".

Может быть, это только так кажется?

Они вновь поднимаются на гору, вновь садятся в сани. Вот сани перекачнулись через край, полетели... И опять слышится: "Я люблю вас, Надя".

Кто это говорит? Ветер? Или тот, кто сидит сзади? /269/

Как только они останавливаются, так все обычно, буднично, и лицо спутника равнодушно.

Я летела с горы в Москве. Я летела и раньше. Я слышала не один раз: "Я люблю вас". Но проходило самое короткое время, и все становилось буднично, обычно, а письма Антона Павловича холодны и равнодушны.

Кажется, рассказ Чехова называется "Шутка".

Антон Павлович не приехал весной в Петербург, осенью его послали доктора в Ниццу. Он писал мне оттуда: "За границей я проживу, вероятно, всю зиму". Писал еще: "Здоровье мое сносно по утрам и великолепно по вечерам" {269}.

Это он писал в октябре. А в начале ноября: "Пока была холодная погода, все было благополучно, теперь же, когда идет дождь и посуровело, опять першит, опять показалась кровь, такая подлость" {269}.

Я посылала ему свои напечатанные рассказы, а он давал мне подробные отзывы.

"Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочел Ваши "Забытые письма". Это хорошая, умная, изящная вещь. Это маленькая, куцая вещь, но в ней пропасть искусства и таланта, и я не понимаю, почему Вы не продолжаете именно в этом роде. Письма - это неудачная, скучная форма, и притом легкая, но я говорю про тон, искреннее, почти страстное чувство, изящную фразу. Гольцев был прав, когда говорил, что у Вас симпатичный талант, и если Вы до сих пор не верите этому, то потому, что сами виноваты. Вы работаете очень мало, лениво. Я тоже ленивый хохол, но ведь в сравнении с Вами я написал целые горы. Кроме "Забытых писем", во всех рассказах так и прут между строк неопытность, неуверенность, лень. Вы до сих пор не набили себе руку, как говорится, и работаете как начинающая, точно барышня, пишущая по фарфору. Пейзаж Вы чувствуете, он у Вас хорош, но Вы не умеете экономить, и то и дело он попадает на глаза, когда не нужно, и даже один рассказ совсем исчезает под массой пейзажных обломков, которые грудой навалены на всем протяжении от начала рассказа до (почти) его середины. Затем, Вы не работаете над фразой, ее надо делать - в этом искусство. Надо выбрасывать лишнее, очищать фразу от "по мере того", "при помощи", надо заботиться о ее музыкальности и не допускать в одной фразе почти рядом "стала" /270/ и "перестала". Голубушка, ведь такие словечки, как "безупречная", "на изломе", "в лабиринте", - ведь это одно оскорбление. Я допускаю еще рядом "казался" и "касался", но "безупречная" - это шероховато, неловко и годится только для разговорного языка, и шероховатость

Вы должны чувствовать, так как Вы музыкальны и чутки, чему свидетели - "Забытые письма". Газеты с Вашими рассказами сохраню и пришлю Вам при okazji, а Вы, не обращая внимания на мою критику, соберите еще кое-что и пришлите мне" {270}.

Я была плохая ученица и стала ясно понимать советы Антона Павловича позже, когда сама дошла до потребности "слушать" то, что я вижу, и не употреблять первые попавшиеся под перо слова, годные по смыслу, а выбирать их так, чтобы не было "оскорбления". Но несомненно, что эта потребность явилась именно из-за критики Чехова. Если я ее и не поняла нутром тогда же, то толчок она мне дала в желательном направлении, и если из меня все же ничего не вышло, то это только оттого, что я была талантливое ничтожество.

Я была убеждена, что Чехов понял это, так же, как и я, и относится ко мне иначе, чем прежде, и когда я писала ему, я чувствовала себя навязчивой, но не могла прервать переписку, как не могла бы наложить на себя руки.

На лето Антон Павлович вернулся в Россию, и в конце июля я получила от него следующее письмо: {270}

"Гостей так много, что никак не могу собраться ответить на Ваше последнее письмо. Хочется написать подлиннее, но руки отнимаются при мысли, что каждую минуту могут войти и помешать. И в самом деле, пока я пишу эти слова "помешать", вошла девочка и доложила, что пришел больной. Надо идти.

Финансовый вопрос уже решен благополучно. Я вырезал из "Осколков" мои мелкие рассказы и продал их Сытину на 10 лет. Затем, как оказывается, могу взять тысячу руб. из "Рус. мысли", где, кстати сказать, мне сделали прибавку. Платили 250, а теперь 300.

Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял бы какое-нибудь место, но уже не хватает физической гибкости. /271/

Когда я теперь пишу или думаю о том, что надо писать, то у меня такое отвращение, как будто я ем щи, из которых вынули таракана, - простите за сравнение. Противно мне не самое писание, а этот литературный *entourage*\*, от которого никуда не спрячешься и который носишь с собой всюду, как земля носит свою атмосферу.

---

\* окружение (франц.).

Погода у нас чудесная, не хочется никуда уезжать. Надо писать для августовской "Русской мысли"; уже написал, надо кончить. Будьте здоровы и благополучны. Нет места для крысиного хвоста, пусть подпись будет куцей.

Ваш Чехов" {271}.

Я ждала августовскую книгу "Русской мысли" {271} с большим волнением. В письмах Чехова я привыкла угадывать многое между строк, и теперь мне представилось, что он усиленно обращает мое внимание на августовскую книгу, хочет, чтобы я ее скорей прочла. Трудно объяснить, почему мне так казалось, но это было так. И едва книга вышла, я купила ее, а не взяла в библиотеке, как я обыкновенно это делала.

Одно заглавие "О любви" сильно взволновало меня. Я бежала домой с книгой в руке и делала предположения. Что "О любви" касалось меня, я не сомневалась, но что он мог написать?

"Вот я сейчас прочту художественную оценку своей личности, - думала я. - И поделом!".

Зачем, после свидания в клинике, когда он был "слаб и не владел собой", а мне уже нельзя было не увериться, что он любит меня, - зачем мне надо было писать ему в Ниццу, послать "Забытые письма", полные страсти, любви и тоски? Разве мог он не понять, что это к нему взывали все эти чувства? Зачем я это сделала, тогда как уже твердо знала, что ничего, ничего я ему дать не могу?

Теперь я прочту свой приговор.

В Мишином кабинете за письменным столом я разрежала книгу и стала читать.

Как это было трудно! Любовь повара и горничной. Она не хочет выходить за него замуж, а хочет жить "так", а он не хочет жить "так", потому что религиозен. /272/ Совсем не этого я ожидала! При чем тут повар и горничная?

Но вот Луганович приглашает к себе Алехина, и появляется его жена, Анна Алексеевна. У нее недавно родился ребенок, она молода, красива и производит на Алехина сильное впечатление. "Анна Алексеевна Луганович..." Мои инициалы. У меня тоже был маленький ребенок, когда мы познакомились с Антоном Павловичем.

"И сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое..."

Мне сейчас же вспомнилось:

"А не кажется вам, что когда мы встретились в первый раз, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки?"

Это спросил Антон Павлович на юбилейном обеде.

И я читала нетерпеливо, жадно.

"...Мне некогда было даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни, я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе".

Через страницу, уже после второго свидания, Алехин говорил:

"Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней..."

Тяжелые капли слез стали падать на бумагу, а я спешно вытирала глаза, чтобы можно было продолжать читать.

"Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с ней, мне казалось невероятным, что эта моя тихая грустная любовь

вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего дома... Честно ли это?.. Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти?.."

"И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях..."

Я уже не плакала, а рыдала, захлебываясь, и книга стала вся мокрая и сморщенная. Так он не винил меня! Не винил, а оправдывал, понимал, горевал вместе со мной. /273/

"...Я чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга..."

"В последние годы у Анны Алексеевны уже бывало другое настроение... она выказывала странное раздражение против меня, что бы я ни говорил, она не соглашалась со мной. Когда я ронял что-нибудь, она говорила холодно: поздравляю вас".

О, как же! Я помню, как я "поздравила" его, когда он один раз уронил свою шапку в грязь. Ему, вероятно, вздумалось откинуть по привычке прядь волос, и он махнул рукой по шапке.

Но ведь я раздражалась больше всего, когда мучительнее, отчаяннее любила его.

Но и это он понимал и прощал.

Алехин и Анна простились навсегда, в вагоне. Она уезжала.

"Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, о, как мы были с ней несчастны! - я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что мешало нам любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви надо исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель, в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе". Я дочла и легла головой на книгу.

Я дочла и легла головой на книгу.

Из какого "высшего" надо исходить - я не поняла. И что более важно, чем счастье или несчастье, грех или добродетель, - я тоже не знала. Знала и понимала я только одно: что жизнь защемила меня и что освободиться из этих тисков невозможно, - если семья мешала мне быть счастливой с Антоном Павловичем, то Антон Павлович мешал мне быть счастливой с моей семьей. Надо было разорвать душу пополам.

Что он хотел сказать словами: "Как ненужно, мелко и обманчиво было все то, что мешало нам любить"?

Мне мешало то, что я любила мужа и детей. В этом я не видала ничего ненужного, мелкого и обманчивого. И что он понял нового - я вообразить себе не могла. Оставалась все та же безнадежность и безвыходность. /274/

Я ужаснулась, когда увидела, что я сделала с книгой. Надо было спрятать ее так, чтобы никто не видел. Лучше даже было уничтожить, сжечь. Но перед этим я еще раз перечла весь рассказ, и, как это ни странно, настроение у меня сразу переменялось: умиление и нежность вдруг сменились отчаянием и раздражением.



Я схватила листок бумаги и написала Антону Павловичу письмо. Что я писала - я не обдумывала. Но чтобы не раздумать послать, я сейчас же пошла и бросила письмо в почтовый ящик. Уже на обратном пути я пожалела о том, что сделала. Неласково было мое письмо.

А через несколько дней я получила ответ:

"30 августа, Мелихово.

Я поеду в Крым{274}, потом на Кавказ и, когда там станет холодно, поеду, вероятно, куда-нибудь за границу. Значит, в Петербург не попаду.

Уезжать мне ужасно не хочется. При одной мысли, что я должен уехать, у меня опускаются руки и нет охоты работать. Мне кажется, что если бы эту зиму я провел в Москве или в Петербурге и жил бы в хорошей, теплой квартире, то совсем бы выздоровел, а главное, работал бы так (т.е. писал бы), что, извините за выражение, чертям бы тошно стало.

Это скитальческое существование, да еще в зимнее время, - зима за границей отвратительна, - совсем выбило меня из колеи.

Вы несправедливо судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы, а потом уже берет мед.

Что же касается всего прочего - равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих образов и фантазий, - могу сказать одно: чужая душа потемки.

Погода скверная. Холодно. Сыро.

Крепко жму Вам руку. Будьте здоровы и счастливы.

Ваш Чехов".

Припомнилось мое письмо.

Я благодарила за честь фигурировать героиней хотя бы и маленького рассказа.

"Я здесь встречалась с одним из Ваших приятелей, о котором его жена говорит, что он делает всякие гадости /275/ и подлости, чтобы потом реально и подробно описывать их в своих романах. Конечно, в заключение он бьет себя в грудь от раскаяния.

Вы упражняетесь в великодушии и благородстве. Но, увы, тоже раскаииваетесь".

Потом были такие фразы:

"Сколько тем нужно найти для того, чтобы печатать один том за другим повестей и рассказов. И вот писатель, как пчела, берет мед откуда придется... Писать скучно, надоело, но рука "набита" и равнодушно, холодно описывает чувства, которых уже не может переживать душа, потому что душу вытеснил талант. И чем холодней автор, тем чувствительней и трогательнее рассказ. Пусть читатель или читательница плачет над ним. В этом искусство".

А в ответе нет ни одной, ни одной язвительной, раздраженной строки. Он даже выражает желание жить в ненавистном ему Петербурге, жалуется, что надо

уезжать. Хоть бы упрекнул. Хоть бы пристыдил. Как-то он написал мне: "Верьте, Вы строги не по заслугам" {275}. Это, кажется, был единственный выговор за все время.

## XVI

Весь конец 1898 года был для меня чрезвычайно тяжелым: все трое детей заболели коклюшем, и одновременно Ниночка схватила где-то скарлатину, и не успела еще понравиться, как у Левушки началось воспаление легких. Я замучилась.

В январе 1899 года все начало приходить в норму, а в самом начале февраля я получила из Ялты письмо от Чехова.

"5 февраля. Ялта.

Многоуважаемая Лидия Алексеевна, я к Вам с большой просьбой, чрезвычайно скучной. Не сердитесь, пожалуйста. Будьте добры, найдите какого-нибудь человека или благонравную девицу и поручите переписать мои рассказы, напечатанные когда-то в "Петербургской газете". И также походатайствуйте, чтобы в редакции позволили отыскать мои рассказы и переписать, так как /276/ отыскивать и переписывать в Публичной библиотеке очень неудобно. Если почему-либо эта просьба моя не может быть исполнена, то, пожалуйста, пренебрегите, я в обиде не буду, если же просьба моя более или менее исполнима, если у Вас есть переписчик, то напишите мне, и тогда я пришлю Вам список рассказов, которые не нужно переписывать. Точных дат у меня нет, я забыл даже, в каком году печатался в "Петербургской газете". Но когда Вы напишете мне, что переписчик есть, я сейчас же обращусь к какому-нибудь петербургскому старожилу библиографу, чтобы он потрудился снабдить Вас точными датами. Умоляю Вас, простите, что я беспокою Вас, наскучаю просьбой, мне ужасно совестно, но, после долгих размышлений, я решил, что больше не к кому мне обратиться с этой просьбой. Рассказы мне нужны; я должен вручить их Марксу на основании заключенного между нами договора, а что хуже всего - я должен опять читать их, редактировать и, как говорит Пушкин, "с отвращением читать жизнь свою" {276}.

Как Вы поживаете? Что нового?

Мое здоровье порядочно, по-видимому; как-то среди зимы пошла кровь, но теперь опять ничего, все благополучно.

По крайней мере напишите, что Вы не сердитесь, если вообще не хотите писать. В Ялте чудесная погода, но скучно, как в Шклове. Я точно армейский офицер, заброшенный на окраину. Ну, будьте здоровы, счастливы, удачливы во всех Ваших делах. Поминайте меня почаще в Ваших святых молитвах, меня многогрешного.

Теперь меня будет издавать не Суворин, а Маркс. Я теперь "марксист".

## Преданный А.Чехов."

Трудно передать, до чего меня обрадовало это письмо! Поработать для Чехова - какое это счастье! И все складывалось удачно: из редакции мне прислали на дом переплетенные по полугодиям комплекты газеты, Миша порекомендовал мне двух переписчиков. Беда была только в том, что никто не помнил, в каком году начал писать в газете Антон Павлович. Я отправилась за справкой к старожилу библиографу Быкову. Он был очень любезен, но ничего не помнил, и единственным /277/ результатом моего визита было то, что он продушил меня крепчайшими духами, пожимая мне руку.

Конечно, я сейчас же написала Антону Павловичу, что начинаю орудовать, и получила от него в ответ:

"За Вашу готовность помочь мне и за Ваше милое, доброе письмо шлю Вам большое спасибо, очень, очень большое. Я люблю письма, написанные не в назидательном тоне. Вы пишете, что у меня необыкновенное умение жить. Может быть. Но бодливой корове бог рог не дает. Какая польза из того, что я умею жить, если я все время в отъезде, точно в ссылке. Я тот, что по Гороховой шел и гороху не нашел; я был свободен и не знал свободы, был литератором и проводил свою жизнь поневоле не с литераторами, я продал свои сочинения за 75 тысяч и уже получил часть денег, но какая мне от них польза, если вот уже две недели я сижу безвыходно дома и не смею носа показать на улицу. Кстати, о продаже. Прогнал я Марксу прошедшее, настоящее и будущее; совершил я это, матушка, для того, чтобы привести свои дела в порядок. Осталось у меня 50 тысяч, которые (я получу их окончательно лишь через два года) будут мне давать ежегодно две тысячи. До сделки с Марксом книжки давали мне около 3 1/2 тысяч ежегодно, а за последний год я, благодаря, вероятно, "Мужикам", получил 8 тысяч. Вот Вам мои коммерческие тайны. Делайте из них какое угодно применение, но не очень завидуйте моему умению жить. Все-таки, как бы ни было, если попаду в Монте-Карло, непременно проиграю тысячи две - роскошь, о которой я доселе не смел и мечтать. А может быть, я и выиграю?

...Зачем я в Ялте? Зачем здесь так ужасно скучно? Идет снег, метель, в окна дует, от печки идет жар, писать не хочется вовсе, и я ничего не пишу" {277}.

Я лежала на полу перед развернутой книгой переплетенной газеты размером во весь лист и, макая руку в тарелку с водой, чтобы несколько смыть с нее вековую пыль, перелистывала каждый номер, читая подписи под фельетонами.

Так как Антон Павлович не помнил ни года напечатания, ни заглавия своего первого рассказа в этой /278/ газете, мне пришлось начать с самых отдаленных времен. Изредка попадались рассказы, подписанные одной буквой "Ч", и тогда я читала их, чтобы угадать, не принадлежали ли они перу Антона Павловича.

Я спросила Антона Павловича:

"Подписывались ли вы когда-нибудь одной буквой?"

Он ответил: "Не помню, матушка".

Сергей Николаевич тоже не знал.

Но рассказы "Ч" были до такой степени плохи, что я решила не обращать на них больше внимания. Таким образом я пролистала года два без всякой пользы.

Начихалась я отчаянно. Каждая страница поднимала облако пыли.

Итак, лежала я на полу и листала, а из головы не выходило письмо Чехова.

Ведь это были горькие жалобы. А Антон Павлович не легко жаловался и тосковал. Значит же, круто, тяжело ему пришлось.

Постепенно вспоминалась фраза из "О любви":

"Я был несчастлив..."

Неужели я никогда, никогда не принесу ему ничего, кроме огорчений?

Я собралась с духом и решила поговорить с Мишей. Было это вечером, в его кабинете. Он искал в ящике своего письменного стола какую-то коробочку, в которой должна была находиться сломанная запонка. Ее надо было отдать починить. Коробочка не находилась, и он сердился. Я стояла у окна, где было почти темно.

- Ты тут рылась?

- Я не открывала этого ящика.

- Рассказывай! У меня нет уголка в доме, где бы я мог...

Он не закончил фразы, потому что коробочка оказалась у него под рукой. Он стал разглядывать запонку.

- Вот что, Миша, - начала я, - мне надо с тобой поговорить.

Я упомянула о болезни Чехова и его одиночестве и тоске.

- Помнишь, ты жалел о том, что вытребовал меня телеграммами из Москвы, когда он лежал в клинике? Исправь теперь свою вину, отпусти меня на несколько дней в Ялту. Нельзя же, право, смотреть на мою дружбу с Чеховым с обычной точки зрения, нельзя не /279/ оказать ему больше доверия, больше уважения. Мой приезд развлечет, доставит ему маленькую радость.

Я говорила и удивлялась, что Миша меня не прерывает, а слушает молча. Я заранее была уверена, что наш разговор не пройдет гладко, а вызовет гром и молнии, но у меня были причины надеяться, что дело может повернуться в мою пользу.

- Почему бы мне не поехать? - продолжала я. - Ведь я уже не молода и не легкомысленна, Антон Павлович болен...

Но тут-то и разразилась гроза.

- Ах, он болен! В Ялту? К Чехову? Он болен? Конечно, болен, он чахоточный. Знаем мы этих чахоточных! Ведь это первые... (Он сказал слово, которое я повторить не могу.) Да! Это свойство болезни. Ведь это вы живете в розовом тумане, ровно ничего не знаете, ничего не понимаете.

Ах, как трудно было выдержать спокойный, мирный тон! Кровь бросилась в голову.

- Ты несправедлив, - сказала я, - и то, что ты говоришь, возмутительно. Я десять лет знаю Антона Павловича. Знаю его хорошо. Знаю и его безукоризненное отношение ко мне...

- Что ты знаешь?! - кричал Миша. - Что ты можешь знать?

Тогда и я перестала владеть собой.

Когда он любил меня и ревновал, я это понимала и прощала ему его грубость, но теперь, когда он был влюблен в другую, когда смотрел на меня только как на собственность, которую, отложив, все-таки надо было приберечь, - теперь я возмутилась и негодовала.

- Я уеду! - в заключение нашего длинного и бурного разговора заявила я. - Ты так и знай. Уеду! Почему я не только должна терпеть, но и должна всячески содействовать твоему увлечению ничтожной женщиной, а ты, где и как только можешь, препятствуешь моей дружбе с самым умным, благородным и талантливым человеком?

- Ты истеричка! - визгливым голосом закричал Миша. - Тебя лечить надо. И ты воображаешь, я не понимаю: ведь ты мне устроила сцену ревности, как самая пошлая баба. Уедешь, а на другой день после твоего приезда в Ялту появится заметка в газете: /280/ "Писательница Авилова прибыла в Ялту к Чехову". Будет публичный скандал. Я буду басней города.

А на другой день Миша был тих, любезен, предупредителен, но жаловался на здоровье - в сердце перебои, колотье.

- Так было у отца незадолго до его смерти.

Когда он ушел на службу, моя маленькая Ниночка уселась у меня на коленях, прижалась ко мне и сказала:

- Мамочка, не уезжай от нас. Нам будет очень плохо. Папа будет болен. А я буду плакать, плакать!..

- Это тебя папа научил сказать?

- Да, папа.

- А еще что он просил сказать?

- А я забыла.

Я не уехала.

Почему бы этому "армейскому офицеру" не написать хоть раз ясно и просто? Не выразить своего желания меня видеть? А если в "Шклов" уже приехал кто-нибудь, кто сумеет лучше развлечь его?

Чехов писал мне часто, но в этих письмах я уже не чувствовала призыва.

Не слышала я больше: "Я люблю вас, Надя". Все было обычно, буднично и равнодушно.

Я не поехала в "Шклов", потому что уже опять мало верила, что я там нужна.

Весной мне пришлось ехать в Москву. Между прочим, я рассказала Алеше, у которого я остановилась, что Антон Павлович хочет купить для матери и сестры в Москве дом, но не знает, как за это приняться.

- Чего же проще! - заявил Алеша, - вот мы заготовим ему списочек домов, которые продаются и, по твоему мнению, подходящи. Укажет их нам один мой знакомый, который как раз занимается продажей и покупкой домов. Он, конечно, жулик, но меня он надувать не захочет. За это ручаюсь. Приступим?

- Ты знаешь, мне ничего не поручено.

- Ну, еще бы. Чехову это бы и в голову не пришло. Но раз он хочет купить и затрудняется, то надо помочь.

Мы оба весело смеялись.

- Люблю покупать дома и нанимать квартиры, - /281/ заявил брат. - И никогда никто не подозревает, что я забавляюсь, а на самом деле не мог бы купить и курятника. Суетятся, ухаживают, смотрят в глаза... А я хожу и подробно все оглядываю. Ах, какие это здания. Один раз я чуть не дворец купал...

Так как мне приходилось все равно много ездить по городу с тем же комиссионером, который взялся помочь купить нужную мне мебель для дома в деревне, то заодно я смотрела и продающиеся дома, пригодные для Чехова. Я убедилась, что мой комиссионер умеет приобретать вещи за их половинную стоимость, пользуясь ему одному знакомыми условиями, разнообразными связями, а главное, своим опытом и пониманием.

- Стараюсь для вашего брата, - часто напоминал он мне.

- А для Чехова постараетесь?

- Это уж будьте покойны. Прямо, можно сказать, подарю ему дом. Мы тоже с понятием в людях. Убыток с другого покупателя наверстаем.

Но Антон Павлович написал мне 23 марта: "Деньги мои, как дикие птенцы, улетают от меня, и через года два придется поступить в философы" {281}.

А в апреле: "Если мать и сестра еще не отказались от мысли купить себе дом, то непременно побываю у А. на Плющихе. Если я куплю дом, то у меня окончательно не останется ничего - ни произведения, ни денег. Придется поступить в податные инспекторы" {281}.

Так мне и не пришлось купить Антону Павловичу дом.

В Петербурге дело с перепиской приходило к благополучному концу.

"Вы присылаете не бандероли, а тюки, - писал Антон Павлович. - Ведь марок пошло по крайней мере на 42 рубля" {281}.

В середине апреля он уже приехал в Москву. Я ему написала, что 1 мая буду проездом на вокзале, и он ответил:

"1-го мая я буду еще в Москве. Не приедете ли Вы ко мне с вокзала утром пить кофе? Если будете с детьми, то заберите и детей. Кофе с булками, со сливками; дам и ветчины".

Но мне приехать к Чеховым было очень неудобно. От поезда до поезда было часа два или немного больше, /282/ и надо было накормить всех завтраком, выхлопотать отдельное купе. Ехать на каких-нибудь четверть часа не стоило. Так я и написала Антону Павловичу. Едва мы кончили завтракать, как увидели

Антон Павловича, который шел, оглядываясь по сторонам, очевидно отыскивая нас. В руках у него был пакет.

- Смотрите, какие карамельки, - сказал он поздоровавшись. -

Писательские. Как вы думаете: удостоимся ли мы когда-нибудь такой чести?

На обертке каждой карамельки были портреты: Тургенева, Толстого, Достоевского...

- Чехова еще нет? Странно! Успокойтесь: скоро будет.

Антон Павлович подозвал к себе детей и взял Ниночку на колени.

- А отчего она у вас похожа на классную даму? - спросил он.

Я возмутилась. - Почему - классная дама?

Но он так ласково перебирал локоны белокурых волос и заглядывал в большие серые глаза, что мое материнское самолюбие успокоилось. Ниночка припала головкой к его плечу и улыбалась.

- Меня дети любят, - ответил он на мое удивление, что девочка несколько не дичится его. - А я вот что хочу предложить вам: сегодня вечером играют "Чайку" только для меня{282}. Посторонней публики не будет. Оставайтесь до завтра. Согласны?

Согласиться я никак не могла. Надо было бы везти детей, француженку и горничную в гостиницу, телеграфировать сестре в деревню, телеграфировать мужу в Петербург. Все было чрезвычайно сложно и трудно.

- Вы никогда со мной ни в чем не согласны! - хмуро сказал Антон Павлович. - Мне очень хотелось, чтобы вы видели "Чайку" вместе со мной. Неужели нельзя это как-нибудь устроить?

Но как мы ни прикидывали, все оказывалось, что нельзя.

- А у вас есть с собой теплое пальто? - вдруг спросил Антон Павлович. - Сегодня очень холодно, хотя первое мая. Я в драповом озяб, пока сюда ехал.

- И я очень жалею, что вы ехали, - сказала я. - Еще простудитесь по моей вине.

- А с вашей стороны безумие ехать в одном костюме. /283/ Знаете, я сейчас напишу записку Маше, чтобы она привезла вам свое драповое. Я сейчас же пошлю... Она успеет.

Мне стоило большого труда уговорить его отказаться от этой мысли.

- Так телеграфируйте мне, если простудитесь, и я приеду вас лечить. Ведь я хороший доктор. Вы, кажется, не верите, что я хороший доктор?

- Приезжайте ко мне не лечить, а погостить, - попросила я. - На это вы согласны?

- Нет! - сказал он быстро и решительно. И сейчас же перевел разговор на другое.

- Пришлось вам повозиться со мной эту зиму! Неужели вы читали все, что переписывали ваши писатели? Как мне вас было жалко. А дом-то вы мне покупали... - Он хмуро улыбнулся. - Не было у бабы заботы, да завела баба поросю...

Пришел носильщик и объявил, что можно занимать места, взял багаж и пошел, а следом за ним побежали дети и француженка.

Антон Павлович взял мой ручной саквояж и две коробки конфет, которые мне привезли провожающие в Петербурге. Мы тоже собрались идти, когда я заметила, что пальто его расстегнуто. Так как руки его были заняты, то я остановила его и стала застегивать пальто.

- Вот как простужаются, - сказала я.

- И вот как всегда, всегда напоминают, что я больной, что я уже никуда не пойдусь. Неужели никогда, никогда нельзя этого забыть? Ни при каких обстоятельствах?

- А я вот здорова, да насилу отговорила вас посылать за теплой одеждой Марии Павловны. Вам можно заботиться о том, чтобы я не простудилась, а мне нельзя?

- Так зачем же мы ссоримся, матушка? - спросил Антон Павлович и улыбнулся.

- Вы сегодня не в духе, - заметила я и, смеясь, прибавила: - хотя в новых калошах.

- Совсем не новые, - опять сердито возразил Антон Павлович.

Мы шли то платформе.

- Вы знаете: теперь уже десять лет, как мы знакомы, - сказал Чехов. - Да. Десять лет. Мы были молоды тогда.

- А разве мы теперь стары? /284/

- Вы - нет. Я же хуже старика. Старики живут, где хотят и как хотят. Живут в свое удовольствие. Я связан болезнью во всем...

- Но ведь вам лучше.

- Оставьте! Вы сами знаете, чего стоит это улучшение. А знаете, - неожиданно оживляясь, прибавил он, - мне все-таки часто думается, что я могу поправиться, выздороветь совсем. Это возможно. Это возможно. Неужели же кончена жизнь?

Из окна купе смеялись и кивали три детских личика. Опять подбежал носильщик, получил свою мзду и исчез.

- Пойдемте в вагон, - предложил Антон Павлович. - Мало того, что у вас скверный характер, вы легкомысленны и неосторожны. Ваш костюм меня возмущает. Как вы поедете ночью на лошадях?.. Сколько верст?

Ребята обрадовались нам, как будто мы давно не видались. Антон Павлович сейчас же опять взял Ниночку на колени, а мой сын протянул Антону Павловичу книгу:

- Я ее купил здесь в киоске. Вы это читали?

Антон Павлович взял книгу и перелистал ее.

- Я эту книгу читал, - очень серьезно сообщил он. - Это сочинение Пушкина. Это хорошая книга. Ты хорошо выбрал.

Лодя просиял.

- Это стихи. Вы любите стихи, Антон Павлович?

- Да, я очень люблю стихи Пушкина. Пушкин прекрасный поэт.

- Чуть не забыла отдать вам ваш последний рассказ, - спохватилась я. - Почему-то он остался...

- Воображаю, какая это дрянь. Вы его тоже читали?



- Нет, это не дрянь. Это рассказ Чехонте. Я очень люблю рассказы Чехонте. Это прекрасный писатель, - смеясь возразила я.

- А сегодня вечером пойдет "Чайка". Без публики, только для меня. Ах, какие артисты. Какие артисты. А я сердит на вас, что вы не захотели остаться...

Послышался звонок, и Антон Павлович встал.

Мне вдруг вспомнилось прощание Алехина с Луганович в вагоне перед самым отходом поезда: "Я обнял ее, она прижалась к моей груди..." Я почувствовала, как вдруг заколотилось сердце и будто что-то ударило в голову. / 285/

"Но мы прощаемся не навсегда, - старалась я внушить самой себе. - Возможно, что он даже приедет ко мне или к Сергею Николаевичу".

Я не видела, как Антон Павлович простился с детьми, но со мной он не простился вовсе и вышел в коридор. Я вышла за ним. Он вдруг обернулся и взглянул на меня строго, холодно, почти сердито.

- Даже если заболеее, не приеду, - сказал он. - Я хороший врач, но я потребовал бы очень дорого... Вам не по средствам. Значит, не увидимся.

Он быстро пожал мою руку и вышел.

- Мама, мама, - кричали дети, - иди скорей, скорей...

Поезд уже стал медленно двигаться. Я видела, как мимо окна проплыла фигура Антона Павловича, но он не оглянулся.

Я тогда не знала, не могла предполагать, что вижу его в последний раз.

Тем не менее, я больше никогда его не видела, и наше прощание в вагоне было прощанием навсегда. Почему? Я не знаю.

В эту холодную весеннюю лунную ночь в нашем саду непрерывно пели соловьи. Их было несколько. Когда тот, который пел близко от дома, замолкал, слышны были более дальние, и от хрустального звука их шелканья, от прозрачной чистоты переливов и трелей воздух казался еще более свежим и струистым. Я стояла на открытом выступе балкона, куталась в платок и глядела вдаль, где над верхушками деревьев, рассыпавшись, мерцали звезды.

Кончилось ли теперь представление "Чайки"? Вероятно, кончилось. Вероятно, после представления ужинают. Станиславский, Немирович, исполнители. Красивые, изящные артистки (хороша бы я была между ними в своем дорожном костюме!). Антон Павлович доволен, счастлив, он уже, конечно, забыл, что рассердился на меня за мой отказ остаться. Он счастлив, но упорно, бессменно стояло передо мной лицо Антона Павловича таким, каким я его видела утром: постаревшим, болезненным, строгим и требовательным. "Если даже заболеее - не приеду. Я дорого потребую, вам не по средствам". Ушел, почти не простившись. /286/

Но теперь он доволен, конечно, не думает обо мне. Солнце мое! О солнце мое, такое скупое на тепло и ласку для меня!

Но и в теплом платке было очень холодно. Без малейшего ветра, воздух набегал волнами, и в нем, как хрустальные ледяные ключи, были соловьиные трели.

Все, что последовало, было для меня мучительной загадкой. Я написала ему. Он не ответил. Я написала вторично, предполагая, что письмо мое пропало.

Но и на второе письмо не было ответа. Долго спустя, когда я узнала, что он в Крыму, я написала в Ялту.

Этого последнего письма, которого я себе долго, долго простить не могла, потому что в нем я уж не могла скрыть ни своей любви, ни своей тоски, - этого письма он не мог не получить, так как оно было заказное. Но Антон Павлович и на него не ответил, и я поняла, что между нами не недоразумение, а полный разрыв. Я поняла, что Антон Павлович твердо решил порвать всякие отношения, а раз он это решил, так оно и будет.

Я растерялась. Целыми часами сидела я где-нибудь в запущенной части сада, в грачиной роще или на канаве, и думала свою неразрешимую думу. Почему? За что? За то, что я отказалась остаться на представление "Чайки"? Нет, этого не может быть! За то, что я застегнула ему пальто? За то, что, возможно, после бессонной ночи в вагоне я была неавантажна, неинтересна, некрасива? Возможно еще, что, окруженная детьми, багажом, у меня был вид самодовольной наседки?

Чего я только не передумала! но ни на одном предположении остановиться не могла: все было слишком невероятно для Антона Павловича, не только невероятно, но даже обидно и унижительно для него. А если и приходило в голову, то... должно же было хоть что-нибудь прийти в голову. Но важно было не то, что я думала, а то, что я чувствовала. Это было не горе, а какая-то недоумевающая и испуганная растерянность.

Как-то раз видела я, как мальчишки на бульваре выжгли глаза мыши, а потом пустили ее бегать. Мышь металась, кружилась и пищала, а мальчишки хохотали.

Мне выжгли что-то, что прежде давало мне /287/ уверенность, равновесие, спокойствие. У меня осталось одно недоумение: почему все так изменилось? И я сама и все окружающее? И как жить в этом новом, тяжелом мире?

Странно: у нас с Антоном Павловичем никогда не было "назидательных" разговоров. Он не высказывал мыслей, не поучал, не убеждал; он даже всегда уклонялся от отвлеченных разговоров, а любил слушать рассказы из пережитого. И больше любил слушать, чем говорить. А между тем такое громадное влияние он имел на людей! Чем он действовал? Выражением глаз? Складкой на лбу? Тем, как он слушал? Для меня было несомненно, что он воспитал меня, что он помог мне разобраться и утвердиться во многом. Рассказать о том, как это произошло, я бы не могла. Мне кажется, одно его присутствие вносило ясность, глубину и благородство в жизнь, Прогоняло духоту и затхлость.

И этого друга я лишилась!

Как-то вдруг захлопнулось окно на воздух, на солнце, на даль...

Конечно, можно и нужно было продолжать жить так, как уже давно наладилась жизнь. Обыкновенная женская жизнь. Да и все в ней было хорошо: Мишино увлечение меня мало беспокоило, я очень скоро уверилась, что оно ничуть не влияло на его отношение к семье; дети у меня были прекрасные: здоровые, способные, милые. Наконец, мои литературные успехи давали мне немало радости. Даже Миша стал относиться к моим занятиям гораздо снисходительнее и потихоньку от меня собирал все газеты и журналы, где были

напечатаны мои рассказы. Когда я это случайно узнала, меня это очень порадовало. Вообще все было хорошо. Наше семейное счастье процветало.

Но душу свою я разорвала пополам.

## XVIII

Как-то я зашла к Худековым; по обыкновению, я собиралась пройти через гостиную в кабинет Сергея Николаевича, как вдруг Надя выбежала мне навстречу, схватила меня за руку и увела в бильярдную.

- Сергей Николаевич занят? Кто у вас? /288/

- Нет, не то, - сказала Надя, - мне надо с тобой поговорить. Слушай... Ты знаешь? ты знаешь, что Антон Павлович женился? Знала? Нет?

Нет, я не знала.

- Мне все равно, - ответила я. - Не все ли мне равно?

Но сейчас же я почувствовала сильную слабость, холодный пот на лбу и опустилась на первый попавшийся стул.

Надя мочила мне голову, дала что-то выпить. Я скоро пришла в себя.

- Вот история! - смеясь сказала я. - С чего это мне стало дурно? Ведь мне, правда, все равно.

- Можешь идти? Я тебя провожу. А к Сереже не заходи, на тебе лица нет. Мы вышли на улицу.

- На Книппер женился?

- Да. Ужасно странная свадьба...

Она стала рассказывать то, что слышала.

- Ни любви, ни даже увлечения...

- Ах, оставь пожалуйста! - сказала я. - Конечно, увлекся. И прекрасно сделал, что женился. Она артистка. Будет играть в его пьесах. Какая связь! Общее дело, общие интересы. Прекрасно. Я за него очень рада.

- Но, понимаешь, он очень болен. Что же, она бросит сцену, чтобы ухаживать за ним?

- Я уверена, что он этого и не допустит. Я знаю его взгляд на брак.

- Нет, это не брак. Это какая-то непонятная выходка. Что же ты думаешь, что Книппер им увлечена? С ее стороны это расчет. А разве он этого не понимает?

- Ну, что же? и расчеты часто бывают удачные. Все-таки очень хорошо, что он женился. Жалко, что поздно.

Надя опять стала рассказывать то, что говорили об этой свадьбе.

- Даже никто из близких не знал и не ожидал. И на жениха он был так мало похож...

Она проводила меня до дома и ушла обратно.

Через некоторое время я возвращалась домой из Союза писателей, и меня провожал один из его членов. Фамилию его я забыла. /289/

- Я только что из Москвы, - говорил он, - и, между прочим, был у Чехова. Ведь вы с ним знакомы?

- Да. Встречались.

- Вот... Он мне говорил... Он даже сказал, что хорошо знает вас. И очень давно. Спрашивал о вас. И у меня осталось впечатление, что он очень... да, очень тепло к вам относится.

Я молчала.

- Видел и его жену. Артистку Книппер.

- Понравилась?

Он сделал какой-то сложный жест рукой.

- Артистка. Одета этак... - опять жест. - Движения, позы... Во всем, знаете, особая печать. Странно, рядом с Антоном Павловичем. Он почти старик, осунувшийся, вид болезненный... На молодожена не похож. Она куда-то собиралась, за ней заехал Немирович...

Опасаясь сплетен, я быстро перевела разговор на другую тему.

Очень хотелось спросить: что он обо мне спрашивал? Что он говорил? Из чего можно было получить впечатление, что он тепло ко мне относится?

Но я ничего не спросила. Мне было достаточно и того, что я слышала, чтобы едва сдерживать свое волнение.

С этой поры я часто слышала разговоры об этой свадьбе. Всегда говорили: "странно". А я не могла понять: почему странно? Разве не естественно, что писатель-драматург влюбился в артистку, для которой он писал роли? Она была талантлива, приятной наружности.

Когда-то, очень давно, случилось так, что мы играли с ней вместе в одном любительском спектакле. Ставили пьесу: "Странное стечение обстоятельств" {289}. Помню только, что в этой пьесе были две Софьи Андреевны и одну играла я, а другую - Книппер. Режиссировал Рощин-Инсаров и предсказывал мне блестящий успех, если я поступлю на сцену. Книппер была тогда очень незаметной, застенчивой, молчаливой молодой девушкой. Говорили, что у нее очень строгий отец. Брат ее, Константин, бывал у нас в доме и тоже жаловался на чрезмерную строгость отца. Мать я видела, и она на меня произвела впечатление очень чопорной и натянутой. Мы попытались познакомиться домами, но это не вышло. /290/

Как-то, катаясь на тройках, вздумалось нам заехать за Ольгой Леонардовной и Константином. Подкатили мы со звоном и шумом к подъезду Книппер, стали звонить, как вдруг из двери испуганно выскочил Константин и замахал на нас руками. Он сказал что-то и сейчас же запер дверь.

- Что он сказал? Что он сказал? - спрашивали из саней.

- У него только что умер маленький брат, - шептали те, кто ходил звонить.

- Умер брат? Брат?

Мы отъехали шагом, чтобы не слышно было бубенцов. Все чувствовали себя так, будто были в чем-то виноваты, и стыдились. Настроение сразу упало.

Можно ли и надо ли мне было поздравить Антона Павловича? Пожелать ему от души, и от всей души, счастья и здоровья? Мне этого хотелось, вместе с

тем я не решалась. За это долгое время после разрыва я успела многое понять и обдумать.

И мне казалось, что я поняла верно.

"Знаете ли вы, что теперь уже десять лет, как мы знакомы? Да, десять лет".

Целых десять лет неопределенных и напряженных отношений. Два раза пытался он положить конец этой неопределенности. Надо было сойтись или разойтись. Но "нам не везло". Объясниться до конца не удалось, помешала болезнь. ("Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти?") Кроме моей семьи, встала между нами еще и эта преграда: болезнь. И вот он решил одним ударом покончить и с нашей "тихой и грустной любовью" и со всеми сомнениями, надеждами и ожиданиями. Случилось так, что мы, как и в его рассказе, прощались в вагоне. Почему мне не вспомнилось тогда, что его строгое, холодное, почти злое лицо, когда он повернулся ко мне, чтобы проститься, было совершенно такое же, как несколько лет назад, когда он сидел у меня и говорил: "Я вас любил. Знали ли вы это?" Я тогда испугалась его "ненавидящих" глаз. А он страдал. И в вагоне он страдал. Он сказал, что не приедет ко мне ни за что и что мне это стоило бы слишком дорого: "Я дорого возьму". А он только что видел меня с детьми и знал, что эта цена мне непосильна. Теперь мне было ясно, что это была последняя попытка узнать, насколько я его /291/ люблю. И потом он ушел и даже не оглянулся. Он твердо решил: это конец.

Так нужно ли и можно ли было мне поздравить его? Я сперва решила, что невозможно, но когда я узнала, что он спрашивал обо мне и "отзывался тепло", желание мое написать стало почти непреодолимо.

Я узнала, что он один в Ялте, а Книппер в Москве, и я сделала вот что: я написала записочку, в которой передавала просьбу нашей общей знакомой, А.А.Луганович, переслать ее письмо П.К.Алехину, адрес которого Антону Павловичу, наверное, известен. Письмо Луганович я положила в отдельный конверт. Луганович писала Алехину, что узнала об его женитьбе и горячо, от всего сердца желает ему счастья. Она писала, что и сама успокоилась и, хотя вспоминает его часто, вспоминает с любовью, но без боли, так как в ее личной жизни много радостей и удовольствий. Она счастлива и очень хотела бы знать, счастлив ли также и он.

Потом она благодарила его за все, что он ей дал. "Была ли наша любовь настоящая любовь? Но какая бы она ни была, настоящая или воображаемая, как я благодарю Вас за нее! Из-за нее вся моя молодость точно обрызгана сверкающей, душистой росой. Если бы я умела молиться, я молилась бы за Вас. Я молилась бы так: Господи! пусть он поймет, как он хорош, высок, нужен, любим. Если поймет, то не может не быть счастлив".

И Анна Алексеевна получила ответ от Алехина через мое посредство.

"Низко, низко кланяюсь и благодарю за письмо. Вы хотите знать, счастлив ли я? Прежде всего я болен. И теперь я знаю, что очень болен. Вот Вам. Судите, как хотите. Повторяю, я очень благодарен за письмо. Очень.

Вы пишете о душистой росе, а я скажу, что душистой и сверкающей она бывает только на душистых, красивых цветах.

Я всегда желал Вам счастья, и, если бы мог сделать что-нибудь для Вашего счастья, я сделал бы это с радостью. Но я не мог.

А что такое счастье? Кто это знает? По крайней мере я лично, вспоминая свою жизнь, ярко сознаю свое /292/ счастье именно в те минуты, когда, казалось тогда, я был наиболее несчастлив. В молодости я был жизнерадостен - это другое.

Итак, еще раз благодарю и желаю Вам и т.д.

Алехин".

Это письмо, подписанное Алехиным, я в числе прочих не отдала Марии Павловне для собрания "Писем" {292}. Почему Алехин? Надо было бы объяснять, выдать нашу тайну. Письмо у меня было украдено с другими письмами и бумагами. Украдено из-за красивого ящичка, в котором хранилось.

Но это было не последнее письмо Антона Павловича. Он мне ответил еще в 1904 году.

Тогда начиналась японская война, и мне очень хотелось сделать что-нибудь в пользу раненых. Я была возбуждена, полна энергии, а мне некуда было приложить свои силы.

Тогда я задумала издать сборник. Знакомых писателей у меня было много, и со многими у меня были хорошие отношения. Для печатания книги я надеялась на Сергея Николаевича. Я мечтала, что и материал и издание будут непременно очень хороши, а мне все обойдется чуть не даром. Значит, моя помощь одной моей работой и хлопотами принесет немало денег.

Прежде всего я написала Чехову.

Он ответил, что в настоящее время у него нет ни одной подходящей рукописи и что он вообще моей затее не сочувствует. "Если Вы не прочь выслушать мое мнение, то вот оно: сборники составляются очень медленно, туго, портят составителю настроение, но идут необыкновенно плохо. Особенно сборники такого типа, как Вы собираетесь издать, т.е. из случайного материала. Простите мне, ради бога, эти непрошенные замечания, но я бы повторил их пять, десять, сто раз, а если бы мне удалось удержать Вас, то я был бы искренно рад. Ведь пока Вы работаете над сборником, можно иным путем собрать тысячи, собрать не постепенно, через час по столовой ложке, а именно теперь, в горячее время, пока не остыло еще желание жертвовать. Если хотите сборник во что бы то ни стало, то издайте небольшой сборник ценою в 25-30 коп., сборник изречений лучших авторов (Шекспира, Толстого, Пушкина, Лермонтова и пр.) /293/ насчет раненых, сострадания к ним, помощи и пр., что только найдется у этих авторов подходящего. Это и интересно, и через 2-3 месяца можно уже иметь книгу, и продается очень скоро. Простите за советы, не возмущайтесь. Кстати сказать, в настоящее время печатается не менее 15 сборников..."

Это он писал 7 февраля; а 14 февраля:

"Мн. Лидия Алексеевна. Завтра уезжаю я в Ялту. Если вздумаете написать мне, то я буду Вам очень благодарен.

Если Вы не издаете сборника, если так решили, то я очень рад. Редактировать и править сборники беспокойно, утомительно, доходы же обыкновенно невелики, часто убытки. По-моему, лучше всего напечатать в журнале свой рассказ, а потом гонорар пожертвовать в пользу Красного Креста.

Простите, я замерз, только что вернулся из Царицына (ехал на извозчике), рука плохо пишет, да и укладываться нужно. Всего Вам хорошего, главное будьте веселы, смотрите на жизнь не так замысловато; вероятно, на самом деле она гораздо проще. Да и заслуживает ли она, жизнь, которой мы не знаем, всех мучительных размышлений, которыми изнашиваются наши российские умы, - это еще вопрос. Крепко жму руку и шлю сердечное спасибо за письмо.

Будьте здоровы и благополучны.

Преданный А.Чехов".

Сотни раз перечитывала я это письмо. Откуда это новое настроение Антона Павловича? "Жизнь проще, не стоит мучительных размышлений..." И мне казалось, что он горько, презрительно улыбается, оглядываясь в прошлом на себя. Не так жил, не так думал и чувствовал. Пропала жизнь!

## ***В.Н.ЛАДЫЖЕНСКИЙ. В СУМЕРКИ***

Дорогой памяти А.П.Чехова

В свежий осенний день, усталый, я возвращался домой по степи. Поблекшая трава изредка дрожала от набегавшего ветерка, и казалось, что ей было холодно, страшно холодно. Впереди, в овраге, вилась безыменная речка и на изгибах блестела стальной, холодной чешуей, в которую некому уже было глядеться: сторожевые камыши умерли, далекая синева неба помутнела в наступавших сумерках, а одинокая речка шла вперед, как путник, перед которым нет никакой цели. И я шел вперед, замедляя от усталости шаг, и холодное одиночество вместе с надвигавшимися сумерками охватывало меня все больше и больше. Глазу не на чем было остановиться в пустой и неприятной степи с ее дрожавшей травой. Вдруг где-то далеко, далеко что-то застучало и смолкло, и я долго прислушивался к умиравшим в воздухе звукам. Потом опять застучало, и похоже было на то, что кто-то колотит по застывшей земле палкой. Я остановился и стал вглядываться. Что-то большое с неуловимыми очертаниями надвигалось на меня по дороге, а стук переходил в ровный и непрерывный грохот.

"Да это кто-то едет на телеге", - сообразил я и посторонился.

Мужик в рваном полушубке ехал, стоя на телеге, и размахивал концами вожжей, которые тяжело шлепались по бокам его потной клячонки. Он гнал куда-то в степь, торопясь, и неизвестно зачем, поравнявшись со мной, крикнул: /295/

- Держись, барин!

И опять я слушал, как умирал стук в пустой степи, и смотрел, как обрывки туч, все время заслонявшие угасавшее солнце, в недосыгаемой высоте гнались за исчезнувшим в степи мужиком. Стук наконец замолк, и стало почему-то еще неприятнее... Я прибавил шагу. Слава богу, недалеко и дом. Вот и роща на краю оврага. Но какая она теперь угрюмая, суровая и строгая со своими полуобвалившимися листьями! Здесь, внизу, тихо, так тихо, как в покинутом храме, и только вверх идет сдержанный, точно негодующий ропот. Я присел на завалинке лесной избушки рядом со стариком караульщиком. Старик смотрел куда-то вдаль, в степь, и молча жевал сморщенным, беззубым ртом. Долго сидели мы молча, и каждый был занят своими, совсем чужими друг другу мыслями. Вдруг на самом краю горизонта, прорвав тучи, вспыхнуло солнце. Холодное, умиравшее, как все кругом, оно на несколько минут бросило яркие блики на степь, а в роще над нашими головами, как живое, зашевелилось червонное золото листьев. На противоположном берегу оврага осветилось село; стали видны и высокие журавли колодцев, и лохматые, почерневшие от дождя и времени крыши изб, и кучи свежей соломы на гумнах. Женский визгливый голос запел было песню, но скоро оборвался, точно конфузясь. И солнце погасло... О, какой холодный, жуткий мрак наступил сразу! Исчезли очертания села, оврага и рощи, и мрак торжествовал свою победу в пустой, холодной, неприятной степи.

- Скучно, дедушка! - проговорил наконец я.

- Что за скука. Кака така скука! - отвечал он, несколько помолчав. -

Кончилось, наше времечко, на полати пора на всю зиму - вот что. Только бедно больно везде, ах как бедно! Бедность, ну и, известно, грязь, вонь и все такое. Бедно, а ты говоришь - скука!

Мы еще посидели немного, и я побрел в свой пустой, одинокий дом, торопясь к уютному свету рабочей лампы. Но не спорилась у меня в этот вечер работа, и не мог я к ней приковать своих мыслей...

С фотографической карточки на письменном столе глядит на меня твое лицо, милый, дорогой, ушедший навсегда друг. В моей памяти живы и всегда будут жить /296/ твои речи, твой короткий смешок и выражение твоих глаз - то грустных и тоскующих, то вспыхивающих искрами могучего, непобедимого юмора. Ты любил жизнь и ушел из нее, как яркий солнечный луч. Встретив сумерки жизни, ты осмыслил их и воплотил в неувядающих образах. Но как ты верил, как мы все верили в твой призыв к жизни, красивой, изящной и умной! Ведь она придет же к нам, эта жизнь! И угасая на далекой чужбине, недаром же ты сравнивал чужую жизнь с своей родной, недаром твоя умиравшая мысль билась такой горячей, страстной любовью к родной стороне. Только зачем, зачем так рано красивые цветы, лавровые венки и венки из вишневых листьев, сорванные и сплетенные для тебя твоей родиной, достались твоей могиле?... С фотографической карточки на письменном столе глядит на меня твое лицо, милый, дорогой друг... Я по-прежнему, но теперь уже мысленно, беседую с тобой, и тихо теплится моя одинокая рабочая лампа. А за окном уже давно кончились



сумерки и стоит молчаливая, холодная ночь. И мне кажется, что я разгадал ее думы: она ждет. Ей страстно хочется одного - рассвета и солнца, яркого, горячего солнца...

## ИЗ ВОСПОМИНАНИИ ОБ А.П.ЧЕХОВЕ

О Чехове можно писать очень много. Следовало бы припомнить каждую его яркую мысль, останавливаться на каждом значительном выражении, чтобы облегчить этим работу его будущего биографа при восстановлении этой огромной фигуры в нашей жизни и литературе. Настоящие заметки не претендуют на это. В них мне хотелось отметить только некоторые и притом общие черты того целостного впечатления, которое всегда производил на меня почивший художник.

Познакомился я с А.П.Чеховым в Петербурге, сколько припоминаю, в самом конце восьмидесятых годов{296}. В ту пору собирался кружок молодых начинающих писателей у А.Н.Плещеева, в его небольшой квартирке на Спасской площади. А.Н.Плещеев, тогда уже старик, бывший с материальной нуждой, - это было еще до получения им наследства, - оставался, тем не менее, идеалистом в самом хорошем значении этого слова. /297/ Работал он тогда в журнале "Северный вестник" {297} вместе с покойным Н.К.Михайловским. По вечерам на его гостеприимный огонек собирались молодые писатели и особенно поэты, которым он покровительствовал и выводил их в литературный свет, и здесь до поздней ночи раздавались бесконечные споры и лились горячие речи. Чаше других, кажется, кроме меня, бывали в эту пору у Плещеева - Мережковский, Баранцевич, проф. Фаусек, тогда еще готовившийся к кафедре, и приятель маститого хозяина - тоже маститый поэт - П.И.Вейнберг. Посещали Плещеева и артисты, и в юной компании начинающих поэтов часто можно было встретить Стрепетову, Пасхалову, Свободина и Давыдова. Хорошее это было время, время молодых, горячих споров и надежд, имеющих свойство окрылять только юность да хозяина, которому суждено было донести душевную молодость до гроба. Вот здесь-то в один из зимних вечеров привелось мне встретиться и познакомиться с А.П.Чеховым. Молодой и красивый, с прекрасными задумчивыми глазами, он на меня с первого же раза произвел неотразимое, чарующее впечатление. Он жил тогда в Москве и приезжал ненадолго в Петербург по зимам, где на сцене шли его водевили, а в "Новом времени" печатались его рассказы. Это был период его художественной деятельности, когда знакомое в литературной среде имя Антоши Чехонте уступало уже в широкой публике первым лучам славы имени Антона Чехова: помню, изданные Сувориным "Хмурые люди" и "Пестрые рассказы" как раз в это время производили сенсацию{297}. По обыкновению мы и в этот раз засиделись до поздней ночи и говорили о литературе и общественной жизни. Чехов показался мне малоразговорчивым, каким он и был на самом деле. Говорил он охотно, но больше отвечал, не произнося, так сказать, монологов. В его ответах проскальзывала иногда ирония, к которой я жадно прислушивался, и я подметил

при этом одну особенность, так хорошо памятную знавшим А.П.Чехова: перед тем, как сказать что-нибудь значительно-остроумное, его глаза вспыхивали мгновенной веселостью, но только мгновенной. Эта веселость потухала так же внезапно, как и появлялась, и острое замечание произносилось серьезным тоном, тем сильнее действовавшим на слушателя. Вышли мы вместе на улицу уже после ужина. Над Петербургом стояла /298/ тихая и мягкая зимняя ночь. Нам было по дороге, и мы шли, продолжая разговор этого вечера на общественные и литературные темы. Чехов говорил о необходимости настроения в стихотворениях. Говорил он волнуясь и повторял, что желал бы быть понятен. Смысл его речи был тот, что вся жизнь целиком может давать содержание для художественной работы, которая характеризуется правдивостью настроения изображаемого.

- Я же ничего сегодня и не отрицал в нашем литературном споре, - сказал он и, остановившись, прибавил: - Только не надо нарочно сочинять стихи про дурного городского! Больше ничего.

Мы пошли дальше вдоль тихой и пустынной улицы...

Через несколько дней встретились мы на Николаевском вокзале как старые знакомые, совсем по-приятельски. С Чеховым легко было и знакомиться и дружиться: до такой степени влекла к нему его простота, искренность и впечатление (я не умею иначе выразиться) чего-то светлого, что охватывало его собеседника. Мы ехали вместе в Москву, весело разговаривая, выходили на станциях и, шутя, пытались по внешнему виду определять общественное положение и характер пассажиров. Дорогой Чехов уговаривал меня поехать с ним в далекое путешествие. Он собирался тогда на Сахалин, и с каким увлечением говорил он о возможности видеть чужие, малознакомые фантастические страны - Индию и Японию. Вернуться предполагал он через всю Сибирь, представлявшую, по тогдашнему времени, тоже неведомую землю. Особенно сильно интересовала его все-таки каторга {298}.

- Ее надо видеть, непременно видеть, изучить самому. В ней, может быть, одна из самых ужасных нелепостей, до которых мог додуматься человек со своими условными понятиями о жизни и правде - говорил он.

И уже потом, много лет спустя, в Мелихове, интересуясь громким и запутанным уголовным процессом Тальмы в Пензе {298} и расспрашивая меня о вероятности преступления обвиненного, Чехов говорил грустно:

- И вот сидит он теперь на Сахалине - скучный и унылый, и у него вечная изжога от сырого и дурно пропеченного хлеба, - кому это нужно!

Мне было жаль и досадно до боли, что я не мог согласиться на предложение Чехова. Обаятельная личность товарища по путешествию, возможность смены /299/ впечатлений и настроений, широкая задача путешествия, которую ставил себе Чехов, - все звало меня с ним... Но для меня начиналась в это время пора земской деятельности, и иные надежды и ожидания призывали меня...

Расстались мы в Москве, где я пробыл несколько дней и познакомился с милой и приветливой семьей Чехова. Мы вместе посещали редакции знакомых журналов; при посредстве Чехова я приобрел несколько новых и милых

знакомств, чувствуя, как с каждым днем его обаяние как человека захватывает меня все больше и больше. Через несколько дней я уехал в глухую провинцию, унося в душе искреннюю, дружескую привязанность к одному из самых милых людей, которых я когда-либо встречал, и находясь под впечатлением его огромного таланта. И когда на другой день полупустой и холодный вагон громыхал по пустой и холодной степи, я ни о чем другом не мог думать, как об этом человеке.

Прошло много времени. Мы встретились опять в Москве, уже после путешествия Чехова на Сахалин. Месяца два провели мы, постоянно встречаясь. Мы вместе бывали в театрах и у многочисленных знакомых, сошлись и подружились окончательно, с неизбежным и традиционным брудершафтом. По-прежнему Чехов был молчаливым и необыкновенно скромным человеком, несмотря на свою известность.

- Был со мной в Петербурге смешной случай, - рассказывал он мне. - Сказали мне, что Полонский очень хотел бы со мной познакомиться, и повезли меня (кажется, Лейкин или Голике) на один из его журфиксов. Ну, приехали мы, знакомимся. При знакомствах всегда называют фамилии так, что ничего не разберешь. Так и тут: слышалось не то Чижев, не то Чехов. Полонский и остальные гости не обратили на меня никакого внимания, и просидел я молча целый вечер в уголке, недоумевая, зачем я понадобился Полонскому или зачем нужно было знакомым уверять меня, что я ему интересен. Наконец стали прощаться. Полонскому стало неловко и захотелось сказать мне что-нибудь любезное. "Вы, - говорит он мне, - все-таки меня не забывают, заботятся когда-нибудь, ведь мы с вами, кажется, и прежде встречались, ведь ваша фамилия Чижиков?" - "Нет, Чехов", - сказал я. "Батюшки, что же вы нам раньше-то этого не сказали!" - закричал хозяин и /300/ даже руками всплеснул. Очень смешное приключение вышло, - добродушно и конфузливо закончил свой рассказ Чехов.

И здесь, во время этой московской жизни, для меня особенно выяснилась основная черта чеховского характера - искренность, буквально не выносившая лжи, заставлявшей страдать душу художника. Лжи мелочной, подчас комичной, разумеется, было немало в обществе, особенно в отношении Чехова, тогда уже на всю Россию славного писателя и модного человека в Москве. Как тонко он отмечал неискренние заискивания людей, сравнительно беззаботных по части литературы, и как грустно говорил: "Что ему Гекуба!" Но еще больше раздражала его ложь, касавшаяся вопросов и убеждений общественной жизни.

- Они напились, - говорил он мне раз про одну компанию, - целовались и пили за конституцию! Ну, ты подумай, зачем ему (он назвал фамилию) конституция {300}, когда он может строить свое благополучие только в условиях политического рабства. Чего они лгут?

Кстати об общественных убеждениях. В журнальных статьях не раз упрекали Чехова в индифферентизме. После народнической, иногда будировавшей литературы появление Чехова производило впечатление жреца искусства для искусства. С самого начала в этом было уже крупное недоразумение: статьи проглядели в рассказах молодого писателя ту художественную правду русской действительности, а не отдельных образов,

которая с такой силой появлялась в первый раз после Гоголя. А такая правда для имеющих очи, чтобы видеть, стоила, разумеется, больше поучающего тона либеральной беллетристики. "Не надо сочинять нарочно стихов о плохом городовом", - говорил мне когда-то Чехов, и теперь он повторял приблизительно то же самое о плохих беллетристических вещах. Но зато как высоко ставил он покойного Гл.Ив.Успенского, которого считал первоклассным художником, как часто цитировал его. Впрочем, недоразумение, о котором заговорил я, было временным и как-то само собой растаяло по отношению автора "Мужиков" и "В овраге"...

Писал и работал Чехов много. По этому поводу у него сложилось определенное убеждение, которое он мне не раз высказывал. /301/

- Художник, - говорил он, - должен всегда работать, всегда обдумывать, потому что иначе он не может жить. Куда же денешься от мысли, от самого себя. Посмотри хоть на Некрасова: он написал огромную массу, если сосчитать позабытые теперь романы и журнальную работу, а у нас еще упрекают в многописании.

Исходя из этого убеждения, Чехов несколько раз советовал мне, бросив общественную деятельность, отдаться исключительно литературной работе. Общественной деятельности в земстве он очень сочувствовал, но считал ее маловозможной по "независящим обстоятельствам" и полагал, что для нее должны найтись люди, не причастные литературе. Действительно, то было в этой области мрачное и тяжелое время, при одной мысли о котором я теперь содрогаюсь. И какой грустной, но прелестной и верной русской действительности шуткой кажется одно место из письма Чехова ко мне в эту пору: "Vive monsieur le membre d'hotel de zemstvo! Vive la punition corporelle pour les moujiks!"\* Служи беспорочно, помни присягу, не распускай мужика и если нужно, то посеки, всякого нарушителя долга прощай как человек, но наказывай как дворянин">{301}. А при свидании Чехов говорил мне:

---

\* Да здравствует член земской управы! Да здравствует телесное наказание для мужиков! (франц.)

- Все это хорошо, и дай тебе бог всякого успеха, но, по-настоящему, нужны не школки с полуголодным учителем и не аптечки, а народные университеты.

И когда я прочитал почти те же слова {301}, сказанные от имени художника в прелестном рассказе "Дом с мезонином", я не удивился, а только обрадовался...

В следующую зиму я опять часто виделся в Москве с Чеховым. Его успех как художника все возрастал. В провинции с нетерпением ждали каждой его новой повести, каждой строчки.

Интерес к его вещам был настолько велик, что разговоры о новой повести Чехова буквально занимали всю Россию. И действительно, нельзя было читать без огромного подъема духа что-либо написанное им. Гениальный художник завоевал свою родину. В эту зиму Чехов часто бывал в Москве, а жил в своем небольшом

имении Мелихово, Серпуховского уезда. Не помню /302/ теперь, в эту ли именно зиму, или в другую Чехов в Москве приглашал меня ехать с собой в Петербург на первое представление "Чайки" в Александринском театре. Как сейчас помню, что это представление было назначено на 17 октября, и Чехов говорил мне:

- Поедем посмотреть, как провалится моя пьеса, недаром ставится она в день крушения поезда {302}.

Когда же я доказывал, что такая интересная и поэтическая вещь не должна провалиться, Чехов заметил:

- Напротив, должна, непременно должна! Дело в том, что большинство актеров играет по шаблону. Один будет стараться представлять писателя, значит, может быть, и загримируется кем-нибудь из известных литераторов и будет его передразнивать. У них если на сцене военный, то непременно поднимает плечи и хлопает каблуками, чего не делают в жизни военные. Большой, вдохновенный талант - редкость, а об передаче настроения моей пьесы не позаботятся.

Я не мог поехать с Чеховым. Пьеса провалилась на первом представлении, принесла огромное и незаслуженное огорчение автору. Мне передавала потом сестра Чехова, Мария Павловна, что автор сбежал на другой день из Петербурга в совершенном отчаянии и проехал прямо в Мелихово, не останавливаясь в Москве. Долгое время Чехов ничего не хотел слышать о постановке пьес на сцене, а друзья и знакомые старались даже не заговаривать с ним о приключении с "Чайкой", щадя его нервы.

Все знакомые покойного Чехова навсегда, конечно, сохраняют воспоминания о Мелихове. Это был уютный уголок в Серпуховском уезде с небольшим помещичьим домом и маленьким садом. Хозяйством в имении заведовала Мария Павловна. Там встречало посетителей радушие Павла Егоровича и Евгении Яковлевны, родителей Чехова, предупредительная любезность Марии Павловны и душевная беседа самого хозяина. Чехов любил этот уголок средней России, заботливо устраивал его обстановку, а это нелегко было для него в ту пору в материальном отношении, и часто необходимый ремонт производился по частям в ожидании гонорара за написанную повесть. А в денежных делах Чехов был деликатен до щепетильности. В эту пору передавал он мне, как один издатель {302}, буквально выпросивший его рассказ и заранее его рекламировавший, вручил ему /303/ наконец за него какую-то до смешного ничтожную плату, если не ошибаюсь - 26 р.

- Ведь не могу же я торговаться, - говорил Чехов. - С большой помпой, после всяких похвал, с некоторой даже таинственностью вручили мне грош. А мне надо лечиться, нужны деньги на Мелихово, а я и говорить об этом не могу.

Хорошо было в Мелихове, и у гостей делалось на душе весело уже с того момента, когда вас на пороге встречал лай двух такс, которых звали: одну - Бром Исаевич, а другую - Хина Марковна... Все было хорошо, умно и прекрасно в жизни Чехова, кроме одного: художник был болен, болен чахоткой, и это было известно и всем его знакомым и ему самому. Это заставляло его лечиться, заботиться о гигиеническом образе жизни, отлучаться за границу, на юг, а ему не хотелось думать о самом себе, возиться с самим собой, его интересовала окружающая жизнь, а суть его собственной жизни составляло творчество, для

которого нужно было беречь здоровье... Случалось мне посещать Мелихово и летом, когда оно было еще лучше и еще уютнее, чем зимой. Маленький, хорошо ухоженный сад с массой цветов, небольшой рабочий домик, построенный в саду, где подолгу разговаривал с своими гостями и работал Чехов, разговор о том деревенском хозяйстве, которым заведовала в бесконечных хлопотах Мария Павловна, - все это заставляло гостя засиживаться лишний день в Мелихове и уезжать неохотно. Приятно было бродить в окрестностях усадьбы, разговаривая с хозяином, или сидеть на берегу маленького пруда, про который Чехов говорил, что у него там караси, но что он намерен дать им конституцию... Однажды, в августе или начале сентября, Чехов сказал мне, что я приехал как раз вовремя, чтобы присутствовать при освящении только что выстроенной школы, которой он был попечителем. Он познакомил меня с учительницей, молодой девушкой, если не ошибаюсь, кончившей курс в серпуховской гимназии, много шутил, называя меня чужим инспектором народных училищ и начальством, и был необыкновенно оживлен и весел {303}. Тут же обратил он мое внимание на местного крестьянина, послужившего прототипом для старосты в "Мужиках", и указывал на своеобразную колоритность его речи. После мы разговорились о тяжелом положении /304/ народных учителей и учительниц, и я увидел впоследствии некоторые черты этого положения в художественной правде небольшого рассказика "На подводе"... Чехов вообще необыкновенно хорошо и мягко относился к окружающим его людям, а крестьянам Мелихова помогал чем мог и как мог.

Очень грустил Чехов, что приходится расставаться с Москвой и средней Россией, которую он так любил, и перебираться, по обыкновению, на зиму в Крым. "Ничего не поделаешь, ничего не поделаешь", - грустно повторял он и звал меня навестить его этой зимой в Крыму. Мне, однако, не удалось его видеть этой зимой, а весной, когда он приехал в Москву, он попал в больницу {304} с обострившейся болезнью. Выписавшись оттуда, он известил меня в нескольких строках, что здоровье его совсем плохо и что он продает свои сочинения Марксу за 75 тысяч {304}, что это дело решенное, и их уже окончательно устроил С[ергеенко]. Разумеется, эта продажа была не особенно выгодной для Чехова, но в ту пору, при необходимости устроить себе удобный приют в Крыму, может быть, неизбежной. Дача в Крыму, в Аутке, около Ялты, была действительно построена превосходная. И сам Чехов и Мария Павловна заботливо внесли в нее много изящества и уюта. По-прежнему там воцарилось радушие и ласка Чехова и его семейства. Только не было уже отца Антона Павловича: он скончался раньше и похоронен в Москве {304}. Но сам Чехов не мог помириться с насильственной необходимостью жить вдали от России. Привожу выдержку из письма Чехова в то время, когда он устраивал свою дачу:

"Большое тебе спасибо, что вспомнил и прислал письмо... Я в Ялте, по-видимому поселюсь здесь, и уже строю себе дачу для зимовок, и уже приглашаю к себе приятелей и друзей, и даю при этом клятву, что в своей крымской даче я не буду заниматься виноделием и поить своих друзей красным мускатом... Зимой я буду жить в Ялте, летом же, начиная с апреля, в Серпуховском уезде, в Мелихове.

Итак, приезжай в Мелихово, там, обедая, я приглашу тебя в Крым. Караси мои здравствуют и уже настолько созрели, что хочу дать им конституцию. Здоровье мое довольно сносно, все еще не женат и все еще не богат, хотя Маркс и купил мои произведения /305/ за 75 тысяч. Возникает вопрос: где деньги? Их не шлют мне, и, по-видимому, мой поверенный С. пожертвовал их на какое-нибудь доброе дело или, по совету Л.Н.Толстого, бросил их в печь... Не забывай, пиши, пожалуйста, пиши, памятуя, что живу я в чужой стороне не по своей воле и сильно нуждаюсь в общении с людьми, хотя бы письменном" {305}.

В другом письме, присланном мне уже тогда, когда Чехов окончательно устроился в Ялте, звучит такая же грусть по России:

"Я все в той же Ялте. Приятели сюда не ездят, снегу нет, саней нет, нет и жизни. Cogito, ergo sum\*, и, кроме этого cogito, нет других признаков жизни... Вообще напиши подробнее, дабы я имел основание считать тебя добрым человеком" {305}.

---

\* "Я мыслю, следовательно существую" (лат.) - слова французского философа Рене Декарта (1596-1650).

А когда я навестил Чехова в Крыму, он говорил мне:

- Тебе нравится моя дача и садик, ведь нравится? А между тем это моя тюрьма, самая обыкновенная тюрьма, вроде Петропавловской крепости. Разница только в том, что Петропавловская крепость сырая, а эта сухая.

Чехов долго не мог примириться с жизнью "не по своей воле" на юге, но в конце концов полюбил свою дачу, о которой много заботился. Он ценил, очевидно, результаты своих трудов. И когда, незадолго перед его кончиной, Мария Павловна призналась ему, что и она долго не могла примириться с Ялтой и неизбежной потерей Мелихова, а теперь ей здесь все дорого, Чехов грустно заметил:

- Вот так не любя замуж выходят. Сначала не нравится, а потом привыкают!

И несмотря на болезнь, которая то усиливалась, то улучшалась настолько, что усыпляла опасения окружающих, - Чехов работал, работал, работал... Поистине это был огромный художник, смысл существования которого состоял в творчестве... В последний раз мы виделись в Москве, куда он всегда стремился при первой возможности, и здоровье его еще не говорило о такой близкой опасности... /306/

Осенью прошлого, 1904 года я посетил Новодевичье кладбище. Был тихий и теплый солнечный день. У небольшого могильного холмика, под которым покоится прах Чехова, стояла толпа молодежи: студенты, курсистки. На холмике лежали увядшие цветы и венки из живых, тоже увядших цветов. Тут же лежал и

совсем свежий, только что кем-то положенный букетик. Я знал, что не только этот могильный холмик, отныне дорогой для всей России, остался от Чехова.

Остались сочинения, которые бесконечно долго будут давать наслаждение людям; по этим сочинениям будут изучать современную Чехову жизнь. Осталась и та слава, которая по смерти писателя делается славой его родной страны.

Чехов умер рано, в самый разгар своего творчества, и мог бы написать еще много. Но и того, что он сделал, слишком достаточно, чтобы оправдать и исчерпать смысл жизни огромного художника. Все это я знал и в этих мыслях искал утешения. Верные сами по себе, они, однако, не могли принести утешения: передо мной вставал образ умного, доброго, бесконечно правдивого человека, осененный тем могучим и неведомым, что принято называть талантом. Было мучительно грустно и жаль, бесконечно жаль человека в лучшем смысле этого слова... /307/

## ***И.Н.ПОТАПЕНКО. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ С А.П.ЧЕХОВЫМ***

**К 10-летию со дня его кончины**

Десять лет прошло, а я до сих пор не мог написать о нем ни строчки. В то время как другие уже написали о нем так много...

Меня часто спрашивали: почему? - и я сам спрашиваю себя об этом и вижу только одно: потому, что это тяжело.

Легко писать об умершем, глядя со стороны; легко было писать о нем как о художнике, рассказчике, драматурге. Но всем этим он для меня был не больше, чем для других: предметом восхищения. Главное же, чем он был для меня: человеком, которого я нежно любил.

Не другом, - это я считаю нужным сказать в самом начале и думаю, что у него не было ни одного друга, - но товарищем в самом прекрасном значении этого слова. Было у нас много общей жизни, и, должно быть, в этом и ответ.

Как писать об умершем, которого любил живым? При всяком воспоминании плакать хочется. Еще недавно пошел посмотреть его "Вишневый сад", и хотелось плакать, - не от пьесы, не над судьбой героев, а о нем.

Его судьба так похожа на судьбу вишневого сада: и его также срубил беспощадный топор в самом роскошном цвету.

До сих пор не могу примириться с тем, что его нет. И даже не с фактом, который нелеп, не логичен и груб, как все в жизни, а с ужасной несправедливостью...

А впрочем - бесполезный разговор. /308/



Юности я его не знаю. Моя первая встреча с ним произошла, когда у него было уже хорошее литературное имя. Он выпустил несколько книг, был написан и поставлен на сцене "Иванов". Зародилась мысль о поездке на Сахалин.

Я говорю только о встрече. Как это ни странно, но знакомство наше началось не с первой, а со второй встречи.

Первая же была что-то смутное. Я жил тогда в Одессе, писал в местных газетах, служил в городской управе. Моя прикосновенность к литературе была самая скромная: несколько повестушек, не остановивших на себе ничьего внимания.

Гостила в городе труппа московского Малого театра, и приехал он. Обо мне он не имел ни малейшего понятия, но ему напел про меня живший тогда в Одессе его товарищ по таганрогской гимназии - писатель, впоследствии известный толстовец, П.А.Сергеенко, и привез его ко мне на дачу.

По всей вероятности, он и сам был удивлен незначительностью и ненужностью этой встречи. Я смотрел на него снизу вверх и ждал от него чего-то особенного.

Но он был не из тех, что любят производить впечатление. Напротив (это уж я потом, гораздо позже, разглядел), когда он замечал, что от него ждут и, что называется, смотрят ему в рот, он как будто старался как можно меньше отличаться от всех. Он тогда прятал себя.

Поговорили о чем-то местном и случайном, и он уехал, должно быть пожалев о потраченном времени.

Когда потом, года через четыре, мы встретились в Москве, мы точно в первый раз увидели друг друга. Одесская встреча не оставила никаких следов.

Сближение наше шло очень медленно, - в этом отношении мы оба были люди трудные. У меня это происходило скорее от неуверенности в себе, у него же, как я думаю, от осторожности.

Его всегдашнее спокойствие, ровность, внешний холод какой-то, казавшейся непроницаемой, броней окружали его личность. Казалось, что этот человек тщательно бережет свою душу от постороннего глаза.

Но это не та скрытность, когда человек сознательно прячет что-то такое, что ему неудобно показать и выгоднее держать под прикрытием. Нет, это было нечто /309/ совсем другое, чего я долго не мог понять в нем, а потом - не знаю, понял ли, или только придумал для себя правдоподобное объяснение.

Мне кажется, что он весь был - творчество. Каждое мгновение, с той минуты, как он, проснувшись утром, открывал глаза, и до того момента, как ночью смыкались его веки, он творил непрестанно. Может быть, это была подсознательная творческая работа, но она была, и он это чувствовал.

Творчество стыдливо, и у него это было выражено ярче, чем у кого другого. Никогда он не писал в присутствии кого бы то ни было.

Каждому художнику слова ведомо это ощущение: работая в присутствии другого, он чувствует, как будто тот слышит его мысли, видит образы, возникающие в его голове, следит глазами за их чеканкой, отделкой, за всем интимным процессом творчества. Это - мучительное чувство, которого обыкновенно не понимают и не признают домашние, близкие.

"Я тебе не помешаю?..." - говорит жена или сестра, садится рядом и читает книгу и... мешает, потому что мысли и образы стыдятся, бледнеют, прячутся.

Но я знал писателей, которые свыкались с этим, конечно по необходимости, за отсутствием места, и работа их теряла в качестве. Я знал одного, который должен был писать, держа на коленях ребенка, потому что иначе было нельзя. И это была трагедия, которую он покорно переносил с улыбкой.

Творческая работа Чехова чужого глаза совсем не переносила, и так как он творил всегда и даже в непосредственное соприкосновение с жизнью и с людьми вступал как-то особенно, по-своему, творчески, то ему нужно было прятать эту работу, и вот почему самые близкие люди всегда чувствовали между ним и собою некоторое расстояние.

И потому я утверждаю, что у Чехова не было друзей. То обстоятельство, что после его смерти объявилось великое множество его друзей, я не склонен объяснять ни тщеславием, ни самозванством. Я уверен, что эти люди вполне искренне считали себя его друзьями и по своему настроению таковыми и были, то есть они любили его настоящей дружеской любовью и готовы были открыть перед ним всю душу. Может быть, и открывали, и /310/ наверно так, - у него было то неотразимое обаяние, которое каждую душу заставляло отдаваться ему, - потому-то он и знал так хорошо тончайшие извилины человеческой души. Но он-то свою не раскрывал ни перед кем.

Может быть, это-то знание, эта изумительная способность видеть человека насквозь и была причиной того, что он не мог никого близко подпустить к своей душе. Душа эта была какая-то необыкновенно правильная. Бывают счастливы с изумительно симметрическим сложением тела. Все у них в идеальной пропорции. Такое тело производит впечатление чарующей красоты.

У Чехова же была такая душа. Все было в ней - и достоинства, и слабости. Если бы ей были свойственны только одни положительные качества, она была бы так же односторонняя, как душа, состоящая из одних только пороков.

В действительности же в ней наряду с великодушием и скромностью жили и гордость, и тщеславие, рядом с справедливостью - пристрастие. Но он умел, как истинный мудрец, управлять своими слабостями, и оттого они у него приобретали характер достоинств.

Удивительная сдержанность, строгое отношение к высказываемым им мнениям, взвешивание каждого слова придавали какой-то особенный вес его словам, благодаря чему они приобретали характер приговора.

Читая многочисленные воспоминания о Чехове, я получаю странное впечатление: все как будто боятся, чтобы он хоть на минуту не показался человеком с горячей кровью, с живыми человеческими страстями и человеческими слабостями.

Может быть, это оттого, что наиболее искренние воспоминания относятся к последнему периоду его жизни, к тому времени, когда полную власть над его организмом взяла болезнь и он, сознательно или нет, тщательно берег свои силы. Обстоятельства так сложились, что в эти годы, прожитые им в Крыму, я его не видел.

В тот же период, когда мы с ним встречались в Москве и Мелихове, отчасти в Петербурге, он не был так бережлив. Можно пожалеть об этом с точки зрения нашей художественной жадности. Если б он и тогда берег свои силы, может быть организм его смог бы дальше бороться с недугом и мы владели бы еще несколькими художественными созданиями. /311/

Может быть. Но жизнь предъявляет свои права, и художника, носителя божественного огня, так же неотразимо влечет к ней, как и простого "поденщика ненужного".

Может быть, я не знаю Москвы или пребывание мое в ней в течение двух-трех зим как-нибудь особенно сложилось, но у меня осталось такое впечатление: там люди дома работают в одиночку, посещают друг друга по делам и в семейные праздники. Когда же хотят собраться тесным кружком, для дружеской беседы, то идут в ресторан, обыкновенно по окончании всех дел, после театра, поздно за полночь и сидят долго, до утра.

А в ресторане - вино, и с каждым получасом беседа становится живей и горячее. Под утро едут за город слушать цыган, а возвращаются домой под звон колоколов, призывающих к заутрене.

А днем каким-то чудом встают вовремя, откуда-то набираются бодрости и сил и занимаются делами.

Чехов жил тогда в Мелихове, своем имении, которое купил несколько лет раньше, и довольно часто приезжал в Москву. Останавливался он обыкновенно в "Большой Московской" гостинице, но мне, после долгих хлопот, удалось наконец уговорить его останавливаться у меня.

А жил я на Большой Никитской, занимая две скромные меблированные комнаты в нижнем этаже.

Признаюсь, всякий его приезд был для меня праздником, да и не для меня только, а и для всех членов небольшого кружка.

Сейчас же об этом посылались известия в "Русские ведомости" Михаилу Алексеевичу Саблину, который почел бы за обиду, если бы узнал об этом не первый. Соиздатель "Русских ведомостей", почтенного возраста человек, лет на двадцать старше каждого из нас, он питал трогательную нежность к Антону Павловичу. Всегда занятый по газете (он заведовал хозяйственной частью), с виду суровый и благодаря своей комплекции несколько тяжеловесный на подъем, он оживлялся и обращался в юношу, когда приезжал Чехов, и уж тут дни и вечера, сколько бы их ни было, превращались в праздники. /312/

Нам и без того приходилось завтракать и обедать в трактирах. Но это делалось как нечто неизбежное, а тут все это приобретало своего рода торжественность.

Москвич и знаток Москвы, М.А.Саблин знал, где что нужно есть и пить. Завтракать, например, было необходимо у Тестова, и притом в виде закуски есть не иначе как грудинку, вынутую из щей.

Другой великий знаток этого дела, Вукол Михайлович Лавров, знал потаенные уголки, где можно было получить какую-то необыкновенную ветчину

и изумительную белорыбицу, которая таяла во рту, как масло. С этой целью ездили куда-то далеко, на неведомый мне край Москвы, в места, куда я без посторонней помощи ни за что не попал бы.

В дальнейший репертуар входили "Большой Московский", "Эрмитаж", а иногда и путешествие за город на тройке.

Любил отдыхать с нами В.А.Гольцев. Попивая красное вино, которое было вредно для его сердца, он держал остроумные, подчас едкие речи и поддерживал дружески-высокий тон.

После спектакля иногда урывал час-другой и приезжал А.И.Южин, вместе с ним выступали на очередь театральные темы, а красное вино заменялось шипучим.

Антон Павлович иногда ворчал и слегка упирался, но его легко было уговорить. Не мог же он не принимать в расчет, что все это - по случаю его приезда, и не решился бы нанести кровную обиду М.А.Саблину, который в его обществе молодел на двадцать лет.

И он, легонько покашливая, с чуть-чуть сердитым лицом, покорно ехал, а потом оживлялся, вступал в дружеский спор с Гольцевым и был неистощим по части очаровательных, до упаду смешных глупостей и милых неожиданностей, в которых он был неподражаемый мастер.

В.М.Лавров, наш общий приятель, бывал с нами редко, и то это уж означало какой-нибудь тяжеловесный обед с сложной программой и "посторонними" участниками, то есть людьми хорошо знакомыми, но не близкими.

И уж тут была обязательна его речь - своеобразная, почти от начала до конца казавшаяся безнадежно запутанной, с отступлениями, с попутными анекдотами, с /313/ невероятными, но необыкновенно характерными словечками, но всегда кончавшаяся какой-нибудь яркой и уморительной неожиданностью.

Раньше, когда я мало знал его, я всегда при начале его речи испытывал опасение, что вот человек зайдет в такие дебри, откуда ему никогда не выпутаться. Но потом я бывал спокоен за конец и всегда находил в его речах своеобразную прелесть.

Не мог обойтись без речи, конечно, и В.А.Гольцев, великий мастер дружеских речей, щедро расточавший красноречие, ум, а также и яд, которым, впрочем, он никого не отравлял.

Зато домосед В.М.Лавров иногда ознаменовывал приезд Чехова из деревни чем-то вроде раута у себя дома. Это были бесконечно длинные, вкусные, сытные, с обильным возлиянием и достаточно веселые обеды, многолюдные и речистые, затягивавшиеся далеко за полночь и носившие на себе отпечаток самобытности хозяина. Чехова они утомляли, и потому (однако ж единственно поэтому) он шел на них неохотно, но личность В.М.Лаврова его сильно интересовала.

Это был самородок "своей собственной складки". Человек, образовавший себя исключительно своими личными усилиями, отдавший состояние на литературу и затем весь ушедший в свой журнал - "Русская мысль".

К изумлению, я узнал однажды, что он также и самоучка-математик и, в качестве такового, в молодости получил даже какую-то почетную премию в Англии за решение объявленной математической задачи.

Страстный любитель литературы, он читал все выходящее в свет. Писатели были его первые гости: подаренный ему экземпляр с автографом он принимал трепетными руками и нес в свой шкаф бережно, как святыню.

Но это, разумеется, не мешало ему в издательском деле быть купцом, а где надо - слегка и поприжать того же самого писателя.

Он прекрасно знал польский язык (кстати, никогда не хотел объяснить, где он ему научился) и был не только почитателем, но и, несомненно, лучшим переводчиком польских авторов.

Помню, как однажды, благодаря этому своему пристрастию, он поставил в довольно странное положение /314/ целое общество предпочтенных писателей, в том числе, если память мне не изменяет, и Чехова.

В Польше праздновали юбилей (кажется, 25-летней литературной деятельности) Генриха Сенкевича {314}. Лавров, который перевел и поместил в "Русской мысли" почти все произведения этого автора и находился с ним в переписке, разумеется не преминул и в Москве устроить юбилейный обед. В "Эрмитаже" собралось человек двадцать пять литераторов, говорились речи и пили за единение народностей, за польскую литературу и за талантливое ее представителя, польского юбиляра. Все было искренне, трогательно и хорошо.

В заключение послали юбиляру в Варшаву сердечное поздравление, под которым все подписались поименно.

На следующий день на имя Лаврова была получена ответная телеграмма от юбиляра:

"Благодарю, если это искренно".

Бедный Лавров долго после этого ни с кем не заговаривал о польской литературе.

В Москве Чехов оставался по несколько дней, но в эти дни ничего не писал. Его манера работать вдали от людских глаз - здесь, где он был постоянно на виду у всех, была неосуществима.

А в гостинице у него был "свой" номер (кажется, пятый), который и потом долго еще назывался "чеховским номером", и это знали, и туда стучались.

Но с незнакомым человеком еще как-нибудь можно разделаться, если занят, - ну, сослаться на эту занятость. Но бывало хуже: друзья, вот именно из тех, что впоследствии, после его смерти, почувствовали себя его друзьями и поведали об этом миру.

Иной "друг" приехал по своим делам из Петербурга и, благополучно окончив свои дела, решил провести вечерок с Чеховым. Тут уж, при его исключительной боязни обидеть, - для него была настоящая беда.

Я знал, например, одного писателя {314} (ныне умершего), который считал себя закадычным другом Чехова, и Антон Павлович относился к нему искренне и сердечно, но совершенно не мог выносить его, как он говорил, "трагического смеха".

И помню, что однажды, пробыв в Москве только один день, А.П. пришел домой и объявил, что сейчас же уезжает в Мелихово. /315/

- Почему?

- Встретил N. Вчера приехал. Остановил извозчика, заключил меня в объятия, узнал, что я живу здесь, и объявил, что сегодня придет к нам на весь вечер. Вот и тебе велел кланяться. Ну, так ты уж его прими, а обо мне скажи... ну, скажи что хочешь.

И сколько я ни доказывал ему, что это можно устроить как-нибудь проще - уйти куда-нибудь, послать N записку, - он оставался непоколебим:

- Все равно он найдет меня и будет смеяться. Ведь он юморист и ужасно любит смеяться, - а это трагедия.

И он в тот же день уехал в деревню, несмотря на то, что у него в "Русской мысли" было дело, для которого он вновь приехал в Москву дней через пять.

Но к чему он чувствовал непобедимый, почти панический ужас, так это к торжественным выступлениям, в особенности если подозревал, что от него потребуется активное участие.

Мне памятен один приезд в Москву покойного Д.В.Григоровича. В Петербурге перед этим был справлен его юбилей. Было что-то необыкновенно торжественное, кажется единственное и небывалое в летописях литературы.

Так как писатель иногда помещал свои вещи в "Русской мысли", то В.М.Лавров захотел устроить ему в Москве "филиальное чествование" {315}.

Конечно, это не могло быть даже и тенью петербургского юбилея, но все же - "Эрмитаж", несколько десятков приглашенных, заранее предусмотренные речи.

Само собою разумеется, что был специальный расчет на присутствие в Москве Антона Павловича. С одной стороны, хотелось показать петербургскому литератору лучшее, что есть в литературной Москве и чем она гордится, а с другой - имелись в виду особые отношения между Чеховым и Григоровичем.

Ведь старый писатель первый заметил талант Чехонте в его маленьких рассказах, печатавшихся в сатирических журналах, обратил на него внимание Суворина, написал ему трогательное отеческое письмо {315}.

Антону Павловичу все это было поставлено на вид - и уж само собою разумелось, что он будет украшением "филиального чествования". /316/

Антон Павлович впал в мрачность. Целый день с ним ни о чем нельзя было говорить. Он, обыкновенно ко всему и ко всем относившийся с добродушной терпимостью, для всех находивший извиняющие объяснения, вдруг сделался строг ко всему и ко всем, просто огрызался, так что лучше было к нему не приставать.

К вечеру он стал мягче. К нему вернулся его обычный юмор, и он от времени до времени прерывал свое молчание отрывочными фразами из какой-то неведомой, по-видимому, речи:

- Глубокоуважаемый и досточтимый писатель... Мы собрались здесь тесной семьей... - Потом, после молчания, опять: - Наша дружная писательская семья в вашем лице, глубокочтимый...

- Что это ты? - спросил я.

- А это я из твоей речи, которую ты скажешь на обеде в честь Григоровича.

- Почему же из моей? Ты бы лучше из своей что-нибудь.

- Так я же завтра уезжаю.

- Куда?

- В Мелихово.

Я возмутился:

- Как же так? Григорович, его письмо... Такие отношения... Наконец, разочарование Лаврова и всех прочих...

И тут он начал приводить свои доводы:

- Ведь это же понятно. Я был открыт Григоровичем и, следовательно, должен сказать речь. Не просто говорить что-нибудь, а именно речь. И при этом непременно о том, как он меня открыл. Иначе же будет нелюбезно. Голос мой должен дрожать и глаза наполниться слезами. Я, положим, этой речи не скажу, меня долго будут толкать в бок, я все-таки не скажу, потому что не умею. Но встанет Лавров - и расскажет, как Григорович меня открыл. Тогда подымется сам Григорович, подойдет ко мне, протянет руки и заключит меня в объятия и будет плакать от умиления. Старые писатели любят поплакать. Ну, это его дело, но самое главное, что и я должен буду плакать, а я этого не умею. Словом, я не оправдаю ничьих надежд. Ведь ты же на себе испытал, что значит не плакать от умиления.

Тут А.П. имел в виду маленькую историю, которая произошла со мной года три раньше, когда Академия /317/ поощрила меня половинной Пушкинской премией. Д.В.Григорович, участвовавший в заседании, оказал мне совершенно исключительную и ужасно трогательную любезность: прямо из Академии приехал ко мне, которого к тому же не знал и никогда не видал, - чтобы сообщить о лестном для меня событии.

И что же? Я огорчил его. Смущенный, растерявшийся, я только и мог пожать его руку и простыми словами, как умел, высказать ему благодарность. И старик потом кому-то жаловался, вспоминая, как в прежние времена писатели были отзывчивы; приводил известный рассказ о встрече Белинского с Достоевским...{317}

А все то, что говорил Чехов, совсем не казалось ему шуткой. Он действительно испытывал страдание, представляя себя героем нарисованной им сцены. И, в сущности, сцена была изображена вполне правдиво. Так именно и должно было произойти.

И вот за два дня до юбилейного обеда, когда из Петербурга была получена телеграмма, что юбиляр приедет, Антон Павлович уложил свои дорожные вещи и уехал в деревню, давши мне на прощанье такого рода ответственное поручение:

- А ты там как-нибудь уж... уладь. Главное, успокой Лаврова.

Но уладить было трудно. В.М.Лавров чуть не заболел, когда узнал о бегстве А.П. Самый главный кирпич из его великолепной постройки выпал, и самая постройка грозила развалиться.

Но, разумеется, все обошлось. Григорович приехал, обед состоялся.

Я на нем оскандалился на всю жизнь: вняв увещаниям В.А.Гольцева, покусился на речь о Чехове, то есть о том, как он страстно желал быть на обеде, чтобы самому лично и т.д., но болезнь заставила его уехать в деревню. И господь наказал меня за ложь.

С первых же слов я, никогда еще в жизни не выступавший с публичными речами, сбился. Я только и успел упомянуть об Антоне Павловиче Чехове, который...

А милый старик, видя, должно быть, мое затруднение, сейчас же и выручил меня и сам заговорил о Чехове, о том, как он открыл его талант, о его письмах, словом - все то, что мы теперь так хорошо знаем. /318/

В Мелихове А.П., окруженный родными, вел тихую жизнь, наполненную чтением книг, которых выписывал множество, и неторопливой работой. Жили тут отец его, Павел Егорыч, мать, Евгения Яковлевна, сестра, Марья Павловна, и младший брат, Михаил Павлович.

Но, несмотря на присутствие в доме старших родных, главой его был А.П. Во всем господствовали его вкусы, все делалось так, чтобы ему нравилось.

К матери своей он относился с нежностью, отцу же оказывал лишь сыновнее почтение, - так по крайней мере мне казалось. Предоставляя ему все, что нужно для обстановки спокойной старости, он помнил его былой деспотизм в те времена, когда в Таганроге главой семьи и кормильцем был еще он. В иные минуты, указывая на старика, который теперь стал тихим, мирным и благожелательным, он вспоминал, как, бывало, тот заставлял детей усердно посещать церковные службы и при недостатке усердия не останавливался и перед снятием штанишек и постегиванием по обнаженным местам.

Конечно, это вспоминалось без малейшей злобы, но, видимо, оставило глубокий след в его душе. И он говорил, что отец тогда был жестоким человеком.

И не только того не мог простить А.П. отцу, что он сек его - его, душе которого было невыносимо всякое насилие, - но и того, что своим односторонне-религиозным воспитанием он омрачил его детство и вызвал в душе его протест против деспотического навязывания веры, лишил его этой веры.

"Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, - говорит он в одном письме к И.Л.Щеглову, - то оно представляется мне довольно мрачным. Религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два мои брата среди церкви пели трио "Да исправится" или же "Архангельский глас", на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками".

И далее, говоря о школьниках известного в то время педагога Рачинского: "если в их душах радость, то они счастливее меня и братьев, у которых детство было страданием" {318}.

И хотя в то время все это уже давно кончилось и старик уже совершенно перестал быть действующим лицом в его жизни, а только сидел и, постоянно молясь и /319/ читая душеспасительные книги, беззаботно доживал свой век, радуясь знаменитости своего сына, и хотя А.П. относился к нему дружески и почтительно и ни единым намеком не напоминал о прошлом, но прошлое оставило слишком глубокий след в чуткой душе и не было забыто.



И мне всегда казалось, что к отцу он относился без той теплоты, которая согревала его отношения к матери, сестре и братьям. Особенно же к матери, которая при таганрогском главенстве Павла Егоровича едва ли имела в семье тот голос, на какой имела право. Теперь, когда главой семьи сделался А.П., она получила этот голос.

И уж платила она ему какой-то благоговейной нежностью. Казалось, забота о том, чтобы всякое желание А.П. было тотчас же, как по щучьему веленью, исполнено, составляла цель ее жизни. Всякая перемена в его настроении отражалась в ее лице. Его привычки и маленькие капризы были изучены. Ему, например, не нужно было заявлять о том, что он хочет есть и пора подавать обед или ужин, а стоило только остановиться перед стенными часами и взглянуть на них. В ту же минуту она была тревогу, вскакивала, бежала на кухню и торопила все и всех.

Братья его в то время были уже взрослые люди, и каждый занимал определенное положение. Старший, Александр Павлович, жил в Петербурге, и я не имел возможности близко наблюдать его отношения к А.П. Другие же, Иван и Михаил, к которым он относился по-товарищески, помимо чисто братской привязанности, выделяли его как главу семьи, благодаря таланту которого скромное и дотоле неведомое имя - Чехов - было окружено почетным ореолом.

Когда в Мелихово приезжали гости, которые были Антону Павловичу приятны, он превращался в заботливого хозяина и проявлял самое радушное гостеприимство и, главное, - заботу о том, чтобы все были сыты и хорошо спали.

В изданных письмах А.П. он часто упоминает о том, что я пел в Мелихове. Это правда. Музыкой и пением в Мелихове были наполнены наши дни. Хорошая музыкантша Л.С.Мизинова, большая приятельница А.П. и всей его семьи, садилась за рояль, я пел. А Антон /320/ Павлович обыкновенно заказывал те вещи, которые ему особенно нравились. Большим расположением его пользовался Чайковский, и его романсы не сходили с нашего репертуара.

Но в письмах А.П. стыдливо умолчал о том, что и он сам пел, - правда, не романсы, а церковные песнопения. Им научился он в детстве, когда под руководством отца пел в церкви.

У него был довольно звучный басок. Он отлично знал церковную службу и любил составлять домашний импровизированный хор. Пели тропари, кондаки, стихири, пасхальные ирмосы. Присаживалась к нам и подпевала и Марья Павловна, сочувственно гудел Павел Егорыч, а Антон Павлович основательно держал басовую партию.

И это, видимо, доставляло ему искреннее удовольствие. Глядя на его лицо, казалось, что в такие часы он чувствовал себя ребенком.

Я не знаю, как он работал, когда был один. Этого, кажется, никто не знал. Может быть, тогда он сидел за столом не отрываясь. Но в те дни, когда в Мелихове бывали гости, он почти все время был с ними.

Но, несомненно, он и тогда работал. Творческая деятельность не покидала его ни на минуту. И случалось, что во время шумного разговора или музыки он вдруг исчезал, но не надолго: через несколько минут он появлялся, и оказывалось,

что в это время он был у себя в кабинете, где написал две-три строчки, которые сложились в его голове. Так делал он довольно часто в течение дня.

Но вечером, когда, около полуночи, все расходились по своим комнатам, ложились в постели и в доме потухали огни, в его кабинете долго еще горела лампа. Тогда он работал, как хотел, иногда засиживаясь долго, а на другой день вставал позже других...

Как относился Чехов к своему врачебному званию? Должен сказать, что я почти никогда не вспоминал о том, что он врач; ничем он не давал повода вспомнить об этом, никогда не вел он разговора о медицине и медицинском.

Конечно, особенно распространяться об этом перед неспециалистом и невеждой не было и смысла, но ведь это прорывается. Когда у человека есть влечение и /321/ любовь к какому-нибудь делу, то они будут сквозить во всем. У него же этого не было заметно.

У кого-то я прочитал, будто Антон Павлович страстно любил лечить. Вот чего я никогда не находил в нем. Когда к нему обращались за врачебным советом, он отделялся самыми общими местами, и видно было, что он хотел поскорее кончить этот разговор.

Может быть, это объяснялось скрытой досадой, что он так отошел от медицины, на которую потратил столько лет и энергии, или просто это было сознание, что он в этом деле сильно отстал и не может стоять на надлежащей высоте.

Ведь тут, за что бы он ни взялся, он непременно сделает хуже, чем другие врачи, которые практикуются и следят за наукой. А ему была свойственна какая-то особенная гордость совести: все делать как следует. И он никогда не брался за то, чего не мог сделать наилучшим образом. Ведь вот, например, он всегда мечтал о том, чтобы иметь публицистические статьи. Об этом он упоминает и в своих письмах. Но он не писал их, потому что они ему не удавались. То есть они были бы не хуже всего того, что пишется, но это его не удовлетворяло.

Поэтому он, не отказывая в советах, когда к нему приставали, не углублялся и ограничивался средствами, которые если и не помогут, то во всяком случае не могут повредить: сода, касторка, компрессы, припарки...

Когда в Мелихове приходили к нему мужики и бабы с нарывами и глубокими порезами и ему об этом сообщали, он кривился - должно быть, опять-таки от сознания, что может сделать не так, как следует, но не отказывал, принимал, с величайшим вниманием осматривал, резал, вычищал и перевязывал.

Я думаю, что если б за операцией пришел к нему помещик, он послал бы его к специалистам. Но для мужика специалист недостижим, и все равно лучше ему никто не сделает.

Однако ж меня, например, он вылечил от экземы, которой наградили меня в одной из лучших московских парикмахерских на Кузнецком мосту. Специалисты прижигали, вырывали волосы и вообще истязали меня самыми последними средствами, а он взглянул и сказал:

- Пустое. Вот я тебе выпишу салициловую мазь. /322/

И выписал. И от этой мази экзема моя прошла бесследно.

И все-таки утверждение, будто он любил лечить, остается произвольным. Иногда он будто и сам себя хотел уверить в этом и, например, своему товарищу по гимназии писал: "Медицина - моя законная жена, литература - незаконная. Обе, конечно, мешают друг другу, но не настолько, чтобы исключать друг друга" {322}.

Но на это нельзя смотреть иначе, как на шутку. Пусть за год перед этим он даже исполнял обязанности участкового врача (по случаю холеры) в своем уезде и своею деятельностью заслужил даже особую благодарность земцев.

Но это вытекало скорее из сознания долга, чем из любви к делу. И даже в период этой работы, которая с виду увлекала его и ради которой он на время почти совсем отказался от писания, он в одном из своих писем Суворину так характеризовал это занятие:

"Душа моя утомлена. Скучно. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь, - это, сударь мой, такая крошка, от которой не поздоровится" {322}.

Но думая так, он носился по своему участку, входил в сношения с местными помещиками, уговаривал их жертвовать деньги. И, получив от земства на это какую-то сотню рублей, устроил свой участок образцово.

И окружавшие его люди в самом деле должны были думать, что он любит лечить и обожает свое лечебное призвание, а на литературу смотрит как на нечто второстепенное. А он в это время писал:

"Нехорошо быть врачом. И страшно, и скучно, и противно. Молодой фабрикант женился, а через неделю зовет меня: "Непременно сию минуту, пожалуйста"... Все это противно, должен я это сказать. Девочка с червями в ухе, поносы, рвота, сифилис - тьфу! Сладкие звуки и поэзия, где вы?" {322}

Кажется, ясно и не может быть подвергнуто сомнению, что искреннего влечения к врачебной деятельности /323/ А.П. не питал {323}. Заблуждение же наблюдателей объясняется тем, что за влечение они принимали исключительно развитое в нем чувство долга, которое заставляло его с улыбкой на губах делать то, что было ему неприятно и даже противно...

Такова была его деятельность по холере. Он держался мнения, что, получив медицинское образование и живя в местности, которой угрожает эпидемия, он не имеет права отказаться от применения своих познаний. Он, который считался равнодушным к общественным вопросам, как раз равнодушия-то и не признавал и относился к нему с строгим осуждением.

Между прочим, для доказательства его любви к лечению приводят примеры: как он не отходил от постели своей опасно заболевшей жены и сам ставил термометр, компрессы и т.п., с каким вниманием он осматривал и выслушивал больного тогда артиста Московского Художественного театра Артема. Но это говорит только о том, что он любил жену и дружески относился к Артему.

Наверно, можно было бы привести и другие подобные случаи. Но для того чтобы ухаживать за страдающими близкими людьми, не надо даже быть врачом и любить медицину. Достаточно только их любить и обладать хорошим сердцем. То же самое по отношению к заболевшим близким людям делают и не врачи, с той лишь разницей, что они в этих случаях могут быть менее полезны.

А себя он не лечил вовсе. Странно, непостижимо относился он к своему здоровью. Жизнь любил он каждой каплей своей крови и страстно хотел жить, а о здоровье своим почти не заботился.

Знал ли он о своем недуге? Может быть, сомневался, может быть, у него была надежда, что его нет, но мысль о нем допускал и иногда, кашляя и считая причиной бронхит, как бы полушутя произносил это слово: "чахотка"...

Да, слово это всегда было у него на уме, как будто он считал себя приговоренным рано или поздно сделаться жертвой этой болезни, но находил, что время для этого еще не наступило.

Брату своему он пишет из Москвы в октябре 1893 года: "Маленько покашливаю, но до чахотки еще далеко. /324/ Геморрой. Катар кишек. Бывает мигрень, иногда дня по два. Замирания сердца. Леность и нерадение" {324}.

Он видит и перечисляет все ее признаки, но как бы нарочно отводит от нее глаза. "Я жив и здоров, - пишет он через несколько дней Суворину, - кашель против прежнего стал сильнее, но думаю, что до чахотки еще очень далеко" {324}. А еще позже, когда кто-то в Петербурге сообщил, будто у А.П. чахотка: "Для чего распускать все эти странные, ненужные слухи, ведомо только богу, создавшему для чего-то сплетников и глупцов. Чахотки у меня нет, и кровь горлом не шла уже давно" {324}.

Но одно уже то, что он постоянно возвращается к этому и опровергает, показывает, что мысль о чахотке неотступно преследовала его и не давала ему покою. И в то же время он, как будто желая убедить себя в том, что этого действительно нет, ничего не предпринимал против надвигающегося недуга.

Да и что он мог предпринять? Как врач он очень хорошо знал, что действительными средствами против чахотки медицина не располагает.

Всякий другой на его месте мог бы заблуждаться на этот счет, но не он. Всякий другой мог бы хвататься за все, что в изобилии предлагалось шарлатанами, но он всему этому знал цену.

Единственным средством, какое могло бы быть действительным, была радикальная перемена климата, и его он признавал и постоянно мечтал о нем, но оно было недостижимо. Жизнь приковала его к северу, а север незаметно, исподволь подтачивал его силы.

Не могу забыть, как однажды, в вагоне, во время нашего переезда из Москвы в Мелихово, соседом нашим оказался какой-то кашлявший субъект. Он сейчас же познакомился с ним. Сосед назвался помещиком Вологодской губернии.

Антон Павлович с каким-то особенным интересом начал расспрашивать его о болезни, а когда тот с недоумением и недоверием посмотрел на него, он твердо сказал:

- Я - врач.

И после этого сосед выложил перед ним всю подноготную его болезни. Тут были и головокружения, и перебои сердца, и даже, странным образом, геморрой, /325/ несколько неглубоких кровохарканий, словом - все то, что бывало и у него самого.

Потом сосед рассказал о двух десятках врачей, у которых он перебивал, и о сотне лекарств, которые он перепробовал. И на это все Антон Павлович сказал ему:

- Все это пустое. Нужно бросить Вологодскую губернию, закатиться куда-нибудь под тропики и пожить там года два-три.

Это было как раз то, о чем он сам мечтал и что было для него недостижимо.

И потом всю дорогу он чрезвычайно внимательно обращался с вологодским помещиком, расспрашивал его, какая у него земля, что он сеет и какие плуги употребляет. А когда нам нужно было на станции Лопасня покинуть поезд, он, почти дружески простившись с ним, сказал:

- А все-таки вам следует пожить под тропиками.

- Ну, где же там, - возразил вологодский помещик, - у меня на плечах имение и большая семья.

- Семью прогоните, а имение продайте и поезжайте! Иначе ничего хорошего не выйдет.

И так как он твердо знал, что "ничего хорошего не выйдет", то ничего и не предпринимал.

Когда при нем говорили о новых средствах, о разных блестящих опытах, он скептически усмехался. Судя по оказавшимся потом результатам - он был прав. Блестящие опыты в этой области и до сих пор не привели ни к чему; но разве он мог это знать? Больные обыкновенно хватаются за всякую возможность спастись.

И это равнодушие к своему здоровью меня поражало. Он и бронхита своего почти не лечил и не остерегался.

Вообще по отношению к болезням он проявлял какое-то ложное мужество. Он как будто стыдился слишком много заниматься ими, считал это малодушием.

Бывают люди мнительные, которые малейшую перемену в состоянии здоровья, даже в настроении, принимают за болезнь, а всякий прыщик - за сибирскую язву или рак, и всегда они в страхе за свою жизнь и всегда от всего лечатся.

Он был противоположностью. Он не хотел признавать даже совершенно явных врагов, и они, в виде туберкулеза, геморроя и еще других, сосали его кровь и /326/ незаметно подтачивали его организм. Я, например, никогда не слышал от него, чтобы он советовался с каким-нибудь профессором о своем здоровье.

Правда, что материальное положение не давало ему возможности свободно располагать своим временем и выбирать место. Обладая огромным талантом изумительной красоты - талантом, равный которому с тех пор не появился, несмотря на богатый прилив в нашей литературе свежих дарований, и не скоро, должно быть, появится, - он не мог и мечтать о таких колоссальных

заработках, какие, слава богу, позже выпадали на долю некоторых других писателей.

Пожить бы ему в Каире зиму-другую, не думая о зарплате, о семье, - может быть, мы и теперь еще видели бы его среди нас, - разумеется, если бы это было сделано вовремя.

Среди людей, искренне к нему расположенных, были очень богатые, которым ничего не стоило бы устроить ему такой отдых. Но мы ничего не слышали о том, чтобы у кого-нибудь из них явилась подобная мысль.

Скажут, что Чехов был до болезненности щепетил в денежных вопросах и не согласился бы ни на какие денежные одолжения.

Совершенно верно, но и не нужны были одолжения, достаточно было не формально, а справедливо оценить его труд. И на этой почве мало ли какие можно устроить чисто деловые комбинации.

Подумать только, что Чехов в большой богатой газете, которая справедливо гордилась его сотрудничеством, получал 12 коп. за строчку, то есть 120 руб. за печатный лист!..

Тут мне припоминается эпизод с одним московским миллионером, страстным почитателем чеховского таланта. Но об этом будет удобнее рассказать несколько позже.

Ницца. Яркий солнечный апрель, а может быть, март. Не могу вспомнить. Знаю только, что в Петербурге был еще основательный холод.

Чехов жил в русском пансионе, который теперь уже, кажется, не существует. Приехав, я застал его там. Пансион был наполнен, так что мне едва удалось добыть /327/ комнату где-то во флигеле. У Чехова же была хорошая просторная комната в главном здании.

Публика в пансионе была русская, но крайне серая и неинтересная. Какой-то провинциальный прокурор, учитель, баронесса с дочерью, которой дома, в России, почему-то не удавалось выйти замуж, и т.п.

Но утешением служило близкое соседство М.М.Ковалевского, который жил в своей вилле в Болье, в двадцати минутах езды от Ниццы, и часто посещал А.П., к которому относился с какой-то трогательной заботливостью.

Антон Павлович чувствовал себя здесь в высшей степени бодро. Я редко видел его таким оживленным и жизнерадостным. Самое место, где помещался наш пансион, не отличалось ни бойкостью, ни красотой. Моря отсюда не было видно, да и горы заслонялись высокими домами.

Но недалеко была главная улица - Avenue de la Gare, по которой мы почти каждый день путешествовали к морю и там проводили часы.

Тогда же завязалась у А.П. трогательная дружба с Юрасовым, местным вице-консулом и консулом в Ментоне, белым старичком, который с обожанием смотрел на него и возился с ним, как с ребенком.

Раз в неделю у него бывали пироги, настоящие русские пироги, и он зазывал Антона Павловича к себе. Иногда удовольствие есть эти вице-консульские пироги выпадало и на мою долю.

Да и самый пансион не без основания назывался "русским" (хотя в то время официальное название у него было какое-то другое). Там была русская кухарка, история которой интересовала все население пансиона, а А.П. не менее, чем других. Благодаря ей на нашем столе иногда появлялись тоже пироги, по-русски приготовленная селедка и даже борщ.

Сама же она, хотя и не забыла родного языка, но давным-давно совершенно офранцузилась и не выражала ни малейшего желания вернуться в Россию.

- Зачем? - говорила она. - Там я была рабой, а здесь - свободная гражданка, такая, как все.

В Ниццу она попала лет двадцать тому назад, случайно, в качестве горничной при купеческой семье, но семья уехала, а она осталась. Вышла замуж за негра, /328/ плававшего на каком-то пароходе, и у нее была дочь-мулатка, таинственное существо, жившее тут же, в здании пансиона, но отдельно от матери.

Дело в том, что негр, однажды вернувшись из плавания, нашел у своей жены белого ребенка и, сделав из этого правильный вывод, отверг жену, не захотел иметь с нею больше никакого дела. В то время, о котором идет речь, его уже не существовало, он умер. Да и то белое существо, которое послужило причиной разрыва, тоже умерло.

А смуглолицая Соня (так, кажется, ее звали), уже совсем взрослая девушка, избегала показываться на глаза своей матери, которая встречала ее суровым укором. Она и вообще почти не показывалась, и если уж ей необходимо было выйти со двора, она делала это торопливо, чтобы как можно меньше глаз видели ее.

Выходила же она по вечерам и возвращалась домой не всегда одна...

Это странное сплетение обстоятельств почему-то сильно овладело вниманием А.П. Впрочем, это было понятно.

"В жизни все просто", - обыкновенно говорил он, бракуя в литературе все нарочитое, искусно скомпонованное, эффектное, рассчитанное на то, чтобы удивить читателя. А тут вдруг перед ним жизнь, дающая готовый сюжет для забористого бульварного романа.

Простая русская девушка, негр, белый ребенок, таинственная мулатка, выходящая на ночной промысел...

Иногда за обедом, когда подавали русское блюдо, он сопоставлял, по обыкновению отрывисто и без всяких объяснений: "Русский борщ и мулатка..."

И всегда, когда по двору проходила смуглолицая Соня, он всматривался в нее и следил за нею глазами.

Монте-Карло производило на него удручающее впечатление, но было бы неправдой сказать, что он остался недоступен его отраве.

Может быть, отчасти я заразил его своей уверенностью (тогда была у меня такая), что есть в игре этой какой-то простой секрет, который надо только разгадать - и тогда... Ну, тогда, конечно, выступала главная мечта писателя: работать свободно и никогда не думать о гонораре, о зарплате, не связывать

литературную работу с вопросом о средствах к жизни. Чехов мечтал об этом не меньше, чем я и всякий другой. /329/

И вот он - трезвый, рассудительный, осторожный - поддался искушению. Мы накупили целую гору бюллетеней, даже маленькую рулетку, и по целым часам сидели с карандашами в руках над бумагой, которую исписывали цифрами. Мы разрабатывали систему, мы искали секрет.

Однажды мы его нашли и поехали в Монте-Карло с точно определенным планом. Игра была маленькая, осторожная, и тем не менее, окончив ее, мы недосчитались пары сотен франков.

Опять бюллетени, снова карандаши и цифры. Подходили к делу с другой стороны, вновь ехали в Монте-Карло и пробовали. Одно время казалось, что мы нащупали верный путь. Выиграли раз, другой. Но на третий - неблагоприятное стечение обстоятельств, - и все полетело вверх дном.

В то время я, конечно, не занимался наблюдениями над ним. Я сам гораздо больше, чем он, мог бы быть объектом наблюдения; но когда припоминал все это, то как будто не узнавал обычно спокойного, сдержанного, рассудительного, уравновешенного Антона Павловича.

Кто из знавших его поверит, что в нем жил азарт? А между тем он углублялся в цифры, старался проникнуть в сущность этих странных комбинаций, разгадать их тайну. Мы спорили, каждый предлагал свою систему и защищал ее. У него являлись остроумные мысли в этой области, и главное - что волнение его было чисто спортивное, так как он проигрывал, в сущности, пустяки.

Но, однако же, в этом не было ничего трезвого. Поверить даже на минуту, что в случайных комбинациях номеров, цветов и всяких других шансов могут быть отысканы какие-то законы, - для этого, конечно, нужна была известная доля безумия, которое владеет игроками, делает их слепыми и приводит к гибели.

И вот он, как казалось, поставивший своей задачей трезвость, разумное отношение к жизни, человек несомненно сильной воли, в течение десяти дней верил в это, то есть допускал для себя капельку безумия.

Я пишу эти строки, и вот уже у меня является страх, что на некоторых почитателей личности А.П. они произведут неблагоприятное впечатление. В моей памяти встают некоторые, прочитанные мною раньше, воспоминания о Чехове, продиктованные, несомненно, самыми /330/ лучшими намерениями и прекрасными чувствами. И тем, кто смотрит сквозь призму этих воспоминаний, А.П. должен рисоваться существом, как бы лишенным плоти и крови, стоящим вне жизни, - праведником, отрешившимся от всех слабостей человеческих, без страстей, без заблуждений, без ошибок.

Но если бы это было так, он не мог бы быть художником, да еще таким проникновенным, каким был.

Нет, Чехов не был ни ангелом, ни праведником, а был человеком в полном значении этого слова. И те уравновешенность и трезвость, которыми он всех изумлял, явились результатом мучительной внутренней борьбы, трудно доставшимися ему трофеями. Художник помогал ему в этой борьбе, он требовал для себя все его время и все силы, а жизнь ничего не хотела уступить без боя. И она права: чтобы быть великим знатоком жизни, нужно испытать ее ласки и



удары на самом себе. Разве Гете и Пушкин были праведники, разве они не были "в забавах суетного света малодушно погружены"? {330}

И в жизни Чехова было все, все было пережито им - и большое, и ничтожное. И если полноте переживаний часто мешали его осторожность и как бы боязнь взять на себя всю ответственность, то причиной этого был талант, который требовал от него большой службы и ревновал его к жизни.

Но Чехов-человек страдал от этого. Испытывая постоянно потребность в нежности, он до самых последних лет был лишен личной жизни. Он думал, что она отнимет у него как у художника слишком много внимания и сил. И когда наконец он позволил себе эту роскошь, вот какими словами он определил свое состояние:

"Ты спрашиваешь, правда ли, что я женился? Это правда, но в наши годы это уже ничего не меняет" {330}.

Это, конечно, было преувеличено. Мы знаем, что женитьба не была для него таким безразличным фактом. Но, может быть, в этой грустной оговорке сказалось сознание, что большое личное благо он допустил к себе слишком поздно.

Я возвращаюсь к Ницце. Дней десять длилось его увлечение рулеткой. Он перестал принимать во внимание мои мнения и сам разрабатывал какие-то способы. Иногда он на мой зов поехать в Монте-Карло отвечал /331/ отказом. Я ехал один, но, смотришь, через час он появлялся, несколько как будто сконфуженный, становился у одного из столов и долго присматривался, наблюдал, видимо проверяя свою мысль, а потом садился и, осторожно вынимая из кармана золотые, ставил их как-то по-новому.

Кажется, что в результате всех этих попыток был у него небольшой выигрыш. Это и есть тот опасный момент, когда игрок слепнет и с головой зарывается в игру. А у него вышло иначе. Однажды он определенно и твердо заявил, что с рулеткой покончено: и действительно, после этого ни разу больше не поехал туда. Взяли силу его обычные качества - благоразумие, осторожность, уравновешенность, а главное - ему стало стыдно увлекаться и отдавать силы таким пустякам.

Воля чеховская была большая сила, он берег ее и редко прибегал к ее содействию, и иногда ему доставляло удовольствие обходиться без нее, переживать колебания, быть даже слабым. У слабости есть своего рода прелесть, это хорошо знают женщины.

Но когда он находил, что необходимо призвать волю, - она являлась и никогда не обманывала его. Решить у него значило - сделать.

Я, например, нисколько не меньше, чем он, сознавал всю тщету этих систем, всяких ухищрений и выдумок, однако же не мог отстать и продолжал ездить в Монте-Карло, все с большим и большим усердием, и играл, и... проигрался. Встретил одного солидного петербургского издателя, взял у него аванс и тоже проиграл его, и в конце концов не без затруднений, и то лишь при помощи Антона Павловича, выбрался из Ниццы и доставился в Петербург.

Его я оставил в "Русском пансионе", но скоро получил от него письмо из Парижа, откуда он поехал в Москву.

В Ницце же завершился и эпизод с миллионером, рассказ о котором я отложил на после. Я не знаю, при каких условиях произошло и чем было вызвано, что Антон Павлович после долгих настойчивых предложений со стороны миллионера, страстного поклонника его таланта, решился взять у него займы какую-то сумму (несколько сотен). Может быть, это было перед отъездом за границу. /332/

У него ведь всегда бывали недоразумения с конторой по издательству его книг. Там очень медленно производили расчет и нередко предъявляли ему ошибочные счета, для выяснения которых ему самому приходилось приезжать в Петербург. Об одной чудовищной ошибке, когда по предъявленному счету он оказался должен конторе семь тысяч рублей, а по проверке вышло, что контора должна ему что-то, он рассказывает в одном из своих писем {332}. Но это - крупное недоразумение, и потому он его отмечает. А более мелкие случались постоянно, и он часто жаловался на них.

Очень может быть, что и в этом случае контора опоздала с правильным счетом, а он не хотел терять лучшее время, чтобы поехать в Ниццу, и решился воспользоваться предложением миллионера.

И вот однажды в Ницце он получил письмо, в котором миллионер извещал его о предстоящем своем приезде. Я в это время был у него в комнате. Он прочитал письмо, положил его на стол и чуть-чуть усмехнулся.

- Никогда не бери займы у миллионеров, - сказал он.

- А что? - спросил я.

- Да вот - неосторожность: я взял у этого. За неделю до отъезда из Москвы. В течение недели мы встретились два раза: в первый раз он заехал ко мне в номер на другой день после займа, сидел час и все время говорил о том, какое это большое удовольствие выручить и поддержать талантливую человека. Мне было стыдно, и я хотел тут же вернуть ему взятые вчера деньги, но побоялся обидеть. Второй раз у Мюра и Мерилиза. Я пошутил: "Вот разменял вашу сторублевку". Он взял меня под руку и отвел в сторону: "Дорогой мой, я так рад... И вы, пожалуйста, не беспокойтесь об отдаче. Когда-нибудь, когда сами будете миллионером..." - и рассмеялся. Тут уж я непременно вернул бы ему деньги, но их не было со мной, да и начаты они были. А вот от него извещение о предстоящем прибытии в Ниццу, адрес гостиницы, где остановится, и приписка о том, что он намерен дружески провести со мною денёк два, и если я наслаждаюсь солнцем и чувствую себя хорошо, то он счастлив от сознания, что и он своим скромным участием капельку содействовал этому... Понимаешь? Так это же хуже всяких процентов. И, кроме того, он убежден, что /333/ я непременно побегу в гостиницу приветствовать его с благополучным прибытием. Для того и адрес указывает. А я не пойду.

Он замолчал и ходил по комнате, очевидно раздосадованный. Потом сел к столу, взял бумагу и аккуратно оторвал треть полулиста.

- Вот, помогай-ка...

И я помогал, сколько мог. В французском языке мы были оба порядочно слабы. Но кой-как составили телеграмму в контору издательства, где ему были должны или он мог взять авансом, - этого не помню. Чехов просил немедленно

перевести ему деньги телеграфом, и как раз ту сумму, которую он был должен миллионеру.

Я знал, что у него было рассчитано до самой Москвы и человек он был аккуратный, и спросил:

- Зачем?

- Да вот как приедет и попросит меня об отдаче не беспокоиться, так я и отдам. Готов держать пари, что так и будет.

Деньги он получил через два дня. Скоро приехал миллионер, но явился к нему только через несколько дней после своего приезда. Может быть, и в самом деле ждал, что Антон Павлович поспешит "приветствовать его с благополучным прибытием".

Я при этом свидании не присутствовал, а пришел вскоре после его ухода. Чехов встретил меня веселым смехом:

- Напрасно ты не держал пари, я выиграл бы. Он таки сказал это: "Вы, пожалуйста, говорит, дорогой мой Антон Павлович, не подумайте, что я своим приходом хочу напомнить вам", - и прочее. Но как это хорошо, что мне прислали. Вот сейчас мы это и устроим.

Он написал письмо, в котором в самых корректных выражениях благодарил своего заимодавца за оказанную услугу и просил принять уплату долга. А чтобы не обидеть его, он прибавлял, что торопится быть аккуратным плательщиком единственно для того, чтобы иметь право в будущем, в случае надобности, снова воспользоваться его любезностью.

Письмо и деньги были положены в конверт, надписан адрес, приглашен комиссионер, которому и было поручено все это отнести по адресу. /334/

- Он ведь в экипаже, значит - уже дома, так это не будет слишком скоро.

Так кончилась эта история. А миллионер, должно быть, понял, потому что больше не заглянул к нему.

И вот теперь, когда я вспоминаю об этом, в сущности забавном, эпизоде, мне начинает казаться, что, может быть, я был и не совсем прав несколько страниц назад, когда упрекнул богатых поклонников Антона Павловича в недостаточном радении о его здоровье.

Я должен допустить, что могли быть сделаны попытки устроить для него такое положение, при котором он не должен был бы постоянно думать о заработке, мог свободно ехать, куда ему угодно, и жить, где нравится и полезно.

Но он, вообще державшийся взгляда, что надо рассчитывать только на свои собственные силы, имел возможность в эпизоде с миллионером найти только подкрепление этого взгляда.

Щепетильность же его в денежных делах была исключительная. Я, конечно, не имею в виду людей близких и тех, кого он признавал своими товарищами. Но там речь могла идти о самых незначительных суммах, которые никого не могли обременить. Тут и у него брали, и он не стеснялся.

Но в отношении к издателям он всегда старался не быть должником и прибегал к просьбе об авансе в самых исключительных случаях, и то можно сказать, что инициатива в таких случаях принадлежала ему разве в первые годы

его литературной деятельности, когда ценителями его таланта являлись редакторы "Осколков", "Будильника" и других аналогичных изданий.

Тогда ему приходилось на четырех страницах искусно подходить к вопросу, чтобы в конце концов попросить авансом пятьдесят рублей для переезда на дачу, со всевозможными гарантиями отработать в такой-то срок и такими-то очерками.

Но позже, когда имя его стало ценностью, авансы предлагались ему со всех сторон, а он, всегда нуждаясь, тем не менее легонько, но все же очень твердо отстранял их.

На аванс он смотрел как на петлю, которую писатель сам набрасывает себе на шею. Случалось, что, взяв аванс и убедившись, что обещанной работы дать к /335/ условленному сроку не в состоянии, он делал огромное усилие, чтобы достать денег и поскорее снять с своей шеи петлю и вернуть аванс, чем, конечно, больше всех и несказанно удивлял издателя, который не был приучен к такого рода щепетильности.

Чехов нуждался... Как это странно звучит теперь! Но в те годы в этом не находили ничего странного. Напротив, считалось в порядке вещей, чтобы писатель нуждался, и чуть ли не прямо пропорционально его таланту.

Ведь незадолго перед тем нуждался и умер в нужде Достоевский. А после него нуждались Гаршин и Надсон. У всех это вызывало сочувствие, но никто не удивлялся. Так полагалось. Книга, как бы ни была она талантлива, была тогда достоянием немногих.

Чехов умер накануне радикальной перемены в судьбе книги. Через год после его смерти начался небывалый в России праздник книги: {335} вдруг бог знает откуда пришли тысячи новых покупателей, и - это странно даже звучит - у писателей, хоть и немногих, явились если не состояния, то возможность обеспеченной жизни и свободы располагать своим временем.

А Чехов до этого праздника не дожил. Литературное право находило еще некоторый сбыт в розницу, можно было продать издание той или другой книги, тысячу-другую экземпляров, но чтобы оно представляло определенную и постоянную ценность, это едва ли кому-нибудь приходило в голову.

Поэтому, когда узнали, что нашелся издатель {335}, оценивший сочинения Чехова в определенную солидную сумму и предложивший ему эту сумму, стон удивления пронесся по всему литературному стану.

Чехова ценили высоко. Но не в оценке было дело, а в том, что на литературу явился деловой спрос. Как ни велики были обороты некоторых издателей с книгами, но для писателя заработок от издания его книги являлся только небольшим подспорьем, основным же заработком было то, что ему платили в журналах и газетах.

Что платили и как обращались с приобретенным правом на издание рыночные издатели, об этом лучше уж и не вспоминать. Заплатив писателю какие-нибудь две-три сотни за двадцать печатных листов, они печатали сколько хотели экземпляров, потому что писатель /336/ проконтролировать их не мог, или не умел, или, наконец, просто не был способен возиться с этим.

Издатели детских журналов, а в то же время и книг платили автору от 50 до 75 рублей за право не только печатания в журнале, но и отдельного издания, причем единственным объяснением такой малой платы был, кажется, малый возраст читателей. Другого объяснения не было, так как детские книги шли лучше всяких других, а издатели переводили свои конторы и редакции в собственные дома.

Между прочим, в Москве ходил рассказ, похожий на анекдот (но он не был анекдотом), о том, как один очень популярный и весьма передовой издатель детского журнала {336} и книг расплатился с А.П.Чеховым.

Он долго обхаживал писателя, упрашивая его дать что-нибудь в журнал. Отношения были приятельские, встречались у знакомых, на литературных обедах, собирались и у него. Между прочим, расположение издателя к Чехову выразилось в том, что он как-то послал ему в презент несколько бутылок вина из собственных виноградников, которые у него были где-то на юге. Вино было прескверное, но А.П., конечно, похваливал его.

И вот наконец Чехов, теснимый любезностью издателя, дал ему какую-то вещь для журнала. И после этого они встретились у кого-то из знакомых, где было много народу, а может быть - и у самого издателя.

Когда А.П. ночью собрался уходить и надел пальто, издатель подошел к нему и со смущенным видом весьма поспешно ткнул в карман его пальто какой-то сверток и пробормотал что-то насчет своего долга. Чехов, внимание которого в этот момент было занято разговором с кем-то другим, почти не заметил этого движения, простился и вышел на улицу.

Тут он зачем-то полез в карман и нащупал сверток. Вынул - пакетец. Развернул несколько кредиток, что-то рублей 12, и счет: следует за рассказ столько-то. Послано вина такое-то количество бутылок, на такую-то сумму. Остальные 12 руб. при сем прилагаются.

Это было с Чеховым в ту пору, когда имя его гремело на всю Россию. А вот издатель совсем иного типа: идейный, положивший всю свою жизнь на хорошую книгу, отдавший ей все свои силы и действительно далекий от преследования целей наживы. Да она и не была /337/ нужна ему, так как он из-за книги совсем не пользовался жизнью.

И вот этот издатель платил авторам, имена которых в то время были популярны, за книгу в 15 печатных листов в 5000 экземпляров - 500 рублей. И это считалось наилучшими условиями, на какие может рассчитывать писатель.

Не нужно быть знатоком, чтобы расчесть, какая незначительная доля выпадала писателю и какой процент на затраченный капитал получал несомненно идейный и благорасположенный к литературе издатель.

После его смерти остались солидные средства, заботливо распределенные им на просветительные цели. Слава богу, конечно, и потомство будет ему благодарно, но справедливость требует признать, что в составлении этого капитала в значительной мере участвовали изданные им писатели, работа которых была им оплачена по произвольной оценке.

Как оценивалась работа Чехова при издании его книг и на каких условиях они выпускались до перехода прав на издание их к купившей их фирме, я не знаю.

Но несомненно, что до этого времени он всегда нуждался в заработке, который доставался ему нелегко. В письме к А.С.Суворину от 1895 года он пишет:

"Не работать мне нельзя. Денег у меня так мало, я работаю так медленно, что, прогуляй я две-три недели, мое финансовое равновесие пойдет к черту и я залезу в долги. Я зарабатываю черт знает как мало" {337}.

Это было в 1895 году, то есть когда имя Чехова уже сияло. И тот же крик повторяется у него из года в год. "Я до такой степени измочалился постоянными мыслями об обязательной, неизбежной работе, - пишет он другому корреспонденту, - что вот уже неделя, как меня безостановочно мучат перебои сердца. Отвратительное ощущение" {337}.

И это не выдумка и не преувеличение. Душе его тесно было в пределах Москвы, Петербурга и Мелихова, ему хотелось видеть как можно больше, весь свет. Он постоянно мечтал о поездке в какую-нибудь дальнюю страну, и единственная, какая ему удалась, это была поездка на Сахалин - самая ненужная из всех, какие можно было выдумать, и к тому же вредно отразившаяся на его хрупком здоровье. /338/

Результатом этого удивительного путешествия была книга, которая, несомненно, стояла ниже всего остального, написанного им {338}, и едва ли вплела лавры в его венок, в материальном же отношении тоже едва ли прибавила что-нибудь к его благополучию.

А впечатления? Где в произведениях его, написанных после поездки на Сахалин, встречаются отголоски тех впечатлений? Кой-где намеки, не имеющие существенного значения. И не видно было, чтобы он любил вспоминать об этом путешествии. По крайней мере я, проводший с ним немало дней, ни разу не слышал от него ни единого рассказа из того мира. Все, что он получил там, он как будто сдал в свою книгу и забыл.

Так чиновник, вернувшись из неприятной подневольной командировки, доставившей ему много хлопот и лишений, дает о ней отчет начальству и торопится поскорее забыть о ней.

Мечтал же он совсем о другом - о теплых краях, о жизни пестрой, оригинальной, не похожей на нашу.

"Денег, денег, - пишет он своей приятельнице в 1893 году. - Будь деньги, я уехал бы в Южную Африку, о которой читаю теперь очень интересные статьи! Надо иметь цель в жизни, а когда путешествуешь, то имеешь цель" {338}.

А позже ему хочется "из Москвы уехать на Мадейру. Это от грудей (то есть от грудной болезни) хорошо", и даже попутчик у него есть.

И так всю жизнь - то на Мадейру, то в Африку, то в Австралию, то в Америку, то шутя, то очень серьезно, но "денег, денег" - их-то всегда у него не хватало, и приходилось довольствоваться домашними поездками - в Таганрог, в Ялту, в Нижний и т.п.

Одну из таких мы совершили с ним вместе, и на пути случился эпизод, пустячный и комичный, но показавший мне, до какой степени решителен и непреклонен становился Чехов, когда его что-нибудь коробило.

Эпизод этот им рассказан Суворину в письме от 15 августа 1894 года.

Захотел А.П. показать свою родину, вернее - его самого потянуло туда. Мы и решили проехать по Волге, начав с Ярославля, спустившись до Царицына, а оттуда в Калач и по железной дороге в Таганрог. До Нижнего /339/ мы доехали благополучно. Нам оставалось только пересест на другой пароход, чтобы плыть дальше.

Бывшая в это время в разгаре ярмарка нас почему-то не заинтересовала. Мы даже как-то и не подумали о ней.

И вдруг встреча. Этот N{339}, "друг Льва Толстого", как его именует Чехов, был ему очень хорошо известен, больше даже, чем мне. И вот черта. А.П. не выносил его за хвастовство, ломанье, болтовню, за отсутствие у него собственного духовного нутра и вследствие этого вечное пристегивание себя к кому-нибудь более сильному, чем, он, - на таком определенном счету он у него был всегда, но никогда при встрече А.П. не показал ему и тени своего настоящего мнения о нем. Нет, он был любезен, шутлив, радушен, проявлял по отношению к нему лучшее, что можно проявить к человеку. И таков А.П. был во всех подобных случаях.

Если ему не вмоготу, он уйдет, спрячется или даже, как было в настоящем случае, "позорно бежит", но, пока он стоял лицом к лицу с человеком, каков бы ни был тот человек, он как бы считал долгом в лице его уважать человеческое достоинство.

Оттого из его отношений к людям, деловых и интимных, была исключена всякая вздорность. Ее не было вовсе. В среде писателей и художников так развита болезненная впечатлительность, соединенная с самолюбием, очень часто самомнением, всякий в глубине души считает себя великим, и так легко возникают недоразумения и столкновения. Большею частью это происходит именно от вздорности: неосновательных претензий, нежелания и неумения спокойно выслушать, непонимания друг друга, предубеждения, подозрительности, а иногда от нравственной невоспитанности.

Чехов, слава богу, был избавлен от этих качеств, и я, право, не знаю, были ли у него с кем-нибудь недоразумения, которые длились бы больше получаса, когда они спокойно и разумно объяснялись.

Я, конечно, не помню, что именно говорил N такого, от чего А.П. "стало душно, нудно и тошно", думаю даже, что ничего особенного и не было, но Чехов на эту встречу не рассчитывал и представил себе, как его общество и та необыкновенно серьезная околесина, какую он обыкновенно нес, отравят несколько часов, а может /340/ быть - и дней. И это заставило его мгновенно изменить весь план.

Он выразительно взглянул на меня, бросил что-то первое попавшееся, а мне шепнул: "на вокзал", - и совершилось бегство.

Конечно, N тоже прикатил на вокзал и принимал все меры, чтобы доконать его. Но ему надо было оставаться в Нижнем, и это нас спасло. Мы уехали в Москву.

Тут досада перешла в дурачливое настроение. Пришла фантазия ни с кем не видаться, не заезжать даже в Мелихово, хотя это было по дороге, и сейчас же

двигаться на юг, к хорошим знакомым его, Линтваревым, усадьба которых находилась на реке Псел.

В тот же день и поехали, успев в Москве только пообедать.

На Пселе оказались радушные хозяева, мы провели там очаровательную неделю, и я был благодарен Н за то, что он помешал нам осуществить первоначальный план. Бог знает, что еще ожидало нас в Таганроге, а о неделе, проведенной с Чеховым у Линтваревых, я и теперь вспоминаю с благодарностью...

Петербург был для Антона Павловича чем-то желанным и в то же время запретным.

Коренное различие двух столиц Российской империи во всем чуть ли не вошло в поговорку. Несходство действительно бросается в глаза как при въезде в Москву, когда вы окидываете ее улицы и площади беглым взглядом, так и при углублении в ее нравы и обычаи. Для петербуржца все здесь иное, как будто он попадает в иной мир.

Антон Павлович, не будучи москвичом по рождению и проведя детство и гимназические годы в Таганроге, среди смешанного населения огорожаненных хохлов, и обруселых греков, и других южных национальностей, в Москве за время студенчества и нескольких лет самостоятельной жизни, конечно, не мог сделаться москвичом и никогда не был им по существу.

Душа его была соткана из какого-то отборного материала, стойкого и не поддающегося разложению от влияния среды. Она умела вбирать в себя все, что было в ней характерного, и из этого создавать свой мир - чеховский. /341/

И никогда не был он ни таганрогцем, ни москвичом, ни петербуржцем, ни ялтинцем, а был Чеховым - той удивительно своеобразной личностью, которая так красочно рисуется в его замечательных письмах.

Но все же и на нем лежал "московский отпечаток"; по необходимости он свой внешний обиход жизни должен был приспособить к Москве, вести знакомства и дела с московскими людьми и, живя с московскими, "по-московски выть".

Москва была для него буднями. Здесь он должен был сидеть за работой, вечно думать о заработке и сведении концов с концами.

Но если Москва так отличалась от Петербурга в смысле внешнего вида и нравов, то для писателя, особенно для беллетриста, было еще другое, более глубокое различие. Литература тогда была почти вся сосредоточена в Петербурге.

Из приемлемых для Чехова журналов в Москве была только одна "Русская мысль". Из стоявшего во главе ее триумvirата - Гольцев, Лавров и Ремезов - литератором в полном смысле этого слова был только один В.А.Гольцев.

Был еще журнал Куманина "Артист", к которому Антон Павлович относился сочувственно, - красивое издание с широким размахом. Но это был журнал, почти исключительно посвященный интересам театра.



Из газет Чехов мог тогда принимать в расчет только "Русские ведомости", в которых работали главным образом московские профессорские круги, собственно же литераторы, статьи которых от времени до времени там появлялись, были петербуржцы. Беллетристика же как в "Русской мысли", так и в "Русских ведомостях" принадлежала почти вся сплошь петербургским литераторам. Постоянно живущих в Москве беллетристов почти не было.

Что же касается мелкой прессы и разных юмористических еженедельников, то это был тот мир, в котором А.П. невольно вращался в самом начале своей литературной деятельности, - мир, не оставивший в нем приятных воспоминаний, и там ему теперь, конечно, нечего было делать. /342/

Знакомства в Москве у него были обширные, но в огромном большинстве обывательские. Мне сейчас даже трудно вспомнить, кто жил тогда в Москве из заправских литераторов: кроме Вл.И.Немировича-Данченко и князя А.И.Сумбатова, которые оба больше клонились к театру, и тех, кого я уже упомянул, а также журналистов, работавших в "Русских ведомостях", я никого не припоминаю. П.Д.Боборыкин проживал по несколько месяцев в Москве, одно время жил Г.А.Мачтет.

Все ежемесячники, за исключением "Русской мысли" и "Русского вестника", к которому А.П. не имел никакого отношения, издавалась в Петербурге, и там были сосредоточены все главные литературные силы.

Понятно, что и литературные связи А.П., которые с каждым годом расширялись, были главным образом в Петербурге. Там, а не в Москве был впервые замечен и признан его талант. Там издавались его книги, а журналы наперебой звали его к себе сотрудничать. Да даже и раньше того момента, когда был замечен его талант, в Петербурге, в лейкиных "Осколках" и в "Петербургской газете" главным образом помещались его рассказы, и оттуда шли первые скромные заработки.

Словом, если Москва дала ему медицинские познания и сделала его врачом, то восприемником его литературной карьеры был Петербург.

И, сколько мне помнится, в Петербург он всегда ездил с удовольствием. В Москве у него шла постоянная, напряженная работа. Даже в Мелихове, которое он любил, как птица любит ею самой овитое гнездо, он не был избавлен от всегдашней заботы о средствах к жизни. В Петербург же он приезжал как будто на гастроли.

Здесь были люди, у которых он мог считать себя как дома. С семейством А.С.Суворина он был в прекрасных отношениях, и там для него был всегда готов "и стол и дом".

Правда, он не особенно любил там останавливаться, но это происходило не от недостатка любезности со стороны хозяев или недоверия с его стороны, а просто от желания не стеснять ни других, ни себя. Быть кому-нибудь обязанным без уверенности в том, что он сможет отплатить, было для него настоящим пугалом. И если он иногда останавливался в гостинице, то это вызывалось не необходимостью, а его капризом. /343/

В самом же Петербурге он был, что называется, нарасхват. Всюду его звали, всем хотелось видеть его своим гостем. Литературных приятелей у него было множество, со всеми надо было посидеть, поболтать, распить бутылку вина.

А кроме того, наполняли время и литературные дела, так как круг его литературных отношений расширился.

И петербургский образ жизни был совсем иной, более подходящий к его вкусам, чем московский, и менее для него вредный. Петербуржцы - домоседы по преимуществу. Московская трактирность им не по нутру. И потому тут жизнь проходит спокойнее и здоровее.

Он всегда говорил, что в Петербурге у него голова как-то яснее, чем в Москве. Это понятно. Когда люди спрашивают друг у друга: где мы встретимся вечером? - в Петербурге это значит: я к вам приеду или вы ко мне? Когда такой же вопрос задают в Москве, это значит: в "Эрмитаже", в "Метрополе", в "Праге" или у "Яра"?

И в этом отношении Петербург был благоприятен для его здоровья. Здесь он и спать ложился раньше, и нервы его были спокойнее.

И, конечно, он давно оставил бы Москву и стал бы жить в Петербурге, если бы не убийственный для его легких климат нашей северной столицы. Эта вечная сырость, постоянные неожиданные смены тепла холодом и холода теплом, ветры - все это для него было переносимо только в самой небольшой дозе. И он, под личиной постоянного бронхита всегда подозревавший прятавшуюся за ним свою болезнь, стремился в этот город и боялся его.

Среди петербургских литераторов особенно близких приятелей у А.П. не было, но добрые, товарищеские отношения были со многими.

С большим вниманием и, я даже скажу, с товарищеским состраданием относился он к странной литературной судьбе недавно умершего И.Л.Щеглова. Их отношения были давние, завязавшиеся еще в те времена, когда у А.П. не было известности.

Чехов искренне жалел Щеглова и говорил, что его здоровый некогда талант "заболел неизлечимой болезнью". /344/

В самом деле, странна была судьба этого писателя, который начал такими свежими, здоровыми очерками военной жизни, помещавшимися в "Деле", а затем точно вдруг попал в какой-то тупик, из которого никак не мог выбраться.

Соблазнил его театр, и написал он для театра что-то имевшее успех. И этот успех как будто отравил его. В дальнейшем на всей его работе лежал налет театра и кулис. И при этом странно то, что сам он не был театральным человеком. Никто не вспомнит, чтобы часто его видели в театре, а тем больше - встречали за кулисами. Последние годы своей жизни он посвятил народному театру, много писал о нем {344}, составил книгу, которая, впрочем, никакого движения в деле народного театра не произвела.

И вот когда о нем заходила речь, лицо Чехова всегда становилось печальным. Он часто говорил об особом авторском психозе, которым болеет человек, ставящий пьесу.

- Я сам испытал это, когда ставил "Иванова", - говорил он и описывал болезнь: "Человек теряет себя, перестает быть самим собой, и его душевное состояние зависит от таких пустяков, которых он в другое время не заметил бы: от выражения лица помощника режиссера, от походки выходного актера...

Актер, исполняющий главную роль, надел клетчатый галстук, а автору кажется, что тут нужен черный. Публика, может быть, совсем не замечает галстука, а ему, автору, кажется, что она не видит ни декорации, ни игры, а только галстук, и что это ужасно, и что галстук этот погубит пьесу.

Бывает и хуже: актриса - ломака, вульгарнейшая из женщин, раньше он не мог выносить ее голоса, у него делались спазмы в горле, когда она с ним кокетничала. Но вот ей аплодируют, она тянет пьесу к успеху, и он, автор, начинает чувствовать к ней нежность, а в антракте подбегает к ней и целует ей ручки...

А вот идет главная сцена, на которую он возложил все надежды. В зале кашляют, сморкаются. Ни малейшего впечатления, ни хлопка... Автор прячется в темной норе, среди старых декораций, и решает никогда отсюда не выйти и уже ощупывает свои подтяжки, пробуя, выдержат ли они, если он на них повесится. / 345/

И никто этого не понимает. И те не понимают, что приходят за кулисы "утешать" автора, и даже поздравляют с успехом. Они не подозревают, что перед ними временно-сумасшедший, который может наброситься на них и искусать их.

Человек с более или менее здоровой нервной организацией выдерживает это потрясение, понемногу отходит, и дня через три его можно перевести в разряд "выздоровливающих", но иных это потрясает на всю жизнь. Вот это и случилось с Иваном Леонтьевичем.

Нет, вы посмотрите, что ему театр? Да он его даже, в сущности, не любит, почти не бывает в нем и не знает ни актеров, ни актрис, а пишет об актерах и актрисах".

И он постоянно убеждал Щеглова: "Бросьте вы театр и кулисы. Ведь это же, в сущности, лазарет самолюбий. За исключением, может быть, дюжины настоящих талантов, все - страдающие *mania grandiosa*\*. А вы обратили бы ваше благосклонное око на простую, здоровую жизнь, которой вокруг вас хоть отбавляй. Вот отворите окно - и она на вас так и пахнёт".

---

\* манией величия (лат.).

Но это не помогло. Щеглов пережил Чехова, но от театральной отравы не вылечился. Кажется, он даже сомневался, в полной искренности чеховских советов; ведь сам-то Антон Павлович театром занимается, для театра пишет, и театр в последние годы завершил его славу.

Но тут уже было роковое непонимание, с которым ничего нельзя было поделать.

В Петербурге у А.П. было много литературных приятелей, и каждый хотел повидаться с ним. Он был для петербуржцев человеком свежим, от него живой Русью веяло. Все тут, встречаясь постоянно в одних и тех же комбинациях,

изрядно надоели друг другу, и появление его - такого своеобразного и так непохожего на всех - как бы озонировало атмосферу...

В воспоминаниях одного писателя {345}, достоверность которых выше всяких сомнений, я нашел описание странной сцены: как в квартире одного известнейшего писателя почтенная дама, впоследствии занимавшая видное положение в журнально-издательском деле, задела Чехова резким замечанием относительно одного из его /346/ литературных друзей. И это была его первая встреча и с писателем и с дамой.

В воспоминаниях об этом говорится вскользь, но я знаю, что эпизод этот в действительности не скользнул по душе Антона Павловича. Он не задел и не оскорбил его лично, хотя не было бы ничего удивительного, если б так случилось.

Каждый имеет право считать своими друзьями тех, кто ему нравится. Определяя направление писателя, казалось бы, достаточно иметь в виду его произведения и оставить в стороне его друзей.

Но упрек этот подействовал на него в другом направлении. Он всю жизнь потом страшился тех исключительности и нетерпимости, какими повеяло на него в том эпизоде.

Я встретился с ним гораздо позже, и все же об эпизоде этом он мне рассказал и не раз возвращался к нему. И потом, сколько мне известно, он, по своим общественно-политическим симпатиям близкий к взглядам того кружка, до конца жизни никогда с ним не сблизился.

- Хорошие люди, - говорил он, - все превосходные люди, но требуют, чтобы и ты был таким же превосходным, как они.

Но это было, может быть, единственное огорчение, доставленное ему петербургскими литературными кругами. Сколько я помню, всегда все были ему рады и его появление всюду приветствовалось. И не подлежит никакому сомнению, что он не только производил освежающее впечатление, но как-то без всяких стараний со своей стороны объединял довольно-таки разбросанные и разрозненные элементы.

Он, например, в один из своих приездов в Петербург подвигнул здешних беллетристов хоть раз в месяц собираться на общие обеды. Приезд его совпал с Татьяниным днем {346}. В Москве он привык этот день проводить в шумном обществе товарищей по Московскому университету, и привычка эта была так сильна в нем, что он, несмотря на то, что дела этого не позволяли, чуть было не укатил на один вечер в Москву.

Он отказался от этой мысли только тогда, когда ему удалось уговорить группу петербургских беллетристов /347/ собраться в этот день где-нибудь в ресторане для общего обеда, что и было исполнено.

И этому обеду суждено было сделаться "учредительным", так как от него пошел целый ряд регулярно повторявшихся обедов. Они назывались "беллетристическими" {347}. Но потом почему-то пришили к ним ничем не оправдываемое название "Арзамас". Кличка, как нимало не подходящая и взятая напрокат, скоро сама собою отклеилась, да и обеды погибли от взаимного равнодушия участников и - как это ни странно - отсутствия общих интересов.

Из сверстников-беллетристов большими симпатиями его пользовались К.С.Баранцевич, М.Н.Альбов, В.А.Тихонов. Но совершенно особое место он отводил ныне уже покойному Дмитрию Наркисовичу Мамину-Сибиряку.

Он вызвал в Чехове особый интерес и как человек, и как писатель, и А.П. при встречах видимо присматривался к нему и наблюдал его. Он как бы любовался его самобытностью и часто говорил о том, что вот этого человека жизнь трепала, как, может быть, ни одного из нас, а он между тем не уступил ей ни капли из своего уральского колорита.

Как-то у него все выходило по-своему. Его грубоватая и зачастую неприемлемая в взыскательном обществе речь, изумительные по своей меткости шутки, лишённые всякой дипломатичности эпитеты, которые он с лицом невинного младенца преподносил приятелям, его полная беззаботность относительно внешности, небрежно торчащие в разные стороны волосы, кой-какая одежда - все это выделяло его из ряда других.

И невозможно было представить такой обстановки, где Мамин заставил бы себя быть иным. Всегда и во всем он был самым собою и таким остался до конца дней своих.

Чехов сравнивал его с черноземом где-нибудь в Тамбовской или Херсонской губернии: копай хоть три дня в глубину - все будет чернозем, никогда до песку или глины не докопаешься.

В один из своих приездов в Петербург А.П., встретившись где-то с Маминым, так сильно заинтересовался им, что потом все время в разговоре возвращался к нему, /348/ а затем вдруг однажды покался, что ни одной его вещи не прочитал как следует.

Помню, что мы вместе зашли в книжный магазин Суворина и он велел прислать ему все, что было издано отдельно, Мамина-Сибиряка.

И он принялся поправлять свою оплошность, каждый день в свободные часы читая Мамина, но, когда при встрече я его спрашивал о впечатлении, он, видимо, избегал определенно высказываться.

И только когда прошло несколько дней, он однажды сам заговорил об этом:

- А знаешь... я про Мамина... Он в книгах такой же точно, как и в жизни... Тот же чернозем - жирный, плотный, сочный, который тысячу лет может родить без удобрения. Растут на нем дикие травы и злаки, им же несть числа, а в гущине их живут на воле зайцы, стрепеты, куропатки и перепела... Это - та степь, которая воспета Гоголем.

- Ты хочешь сказать, что он некультурен?

- Да, вот слава богу, за культурностью он не гоняется. Но зато в каждом его рассказе какой-нибудь Поль Бурже извлек бы материала на пять толстых романов. Знаешь, когда я читал маминские писания, то чувствовал себя таким жиденьким, как будто сорок дней и сорок ночей постился...

- Я теперь понял, почему он сам такой, - снова потом вернулся А.П. к той же теме. - Там, на Урале, должно быть, все такие: сколько бы их ни толкли в ступе, а они всё - зерно, а не мука. Когда, читая его книги, попадаешь в общество этих крепышей - сильных, цепких, устойчивых черноземных людей, - то как-то

весело становится. В Сибири я встречал таких, но, чтобы изображать их, надо, должно быть, родиться и вырасти среди них. Тоже и язык... У нас народничают, да всё больше понаслышке. Слова или выдуманные, или чужие. Я знаю одного писателя-народника - так он, когда пишет, усердно роется у Даля и в Островском и набирает оттуда подходящих "народных" слов... А у Мамина слова настоящие, да он и сам ими говорит, и других не знает.

В другой раз, снова вернувшись к этой теме, Чехов сказал:

- Мамин принадлежит к тем писателям, которых по-настоящему начинают читать и ценить после их /349/ смерти. И знаешь, почему? Потому что они свое творчество не приурочивали к преобладающему направлению...

Это уж было отчасти и про себя. Его ведь тоже упрекали в равнодушии к направлению. Одно время это было даже ходячей фразой, которую повторяли люди, привыкшие высказывать готовые суждения с чужого голоса: "Чехов - талант, но без всякого направления".

Известный в то время критик Скабичевский, который весь состоял из направления, немало способствовал распространению этого взгляда.

Симпатии Чехова к Дмитрию Наркисовичу завершились торжественным совместным снятием в фотографии. В качестве общего их приятеля на этой карточке очутился и я (см. N 26, стр. 512){349}.

Начало зимы 1896 года ознаменовалось одним из самых нелепых событий, какие только бывали в истории петербургских казенных театров. Я говорю об известном провале в Александринском театре чеховской "Чайки"... {349}

Я знаю людей, которые и теперь еще, по прошествии восемнадцати лет, когда вспоминают об этом, начинают беспокоиться так, как будто это было вчера:

- Нет, но "Чайка"... Вы помните? С Коммиссаржевской... Ведь это было что-то беспримерное...

"Чайка", которая потом сделалась символическим знаком Московского Художественного театра и до сих пор еще, кажется, красуется на его занавеси, бланках и т.п.

Мне привелось близко стоять ко всей истории этой постановки, заботиться о переписке экземпляров для цензуры, вести переговоры с самой цензурой и т.п.

Современный читатель, вероятно, удивится упоминанию о переговорах с цензурой. Он знает "Чайку", и ему известно, что там нет ничего, что могло бы дать повод для работы красных чернил Театральной улицы.

Но в те времена, отделенные от нас только восемнадцатью годами, ни один автор не мог поручиться за цензурность своей пьесы. Требования были не то что очень большие или суровые, а просто произвольные. Была не цензура, действующая на основании точных правил, которые мог бы иметь в виду и автор, а цензора, каждый с своими особыми взглядами и требованиями и даже капризами. /350/

В одном из писем, где речь идет именно о "Чайке", Антон Павлович беспокоится о судьбе пьесы и называет цензора Литвинова. Это был цензор, с которым драматурги предпочитали иметь дело. Человек культурный, с ним можно было говорить, спорить, убеждать. К пьесам он предъявлял минимум

требований, делал уступки до самого того рубежа, где начинался уже его личный риск ответственностью.

Но были цензора и другого рода, и их весьма тщательно избегали авторы. Кажется, в то время был еще жив цензор Донауров, не пропускавший в пьесе никакого упоминания о боге, и если, например, у действующего лица была привычка божиться, повторять - "ей-богу", то цензор преспокойно лишал его этой привычки, считая, что на сцене это представляет кощунство.

При таких обстоятельствах Чехов имел право бояться за "Чайку". Но, по счастью, она попала к "доброму цензору" и существенной аварии не потерпела.

Самая пьеса, когда Чехов прислал ее в Петербург еще в рукописи и даже не в оконченном виде, так как она отсылалась ему в деревню, изменялась им и отделялась, вызвала к себе очень осторожное отношение.

Талантливость ее как литературного произведения была в глаза. Но для сцены, как казалось с точки зрения установившегося вкуса, в ней чего-то важного не доставало. Не было условного развития драматического сюжета с постепенным нарастанием и разрешением в конце, перед падением последнего занавеса. Иными словами - не было того, что составляет сущность театрального представления, что захватывает всего зрителя и держит его пленником до конца.

Это порождало сомнение в возможности удачной постановки ее на сцене. Мысль сама собою переносилась к нашим актерам, которые привыкли к известным формам, и было мало надежды на то, что им удастся схватить, усвоить и выявить то совершенно новое, что предлагал им Чехов. Еще меньше было надежды на то, что пьесу поймет и примет наша театральная публика.

Но художественные достоинства этого произведения были так блестящи, краски так свежи и оригинальны, манера рисовать жизнь так проста и полна какого-то внутреннего изящества, особого, чеховского, секрет которого он никому не завещал и унес с собой, как /351/ сказочный волшебник уносит с собой в могилу вещее слово, заклятие, которое только он один знал, - что думалось: почем знать, может, свершится чудо, и эти достоинства так завладеют актерами и публикой, что они не заметят того, чего недостает.

Я лично был в восторге от "Чайки", но с Чеховым спорил. Я говорил, что сцена предъявляет вполне законные требования условности, и если писатель не хочет подчиняться им, то он не должен пользоваться сценой, а избрать для своих образов другой род литературы.

Но он этого не признавал и, возражая, впадал в преувеличение, как это с ним всегда бывало: "Никаких сюжетов не нужно. В жизни нет сюжетов, в ней все перемешано - глубокое с мелким, величавое с ничтожным, трагическое с смешным. Вы, господа, просто загипнотизированы и поработаны рутиной и никак не можете с нею расстаться. Нужны новые формы, новые формы..."

Эту последнюю фразу он повторял часто, а в "Чайке" вложил ее в уста Треплеву и заставил тоже повторять.

В конце концов он на меня подействовал своей убежденностью. Я начал думать, что художественные достоинства "Чайки" покорят жестоковейшую публику Александринского театра.

Но в судьбе этой пьесы сыграли роль такие случайности и посторонние делу обстоятельства, какие, кажется, немыслимы ни в одном театре, кроме русского.

В то время в Александринском театре в полном ходу была система бенефисов. У главных актеров бенефисы были ежегодные, вторые же - получали их от времени до времени, за особые заслуги или просто когда кому-нибудь удавалось выхлопотать. Основной репертуар сезона составлялся заранее, и если автор приходил с своей пьесой во время сезона, то какими бы достоинствами она ни обладала, для нее уже не было места.

Конечно, бывали исключения. Связи и хлопоты, слово, замолвленное влиятельным лицом, легко открывали дверь храма во всякое время. Но у Чехова не было связей, хлопотать же он не умел, да и не хотел.

Но зато благодаря бенефисам на сцену иногда попадали пьесы, лишенные всяких художественных достоинств, но заключавшие в себе эффектную роль для бенефицианта. Бенефициант сам выбирал для себя пьесу, /352/ требовалось только формальное утверждение дирекции. Так же формально к таким пьесам относился и Театрально-литературный комитет. Что же было делать, если актер или, еще хуже, актриса настаивали?

Если бенефис получал актер второстепенный, то он иногда, ради хорошего сбора, жертвовал своим актерским самолюбием и выбирал пьесу с козырной ролью не для себя, а для первой актрисы, имя которой делало сбор, "ли старался выехать на имени автора.

К несчастью, тут случилось именно это последнее. Пьеса досталась для бенефиса Левкеевой. В ней для бенефициантки совсем не было роли.

В одном из писем своих, не помню - кому {352}, А.П., говоря о распределении ролей в "Чайке", сообщает, что Чайку, то есть Нину Заречную, будет играть толстая комическая актриса Левкеева. Конечно, это была заведомая шутка.

Но в дальнейшем, когда начали искать роль для бенефициантки, стали в тупик. Бенефициантке в пьесе нечего было делать. Упоминаемая в одном из писем Суворину моя мысль - отдать ей роль жены управляющего, конечно, не принадлежала к удачным, но это была единственная возможность так или иначе ввести ее в пьесу и, как это водилось, дать публике возможность встретить ее аплодисментами.

Цель - прямо-таки святотатственная, когда речь идет о таком произведении, как "Чайка", но это все-таки было гораздо меньшее зло, чем ставить пьесу в бенефис Левкеевой.

Это была актриса своеобразная. Есть такие люди, которые, не делая никаких усилий, одним своим появлением в обществе вызывают веселое настроение. Что-то в них есть смешное - в манерах, в движениях, в голосе. Общество умирает от скуки, но появляется такой человек - и всем вдруг становится весело.

Левкеева, на мой взгляд, была такая актриса. При исполнении роли едва ли она задавалась целью дать какой-нибудь характер или тип. Это всегда была Левкеева. Сама она по своему складу очень подходила для некоторых персонажей



Островского, но это было просто счастливое совпадение. В остальном же, в чем она появлялась, она смешила своими манерами, походкой, голосом. /353/

Появление такой актрисы в пьесе Чехова, конечно, было бы неуместно. "Публика станет ждать от этой роли чего-нибудь смешного и разочаруется", - совершенно справедливо заметил Чехов. Было ясно, что бенефициантку придется совсем устранить из пьесы, что и было потом сделано.

Дальше начали мудрить с другими женскими ролями. Мужские разошлись более или менее правильно, но женские - это всегда трудней.

Правильная мысль роль актрисы поручить М.Г.Савиной, у которой эта роль вышла бы блестяще, по каким-то дипломатическим причинам, кажется, даже и не высказывалась. Для этой роли была выдвинута Дюжикова, хорошая актриса для драмы, но лишенная юмора и скучная в характерных ролях. Савиной же, по мысли А.С.Суворина, предполагалось предложить роль Заречной, из чего, несмотря на огромный талант М.Г., едва ли вышло бы благо.

Почему-то о Коммиссаржевской тогда никто и не подумал. Сам же Чехов ни в чем ее не видал и не был знаком с ее дарованием. И только в последнюю минуту вспомнили об этой актрисе.

Невозможно описать, как волновалась Вера Федоровна, приступая к созданию этой роли. Самая пьеса очаровала ее, но она боялась и за себя, и особенно за прием пьесы публикой.

Антон Павлович еще не было в Петербурге, когда приступили к репетициям. Они шли слабо. Артисты отнеслись к пьесе совершенно так же, как ко всякой другой.

Сегодня не пришел один, за, завтра двое, и в то время, как явившиеся играют свою роль уже под суфлера, за неявившегося читает по рукописи помощник режиссера. Что из этого получалось - легко себе представить.

Артист, исправно посещающий репетиции и искренне желающий добросовестно работать и создать из роли, что в силах, теряется, напрасно ищет тона, сбивается, а в конце концов приходит в отчаяние и на все машет рукой: что будет, то будет.

Такое отношение к делу некоторых актеров - настоящая беда театра.

Есть большие актеры с признанным талантом, благодаря чему они занимают в труппе твердое положение. /354/ Опираясь на свой авторитет и считая для своего большого дарования и опытности достаточным две-три репетиции, они обыкновенно на целый ряд репетиций не приходят, и то, что они сделают из своих ролей, для остальных участвующих чуть не до последнего момента является тайной. При таких условиях никакой архитектурный план выполнен быть не может, каждый играет за себя, чувствует себя ответственным, насколько это возможно, только за свою роль. Ни общей, единой для всех, задачи, ни тона, ни настроения тут быть не может.

Если от этого страдает всякая пьеса, то "Чайка", написанная тонкими штрихами, где лица нарисованы нежнейшими красками, должна была завянуть, как нежное молодое растение от повеявшего на него холода. Так это и было.

И когда Чехов, никем из актеров не замеченный, пришел в театр, занял место в темной зале и посидел часа полтора, - то, что происходило на сцене,

произвело на него гнетущее впечатление. До спектакля оставалось пять дней, а половина исполнителей еще читала роли по тетрадкам, некоторых же вовсе не было на сцене, вместо них появлялся бородатый помощник режиссера и без всякого выражения прочитывал, в виде реплик, последние слова из их роли...

Когда режиссер упрекал актера, читающего по тетрадке: "Как вам не стыдно до сих пор роль не выучить!" - тот с выражением оскорбленной гордости отвечал: "Не беспокойтесь, я буду знать свою роль..."

Антон Павлович вышел из театра подавленный. "Ничего не выйдет, - говорил он. - Скучно, неинтересно, никому это не нужно. Актеры не заинтересовались, значит - и публику они не интересуют".

У него уже являлась мысль - приостановить репетиции, снять пьесу и не ставить ее вовсе.

Когда обо всем этом узнала Коммиссаржевская, она пришла в отчаяние. Сама она усердно посещала репетиции, но играла вполголоса, - о ней судить Антон Павлович не мог. Но она больше чем кто другой чувствовала всю нелепицу, какая выходила из представления, и в то же время видела себя бессильной.

На одну из следующих репетиций Чехов пришел к самому началу, и, когда его увидели актеры, на сцене /355/ произошло то непонятное и не поддающееся объяснению явление, которое знакомо только актерам и, может быть, только русским: чудо, иногда спасающее совсем проваливающуюся пьесу; без предварительного уговора - общий подъем, коллективное вдохновение, незримо сошедшие с неба огненные языки.

Все подтянулись и начали играть. У не знающих ролей уточнился и обострился слух, и они улавливали каждый шорох, вылетающий из суфлерской будки. Появился рисунок, даже что-то общее, что-то похожее на настроение.

Когда же вышла Коммиссаржевская, сцена как будто озарилась сиянием. Это была поистине вдохновенная игра.

В последней своей сцене, когда Нина ночью приходит к Треплеву, артистка поднялась на такую высоту, какой она, кажется, никогда не достигала.

В зале не было публики, но был Чехов; она играла для него одного и привела его в восторг. Было что-то торжественное и праздничное в этой репетиции, которая, несомненно, была чудом. Александринские актеры доказали, что при известных условиях они могут достигать высочайшего подъема.

И куда девалось унылое настроение, с которым Чехов уходил из театра после предыдущих репетиций! Исчезли все сомнения. Пьеса, несомненно, пройдет хорошо, и если публика не примет ее, то примет актеров, которые все дают массу живого и интересного.

Но чудо, как видно, не повторяется. На генеральной репетиции на сцене царил какая-то неопределенность. Что-то как будто переломилось, словно артисты, дав слишком много на той репетиции, надорвали свои силы. Вдохновения уже не было, огненные языки не слетели с неба.

Все шло гладко, но бледно и серо. Чеховские люди все больше и больше сбивались на александринских. Актеры, которые так вдохновенно на той

репетиции отошли от себя, как будто забыли, как это они сделали. Дорогу занесло снегом, и пришлось идти ощупью, как попало.

Накануне представления мы с Антоном Павловичем обедали у Палкина. Он уже предчувствовал неуспех и сильно нервничал. /356/

К спектаклю приехали из Москвы Марья Павловна и еще кой-кто из близких {356}, и он выражал недовольство. Зачем было приезжать? Это как будто увеличивало его ответственность.

И вот - спектакль, кажется, действительно беспримерный в истории театра, по крайней мере на моей памяти.

Все же я должен сказать, что суждения о каком-то исключительном, точно то особому заказу плохом исполнении "Чайки" в ту постановку ее на александринской сцене были преувеличены. Я сужу по генеральной репетиции и по дальнейшим спектаклям, кроме первого представления, на котором я, по особым личным обстоятельствам, не был.

И тот провал, о котором так много говорили и писали и который произвел такое глубокое впечатление на Чехова, был вызван взаимодействием исключительных причин.

На сцене были Коммиссаржевская, Абаринова, Дюжикова, Читау, Давыдов, Варламов, Аполлонокии, Сазонов, Писарев, Панчин. Этим актерам, даже и не в столь густой концентрации, приходилось выступать в пьесах безжизненных и бездарных, и они умудрялись делать им успех. О небрежности же с их стороны, о невнимании не могло быть и речи.

Можно сказать с уверенностью, что они напрягали все силы своих дарований, чтобы дать наибольшее и наилучшее. То, чего недоставало, - общий тон, единство настроения, - был недостаток коренной и проявлялся не здесь только, а и в других постановках.

Может быть, здесь оно проявилось несколько резче, потому что среди участников представления были люди, отрицательно относившиеся к самой пьесе и авторской манере изображения. Они, таким образом, играли без убежденности.

Но зато их согревала симпатия к автору, которого все любили и желали сделать для него как можно лучше.

И все таки был даже не неуспех, а провал, притом выразившийся в совершенно нетерпимых, некультурных, диких формах.

И, конечно, дело было не в актерам и не в их игре, а в публике. Публика первых представлений /357/ Александринского театра - довольно приятная публика. Хорошее она принимает с восторгом, к посредственному снисходительна. В массе она интеллигентна и равнодушна.

В театр эта публика приходит отдыхать и с некоторой пользой для ума и сердца развлечься. Половина театра - по записям автора, режиссеров, актеров, дирекции: они чувствуют себя чуточку привилегированными, и это делает их снисходительными союзниками.

И потому первые представления в этом театре почти сплошь проходят гладко. Актерам аплодируют, потому что любят их, автора вызывают - ну, хотя бы для того, чтобы посмотреть, какой он из себя и какое у него будет глупое лицо, когда он начнет раскланиваться.

Но бенефисная публика - это нечто другое. Преобладающий состав ее не поддается общему определению. Это зависит от того, чей бенефис.

У каждой актрисы и у каждого актера - свои особые поклонники, и уж они, конечно, первые заполняют запись на места. И самая запись производилась (не знаю, как теперь) не в кассе и не в конторе театра, а у бенефицианта на дому.

Это тоже ведь представляет особого рода прелесть: прийти к артистке и засвидетельствовать свое поклонение или выразить его в письменной форме. Таким образом, успех пьесы ставится в прямую зависимость от того, чей бенефис и каков контингент поклонников.

Без сомнения, актер знал своих почитателей и пьесу для своего бенефиса выбирал применительно к их вкусам, но в данном случае, очевидно, Левкееву посетило какое-то затмение. Решительно необъяснимо, почему именно она выбрала "Чайку" и этим ввела неповинного автора в крайне невыгодную сделку.

Левкеева - веселая, смешная актриса, обыкновенно появлявшаяся в ролях бытовых, а то игравшая приживалок, старых дев, которые обыкновенно трактуются в комическом виде и говорят смешные слова, с смешными ужимками.

При появлении Левкеевой на сцене всем было смешно, и вызванный ею смех был добродушного, но невысокого, общедоступного качества. Ее поклонники были купцы, приказчики, гостинодворцы, офицеры.

Очевидное дело, что, когда был объявлен ее бенефис, они подумали: "Левкеева! Вот уж насмеемся, потешим /358/ душу. То-то, должно быть, угостит она пьесочкой... Бока надорвем смеючись".

И ринулись записываться на места, невзирая на возвышенные цены. Сама Левкеева в этом случае перескромничала, слишком мало понадеялась на свое собственное имя и усилила его еще именем автора.

Но в том кругу, который она привлекла на свой бенефис, едва ли было даже известно имя Чехова.

Были, конечно, зрители, которых привлекло в театр имя не Левкеевой, а Чехова, но их было ничтожное число. Широкою интеллигентную аудиторию, которая тогда уже была у Чехова, бенефисные цены заставили отложить наслаждение до следующих спектаклей.

И вот эта-то публика и явилась ценительницей чеховских "новых форм", которые ей показали со сцены. Ничего другого и не могло произойти, кроме того, что произошло.

С первых же сцен началось недоумение. Актеры говорили на непонятном языке недоступные пониманию публики вещи. Никто не смешил, никто не раздирал душу.

Герой - какой-то неизвестный молодой человек, вздыхающий по "новым формам" и страдающий оттого, что у него из литературы ничего не выходит.

Наивная провинциальная девушка... Известный писатель, пожилая актриса... Скучный доктор, скучный сельский учитель, жена его, пьющая водку...

Требовать от этой публики, чтобы она разглядела ту тихую, незримую трагедию, которая витает над жизнью этих людей, было бы даже несправедливо.

И, выслушав акт и часть второго, левкеевская публика почувствовала себя оскорбленной. Кроме того, эта публика была невоспитанная. Другая публика,

если б даже нашла пьесу неудачной, плохой, из уважения к автору - проводила бы ее молчанием. Это был бы неуспех, но в этом не было бы ничего обидного. Не нравится. Что с этим поделаешь? Дело вкуса.

Но тут было иначе. Невоспитанная публика захотела показать и даже подчеркнуть свою невоспитанность.

К моему большому счастью, я этого своими глазами не видел. Но люди, которые пришли после спектакля, рассказали мне вещи, которым я не хотел верить. /359/

Во время представления зрители первых рядов демонстративно поворачивались спиной к сцене, громко разговаривали с знакомыми, смеялись, шипели, свистали.

Как должны были реагировать на это актеры? Нужно знать, что такое актер на сцене. Это барометр, чутко воспринимающий все происходящее в зрительной зале.

И, уж конечно, всякое настроение и всякая игра должны были пойти к черту. Сначала недоумение, потом обида, досада, отчаяние, растерянность и "всеобщая паника", как определил сам Чехов.

Потом он кому-то писал, что актеры играли ужасно, ролей не знали и проч. и что будто бы игра была так плоха, что через нее нельзя было разглядеть самой пьесы.

Но тут он был несправедлив. Актеры просто растерялись. Они никогда ничего подобного не испытали. В зале сидела чужая публика, которая и вела себя по-чужому.

"Всеобщая паника" - какой же хорошей игры можно было требовать от актеров, какого знания ролей? Да они в это время, наверно, забыли таблицу умножения и свои собственные имена. И чем горячее они относились к пьесе, тем сильнее это должно было в них проявиться.

Чехов несправедливо взвалил всю ответственность на актеров, тогда как вся причина была в публике, а виноват был он сам, неосмотрительно отдавший пьесу в бенефис Левкеевой.

Впечатление, произведенное на него этим невероятным событием, было огромное. И нужно было обладать чеховской выдержкой, чтобы иметь равнодушное лицо и почти равнодушно шутить над всем происшедшим.

В тот вечер я его не видел и не знаю, с каким лицам он "ужинал у Романова, честь-честью" {359}.

Я пришел к нему на другой день часов в десять утра. Он занимал маленькую квартирку в доме Суворина, где-то очень высоко, и жил один.

Я застал его за писанием писем. Чемодан, с плотно уложенными в нем вещами, среди которых было много книг, лежал раскрытый. /360/

- Вот отлично, что пришел. По крайней мере проводишь. Тебе я могу доставить это удовольствие, так как ты не принадлежишь к очевидцам моего вчерашнего триумфа... Очевидцев я сегодня не желаю видеть.

- Как? Даже Марью Павловну?

- С нею увидимся в Мелихове. Пусть погуляет. Вот письма. Мы их разошлем. Я уже уложился.

- Почтовым?

- Нет, это долго ждать. Есть поезд в двенадцать.

- Отвратительный. Идет, кажется, двадцать два часа.

- Тем лучше. Буду спать и мечтать о славе... Завтра буду в Мелихове. А? Вот блаженство!.. Ни актеров, ни режиссеров, ни публики, ни газет. А у тебя хороший нюх.

- А что?

- Я хотел сказать: чувство самосохранения. Вчера не пришел в театр. Мне тоже не следовало ходить. Если б ты видел физиономии актеров! Они смотрели на меня так, словно я обокрал их, и обходили меня за сто саженей. Ну, идем...

Захватив чемоданы и письма, вышли и спустились по лестнице. Тут письма были отданы швейцару, с поручениями. В одном он извещал о своем отъезде Марью Павловну, в другом - Суворина, в третьем, кажется, брата {360}.

Взяли извозчика и поехали на Николаевский вокзал. Тут Антон Павлович уже шутил, посмеивался над собой, смешил себя и меня.

На дебаркадере ходил газетчик, подошел к нам, предложил газет. Антон Павлович отверг: - Не читаю! - Потом обратился ко мне:

- Посмотри, какое у него добродушное лицо, а между тем руки его полны отравы. В каждой газете по рецензии...

Поезд был пустой, и у Антона Павловича оказалось в распоряжении целое купе второго класса.

- Ну, и сладко же буду спать, - говорил он.

Но в глазах его было огорчение. Все эти остроты, шутки, смех ему кой-чего стоили.

- Конечно, - говорил он перед самым отъездом, уже стоя на площадке вагона. - Больше пьес писать не буду. Не моего ума дело. Вчера, когда шел из театра, /361/ высоко подняв воротник, яко тать в нощи, - кто-то из публики сказал: "Это беллетристика", а другой прибавил: "И преплохая..." А третий спросил: "Кто такой этот Чехов? Откуда он взялся?" А в другом месте какой-то коротенький господин возмущался: "Не понимаю, чего это дирекция смотрит. Это оскорбительно - допускать такие пьесы на сцену". А я прохожу мимо и, держа руку в кармане, складываю фигу: на, мол, скушай; вот ты и не знаешь, что это сделал я.

- А то, может, раздумаешь, Антон Павлович, да останешься? - предложил я, когда раздался второй звонок.

- Ну, нет, благодарю. Сейчас все придут и утешать будут - с такими лицами, с какими провожают дорогих родственников на каторгу.

Третий звонок. Простились.

- Приезжай в Мелихово. Попьем и попоем.

И поезд отошел. Антон Павлович уехал, глубоко оскорбленный Петербургом.

Но как скоро душа его осилила это проклятое наваждение! На другой день, приехав в Мелихово, он уже пишет деловые письма, хлопочет о книгах для

таганрогской библиотеки, которой он помогал организоваться. Заботится о больных мужиках, с которыми он, несмотря ни на что, возится, а о своем душевном состоянии пишет шутливо: "Дома у себя я принял касторки, умылся холодной водой - и теперь хоть новую пьесу пиши..." {361}

И опять явилась прежняя уравновешенность. Своей "Чайке" он сперва велел не показываться на глаза. На просьбу поместить ее в "Русской мысли" послал отказ, а потом согласился, разрешил любителям играть ее и вообще примирился с нею.

Я был на втором и на третьем представлениях "Чайки". В зрительной зале сидела обычная публика Александринского театра, и я мог наблюдать, с каким вниманием она вслушивалась в то новое, что происходило на сцене.

Там не было обычных - драматической актрисы, первого любовника, простака-мужа, великосветского хлыща и пр. и пр., что полагалось и к чему привыкли глаз и ухо, но это не мешало с любопытством слушать и смотреть. /362/

Я решительно утверждаю, что пьеса на этих представлениях нравилась большой публике. Актеры начали сыгрываться, и можно было думать, что мало-помалу у них получится нечто цельное, чего нельзя было и требовать раньше за почти полным отсутствием настоящих репетиций, и "Чайка" войдет в репертуар.

В этом смысле я и другие телеграфировали и писали Антону Павловичу, но он принял это за желание утешить и вообще отнесся скептически.

Он был прав только в одном отношении: что если даже все это и так, то пьесе не дадут выиграться и занять надлежащее место. Так это и случилось.

Тогдашняя дирекция оказалась по своим художественным вкусам мало чем выше той публики, какая наполняла залу на первом представлении "Чайки". Бенефисная дирекция... В оценке пьесы она, очевидно, руководствовалась такими внешними признаками, как вызовы актеров, аплодисменты и цифра сбора.

Аплодисментов действительно было немного, и вызовы были скромные. Но это понятно. "Гром аплодисментов" обыкновенно вызывается чем-нибудь эффектным, совершающимся на сцене, а в "Чайке", как и вообще у Чехова, за исключением первых его пьес, написанных еще в старой манере, то есть именно до "Чайки", - таких нарочито эффектных мест не было.

Что же касается цифры сборов, то "новые формы", казалось бы, заслуживали того, чтобы подождать и дать публике возможность ознакомиться с ними, разглядеть их и оценить.

Но цифра 800 рублей на четвертом представлении так испугала дирекцию, что она, чуть ли не после этого спектакля, решила снять пьесу с репертуара.

А несколько лет спустя "Чайка" была вторично поставлена в том же театре. Тогда уже появились новые веяния и была новая дирекция. Роли были распределены несколько иначе. В Александринском театре уже не было Коммиссаржевской, умер Сазонов, из пьесы выступил Варламов.

И что же? Несмотря на все это, "Чайка" имела успех. Она была дана заурядным спектаклем, бенефисной публике не было предоставлено решать ее судьбу. Коммиссаржевскую заменила Селиванова, хорошая актриса, но не претендовавшая даже на сравнение с /363/ Коммиссаржевской. Роль Сазонова исполнял Шувалов, опять-таки с большим ущербом для роли.

И, несмотря на все это, пьеса имела успех, делала сборы и держалась на афише.

Я уже не говорю о Художественном театре, для которого "Чайка" была своего рода исходным пунктом, где она имела шумный, демонстративный успех.

И я совершенно уверен, что если б и в первый раз в Александринском театре "Чайка" была дана обыкновенным спектаклем, то публика приняла бы ее хотя, может быть, и с некоторым удивлением, но благосклонно и почтительно. Как театральная пьеса "Чайка" не удовлетворила бы ее, но пленили бы ее исключительные художественные достоинства.

Все то, что я рассказал здесь, я взял из своей памяти. Я не веду дневников и не имею привычки заносить свои мысли и наблюдения в записные книжки.

Но если бы даже такая привычка у меня была, я ничего не записал бы о Чехове, так как никогда не смотрел на него как на объект для наблюдения.

Менее всего я претендую на характеристику личности А.П.Чехова. Я хотел только отметить некоторые моменты его жизни, когда я стоял к нему близко. Пусть все это будет даже незначительно, но ничто, касающееся его, не должно быть потеряно.

Десять лет тому назад умер Антон Павлович Чехов. Но несколько лет спустя он воскрес перед нами в своих письмах, которые были собраны и изданы в четырех книгах {363}.

Сборники эти не полны. Я, например, знаю, что после постановки "Чайки" у А.П. была переписка с В.Ф.Коммиссаржевской, писал он и Д.Н.Мамину и другим. Этих писем, вероятно, нельзя было получить, и их нет в изданных сборниках {363}.

Но, несмотря на неизбежные пробелы, эти четыре книги воскрешают перед нами его образ с изумительной ясностью и красочностью.

Читая эти письма, я вижу перед собою живого Антона Павловича и люблю его изящной, очаровательной душой.

### ***С.Т.СЕМЕНОВ. О ВСТРЕЧАХ С А.П.ЧЕХОВЫМ***

В середине девяностых годов, в один из своих зимних наездов в Москву, я был в редакции "Посредника" {364}, помещавшейся тогда в Долгом переулке на Плющихе. Мы беседовали с Ив.Ив.Горбуновым, когда в передней раздался звонок. Прислуга куда-то отлучилась, Иван Иванович был не совсем здоров и боялся подходить к двери; идти отпирать дверь пришлось мне.

Вошел господин выше среднего роста, с обыкновенным русским лицом, в поношенной меховой шубе и меховой шапке, со свертком под мышкой. Он спросил, дома ли Ив.Ив. Я сказал, что дома. Господин разделся, повесил шубу на вешалку, обтер платком запотевшие усы и направился в редакционный кабинет. Я



подумал, что это один из многочисленных посетителей редакции, и ушел в другую комнату.

Но не прошло и минуты, как ко мне вошел Ив.Ив. и, взявши меня за руку, со словами: "пойдемте, я вас познакомлю", повел в редакционную комнату. Отрекомендовав меня, он назвал мне гостя; гость был Антон Павлович Чехов.

Я настолько растерялся от неожиданности, что не нашелся, что бы заговорить с А.П., и сосредоточился весь на созерцании и тогда уже очень уважаемого писателя, недавно подарившего русское общество "Палатой N 6". / 365/

"Посредник", начинавший тогда серию интеллигентных изданий и из всей новейшей литературы останавливавшийся на вещах, заключавших в себе наиболее гуманные идеи, больше всех нашел таких писаний у Антона Павловича. Им изданы были отдельно его рассказы: "Именины", "Жена", "Палата N 6" и включено несколько рассказов в сборники {365}. Несколько рассказов были взяты и для народной серии и перестали издаваться только потому, что этого не разрешает издательство Маркса {365}. На этот раз А.П. привез рукопись сельскохозяйственного словаря "Закром" {365}, составленного его братом М.П.Чеховым, и оттиск только что появившегося рассказа "Черный монах". Об этом рассказе уже появились рецензии, не удовлетворявшие А.П.-ча. Ив.Ив. по случаю своего недомогания прилег на диван, а А.П. медленно ходил по кабинету и рассказывал, в чем сущность его рассказа "Черный монах" и как его не поняли {365}. Я не читал тогда рассказа и не мог понять, чем тогда огорчили А.П., но хорошо помню, что он был крайне недоволен таким поверхностным отношением критиков к художественным произведениям.

Иван Иванович оставил рукопись "Закрома" для передачи ее П.И.Бирюкову, который тогда редактировал интеллигентный отдел "Посредника", сказал несколько теплых слов об удовольствии встречи с ним, и, когда А.П. ушел, он стал рассказывать, как ценил А.П. Лев Ник. Толстой, как он следил за всем, что появлялось из-под пера Чехова, и очень скорбел, что у него еще не выработалось собственного мирозерцания. "С его талантом это была бы огромная сила, которая могла бы оставить после себя огромный след", - говорил Лев Николаевич.

Другая моя встреча с А.П. была в Ясной Поляне года полтора после первой. В соседстве Ясной, в деревне Деминке, поселился В.Г.Чертков, и я поехал к нему погостить. Когда я приехал в Деминку, то застал там М.О.Меньшикова, бывшего тогда еще близким к Л.Н-чу и стоявшего на счету прогрессивных журналистов. Он перед этим гостил в Мелихове у А.П. и сообщил, что А.П. давно мечтал побывать в Ясной, но все не решался. Сейчас же у него явилась решимость, и он просит разрешения навестить Л.Н. Конечно, ему /366/ ответили, что видеть его будут очень рады, и со дня на день ждали его приезда.

Мне очень хотелось присутствовать при свидании Антона Павловича со Львом Николаевичем, но я должен был поехать на несколько дней в Курскую губернию, а приезд А.П. мог случиться как раз в это время. И я очень об этом сожалел.

Но я съездил и вернулся. Из своей поездки и узнал, что Ант.Павл. в Ясную еще не приезжал и дал знать, что приедет туда сегодня или завтра. Таким образом,

мне представлялась возможность увидеть встречу двух больших писателей, и я предвкушал это удовольствие.

В то время, когда в Ясную Поляну ожидался Чехов, Л.Н. работал над "Воскресением"; можно было ожидать, что он покажет свою работу А.П.-чу. Вечером в Деминку сообщили, что А.П. приехал в Ясную Поляну {366} и что завтра предполагается чтение первых глав "Воскресения".

На другой день мы с В.Г.Чертковым поехали в Ясную. Приехали во время обеда. А.П.Чехов сидел рядом со Львом Николаевичем и время от времени заводил с ним разговор. Хотя А.П. уже и был подвержен своему недугу, но выглядел таким молодцом, что на него приятно было смотреть. Спокойный, красивый, он имел такой благородный вид, и столько в нем было достоинства.

После обеда предполагено было идти читать "Воскресение". Л.Н. не совсем хорошо себя чувствовал и пошел отдохнуть, а мы, человек пять или шесть, отправились в укромный уголок и расположились читать. Сначала читал В.Г.Чертков, потом его сменил И.И.Горбунов. Между слушателями был один из сыновей Л.Н. {366}, который слушал рассказ не совсем спокойно. Его возмущала офицерская среда, описываемая его отцом: он обращался к В.Г.Черткову, бывшему гвардейскому офицеру, с вопросам - неужели большинство офицеров такие? Но А.П. слушал чтение спокойно, внимательно, молча. Читали, кажется, часа два. По окончании чтения пошли в дом, вниз, в кабинет Толстого. Л.Н. встал после отдыха, но не выходил, по случаю недомогания, из кабинета. Он с любопытством ожидал, что ему скажут по поводу его новой работы. /367/

Антон Павлович тихо и спокойно стал говорить, что все это очень хорошо. Особенно правдиво схвачена картина суда. Он только недавно сам отбывал обязанности присяжного заседателя {367} и видел своими глазами отношение судей к делу: все заняты были побочными интересами, а не тем, что им приходилось разрешать. В одном деле, которое шло в очередную сессию, адвокат или прокурор вместо разбирательства дела обратился с дифирамбами к сидевшему на скамье присяжных заседателей Антону Павловичу. Очень верно и то, что купца отравили, а не иным способом прикончили с ним. Антон Павлович был на Сахалине и утверждал, что большинство женщин-каторжанок сосланы именно за отравление. Неверным же ему показалось одно - что Маслову приговорили к двум годам каторги. На такой малый срок к каторге не приговаривают. Лев Николаевич принял это и впоследствии исправил свою ошибку {367}.

Когда мы вышли из кабинета Л.Н., была уже летняя ночь. Вечерний чай не был готов, и мы отправились на прогулку. Меня стали спрашивать о состоянии здоровья хорошо знакомой в Ясной г-жи А., к которой я ездил в Курскую губ. Здоровье ее было не совсем хорошо. Болезнь была чисто женская, требовавшая операции, на которую больная не соглашается. А.П. расспросил о возрасте больной и сказал, что ее страхи напрасны, - в таких случаях операции проходят всегда благополучно и разве только один раз из сотни кончаются неудачей.

Ант.Павл. участвовал в общем разговоре, но, должно быть, его захватил образ Л.Н., и он не мог освободиться от впечатления от него. К концу прогулки он заявил, что его сильно угнетает поведение очень ценимого им А.С.Суворина. Его

возмущает политиканство старика в его газете, действующее на многих развращающе, и ему захотелось попросить Л.Н-ча, чтобы он написал Суворину и постыдил его за его флюгерство, - Л.Н-ч - один человек, который мог бы воздействовать на Суворина... Но сказать это Толстому А.П-чу не удалось. Л.Н-ч к вечернему чаю не вышел, а Ант.Павл. завладели Софья Андреевна и Татьяна Львовна, и в беседе с ними он провел остаток вечера.

Не знаю, был ли А.П. после в Ясной Поляне{367}. Изредка, навещая Л.Н., я его по крайней мере там не /368/ встречал. Но воспоминания о нем в Ясной остались самые приятные. Его писания встречались там всегда с большим вниманием. За ним следили, читали, разбирали. Л.Н., разговаривая о Чехове, всегда восхищался его изобразительностью. Он называл его писательский инструмент музыкальным. Он говорил, что Чехов - чуть ли не единственный писатель, которого можно перечитывать, а это не всегда возможно, даже для Диккенса, например. Помню, как Л.Н. восхищался небольшим рассказом А.П. "Супруга", напечатанным в сборнике Общества любителей российской словесности "Почин" {368}. Хвалил рассказ "На подводе" {368}, напечатанный в "Русск. вед.", "Душечку" же, появившуюся в "Семье", он перечитывал несколько раз {368} и говорил, что это такая прелесть, которой не скоро найдешь не только у других писателей, но и у Чехова. "Моя жизнь" понравилась Л.Н., но не в целом, а местами. Он считал, что прототипом героя А.П. послужил небезызвестный опрошенец князь В.В.Вяземский {368}, вызвавший когда-то целый шум в печати. Одни считали его святым, другие - высокопробным грешником. Не по сердцу пришлись Л.Н-чу и "Мужики" {368}, хотя его более возмущал шум, поднятый по поводу их в печати {368}, где большая часть русской интеллигенции с восторгом принимала мужиков такими, какие они есть у Чехова, и не могла понять, что эти мужики списаны с одной исключительной подмосковной местности и по ним нельзя обобщать всех русских мужиков. Он говорил, что эти народолюбцы никогда не любили народа, не знали его и не желают знать; мужики нужны им как отвлеченная абстракция, для опоры в своей борьбе и полемике. Оттого весь восторг по поводу "Мужиков". Не удовлетворяли, как известно, Л.Н. и пьесы А.П. Он находил, что цель драматических произведений новых форм ошибочна. Для того чтобы вызвать настроение, - говорил он, - нужно лирическое стихотворение, драматическая же форма служит и должна служить другим целям. В драматическом произведении должно поставить какой-нибудь еще не разрешенный людьми вопрос и заставить его разрешить каждое действующее лицо сообразно его внутренним данным. Это - опыты лаборатории. У Чехова же этого нет. Он останавливает, например, внимание зрителя на судьбе несчастных дяди Вани и доктора Астрова, но жалеет /369/ их только потому, что они несчастны, не обосновавши вовсе, заслуживают ли они сострадания. "Он заставляет их говорить, что они были самыми лучшими людьми в уезде, но чем они были хороши - он не показывает. А мне кажется, - говорил Л.Н., - они всегда были дрянными и ничтожными, поэтому их страдания не могут быть достойны внимания" {369}.

Когда вышел первый том рассказов Чехова в издании Маркса, Л.Н. с большим вниманием остановился на юморе Чехова. Он говорил, что в наше время

он - первоклассный юморист. В прошлом с ним могли сравняться только Гоголь и Слепцов. Рассказ "Драма" до того восхищал Л.Н., что он его рассказывал бесчисленное количество раз и всегда смеялся от всей души. Восхищали его и детские фигуры Чехова, вроде "Ваньки" {369}, пишущего письмо к деду. И только некоторые из юмористических вещей ему казались непонятными, как, например: "Роман с контрабасом" и "Скорая помощь".

Последний раз я видел А.П. зимой, в год его смерти, в Москве, на литературной "среде" у Н.Д.Телешова {369}. "Среда" была блестящая: на ней присутствовали, кроме А.П. с своей женой и сестрой Марией Павловной, Андреев, Горький, Вересаев, Бунин, Тимковский, Серафимович, Голоушев, Разумовский. Покойный В.А.Гольцев делал доклад о философии Ницше, были легкие прения, но не было ничего острого. У Антона Павловича недуг был в полном развитии. Внешний вид его был вид страдальца. Глядя на него, как-то не верилось, что это тот прежний Чехов, которого я раньше встречал. Прежде всего поражала его худоба. У него совсем не было груди. Костюм висел на нем, как на вешалке. Но несмотря на такое состояние, А.П. был очень мил, общителен, шутливо говорил с И.А.Белоусовым, рассказывал кое-что о себе, о своих первых неудачах на литературном поприще... Все внимательно его слушали, смеялись, но всем чувствовалось, что это - недолгий жилец на свете, и становилось невольно грустно.

Весной 1904 года вышла одна из моих книжек, и я послал ее А.П. {369}, но вслед за этим узнал из газет о плохом состоянии его здоровья, и мне стало неловко, что я побеспокоил его своим письмом. И вдруг, совершенно /370/ неожиданно для себя, получаю от него письмо. Оно было написано накануне его отъезда из Москвы за границу. Он благодарил меня за присланную ему книжку и выражал такую теплую сердечность и добродушие, которые меня даже удивили. Но мое желание - получить что-нибудь из его вещей в обмен - он обещал исполнить, как только вернется из-за границы {370}, куда его посылают доктора.

Но из-за границы вернулся только его прах, который Москва торжественно и похоронила на кладбище Новодевичьего монастыря. /371/

## ***К.С.СТАНИСЛАВСКИЙ. А.П.ЧЕХОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ***

### **Воспоминания**

Где и когда я познакомился с Ант.Павл.Чеховым - не помню. Вероятно, это случилось в 18.. {371}.

В первый период нашего знакомства, то есть до возникновения Художественного театра, мы изредка встречались с ним на официальных обедах, юбилеях, в театрах.

Эти встречи не оставили в моей памяти никакого следа, за исключением трех моментов.

Помню встречу в книжном магазине А.С.Суворина в Москве.

Сам хозяин, в то время издатель Чехова, стоял среди комнаты и с жаром порицал кого-то. Незнакомый господин, в черном цилиндре и сером макинтоше, в очень почтительной позе стоял рядом, держа только что купленную пачку книг, а А.П., опершись о прилавок, просматривал переплеты лежащих подле него книг и изредка прерывал речь А.С.Суворина короткими фразами, которые принимались взрывом хохота.

Очень смешон был господин в макинтоше. От прилива смеха и восторга он бросал пачку книг на прилавок и спокойно брал ее опять, когда становился серьезным.

Антон Павлович обратился и ко мне с какой-то приветливой шуткой, но я не ценил тогда его юмора.

Мне трудно покаяться в том, что Антон Павлович был мне в то время мало симпатичен. /372/

Он мне казался гордым, надменным и не без хитрости. Потому ли, что его манера запрокидывать назад голову придавала ему такой вид, - но она происходила от его близорукости: так ему было удобнее смотреть через пенсне. Привычка ли глядеть поверх говорящего с ним, или суетливая манера ежеминутно поправлять пенсне делали его в моих глазах надменным и неискренним, но на самом деле все это происходило от милой застенчивости, которой я в то время уловить не мог.

Другая малозначащая встреча, уцелевшая у меня в памяти, произошла в Москве, в театре Корша, на музыкально-литературном вечере в пользу фонда литераторов {372}.

Я в первый раз выступал в настоящем театре, перед настоящей публикой и был очень занят собой.

Не без умысла оставил я верхнее платье не за кулисами, как полагается актерам, а в коридоре партера. Я рассчитывал надеть его здесь, среди любопытных взоров той публики, которую я собирался поразить.

В действительности случилось иначе. Мне пришлось торопиться, чтобы уйти незамеченным.

В эту-то критическую минуту и произошла встреча с Антоном Павловичем. Он прямо подошел ко мне и приветливо обратился со следующими словами:

- Вы же, говорят, чудесно играете мою пьесу "Медведь" {372}.

Послушайте, сыграйте же. Я приду смотреть, а потом напишу рецензию.

Помолчав, он добавил:

- И авторские получу.

Помолчав еще, он заключил:

- 1 р. 25 к.

Признаться, я обиделся тогда, зачем он не похвалил меня за только что исполненную роль.

Теперь я вспоминаю эти слова с умилением.

Вероятно, А.П. хотел ободрить меня своей шуткой после только что испытанной мною неудачи.

Обстановка третьей и последней уцелевшей в моей памяти встречи первого периода знакомства с А.П. такова: маленький, тесный кабинет редактора известного журнала.

Много незнакомых людей.

Накурено. /373/

Известный в то время архитектор и друг А.П.Чехова демонстрировал план здания для народного дома, чайной и театра{373}. Я робко возражал ему по своей специальности.

Все глубокомысленно слушали, а А.П. ходил по комнате, всех смешил и, откровенно говоря, всем мешал. В тот вечер он казался особенно жизнерадостным: большой, полный, румяный и улыбающийся.

Тогда я не понимал, что его так радовало.

Теперь я знаю.

Он радовался новому и хорошему делу в Москве. Он был счастлив тем, что к темным людям проникнет маленький луч света. И после всю жизнь его радовало все, что красит человеческую жизнь.

- Послушайте! это же чудесно, - говорил он в таких случаях, и детски чистая улыбка молодила его.

Второй период нашего знакомства с Антоном Павловичем богат дорогими для меня воспоминаниями.

Весной 189[7] года зародился Московский Художественно-общедоступный театр.

Пайщики набирались с большим трудом, так как новому делу не пророчили успеха.

Антон Павлович откликнулся по первому призыву и вступил в число пайщиков. Он интересовался всеми мелочами нашей подготовительной работы и просил писать ему почаще и побольше.

Он рвался в Москву, но болезнь приковывала его безвыездно к Ялте, которую он называл Чертовым островом, а себя сравнивал с Дрейфусом{373}.

Больше всего он, конечно, интересовался репертуаром будущего театра{373}.

На постановку его "Чайки" он ни за что не соглашался. После неуспеха ее в С.-Петербурге{373} это было его больное, а следовательно, и любимое детище.

Тем не менее в августе 1898 года "Чайка" была включена в репертуар{373}. Не знаю, каким образом Вл.И.Немирович-Данченко уладил это дело{373}.

Я уехал в Харьковскую губернию писать *mise en scene*{373}.

Это была трудная задача, так как, к стыду своему, я не понимал пьесы. И только во время работы, незаметно для себя, я вжился и бессознательно полюбил ее. /374/ Таково свойство чеховских пьес. Поддавшись обаянию, хочется вдыхать их аромат.

Скоро из писем я узнал, что А.П. не выдержал и приехал в Москву. Приехал он, вероятно, для того, чтобы следить за репетициями "Чайки", которые

уже начались тогда {374}. Он очень волновался. К моему возвращению его уже не было в Москве. Дурная погода угнала его назад в Ялту. Репетиции "Чайки" временно прекратились {374}.

Настали тревожные дни открытия Художественного театра и первых месяцев его существования.

Дела театра шли плохо. За исключением "Федора Иоанновича", делавшего большие сборы, ничто не привлекало публики. Вся надежда возлагалась на пьесу Гауптмана "Ганнеле", но московский митрополит Владимир нашел ее нецензурной и снял с репертуара театра {374}.

Наше положение стало критическим, тем более что на "Чайку" мы не возлагали материальных надежд.

Однако пришлось ставить ее. Все понимали, что от исхода спектакля зависела судьба театра.

Но этого мало. Прибавилась еще гораздо большая ответственность. Накануне спектакля, по окончании малоудачной генеральной репетиции в театр явилась сестра Антона Павловича - Мария Павловна Чехова {374}.

Она была очень встревожена дурными известиями из Ялты.

Мысль о вторичном неуспехе "Чайки" при тогдашнем положении больного приводила ее в ужас, и она не могла примириться с тем риском, который мы брали на себя.

Мы тоже испугались и заговорили даже об отмене спектакля, что было равносильно закрытию театра.

Нелегко подписать приговор своему собственному созданию и обречь труппу на голодовку.

А пайщики? что они сказали бы? Наши обязанности по отношению к ним были слишком ясны.

На следующий день, в 8 часов, занавес раздвинулся. Публики было мало. Как шел первый акт - не знаю. Помню только, что от всех актеров пахло валериановыми каплями. Помню, что мне было страшно сидеть в темноте и спиной к публике во время монолога /375/ Заречной и что я незаметно придерживал ногу, которая нервно тряслась.

Казалось, что мы проваливались. Занавес закрылся при гробовом молчании. Актеры пугливо прижались друг к другу и прислушивались к публике.

Гробовая тишина.

Из кулис тянулись головы мастеров и тоже прислушивались.

Молчание.

Кто-то заплакал. Книппер подавляла истерическое рыдание. Мы молча двинулись за кулисы.

В этот момент публика разразилась стоном и аплодисментами. Бросились давать занавес.

Говорят, что мы стояли на сцене вполоборота к публике, что у нас были страшные лица, что никто не догадался поклониться в сторону залы и что кто-то из нас даже сидел. Очевидно, мы не отдавали себе отчета в происходившем.

В публике успех был огромный, а на сцене была настоящая пасха. Целовались все, не исключая посторонних, которые ворвались за кулисы. Кто-то

валялся в истерике. Многие, и я в том числе, от радости и возбуждения танцевали дикий танец.

В конце вечера публика потребовала посылки телеграммы автору {375}.

С этого вечера между всеми нами и Антоном Павловичем установились почти родственные отношения.

Первый сезон окончился, и наступила весна, зазеленели деревья.

Вслед за ласточками перебрался на север и Антон Павлович.

Он поместился в маленькой квартире своей сестры, на Малой Дмитровке, Дегтярный переулок, дом Шешкова.

Самый простой стол посреди комнаты, такая же чернильница, перо, карандаш, мягкий диван, несколько стульев, чемодан с книгами и записками - словом, только необходимое и ничего лишнего. Это была обычная обстановка его импровизированного кабинета во время путешествия. /376/

Со временем комната пополнилась несколькими эскизами молодых художников, всегда талантливыми, новыми по направлению и простыми. Тема этих картин в большинстве случаев тоже самая простая - русский пейзаж в духе Левитана: березки, речка, поле, помещичий дом и проч.

А.П. не любил рамок, и потому обыкновенно этюды прикреплялись к стене кнопками.

Скоро на письменном столе появились тоненькие тетрадошки. Их было очень много. Антон Павлович был занят в то время корректурой своих мелких, забытых им рассказов самой ранней эпохи. Он готовил своему издателю Марксу новый выпуск мелких рассказов. Знакомясь с ними вновь, он добродушно хохотал, и тогда его густой баритон переливался по всей маленькой квартире.

Рядом с его комнатой часто шумел самовар, а вокруг чайного стола, точно калейдоскоп, сменялись посетители. Одни приходили, другие уходили.

Здесь часто и долго сживали покойный художник Левитан, поэт Бунин, Вл.И.Немирович-Данченко, артист нашего театра Вишневский, Сулержицкий и многие другие.

Среди этой компании обыкновенно молчаливо сидела какая-нибудь мужская или женская фигура, почти никому не известная. Это была или поклонница, или литератор из Сибири, или сосед по имению, товарищ по гимназии, или друг детства, которого не помнил сам хозяин.

Эти господа стесняли всех и особенно самого А.П. Но он широко пользовался завоеванным себе правом: исчезать от гостей. Тогда из-за закрытой двери слышалось его покашливание и мерные шаги по комнате. Все привыкли к этим исчезновениям и знали, что если соберется общество во вкусе А.П., он чаще появляется и даже сидит с ним, поглядывая через *pinse-nez* на молчаливую фигуру непрошеного гостя.

Сам он не мог не принять посетителя или тем более намекнуть на то, что он засиживался. Мало того, А.П. сердился, когда это делали за него, хотя и улыбался от удовольствия, когда кто-нибудь удачно справлялся с таким



посетителем. Если незнакомец слишком засиживался, А.П., бывало, приотворит дверь кабинета и вызовет к себе кого-нибудь из близких. /377/

- Послушайте же, - шептал он ему убедительно, плотно притворяя дверь, - скажите же ему, что я не знаю его, что я же никогда не учился в гимназии. У него же повесть в кармане, я же знаю. Он останется обедать, а потом будет читать... Нельзя же так. Послушайте...

Когда раздавался звонок, которого не любил А.П., он быстро садился на диван и сидел смирно, стараясь не кашлять. Все в квартире затихало, и гости замолкали или прятались по углам, чтобы при отворении двери вновь пришедший не догадался о присутствии живых лиц в квартире.

Слышалось шуршание юбок Марии Павловны, потом шум дверной цепи и разговор двух голосов.

- Занят? - восклицал незнакомый голос.

Длинная пауза.

- А-ха! - соображал он что-то.

Опять молчание. Потом долетали только отдельные слова.

- ...Приезжий - только две минутки.

- Хорошо - передам, - отвечала Мария Павловна.

- Небольшой рассказ... пьеса... - убеждал незнакомец.

- До свидания, - прощалась Мария Павловна.

- Низкий, низкий поклон... компетентное мнение такого человека...

- Хорошо, передам, - твердила Мария Павловна.

- Поддержка молодых талантов... обязательно просвещенное покровительство...

- Непременно. До свидания, - еще любезнее прощалась Мария Павловна.

- Ох, виноват! - тут слышались: падение свертка, шорох бумаги, потом надевания калош, опять: - До свидания! Низкое глубокое, преисполнен... минуты эстетического... глубокого... преисполнен до глубины...

Наконец дверь захлопывалась, и Мария Павловна клала на письменный стол несколько растрепанных рукописей с оборванной веревкой.

- Скажите же им, что я не пишу больше... Не нужно же писать... - говорил А.П., глядя на рукопись.

Тем не менее А.П. не только читал все эти рукописи, но и отвечал присылавшим их.

Не думайте, чтоб после успеха "Чайки" и нескольких лет {377} его отсутствия наша встреча была трогательна. /378/ А.П. сильнее обыкновенного пожал мне руку, мило улыбнулся - и только. Он не любил экспансивности. Я же чувствовал в ней потребность, так как сделался восторженным поклонником его таланта. Мне было уже трудно относиться к нему просто, как раньше, и я чувствовал себя маленьким в присутствии знаменитости. Мне хотелось быть больше и умнее, чем меня создал бог, и потому я выбирал слова, старался говорить о важном и очень напоминал психопатку в присутствии кумира. Антон Павлович заметил это и конфузился. И много лет после я не мог установить простых отношений, а ведь только их А.П. и искал со всеми людьми.

Кроме того, при этом свидании я не сумел скрыть впечатления фатальной перемены, происшедшей в нем. Болезнь сделала свое жестокое дело. Быть может, мое лицо испугало А.П., но нам было тяжело оставаться вдвоем.

К счастью, скоро пришел Немирович-Данченко, и мы заговорили о деле. Оно состояло в том, что мы хотели получить право на постановку его пьесы "Дядя Ваня".

- Зачем же, послушайте, не нужно... я же не драматург, - отнекивался А.П.

Хуже всего было то, что императорский Малый театр хлопотал о том же. А.И.Южин, так энергично отстаивавший интересы своего театра, не дремал.

Чтобы избавиться от мучительной необходимости обидеть отказом кого-нибудь из нас, А.П. придумывал всевозможные причины, чтоб не дать пьесы ни тому, ни другому театру.

- Мне же необходимо переделать пьесу, - говорил он Южину, а нас он уверял:

- Я же не знаю вашего театра. Мне же необходимо видеть, как вы играете.

Случай помог нам. Кто-то из чиновников императорского театра пригласил А.П. для переговоров{378}. Конечно, было бы правильнее, если б чиновник сам потрудился приехать к А.П.

Разговор начался весьма странно. Прежде всего чиновник спросил знаменитого писателя:

- Чем вы занимаетесь?

- Пишу, - ответил изумленный Антон Павлович.

- То есть, разумеется, я знаю... но... что вы пишете? - запутывался чиновник. /379/

А.П. потянулся за шляпой, чтобы уходить.

Тогда его превосходительство еще неудачнее поспешил перейти прямо к делу. Оно состояло в том, что репертуарная комиссия, просмотревшая "Дядю Ваню", не согласилась с выстрелом в 3-м акте. Необходимо было переделать финал. В протоколе были изложены приблизительно следующие необъяснимые мотивы: нельзя допускать, чтобы в профессора университета, дипломированное лицо, - стреляли из пистолета.

После этого А.П. раскланялся и ушел, попросив прислать ему копию этого замечательного протокола{379}. Он показывал нам его с нескрываемым возмущением.

После этого комико-драматического происшествия вопрос решился сам собой. Тем не менее А.П. продолжал настойчиво твердить:

- Я же не знаю вашего театра.

Это была хитрость. Ему просто хотелось посмотреть "Чайку" в нашем исполнении. И мы дали ему эту возможность.

За неимением постоянного помещения наш театр временно обосновался в Никитском театре. Там и был объявлен театр без публики. Туда были перевезены все декорации.

Обстановка грязного, пустого, неосвещенного и сырого театра, с вывезенной мебелью, казалось бы, не могла настроить актеров и их

единственного зрителя. Тем не менее спектакль доставил удовольствие Антону Павловичу. Вероятно, он очень соскучился о театре за время "ссылки" в Ялте.

С каким почти детским удовольствием он ходил по сцене и обходил грязные уборные артистов. Он любил театр не только с показной его стороны, но и с изнанки.

Спектакль ему понравился, но некоторых исполнителей он осуждал {379}. В том числе и меня за Тригорина.

- Вы же прекрасно играете, - сказал он, - но только не мое лицо. Я же этого не писал.

- В чем же дело? - спрашивал я.

- У него же клетчатые панталоны и дырявые башмаки.

Вот все, что пояснил мне А.П. на мои настойчивые приставания.

- Клетчатые же панталоны, и сигару курит вот так... - Он неискусно пояснил слова действием. /380/

Больше я от него ничего не добился.

И он всегда так высказывал свои замечания: образно и кратко.

Они удивляли и врезались в память. А.П. точно задавал шарады, от которых не отделаешься до тех пор, пока их не разгадаешь.

Эту шараду я разгадал только через шесть лет, при вторичном возобновлении "Чайки" {380}.

В самом деле, почему я играл Тригорина хорошеньким франтом в белых панталонах и таких же туфлях "bain de mer"?\* Неужели потому, что в него влюбляются? Разве этот костюм типичен для русского литератора? Дело, конечно, не в клетчатых брюках, драных башмаках и сигаре. Нина Заречная, начитавшаяся милых, но пустеньких небольших рассказов Тригорина, влюбляется не в него, а в свою девическую грезу. В этом и трагедия подстреленной чайки. В этом насмешка и грубость жизни. Первая любовь провинциальной девочки не замечает ни клетчатых панталон, ни драной обуви, ни вонючей сигары. Это уродство жизни узнается слишком поздно, когда жизнь изломана, все жертвы принесены, а любовь обратилась в привычку. Нужны новые иллюзии, так как надо жить, - и Нина ищет их в вере.

---

\* для морского купания (франц.).

Однако я отвлекся.

Исполнение одной из ролей он осудил строго до жестокости. Трудно было предположить ее в человеке такой исключительной мягкости. А.П. требовал, чтоб роль была отобрана немедленно. Не принимал никаких извинений и грозил запретить дальнейшую постановку пьесы.

Пока шла речь о других ролях, он допускал милую шутку над недостатками исполнения, но стоило заговорить о неудавшейся роли, как А.П. сразу менял тон и тяжелыми ударами бил беспощадно:

- Нельзя же, послушайте. У вас же серьезное дело, - говорил он.

Вот мотив его беспощадности.

Этим же словами выяснилось и его отношение к нашему театру. Ни комплиментов, ни подробной критики, ни поощрений он не высказывал.

Всю эту весну благодаря теплой погоде А.П. провел в Москве и каждый день бывал на наших репетициях. /381/

Он не вникал в нашу работу. Он просто хотел находиться в атмосфере искусства и болтать с веселыми актерами. Он любил театр, но пошлости в нем он не выносил. Она заставляла его или болезненно съезживаться, или бежать оттуда, где она появлялась.

- Мне же нужно, позвольте, меня ждут. - И он уходил домой, усаживался на диван и думал.

Через несколько дней, точно рефлексом, А.П. произносил для всех неожиданно какую-то фразу, и она метко характеризовала оскорбившую его пошлость.

- Прррынципуально протестую, - неожиданно промолвил он однажды и закатился продолжительным хохотом. Он вспомнил невообразимо длинную речь одного не совсем русского человека, говорившего о поэзии русской деревни и употребившего это слово в своей речи.

Мы, конечно, пользовались каждым случаем, чтобы говорить о "Дяде Ване", но на наши вопросы А.П. отвечал коротко:

- Там же все написано.

Однако один раз он высказался определенно. Кто-то говорил о виденном в провинции спектакле "Дяди Вани". Там исполнитель заглавной роли играл его опустившимся помещиком, в смазных сапогах и в мужицкой рубахе. Так всегда изображают русских помещиков на сцене.

Боже, что сделалось с А.П. от этой пошлости!

- Нельзя же так, послушайте. У меня же написано: он носит чудесные галстуки. Чудесные! Поймите, помещики лучше нас с вами одеваются.

И тут дело было не в галстук, а в главной идее пьесы. Самородок Астров и поэтически нежный дядя Ваня глохнут в захолустье, а тупица профессор блаженствует в С.-Петербурге и вместе с себе подобными правит Россией. Вот затаенный смысл ремарки о галстук.

"Дядя Ваня" имел у нас большой успех. По окончании спектакля публика требовала: "Телеграмму Чехову!"

Судя по письмам, А.П. жил всю зиму мечтой о поездке в Москву. Теперь он душевно привязался к нашему театру, которого ни разу не видел, если не считать импровизированного спектакля "Чайки".

Он задумал писать пьесу для нас. /382/

"Но для этого необходимо видеть ваш театр", - твердил он в своих письмах.

Когда стало известно, что доктора запретили ему весеннюю поездку в Москву, мы поняли его намеки и решили ехать в Ялту со всей труппой и обстановкой.

...- го апреля 1900 года вся труппа с семьями, декорациями и обстановкой для четырех пьес выехала из Москвы в Севастополь {382}. За нами потянулись кое-кто из публики, фанатики Чехова и нашего театра, и даже один известный критик С.В.Васильев (Флеров). Он ехал со специальной целью давать подробные отчеты о наших спектаклях.

Это было великое переселение народов. Особенно запомнился мне в этом путешествии А.Р.Артем, который в первый раз в жизни расставался со своей женой. В дороге он выбрал себе "женой" А.Л.Вишневого, который стал за это время его энергией, его волей. Подъезжая к Севастополю, А.Р.Артем спрашивал всех, есть ли там извозчики, не пришлось бы идти пешком в горы и т.д.

Очень часто, когда долго не было А.Л.Вишневого, А.Р.Артем посылал за ним. Всю дорогу старик говорил о смерти и был очень мрачен.

Под Севастополем, когда начались тоннели, скалы, красивые места, вся труппа высыпала на площадку. Вышел в первый раз за всю дорогу и мрачный Артем под конвоем А.Л.Вишневого. А.Л.Вишневский со свойственным ему темпераментом стал утешать Артема: "Нет, не умрешь ты, Саша! Зачем тебе умирать! Смотри: чайки, море, скалы, - нет, не умрешь ты, Саша!"

А Артем, в котором под влиянием этих скал, моря, красивых поворотов, по которым мчался поезд, проснулся художник, смотрел уже горящими глазами на окружающие его картины, вдруг тряхнул головой и, зло повернувшись к А.Л.Вишневскому, коварно проговорил:

- Еще бы я умер! Чего захотел!

И, досадливо отвернувшись, добавил:

- Ишь, что выдумал!

Крым встретил нас неприветливо. Ледяной ветер дул с моря, небо было обложено тучами, в гостиницах топили печи, а мы все-таки мерзли. /383/

Театр стоял еще заколоченным с зимы, и буря срывала наши афиши, которых никто не читал.

Мы приуныли.

Но вот взошло солнце, море улыбнулось, и нам стало весело.

Пришли какие-то люди, отодрали щиты от театра и распахнули двери. Мы вошли туда. Там было холодно, как в погребе. Это был настоящий подвал, который не выветришь и в неделю, а через два-три дня надо было уже играть. Больше всего мы беспокоились об Антоне Павловиче, как он будет тут сидеть в этом затхлом воздухе. Целый день наши дамы выбирали места, где ему лучше было бы сидеть, где меньше дует. Наша компания все чаще стала собираться около театра, вокруг которого закипела жизнь.

У нас праздничное настроение - второй сезон, все разоделись в новые пиджаки, шляпы, все это молодо, и ужасно всем нам нравилось, что мы актеры. В

то же время все старались быть чрезмерно корректными - это, мол, не захудалый какойнибудь театр, а столичная труппа.

Наконец явилась какая-то расфранченная дама. Она объявила себя местной аристократкой, другом Чехова и потребовала литерную ложу на все спектакли. За ней потянулась к кассе публика и очень скоро разобрала все билеты на четыре объявленных спектакля.

Ждали приезда Чехова. Пока О.Л.Книппер, отпросившаяся в Ялту, ничего не писала нам оттуда, и это беспокоило нас. В вербную субботу она вернулась с печальным известием о том, что А.П. захворал и едва ли сможет приехать в Севастополь.

Это всех опечалило. От нее мы узнали также, что в Ялте гораздо теплее (всегдашнее известие оттуда), что А.П. удивительный человек и что там собрались чуть не все представители русской литературы: Горький, Мамин-Сибиряк, Станюкович, Бунин, Елпатьевский, Найденов, Скиталец.

Это еще больше взволновало нас. В этот день все пошли покупать пасхи и куличи к предстоящему разговению на чужой стороне.

В полночь колокола звонили не так, как в Москве, пели тоже не так, а пасхи и куличи отзывались рахат-лукумом.

А.Р.Артем совершенно раскритиковал Севастополь, /384/ решив, что пасху можно встречать только на родине. Зато прогулка около моря после разговения и утренний весенний воздух заставили нас забыть о севере. На рассвете было так хорошо, что мы пели цыганские песни и декламировали стихи под шум моря.

На следующий день мы с нетерпением ожидали парохода, с которым должен был приехать А.П. Наконец мы его увидели. Он вышел последним из кают-компаний, бледный и похудевший. А.П. сильно кашлял. У него были грустные, больные глаза, но он старался делать приветливую улыбку.

Мне захотелось плакать.

Наши фотографы-любители сняли его на сходне парохода, и эта сценка фотографирования попала в пьесу, которую он тогда вынашивал в голове ("Три сестры") {384}.

По общей бестактности, посыпались вопросы о его здоровье.

- Прекрасно. Я же совсем здоров, - отвечал А.П.

Он не любил забот о его здоровье, и не только посторонних, но и близких. Сам он никогда не жаловался, как бы плохо себя ни чувствовал.

Скоро он ушел в гостиницу, и мы не беспокоили его до следующего дня. Остановился он у Ветцеля, не там, где мы все остановились (мы жили у Киста). Вероятно, он боялся близости моря.

На следующий день, то есть в пасхальный понедельник, начинались наши гастроли. Нам предстояло двойное испытание - перед А.П. и перед новой публикой.

Весь день прошел в волнении и хлопотах.

Я только мельком видел А.П. в театре. Он приходил осматривать свою ложу и беспокоился по двум вопросам: закроют ли его от публики и где будет сидеть "аристократка".

Несмотря на резкий холод, он был в легоньком пальто. Об этом много говорили, но он опять отвечал коротко:

- Послушайте! Я же здоров!

В театре была стужа, так как он был весь в щелях и без отопления. Уборные согревали керосиновыми лампами, но ветер выдувал тепло. /385/

Вечером мы гримировались все в одной маленькой уборной и нагревали ее теплотой своих тел, а дамы, которым приходилось щеголять в кисейных платьицах, перебегали в соседнюю гостиницу. Там они согревались и меняли платья.

В восемь часов пронзительный ручной колокольчик сзывал публику на первый спектакль "Дяди Вани".

Темная фигура автора, скрывшегося в директорской ложе за спинами Вл.И.Немировича-Данченко и его супруги, волновала нас.

Первый акт был принят холодно. К концу успех вырос в большую овацию. Требовали автора. Он был в отчаянии, но все-таки вышел {385}.

На следующий день переволновавшийся А.Р.Артем слег и на репетицию не пришел. Антон Павлович, страшно любивший лечить, как только узнал об этом, обрадовался пациенту. Да еще пациент этот был А.Р.Артем, которого он очень любил. Сейчас же с Тихомировым он отправился к больному. А мы все выслеживали и выпрашивали, как Антон Павлович будет лечить А.Р.Артема. Любопытно, что, идя к больному, Антон Павлович зашел домой и взял с собой молоток и трубочку.

- Послушайте, я же не могу так, без инструментов, - сказал он озабоченно.

И долго он его там выслушивал, выстукивал, а потом стал убеждать, что вообще лечиться не нужно. Дал какую-то мятную конфетку:

- Вот, послушайте же, скушайте это!

На том лечение и окончилось, так как Артем на другой день выздоровел.

Антон Павлович любил приходить во время репетиций, но так как в театре было очень холодно, то он только по временам заглядывал туда, а большую часть времени сидел перед театром, на солнечной площадке, где обыкновенно грелись на солнышке актеры. Он весело болтал с ними, каждую минуту приговаривая:

- Послушайте, это же чудесное дело, это же замечательное дело - ваш театр. /386/

Это была, так сказать, ходовая фраза у Антона Павловича в то время.

Обыкновенно бывало так: сидит он на площадке, оживленный, веселый, болтает с актерами или с актрисами - особенно с Книппер и Андреевой, за которыми он тогда ухаживал, - и при каждой возможности ругает Ялту. Тут уже звучали трагические нотки.

- Это же море зимой черное, как чернила...

Изредка вспыхивали фразы большого томления и грусти.

Тут же он, помню, по несколько часов возился с театральным плотником и учил его "давать" сверчка.

- Он же так кричит, - говорил он, показывая, - потом столько-то секунд помолчит и опять: "тик-тик".

В определенный час на площадку приходил господин NN и начинал говорить о литературе, совсем не то, что нужно. И Антон Павлович сейчас же куда-то незаметно стушевывался.

На следующий день после "Одинок", которые произвели на него сильнейшее впечатление, он говорил:

- Какая это чудесная пьеса!

Говорил, что театр вообще очень важная вещь в жизни и что непременно надо писать для театра.

Насколько помню, первый раз он сказал это после "Одинок".

Среди этих разговоров на площадке говорил о "Дяде Ване" - очень хвалил всех участвующих в этой пьесе и мне сказал только одно замечание про Астрова в последнем действии:

- Послушайте же, он же свистит. Это дядя Ваня хнычет, а он же свистит.

Я при своем тогдашнем прямолинейном мировоззрении никак не мог с этим примириться - как это человек в таком драматическом месте может свистеть {386}.

На спектакль он приходил всегда задолго до начала. Он любил прийти на сцену смотреть, как ставят декорации. В антрактах ходил по уборным и говорил с актерами о пустяках. У него всегда была огромная любовь к театральным мелочам - как спускают декорации, как освещают, и когда при нем об этих вещах говорили, он стоит, бывало, и улыбается.

Когда шла "Эдда Габлер", он часто, зайдя во время /387/ антракта в уборные, засиживался там, когда уже шел акт. Это нас смущало - значит, не нравится, думали мы, если он не торопится в зрительный зал. И когда мы спросили у него об этом, он совершенно неожиданно для нас сказал:

- Послушайте же, Ибсен же не драматург!

"Чайки" Антон Павлович в Севастополе не смотрел, - он видел ее раньше, а тут погода изменилась, пошли ветры, бури, ему стало хуже, и он принужден был уехать.

Спектакль "Чайки" шел при ужасных условиях. Ветер выл так, что у каждой кулисы стояло по мастеру, которые придерживали их, чтобы они не упали в публику от порывов ветра. Все время слышались с моря тревожные свистки пароходов и крики сирены. Платье на нас шевелилось от ветра, который гулял по сцене. Шел дождь.

Тут еще был такой случай. Нужно было во что бы то ни стало дать свет на сцене такой, который можно было получить, только оставив половину городского сада без освещения. Расстаться нам с этим эффектом, казалось, не было никакой возможности. У Владимира Ивановича Немировича-Данченко есть такие



решительные минуты: он распорядился просто-напросто потушить половину городского сада.

Спектакль "Чайки" имел громадный успех. После спектакля собралась публика. И только что я вышел на какую-то лесенку с зонтиком в руках, - кто-то подхватил меня, кажется, это были гимназисты. Однако осилить меня не могли. Положение мое было действительно плачевное: гимназисты кричат, подняли одну мою ногу, а на другой я прыгал, так как меня тащили вперед, зонтик куда-то улетел, дождь лил, но объясниться не было возможности, так как все кричали "ура". А сзади бежала жена и беспокоилась, что меня искалечат. К счастью, они скоро обессилели и выпустили меня, так что до подъезда гостиницы я дошел уже на обеих ногах. Но у самого подъезда они захотели еще что-то сделать и уложили меня на грязные ступеньки.

Вышел швейцар, стал меня обтирать, а запыхавшиеся гимназисты долго еще горячились и обсуждали, почему так случилось. /388/

Все севастопольское начальство было уже нам знакомо, и перед отъездом в Ялту нам с разных сторон по телефону докладывали: "Норд-вест, норд-ост, будет качка, не будет", все моряки говорили, что все будет хорошо, качка будет где-то у Ай-Тодора, а тут загиб, и мы поедем по спокойному морю.

А вышло так, что никакого загиба не было, а потрянуло нас так, что мы и до сих пор не забудем.

Потрепало нас в пути основательно. Многие из нас ехали с женами, с детьми. Некоторые севастопольцы приехали вместе с нами в Ялту. Няньки, горничные, дети, декорации, бутафория - все это перемешалось на палубе корабля. В Ялте толпа публики на пристани, цветы, парадные платья, на море вьюга, ветер - одним словом, полный хаос.

Тут какое-то новое чувство - чувство того, что толпа нас признает. Тут и радость и неловкость этого нового положения, первый конфуз популярности.

Не успели мы приехать в Ялту, разместиться по номерам, умыться, осмотреться, как я уже встречаю Вишневого, бегущего со всех ног, в полном экстазе, он орет, кричит вне себя:

- Сейчас познакомился с Горьким - такое очарование! Он уже решил написать нам пьесу! {388} Еще не выдавши нас...

На следующее утро первым долгом пошли в театр. Там ломали стену, чистили, мыли - одним словом, работа шла вовсю. Среди стружек и пыли по сцене разгуливали: А.М.Горький с палкой в руках, Бунин, Мирлюбов, Мамин-Сибиряк, Елпатьевский, Владимир Иванович Немирович-Данченко...

Осмотрев сцену, вся эта компания отправилась в городской сад завтракать. Сразу вся терраса наполнилась нашими актерами, и мы завладели всем садом. За отдельным столиком сидел Станюкович, - он как-то не связывался со всей компанией.

Оттуда всем обществом, кто пешком, кто человек по шести в экипаже, отправились к Антону Павловичу.

У Антона Павловича был вечно накрытый стол, либо для завтрака, либо для чая. Дом был еще не совсем достроен, а вокруг дома был жиденский садик, который он еще только что рассаживал.

Вид у Антона Павловича был страшно оживленный, /389/ преображенный, точно он воскрес из мертвых. Он напоминал, - отлично помню это впечатление, - точно дом, который простоял всю зиму с заколоченными ставнями, закрытыми дверями. И вдруг весной его открыли, и все комнаты засветились, стали улыбаться, искриться светом. Он все время двигался с места на место, держа руки назад, поправляя ежеминутно пенсне. То он на террасе, заполненной новыми книгами и журналами, то с не сползающей с лица улыбкой покажется в саду, то во дворе. Изредка он скрывался у себя в кабинете и, очевидно, там отдыхал.

Приезжали, уезжали. Кончался один завтрак, подавали другой; Мария Павловна разрывалась на части, а Ольга Леонардовна, как верная подруга или как будущая хозяйка дома, с засученными рукавами деятельно помогала по хозяйству.

В одном углу литературный спор, в саду, как школьники, занимались тем, кто дальше бросит камень, в третьей кучке И.А.Бунин с необыкновенным талантом представляет что-то, а там, где Бунин, непременно стоит Антон Павлович и хохочет, помирает от смеха. Никто так не умел смешить Антона Павловича, как И.А.Бунин, когда он был в хорошем настроении.

Для меня центром явился Горький, который сразу захватил меня своим обаянием. В его необыкновенной фигуре, лице, выговоре на о, необыкновенной жестикуляции, показывании кулака в минуты экстаза, в светлой, детской улыбке, в каком-то временами трагически проникновенном лице, в смешной или сильной, красочной, образной речи сквозила какая-то душевная мягкость и грация, и, несмотря на его сутуловатую фигуру, в ней была своеобразная пластика и внешняя красота. Я часто ловил себя на том, что люблю его попой или жестом.

А влюбленный взгляд, который он часто останавливал на Антоне Павловиче, какое-то расплывающееся в улыбке лицо при малейшем звуке голоса Антона Павловича, добродушный смех при малейшей его остроте как-то сближали нас в общей симпатии к хозяину дома.

Антон Павлович, всегда любивший говорить о том, что его увлекало в данную минуту, с наивностью /390/ ребенка подходил от одного к другому, повторяя все одну и ту же фразу: видел ли тот или другой из его гостей наш театр.

- Это же чудесное же дело! Вы непременно должны написать пьесу для этого театра.

И без устали говорил о том, какая прекрасная пьеса "Одинокие".

Горький со своими рассказами об его скитальческой жизни, Мамин-Сибиряк с необыкновенно смелым юмором, доходящим временами до буффонады, Бунин с изящной шуткой, Антон Павлович со своими неожиданными репликами, Москвин с меткими остротами - все это делало одну атмосферу, соединяло всех в одну семью художников. У всех рождалась мысль, что все должны собираться в Ялте, говорили даже об устройстве квартир для этого. Словом - весна, море, веселье, молодость, поэзия, искусство - вот атмосфера, в которой мы в то время находились.

Такие дни и вечера повторялись чуть не ежедневно в доме Антона Павловича.

У кассы театра толпилась разношерстная публика из расфранченных дам и кавалеров обеих столиц, учителей и служащих из разных провинциальных городов России, местных жителей и больных чахоткою, во время своей тоскливой зимы не забывших еще о существовании искусства.

Прошло первое представление с подношениями, подарками и т.д. Несмотря на то, что в трагических местах садовый оркестр городского сада громко аккомпанировал нам полькой или маршем, успех был большой.

В городском саду, около террасы, шли горячие споры о новом направлении в искусстве, о новой литературе. Одни, даже из выдающихся писателей, не понимали самых элементарных вещей реального искусства, другие уходили в совершенно обратную сторону и мечтали увидеть на сцене то, что недостойно подмостков ее. Во всяком случае, спектакли вызывали споры чуть не до драки, - следовательно, достигали своей цели. Все здесь присутствовавшие литераторы словно вдруг вспомнили /391/ о существовании театра, и кто тайно, кто явно мечтали о пьесе.

То, что отравляло Антону Павловичу спектакли, - это необходимость выходить на вызовы публики и принимать чуть ли не ежедневно овации. Нередко поэтому он вдруг неожиданно исчезал из театра, и тогда приходилось выходить и заявлять, что автора в театре нет. В большинстве случаев он приходил просто за кулисы и, переходя из уборной в уборную, жуировал закулисной жизнью, ее волнениями и возбуждениями, удачами и неудачами и нервностью, которая заставляла острее ощущать жизнь.

По утрам все собирались на набережную, я прилипал к А.М.Горькому, и во время прогулки он фантазировал о разных сюжетах для будущей пьесы. Эти разговоры поминутно прерывались выходками его необыкновенно темпераментного мальчика Максимки, который проделывал невероятные штуки.

Из нашего пребывания в Ялте у меня остался в памяти еще один эпизод. Как-то днем прихожу к Антону Павловичу - вижу, он свиреп, лют и мохнат; одним словом, таким я его никогда не видел. Когда он успокоился, выяснилось следующее. Его мамаша, которую он обожал, собралась наконец в театр смотреть "Дядю Ваню". Для старушки это был совершенно знаменательный день, так как она ехала смотреть пьесу Антоши. Ее хлопоты начались уже с самого раннего утра. Старушка перерыла все сундуки и на дне их нашла какое-то старинного фасона шелковое платье, которое она и собралась надеть для торжественного вечера. Случайно этот план открылся, и Антон Павлович разволновался. Ему представилась такая картина: сын написал пьесу, мамаша сидит в ложе в шелковом платье. Эта сентиментальная картина так его обеспокоила, что он хотел ехать в Москву, чтобы только не участвовать в ней.

По вечерам собирались иногда в отдельном кабинете гостиницы "Россия", - кто-то что-то играл на рояли, все это было по-дилетантски наивно, но, несмотря на это, звуки музыки моментально вызывали у Горького потоки слез.

Однажды как-то Горький увлекся и рассказал сюжет своей предполагаемой пьесы. Ночлежный дом, духота, нары, длинная скучная зима. Люди от ужаса озверели, /392/ потеряли терпение и надежду и, истощив терпение,

изводят друг друга и философствуют. Каждый старается перед другими показать, что он еще человек. Какой-то бывший официант особенно кичится своей грошовой бумажной манишкой - это единственный остаток от его прежней фрачной жизни. Кто-то из обитателей дома, чтобы насолить официанту, стащил эту бумажную грудь и разорвал ее пополам. Бывший официант находит эту разорванную манишку, и из-за этого поднимается целый ужас, свалка. Он в полном отчаянии, так как вместе с манишкой порваны всякие узы с прежней жизнью. Ругательства и споры затянулись до глубокой ночи, но были остановлены неожиданным известием о приближении обхода - полиции. Торопливые приготовления к встрече полиции, каждый мечется и прячет то, что ему дорого или компрометирует его. Все разлеглись по нарам и притворились спящими. Пришла полиция. Кое-кого без звания увели в участок, и нары засыпают; и только один богомолец-старик сползает в тишине с печи, вынимает из своей сумки восковой огарок, зажигает его и начинает усердно молиться. Откуда-то с нар просовывается голова татарина и говорит:

- Помолись за меня!

На этом первый акт оканчивался.

Следующие акты были едва намечены, так что разобраться в них было трудно. В последнем акте: весна, солнце, обитатели ночлежного дома роют землю. Истомленные люди вышли на праздник природы и точно ожили. Даже как будто под влиянием природы полюбили друг друга. Так у меня осталось в памяти все, что говорил мне о своей пьесе А.М.Горький.

Театр кончил всю серию своих постановок и закончил свое пребывание чудесным завтраком на громадной плоской крыше у Фанни Карловны Татариновой. Помню жаркий день, какой-то праздничный навес, сверкающее вдали море. Здесь была вся труппа, вся съехавшаяся, так сказать, литература с Чеховым и Горьким во главе, с женами и детьми.

Помню восторженные, разгоряченные южным солнцем речи, полные надежд и надежд без конца.

Этим чудесным праздником под открытым небом закончилось наше пребывание в Ялте. /393/

В следующем году у нас шли: "Снегурочка", "Доктор Штокман", "Три сестры", "Когда мы, мертвые, пробуждаемся" {393}.

С самого начала сезона Антон Павлович часто присылал письма то тому, то другому. У всех он просил сведений о жизни театра. Эти несколько строчек Антона Павловича, это его постоянное внимание незаметно для нас оказывали на театр большое влияние, которое мы можем оценить только теперь, после его смерти.

Он интересовался всеми деталями и особенно, конечно, репертуаром театра. А мы все время подзуживали его на то, чтобы он писал пьесу. Из его писем мы знали, что он пишет из военного быта, знали, что какой-то полк откуда-то куда-то уходит. Но догадаться по коротким, отрывочным фразам, в чем заключается сюжет пьесы, мы не могли. В письмах, как и в своих писаниях, он был скуп на слова. Эти отрывочные фразы, эти клочки его творческих мыслей мы оценили только впоследствии, когда уже узнали самую пьесу.

Ему или не писалось, или, напротив, пьеса была давно уже написана и он не решался расстаться с ней и заставлял ее вылеживаться в своем столе, но он всячески оттягивал присылку этой пьесы. В виде отговорки он уверял нас, что на свете столько прекрасных пьес, что, - надо же ставить Гауптмана, надо, чтобы Гауптман написал еще, а что он же не драматург, и т.д.

Все эти отговорки приводили нас в отчаяние, и мы писали умоляющие письма, чтобы он поскорее прислал пьесу, спасал театр и т.п. Мы сами не понимали тогда, что мы насилуем творчество большого художника.

Наконец пришли один или два акта пьесы, написанных знакомым мелким почерком. Мы их с жадностью прочли, но, как всегда бывает со всяким настоящим сценическим произведением, главные его красоты были скрыты при чтении. С двумя актами в руках невозможно было приступить ни к выработке макетов, ни к распределению ролей, ни к какой бы то ни было сценической подготовительной работе. И с тем большей энергией мы стали добиваться остальных двух актов пьесы. Получили мы их не без борьбы.

Наконец Антон Павлович не только согласился прислать пьесу, но привез ее сам{393}. /394/

Сам он своих пьес никогда не читал. И не без конфуза и волнения он присутствовал при чтении пьесы труппе. Когда стали читать пьесу и за разъяснениями обращаться к Антону Павловичу, он, страшно сконфуженный, отнекивался, говоря:

- Послушайте же, я же там написал все, что знал.

И действительно, он никогда не умел критиковать своих пьес и с большим интересом и даже удивлением слушал мнения других. Что его больше всего поражало и с чем он до самой смерти примириться не мог, это с тем, что его "Три сестры", а впоследствии "Вишневый сад" - тяжелая драма русской жизни. Он был искренне убежден, что это была веселая комедия, почти водевиль\*. Я не помню, чтобы он с таким жаром отстаивал какое-нибудь другое свое мнение, как это, в том заседании, где он впервые услышал такой отзыв о своей пьесе.

---

\* См. письмо А.П.Чехова к М.П.Лилиной{394} (Алексеевой) от 15 сентября 1903 г. (Прим. К.С.Станиславского.).

Конечно, мы воспользовались присутствием автора, чтобы извлечь все необходимые нам подробности. Но и тут он отвечал нам односложно. Нам в то время его ответы казались неясными и непонятными, и только потом мы оценили всю их необыкновенную образность и почувствовали, как они типичны для него и для его произведений.

Когда начались подготовительные работы, Антон Павлович стал настаивать, чтобы мы непременно пригласили одного его знакомого генерала{394}. Ему хотелось, чтобы военно-бытовая сторона была до мельчайших подробностей правдива. Сам же Антон Павлович, точно посторонний человек, совершенно якобы не причастный к делу, со стороны наблюдал за нашей работой.

Он не мог нам помочь в нашей работе, в наших поисках внутренности Прозоровского дома. Чувствовалось, что он этот дом знает подробно, видел его, но совершенно не заметил, какие там комнаты, мебель, предметы, его наполняющие, словом, он чувствовал только атмосферу каждой комнаты в отдельности, но не ее стены.

Так воспринимает литератор окружающую жизнь. Но этого слишком мало для режиссера, который должен определенно вычертить и заказать все эти подробности. /395/

Теперь понятно, почему Антон Павлович так добродушно смеялся и улыбался от радости, когда задачи декоратора и режиссера совпадали с его замыслом. Он долго рассматривал макет декорации и, вглядываясь во все подробности, добродушно хохотал.

Нужна привычка для того, чтобы по макету судить о том, что будет, чтобы по макету понять сцену. Эта чисто театральная, сценическая чуткость была ему свойственна, так как Антон Павлович по природе своей был театральным человек. Он любил, понимал и чувствовал театр - конечно, с лучшей его стороны. Он очень любил повторять все те же рассказы о том, как он в молодости играл в разных пьесах, разные курьезы из этих любительских проб. Он любил тревожное настроение репетиций и спектакля, любил работу мастеров на сцене, любил прислушиваться к мелочам сценической жизни и техники театра, но особенное пристрастие он питал к правдивому звуку на сцене.

Среди всех его волнений об участии пьесы он немало беспокоился о том, как будет передан набат в третьем акте во время пожара за сценой. Ему хотелось образно представить нам звук дребезжащего провинциального колокола. При каждом удобном случае он подходил к кому-нибудь из нас и руками, ритмом, жестами старался внушить настроение этого надрывающего душу провинциального набата.

Он бывал почти на всех репетициях своей пьесы, но очень редко, осторожно и почти трусливо выражал свои мнения. Лишь одно он отстаивал особенно энергично: как и в "Дяде Ване", так и здесь он боялся, чтобы не утрировали и не карикатурили провинциальной жизни, чтобы из военных не делали обычных театральных шаркунов с дребезжащими шпорами, а играли бы простых, милых и хороших людей, одетых в поношенные, а не театральные мундиры, без всяких театрально-военных выправок, поднятий плеч, грубостей и т.д.

- Этого же нет, - убеждал он особенно горячо, - военные же изменились, они же стали культурнее, многие же из них уже даже начинают понимать, что в мирное время они должны приносить с собой культуру в отдаленные медвежьи углы.

На этом он настаивал тем более, что тогдашнее /396/ военное общество, узнав, что пьеса написана из их быта, не без волнения ожидало ее появления на сцене.

Репетиции шли при участии рекомендованного Антоном Павловичем генерала, который так сжился с театром и судьбой репетируемой пьесы, что часто

забывал о своей прямой миссии и гораздо больше волновался о том, что у того или иного актера не выходит роль или какое-нибудь отдельное место.

Антон Павлович просмотрел весь репертуар театра, делал свои односложные замечания, которые всегда заставляли задумываться над их неожиданностью и никогда не понимались сразу. И лишь по прошествии известного времени удавалось сжиться с этими замечаниями. Как на пример такого рода замечаний могу указать на упомянутое мною выше замечание о том, что в последнем акте "Дяди Вани" Астров в трагическую минуту свистит.

Антону Павловичу не удалось дожидаться даже генеральной репетиции "Трех сестер", так как ухудшившееся здоровье погнало его на юг, и он уехал в Ниццу {396}.

Оттуда мы получали записочки - в сцене такой-то, после слов таких-то, добавить такую-то фразу. Например:

"Бальзак венчался в Бердичеве" - было прислано оттуда.

Другой раз вдруг придет маленькую сценку. И эти бриллиантики, которые он присылал, просмотренные на репетициях, необыкновенно оживляли действие и подталкивали актеров к искренности переживания.

Было и такое его распоряжение из-за границы. В четвертом акте "Трех сестер" опустившийся Андрей, разговаривая с Ферапонтом {396}, так как никто с ним больше не желал разговаривать, описывает ему, что такое жена с точки зрения провинциального, опустившегося человека. Это был великолепный монолог страницы в две. Вдруг мы получаем записочку, в которой говорится, что весь этот монолог надо вычеркнуть и заменить его всего лишь тремя словами:

- Жена есть жена!

В этой короткой фразе, если вдуматься в нее глубже, заключается все, что было сказано в длинном, в две страницы, монологе. Это очень характерно для Антона Павловича, творчество которого всегда было кратко и /397/ содержательно. За каждым его словом тянулась целая гамма разносторонних настроений и мыслей, о которых он умалчивал, но которые сами собой рождались в голове.

Вот почему у меня не было ни одного спектакля, несмотря на то, что пьеса игралась сотни раз, чтобы я не делал новых открытий в давно знакомом тексте и в не раз пережитых чувствах роли. Глубина чеховских произведений для вдумчивого и чуткого актера неисчерпаема.

Как волновал Антона Павловича первый спектакль "Трех сестер", можно судить по тому хотя бы, что за день до спектакля он уехал из того города, где нам был известен его адрес, неизвестно куда, чтобы, таким образом, не получать никаких известий о том, как прошел спектакль {397}.

Успех пьесы был довольно неопределенный.

После первого акта были трескучие вызовы, актеры выходили к публике что-то около двенадцати раз. После второго акта вышли один раз. После третьего трусливо аплодировало несколько человек, и актеры выйти не могли, а после четвертого жидко вызвали один раз.

Пришлось допустить большую натяжку, чтобы телеграфировать Антону Павловичу, что пьеса имела "большой успех" {397}.

И только через три года после первой постановки публика постепенно оценила все красоты этого изумительного произведения и стала смеяться и затихать там, где этого хотел автор. Каждый акт уже сопровождался триумфом.

Пресса также долго не понимала этой пьесы {397}. И как это ни странно, но первые достойные этой пьесы рецензии мы прочли в Берлине, когда ездили туда давать там свои спектакли {397}.

В Москве, в год ее постановки, пьеса прошла всего несколько раз и затем была перевезена в Петербург. Туда же ожидали и Антона Павловича, но плохая погода и его здоровье помешали этому.

Вернувшись в Москву, театр возобновил подготовительные для будущего сезона работы. Приехал Антон Павлович. В труппе в это время стали поговаривать о возможной свадьбе Чехова и Книппер. Правда, их часто встречали вместе.

Однажды Антон Павлович попросил /398/ А.Л.Вишневого устроить званый обед и просил пригласить туда своих родственников и почему-то также и родственников О.Л.Книппер. В назначенный час все собрались, и не было только Антона Павловича и Ольги Леонардовны. Ждали, волновались, смущались и наконец получили известие, что Антон Павлович уехал с Ольгой Леонардовной в церковь, венчаться {398}, а из церкви поедет прямо на вокзал и в Самару, на кумыс.

А весь этот обед был устроен им для того, чтобы собрать в одно место всех тех лиц, которые могли бы помешать повенчаться интимно, без обычного свадебного шума. Свадебная помпа так мало отвечала вкусу Антона Павловича. С дороги А.Л.Вишневскому была прислана телеграмма {398}.

На следующий год Антон Павлович располагал прожить осень в Москве и лишь на самые холодные месяцы уехать в Ялту. Осенью он действительно приехал {398} и жил здесь. Этот период как-то плохо сохранился у меня в памяти. Буду вспоминать обрывками.

Помню, например, что Антон Павлович смотрел репетиции "Дикой утки" и, видно было, - скучал. Он не любил Ибсена. Иногда он говорил:

- Послушайте же, Ибсен не знает жизни. В жизни так не бывает.

В этой пьесе Антон Павлович не мог смотреть без улыбки на А.Р.Артема {398} и все говорил:

- Я же напишу для него пьесу. Он же непременно должен сидеть на берегу реки и удить рыбу...

И тут же выдумал и добавил:

- ...А Вишневский будет в купальне рядом мыться, плескаться и громко разговаривать...\*

---

\* А.Л.Вишневский жил в то время в доме Сандуновских бань и каждый день ходил купаться. Это-то и натолкнуло А.П. на такую шутку. (Прим. К.С.Станиславского.).

И сам покатывался от такого сочетания.



Как-то на одной из репетиций, когда мы стали приставать к нему, чтобы он написал еще пьесу, он стал делать кое-какие намеки на сюжет будущей пьесы.

Ему чудилось раскрытое окно, с веткой белых цветущих вишен, влетающих из сада в комнату. Артем уже сделался лакеем, а потом, ни с того ни с сего, управляющим. Его хозяин, а иногда ему казалось, что это /399/ будет хозяйка, всегда без денег, и в критические минуты она обращается за помощью к своему лакею или управляющему, у которого имеются скопленные откуда-то довольно большие деньги.

Потом появилась компания игроков на бильярде. Один из них, самый яркий любитель, безрукий, очень веселый и бодрый, всегда громко кричащий. В этой роли ему стал мерещиться А.Л.Вишневский. Потом появилась боскетная комната, потом она опять заменилась бильярдной.

Но все эти щелки, через которые он открывал нам будущую пьесу, все же не давали нам решительно никакого представления о ней. И мы с тем большей энергией торопили его писать пьесу.

Насколько ему не нравился Ибсен, настолько он любил Гауптмана. В то время шли репетиции "Микаэля Крамера", и Антон Павлович усиленно следил за ними.

У меня осталась в памяти очень характерная черта его непосредственного и наивного восприятия впечатлений.

На генеральной репетиции второго акта "Микаэля Крамера" я, стоя на сцене, слышал иногда его смешок. Но так как действие, происходившее на сцене, не подходило к такому настроению зрителя, а мнением Антона Павловича я, конечно, очень дорожил, то этот смешок несказанно меня смущал. Кроме того, среди действия Антон Павлович несколько раз вставал и быстро ходил по среднему проходу, все продолжая посмеиваться. Это еще больше смущало играющих.

По окончании акта я пошел в публику, чтобы узнать причину такого отношения Антона Павловича, и увидел его сияющего, так же возбужденно бегавшего по среднему проходу.

Я спросил о впечатлении. Ему очень понравилось {399}.

- Как это хорошо! - сказал он. - Чудесно же, знаете, чудесно!

Оказалось, что смеялся он от удовольствия. Так смеяться умеют только самые непосредственные зрители.

Я вспомнил крестьян, которые могут засмеяться в самом неподходящем месте пьесы от ощущения художественной правды.

- Как это похоже! - говорят они в таких случаях. /400/

В этом же сезоне он смотрел "Три сестры" и остался очень доволен спектаклем {400}. Но, по его мнению, звон набата в третьем акте нам не удался. Он решил сам наладить этот звук. Очевидно, ему захотелось самому повозиться с рабочими, порежиссировать, поработать за кулисами. Ему, конечно, дали рабочих.

В день репетиции он подъехал к театру с извозчиком, нагруженным разными кастрюлями, тазами и жестянками. Сам расставил рабочих с этими

инструментами, волновался, рассказывал, как кому бить, и, объясняя, конфузился. Бегал несколько раз из зала на сцену и обратно, но что-то ничего не выходило.

Наступил спектакль, и Чехов с волнением стал ждать своего звона. Звон получился невероятный. Это была какая-то какофония, - колотили кто по чем попало, и невозможно было слушать пьесу.

Рядом с директорской ложей, где сидел Антон Павлович, стали бранить сначала звон, а потом и пьесу и автора. Антон Павлович, слушая эти разговоры, пересаживался все глубже и глубже и наконец совсем ушел из ложи и скромно сел у меня в уборной.

- Что же это вы, Антон Павлович, не смотрите пьесу? - спросил я.

- Да послушайте же, там же ругаются... Неприятно же...

И так весь вечер и просидел у меня в уборной.

Антон Павлович любил прийти до начала спектакля, сесть против гримирующегося и наблюдать, как меняется лицо от грима. Смотрел он молча, очень сосредоточенно. А когда какая-нибудь проведенная на лице черта изменит лицо в том направлении, которое нужно для данной роли, он вдруг обрадуется и захохочет своим густым баритоном. И потом опять замолчит и внимательно смотрит. Антон Павлович, по моему мнению, был великолепный физиономист. Однажды ко мне в уборную зашел один близкий мне человек, очень жизнерадостный, веселый, считавшийся в обществе немножко беспутным.

Антон Павлович все время очень пристально смотрел на него и сидел с серьезным лицом молча, не вмешиваясь в нашу беседу. /401/

Когда господин ушел, Антон Павлович в течение вечера неоднократно подходил ко мне и задавал всевозможные вопросы по поводу этого господина. Когда я стал спрашивать о причине такого внимания к нему, Антон Павлович мне сказал:

- Послушайте, он же самоубийца.

Такое соединение мне показалось очень смешным. Я с изумлением вспомнил об этом через несколько лет, когда узнал, что человек этот действительно отравился.

Бывало и так: придешь к Антону Павловичу, сидишь, разговариваешь. Он на своем мягком диване сидит, покашливает и изредка вскидывает голову, чтобы через пенсне посмотреть на мое лицо.

Сам себе кажешься очень веселым. Придя к Антону Павловичу, забываешь все неприятности, какие бывали у меня до прихода к нему. Но вдруг он, воспользовавшись минутой, когда оставались одни, спросит:

- Послушайте! У вас же сегодня странное лицо. Что-нибудь случилось с вами?

Антон Павлович очень обижался, когда его называли пессимистом, а его героев неврастениками. Когда ему попадались на глаза статьи критиков, которые тогда с такой желчью придирались к нему, то он, тыкая пальцем в газету, говорил:

- Скажите же ему, что ему (критику) нужно водолечение... Он же тоже неврастеник, мы же все неврастеники.

Потом, бывало, заходит по комнате и, покашливая, с улыбкой, но со следами горького чувства, повторит несколько раз, выделяя букву "и":

- Пессимист!

Антон Павлович был самым большим оптимистом будущего, какого мне только приходилось видеть. Он бодро, всегда оживленно, с верой рисовал красивое будущее нашей русской жизни. А к настоящему относился только без лжи и не боялся правды. И те самые люди, которые называли его пессимистом, сами первые или раскисали, или громили настоящее, особенно восьмидесятые и девяностые годы, в которые пришлось жить Антону Павловичу. Если прибавить при этом его тяжелый недуг, который причинял ему столько страданий, его /402/ одиночество в Ялте и, несмотря на это, его всегда жизнерадостное лицо, всегда полное интереса ко всему, что его окружало, то вряд ли в этих данных можно найти черты для портрета пессимиста.

Весною этого же [1902] года театр поехал в Петербург на гастроли. Антон Павлович, бывший к тому времени уже в Ялте, очень хотел поехать вместе с нами, но доктора не выпустили его из Ялты. Мы играли тогда в Панаевском театре и, помню, очень боялись, что нам не разрешат сыграть "Мещан" Горького.

Для цензуры был назначен до открытия сезона особенный спектакль "Мещан". На этом спектакле присутствовали великие князья, министры, разные чиновники из цензуры и т.д. Они должны были решить, можно играть эту пьесу или нельзя. Сыграли мы как можно деликатнее, с вырезками, которые мы же сами сделали.

Пьесу в конце концов разрешили {402}. Цензурный комитет велел вымарать только одну фразу:

"...в доме купца Романова..."

По окончании репетиции все заинтересовались артистом Б[арановым], игравшим роль Тетерева. Б. поступил к нам из певчих что-то на очень маленькое жалованье, чтобы только не служить в хоре. Он обладал колоссальной фигурой и архиерейским басом. Несколько лет он пробыл незамеченным и, получив роль Тетерева, которая очень подошла к его данным, сразу прославился.

Помню, А.М.Горький очень носился в то время с Б., а Антон Павлович все твердил:

- Послушайте же, он же не для вашего театра.

И вот Б. после репетиции привели в зрительный зал. Светские дамы восторгались самородком, находили его и красивым, и умным, и обаятельным. А самородок сразу почувствовал себя как рыба в воде, стал страшно важен и для большого шика заявлял кому-нибудь из высшего света своим трескучим басом:

- Ах, извините, я вас не узнал.

Состоялся первый спектакль {402}. Под сценой была спрятана дюжина вооруженных городовых. Масса мест в зале было занято тайной полицией - словом, театр был на военном положении. /403/

К счастью, ничего особенного не произошло. Спектакль прошел с большим успехом.

На следующий день, когда вышли хвалебные рецензии, Б. явился в театр в цилиндре. Бывший в это время в конторе цензор просит познакомить его с Б.

После обычных при знакомстве приветствий легкая пауза, и затем Б. вдруг начинает сетовать, что в Петербурге так мало газет.

- Как хорошо жить в Париже или Лондоне, - там, говорят, выходит до шестидесяти газет в день...

И, таким образом, наивно проговорился о том, как ему приятно было читать хвалебные рецензии.

На втором спектакле захворала О.Л.Книппер{403}. Болезнь оказалась очень опасной, потребовалась серьезная операция, и больную на носилках в карете скорой медицинской помощи отправили в больницу.

Посыпались телеграммы из Ялты в Петербург и обратно. Приходилось наполовину обманывать больного Антона Павловича. Видно было, что он очень тревожился, и в этих его беспокойных, заботливых телеграммах ясно сказывалась его необыкновенно мягкая, нежная душа. И все же, несмотря на все его стремление в Петербург, из Ялты его не выпустили.

Гастроли кончились, а Книппер уехать было нельзя. Труппа разъехалась. Через неделю или две и Книппер повезли в Ялту. Операция не удалась, и там она захворала и слегла. Столовая в доме Антона Павловича была превращена в спальню для больной, и А.П., как самая нежная сиделка, ухаживал за ней.

По вечерам он сидел в соседней комнате и перечитывал свои мелкие рассказы, которые он собирал в сборники{403}. Некоторые из рассказов он совсем забыл и, перечитывая, сам хохотал во все горло, находя их остроумными и смешными.

Когда я приставал к нему с напоминаниями о новой пьесе, он говорил:

- А вот же, вот... - И при этом вынимал маленький клочок бумаги, исписанный мелким, мелким почерком.

Большим утешением в это печальное время был Иван Алексеевич Бунин. / 404/

Среди всех этих тревог и волнений Антона Павловича все-таки не покидала мысль оставить Ялту и переехать в Москву. Длинные вечера проходили в том, что нужно было подробно, в лицах, рассказывать всю жизнь театра. Он так интересовался жизнью в Москве, что спрашивал даже о том, что где строится в Москве. И надо было рассказывать ему, где, на каком углу, строится дом, в каком стиле, кто его строит, сколько этажей и т.д. При этом он улыбался и иногда заключал:

- Послушайте, это же прекрасно!

Так его радовала всякая культура и благоустроенность. Но как врач Антон Павлович был, вероятно, не очень дальновиден, так как решился перевезти жену в Москву в то время, когда она еще, очевидно, далеко не была готова к этому.

Они приехали как раз в то время, когда у нас производились весенние школьные экзамены. Экзамены эти производились в отдельном здании, выстроенном С.Т.Морозовым специально для наших репетиций на Божедомке. Там была сцена величиною почти с нашу и маленькая комнатка для смотрящих.

Сюда в день приезда и поспешили прийти Антон Павлович с женой {404}. А на следующий день Ольга Леонардовна захворала опять, и очень серьезно. Она была при смерти и думали даже - безнадежна. Антон Павлович не отходил от больной ни днем, ни ночью, сам делал ей припарки и т.д. А мы, поочередно, дежурили у него, не ради больной, которая и без того была хорошо обставлена и куда нас не пускали доктора, а больше ради самого Антона Павловича, чтобы поддержать в нем бодрость.

В один из таких трудных дней, когда положение больной было особенно опасно, собрались все близкие и обсуждали, кого из знаменитых врачей пригласить. Каждый, как это всегда бывает в таких случаях, стоял за своего. В числе рекомендуемых упоминали одного из врачей, запятнавшего свое имя каким-то нехорошим поступком в смысле профессиональной этики.

Услыхав его имя, Антон Павлович необыкновенно решительно заявил, что если пригласят этого врача, то он должен будет навсегда уехать в Америку.

- Послушайте же, я же врач, - говорил он, - за это же меня выгонят из врачей... /405/

Пока в доме происходил этот разговор, известный деятель театра Г[иляров]ский, я и один из наших актеров стояли на улице и курили, так как этого мы никогда не позволяли себе делать в квартире Антона Павловича. У дома напротив, возле пивной, стояла карета от Иверской {405}. Шел разговор о том, что молодая жизнь может кончиться. Этот разговор так взволновал Г-ского, что он заплакал. Чтобы успокоиться, он стал, видимо, придумывать, что бы ему такое выкинуть. И вдруг без шляпы он перебегает улицу, входит в пивную, садится в карету из-под Иверской и пьет из бутылки пиво, дает кучеру Иверской три рубля и просит провезти себя в карете по бульвару. Опешивший кучер тронул лошадей. Колымага, тяжело подрагивая на ходу, покатила по бульвару, а оттуда нам приветливо помахивал ручкой Г-ский. Это был тот самый Г-ский, о котором так любил рассказывать Антон Павлович.

Антон Павлович страшно хохотал, когда ему рассказали об этом.

Одну из шуток Г-ского Антон Павлович очень любил рассказывать.

Однажды, в смутное время, когда часто бросали бомбы и вся полиция была настороже, по Тверской ехали Антон Павлович и Г-ский. Г-ский держал в руках завернутую в бумагу тыкву с огурцами. Проезжая мимо городского, Г-ский останавливает извозчика, подзывает городского и с серьезным, деловым лицом передает ему в руки завернутую тыкву. Городовой принял в руки тыкву. Когда извозчик тронул дальше, Г-ский как бы в виде предупреждения крикнул городскому:

- Бомба!

И шутники унеслись на лихаче дальше по Тверской. А опешивший городской, боясь двинуться с места, стоял по середине улицы, бережно держа в руках завернутую тыкву.

- Я же все оглядывался, - говорил Антон Павлович, - мне хотелось увидеть, что он будет делать дальше, да так и не увидел {405}.

Наступили летние каникулы, все разъехались, а больной все еще не было лучше, - она все еще была в опасном положении.

До сих пор, несмотря на долгое знакомство с Антоном Павловичем, я не чувствовал себя с ним просто, /406/ не мог просто относиться к нему, я всегда помнил, что передо мной знаменитость, и старался казаться умнее, чем я есть. Эта неестественность, вероятно, стесняла Антона Павловича. Он любил только простые отношения. Моя жена, которой сразу удалось установить с ним эти простые отношения, всегда чувствовала себя с ним свободнее меня. Нет возможности описать, о чем они вдвоем разговаривали и как эта легкая, непринужденная болтовня веселила и забавляла по природе естественного и простого Антона Павловича.

И только в эти долгие дни, которые я просиживал вместе с Антоном Павловичем в комнате рядом с больной, мне впервые удалось найти эту простоту в наших отношениях. Это время сблизило нас настолько, что Антон Павлович стал иногда обращаться ко мне с просьбами интимного характера, на которые он был так щепетилен. Так, например, узнавши, что я умею впрыскивать мышьяк, - а я как-то похвастался при нем своей ловкостью в этой операции, - он попросил меня сделать ему впрыскивание.

Наблюдая за моими приготовлениями, он одобрительно улыбался и готов был уже поверить в мою ловкость и опытность. Но дело в том, что я привык это делать только с новыми, острыми иглами, а тут мне попалась игла, уже довольно много поработавшая.

Он повернулся ко мне спиной, и я стал делать ему прокол. Тупая игла никак не могла проколоть кожу. Я сразу струсил, но никак не мог покаяться в своей неловкости, стал колоть еще усиленнее, и очевидно, причинил ему значительную боль. Антон Павлович даже не вздрогнул, но только один раз коротко кашлянул, и, я помню, этот кашель убил меня. После этого кашля я совершенно растерялся и придумывал, как мне выйти из этого тягостного положения. Но ничего подходящего не приходило в голову.

Надавив на тело концом и повернув шприц несколько вбок, чтобы дать впечатление воткнутой иглки, я просто-напросто выпустил наружу всю жидкость, которая и вылилась на белье.

Когда операция кончилась и я сконфуженно клал шприц на место, Антон Павлович с приветливым лицом повернулся ко мне и сказал:

- Чудесно-с! /407/

Больше, однако, он ко мне с этой просьбой не обращался, хотя мы и условились, что я всегда буду делать ему впрыскивания.

Большое место в тогдашних наших разговорах занимал наш новый театр, строившийся в Камергерском переулке. Так как Антону Павловичу нельзя было покидать больную, то ему приносили на дом планы, чертежи и т.д.

Антон Павлович за время болезни жены сам очень истощился и ослаб. Жили они в доме Сандуновских бань, окна выходили в переулок, в июне воздух был ужасный, пыльно, душно, а двинуться нельзя было никуда. Все разъехались,

и при нем остались только я, жена и А.Л.Вишневский. Но и у меня уже все сроки прошли, надо было ехать на воды, чтобы успеть до начала сезона довести курс лечения до конца. Таким образом, бедный Антон Павлович осужден был остаться один, и А.Л.Вишневский, который был искренне к нему привязан, решил остаться при нем. А я с семьей уехал за границу.

Единственной отрадой Антона Павловича за это время был один очень ловкий жонглер в "Аквариуме", которого он изредка ходил смотреть, когда больная настолько поправилась, что ее можно было уже изредка оставлять. Наконец чуть ли не в конце июня мы получили известие, что хотя Ольга Леонардовна уже и выходит, но о переезде ее в Ялту не может быть и речи. А между тем Антон Павлович изнемогал в Москве.

Мы предложили ему вместе с больной и А.Л.Вишневским воспользоваться нашим флигелем в имении моей матери, где мы обыкновенно проводили лето. Это было близко от Москвы, по Ярославской железной дороге, станция Тарасовка, имение Алексеева Любимовка.

Туда вскоре и переехали Антон Павлович с больной женой, сестра милосердия и А.Л.Вишневский {407}.

О том, как они жили там, я уже знаю только по рассказам.

## "ВИШНЕВЫЙ САД"

Мне посчастливилось наблюдать со стороны за процессом создания Чеховым его пьесы "Вишневый сад". Как-то при разговоре с Антоном Павловичем о рыбной ловле наш артист А.Р.Артем изображал, как /408/ насаживают червя на крючок, как закидывают удочку донную или с поплавком. Эти и им подобные сцены передавались неподражаемым артистом с большим талантом, и Чехов искренне жалел о том, что их не увидит большая публика в театре. Вскоре после этого Чехов присутствовал при купании в реке другого нашего артиста и тут же решил:

- Послушайте, надо же, чтобы Артем удил рыбу в моей пьесе, а N{408} купался рядом в купальне, барахтался бы там и кричал, а Артем злился бы на него за то, что он ему пугает рыбу.

Антон Павлович мысленно видел их на сцене - одного удыщим около купальни, другого - купающимся в ней, то есть за сценой. Через несколько дней Антон Павлович объявил нам торжественно, что купающемуся ампутировали руку, но, несмотря на это, он страстно любит играть на бильярде своей единственной рукой. Рыболов же оказался стариком лакеем, скопившим деньжонки.

Через некоторое время в воображении Чехова стало рисоваться окно старого помещичьего дома, через которое лезли в комнату ветки деревьев. Потом они зацвели снежно-белым цветом. Затем в воображаемом Чеховым доме поселилась какая-то барыня.

- Но только у вас нет такой актрисы. Послушайте! Надо же особую старуху, - соображал Чехов. - Она же все бегает к старому лакею и занимает у него деньги...

Около старухи очутился не то ее брат, не то дядя - безрукий барин, страстный любитель игры на бильярде. Это большое дитя, которое не может жить без лакея. Как-то раз последний уехал, не приготовив барину брюк, и потому он пролежал весь день в постели...

Мы знаем теперь, что уцелело в пьесе и что отпало без всякого следа или оставило незначительный след.

Летом 1902 года, когда Антон Павлович готовился писать пьесу "Вишневый сад", он жил вместе со своей женой, О.Л.Чеховой-Книппер, артисткой театра, в нашем домике, в имении моей матери Любимовке. Рядом, в семье наших соседей, жила англичанка, гувернантка, маленькое худенькое существо с двумя длинными девичьими косами, в мужском костюме. Благодаря такому соединению не сразу разберешь ее пол, происхождение и возраст. Она обращалась с Антоном Павловичем /409/ запанибрата, что очень нравилось писателю. Встречаясь ежедневно, они говорили друг другу ужасную чепуху. Так, например, Чехов уверял англичанку, что он в молодости был турком, что у него был гарем, что он скоро вернется к себе на родину и станет пашой, и тогда выпишет ее к себе. Якобы в благодарность, ловкая гимнастка-англичанка прыгала к нему на плечи и, усевшись на них, здоровалась за Антона Павловича со всеми проходившими мимо них, то есть снимала шляпу с его головы и кланялась ею, приговаривая на ломаном русском языке, по-клоунски комичном:

- Здласьте! здласьте! здласьте!

При этом она наклоняла голову Чехова в знак приветствия.

Те, кто видел "Вишневый сад", узнают в этом оригинальном существе прототип Шарлотты.

Прочтя пьесу, я сразу все понял и написал свои восторги Чехову. Как он заволновался! Как он усиленно уверял меня, что Шарлотта непременно должна быть немкой, и непременно худой и большой - такой, как артистка Муратова, совершенно непохожая на англичанку, с которой была списана Шарлотта.

Роль Епиходова создавалась из многих образов {409}. Основные черты взяты со служащего, который жил на даче и ходил за Антоном Павловичем. Чехов часто беседовал с ним, убеждал его, что надо учиться, надо быть грамотным и образованным человеком. Чтобы стать таковым, прототип Епиходова прежде всего купил себе красный галстук и захотел учиться по-французски. Не знаю, какими путями, идя от служащего, Антон Павлович пришел к образу довольно полного, уже немолодого Епиходова, которого он дал в первой редакции пьесы.

Но у нас не было подходящего по фигуре актера, и, в то же время, нельзя было не занять в пьесе талантливого и любимого Антоном Павловичем актера И.М.Москвина, который в то время был юный и худой. Роль передали ему, и молодой артист применил ее к своим данным, причем воспользовался экспромтом своим на первом капустнике {409}, о котором речь впереди. Мы думали, что Антон Павлович рассердится за эту вольность, но он очень хохотал, а по окончании репетиции сказал Москвину: /410/



- Я же именно такого и хотел написать. Это чудесно, послушайте!

Помнится, что Чехов дописал роль в тех контурах, которые создались у Москвина.

Роль студента Трофимова была также списана с одного из тогдашних обитателей Любимовки {410}.

Осенью 1903 года Антон Павлович Чехов приехал в Москву {410} совершенно больным. Это, однако, не мешало ему присутствовать почти на всех репетициях его новой пьесы, окончательное название которой он никак не мог еще тогда установить.

Однажды вечером мне передали по телефону просьбу Чехова заехать к нему по делу. Я бросил работу, помчался и застал его оживленным, несмотря на болезнь. По-видимому, он приберегал разговор о деле к концу, как дети вкусное пирожное. Пока же, по обыкновению, все сидели за чайным столом и смеялись, так как там, где Чехов, нельзя было оставаться скучным. Чай кончился, и Антон Павлович повел меня в свой кабинет, затворил дверь, уселся в свой традиционный угол дивана, посадил меня напротив себя и стал, в сотый раз, убеждать меня переменить некоторых исполнителей в его новой пьесе, которые, по его мнению, не подходили. "Они же чудесные артисты", - спешил он смягчить свой приговор.

Я знал, что эти разговоры были лишь прелюдией к главному делу, и потому не спорил. Наконец мы дошли и до дела. Чехов выдержал паузу, стараясь быть серьезным. Но это ему не удавалось - торжественная улыбка изнутри пробивалась наружу.

- Послушайте, я же нашел чудесное название для пьесы. Чудесное! - объявил он, смотря на меня в упор.

- Какое? - заволновался я.

- Вишневый сад, - и он закатился радостным смехом.

Я не понял причины его радости и не нашел ничего особенного в названии. Однако, чтоб не огорчить Антона Павловича, пришлось сделать вид, что его открытие произвело на меня впечатление. Что же волнует его в новом заглавии пьесы? Я начал осторожно выпрашивать его, но опять натолкнулся на эту странную особенность Чехова: он не умел говорить о своих созданиях. Вместо объяснения Антон Павлович начал повторять на /411/ разные лады, со всевозможными интонациями и звуковой окраской:

- Вишневый сад. Послушайте, это чудесное название! Вишневый сад. Вишневый!

Из этого я понимал только, что речь шла о чем-то прекрасном, нежно любимом: прелесть названия передавалась не в словах, а в самой интонации голоса Антона Павловича. Я осторожно намекнул ему на это; мое замечание опечалило его, торжественная улыбка исчезла с его лица, наш разговор перестал клеиться, и наступила неловкая пауза.

После этого свидания прошло несколько дней или неделя... Как-то во время спектакля он зашел ко мне в уборную и с торжественной улыбкой присел к моему столу. Чехов любил смотреть, как мы готовимся к спектаклю. Он так внимательно следил за нашим гримом, что по его лицу можно было угадывать, удачно или неудачно кладешь на лицо краску.

- Послушайте, не Вишневый, а Вишнёвый сад, - объявил он и закатился смехом.

В первую минуту я даже не понял, о чем идет речь, но Антон Павлович продолжал смаковать название пьесы, напирая на нежный звук "ё" в слове "Вишнёвый", точно стараясь с его помощью обласкать прежнюю красивую, но теперь ненужную жизнь, которую он со слезами разрушал в своей пьесе. На этот раз я понял тонкость: "Вишневый сад" - это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но "Вишнёвый сад" дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого.

Как раньше, так и на этот раз, во время репетиций "Вишневого сада", приходилось точно клещами вытягивать из Антона Павловича замечания и советы, касавшиеся его пьесы. Его ответы походили на ребусы, и надо было их разгадывать, так как Чехов убегал, чтобы спастись от приставания режиссеров. Если бы кто-нибудь увидел на репетиции Антона Павловича, скромно сидевшего где-то в задних рядах, он бы не поверил, что это был автор пьесы. Как мы ни старались пересадить его к режиссерскому столу, ничего не выходило. А если / 412/ и усадишь, то он начинал смеяться. Не поймешь, что его смешило: то ли, что он стал режиссером и сидел за важным столом; то ли, что он находил лишним самый режиссерский стол; то ли, что он соображал, как нас обмануть и спрягаться в своей засаде.

- Я же все написал, - говорил он тогда, - я же не режиссер, я - доктор.

Сравнивая, как держал себя на репетициях Чехов, с тем, как вели себя другие авторы, удивляешься необыкновенной скромности большого человека и безграничному самомнению других, гораздо менее значительных писателей. Один из них, например, на мое предложение сократить многоречивый, фальшивый, витиеватый монолог в его пьесе сказал мне с горечью обиды в голосе:

- Сокращайте, но не забывайте, что вы ответите перед историей.

Напротив, когда мы дерзнули предложить Антону Павловичу выкинуть целую сцену - в конце второго акта "Вишневого сада" {412}, - он сделался очень грустным, побледнел от боли, которую мы ему причинили тогда, но, подумав и оправившись, ответил:

- Сократите!

И никогда больше не высказал нам по этому поводу ни одного упрека.

Я не буду описывать постановки "Вишневого сада", которую мы так много играли в Москве, Европе и Америке. Припомню лишь факты и условия, при которых ставилась пьеса.

Спектакль налаживался трудно; и неудивительно: пьеса очень трудна. Ее прелесть в неуловимом, глубоко скрытом аромате. Чтобы почувствовать его, надо как бы вскрыть почку цветка и заставить распусться его лепестки. Но это должно произойти само собой, без насилия, иначе сомнешь нежный цветок, и он завянет.

В описываемое время наша внутренняя техника и умение воздействовать на творческую душу артистов по-прежнему были примитивны. Таинственные ходы к глубинам произведений не были еще точно установлены нами. Чтобы помочь актерам, расшевелить их аффективную память, вызвать в их душе творческие провидения, мы пытались создать для них иллюзию декорациями, игрою света и звуков. Иногда это помогало, и я /413/ привык злоупотреблять световыми и слуховыми сценическими средствами.

- Послушайте! - рассказывал кому-то Чехов, но так, чтобы я слышал, - я напишу новую пьесу, и она будет начинаться так: "Как чудесно, как тихо! Не слышно ни птиц, ни собак, ни кукушек, ни совы, ни соловья, ни часов, ни колокольчиков и ни одного сверчка".

Конечно, камень бросался в мой огород.

В первый раз с тех пор, как мы играли Чехова, премьера его пьесы совпадала с пребыванием его в Москве. Это дало нам мысль устроить чествование любимого поэта {413}. Чехов очень упирался, угрожал, что останется дома, не приедет в театр. Но соблазн для нас был слишком велик, и мы настояли. Притом же первое представление совпало с днем именин Антона Павловича (17/30 января).

Назначенная дата была уже близка, надо было подумать и о самом чествовании, и о подношениях Антону Павловичу. Трудный вопрос! Я объездил все антикварные лавки, надеясь там набрести на что-нибудь, но кроме великолепной шитой музейной материи мне ничего не попало. За неимением лучшего пришлось украсить ею венок и подать его в таком виде.

"По крайней мере, - думал я, - будет поднесена художественная вещь".

Но мне досталось от Антона Павловича за ценность подарка.

- Послушайте, ведь это же чудесная вещь, она же должна быть в музее, - попрекал он меня после юбилея.

- Так научите, Антон Павлович, что же надо было поднести? - оправдывался я.

- Мышеловку, - серьезно ответил он подумав. - Послушайте, мышей же надо истреблять. - Тут он сам расхохотался. - Вот художник Коровин чудесный подарок мне прислал! Чудесный!

- Какой? - интересовался я.

- Удочки.

И все другие подарки, поднесенные Чехову, не удовлетворили его, а некоторые так даже рассердили своей банальностью. /414/

- Нельзя же, послушайте, подносить писателю серебряное перо и старинную чернильницу.

- А что же нужно подносить?

- Клистирную трубку. Я же доктор, послушайте. Или носки. Моя же жена за мной не смотрит. Она актриса. Я же в рваных носках хожу. Послушай, дуся, говорю я ей, у меня палец на правой ноге вылезает. Носи на левой ноге, говорит. Я же не могу так! - шутил Антон Павлович и снова закатывался веселым смехом.

Но на самом юбилее он не был весел, точно предчувствуя свою близкую кончину. Когда после третьего акта он, мертвенно бледный и худой, стоя на авансцене, не мог унять кашля, пока его приветствовали с адресами и подарками, у нас болезненно сжалось сердце. Из зрительного зала ему крикнули, чтобы он сел. Но Чехов нахмурился и простоял все длинное и тягучее торжество юбилея, над которым он добродушно смеялся в своих произведениях. Но и тут он не удержался от улыбки. Один из литераторов начал свою речь почти теми же словами, какими Гаев приветствует старый шкаф в первом акте:

- Дорогой и многоуважаемый... (вместо слова "шкаф" литератор вставил имя Антона Павловича) - приветствуя вас... - и т.д.

Антон Павлович покосился на меня - исполнителя Гаева, - и коварная улыбка пробежала по его губам.

Юбилей вышел торжественным, но он оставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами. Было тоскливо на душе.

Сам спектакль имел лишь средний успех, и мы осуждали себя за то, что не сумели с первого же раза показать наиболее важное, прекрасное и ценное в пьесе.

Антон Павлович умер, так и не дождавшись настоящего успеха своего последнего, благоуханного произведения.

Со временем, когда спектакль дозрел, в нем еще раз обнаружили свои большие дарования многие из артистов нашей труппы, в первую очередь О.Л.Книппер, исполнявшая главную роль - Раневской, Москвин - Епиходов, Качалов - Трофимов, Леонидов - Лопехин, Грибунин - Пищик, Артем - Фирс, Муратова - Шарлотта. Я также имел успех в роли Гаева и получил на репетиции похвалу от самого Антона Павловича Чехова - за последний, финальный уход в четвертом акте. /415/

Подходила весна 1904 года. Здоровье Антона Павловича все ухудшалось. Появились тревожные симптомы в области желудка, и это намекало на туберкулез кишок. Консилиум постановил увезти Чехова в Баденвейлер. Начались сборы за границу. Нас всех, и меня в том числе, тянуло напоследок почаще видаться с Антоном Павловичем. Но далеко не всегда здоровье позволяло ему принимать нас. Однако, несмотря на болезнь, жизнерадостность не покидала его. Он очень интересовался спектаклем Метерлинка<sup>{415}</sup>, который в то время усердно репетировался. Надо было держать его в курсе работ, показывать ему макеты декораций, объяснять мизансцены.

Сам он мечтал о новой пьесе совершенно нового для него направления. Действительно, сюжет задуманной им пьесы был как будто бы не чеховский. Судите сами: два друга, оба молодые, любят одну и ту же женщину. Общая любовь и ревность создают сложные взаимоотношения. Кончается тем, что оба они уезжают в экспедицию на Северный полюс. Декорация последнего действия изображает громадный корабль, затертый в льдах. В финале пьесы оба приятеля видят белый призрак, скользящий по снегу. Очевидно, это тень или душа скончавшейся далеко на родине любимой женщины.

Вот все, что можно было узнать от Антона Павловича о новой задуманной пьесе.

Во время заграничной поездки, по рассказам О.Л.Книппер-Чеховой, Антон Павлович наслаждался культурной жизнью Европы. Сидя на своем балкончике в Баденвейлере, он следил за работой, происходившей в почтовом отделении, которое было напротив его комнаты. Люди шли туда со всех сторон, сносили свои мысли, выраженные в письме, отсюда эти мысли разносились по всему свету.

- Это чудесно! - восклицал он...

Летом 1904 года пришла печальная весть из Баденвейлера о смерти Антона Павловича.

"Ich sterbe"\* - были последние слова умирающего. Смерть его была красива, спокойна и торжественна.

---

\* Я умираю (нем.).

Чехов умер - и после своей смерти стал еще более любим на родине, в Европе и Америке. Однако, /416/ несмотря на свой успех и популярность, он остался многими непонятым и недооцененным. Вместо некролога - выскажу несколько своих мыслей о нем.

До сих пор еще существует мнение, что Чехов - поэт будней, серых людей, что пьесы его - печальная страница русской жизни, свидетельство духовного прозябания страны. Неудовлетворенность, парализующая все начинания, безнадежность, убивающая энергию, полный простор для развития родовой славянской тоски. Вот мотивы его сценических произведений.

Но почему эта характеристика Чехова так резко противоречит моим представлениям и воспоминаниям о покойном? Я вижу его гораздо чаще бодрым и улыбающимся, чем хмурым, несмотря на то, что я знал его в плохие периоды болезни. Там, где находился больной Чехов, чаще всего царила шутка, острота, смех и даже шалость. Кто лучше его умел смешить или говорить глупости с серьезным лицом? Кто больше его ненавидел невежество, грубость, нытье, сплетню, мещанство и вечное питье чая? Кто больше его жаждал жизни, культуры, в чем бы и как бы они ни проявлялись? Всякое новое полезное начинание - зарождающееся ученое общество или проект нового театра, библиотеки, музея - являлось для него подлинным событием. Даже простое очередное благоустройство жизни необычайно оживляло, волновало его. Например, помню его детскую радость, когда я рассказал ему однажды о большом строящемся доме у Красных ворот в Москве взамен плохенького одноэтажного особняка, который был снесен. Об этом событии Антон Павлович долго после рассказывал с восторгом всем, кто приходил его навещать: так сильно он искал во всем предвестников будущей русской и всечеловеческой культуры не только духовной, но даже и внешней.

То же и в его пьесах: среди полной безнадежности восьмидесятых и девяностых годов то и дело загораются в них светлые мечты, бодрящие предсказания о жизни через двести, триста или тысячу лет, ради которой мы все должны теперь страдать; о новых изобретениях, благодаря которым будут летать по воздуху, об открытии шестого чувства.

А заметили ли вы, как часто при исполнении пьес Чехова в зрительном зале раздается смех, да такой /417/ звонкий, веселый, какого мы не слышим на других спектаклях? Когда же Чехов берется за водевиль, то доводит шутку до размеров уморительного буффа.

А его письма? Когда я их читаю, от меня, конечно, не ускользает общее настроение грусти. Но на ее фоне блещут, точно весело мигающие звезды на ночном горизонте, остроумные словечки, смешные сравнения, уморительные характеристики. Нередко дело доходит до дурачества, до анекдота и шуток прирожденного, неунывающего весельчака и юмориста, который жил в душе Антоши Чехонте, а впоследствии - и в душе больного, истомленного Чехова.

Когда здоровый человек чувствует себя бодро и весело, это - естественно, нормально. Но когда больной, приговоренный самим собою к смерти (ведь Чехов - доктор), прикованный, как узник, к ненавистному ему месту, вдали от близких и друзей, не видя для себя просвета впереди, тем не менее умеет и смеяться, и жить светлыми мечтами, верой в будущее, заботливо накапливая культурные богатства для грядущих поколений, - то такую жизнерадостность и жизнеспособность следует признать чрезвычайной, исключительной, гораздо выше нормы.

Еще менее мне понятно, почему Чехов считается устаревшим для нашего времени и почему существует мнение, что он не мог бы понять революции и новой жизни, ею создаваемой?

Было бы, конечно, смешно отрицать, что эпоха Чехова чрезвычайно далека по своим настроениям от нынешнего времени и новых, воспитанных революцией, поколений. Во многом они даже прямо противоположны друг другу. Понятно и то, что современная, революционная Россия, с ее активностью и энергией в разрушении старых устоев жизни и создании новых, не принимает и даже не понимает инертности восьмидесятых годов, с их пассивным, выжидательным томлением.

Тогда среди удушливого застоя в воздухе не было почвы для революционного подъема. Лишь где-то под землей, в подпольях, готовили и накапливали силы для грозных ударов. Работа передовых людей заключалась только в том, чтобы подготавливать общественное настроение, внушать новые идеи, разъясняя несостоятельность старой жизни. И Чехов был заодно с теми, кто /418/ совершал эту подготовительную работу. Он, как немногие, умел изобразить нестерпимую атмосферу застоя, осмеять пошлость порождаемой им жизни.

Время шло. Вечно стремящийся вперед, Чехов не мог стоять на месте. Напротив, он эволюционировал с жизнью и веком.

По мере того как сгущалась атмосфера и дело приближалось к революции, он становился все более решительным. Ошибаются те, кто считают его безвольным и нерешительным, как многие из тех людей, которых он описывал. Я уже говорил, что он не раз удивлял нас своей твердостью, определенностью и решительностью.

- Ужасно! Но без этого нельзя. Пусть японцы сдвинут нас с места, - сказал мне Чехов взволнованно, но твердо и уверенно, когда в России запахло порохом.

В художественной литературе конца прошлого и начала нынешнего века он один из первых почувствовал неизбежность революции, когда она была лишь в зародыше и общество продолжало купаться в излишествах. Он один из первых дал тревожный звонок. Кто, как не он, стал рубить прекрасный, цветущий вишневый сад, сознав, что время его миновало, что старая жизнь бесповоротно осуждена на слом.

Человек, который задолго предчувствовал многое из того, что теперь совершилось, сумел бы принять все предсказанное им...

### ***ВЛ.И.НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО. ЧЕХОВ***

Передо мной три портрета Чехова, каждый выхвачен из куска его жизни.

Первый: Чехов "многообещающий". Пишет бесконечное количество рассказов, маленьких, часто крошечных, преимущественно в юмористических журналах и в громадном большинстве за подписью "А.Чехонте". Сколько их он написал? Много лет спустя, когда Чехов продал все свои сочинения{419} и отбирал, что стоит издавать и что нет, я спросил его, - он сказал: "Около тысячи".

Все это были анекдоты с великолепной выдумкой, остроумной, меткой, характерной.

Но он уже переходит к рассказам крупным.

Любит компанию, любит больше слушать, чем говорить. Ни малейшего самомнения. Его считают "бесспорно талантливым", но кому тогда могло бы прийти в голову, что это имя попадет в число русских классиков!

Второй портрет: Чехов, уже признанный "одним из самых талантливых". Его книжка рассказов "Сумерки" получила полную академическую премию{419}, пишет меньше, сдержаннее; о каждой его новой повести уже говорят; он желанный во всякой редакции. Но вождь тогдашней молодежи Михайловский не перестает подчеркивать, что Чехов - писатель безыдейный, и это влияет, как-то задерживает громкое и единодушное признание.

А между тем Лев Толстой говорит:

"Вот писатель, о котором и поговорить приятно". /420/

А старик Григорович, один из так называемых "корифеев" русской литературы, идет еще дальше{420}. Когда при нем начали сравнивать с Чеховым одного малодаровитого, но очень "идейного" писателя, Григорович сказал:

- Да он недостоин поцеловать след той блохи, которая укусит Чехова.

А о рассказе "Холодная кровь" он сказал, правда почти шепотом, как что-то еще очень дерзкое:

- Поместите этот рассказ на одну полку с Гоголем, - и сам прибавил: - вот как далеко я иду.

Другой такой же корифей русской литературы, Боборыкин, говорит, что доставляет себе такое удовольствие: каждый день непременно читать по одному рассказу Чехова{420}.

В этот период Чехов в самой гуще столичного водоворота, в писательских, артистических и художественных кружках, то в Москве, то в Петербурге; любит сборища, остроумные беседы, театральные кулисы; ездит много по России и за границу; жизнелюбив, по-прежнему скромен и по-прежнему больше слушает и наблюдает, чем говорит сам. Слава его непрестанно растет.

Третий портрет: Чехов в Художественном театре.

Второй период в моих воспоминаниях как-то резко заканчивается неуспехом "Чайки" в Петербурге{420}. Словно именно это надломило его жизнь, и отсюда крутой поворот. До сих пор о его болезни, кажется, никогда и не упоминалось, а вот как раз после этого Чехова иначе и не представляешь себе, как человека, которого заметно подтачивает скрытый недуг.

Пишет он все меньше, две-три вещи в год; к себе становится все строже. Самая заметная новая черта в его повестях - это то, что он, оставаясь объективным, изоцряя свое огромное художественное мастерство, все больше и чаще позволяет своим персонажам рассуждать, преимущественно о жизни русской интеллигенции, заблудившейся в противоречиях, нежащейся в мечте и безволии. Среди этих рассуждений вы с необыкновенной отчетливостью различаете мысли самого автора, умные, меткие, благородные, выраженные изящно, с огромным вкусом.

Каждый его новый рассказ - уже некоторое литературное событие. /421/

Но главное в этом периоде: Чехов-драматург, Чехов - создатель нового театра. Он почти заслоняет себя как беллетриста. Популярность его ширится, образ его приобретает через театр новое обаяние. Он становится самым любимым, песня об его безыдейности замирает. Его имя уступает только еще живущему среди нас и неустанно работающему великому Толстому.

Но вместе с тем как растет его слава, приближается и его жизненный конец. Каждую новую вещь его читатель встречает уже не с обычной читательской беспечностью, а с какой-то нежной благодарностью, с сознанием, что здесь отдаются догорающие силы.

Три портрета на протяжении восемнадцати лет. Чехов умер сорока четырех, в 1904-м.

В Москве часто организовывались кружки писателей, всегда не надолго, быстро рассыпались. Одним из таких кружков заведовал Николай Кичеев, редактор журнала "Будильник". Всегда очень приличный, корректный, приветливый, немножко холодноватый, болезненный, говорил всегда негромко и сам почти не смеялся, - даже странно было, что это редактор именно юмористического журнала. Но он любил смех больше всего на свете, чувствовал его силу и был из тех, которые считают остроумие величайшим даром человека. Я его знал уже давно; в годы моих литературных начинаний мы с ним вдвоем вели в "Будильнике" театральный отдел за общей подписью "Никс и Кикс".

Кружок был довольно пестрый. В политическом отношении направление было одно: либеральное, но с довольно резкими уклонами и влево и вправо. В то время как для одних главнейшей целью художественного произведения были



"общественные задачи", другие выше всего ценили в нем форму, живой образ, слово. Первые примешивали политику решительно ко всякой теме; за ужином говорили такие речи, что надо было поглядывать на подававших лакеев, - нет ли среди них шпионов; другие же оставались холодными, - не возражали из чувства товарищества, зато по уголкам называли эти речи "кукишем в кармане".

Настоящие "либералы" с гордостью носили эту кличку. Я как сейчас вижу перед собой на /422/ каком-нибудь банкете Гольцева. Он до конца жизни остался честнейшим человеком и преданнейшим прогрессу журналистом. Но стоило ему начать застольный спич, как от него веяло холодом; и чем он серьезнее, тем скучнее. Все, что он скажет, все вперед знали наизусть. Но либерально настроенным барышням это нравилось, нравились красивые слова - барышням и, очевидно, большинству слушателей, которые с постно-серьезными лицами сочувственно кивали в такт каждой гольцевской запятой и горячо аплодировали, когда он ставил хорошую точку. Им особенно то и нравилось, что они тоже все это отлично знают, что он говорит.

Как-то я ехал с Чеховым в пролетке; извозчик не успел свернуть с рельсов, - пролетка столкнулась с трамваем, перевернулась; переполох, испуг, крики; поднялись мы невредимыми; я сказал:

- Вот так, в один миг, могли мы и умереть.

- Умереть - это бы ничего, - сказал Чехов, - а вот на могиле Гольцев говорил бы прощальную речь - это гораздо хуже.

Это не мешало нам относиться к Гольцеву с большим уважением.

Из писателей настоящим кумиром для них был Щедрин. Но и тут: не за громадный сатирический его талант, а за яркий либерализм. В ту пору выработался даже трафарет: с каждого сборища с речами и вином посылать Щедрина приветственную телеграмму (он жил в Петербурге).

Чисто художественные задачи ставились под подозрение:

"Ах, искусство для искусства? "Шепот, робкое дыханье, трели соловья?" {422} Поздравляем вас".

Но и противоположная группа писателей ширилась. Надоели общие места, избитые слова, надоели штампованные мысли, куца идейность. И противно было, что часто за этими ярлыками "светлая личность", "борец за свободу" прятались бездарность, хитрец...

Владевший молодыми умами Михайловский своими критическими статьями держал на вожжах молодую художественную литературу. Не шутя говорили, что для успеха необходимо пострадать, быть сосланным хоть на несколько лет. Одно время имел огромный успех писатель, весь литературный талант которого заключался в его длинной, красивой бороде, но он написал небольшой /423/ рассказ и выступил с ним, вернувшись прямо из политической ссылки. Стихотворная форма презиралась. Остались только: "Сейте разумное, доброе" или "Вперед, без страха и сомненья", что и цитировалось до приторности. Пушкин и Лермонтов покрылись на полках пылью.

На одном из сборищ, в отдельной комнате ресторана, появился Чехов. Кичеев, знакомя нас, шепнул мне:

- Вот кто далеко пойдет.

Его можно было назвать скорее красивым. Хороший рост, приятно вьющиеся, заброшенные назад каштановые волосы, небольшая бородка и усы. Держался он скромно, но без излишней застенчивости; жест сдержанный. Низкий бас с густым металлом; дикция настоящая русская, с оттенком чисто великорусского наречия; интонации гибкие, даже переливающиеся в какой-то легкий распев, однако без малейшей сентиментальности и, уж конечно, без тени искусственности.

Через час можно было определить еще две отметных черты.

Внутреннее равновесие, спокойствие независимости, - в помине не было этой улыбки, которая не сходит с лица двух собеседников, встретившихся на какой-то обоюдно приятной теме. Знаете эту напряженную любезную улыбку, выражающую: "Ах, как мне приятно с вами беседовать" или "У нас с вами, конечно, одни и те же вкусы".

Его же улыбка - это второе - была совсем особенная. Она сразу, быстро появлялась и так же быстро исчезала. Широкая, открытая, всем лицом, искренняя, но всегда накоротке. Точно человек спохватывался, что, пожалуй, по этому поводу дольше улыбаться и не следует.

Это у Чехова было на всю жизнь. И было это семейное. Такая же манера улыбаться была у его матери, у сестры и, в особенности, у брата Ивана.

Я, конечно, знал его рассказы. Под многими он уже подписывался полной фамилией, но под мелочами его еще держалась подпись "Чехонте".

Незадолго перед этим он поставил свою первую пьесу "Иванов" в частном театре Корша {423}. Написал он "Иванова" в восемь дней, залпом. Предлагать на императорскую сцену он и не пытался. Отдал в частный /424/ театр Корша. Там в это время служил чудесный актер Давыдов.

Играли "Иванова" актеры, кажется, очень хорошо. По крайней мере в семье Чехова часто и подолгу хвалили их. Но успех был неровный, а для частного театра это все равно что неуспех.

В московских театральных кругах тогда прислушивались к мнениям двух критиков - Флерова-Васильева и, отчасти, хлыщеватого Петра Кичеева - только однофамильца редактора "Будильника" Николая Кичеева. П.Кичеев грубо бранил пьесу и какими-то соображениями пытался доказать, что Чехов не может быть поэтом, потому что он врач. Флеров - критик, вообще заслуживающий благодарного воспоминания, тоже критиковал пьесу, но кончал приблизительно так: "И все-таки не могу отделаться от впечатления, что у молодого автора настоящий талант" {424}.

Что этот талант требует и особого, нового сценического, театрального подхода к его пьесе, - такой мысли не было не только у критиков, но и у самого автора, вообще не существовало еще на свете, не родилось еще.

Я познакомился с "Ивановым", когда пьеса была уже напечатана {424}. Тогда она показалась мне только черновиком для превосходной пьесы.

На нас произвел большое впечатление первый акт, один из лучших чеховских "ноктюрнов". Кроме того, захватила завидная смелость, легкость, с которой автор срывает маски, фарисейские ярлыки. Но смешные фигуры как будто были шаржированы, некоторые сцены слишком рискованны, архитектура

пьесы не стройная. Очевидно, я недооценил тогда силы поэтического творчества Чехова. Сам занятый разработкой сценической формы, сам еще находившийся во власти "искусства Малого театра", я и к Чехову предъявлял такие же требования.

И эта забота о знакомой мне сценической форме заслонила от меня вдохновенное соединение простой, живой, будничной правды с глубоким лиризмом.

До "Иванова" он написал две одноактных шутки: "Медведь" и "Предложение" {424}. Они имели большой успех, игрались везде и часто. Чехов много раз говорил:

- Пишите водевили, они же вам будут давать большой доход. /425/

Прелесть этих шуток была не только в смешных положениях, но и в том, что это были живые люди, а не сценические водевильные фигуры, и говорили они языком, полным юмора и характерных неожиданностей.

Но и эти шутки шли на частной сцене.

"Иванов" был напечатан в "толстом" журнале. Ежемесячные журналы, как правило, пьес не печатали, но для Чехова - вот видите - уже было сделано исключение. Правда, гонорар он получил очень маленький, настолько маленький, что, помню, Чехов с трудом поверил мне, когда я ему сказал, что за свою пьесу в еженедельном журнале получил больше чем втрое...

Первое время нашего знакомства мы встречались не часто, даже не могли бы назвать себя "приятелями". Впрочем, я не знаю, был ли Антон Павлович вообще с кем-нибудь очень дружен. Мог ли быть?

У него была большая семья: отец, мать, четыре брата и сестра. По моим впечатлениям, отношение к ним у него было разное, одних он любил больше, других меньше. На одной стороне была мать, два брата и сестра, на другой - отец и другие два брата. Брат Николай, молодой художник, умер от чахотки как раз в годы нашего первого знакомства. Его другого брата, Ивана, о котором я уже упоминал, я постоянно встречал у Антона Павловича и в деревне, и в Крыму. Он - это я почувствовал особенно ярко после смерти Антона Павловича - необыкновенно напоминал его голосом, интонациями и одним жестом: как-то кулаком по воздуху делать акценты на словах.

Я не знаю точно, какое отношение было у А.П. к отцу, но вот что раз он сказал мне.

Это было гораздо позднее, когда мы уже были близки. Мы оба были зимой на Французской Ривьере и однажды шли вдвоем с интимного обеда от известного в то время профессора Максима Ковалевского - у него была своя вилла в Больё. Мы шли "зимней весной", в летних пальто, среди тропической зелени, и говорили о молодости, юности, детстве, и вот что я услышал:

- Знаешь, я никогда не мог простить отцу, что он меня в детстве сек. /426/

А к матери у него было самое нежное отношение. Его заботливость доходила до того, что, куда бы он ни уезжал, он писал ей каждый день хоть две строчки. Это не мешало ему подшучивать над ее религиозностью. Он вдруг спросит:

- Мамаша, а что, монахи кальсоны носят?

- Ну, опять! Антоша вечно такое скажет!.. - Она говорила мягким, приятным, низким голосом, очень тихо.

И вся она была тихая, мягкая, необыкновенно приятная.

Сестра, Марья Павловна, была единственная, это уже одно ставило ее в привилегированное положение в семье. Но ее глубочайшая преданность именно Антону Павловичу бросалась в глаза с первой же встречи. И чем дальше, тем сильнее. В конце концов она вела весь дом и всю жизнь свою посвятила ему и матери. А после смерти Антона Павловича она была занята только заботой о сохранении памяти о нем, берегла дом со всей обстановкой и реликвиями, издавала его письма и т.д.

И Антон Павлович относился к сестре с необычайной преданностью. Впоследствии, судя по опубликованным письмам, это даже возбуждало временами ревность его жены, О.Л.Книппер.

Антон Павлович очень рано стал "кормильцем" всей семьи и, так сказать, главой ее. Я не помню, когда умер отец. Я встречал его редко. Осталась в памяти у меня невысокая суховатая фигура с седой бородой и с какими-то лишними словами.

Первые годы А.П. постоянно нуждался в деньгах, как и все русские писатели, за самыми ничтожными исключениями. Письма А.П-ча, опять-таки как и письма большинства писателей, были в то время полны просьб о высылке денег. Вопрос о гонорарах, кто сколько получает, как платят издатели, занимал много места в наших беседах.

Кстати сказать, в денежных расчетах Антон Павлович был до щепетильности аккуратен. Терпеть не мог должать кому-нибудь, был очень расчетлив, не скуп, но никогда не расточителен; относился к деньгам, как к большой необходимости, а с богатыми людьми вел себя так: богатство - это их личное дело, его нисколько не /427/ интересует и не может ни в малейшей степени изменять его отношение к ним.

Когда бывал в Монте-Карло, играл, но очень мало и сдержанно, ни разу не зарывался; большею частью был в небольшом выигрыше. В московских клубах никогда не играл.

Очень заботился о том, чтобы после его смерти мать и сестра были обеспечены.

Когда он задумал покупать имение, я его спросил, какая ему охота возиться с этим, - он сказал:

- Не надо же будет думать ни о квартирной плате, ни о дровах...

Исключительное счастье человека - быть при своем постоянном любимом деле. Московская жизнь - о провинции и говорить нечего - была наполнена людьми, которые своего дела не любили, смотрели на него только как на заработок. Врач лечил, принимал, делал визиты прежде всего из-за денег; член суда, адвокат по гражданским делам, чиновник любого казенного учреждения, банковский, железнодорожный, конторский, отслуживали свои часы без

увлечения, без радости; учитель гимназии, преподавая из года в год одно и то же, остывал к своей науке, а работать для нее еще дома - не у многих хватало энергии и инициативы.

Исключение составляли университет с его профессорами и студентами, театр, музыкальные и художественные учреждения, редакции - очень тонкая наслойка на огромной инертной обывательщине.

В этом смысле актеры - самый счастливый народ: с делом, которому они отдают всю свою любовь, они связаны и всеми своими интересами. Дело заставляет их работать, компания подогревает их энергию, и актер волей-неволей творит как только может лучше.

Писатель, художник, композитор, наоборот, очень одинок; весь заряд энергии находится только в нем самом. И самая любовь его к своему делу подвергается испытанию.

Очень умно говорил Чехов о писателе нашей же генерации Гнедиче:

"Это же настоящий писатель. Он не может не писать. В какие условия его ни поставь, он будет писать - повесть, рассказ, комедию, собрание анекдотов. Он / 428/ женился на богатой, у него нет нужды в заработке, а он пишет еще больше. Когда нет темы сочинять, он переводит".

У Антона Павловича не было постоянного писательского дела, он не принадлежал ни к одной редакции, ни к театру. Он был врач и дорожил этим. Решительно не могу вспомнить, сколько времени и внимания он отдавал своей врачебной профессии, пока жил в Москве, но помню, как это обстояло в имении Мелихово, куда он переехал со всей своей семьей: он очень охотно лечил там крестьян. По регистрации его приемов в виде отдельных листиков, накалываемых на гвоздь, я видел номер восьмьсот с чем-то, это было за один год. По всякого рода болезням. Он говорил, что очень большой процент женских болезней.

Однако как ни дорожил он своим дипломом врача, его писательская работа решительно вытесняла лечебную. О последней никто даже не вспоминал. Иногда это его обижало.

- Позво-ольте, я же врач.

Но и писательской работе он не отдавал всего своего времени. Он не писал так много и упорно, как, например, Толстой или как, живя на Капри, Горький. Читал много, но не запойно, и почти только беллетристику.

Совсем между прочим. Как-то он сказал мне, что не читал "Преступление и наказание" Достоевского.

- Берегу это удовольствие к сорока годам.

Я спросил, когда ему уже было за сорок.

- Да, прочел, но большого впечатления не получил.

Очень высоко ценил Мопассана. Пожалуй, выше всех французов.

Во всяком случае, у него было много свободного времени, которое он проводил как-то впустую, скучал.

Длинных объяснений, долгих споров не любил. Это была какая-то особенная черта. Слушал внимательно, часто из любезности, но часто и с интересом. Сам же молчал, молчал до тех пор, пока не находил определения

своей мысли, короткого, меткого и исчерпывающего. Скажет, улыбнется своей широкой летучей улыбкой и опять замолчит.

В общении был любезен, без малейшей слащавости, прост, я сказал бы: внутренне изыщен. Но и с холодком. /429/ Например, встречаясь и пожимая вам руку, произносил "как поживаете" мимоходом, не дожидаясь ответа.

Выпить в молодости любил; чем становился старше, тем меньше. Говорил, что пить водку аккуратно за обедом, за ужином не следует, а изредка выпить, хотя бы и много, не плохо. Но я никогда, ни на одном банкете или товарищеском вечере не видел его "распоясавшимся". Просто не могу себе представить его напившимся.

Успех у женщин, кажется, имел большой. Говорю "кажется", потому что болтать на эту тему не любили ни он, ни я. Сужу по долетевшим слухам...

Русская интеллигентная женщина ничем в мужчине не могла увлечься так беззаветно, как талантом. Думаю, что он умел быть пленительным...

После "Иванова" прошло два года. Чехов написал новую пьесу, "Леший". Отдал он ее уже не Коршу, а новой драматической труппе Абрамовой (намечался большой серьезный театр). Одним из главных актеров был там Соловцов, которому Чехов посвятил свою шутку "Медведь".

Я плохо помню прием у публики, но успех если и был, то очень сдержанный {429}. И в сценической форме у автора мне казалось что-то не все благополучно. Помню великолепное впечатление от большой сцены между двумя женщинами во втором действии, - эта сцена потом в значительной части вошла в "Дядю Ваню"; помню монолог самого лесничего (Лешего). Но больше всего помню мое собственное ощущение несоответствия между лирическим замыслом и сценической передачей. Играли очень хорошие актеры, но за их речью, приемами, темпераментами никак нельзя было разглядеть сколько-нибудь знакомые мне жизненные фигуры. Поставлена пьеса была старательно, но эти декорации, кулисы, холщовые стены, болтающиеся двери, закулисный гром ни на минуту не напоминали мне знакомую природу. Все было от знакомой сцены, а хотелось, чтобы было от знакомой жизни.

Я знал очень многих людей, умных, любящих литературу и музыку, которые не любили ходить в театр, потому что все там находили фальшивым и часто посмеивались над самыми "священными" сценическими вещами. Мы с нашей интеллигентской точки зрения называли этих людей закоснелыми или житейски грубыми, /430/ по это было несправедливо: что же делать, если театральная иллюзия оставляла их трезвыми. Виноваты не они, а театр.

А можно ли добиться, чтобы художественное возбуждение шло не от знакомой сцены, а от знакомой жизни?

Что этому мешает или чего недостает? В обстановке сцены, в организации спектакля, в актерском искусстве.

Вопрос этот только-только нарождался...

От "Лешего" до "Чайки" шесть-семь лет. За это время появился "Дядя Ваня". Чехов не любил, чтобы говорили, что это переделка того же "Лешего".

Где-то он категорически заявил, что "Дядя Ваня" - пьеса совершенно самостоятельная. Однако и основная линия, и несколько сцен почти целиком вошли в "Дядю Ваню" из "Лешего".

Никак не могу вспомнить, когда и как он изъяс из обращения одну и когда и где напечатал другую пьесу. Помню "Дядю Ваню" уже в маленьком сборнике пьес{430}. Может быть, это и было первое появление в свет. И сначала "Дядю Ваню" играли в провинции{430}. Я увидел ее на сцене в Одессе, в труппе того же Соловцова, с которым Чехов поддерживал связь. Соловцов уже был сам антрепренером, его дело было самым лучшим в провинции; у него в труппе служила моя сестра, актриса Немирович, она же играла в "Дяде Ване" Елену.

Это был очередной, будний спектакль. Пьеса шла с успехом, но самый характер этого успеха был, так сказать, театрально-ординарный. Публика аплодировала, актеров вызывали, но вместе со спектаклем оканчивалась и жизнь пьесы, зрители не уносили с собой глубоких переживаний, пьеса не будоражила их новым пониманием вещей.

Повторюсь: не было того нового отражения жизни, какое нес с пьесой новый поэт.

Таким образом, Чехов перестал писать для театра. Тем не менее мы втягивали его в интересы театрального быта. Так мы повели борьбу в Обществе драматических писателей и втянули в нее Чехова. Он поддался не сразу, был осторожен, но в конце концов заинтересовался.

Общество драматических писателей, учрежденное еще Островским, носило характер чиновничий. Все /431/ дело вел секретарь, занимавший видное место в канцелярии генерал-губернатора. Этот секретарь и казначей{431}, тоже очень крупный чиновник, составляли всю головку общества. Надо было вырвать у них власть, ввести в управление писателей, разработать новый устав и т.д. Это было трудно и сложно. Председатель общества, *doyen d'age*\* драматургов, Шпажинский, заменивший Островского, был простой фикцией, находился под влиянием секретаря, боялся, что тот будет мстить, пользуясь генерал-губернаторским аппаратом.

---

\* старший (франц.).

"Заговорщики" собирались большею частью у меня. В новое правление проводились я, Сумбатов-Южин, еще один драматург-адвокат{431} и Чехов{431}. Боевое общее собрание было очень горячей схваткой. Мы победили. Но мы вовсе не собирались захватывать доходные места секретаря и казначея. Наша задача была только выработать и провести новый устав, чем мы целый год и занимались, продолжая воевать. В конце концов, однако, мы понесли поражение, нас сумели вытеснить. Обычная история при борьбе партий: мы либеральничали, а надо было с корнем вырвать самую головку, рискуя даже разрывом с канцелярией генерал-губернатора.

Все это время часто встречались с Чеховым. Организаторских дарований он не проявлял, да и не претендовал на это. Он был внимателен, говорил очень

мало и, кажется, больше всего наблюдал и мысленно записывал смешные черточки.

Он не писал новых пьес и не стремился на императорскую сцену, но имел там несколько друзей. Чаще других он встречался с Южиным и Ленским. Это были премьеры Малого театра. С Южиным он был на "ты".

Южин был один из крупнейших людей русского театрального мира. После Октябрьской революции стало ходячей поговоркой, что театральный мир держится на трех китах: Южине, Станиславском и Немировиче-Данченко.

Это был тот, кто называется человеком широкой общественности. Как премьер лучшей в мире труппы, он нес сильный, большой репертуар. Он пошел на сцену /432/ наперекор желанию отца. Его настоящая фамилия была князь Сумбатов. Он оставил ее для своих драматических сочинений, а для сцены взял псевдоним Южин. Он был драматург со студенческих лет, его пьесы считались очень сценичными, игрались везде, много и всегда с успехом. Он участвовал во всевозможных театральных, литературных и общественных собраниях, обществах, комитетах. Был широко образован, начитан и с огромным интересом следил за новой литературой. Поддерживал обширные знакомства со "всею Москвой"; был членом всех больших клубов, создателем и пожизненным председателем любимого Москвой Литературно-художественного кружка. При всем этом был игрок, то есть вел постоянную крупную игру. Не было в Москве ни одного общественного сблища, в котором не было бы на одном из первых мест Сумбатова-Южина. Это был настоящий любимец Москвы. А летом, вместо отдыха, он ездил в провинцию на гастроли, потом в Монте-Карло проверять выработанную за зиму новую "систему", а оттуда в деревню, в усадьбу к жене, писать пьесу.

Этот человек не знал, что такое лень, и мог бы считаться образцом "кузнеца своего счастья". Он ковал свое положение, не доверяясь легким средствам, а вкладывая в каждый свой шаг энергию, упорство и настойчивость.

В обществе он был неиссякаемо остроумен и умел монополизировать разговор. Успех у женщин имел огромный.

Он был барственно гостеприимен и во всяком умел найти хорошие качества. Это подкупало. В его квартире происходило множество встреч, собраний, обедов, ужинов.

Про меня и Сумбатова смолodu говорили: "Их черт веревочкой связал". Наша дружба началась со второго класса гимназии. Но даже в гимназии мы шли не вместе, а параллельно: гимназия в городе была единственная, народу много, так что в каждом классе было по два отделения; я был в одном, Сумбатов в другом. В шестом классе, оставаясь друзьями, мы вступили в принципиальную борьбу. Каждое отделение издавало свой литературный журнал. На какие темы шел спор, не помню, помню только, что мой журнал - я был редактором - назывался "Товарищ" и что мы перестреливались "критиками", "антикритиками" и т.д. /433/



Мы вместе начали играть на сцене в качестве любителей в нашем родном городе Тифлисе.

Мы вместе написали одну пьесу, {433} имевшую большой внешний успех. Встретились в Малом театре как драматурги.

Женились на двоюродных сестрах, он был женат тоже на урожденной баронессе Корф.

У меня он был единственный настоящий друг на всю жизнь. Наша дружба никогда не прекращалась, но мы сильно расходились в наших художественных вкусах. Это было что-то органическое, потому что наше художественное расхождение началось с самой юности. С возникновением же Художественного театра это расхождение стало резким, и мы много раз становились во враждебные положения. Наше главное дело - театр - шло, как в гимназии, по параллелям.

Он был романтик. Чуть не больше всех поэтов любил Гюго. Он даже имел орден Французской академии за исполнение Карла в "Эрнани" и Рюи-Блаза {433}. И его художественный вкус всегда и во всем клонился в сторону романтической приподнятости.

На этой почве однажды долго и горячо спорили я и Чехов, с одной стороны, и Южин - с другой. Это было у него, в его большом светлом кабинете, на улице, которая после его смерти названа Южинская.

Спорили больше они двое, потому что речь шла обо мне. Незадолго перед этим вышла моя повесть "Губернаторская ревизия", и Чехов из своего имения прислал мне следующее письмо:

"Я, не отрываясь, прочел Вашу "Губернаторскую ревизию". По тонкости, по чистоте отделки и во всех смыслах это лучшая из всех Ваших вещей, какие я знаю. Впечатление сильное, только конец, начиная с разговора с писарем, ведется слегка в пьяном виде, а хочется *piano*\*, потому что очень грустно. Знание жизни у Вас громадное, и, повторяю (я это говорил как-то раньше), Вы становитесь все лучше и лучше, и точно каждый год к Вашему таланту прибавляется по новому этажу" {433}.

---

\* Здесь - сдержанно (итал.). /434/

А перед "Губернаторской ревизией" была у меня другая повесть, "Мертвая ткань", которая нравилась Сумбатову. Вот они и заспорили, которая лучше. Спор перешел на общую почву и ярко вскрывал два художественных направления. Южин любил в романе образы яркие и сценичные, Чехов любил даже в пьесе образы простые и жизненные. Южин любил исключительное, Чехов - обыкновенное. Южин, грузин, прекрасный сын своей нации, темперамента пылкого, родственного испанскому, любил эффекты открытые, сверкающие; Чехов, чистейший великоросс, - глубокую зарытость страстей, сдержанность.

А самое важное в этом споре: искусство Южина звенит и сверкает так, что вы за ним не видите жизни, а у Чехова за жизнью, как он ее рисует, вы не видите искусства.

Чехов спорил на этот раз на редкость долго. Обыкновенно он выскажет свое мнение, а потом, если его продолжают убеждать, он только молча кивнет головой: нет, мол, остаюсь при своем. А тут не переставал искать новые и новые аргументы.

Право, это спорили Малый театр с каким-то новым, будущим, еще даже не зародившимся. С тою разницей, что Художественный сразу возьмет боевой тон, а Чехов спорил мягко, со своей вспыхивающей улыбкой; расхаживал по кабинету крупными шагами, заложив руки в карманы; не как "боец", без азарта.

Скоро писатель Тригорин в "Чайке" скажет:

- Зачем толкаться? Всем места хватит.

И я, и Сумбатов постоянно уговаривали Чехова не бросать писать для театра. Он нас послушался и написал "Чайку" {434}.

Писал Чехов "Чайку" в Мелихове. Оно находилось в двух-трех часах от Москвы по железной дороге, и потом одиннадцать верст по проселочной дороге леском. В имении был довольно большой одноэтажный дом. Туда часто наезжали гости. Чехов положительно любил, чтобы около него всегда было разговорно и весело. Но все-таки чтобы он мог бросить всех и уйти к себе в кабинет записать новую мысль, новый образ.

Был хороший сад с прямой красивой аллеей, как в "Чайке", где Треплев устроил свой театр. /435/

По вечерам все играли в лото. Тоже как в "Чайке".

В эти годы близким человеком у Чехова был новый писатель Потапенко. Он выступил с двумя повестями: "Секретарь его превосходительства" и "На действительной службе" - и сразу завоевал имя. Он приехал из провинции. Был очень общителен, обладал на редкость приятным, метким, трезвым умом, заражал и радовал постоянным оптимизмом. Очень недурно пел. Писал много, быстро; оценивал то, что писал, невысоко, сам острил над своими произведениями. Жил расточительно, был искренен, прост, слабоволен; к Чехову относился любовно и с полным признанием его преимущества. Женщины его очень любили. Больше всего потому, что он сам любил их и - главное - умел любить.

Многие думали, что Тригорин в "Чайке" автобиографичен. И Толстой где-то сказал так {435}. Я же никогда не мог отделаться от мысли, что моделью для Тригорина скорее всех был именно Потапенко.

Нина Заречная дарит Тригору медальон, в котором вырезана фраза из какой-то повести Тригорина:

"Если тебе понадобится моя жизнь, приди и возьми ее".

Эта фраза из повести самого же Чехова {435}, и дышит она самоотверженностью и простотой, свойственной чеховским девушкам. Это давало повод ассимилировать Тригорина с самим автором. Но это случайность. Может быть, Чехов полюбил это сильное и нежное выражение женской преданности и хотел повторить его.

Для характеристики Тригорина ценнее его отношение к женщинам, а оно не похоже на Антона Павловича и ближе к образу Потапенко.

Вообще же это, конечно, ни тот, ни другой, а и тот, и другой, и третий, и десятый.

"Чайка" - произведение необычайно искреннее, много частных могло быть взято прямо из жизни в Мелихове. Называли даже девушку, якобы послужившую моделью для Нины Заречной, приятельницу сестры Антона Павловича. Но и здесь черты сходства случайные. Таких девушек в то время было так много. Вырваться из глуши, из тусклых будней; найти дело, которому можно было бы "отдать себя" целиком; пламенно и нежно /436/ пожертвовать собой "ему" - таланту, взволновавшему ее мечты. Пока женские права были у нас грубо ограничены, театральные школы были полны таких девушек из провинции.

Антон Павлович прислал мне рукопись, потом приехал выслушать мое мнение.

Не могу объяснить, почему так врезалась мне в память его фигура, когда я подробно и долго разбирал пьесу. Я сидел за письменным столом перед рукописью, а он стоял у окна, спиной ко мне, как всегда заложив руки в карманы, не обернувшись ни разу по крайней мере в течение получаса и не проронив ни одного слова. Не было ни малейшего сомнения, что он слушал меня с чрезвычайным вниманием, а в то же время как будто так же внимательно следил за чем-то, происходившим в садике перед окнами моей квартиры; иногда даже всматривался ближе к стеклу и чуть поворачивал голову. Было ли это от желания облегчить мне высказываться свободно, не стеснять меня встречными взглядами, или, наоборот, это было сохранение собственного самолюбия?

В доме Чехова вообще не любили очень раскрывать свои души, и все хорошие персонажи у него деликатны, молчаливы и сдержанны.

Что я говорил Чехову о своих первых впечатлениях, сказать сейчас трудно, да и боюсь я начать "сочинять". Один из самых больших грехов "воспоминаний", если рассказывающий смешивает, когда что происходило, и ему кажется, что все-то он великолепно предвидел.

Мое дальнейшее поведение с "Чайкой" достаточно известно, и к творчеству Чехова я в эту пору относился действительно с чувством влюбленности. Но очень вероятно, что я давал ему много советов по части архитектоники пьесы, сценической формы. Я считался знатоком сцены и, вероятно, искренне делился с ним испробованными мною сценическими приемами. Вряд ли они были нужны ему.

Однако одну частность я очень хорошо запомнил.

В той редакции первое действие кончалось большой неожиданностью: в сцене Маши и доктора Дорна вдруг оказывалось, что она его дочь. Потом об этом /437/ обстоятельстве в пьесе уже не говорилось ни слова. Я сказал, что одно из двух: или этот мотив должен быть развит, или от него надо отказаться совсем. Тем более, если этим заканчивается первый акт. Конец первого акта по самой природе театра должен круто сворачивать положение, которое в дальнейшем будет развиваться.

Чехов сказал:

- Публика же любит, чтобы в конце акта перед нею поставили заряженное ружье.

- Совершенно верно, - ответил я, - но надо, чтоб потом оно выстрелило, а не было просто убрано в антракте.

Кажется, впоследствии Чехов не раз повторял это выражение {437}.

Он со мной согласился. Конец был переделан.

Когда зашла речь о постановке, я сказал, что пора ему наконец дать пьесу в Малый театр. И уже начал говорить о возможности распределения ролей, как вдруг Чехов протянул мне письмо.

От Ленского к Чехову.

Ленский был первый актер Малого театра. Южин только недавно занял такое же приблизительно положение. Один из самых обаятельных русских актеров. По богатству обаяния с ним будут сравнивать со временем только Качалова.

Изумительный мастер нового грима, интересного образа; увлекался живописью, сам был немного художник. К этому времени он уже остыл к актерскому делу, любил приготовить роль и сыграть ее два-три раза, а потом играл скучая. Зато весь отдался школе, режиссуре школьных спектаклей и приговлению новых кадров.

Ненавидел администрацию своего театра и не скрывал этого. Мечтал о создании новых условий сценической работы; готовил из своих учеников целую новую труппу.

В моих воспоминаниях я не раз возвращаюсь к Ленскому. Он играл почти во всех моих пьесах, мы с ним были близки и домами; в последнее время нас особенно сближало школьное дело и недовольство управлением Малого театра.

Он был старше нас на восемь - десять лет. Чехов дорожил знакомством с ним. /438/

Письмо было по поводу "Чайки" {438}. Оказалось, Ленский уже прочитал ее, и вот что он писал:

"Вы знаете, как высоко я ценю Ваш талант, и знаете, как вообще люблю Вас. И именно поэтому я обязан быть с Вами совершенно откровенен. Вот Вам мой самый дружеский совет: бросьте писать для театра. Это совсем не Ваше дело".

Таков был смысл письма, тон его был самый категорический. Кажется, он даже отказывался критиковать пьесу, до такой степени находил ее не для сцены.

Давал ли Чехов читать "Чайку" кому-нибудь еще в Малом театре, не помню, судьба ее сразу переносится в Петербург...

## ***В.В.ЛУЖСКИЙ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ***

При жизни Ант.Павл.Чехова мне пришлось участвовать в его пьесах: "Чайка" (Сорин), "Дядя Ваня" (Серебряков) и "Три сестры" (Андрей). Назначил он

мне в одном из писем к В.И.Немировичу-Данченко {439} роль Епиходова в "Вишневом саду", но роль эту играть мне не пришлось.

Познакомили Ант.Павл. с нами - артистами Художественного театра - в год открытия его, осенью, в Охотничьем клубе на Воздвиженке, на репетиции "Чайки" {439}. Знакомил Вл.Ив.Немирович-Данченко, ставивший пьесу и, значит, в этот вечер ведущий репетицию. Ант.Павл. и я съехались на извозчиках у подъезда клуба; я, никогда его раньше не видевший, догадался, что это он, припомнил один из его портретов, которые, впрочем, в то время далеко не были так популярны, как теперь. Помнится мне, что уже во второй комнате клуба к Ант.Павл. подошел мой товарищ Ал.Леон. Вишневский и, представившись ему, стал напоминать ему, что они вместе учились в таганрогской гимназии Чехов, кажется, очень этим заинтересовался, по крайней мере лицо его заискрилось лучезарной улыбкой, и они с Вишневским, очень оживленно разговаривая, вошли в залу, где собрались участвующие в репетиции. Тут, помнится, были Роксанова (Нина), Книппер (Аркадина), Раевская (Шамраева), Лилина (Маша), Мейерхольд (Константин), Тихомиров (учитель), Станиславский (Тригорин) и, /440/ кажется, Судьбинин, который должен был репетировать Шамраева, хотя я, может быть, уже что-нибудь путаю, но распределение ролей было сначала не то, в котором шел первый спектакль {440}. Кроме названных лиц, на репетиции были А.С.Суворин и артистка театра Литературно-художественного общества г-жа Дестомб, которая в ту же репетицию помогала за кулисами лепить амфоры для "Антигоны" {440}, супруга заведующего бутафорией театра Ив.Ив.Геннерта. Сколько мне помнится, мы проиграли на репетиции весь первый акт и часть второго, планировка уже была прислана К.С.Станиславским. После этого были еще - там же в клубе - две репетиции в присутствии автора {440}. Антон Павлович о первоначальной моей работе над ролью Сорина, о которой я предварительно говорил и советовался с Вл.Ив.Немировичем-Данченко, отзывался одобрительно, сказав: "Это у вас чудесно выйдет"; а когда я заговорил с ним о гриме Сорина, то Ант. Павлович припомнил лицо из судебного мира, сказав, что "вот лицо, вроде лица Кони, Завадского... Завадского, - это очень хорошо!"

"Дядю Ваню" Ант.Павл. смотрел в исполнении Художественного театра в первый раз в Крыму, в севастопольском театре {440}.

А.Р.Артему всегда очень трудно было говорить фразу в III акте: "Брата моего Григория Ильича, жены брат, Константин Трофимович Лакедемонов" {440}, а в "Чайке" фраза Константина: "Семен Семенович уверяет, будто видел Нину в поле" - почему-то смешила Вишневского и меня.

И об Артеме, и о фразе в "Чайке" было нами рассказано Ант.Павл., и вот когда после этого он бывал на спектакле, то в этом месте всегда покашливал и подхихикивал. Исполнением А.Р.Артема он всегда оставался больше чем доволен и относился к нему с трогательной нежностью, но, мне кажется, не без умысла писал ему в "Трех сестрах" фразы: "Это Скворцов кричит, секундант. В лодке сидит". Слова "кричит" и "сидит" нередко путали чудеснейшего исполнителя Чебутыкина, и, если это случалось на спектакле в присутствии Ант.Павл., то после, при упоминании о перестановках Артема, Ант.Павл. необыкновенно добродушно и вместе с тем лукаво хохотал. /441/

Первые представления "Трех сестер" прошли тоже без Ант.Павл. Он стал смотреть пьесу осенью следующего сезона на репетициях, делал замечания настолько подробные, что даже лично ставил сцену пожара в III акте. Мной на репетициях остался недоволен, позвал меня к себе и очень подробно, с остановками и разъяснениями, прошел роль Андрея. Таких занятий с Ант.Павл. у меня было не менее трех, каждый раз он занимался со мной не менее часа{441}. Он требовал, чтобы в последнем монологе Андрей был очень возбужден. "Он же чуть не с кулаками должен грозить публике!" Жил тогда Чехов на Спиридоновке, во дворе, в одноэтажном флигеле.

В "Трех сестрах" при поднятии занавеса, по замыслу К.С.Станиславского, поют птицы. На звуках этих обыкновенно стоял сам К.С.Станиславский, А.Л.Вишневский, И.М.Москвин, В.Ф.Грибунин, Н.Г.Александров и я, воркующий голубем. Ант.Павл. прослушал все это обезьянство и, подойдя ко мне, сказал: "Послушайте, чудесно воркуете, только же это египетский голубь!" А на портрет отца сестер - генерала Прозорова (я в гриме старика генерала) заметил: "Послушайте, это же японский генерал, таких же в России не бывает!"

Как-то на вечере, в квартире Ант.Павл. в д.Коровина на Петровке, вскоре после первого спектакля "Вишневого сада", один из гостей - поэт Б. - стал декламировать свои стихотворения. Ант.Павл. то появлялся в комнате, где декламировал поэт, то переходил к нам, сидевшим рядом в комнате и отсюда слушавшим поэта. Когда Б. дошел до стихотворения, где упоминается об озере и лебедях{441}, он наклонился к нам, сидящим на диване, и сказал вполголоса: "Если бы сейчас кто-нибудь продекламировал из Лермонтова, то от него бы (он указал глазами на соседнюю комнату) ничего не осталось".

Между прочим, в ту самую весну, когда в театре "Парадиз" Антон Павлович смотрел "Чайку"{441}, мой знакомый, московский литератор А.С.Грузинский-Лазарев, /442/ который жил со мной на одном дворе, на даче, в Петровско-Разумовском, получил записку от Ант. Павловича, в которой тот просил его прийти в сад Лентовского, теперь "Аквариум", на Садовой, и захватить и меня с собою. Антон Павлович был в тот вечер малоразговорчив, все время возвращался к исполнению одной из главных ролей в "Чайке", которым был мало доволен{442}. А дорогой домой разговорился и все время просил меня повлиять на А.С.Грузинского, чтобы тот написал водевиль: "Скажите же ему, чтобы он бросил "Будильник" (А.С. был секретарем редакции журнала), и потом, когда я виделся с Антоном Павловичем в Крыму, в гостинице Ветцель, эта мысль, чтобы А.С.Грузинский написал водевиль, не покидала его, он все говорил: "Увидите Лазарева, уговорите же его писать водевиль, он же чудесно напишет, он же порядочный человек и литератор настоящий!"

Последний раз я встретил Антона Павловича числа 29 или 30 мая 1904 года на Тверском бульваре. Антон Павлович катался по Москве с женой, Ольгой Леонардовной, на извозчике. В то же лето, 2 июля, Антона Павловича не стало. / 443/

### ***В.И.КАЧАЛОВ. [ВОСПОМИНАНИЯ]***

У нас был статист N, который любил выдавать себя за артиста Художественного театра. Он занимался также и литературой.

Однажды он обратился ко мне с просьбой передать его рукопись Антону Павловичу для отзыва. Я не сумел отказаться и вручил Антону Павловичу рукопись.

Вскоре Антон Павлович возвратил мне ее обратно и сказал:

- Да, вот вы мне дали там повесть N. Скажите же ему, чтобы он никогда ничего не писал.

Потом подумал и спросил:

- А скажите, это женщина, этот N?

- А почему вы об этом спрашиваете, Антон Павлович?

- Женщины, они трудолюбивые, трудолюбием могут взять.

- Нет, не женщина.

- Ну, тогда скажите, чтобы никогда ничего...

Я не решился так передать N и сказал, что, по мнению Антона Павловича, его повесть не подходит для "Русской мысли".

- Да, ну что же, - сказал N, - я тогда в "Мир божий" отдам, все равно!

Когда Антон Павлович вернул мне рукопись N, я прочел эту длиннейшую галиматью, и мне стало страшно стыдно, что я заставил Антона Павловича читать такой вздор. /444/

Перед началом первого спектакля "Вишневого сада" собирались чествовать Антона Павловича. Он был против всякого чествования, и когда узнал, что и Г[ольцев] будет участвовать в чествовании, то в виде кратчайшего довода против устройства чествования он сказал:

- Послушайте, нельзя же устраивать чествования. Г. скажет мне такую речь, как у меня Гаев говорит в первом акте шкапу... {444}

И действительно, когда начали приветствовать Антона Павловича, вышел Г. и начал:

- Дорогой и многоуважаемый Антон Павлович!..

Антон Павлович искоса посмотрел в сторону актеров, и губы его чуть дрогнули от смеха.

Как-то утомленный Антон Павлович в антракте сидел у меня в уборной вместе с Миролубовым. Вдруг ворвался А.М.Горький и набросился за какие-то литературные дела на Миролубова{444}. Потом оба они вскочили и ушли.

- Это он напрасно, - сказал Антон Павлович про А.М.Горького... - Нужно быть терпеливее. Миролубов же хороший человек, хороший, - только попович... Любит церковное пение, колокола...

Потом помолчал немного, кашлянул несколько раз, вскинул глаза и прибавил:

- На кондукторов очень кричит...

Как-то подали Антону Павловичу визитную карточку товарища-доктора, желавшего его видеть. Он посмотрел на карточку и увидел там несколько телефонных номеров.

- Гм... Гм... Зачем столько телефонов... Не надо же... Скажите, что меня дома нет...

Когда Антон Павлович хвалил актера, то иногда делал это так, что оставалось одно недоумение.

Так он похвалил меня за "Три сестры".

- Чудесно, чудесно играете Тузенбаха... чудесно... - повторил он убежденно это слово. И я было уже /445/ обрадовался. А потом, помолчав несколько минут, добавил так же убежденно:

- Вот еще N{445} тоже очень хорошо играет в "Мещанах".

Но как раз эту роль N играл из рук вон плохо. Он был слишком стар для такой молодой, бодрой роли, и она ему совершенно не удалась.

Так и до сих пор не знаю, понравился я ему в Тузенбахе или нет.

А когда я играл Вершинина{445}, он сказал:

- Хорошо, очень хорошо. Только козыряете не так, не как полковник. Вы козыряете, как поручик. Надо солиднее это делать, поувереннее...

И, кажется, больше ничего не сказал.

Я репетировал Тригорина в "Чайке"{445}. И вот Антон Павлович сам приглашает меня поговорить о роли. Я с трепетом иду.

- Знаете, - начал Антон Павлович, - удочки должны быть, знаете, такие самодельные, искривленные. Он же сам их перочинным ножиком делает... Сигара хорошая... Может быть, она даже и не очень хорошая, но непременно в серебряной бумажке...

Потом помолчал, подумал и сказал:

- А главное, удочки...

И замолчал. Я начал приставать к нему, как вести то или иное место в пьесе. Он похмыкал и сказал:

- Хм... да не знаю же, ну как - как следует.



Я не отставал с расспросами.

- Вот, знаете, - начал он, видя мою настойчивость, - вот когда он, Тригорин, пьет водку с Машей, я бы непременно так сделал, непременно. - И при этом он встал, поправил жилет и неуклюже раза два побряхтел. - Вот так, знаете, я бы непременно так сделал. Когда долго сидишь, всегда хочется так сделать...

- Ну, как же все-таки играть такую трудную роль, - не унимался я.

Тут он даже как будто немножко разозлился.

- Больше же ничего, там же все написано, - сказал он.

И больше мы о роли в этот вечер не говорили. /446/

Антон Павлович часто говорил о моем здоровье и советовал мне пить рыбий жир и бросить курение. Говорил он об этом довольно часто и ужасно настойчиво, особенно о том, чтобы я бросил курить.

Я попробовал пить рыбий жир, но запах был так отвратителен, что я ему сказал, что рыбьего жира я пить не могу, а вот курить очень постараюсь бросить и брошу непременно.

- Вот-вот, - оживился он, - и прекрасно, вот и прекрасно...

И он собрался уходить из уборной, но сейчас же вернулся назад в раздумье:

- А жаль, что вы бросите курить, я как раз собирался вам хороший мундштук подарить.

Один только раз я видел, как он рассердился, покраснел даже. Это было, когда мы играли в "Эрмитаже". По окончании спектакля у выхода стояла толпа студентов и хотела устроить ему овацию. Это привело его в страшный гнев.

### ***М.М.КОВАЛЕВСКИЙ. ОБ А.П.ЧЕХОВЕ***

Меня познакомил с А.П.Чеховым старый приятель, редактор "Русских ведомостей" В.М.Соболевский. Я жил в это время в окрестностях Ниццы, в деревне Болье. Чехову порекомендовали южный климат. Пробыв некоторое время в Биаррице{447}, он вместе с Соболевским переехал в более теплую Ниццу и устроился здесь на зиму в русском пансионе, в котором ранее его жилал Салтыков-Щедрин. Чехов показался мне малоразговорчивым и мрачным. Лед между нами не сразу растаял. Но на протяжении нескольких недель мы сделались уже приятелями{447}. Я не раз приезжал пообедать с ним в пансионе в обществе жившего там же известного зоолога Коротнева, устроителя биологической станции в Вилле-Франке и профессора Киевского университета. Оба они также нередко приезжали ко мне или вместе со мною предпринимали поездки по окрестностям. Чехов посетил Ниццу несколько зим подряд{447}. Когда здоровье его поправлялось, он не прочь был съездить и в Монте-Карло, и в Марсель, и на Итальянскую Ривьеру. В этих поездках его неоднократно сопровождал как Коротнев, так и я. Коротнев, прежде чем стать зоологом, окончил курс на медицинском факультете в Москве Чехов также получил медицинское

образование и, живя в подмосковной деревне, не отказывал крестьянам, разумеется даром, в врачебной помощи.

Любовь к медицине и естествознанию невольно сблизила киевского профессора с русским писателем. Но /448/ была и другая черта соприкосновения у обоих. Любовь к живописи, к русскому ландшафту, в частности к пейзажам Левитана. Коротнев в течение ряда лет составлял себе маленькую коллекцию картин, преимущественно русских и некоторых зарубежных художников.

В нашем обществе обыкновенно бывали и приезжавшие из России литераторы и живописцы: князь Сумбатов, Потапенко, Якоби и Юрасов, исполнявший в Ментоне обязанности вице-консула, но избравший своим местожительством Ниццу.

Чехов не любил выходить из этого круга. Его мудрено было зазвать в великосветский салон. Да и с приятелями он не всегда был разговорчив. Особенно, когда у него показывалась кровь из горла. Но такие припадки были не часты. Среди зимы он обыкновенно чувствовал себя лучше после двух-трех месяцев пребывания на Ривьере. Тогда его тянуло из Ниццы, и мы предпринимали с ним наши странствования, редко когда длившиеся более недели. Когда он принимался за литературную работу, он исчезал на ряд дней из нашего кругозора. Писал он далеко не ежедневно, как это вошло в привычку некоторых известных мне беллетристов. Рассказ и повесть требовали от него усидчивой работы нередко в продолжение недели. Тогда он не спускался даже к табльдоту. И когда показывался снова в нашем обществе, мы не без грусти отмечали перемену в его лице. Он бледнел и казался худее прежнего. И во время совместных прогулок он часто смолкал, как бы озабоченный какими-то мыслями. В это время он, по всей вероятности, обдумывал затеваемый им рассказ.

К литературной работе Чехов относился с большой серьезностью. Он как-то стал жаловаться мне, что приятели-врачи убедили его расстаться с московским хутором и переехать в Крым. "На что мне эти татары? - говорил он полушутя, полусерьезно. - Прежде я окружен был людьми, вся жизнь которых протекала на моих глазах; я знал крестьян, знал школьных учителей и земских медиков. Если я когда-нибудь напишу рассказ про сельского учителя{448}, самого несчастного человека во всей империи, то на основании знакомства с жизнью многих десятков их".

Нелегко было вызвать Чехова на сколько-нибудь продолжительный разговор, который позволил бы составить /449/ себе понятие об его отношении к русской действительности. Но по временам это мне все же удавалось. Я вынес из этих бесед убеждение, что Чехов считал и неизбежным и желательным исчезновение из деревни как дворянина-помещика, так и скупившего его землю по дешевой цене разночинца. Предстоящая рубка "вишневого сада" его не беспокоила. Колупаевы и Разуваевы{449}, изводившие бывшие помещичьи леса и усадьбы, также не вызывали его симпатии. Он желал одного: чтобы земля досталась крестьянам, и не в мирскую, а в личную собственность, чтобы крестьяне жили привольно, в трезвости и материальном довольстве, чтобы в их среде было много школ и правильно поставлена была медицинская помощь.

Чехова мало интересовали вопросы о преимуществе республики или монархии, федеративного устройства и парламентаризма. Но он желал видеть Россию свободной, чуждой всякой национальной вражды, а крестьянство - уравненным в правах с прочими сословиями, призванным к земской деятельности и к представительству в законодательном собрании. Широкая терпимость к различным религиозным толкам, возможность для печати, ничем и никем не стесняемой, оценивать свободно текущие события, свобода сходов, ассоциаций, митингов при полном равенстве всех перед законом и судом - таковы были необходимые условия того лучшего будущего, к которому он сознательно стремился и близкого наступления которого он ждал.

Как горячо относился Чехов ко всякой несправедливости, вызываемой национальными или религиозными счетами, об этом можно судить по его отношению к делу Дрейфуса {449}. Оно как раз разыгралось в бытность его в Ницце.

Серьезно познакомившись с ним, Чехов написал длинное письмо А.С.Суворину {449}, жившему в это время в Париже. Письмо это, как можно судить из ответа, им полученного, произвело ожидаемое действие: уверенность Суворина в виновности Дрейфуса была поколеблена; но это обстоятельство нимало не отразилось на отношении "Нового времени" к знаменитому процессу {449}.

Приезжая из России, Чехов нередко дарил мне отдельные томики своих рассказов {449}. Меня всегда поражало его умение сказать так много на немногих /450/ страницах. Он отличался в этом отношении теми же качествами, что и Гюи де Мопассан. Говоря однажды со мною об авторе "Одной жизни" и стольких неподражаемых повестей и повестушек, Тургенев сказал мне: "Вот человек, который обладает тем качеством, которое Гомер передал бы словами: взять быка за рога". Тою же чертою отличался и Чехов. Французы вообще любили проводить параллель между ними. Я лично знал некоторых переводчиков Чехова, в числе их одного парижского медика. Он говорил мне, что сходство нашего писателя с автором "Одной жизни" до некоторой степени даже мешает успеху его в среде французских читателей, которые предпочитают ему яркого изобразителя жизни "На дне" - Максима Горького.

У Чехова вы не найдете прерывающих нить рассказа отступлений, красивого описания картин природы, подобных - скажу для примера - "Украинской ночи" Гоголя или всем известному началу "Бежиного луга" Тургенева.

Однажды я имел возможность убедиться в том, как Чехов избегает всяких ненужных подробностей. Было это в Риме, в первый день великого поста. Мы вышли вместе из собора св. Петра, где при нас происходила довольно пестрая процессия "выкуривания следов карнавала". "Для беллетриста, - заметил я ему, - виденное не лишено некоторой прелести; хорошая тема для описания". - "Нимало, - ответил он мне. - Современный рассказчик принужден был бы удовольствоваться одной фразой: "Тянулась глупая процессия".

Когда я вспоминаю о Чехове, мне живо приходит на ум ночь, проведенная с ним в одном поезде {450} по дороге в Рим. Нам обоим не спалось. Мы

разговорились о своих планах и надеждах. "Мне трудно, - сказал он, - задаться мыслью о какой-нибудь продолжительной работе. Как врач, я знаю, что жизнь моя будет коротка". Чехов, в молодости столь жизнерадостный, заражавший своим смехом читателей "Русского курьера", в котором печатались его мелкие рассказы {450}, под влиянием болезни становился все более и более сосредоточенным, но не мрачным. Он без страха смотрел в будущее и не жаловался на свою судьбу, считая ее неотвратимой. Проводя, по необходимости, зимы вдали от родины, он жил, однако, всецело только ее интересами. Мне не пришлось /451/ встречать человека, который в меньшей степени был бы туристом. Его привлекала природа, не столько грандиозные ее картины, сколько скромный сельский пейзаж. Осмотр музеев, картинных галерей, развалин более утомлял, чем пленял его. В Риме мне пришлось взять на себя роль проводника, показывать ему форум, развалины дворца Цезарей, Капитолий.

Ко всему этому он оставался более или менее равнодушен, но не прочь был съездить в Тиволи, Фраскати, Альбано. Мы должны были продолжить нашу поездку до Неаполя, но полученные им письма, известие о скорой постановке его новой пьесы {451}, желание повидаться с родными и близкими потянули его неудержимо в Россию. Я убедил его одеться в мою енотовую шубу и проводил его на станцию. Здесь мы расстались, чтобы больше не встретиться. По временам до меня вести об его браке, об успехе "Дяди Вани" в Художественном театре и о том, как все более и более обострялась его болезнь, а затем горестно отозвалась во мне весть о его одинокой кончине в Баденвейлере, куда он уехал лечиться.

Из моего многолетнего знакомства с Чеховым я вынес то впечатление, что если бы судьба не наделила его художественным талантом, Чехов приобрел бы известность как ученый и врач. Это был ум необыкновенно положительный, чуждый не только мистицизма, но и всякой склонности к метафизике. Его пристрастия были на стороне точных наук, и в самом литературном творчестве в нем выступала, как редко у кого, способность точного анализа, не примиримого ни с какой сентиментальностью и ни с какими преувеличениями. Он любил работу писателя и относился к ней с величайшей серьезностью, изучая разносторонне поднимаемые им темы, знакомясь с жизнью не из книг, а из непосредственного сношения с людьми. Как человек, он пленял простотою отношений, даже преувеличенным страхом попасть на подмошки.

Внешняя холодность соединялась в нем с теплым участием к чужим невзгодам, с желанием оказать услугу товарищам по ремеслу и даже людям, совершенно ему посторонним. Так, в течение ряда лет он лечил даром и с большой охотой крестьян своего уезда, приходя на помощь местному лекарю. /452/

К самому себе Чехов умел относиться с строгой критикой. Я видел его после ряда часов, проведенных за корректурой "Трех сестер" {452}. Он был не в духе, находил пропасть недостатков в своей пьесе и клялся, что больше для театра писать не будет. К счастью, такое настроение скоро проходило у него, и когда кто-нибудь из приятелей позволял себе критическое отношение к тем или другим

сторонам его комедии, он искусно и победоносно отстаивал написанное, прибавляя: "Нельзя судить о пьесе, не видев ее на сцене".

Для меня Чехов все же остается не столько драматическим писателем, сколько бесподобным рассказчиком, превосходно знавшим русскую жизнь, внимательно следившим за изменением общественных настроений, предвидевшим наступившие перемены, пророчествовавшим безошибочно близкое будущее нашей родины. Превосходный стилист, тщательно отделивавший свой слог, избегавший длинных фраз, всего ненужного и второстепенного, он умел сразу вводить читателя в круг затронутых им интересов. Немногими штрихами обрисовывал он тип и русского мужика, которого из города снова потянуло в деревню и который не нашел возможности найти в ней заработок, и молодого интеллигента, мечтающего о всеобщем счастье и не умеющего устроить собственной жизни, и той многочисленной категории людей, для которых Чехов придумал оставшийся в нашем обиходе термин "человека в футляре". А.И.Куприн в своем недавнем сообщении назвал Чехова родоначальником современного русского рассказа; я полагаю, что эта оценка будет дана ему со временем и историками русской литературы.

### ***С.Н.ЩУКИН. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А.П.ЧЕХОВЕ***

#### **1**

Поезд где-то остановился. Продавали газеты. Была напечатана телеграмма о том, что в ночь на 2 июля в Баденвейлере скончался А.П.Чехов.

Это было неожиданно. Едва ли кто, кроме людей, может быть самых близких, предполагал возможность столь скорого конца.

В вагоне заговорили о смерти писателя; говорили с волнением и грустью. Случайно встретившиеся люди, по-видимому, переживали его смерть как свою личную утрату.

Открыли окно. Беспокойная ночь в дороге, весть о кончине Чехова, эта общая печаль о нем чужих для него людей - все создавало какое-то особое настроение. Стало очень тяжело. Небо поднялось высоко, и в его светлой и чудесной вышине плыл месяц и горели звезды. Мечталось об умершем: сейчас думают о нем во многих местах земли нашей. И казалось: над широкой, необъятной родиной уже носится его образ, и он соткан из лучей грустного, изящного и нежного. И, верно, таким его образ перейдет в потомство и будет храниться памятью людей.

А в воображении стоял живой человек. Я видел его небольшой дом и в нем его кабинет, видел, как в нем ходит высокий, худощавый человек; постоит у окна, смотря на море вдаль, потом опять заходит по комнате, /454/ бросая отрывистые слова и по временам глухо кашляя. И стало жаль, что этот живой

человек будет теперь постепенно забываться: уйдут из мира те, кто знал его, и он уйдет невозвратно. То, что останется в его книгах и чрез книги в душах людей, это будет уже нечто другое, его, но не он. И тогда же подумалось: следует записать и то небольшое, что я знаю о нем. Придется говорить о себе, но ведь и воспоминания мои, в сущности, есть лишь история отношения писателя к одному из многих больных людей, случайно живших с ним в одном городе.

## 2

В 1898 году, осенью, в Ялте стали говорить, что приехал А.П.Чехов{454}.

Известность его была в это время велика; уже для очень многих он был любимым из русских писателей. Несмотря на это, в печати о нем было как-то мало сведений. В журналах и газетах говорили о его рассказах, но очень мало об их авторе. Мне, например, несмотря на большое желание, нигде не пришлось увидеть его портрета. Тем сильнее захотелось теперь увидеть самого писателя.

На расспросы о том, где Чехов живет, показывали дачу К.М.Иловайской, находящуюся на Аутской улице.

Не знаю, давно ли перед этим Антон Павлович был в Ялте{454}, но в этот приезд он казался здесь новым человеком; все им очень интересовались и старались увидеть.

Бывали назойливы. Помню, в одном магазине приказчик рассказывал покупателям, что Чехов, уходя, по забывчивости оставил один из купленных им свертков. Тотчас же две дамы, бывшие в магазине, выпросили у приказчика этот сверток, чтобы передать А.П-чу и таким образом познакомиться с ним.

Другой раз, долго спустя, А.П-чу пришлось быть на набережной. Он сидел на скамейке. Проходившие мимо стали так неприятно и любопытно всматриваться в его лицо, иногда даже останавливаясь, что, не выдержав, он стал от них закрываться газетой, которую держал в руках.

Впрочем, в это первое время А.П-ч часто бывал в городе. Говорили, что его можно видеть на /455/ набережной, особенно около книжного магазина И.А.Синани или и в самом магазине.

Был год голода. Собирали пожертвования. В ялтинском "Крымском курьере" напечатали, что Чехов тоже принимает пожертвования. Стало известно, что принимает и лично, в своей квартире, в такие-то часы{455}.

Для покойного писателя это дело было очень хлопотно. Для голодающих очень полезно: к нему потянулось с пожертвованиями много людей, шли, чтобы выразить ему свое уважение, а то и просто его увидеть. Пошел и я; был я учителем народной школы и понес несколько собранных от школы рублей.

Дача Иловайской довольно большая. А.П-ч занимал две комнаты внизу.

Обыкновенно, когда много читаешь какого-нибудь писателя, всегда начинаешь представлять себе, кроме лиц, о которых он говорит, и самого автора. Когда чувствуешь душу человека, воображение невольно начинает рисовать и его

внешний образ. И этот образ человека, никогда не виденного, трудно уловимый, если бы его нарисовать, в то же время очень прочно живет в душе.

Чехова я представлял в своем воображении ясно, но, как оказалось, до такой степени другим, что не только в первый момент, когда мне навстречу вышел из второй комнаты высокий, спокойный человек, но и потом, во время разговора с ним, я не признал в нем А.П-ча. "Верно, - думал я, - его нет дома и кто-то другой принимает меня".

Рассказы Чехова были нежны и ласковы к людям, слова в них красивы и грустны, как в песне, тихой и печальной; а взгляд человека, который говорил со мной, был холоден, слова коротки, сухи и отрывисты. Мне казалось, не мог этот человек написать те рассказы.

Пригласив сесть, Чехов ушел во вторую комнату написать квитанцию в получении денег. Потом, когда отдал ее, сел и разговорился. И по мере того как говорил, его глаза стали смотреть ласковее, речь сделалась мягкой, и у меня стало исчезать чувство, что рассказы, которые я так любил, чужие для этого человека.

Антон Павлович спрашивал, давно ли я в Ялте, почему поступил учителем церковной школы; узнав во мне северянина, он еще более оживился и сообщил, что /456/ получает газету "Северный край", которая в то время выходила в Ярославле {456}.

А.П-ч встал и принес мне последние номера газеты.

- Возьмите себе, - сказал он, - вам это, наверно, будет интересно. - И потом, когда я уходил, он говорил: - Заходите ко мне вечером, непременно заходите. - Провожая, увидел мое пальто. Шел, кажется, ноябрь, на дворе стоял холод, а пальто было летнее. Чехов удивился. - Слушайте, - сказал он, - так лечиться нельзя, вам надо теплое пальто.

Меня это сконфузило; я как-то случайно не приобрел еще зимней одежды.

- Но с этого и лечение надо начать, - сказал он внушительно, - непременно купите пальто.

Мне очень хотелось сказать ему, как у нас, в духовной школе, его любили. Прощаясь, я взволнованно сказал ему что-то в этом роде.

### 3

Был я убежден, что мое знакомство с ним на этом и кончится. Но случилось то, чего было трудно ждать.

Через два или три дня мне принесли с почты несколько новых номеров "Северного края"; адрес был написан знакомым - по квитанции - почерком Антона Павловича. Прошло два дня, и опять принесли газету. И это установилось постоянно; каждые два-три дня я получал ее по городской почте с адресом, надписанным рукою Чехова.

Было радостно и в то же время совестно от этой его заботы обо мне.

Через некоторое время захожу в магазин Синани, спрашиваю какую-то книгу. Книги не оказалось. Тогда господин, сидевший в магазине, на которого я не обратил внимания, вдруг проговорил:

- Но если у вас нет книги, почему вы ее не выпишете?

Это был Чехов.

- Ну, что, - сказал он, - получаете газету?

- Да, только мне совестно...

Но он прервал мои слова:

- Есть в ней что-нибудь интересное для вас?

- Есть. /457/

- Вот и хорошо, читайте.

Пришло рождество. В один из первых вечеров праздника в нашей школе зажгли елку. Девочки (школа была женская) пели, читали стихи, играли. Перед тем как раздавать подарки, маленькая черноглазая девочка Вера Яни вышла на середину комнаты и обратилась ко мне с небольшим приветствием. В заключение подает мне несколько книжек и говорит:

- Антон Павлович Чехов поздравляет вас с елкой, желает всего хорошего и посылает на память книги.

Я ничего не понимаю, растерянно держу книги. А кругом смеются и аплодируют. Раскрываю одну книгу - "Каштанка" Чехова с надписью такому-то на добрую память от автора; другую, третью - всё его книжки и на всех его надпись {457}. Всего было пять книжек.

Удивительно он был ласков иногда и умел порадовать человека.

После я узнал, как случилось, что он прислал мне книги.

Попечительница школы А.П.Комарова обычно по случаю елки делала маленькие подарки и учителям. Она купила чеховскую "Каштанку" и чрез кого-то попросила автора сделать на книжке надпись. А.П.-ч охотно это сделал и от себя еще добавил несколько бывших под рукою книжек.

После этого случая я решил опять сходить к Чехову. Он принял приветливо, спрашивал о елке, жалел, что сам не пришел к нам, и опять приглашал к себе.

И до пасхи я был у него несколько раз.

В этот первый год я всегда заставлял у него кого-нибудь. Были приезжие и местные люди.

Начинался общий разговор.

Первое, что сразу стало заметно, это большая скромность Чехова.

Когда в комнате было несколько человек, не помню, чтобы когда-нибудь он вел долгий разговор; он больше молчал и слушал, отвечал и расспрашивал.

Новый человек, не знавший раньше писателя, едва ли выделил бы его из ряда его собеседников. Самая речь его не была красива. Он говорил отрывисто, короткими предложениями, немного глухим, хотя приятным, небольшим басом. Слова его собеседников бывали /458/ красивее и наряднее его слов. Его же слова были будничные, простые и серые. Но среди этих обыкновенных слов вдруг говорилось какое-нибудь одно характерное, намек, фраза, и мысль начинала видеть человека, о котором говорят, событие, которое обсуждают, - видеть ближе,



вернее, существеннее, чем когда о них говорилось многими и красивыми словами. Красивые слова забывались. Его же простые слова оставались в памяти, и когда впоследствии приходилось опять думать об этом предмете, то думалось о нем не теми красивыми словами, а этими простыми. И делалось ясно, что простые "чеховские" слова были вернее, ближе к предмету речи, как его простые рассказы признаны вернее других, описывающими истинную действительность нашей сумеречной жизни.

#### 4

В это время, насколько можно было заметить, А.П-ч был очень бодр и деятелен. Часто гулял, купался. Помню встречи с ним на набережной, помню его в аутской церкви на похоронах одного ялтинского врача{458}; приглашал он меня пойти пешком в Алупку или Гурзуф.

Перед пасхой он уезжал{458}. Я простился с чувством глубокой к нему благодарности. Разумеется, я думал, что едва ли когда-нибудь еще придется повидаться с ним и, конечно, он скоро забудет одного из многочисленных случайных знакомых.

И опять я ошибся: на третий день пасхи мне принесли с почты целую кипу газет от А.П-ча. Можно понять, как меня, одинокого и полубольного, в дни праздника, когда кругом были веселые и счастливые, растрогала эта его память. С этого времени, где бы Чехов ни был - в Москве, в Мелихове, в дороге, каждые два - четыре дня он постоянно присылал мне "Северный край". Впоследствии, когда он переселился в Ялту, мне же пришлось оттуда уехать, он присылал газету по моему новому адресу из Ялты. Года три или четыре, пока судьба опять не привела в этот город и меня, А.П-ч каждые два-три дня не уставал и не забывал присылать мне газету.

После его смерти пришлось прочитать, что покойный писатель вообще любил заклеивать и надписывать /459/ бандероли. Может быть; но думаю, что по крайней мере в моем случае было больше любви к человеку, чем к бандеролям.

Потом А.П-ч еще приезжал в Ялту и уезжал из нее. Он начал дело постройки в Аутке своей дачи. Наконец приехал совсем и поселился в своем доме{459}.

Был замечательно хороший, полный блеска и тепла весенний день. Чехов стоял на балконе своей дачи, смотрел на садик перед ней и чему-то усмехался. Кажется, мне еще не приходилось видеть его в таком бодром, приподнятом настроении. Дом еще не был кончен постройкой, садик только намечался. А.П-ч жил пока во флигеле.

Он водил меня по комнатам, показывал, где и что предполагает сделать, гулял в садике, рассказывал, какие хочет сделать насаждения, как устроить сад. Угощал потом виноградом, говоря шутливо, что это из "собственных виноградников".

Вообще он в это время был полон всяких планов и надежд. И когда наконец устроился на даче совсем, оживление не покидало его. Дом его находился довольно далеко от центра города, но он бывал в городе довольно часто. Как-то утром я встретил его так: Чехов идет, постукивая палкой, веселый и оживленный, за ним идет служивший у него турок с корзиной.

- Иду на базар, - сказал А.

П-ч на мой вопрос. В это время он охотно знакомился с местными людьми, широко отзывался на местные нужды. Между прочим, он принял звание члена училищного совета, дал взаймы довольно большую сумму на одну из наших школ {459}; записался членом попечительства при аутской церкви, сделал пожертвование в греческую церковь, в приходе которой находилась его дача, и, кажется, на татарскую мечеть. Впоследствии возникла мысль пригласить А.П-ча попечителем одной из земских школ; помню, что он согласился, но как и чем кончилось это дело - не могу сказать.

Бывал А.П-ч в женской гимназии, с начальницей которой, как и с некоторыми преподавателями, был хорошо знаком; он принял на себя звание члена попечительного совета гимназии {459}. Одно время А.П-ч как бы взял под свое покровительство ялтинских греков. Греки, "аутские греки", были его соседи. В старое, впрочем не /460/ очень давнее, время Аутка была деревней, населенной греками. В Аутке была и греческая церковь. Умирая, многие греки, люди вообще очень привязанные к церкви, оставляли "на помин души" земельные участки. Когда Ялта стала быстро заселяться, Аутка соединилась с Ялтой и вошла в черту города. И мало-помалу греки были вытеснены дальше, на гору, в так называемую Верхнюю Аутку. Греческая церковь, находившаяся в Нижней Аутке, стала считаться русской, священников к ней посвящали русских, и богослужение совершали в ней уже на славянском языке. Греческой же осталась небольшая, невзрачная, даже не каменная, а деревянная церковка св. Феодора Тирона в Верхней Аутке. Она к тому же не была самостоятельна, а приписана к русской церкви.

И к тому времени, как Чехов поселился в Аутке, между греками и русскими шли острые споры по случаю назначения новых священников, перестройки церквей, относительно церковного имущества и пр. Представители греков во главе со священником явились к Чехову и просили его взять на себя защиту их дела. А.П-ч согласился на их просьбу, принял в деле большое участие, был с документами, которые они дали ему, у архиерея. Противная партия не понимала, отчего он хлопочет, была раздражена и толковала, что он сам грек, потому и хлопочет за греков.

К нашей школе А.П-ч относился очень тепло. С удовольствием о ней слушал, расспрашивал и смеялся разным маленьким анекдотам, которые у нас нередко случались. Ученицы школы были большею частью дети тех же аутских греков и жили на той же улице, что и он. Почти всё это были бедные дети.

А.П-ч как-то зашел в школу, спросил учителя. Его не было. Тут-то девочки в первый раз и познакомились с писателем. Потом он постоянно встречал их на улице, маленьких, с большими связками книг, и заговаривал с ними. И иногда, прибежав в школу, дети с восторгом сообщали, что Чехов говорил с ними.

Иной раз надо было послать А.П.-чу книги. Попросишь снести их одну девочку, идут непременно две или три. Они любили бегать на "белую дачу", как в Аутке скоро прозвали чеховскую дачу, иногда ссорились из-за того, кому идти. Он давал им иногда гостинцы, присылал для них /461/ некоторые детские книжки. Раз предложил: "Напишите, какие книжки вам хотелось бы иметь в школе, я привезу их". И действительно, возвратившись из Москвы, он привез все книжки, которые были записаны. Приблизительно к этому времени относится приезд в Ялту Московского Художественного театра. Приезд московских артистов, да еще такого театра, был настоящим и большим праздником для города. Билеты раскупались нарасхват. Из чеховских пьес играли "Чайку" и "Дядю Ваню". Автор был в театре, его приветствовали взволнованно, радостно и шумно {461}.

5

Мне пришлось раза два докучать Антону Павловичу своими произведениями. Вот что высказал он в разное время по поводу писательства.

Я просил прочитать рассказ.

- Знаете, - начал он говорить, когда прочел, - прежде всего о начинающем писателе можно судить по языку. Если у автора нет "слога", он никогда не будет писателем. Если же есть слог, свой язык, он, как писатель, не безнадежен. Тогда можно рассуждать о других сторонах его писаний.

Он встал с моей тетрадью в руках и перегнул ее пополам.

- Начинающие писатели часто должны делать так: перегните пополам и разорвите первую половину.

Я посмотрел на него с недоумением.

- Я говорю серьезно, - сказал Чехов. - Обыкновенно начинающие стараются, как говорят, "вводить в рассказ" и половину напишут лишнего. А надо писать, чтобы читатель без пояснений автора, из хода рассказа, из разговоров действующих лиц, из их поступков понял, в чем дело. Попробуйте оторвать первую половину вашего рассказа, вам придется только немного изменить начало второй, и рассказ будет совершенно понятен. И вообще не надо ничего лишнего. Все, что не имеет прямого отношения к рассказу, все надо беспощадно выбрасывать. Если вы говорите в первой главе, что на стене висит ружье, во второй или третьей главе оно должно непременно выстрелить. А если не будет / 462/ стрелять, не должно и висеть. Потом, - говорил он, - надо делать рассказ живее, разговоры прерывать действиями. У вас Иван Иванович любит говорить. Это ничего, но он не должен говорить сплошь по целой странице. Немного поговорил, а потом пишете: "Иван Иванович встал, прошелся по комнате, закурил, постоял у окна".

Некоторое время спустя, посылая А.П.-чу книжку журнала, я вложил в нее другой небольшой рассказец, не предупредив его. Вечером звонит телефон.

- Чей рассказ вложен в книгу "Русского богатства?" - спрашивает А.П.-ч.

- Мой.

- Приходите ко мне.

Когда я пришел, А.П-ч объявил мне:

- Рассказ хороший. Давайте пошлем его - только куда? Я предлагаю... - И он назвал два журнала и одну газету.

- Куда вам больше хотелось бы?

Я назвал один из журналов, впрочем спросил:

- Да поместят ли?

- Думаю, что поместят, - сказал А.П-ч, - если бы я был редактором, непременно бы поместил.

Вообще он оживился и проявил большое участие.

- Мне не нравится ваше заглавие. Надо другое. Я назвал бы рассказ так: "Глупости Ивана Ивановича".

Признаюсь, я не ждал такого заглавия. Похождения моего героя не казались мне глупостями. Неожиданное название осветило их с новой стороны, и, посмеявшись над собой, я должен был признать его более подходящим, чем то, которое написал сам.

Затем А.П-ч стал говорить:

- В двух местах я немного вычеркнул. Я уже говорил: не делайте авторских пояснений. Пусть обо всем, о чем надо, говорят те лица, которых вы описываете. Смотрите, недавний рассказ N, - А.П-ч назвал имя известного писателя, - прекрасный рассказ, но автор портит его пояснениями. Мне их прямо неприятно читать, я не понимаю этого. В рассказе не должно быть публицистики. - Затем он подумал и проговорил: - Советую переделать конец. У вас Иван Иванович женится. Ужели он так много выстрадал и много думал только для того, чтобы жениться? Лучше, если бы конец был другой, иного характера. /463/

Кончив о самом рассказе, А.П-ч сказал:

- Теперь придумаем вам псевдоним. У вас плохая фамилия, не звучная.

- Ужели на это следует обращать внимание?

- Следует. Станете писать еще, рассказ будет кончаться как-нибудь эффектно, и вдруг подпись... - он назвал мою фамилию и засмеялся, - не хорошо!

Потом опять заговорил серьезно:

- Вообще следует избегать некрасивых, неблагозвучных слов. Я не люблю слов с обилием шипящих и свистящих звуков, избегаю их. - Прощаясь, он спросил: - А вы знаете, как переписывать для печати? - Остановил меня снова, нарезал бумаги, сказал, что следует писать только на одной стороне листка, указал, где ставить цифры. - Перепишите на этой бумаге и принесите мне.

Когда я переписал, он сам послал рассказ в редакцию журнала {463}.

- Чтобы стать настоящим писателем, - учил он, - надо посвятить себя исключительно этому делу. Дилетантство здесь, как и везде, не даст уйти далеко. В этом искусстве, как во всяком, нужен талант, но и труд. Надо трудиться самым настоящим образом. И прежде всего над языком. Надо вдумываться в речь, в слова. Вы обращали внимание на язык Толстого? Громадные периоды, предложения нагромождены одно на другое. Не думайте, что это случайно, что это недостаток. Это искусство, и оно дается после труда. Эти периоды производят впечатление силы.

Как-то я пришел к нему.

- Вот, - сказал он, - читаю Гоголя. Интересный язык, какая богатая мозаика! - Впрочем, больше всего А.П-ч хвалил язык Лермонтова. - Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова, - говорил он не раз. - Я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, - по предложениям, по частям предложения... Так бы и учился писать. А вы замечаете, - говорил он еще, - как вообще развивается, улучшается язык? Заметили ли вы, как теперь выбрасывают слова, которые недавно считали невозможным опускать. Еще недавно, например, писали: несколько лет тому назад, теперь же все пишут: несколько лет назад, выпуская слово тому. Выходит хорошо, и только удивляешься: /464/ зачем прибавляли это ненужное слово? В газетах пишут очень небрежно, - заметил он, тоже говоря о языке: - про меня в Таганроге печатают так: наш соотечественник Чехов...

## 6

Насколько помнится, за время жизни А.П-ча в Ялте появились в печати его вещи: "В овраге", "Архиерей", "Невеста", "Вишневый сад" и, может быть, еще что-нибудь. Вместе с книгой журнала, в которой была напечатана повесть "В овраге", А.П-ч дал мне номер газеты.

- Прочитайте повесть и прочитайте в этой газете отзыв о ней.

Газета была, кажется, нижегородская, в ней была помещена статья о Чехове Горького по поводу новой повести {464}.

- Скажите, А.П-ч, - спросил я, прочитав повесть, - это село, о котором вы говорите, семья, которую описываете, знали вы что-нибудь подобное? Ужели жизнь крестьян так дурна?

- Я описываю тут жизнь, какая встречается в средних губерниях, я ее больше знаю. И купцы Хрымины есть в действительности. Только на самом деле они еще хуже. Их дети с восьми лет начинают пить водку и с детских же лет развратничают; они заразили сифилисом всю округу. Я не говорю об этом в повести, - прибавил он, - потому что говорить об этом считаю нехудожественным.

Последние слова А.П-ч подчеркнул; это был как бы ответ на увлечение описывать отвратительные стороны жизни, увлечение, которое тогда понемногу начинало проникать в литературу и о котором шел перед тем разговор.

Я сказал, что больше всего мне нравилась глубоко трогательная история о том, как ночью Липа несла гробик со своим мертвым ребенком. В самом деле, эти страницы даже из чеховских замечательны по своей красоте, чувству, художественности.

- А знаете, - сказал А.П-ч, - вот то, что мальчика Липы обварили кипятком, это не исключительный случай, земские врачи нередко встречаются такие случаи. /465/ Впрочем, я решил больше ничего не писать из жизни крестьян.

Когда чеховский "Архиерей" появился в печати, Антон Павлович говорил, что это его старый, ранее написанный рассказ, который он теперь переделал.

Нижесказанное имеет несомненное отношение к рассказу.

В кабинете А.П-ча среди карточек писателей, артистов и, может быть, просто знакомых ему людей есть одна довольно необычная {465}. На ней изображен человек в одежде духовного лица и вместе с ним старушка в темном простом платье.

История этой карточки такова.

Как-то, еще когда жил на даче Иловойской, А.П-ч вернулся из города очень оживленный. Случайно он увидел у фотографа карточку таврического епископа Михаила. Карточка произвела на него впечатление, он купил ее и теперь дома опять рассматривал и показывал ее.

Епископ этот (Михаил Грибановский) незадолго до того умер. Это был один из умнейших архиереев наших, с большим характером. Считается он в духовной среде как бы основателем нового, так называемого ученого монашества. Помнится, в речах при его погребении это было высказано всенародно. Во всяком случае, преосвященный Михаил имел большое влияние на многих, и, по слухам, почитатели пророчили его в патриархи русской церкви. Перед тем как приехать в Крым, он жил в Афинах, был там настоятелем нашей посольской церкви.

Лично А.П-ч его не знал.

Преосвященный Михаил был еще не старый, но жестоко страдавший от чахотки человек. На карточке он был снят вместе со старушкой матерью, верно какой-нибудь сельской матушкой, вдовой дьякона или дьячка, приехавшей к сыну-архиерею из тамбовской глуши.

Лицо его очень умное, одухотворенное, изможденное и с печальным, страдальческим выражением. Он приник головой к старушке, ее лицо было тоже чрезвычайно своей тяжелой скорбью.

Впечатление от карточки было сильное, глядя на них - мать и сына, - чувствуешь, как тяжело бывает человеческое горе, и хочется плакать. /466/

Помню, когда Чехов показал карточку Горькому, последний тоже заинтересовался и воскликнул, рассматривая лицо епископа:

- Какой мужчина, какой мужчина!

А.П-ч расспрашивал о преосвященном Михаиле, потом я ему посылал книжку преосвященного "Над евангелием" - думы покойного епископа по поводу некоторых евангельских речей и событий.

Мысль об архиерее, очевидно, стала занимать А.П-ча.

- Вот, - сказал он как-то, - прекрасная тема для рассказа. Архиерей служит утруню в великий четверг. Он болен. Церковь полна народом. Певчие поют. Архиерей читает евангелие страстей. Он проникается тем, что читает, душу охватывает жалость ко Христу, к людям, к самому себе. Он чувствует вдруг, что ему тяжело, что он может скоро умереть, что может умереть сейчас. И это его чувство - звуками ли голоса, общей ли напряженностью чувства, другими ли, невидными и непонятными путями - передается тем, кто с ним служит, потом молящимся, одному, другому, всем. Чувствуя приближение смерти, плачет архиерей, плачет и вся церковь.

И вся церковь вместе с ним проникается ощущением смерти, неотвратимой, уже идущей. Преосвященный Петр (архиерей чеховского рассказа)

тоже служил прежде за границей, к нему приезжает мать, вдова сельского дьякона, он читает евангелие страстей. О служении его всенощной под вербное воскресенье говорится так: "И почему-то слезы потекли у него по лицу. На душе было покойно, все было благополучно, но он неподвижно глядел на левый клирос, где читали, где в вечерней мгле уже нельзя было узнать ни одного человека, и - плакал. Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем".

Если припомним все это, то связь рассказа с карточкой преосвященного Михаила и с планом рассказа, о котором говорит Антон Павлович, будет очевидна.

Впрочем, рассказ появился в печати года три спустя. Таврическим епископом был уже преосвященный Николай, ныне архиепископ варшавский. И когда рассказ /467/ был напечатан, в Ялте заговорили, что А.П.-ч описал в рассказе именно этого епископа.

Почему заговорили об этом?

Может быть, потому, что преосвященного Михаила уже мало кто помнил;\* может быть, слышали, что по делу о греках А.П.-ч был у преосвященного Николая.

---

\* Помните конец рассказа: "Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли". Это удивительно хорошо отмеченная черта. (Прим. С.Н.Щукина.)

Эти разговоры дошли до Чехова. Помню, он сказал:

- Слушайте, говорят, что я описывал вашего архиерея; вздор, я не имел его в виду. И если кто при вас будет это говорить, так и скажите, что вздор.

Кого же А.П.-ч описал в своем рассказе, какого архиерея?

Очевидно, никакого в частности. Его архиерей имеет некоторое отношение к преосвященному Михаилу, нов общем, как характер, как личность, не похож на него.

### ***Л.Н.ШАПОВАЛОВ. КАК БЫЛ ПОСТРОЕН ДОМ ЧЕХОВА В ЯЛТЕ***

Я попал в Ялту совершенно случайно.

В 1896 году, после окончания Московской школы живописи, ваяния и зодчества, меня пригласили на строительство здания Московской консерватории. Через год здание консерватории было закончено, и я приступил к работе на строительстве здания Курского вокзала. Две эти ответственные стройки, доставшиеся мне сразу же после студенческой скамьи, потребовали от меня большого нервного напряжения и отняли много сил. В 1898 году, закончив строительство вокзала, я решил ненадолго уехать отдохнуть в Крым.

Уезжая на юг, мне и в голову не могло прийти, что эта поездка изменит все мои дальнейшие жизненные планы и сделает меня в течение нескольких десятилетий постоянным жителем Крыма.

И виной всему - встреча с Чеховым.

...На набережной Ялты, в самом центре города, находилась книжная лавка известного ялтинского книгопродавца Синани. К слову сказать, продавал он не только книги, но и всевозможные табачные изделия. Торговля шла бойко, в его лавке всегда было шумно илюдно. Лавка Синани была, пожалуй, единственным местом, куда охотно приходили и где встречались друг с другом отдыхавшие в Ялте известные русские писатели, поэты и художники. Я стал часто навещать Синани и постепенно сблизился с ним. Однажды Синани взял меня под локоть и, не говоря ни слова, подвел /469/ к высокому, худощавому человеку в пенсне, который, стоя у прилавка, просматривал только что полученные книжные новинки.

Как сейчас помню:

- Антон Павлович, позвольте представить вам нашего гостя - молодого московского архитектора Шаповалова. Его, так же как Толстого, зовут Лев Николаевич, - сказал Синани улыбаясь.

Антон Павлович обернулся, пристально взглянул, улыбнулся и протянул руку.

- Чехов, - сказал он глухим грудным голосом.

Так состоялось мое знакомство с Антоном Павловичем.

Я был тогда очень молод и до крайности застенчив. Чехов же в то время был уже знаменитым писателем, и неожиданное знакомство с великим человеком меня буквально ошеломило. Я долго стоял растерянный, смятенный, не зная, что сказать. Чехов, очевидно, уловил мое смущение и заговорил сам - сейчас уже не вспомню, о чем мы говорили, одно только могу сказать с уверенностью: через несколько минут я поймал себя на том, что смущения и растерянности как не бывало.

С этого дня знакомство мое с Чеховым стало крепнуть, отношения становились теплее, и вскоре Антон Павлович покори́л меня окончательно. Обаяние его было поистине удивительно. Мы встречались почти ежедневно в лавке Синани, гуляли по набережной и, греясь на солнышке, беседовали на самые различные темы.

В начале ноября 1898 года мы, как обычно, гуляли с А.П.Чеховым по набережной. И вдруг совершенно неожиданно Антон Павлович сказал:

- Прошу вас, Лев Николаевич, построить мне в Ялте небольшой дом...

Признаюсь: я уже успел полюбить Антона Павловича и душевно привязаться к нему, и это его предложение, хотя и льстило моему самолюбию, все же испугало меня. Сумею ли я, молодой архитектор, только что сошедший со студенческой скамьи, построить дом великому писателю? Найду ли я в себе творческие силы, чтобы построить такой дом, в котором Антон Павлович смог бы и работать, и жить, и отдыхать?

Антон Павлович со свойственной ему чуткостью уловил мое колебание и повторил предложение. /470/



Делать было нечего - я согласился. На следующий день я навестил Антона Павловича на его квартире в доме Иловойской. Здесь же я впервые увидел Марию Павловну и познакомился с ней. Антон Павлович поручил мне составить проект и изложил свои требования: дом должен быть очень скромным, простым, уютным и удобным. Мы долго обсуждали проект будущего дома - живейшее участие в обсуждении всех вопросов, связанных с проектированием и строительством дома, принимала и Мария Павловна.

В один из ближайших дней мы с Антоном Павловичем поехали осмотреть участок, предназначенный для застройки. Участок находился далеко от города, на окраине Ялты, в Верхней Аутке, и представлял собой голый виноградник, спускавшийся к речке Учан-Су.

После осмотра А.П.Чехов, как это полагалось по закону, подал в ялтинскую уездную земскую управу специальное заявление. Текст этого заявления у меня сохранился, и я привожу его полностью:

## "В ЯЛТИНСКУЮ УЕЗДНУЮ ЗЕМСКУЮ УПРАВУ

Врача Антона Павловича Чехова

### Заявление

Желая произвести постройку во владении моем, находящемся в Верхней Аутке, согласно представленных плана и чертежей, имею честь покорнейше просить уездную земскую управу разрешить мне таковую.

Антон Чехов.  
1 декабря 1898 г.  
Ялта, Аутская ул.  
д.Иловойской".

На заявлении А.П.Чехова я сделал следующую надпись:

"На основании существующих постановлений принимаю на себя руководство, правильность, ответственность за прочность постройки и устройство подмостей во владении врача А.П.Чехова.

Архитектор Л.Н.Шаповалов.  
98 г.  
4 декабря". /471/

Через три дня - 7 декабря 1898 года - мы получили от уездной земской управы за № 5698 разрешение на постройку дачи.

К этому времени мною уже был составлен проект. Антон Павлович и Мария Павловна его одобрили, вскоре начался завоз строительных материалов, а в январе 1899 года мы приступили к постройке дома.

Антон Павлович и Мария Павловна почти ежедневно бывали на участке. Они живо интересовались ходом строительства, часами наблюдая за тем, как проходит кладка. В это же время Антон Павлович с увлечением занимался посадкой деревьев - каждое дерево в саду посажено собственными руками Антона Павловича.

Строительство было окончено через десять месяцев, и 16 декабря 1899 года семья Чеховых поселилась в новом доме.

Лично для меня окончание постройки было ознаменовано трогательным подарком Антона Павловича, который я любовно храню вот уже пятьдесят пять лет. Он преподнес мне свою фотографию, на которой сделал следующую надпись: "Льву Николаевичу Шаповалову на добрую память. А.Чехов. Аутка, дом, построенный Л.Н.Шаповаловым. 99. 16. XII".

В доме А.П.Чехова я бывал много раз. На всю жизнь запомнились мне дни и вечера, проведенные в обществе гостеприимного, обаятельного и тонкого Антона Павловича и его многочисленных друзей, часто и подолгу гостивших у Чехова. Я нередко встречал у Антона Павловича таких выдающихся деятелей русской культуры, как Горький и Короленко, Рахманинов и Шаляпин, Бунин и Скиталец, Телешов и Мамин-Сибиряк. Почти со всеми ими был дружен и я. Смех, шутки, остроты, нескончаемые беседы о литературе и искусстве затягивались до глубокой ночи. Воспоминания об этих встречах бесконечно дороги моему сердцу.

У Антона Павловича я познакомился и с художником И.И.Левитаном, в то время уже очень больным человеком.

Кстати, когда И.И.Левитан осмотрел дом и увидел на камине впадину, нарочито сделанную мною, он таинственно шепнул мне:

- А я все-таки использую эту впадину... /472/

И действительно: вскоре И.И.Левитан на куске картона написал в один сеанс чудесный пейзаж "Стоги сена в лунную ночь" - одно из последних своих произведений. Этот пейзаж был заделан в каминную впадину и в таком виде находится до сих пор.

После смерти А.П.Чехова я много лет жил в Крыму и построил там более пятидесяти зданий. Среди них - дачи, санатории, дома отдыха, больницы, школы.

...Я пишу эти строки и смотрю на фотографию А.П.Чехова, стоящую на моем письменном столе. Полвека прошло с тех пор, как она стоит перед моими глазами. Фотография не пожелтела, чернила не выцвели - время не смеет прикоснуться к изображению великого жизнелюба. Я оглядываюсь на прожитые восемьдесят два года, и передо мною, точно живой, стоит Антон Павлович - добрый, сердечный, обаятельный. В эти минуты я с особенной силой переживаю встречи с Чеховым, которые согревали меня всю мою долгую жизнь, и низко кланяюсь судьбе за то, что она свела меня с ним.

Москва, 19 января 1954 г.

## **Н.Д.ТЕЛЕШОВ. А.П.ЧЕХОВ**

Немало было встреч у меня с Чеховым, немало бесед и разговоров, но при имени Антона Павловича всегда с особенной ясностью вспоминаются мне две наши встречи: самая первая и самая последняя, и два его образа: молодого, цветущего, полного жизни - и затем безнадежно больного, умирающего, накануне отъезда его за границу, откуда он уже не вернулся живым.

Я был еще юношей, лет двадцати, когда впервые встретился с ним, в то время тоже еще молодым человеком и писателем, только что замеченным. В ту осень 1887 года вышла его книга рассказов "В сумерках" - первая за подписью "Антон Чехов", а не "Чехонте", как раньше. Он только что вступил на настоящую литературную дорогу. Тогдашняя критика высокомерно молчала; даже "нововременский" зубоскал Буренин, сотрудник того же издательства, которое выпустило эту книжку, отметил ее появление таким четверостишием:

Беллетристику-то - эх, увы!  
Пишут Минские да Чеховы,  
Баранцевичи да Альбовы;  
Почитаешь - станет жаль Бовы!

Несмотря на молчание критики {473}, читатели живо интересовались молодым писателем и сумели верно понять Чехова и оценить сами, без посторонней помощи.

С рассказами Чехова, так называемыми "Пестрыми рассказами", мне пришлось познакомиться довольно /474/ рано, почти в самом начале литературных выступлений Антона Павловича, когда он писал под разными веселыми псевдонимами в "Стрекозе", в "Осколках", в "Будильнике". Потом на моей памяти, на моих глазах, так сказать, он начал переходить от юмористических мелочей к серьезным художественным произведениям. В то время он был известен все еще по-прежнему - как Чехонте, автор коротеньких веселых рассказцев. И слышать о нем приходилось не что-нибудь существенное и серьезное, а больше пустячки да анекдотики, вроде того, например, будто Чехов, нуждаясь постоянно в веселых сюжетах и разных смешных положениях для героев, которых требовалось ему всегда множество, объявил дома, что станет платить за каждую выдумку смешного положения по десять копеек, а за полный сюжет для рассказа по двадцать копеек, или по двугривенному, как тогда говорилось. И один из братьев сделался будто бы усердным его поставщиком. Или рассказывалась такая история: в доме, где жили Чеховы, бельэтаж отдавался под балы и свадьбы, поэтому нередко в квартиру нижнего этажа сквозь потолок доносились звуки вальса, кадрили с галопом, польки-мазурки с назойливым топотом. Чеховская молодежь, если бывали все в духе, начинала шумно изображать из себя приглашенных гостей и весело танцевать под чужую музыку,

на чужом пиру. Не отсюда ли вышел впоследствии известный рассказ "Свадьба" и затем водевиль на ту же тему?...{474}

Далеко не сразу был он признан влиятельной критикой. Михайловский отозвался о нем холодно и небрежно, а Скабичевский почему-то пророчил, что Чехов непременно сопьется и умрет под забором.

Впоследствии, уже в девятисотых годах, в своих воспоминаниях о Чехове писатель А.И.Куприн, между прочим, приводит такие слова самого Антона Павловича обо мне: "Вы спросите Телешова сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у Белоусова" {474}.

И действительно, мы именно гуляли. Свадьба была веселая, шумная, в просторном наемном доме, где-то на набережной Канавы, много было молодежи; веселились и танцевали почти без отдыха всю ночь. А потом ужинали - чуть не до утра. /475/

В то время я был совершенно чужой в литературном мире. Не только не был ни с кем знаком, но ни с одним настоящим писателем даже не встречался. Знавал их только по книгам.

И вот, в разгаре свадебного шума, Белоусов подвел меня к высокому молодому человеку с красивым лицом, с русой бородкой и ясными, немного смешливыми глазами, будто улыбающимися:

- Чехов.

Я уже знал, читал и любил его рассказы, только что собранные в первую книжку {475}. Слышал также, что Григорович, маститый старец и крупный писатель того времени, однажды сам пришел к Чехову {475} - познакомиться с ним, как с молодым собратом, которому пророчил большое и славное будущее, приветствуя в нем новый литературный талант, настоящий талант, выдвигающий его далеко из круга литераторов нового поколения.

И это внимание Григоровича, и личное впечатление от прочитанных рассказов, и первая в жизни встреча с настоящим писателем настроили меня восторженно. Хотелось сейчас же заговорить с ним о его книге, о том новом в литературе, что он дает, но Чехов предупредил меня иным, совершенно неожиданным вопросом.

- Вы в карты не играете? В стуколку?

- Нет.

- А со мной вот пришел Гиляровский. Жаждет поиграть в стуколку, да не знает - с кем. Вы знаете Гиляровского? Дядю Гиляя?... Да вот и он! - как говорят актеры в самых бездарных водевилях.

Подошел Гиляровский - познакомились. Он был во фраке, с георгиевской ленточкой в петлице. В одной руке держал открытую серебряную табакерку, другой рукой посылал кому-то через всю комнату привет, говорил Чехову рассеянно что-то рифмованное и веселое и глядел на меня в то же время, но меня, кажется, не замечал, занятый чем-то иным. Не успели мы и двух слов сказать для первого знакомства, как загремела опять музыка, и меня, как молодого человека, утащили танцевать.

- Идите, идите. А то на нас барышни будут из-за вас обижаться, - сказал мне вслед Антон Павлович.

На этом, может быть, и кончилось бы наше знакомство, если б Антон Павлович в конце ночи, после /476/ торжественного свадебного ужина с мороженым и шампанским, не подошел ко мне сам и не позвал бы с собою.

- Скоро уж утро, - сказал он. - Гости разъезжаются. Пора и нам уходить. Мы вот с Гиляем надумали пойти чай пить... в трактир. Хотите с нами? Скоро теперь трактиры откроются - для извозчиков.

И мы пошли.

Нас было четверо: присоединился к нам еще младший брат Чехова, Михаил Павлович, в то время студент. Наняли двух извозчиков и поехали разыскивать ближайший трактир. Где-то неподалеку, в одном из переулков близ Чугунного моста, засветились окна маленького трактира. Зимнее морозное утро только что начиналось. Было еще темно.

Трактир оказался грязный, дешевый, открывавшийся спозаранку, действительно для ночных извозчиков.

- Это и хорошо, - говорил Антон Павлович. - Если будем хорошие книги писать, так в хороших ресторанах еще насидимся. А пока по нашим заслугам и здесь очень великолепно.

Про внешность Чехова в ту пору правильно было сказано: "при несомненной интеллигентности лица, с чертами, напоминавшими простодушного деревенского парня {476}, с чудесными улыбающимися глазами". Может быть, такое выражение, как "улыбающиеся глаза", покажется слишком фигуральным, но, кроме Чехова, я ни у кого не встречал таких глаз, которые производили бы впечатление именно улыбающихся.

Благодаря тому, что все мы были одеты во фраки, нас принимали здесь за свадебных официантов, закончивших ночную работу, - и это очень веселило Чехова.

Сели за стол, покрытый серой, не просохшей с вечера скатертью. Подали нам чаю с лимоном и пузатый чайник с кипятком. Но от нарезанных кружочков лимона сильно припахивало луком.

- Превосходно! - ликовал Антон Павлович. - А вы вот жалуетесь, что сюжетов мало. Да разве это не сюжет? Тут на целый рассказ материала.

Перед глазами у нас, я помню, была грязная пустая стена, выкрашенная когда-то масляной краской. На ней ничего не было, кроме старой копоти да еще на некотором уровне - широких, темных и сальных пятен: это извозчики во время чаепития прислонялись к ней /477/ в этих местах своими головами, жирно смазанными для шика деревянным маслом, по обыкновению того времени, и оставляли следы на стене на многие годы.

С этой стены и пошел разговор о писательстве.

- Как так сюжетов нет? - настаивал на своем Антон Павлович. - Да все - сюжет, везде сюжет. Вот посмотрите на эту стену. Ничего интересного в ней нет, кажется. Но вы взгляните в нее, найдите в ней что-нибудь свое, чего никто еще в ней не находил, и опишите это. Уверяю вас, хороший рассказ может получиться. И о луне можно написать хорошо, а уж на что тема затрепанная. И будет интересно. Только надо все-таки увидеть и в луне что-нибудь свое, а не чужое и не избитое.

- А вот это разве не сюжет? - указал он в окошко на улицу, где стало уже светать. - Вон смотрите: идет монах с кружкой собирать на колокол... Разве не чувствуете, как сама завязывается хорошая тема?... Тут есть что-то трагическое - в черном монахе на бледном рассвете...

За чаем, который благодаря лимону тоже отдавал немножко луком, разговор перекидывался с литературы на жизнь, с серьезного на смешное. Между прочим, Чехов уверял нас, что никакой "детской" литературы не существует.

- Везде только про Шариков да про Барбосов пишут. Какая же это "детская"? Это какая-то "собачья" литература! - шутил Антон Павлович, стараясь говорить как можно серьезнее.

И сам же вскоре написал "Каштанку" и "Белолобого" {477} - про собак.

Гиляровский много острил, забрасывал хлесткими экспромтами, и время летело незаметно.

Стало уже совсем светло. Улица оживилась. Мне было хорошо и радостно. Как сейчас вижу молодое, милое лицо Чехова, его улыбающиеся глаза. Таким жизнерадостным, как в эту первую встречу, я никогда уже, во всю жизнь, Антона Павловича не видал.

К молодым писателям Чехов относился всегда благожелательно и ко многим очень сердечно. Всегда говорил, что писателю нельзя сидеть в четырех стенах и /478/ вытягивать из себя свои произведения, что необходимо видеть жизнь и людей, слышать подлинные человеческие слова и мысли и обрабатывать, а не выдумывать их.

- Поезжайте в Японию, - говорил он одному. - Поезжайте в Австралию, - советовал другому.

Вспоминается, как встретились мы однажды в вагоне. Встреча была совершенно случайная. Он ехал к себе в Лопасню, где жил на хуторе, а я - в подмосковную дачную местность Царицыно, снимать дачу на лето.

- Не ездите на дачу, ничего там интересного не найдете, - сказал Чехов, когда узнал мою цель. - Поезжайте куда-нибудь далеко, верст за тысячу, за две, за три. Ну, хоть в Азию, что ли, на Байкал. Вода на Байкале бирюзовая, прозрачная: красота! Если времени мало, поезжайте на Урал: природа там чудесная. Перешагните непременно границу Европы, чтобы почувствовать под ногами настоящую азиатскую землю и чтоб иметь право сказать самому себе: "Ну, вот я и в Азии!" А потом можно и домой ехать. И даже на дачу. Но дело уже будет сделано. Сколько всего узнаете, сколько рассказов привезете! Увидите народную жизнь, будете ночевать на глухих почтовых станциях и в избах, совсем как в пушкинские времена; и клопы вас будут заедать. Но это хорошо. После скажете мне спасибо. Только по железным дорогам надо ездить непременно в третьем классе, среди простого народа, а то ничего интересного не услышите. Если хотите быть писателем, завтра же купите билет до Нижнего. Оттуда - по Волге, по Каме...

Он начал давать практические советы, как будто вопрос о моей поездке был уже решен. На станции Царицыно, когда я выходил из вагона, Антон Павлович на прощанье опять сказал:

- Послушайтесь доброго совета, купите завтра билет до Нижнего.

Я послушался и через несколько дней уже плыл по реке Каме, без цели и назначения, направляясь пока в Пермь. Дело было в 1894 году. За Уралом я увидел страшную жизнь наших переселенцев, невероятные невзгоды и тягости народной, мужицкой жизни. И когда я вернулся, у меня был готов целый ряд сибирских рассказов, которые и открыли тогда передо мной впервые страницы наших лучших журналов. /479/

Нередко Чехов говорил о революции, которая неизбежно и скоро будет в России. Но до 1905 года он не дожил.

- Поверьте, через несколько лет, и скоро, у нас не будет самодержавия, вот увидите.

Недаром же в пьесе его "Три сестры" говорится: "Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку". А в дальнейшем он предвидел необычайный расцвет народной жизни и счастливое, радостное будущее человечества. И во все это верил он крепко.

Прошло немало лет от первой нашей встречи. Мы видались в Москве - то у издателя И.Д.Сытина, то в Докторском клубе, то у него в доме, где он любил угощать горячей картошкой, печенной на углях, и старым крымским "губонинским" кляретом. Бывал Антон Павлович и у меня, на нашей литературной "Среде", которой всегда интересовался и всегда расспрашивал о ней. Видались мы и в Крыму, у него на даче в Аутке, где он был уже серьезно больным и где среди красот южной природы, среди вечнозеленых кипарисов и цветущих персиков любил помечтать о московском сентябрьском дождичке, о березах и ветлах, об илистом пруде с карасями, о том, как хорошо обдумывать свои повести и пьесы, глядя на поплавок и держа в руке удочку. Пытался он в своем крымском саду, в память о Москве, насаждать молодые березки и другие северные деревца, но я не знаю, принялись ли они и целы ли теперь... Помню, как в этом ялтинском кабинете мне был вручен рецепт в ялтинскую аптеку на порошки от кашля, за подписью "доктора А.Чехова". Аптечная сигнатурка у меня сохраняется.

Несмотря на болезнь, Чехов любил всякие шутки, пустячки, приятельские прозвища и вообще охотник был посмеяться{479}.

Помню, как хохотал он у себя в ялтинском кабинете над одним из своих же давнишних рассказов.

Однажды весенним вечером, года за два до смерти, Антон Павлович созвал нас к себе. Тут были Горький, /480/ Бунин, Елпатьевский... После ужина, в кабинете, Бунин, или "Букишон", как ласково называл его Чехов, предложил

прочитать вслух один из давних рассказов Чехонте, который А.П. давно забыл. Бунин, надо сказать, мастерски читал чеховские рассказы. И он начал читать.

Трогательно было видеть, как Антон Павлович сначала хмурился - неловко ему казалось слушать свое же сочинение, - потом стал невольно улыбаться, а потом, по мере развития рассказа, буквально трясся от хохота в своем мягком кресле, но молча, стараясь сдержаться.

- Вам хорошо, теперешним писателям, - нередко говорил он полушутя, полусерьезно. - Вас теперь хвалят за небольшие рассказы. А меня, бывало, ругали за это. Да как ругали! Бывало, коли хочешь называться писателем, так пиши роман, а иначе о тебе и говорить и слушать не станут, и в хороший журнал не пустят. Это я вам всем стену лбом прошибал для маленьких рассказов.

Его ласковое отношение к писателям более молодым, чем он сам, сказывалось во всем. Вот для примера письмо его ко мне от февраля 1903 года из Ялты: {480} "В "Словаре русского языка", изд. Академии наук, в шестом выпуске второго тома, мною сегодня полученного, показались и Вы. Так, на странице 1626, после слова "западать": "Из глаз полились холодные слезы и крупными каплями западали на усталую грудь". Телешов. "Фантастические наброски". Вот еще, на стр. 1814, после слова "запустить": "Повозки снова тронулись в путь по запущенной свежим снегом дороге". Телешов. "На тройках". И еще на стр. 1849, после слова "зарев": "Множество свечек горит перед образом, отливаясь мягким заревом на облачении попа". Телешов. "Именины". Стало быть, с точки зрения составителей словаря, Вы писатель образцовый, таковым и останетесь теперь на веки вечные... Крепко жму Вашу руку и желаю всего хорошего"...

"Это был обаятельный человек: скромный, милый". Так отзывался о Чехове Л.Н.Толстой {480}. И действительно, это был человек безусловно милый, очень скромный и сдержанный, даже строгий к самому себе. Так, например, когда он был очень болен и табачный дым в его комнате был для него ядом, он не мог и не решался /481/ сказать никому, кто дымил у него папиросой: "Бросьте. Не отравляйте меня. Не заставляйте меня мучиться". Он ограничился только тем, что повесил на стене, на видном месте, записку: "Просят не курить". И терпеливо молчал, когда некоторые посетители все-таки курили.

В свою очередь, к Толстому Антон Павлович относился всегда особенно уважительно и с любовью.

- Я боюсь смерти Толстого, - признавался он в 1900 году, когда Лев Николаевич опасно заболел. - Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его; во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не сделаешь - не так страшно, так как Толстой делает за всех. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, всякие озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения... {481}

Избранный в почетные академики, Чехов написал, как известно, резкий отказ от этого почетного звания {481}, когда узнал, что Горький, также избранный



в почетные академики, в этом звании не утвержден царским правительством по приказу самого царя Николая. Только Чехов и Короленко имели мужество поступить так и сложить с себя почетное звание в виде протеста.

Вспоминается случайный разговор с одним стариком, крестьянином из Лопасни, где Антон Павлович никому не отказывал в медицинской помощи. Старик был кустарь, шелкомотальщик, человек, видимо, зажиточный. Сидели мы рядом в вагоне Курской дороги, в третьем классе, на жесткой скамейке, и по-соседски разговорились от нечего делать. Узнав, что он из Лопасни, я сказал, что у меня есть там знакомый.

- Кто такой?

- Доктор Чехов.

- А... Антон Павлыч! - весело улыбнулся старик, точно обрадовался чему-то. Но сейчас же нахмурился и сказал: - Чудак-человек! - И добавил уже вовсе строго и неодобрительно: - Бестолковый! /482/

- Кто бестолковый?

- Да Антон Павлыч! Ну, скажи, хорошо ли: жену мою, старуху, ездил-ездил лечить - вылечил. Потом я захворал - и меня лечил. Даю ему денег, а он не берет. Говорю: "Антон Павлыч, милый, что ж ты это делаешь? Чем же ты жить будешь? Человек ты не глупый, дело свое понимаешь, а денег не берешь - чем тебе жить-то?.." Говорю: "Подумай о себе, куда ты пойдешь, если, неровен час, от службы тебе откажут? Со всяким это может случиться. Торговать ты не можешь; ну, скажи, куда денешься, с пустыми-то руками?.." Смеется - и больше ничего. "Если, говорит, меня с места прогонят, я тогда возьму и женюсь на купчихе". - "Да кто, говорю, кто за тебя пойдет-то, если ты без места окажешься?" Опять смеется, точно не про него и разговор.

Старик рассказывал, а сам крутил головой и вздыхал, а то по-хорошему улыбался. Видно было, что он искренне уважает своего "бестолкового" доктора, только не одобряет его поведения.

- Да. Хороший он человек, Антон Павлыч. Только трудно ему будет под старость. Не понимает он, что значит жить без расчета.

Эту жизнь "без расчета" показал, между прочим, один существенный случай из жизни.

А.П.Чехов заключил с издателем "Нивы", Марксом, договор, по которому за 75 тысяч рублей все сочинения Чехова поступали в вечное владение издателя - не только прежние, но и все будущие, сейчас же после их напечатания в журнале, и Чехов не имел права передавать никому и никогда перепечатку своих произведений даже для благотворительных изданий. Когда стало известно, что Маркс в первый же год от приложений к "Ниве" и от выпущенного отдельно собрания сочинений в 12 томах не только покрыл всю выданную им Чехову сумму, но и нажил сотни тысяч рублей, Горький написал Антону Павловичу письмо с предложением нарушить договор с Марксом:

"Пошлите-ка Вы этого жулика Маркса ко всем чертям... Я от лица "Знания" и от себя предлагаю Вам вот что: контракт с Марксом нарушите, деньги, сколько взяли у него, отдайте назад и даже с лихвой, коли нужно. Мы Вам

достанем сколько хотите. Затем отдайте /483/ Ваши книги печатать нам, то есть входите в "Знание" товарищем и издавайте сами. Вы получаете всю прибыль и не несете хлопот по изданию, оставаясь в то же время полным хозяином Ваших книг... Вы могли бы удешевить книги, издавая их в большем против Маркса количестве; Вас теперь читают в деревнях, читает городская беднота, и 1 р. 75 к. за книгу для этого читателя дорого. Голубчик! бросьте к черту немца! Ей-богу, он Вас грабит! Бесстыдно обворовывает!.. "Знание" может прямо гарантировать Вам известный, определенный Вами годовой доход, хоть в 25000. Подумайте над этим, дорогой Антон Павлович..." {483}

Говорят, что неотправленные письма нередко бывают интереснее и значительнее отправленных. Если это и не совсем так или не всегда так, то, во всяком случае, письмо, подписанное группой известных писателей, хотя бы и не отправленное по адресу вследствие особых причин, может представлять собой документ, не лишенный интереса. Одно из таких неотправленных писем, содержание которого связано с памятью Чехова, находилось у меня несколько лет, и о нем знали лишь весьма немногие. Письмо относится к тому далекому теперь времени, когда литературные друзья Чехова готовились к его двадцатипятилетнему юбилею. Над составлением письма немало потрудились Леонид Андреев и Максим Горький. По мысли инициаторов, под этим текстом предполагалось собрать подписи всей писательской и артистической Москвы, затем передать в Петербург и собрать там дальнейшие подписи. Бумагу, подписанную крупными представителями науки, литературы, художеств, музыки, театра, а также общественными деятелями, уполномочены были подать издателю "Нивы", А.Ф.Марксу, писатели Гарин-Михайловский и Ашешов и добиться от него определенного ответа к моменту юбилейного чествования.

Вот подлинный текст этого письма к Марксу:

"В настоящий момент, когда вся Россия готовится праздновать четвертьвековой юбилей А.П.Чехова, с особенной силой выдвигается вопрос, которым в последнее время болезненно интересуется русское /484/ общество и товарищи Антона Павловича. Дело заключается в поразительном и недопустимом несоответствии между деятельностью и заслугами Антона Павловича перед родной страной, с одной стороны, и необеспеченностью его материального положения - с другой.

Двадцать пять лет работает А.П.Чехов, двадцать пять лет неустанно будит он совесть и мысль читателя своими прекрасными произведениями, облитыми живою кровью его любящего сердца, и он должен пользоваться всем, что дается в удел честным работникам, - должен, иначе всем нам будет стыдно. Создав ряд крупных ценностей, которые на Западе дали бы творцу их богатство и полную независимость, Антон Павлович не только не богат - об этом не смеет думать русский писатель, - он просто не имеет того среднего достатка, при котором много поработавший и утомленный человек может спокойно отдохнуть без думы о завтрашнем дне. Иными словами, он должен жить тем, что зарабатывает сейчас,

- печальная и незаслуженная участь для человека, на которого обращены восторженные взоры всей мыслящей России, за которым, как грозный укор, стоят двадцать пять лет исключительных трудов, ставящих его в первые ряды мировой литературы. Совсем недавно, на наших глазах, маленькая страна, Польша, сумела проявить дух великой человечности, щедро одарив Генриха Сенкевича в его юбилейный год; неужели в огромной России Антон Павлович будет предоставлен капризу судьбы, лишившей его законнейших его прав?..

Нам известен Ваш договор с А.П.Чеховым, по которому все произведения его поступают в полную Вашу собственность за 75000 рублей, причем и будущие его произведения не свободны: по мере появления своего они поступают в Вашу собственность за небольшую плату, не превышающую обычного его гонорара в журналах, - с тою только огромной разницей, что в журналах они печатаются раз, а к Вам поступают навсегда. Мы знаем, что за год, протекший с момента договора, Вы в несколько раз успели покрыть сумму, уплаченную Вами А.П.Чехову за его произведения: помимо отдельных изданий, рассказы Чехова как приложение к журналу "Нива" должны были разойтись в сотнях тысяч экземпляров и с избытком вознаградить Вас за все понесенные Вами издержки. Далее, принимая в /485/ расчет, что в течение многих десятков лет Вам предстоит пользоваться доходами с сочинений Чехова, мы приходим к несомненному и печальному выводу, что А.П.Чехов получил крайне ничтожную часть действительно заработанного им. Бесспорно нарушая имущественные права Вашего контрагента, указанный договор имеет и другую отрицательную сторону - не менее важную для общей характеристики печального положения Антона Павловича: обязанность отдавать все свои новые вещи Вам, хотя бы другие издательства предлагали неизмеримо большую плату, должна тяжелым чувством зависимости ложиться на А.П.Чехова и, несомненно, отражаться на продуктивности его творчества. По одному из пунктов договора Чехов платит неустойку в 5000 рублей за каждый печатный лист, отданный им другому издательству. Таким образом, он лишен возможности давать свои произведения даже дешевым народным издательствам. И среди копеечных книжек, идущих в народ и на обложке своей несущих имена почти всех современных писателей, нет книжки с одним только - дорогим именем А.П.Чехова.

И мы просим Вас, в этот юбилейный год, исправить невольную, как мы уверены, несправедливость, до сих пор тяготевшую над А.П.Чеховым. Допуская, что в момент заключения договора Вы, как и Антон Павлович, могли не предвидеть всех последствий сделки, мы обращаемся к Вашему чувству справедливости и верим, что формальные основания не могут в данном случае иметь решающего значения. Случаи расторжения договоров при аналогичных обстоятельствах уже бывали - достаточно вспомнить Золя и его издателя Фескеля. Заключив договор с Золя в то время, когда последний не вполне еще определился как крупный писатель, могущий рассчитывать на огромную аудиторию, Фескель сам расторг этот договор и заключил новый, когда Золя занял во французской литературе подобающее ему место. И новый договор дал покойному писателю свободу и обеспеченность.

Для фактического разрешения вопроса мы просим принять наших уполномоченных: Н.Г.Гарина-Михайловского и Н.П.Ашешова.

Подписали бумагу: Федор Шаляпин, Леонид Андреев, Ю.Бунин, И.Белоусов, А.Серафимович, /486/ Е.Гославский, Сергей Глаголь, П.Кожевников, В.Вересаев, А.Архипов, Н.Телешов, Ив.Бунин, Виктор Гольцев, С.Найденов, Евгений Чириков".

Были все основания считать, что успех переговоров обеспечен, и освобождение Чехова казалось уже почти фактом.

Не вспомню теперь, как именно произошло все это: показали ли Чехову копию письма, или вообще передали ему о предполагаемом обращении к Марксу по поводу его освобождения, но только вскоре выяснилось, что дальнейшие подписи собирать не надо, потому что Антон Павлович, узнав про письмо, просил не обращаться с ним к Марксу. Не ручаюсь за достоверность, но вспоминается мне, что говорилось тогда приблизительно о таких словах самого Антона Павловича при отказе:

- Я своей рукой подписывал договор с Марксом, и отречься мне от него неудобно. Если я продешевил, то, значит, я и виноват во всем: я наделал глупостей. А за чужие глупости Маркс не ответчик. В другой раз буду осторожнее.

Тем дело и кончилось. Подлинное письмо с писательскими автографами задержалось и осталось у меня вместе со списком, к кому идти за дальнейшими подписями. Среди этих намеченных лиц значились: В.О.Ключевский, С.А.Муромцев, Ф.Н.Плевако, В.И.Сафонов, А.П.Ленский и многие из тех популярных в то время людей искусства и науки, кого теперь давно уже нет на свете. Да и из числа подписавших бумагу осталось в живых не более двух-трех человек.

Подлинник этого письма со всеми автографами я передал в свое время в Чеховскую комнату при Публичной библиотеке - ныне Государственная библиотека СССР имени Ленина, - где он теперь и находится {486}.

В Московском Художественном театре пьеса Чехова "Дядя Ваня" имела колоссальный успех. Никто, однако, не мог воссоздать рассказами ни сценических образов, ни передать автору действительное впечатление от исполнения и постановки пьесы. Надо было показать этот спектакль ему самому, чтобы он мог оценить и /487/ почувствовать его. И Художественный театр избирает местом своих гастролей именно Крым и едет в Севастополь с намерением показать "Дядю Ваню" своему любимому писателю.

Лично я не был свидетелем этого севастопольского спектакля {487}, так как жил в то время в Ялте, но вскоре слышал от самого Антона Павловича, что он был очень доволен и тронут, хотя из присущей ему авторской скромности и не выражал этого открыто.

После гастролей артисты переехали в Ялту на отдых, где съехалось и жило в то время немало писателей. Помню, был Горький с семьей, Елпатьевский, Мамин-Сибиряк, Куприн, Найденов, Бунин, Скиталец.

На другой же день по приезде группы в городском саду был устроен товарищеский обед, на котором участвовали артисты и писатели. Все перезнакомились, и это было началом крепкого сближения театра с Горьким, у которого созрел тогда план пьесы "На дне". Осенью пьеса была закончена и прочитана на "Среде", а затем поставлена в Художественном театре{487}. Сначала она называлась "На дне жизни" и под этим заглавием была напечатана за границей.

Чехов и Художественный театр всегда были близки друг другу. С самого возникновения театра и до смерти писателя эти близость и дружба росли, а взаимное понимание и уважение крепили. Как драматург Чехов был угадан, понят и разъяснен только одним Художественным театром. Его пьесы "Иванов" и прообраз "Дяди Вани" - "Леший" ставились в свое время на сценах Москвы: у Корша, у Абрамовой, но холодок среди зрителей и недоумение сопровождали эти постановки, а после знаменитого петербургского провала "Чайки" участь Чехова-драматурга, казалось, была решена бесповоротно{487}.

Но Художественный театр в 1898 году, в первый же год своей жизни, решил показать - по-своему - "Чайку". Он твердо верил в то новое, что давала никем не понятая чеховская пьеса, верил и в то, что хотел сказать этой пьесой сам автор. Победа была полная{487}, потрясающая, восторженная.

Весь Чехов как драматург был показан и раскрыт Художественным театром: "Чайка", "Дядя Ваня", "Иванов", "Три сестры", "Вишневый сад" и даже / 488/ инсценировки некоторых рассказов, в виде миниатюр, ставились на сцене МХТ{488}.

Известно, что Л.Н.Толстой, любя и уважая А.П.Чехова как писателя и как человека, к пьесам его относился отрицательно, хотя и приходил их смотреть.

В 1900 году, 24 января, Лев Николаевич видел в Художественном театре пьесу А.П.Чехова "Дядя Ваня". По окончании спектакля он был за кулисами, где расписался в книге почетных посетителей, и, между прочим, обратясь к артисту Вишневскому, сказал ему шутя:

- Хорошо вы играете дядю Ваню. Но зачем пристаёте к чужой жене, - завели бы себе свою скотницу.

Случай этот не выдуман{488}, а удостоверен театром. Очень характерно здесь то, что Л.Н. даже в шутке остался верен своим тогдашним взглядам и не зря употребил слово "скотница".

Как относился Художественный театр к творчеству Чехова, ясно видно из речи Станиславского на десятилетнем юбилее театра. Он говорил: "От Чехова из Ялты прилетела к нам Чайка; она принесла нам счастье и указала новые пути в нашем искусстве". А в речи Немировича-Данченко, обращенной к Чехову на премьере "Вишневого сада" в 1904 году, это отношение высказано еще более определенно.

Как сейчас вижу Антона Павловича, смущенно стоящего на сцене МХТ при открытом занавесе под гром и бурю аплодисментов на премьере его

последней пьесы. Ему подносят цветы, венки, адреса, говорят речи, а он смущенно молчит и не знает, куда глядеть. А Немирович-Данченко говорит ему от лица всего МХТ:

- Наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что ты по праву можешь сказать: "Это - мой театр".

Никаких сомнений нет и в том, как относился сам Чехов к Художественному театру. В одном из его писем значится: "Художественный театр - это лучшие страницы той книги, которая когда-либо будет написана о современном русском театре" {488}.

Последняя наша встреча была в Москве, накануне отъезда Чехова за границу. Случилось так, что я зашел к нему днем, когда в квартире никого не было, кроме /489/ прислуги. Перед отъездом было много всяких забот, и все его семейные хлопотали без устали.

Я уже знал, что Чехов очень болен, - вернее, очень плох, - и решил занести ему только прощальную записку, чтоб не тревожить его. Но он велел догнать меня и воротил уже с лестницы.

Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, но то, что я увидал, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом - до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться.

А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:

- Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.

Он сказал другое, не это слово, более жесткое, чем "умирать", которое не хотелось бы сейчас повторить.

- Умирать еду, - действительно говорил он. - Поклонитесь от меня товарищам вашим по "Среде". Хороший народ у вас подобрался. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю... Пожелайте им от меня счастья и успеха. Больше уже мы не встретимся.

Тихая, сознательная покорность отражалась в его глазах.

- А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня. Не забудьте.

Сомневаться в том, что мы видимся в последний раз, не приходилось. Было это так ясно. Я боялся заговорить в эти минуты полным голосом, боялся зашуметь сапогами. Нужна была какая-то нежная тишина, нужно было с открытой душой принять те немногие слова, которые были, несомненно, для меня последними и исходили от чистого и прекрасного - чеховского сердца.

На другой день он уехал.

А через месяц, в Баденвейлере, в ночь на 2 июля, когда все средства борьбы были уже исчерпаны, доктор велел дать больному шампанского. Но ведь больной был /490/ сам доктор и понимал значение этой меры. Он сел и как-то

значительно и громко сказал доктору по-немецки: "Ich sterbe"\*. Потом взял бокал, повернулся лицом к жене и с улыбкой проговорил последние слова в жизни:

\* Я умираю (нем.).

- Давно я не пил шампанского...

По словам жены, он покойно выпил глотками все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навеки. Наступившую жуткую тишину ночи нарушала только ворвавшаяся в окно большая черная ночная бабочка, которая мучительно билась о горящие электрические лампочки и металась по комнате.

Когда ушел доктор, среди полной тишины и духоты летней ночи вдруг со страшным шумом выскочила пробка из недопитой бутылки шампанского...

Начинало светать. Вскоре запели утренние птицы...

А затем - торжественные проводы иностранцев и казенное принятие на границе гроба русскими властями, незнакомыми даже с именем Чехова... Непростительное, грубое и дикое назначение "вагона для устриц" {490}, в котором с этой самой надписью, варварской для настоящего случая, и прибыло в Петербург тело писателя, почти без всякой встречи благодаря перепутанным телеграммам. И только на другой день, уже в Москве, огромные толпы народа, запрудившие всю вокзальную площадь, переполненные депутациями с венками и цветами станционные платформы внушительно подчеркнули значительность потери.

Как близкого, как любимого и родного, всей Москвой встретили мы и проводили Чехова до его могилы в Новодевичьем монастыре.

И вот начинается уже шестой десяток лет со дня его смерти, а имя Чехова становится все более и более славным, и не только на родине, среди нас, но и во всем культурном мире. Наша советская молодежь любит, уважает и много читает Чехова.

Творчество его многогранно, лирика поэтична, юмор его неисчерпаем, а вера в лучшее будущее человечества непоколебима.

"Глава о Чехове еще не кончена, - писал в свое время Станиславский. - Ее еще не прочли как следует, не вникли в ее сущность и преждевременно закрыли / 491/ книгу. Пусть же ее раскроют вновь, изучат и дочтут до конца" {491}.

И пора такая настала. Вся страна чтит память своего великого писателя, а любимая им Москва готовит ему достойный памятник на одной из лучших своих площадей.

Ровно тридцать лет пролежал в могиле на кладбище Новодевичьего монастыря цинковый гроб, прибывший с германской границы. При похоронах его засыпали сначала свежей землей, а сверх земли великим множеством цветов, зелени и лавров. Потом, через некоторый срок, поставили памятник.

И вот через тридцать лет без нескольких месяцев, 16 ноября 1933 года, в час дня, собралось возле могилы несколько человек. Здесь были немногие артисты Художественного театра - Книппер-Чехова, Москвин, Вишневский, были члены президиума Чеховского общества, фотограф, несколько родственников и

знакомых. День выдался очень студеной, совершенно зимней, с колючим снегом и ледяным ветром.

Почти три часа потребовалось на то, чтобы отбить застывшую землю и выбросить ее на снег. Терпеливо и безмолвно стояли собравшиеся долгое время. Какое-то жуткое настроение мешало разговаривать. А землю все копали и копали под налетами сухого, жгучего ветра. Уже зимние ранние сумерки начали нависать, когда наконец дорылись до цинковой крышки и начали подводить канаты, а затем с немалыми трудностями вытянули из ямы на поверхность, на белый снег, сильно помятый серый гроб и поставили его на дровяные салазки, кое-как сколоченные из тесовых остатков. Но Москвин возразил:

- Нет, товарищи! Давайте понесем на руках.

И первый взялся за металлическую скобку гроба.

Так со старого, упраздненного кладбища в торжественном безмолвии перенесли мы на руках на новое кладбище того же бывшего монастыря прах писателя, туда, где Художественному театру отведена большая площадь, засаженная вишневыми деревьями, цветущими весною.

В этом "вишневом саду" была уже приготовлена новая могила, вблизи аллеи с могилами артистов, а также писателей, умерших за последние годы; сюда же /492/ перенесен был недавно из бывшего Данилова монастыря прах Гоголя.

Молча подошли мы к новой - второй - чеховской могиле. Гроб стоял уже на помосте, и через минуту его начали опускать. Быстро и безмолвно засыпали яму, над которой вырос небольшой земляной холмик. В торжественном молчании прошло несколько минут у этого нового холмика. Жесткой снежной крупой быстро стал покрываться он, точно белой пеленой. Затем все молча разошлись по своим делам, по своим домам. Ранние зимние сумерки нависли над городской окраиной серою дымкой.

Возвращаясь с кладбища, я вышел из трамвая у памятника Пушкину. Я остановился перед ним и невольно снял с головы на минуту шапку. Мне подумалось: "От одного великого писателя - к другому великому писателю..."

И вспомнились мне тогда слова третьего великого писателя, Льва Николаевича Толстого, который со свойственной ему серьезностью и определенностью говорил:

- Чехов - это Пушкин в прозе!

## ***М.ГОРЬКИЙ. А.П.ЧЕХОВ***

Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочок земли и белый двухэтажный домик {493}. Там, показывая мне свое "имение", он оживленно заговорил:



- Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание - очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька, все!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное, острое внимание к его словам.

- Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если бы вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас - это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган /494/ возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него... унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, - вы понимаете? - воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтобы этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам лярингит, ревматизм, туберкулез... ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять месяцев в году живет, как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей - его обвинят в неблагонадежности, - глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков!.. Отвратительно все это... какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, - когда я вижу учителя, - мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват... серьезно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:

- Такая нелепая, неуклюжая страна - эта наша Россия.

Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой:

- Видите - целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте - чаю дам за то, что вы такой терпеливый...

Это часто бывало у него: говорит так тепло, серьезно, искренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей. И в этой мягкой, грустной усмешке

чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность... /495/

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой ласково повизгивала чем-то довольная собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

- Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам...

И тотчас же, засмеявшись, добавил:

- Я сегодня говорю все дряхлые слова... значит - старею!

Мне очень часто приходилось слышать от него:

- Тут, знаете, один учитель приехал... больной, женат - у вас нет возможности помочь ему? {495} Пока я его уже устроил...

Или:

- Слушайте, Горький, - тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему - хорошо?

Или:

- Вот учительницы просят прислать книг...

Иногда я заставлял у него этого "учителя": обыкновенно учитель, красный от сознания своей неловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить глаже и "образованнее", или, с развязностью болезненно застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова - слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, от чего сразу становился и умнее, и интереснее...

Помню, один учитель - высокий, худой, с желтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолически загнутым к подбородку, - сидел против Антона /496/ Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил:

- Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть не что иное, как только наше представление о нем...

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

- А скажите, - негромко и ласково спросил Чехов, - кто это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:

- Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

- Вы не волнуйтесь, - продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь, - разве я говорю про вас? Но я помню - читал в газетах - кто-то бьет, именно в вашем уезде...

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил:

- Верно! Был один случай. Это - Макаров. Знаете - неудивительно! Дико, но - объяснимо. Женат он, четверо детей, жена - больная, сам тоже - в чахотке, жалованье - двадцать рублей... а школа - погреб, и учителю - одна комната. При таких условиях - ангела божия поколотишь безо всякой вины, а ученики - они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно поражавший Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачивая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живет русская деревня...

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее, сказал:

- Шел я к вам, будто к начальству - с робостью и дрожью, надулся, как индейский петух, хотел показать вам, что, мол, и я не лыком шит... а ухожу вот - как от хорошего, близкого человека, который все понимает. Великое это дело - все понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль: крупные-то /497/ люди проще, и понятливее, и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас...

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку, и он неожиданно добавил:

- А собственно говоря, и подлецы - тоже несчастные люди, - черт их возьми!

Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

- Хороший парень. Недолго проучит...

- Почему?

- Затравят... прогонят...

Подумав, он добавил негромко и мягко:

- В России честный человек - что-то вроде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей...

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбы зубы и петушиные перья; все пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для "пущей важности", вызывало в

нем смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел перед собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А.Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренне свободен и никогда не считался с тем, чего одни - ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, - требовали. Он не любил разговоров на "высокие" темы, - разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов. /498/

Красиво простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы; наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика, и - начали "ставить вопросы".

- Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьезным, ласковым ответил:

- Вероятно - миром...

- Ну, да, конечно! Но кто же победит? Греки или турки?

- Мне кажется - победят те, которые сильнее...

- А кто, по-вашему, сильнее? - наперебой спрашивали дамы.

- Те, которые лучше питаются и более образованны...

- Ах, как это остроумно! - воскликнула одна.

- А кого вы больше любите - греков или турок? - спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

- Я люблю - мармелад... а вы - любите?

- Очень! - оживленно воскликнула дама.

- Он такой ароматный! - солидно подтвердила другая.

И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно - они очень довольны тем, что не нужно напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Антону Павловичу:

- Мы пришлем вам мармеладу!

- Вы славно беседовали! - заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:

- Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком {498}... /499/

Другой раз я застал у него молодого, красивенького товарища прокурора. Он стоял перед Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

- Рассказом "Злоумышленник" вы, Антон Павлович, ставите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве наличность злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в

тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не признавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему как к субъекту, действовавшему без разумения, и поддамся чувству сострадания, - чем я гарантирую общество, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нем был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревнителя правосудия.

- Если б я был судьей, - серьезно сказал Антон Павлович, - я бы оправдал Дениса...

- На каком основании?

- Я сказал бы ему: "Ты, Денис, еще не созрел до типа сознательного преступника, ступай - и дозрей!"

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьезен и продолжал:

- Нет, уважаемый Антон Павлович, - вопрос, поставленный вами, может быть разрешен только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис - дикарь, да, но он - преступник, вот истина!

- Вам нравится граммофон? - вдруг ласково спросил Антон Павлович.

- О да! Очень! Изумительное изобретение! - живо отозвался юноша.

- А я терпеть не могу граммофонов! - грустно сознался Антон Павлович.

- Почему?

- Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя. И все у них карикатурно выходит, мертво... А фотографией вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист - страстный поклонник /500/ фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь граммофоном, несмотря на свое сходство с этим "изумительным изобретением", тонко и верно подмеченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человечек, который пока еще чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

- Вот этикие прыщи на... сиденье правосудия - распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

- Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно - ершей!

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость - искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого судью.

Кто-то рассказывал при нем, что издатель популярного журнала, человек, постоянно рассуждающий о необходимости любви и милосердия к людям, -

совершенно неосновательно оскорбил кондуктора на железной дороге и что вообще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависимыми от него.

- Ну, еще бы, - сказал Антон Павлович, хмуро усмехаясь, - ведь он же аристократ, образованный... он же в семинарии учился! Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые ботинки... {500}

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало "аристократа" ничтожным и смешным.

- Очень талантливый человек! - говорил он об одном журналисте. - Пишет всегда так благородно, гуманно... лимонадно. Жену свою ругает при людях дурой. Комната для прислуги у него сырая, и горничные постоянно наживают ревматизм...

- Вам, Антон Павлович, нравится NN?

- Да... очень. Приятный человек, - покашливая, соглашается Антон Павлович. - Все знает. Читает много. У меня три книги зачитал. Рассеянный он, сегодня /501/ скажет вам, что вы чудесный человек, а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы шелковые носки украли, черные, с синими полосками...

Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть "серьезных" отделов в толстых журналах.

- А вы не читайте этих статей, - убежденно посоветовал Антон Павлович. - Это же дружеская литература... литература приятелей. Ее сочиняют господа Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем все это нужно читателю, - никто из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одетая, и начала говорить "под Чехова":

- Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди, небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет желаний... душа в тоске... Точно какая-то болезнь...

- Это - болезнь! - убежденно сказал Антон Павлович. - Это болезнь. По-латыни она называется morbus\* pritvorialis.

---

\* болезнь (лат.).

Дама, к ее счастью, видимо, не знала по-латыни, а может быть, скрыла, что знает.

- Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю, - говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой. - Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет и жужжит. Нужно встряхивать кожей и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто - характер у него беспокойный и заявить о себе хочется - мол, тоже на земле живу! Вот видите - могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только

однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором{501}...

В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порою эти глаза /502/ становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда - мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей.

Порою же казалось мне, что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному, тихому отчаянию.

- Странное существо - русский человек! - сказал он однажды. - В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам{502}. Чтобы хорошо жить, по-человечески - надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме "Новостей терапии", не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни - простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони, - об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия - страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них - собачья: бьют их - они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают - они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при /503/ нем ругнешь кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится:

- Ну, зачем вы? Он же старик, ему же семьдесят лет...

Или:

- Он же ведь еще молодой, это же по глупости...

И, когда он говорил так, - я не видел на его лице безразличности...

В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, но понемногу она окружает человека, своим серым туманом пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, изъеденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? - не разберешь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом море пошлости ее трагически мрачные шутки; стоит только внимательно прочитать его "юмористические" рассказы, чтобы убедиться, как много за смешными словами и положениями - жестокого и противного скорбно видел и стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целомудренно скромн, он не позволял себе громко и открыто сказать людям: "да будьте же вы... порядочнее!" - тщетно надеясь, что они сами догадаются о настоящей необходимости для них быть порядочнее. Ненавидя все пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрасной внешностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутренний смысл.

Почтеннейшая публика, читая "Дочь Альбиона", смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, /504/ кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их.

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже - с блеском... И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положив его труп - труп поэта - в вагон для перевозки "устриц" {504}.

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мне именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим врагом, а бесчисленные "воспоминания" уличных газет - лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего.

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие люди. Все так странно - одиноко, неподвижно и бессильно. Углубленные синие дали - пустынные и, сливаясь с бледным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую мерзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает "Душечка" - милая, кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке, и она даже застонать громко



не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней грустно стоит Ольга из "Трех сестер": она тоже много любит и безропотно подчиняется капризам развратной и пошлой жены своего лентяя брата, на ее глазах ломается жизнь ее сестер, а она плачет и никому ничем не может помочь, и ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости нет в ее груди. /505/

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева "Вишневого сада" - эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики. Они опоздали вовремя умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, ничего не понимая, - паразиты, лишённые силы снова присосаться к жизни. Дрянненький студент Трофимов красно говорит о необходимости работать и - бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через триста лет, и живет, не замечая, что около него все разлагается, что на его глазах Солёный от скуки и по глупости готов убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли; идут рабы темного страха пред жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем - нет им места...

Иногда в их серой массе раздаётся выстрел, это Иванов или Треплев догадались, что им нужно сделать, и - умерли.

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

- Скверно вы живете, господа!

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется. Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На форте Инно бухают пушки, их "пристреливают". По ночам лижет облака длинный язык прожектора, зрелище отвратительное, ибо не дает забыть о дьявольском наваждении - войне.

Читал Чехова. Если б он не умер десять лет тому /506/ назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Вспомнил его похороны.

Гроб писателя, так "нежно любимого" Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: "Для устриц". Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова

шагало человек сто, не более; {506} очень памятни два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках - женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В.А.Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

- Ах, он был удивительно милый и так остроумен...

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околоточный на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

В одном из писем к старику А.С.Суворину Чехов сказал:

"Нет ничего скучнее и непоэтичнее, так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию" {506}.

Этим словами выражено очень русское настроение, вообще, на мой взгляд, не свойственное А.П. В России, где всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит большинство. Русский любит энергию, но - плохо верит в нее. Писатель активного настроения - например, Джек Лондон - невозможен в России. Хотя книги Лондона читаются у нас охотно, но я не вижу, чтоб они возбуждали волю русского человека к деянию, они только раздражают воображение {506}. Но Чехов - не очень русский в этом смысле. Для него еще в юности /507/ "борьба за существование" развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных мелких забот о куске хлеба не только для себя, - о большом куске хлеба. Этим заботам, лишенным радостей, он отдал все силы юности, и надо удивляться: как он мог сохранить свой юмор? Он видел жизнь только как скучное стремление людей к сытости, покою; великие драмы и трагедии ее были скрыты для него под толстым слоем обыденного. И лишь освободясь немного от заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как А.П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накапливать их, не устает любоваться ими как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

- Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!

Затеяв писать пьесу "Васька Буслаев" {507}, я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

Эхма, кабы силы да поболе мне!

Жарко быдохнул я - снега бы растопил,  
Круг земли пошел бы да всю распахал,  
Век бы ходил - города городил,  
Церкви бы строил да сады всё сажил!  
Землю разукрасил бы - как девушку,  
Обнял бы ее - как невесту свою,  
Поднял бы я землю ко своим грудям,  
Поднял бы, понес ее ко господу:  
- Глянь-ко ты, господи, земля-то какова, -  
Сколько она Васькой изукрашена!  
Ты вот ее камнем пустил в небеса,  
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!  
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,  
Как она зелено на солнышке горит!  
Дал бы я тебе ее в подарочек,  
Да - накладно будет - самому дорога! /508/

Чехову понравился этот монолог; взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А.Н.Алексину:

- Это хорошо... Очень настоящее, человеческое! Именно в этом "смысл философии всей". Человек сделал землю обитаемой, он сделает ее и уютной для себя. - Кивнув упрямо головой, повторил: - Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, выслушал, глядя в окно, и посоветовал:

- Две последние строчки - не надо, это озорство. Лишнее...

О своих литературных работах он говорил мало, неохотно; хочется сказать - целомудренно и с тою же, пожалуй, осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь, расскажет тему, всегда - юмористическую.

- Знаете - напишу об учительнице, она атеистка - обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов ночи, варит в бане черного кота, чтоб достать "дужку" - косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь, - есть такая косточка...

О своих пьесах он говорил как о "веселых" и, кажется, был искренне уверен, что пишет именно "веселые пьесы". Вероятно, с его слов Савва Морозов упрямо доказывал: "Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии".

Но вообще к литературе он относился со вниманием очень зорким, особенно же трогательно - к "начинающим писателям". Он с изумительным терпением читал обильные рукописи Б.Лазаревского, Н.Олигера и многих других.

- Нам нужно больше писателей, - говорил он. - Литература в нашем быту все еще новинка и "для избранных". В Норвегии на каждые двести двадцать шесть человек населения - один писатель, а у нас - один на миллион...

Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям. /509/

Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:

- Жить для того, чтоб умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, - уж совсем глупо...

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая в даль, в море, неожиданно, сердито проговорил:

- Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицеймейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет - еще лучше, и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра. В общем - жизнь с каждым днем становится все сложнее и движется куда-то сама собою, а люди - заметно глупеют, и все более людей остается в стороне от жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:

- Точно нищие калеки во время крестного хода.

Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов; пациенты только чувствуют, а врач еще и знает кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть.

Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся, - какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы мог еще смеяться так - скажу - "духовно".

Грубые анекдоты никогда не смешили его.

Смеясь так мило и душевно, он рассказывал мне:

- Знаете, почему Толстой относится к вам так неровно? Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше, чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: "Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живет у него. Сулеру это вредно. Горький - злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо /510/ всем доносит какому-то своему богу. А бог у него - урод, вроде лешего или водяного деревенских баб".

Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и, отирая слезы, продолжал:

- Я говорю: "Горький добрый". А он: "Нет, нет, я знаю. У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть чутье к хорошему человеку. Вот Сулер - он обладает

действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он - гениален. Уметь любить - значит все уметь..."

Отдохнув, Чехов повторил:

- Да, старик ревнует... Какой удивительный...

О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах, говорил, понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал острые, неожиданные и, часто, противоречивые мысли старого мудреца.

- Вот бы вы занялись этим, - убеждал он Сулержицкого, - Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

О Сулере Чехов сказал мне:

- Это - мудрый ребенок...

Очень хорошо сказал.

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется - "Душенькой". Он говорил:

- Это - как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, "вековуши", они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево. - Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах {510}.

А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:

- Там - опечатки... /511/

О Чехове можно написать много, по необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал "Степь", рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво грустный. Рассказ - для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек - ось мира.

А - скажут - пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб - сладко питает.

I

Я познакомился с ним в Москве, в конце девяносто пятого года. Мне запомнилось несколько характерных фраз его.

- Вы много пишете? - спросил он меня как-то.

Я ответил, что мало.

- Напрасно, - почти угрюмо сказал он своим низким, грудным голосом. - Нужно, знаете, работать... Не покладая рук... всю жизнь.

И, помолчав, без видимой связи прибавил:

- По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем... И короче, как можно короче надо писать.

После Москвы мы не виделись до весны девяносто девятого года{512}. Приехав этой весной на несколько дней в Ялту, я однажды вечером встретил его на набережной.

- Почему вы не заходите ко мне? - сказал он. - Непременно приходите завтра.

- Когда? - спросил я.

- Утром, часу в восьмом.

И, вероятно заметив на моем лице удивление, он пояснил:

- Мы встаем рано. А вы?

- Я тоже, - сказал я.

- Ну, так вот и приходите, как встанете. Будем пить /513/ кофе. Вы пьете кофе? Утром надо пить не чай, а кофе. Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром - кофе, в полдень - бульон.

Потом мы молча прошли набережную и сели в сквере на скамью.

- Любите вы море? - сказал я.

- Да, - ответил он. - Только уж очень оно пустынно.

- Это-то и хорошо, - сказал я.

- Не знаю, - ответил он, глядя куда-то вдаль и, очевидно, думая о чем-то своем. - По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом... Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку...

И, по своей манере, помолчал и без видимой связи прибавил:

- Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? "Море было большое". И только. По-моему, чудесно{513}.

В Москве я видел человека средних лет, высокого, стройного, легкого в движениях; встретил он меня приветливо, но так просто, что я принял эту простоту за холодность. В Ялте я нашел его сильно изменившимся: он похудел, потемнел в лице, двигался медленнее, голос его звучал глуше. Но, в общем, он был почти тот же, что в Москве: приветлив, но сдержан, говорил довольно оживленно, но еще более просто и кратко и во время разговора все думал о чем-то своем, предоставляя собеседнику самому улавливать переходы в скрытом течении

своих мыслей, и все глядел на море сквозь стекла пенсне, слегка приподняв лицо. На другое утро после встречи на набережной я поехал к нему на дачу. Хорошо помню это солнечное утро, которое мы провели в его садике. С тех пор я начал бывать у него все чаще, а потом стал и совсем своим человеком в его доме. Сообразно с этим изменилось и отношение его ко мне, стало сердечнее, проще...

Белая каменная дача в Аутке, ее маленький садик, который с такой заботливостью разводил он, всегда любивший цветы, деревья, его кабинет, украшением которого служили только две-три картины Левитана{513} да большое полукруглое окно, открывавшее вид на утонувшую в садах долину Учан-Су и синий треугольник /514/ моря, - те часы, дни, иногда даже недели, которые проводил я на этой даче, навсегда останутся памяты мне...

Наедине со мной он часто смеялся своим заразительным смехом, любил шутить, выдумывать разные разности, нелепые прозвища; как только ему хоть немного становилось лучше, он был неистощим на все на это. Любил разговоры о литературе. Говоря о ней, часто восхищался Мопассаном, Толстым. Особенно часто он говорил именно о них да еще о "Тамани" Лермонтова.

- Не могу понять, - говорил он, - как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!

Часто говорил:

- Никому не следует читать своих вещей до напечатания. Никогда не следует слушать ничьих советов. Ошибся, соврал - пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. В работе надо быть смелым. Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять - и лаять тем голосом, какой господь бог дал.

Почти про всех умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбия. Но он действительно радовался всякому таланту, и не мог не радоваться: слово "бездарность" было, кажется, высшей бранью в его устах. К своим собственным литературным успехам он относился с затаенной горечью.

- Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать!

- Знаю-с я эти юбилей! Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахинею!

- Читали, Антон Павлович? - скажешь ему, увидав где-нибудь статью о нем.

Он только лукаво покосится поверх пенсне:

- Покорно вас благодарю! Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: "А вот еще есть писатель Чехов: нытик..." А какой я нытик? Какой я "хмурый человек", какая я "холодная кровь", как называют меня критики? Какой я "пессимист"? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ - "Студент" {514}. И слово-то противное: "пессимист"... /515/

И порою прибавит:

- Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грешных: нас, как в бурсе, критики драли за малейшую

провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство {515}.

- Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным как лед, - сказал он однажды.

"Публикует "Скорпион" о своей книге неряшливо, - писал он мне после выхода первой книги "Северных цветов". - Выставляет меня первым, и я, прочитав это объявление в "Русских ведомостях", поклялся больше уже никогда не водиться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами" {515}.

Он дал тогда, по моему настоянию, в альманах "Скорпиона" один из своих юношеских рассказов ("В море") {515}. Впоследствии в этом раскаивался.

- Нет, все это новое московское искусство - вздор, - говорил он. - Помню, в Таганроге я видел вывеску: "Заведение искусственных минеральных вод". Вот и это то же самое. Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново.

Одно из моих последних воспоминаний о нем относится к ранней весне 1903 года. Ялта, гостиница "Россия". Уж поздний вечер. Вдруг зовут к телефону. Подхожу и слышу:

- Милсдарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься.

- Кататься? Ночью? Что с вами, Антон Павлович?

- Влюблен.

- Это хорошо, но уже десятый час. И потом - вы можете простудиться...

- Молодой человек, не рассуждайте-с!

Через десять минут я был в Аутке. В доме, где он зимою жил только с матерью, была, как всегда, тишина, темнота, тускло горели две свечи в кабинете. И, как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого кабинета, где для него протекло столько одиноких зимних вечеров.

- Чудесная ночь! - сказал он с необычной для него /516/ мягкостью и какой-то грустной радостью, встречая меня. - А дома - такая скука! Только и радости, что затрещит телефон да кто-нибудь спросит, что я делаю, а я отвечу: мышей ловлю. Поедемте в Ореанду.

Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облаками. Экипаж катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на блестящую равнину моря. Потом пошел лес с легкими узорами теней, за ним зачернели толпы кипарисов, возносившихся к звездам. Когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, он внезапно сказал, приостанавливаясь:

- Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь.

- Почему семь? - спросил я.



- Ну, семь с половиной.

- Вы грустны сегодня, Антон Павлович, - сказал я, глядя на его лицо, бледное от лунного света.

Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки, но когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня.

- Это вы грустны, - ответил он. - И грустны оттого, что потратились на извозчика.

А потом серьезно прибавил:

- Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам...

Прожил он не шесть лет, а всего год с небольшим.

Одно из его последних писем я получил в январе следующего года в Ницце:

"Здравствуйте, милый И.А.! С Новым годом, с новым счастьем! Письмо Ваше получил, спасибо. У нас в Москве все благополучно, нового (кроме Нового года) ничего нет и не предвидится, пьеса моя еще не шла, и когда пойдет - неизвестно... Очень возможно, что в феврале я приеду в Ниццу... Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите в свое полное удовольствие, утешайтесь, пишите почаще Вашим друзьям... Будьте здоровы, веселы, счастливы и не забывайте бурых северных компатриотов, страдающих несварением и дурным расположением духа. Целую Вас и обнимаю" {516}.

1904 г. /517/

## II

Однажды он сказал (по своему обыкновению, внезапно):

- Знаете, какая раз была история со мной?

И, посмотрев некоторое время в лицо мне через пенсне, принялся хохотать:

- Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице московского Благородного собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южин-Сумбатов, держит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, говорит ему: "Да пойми же ты, что ты теперь первый, первый писатель в России!" - И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: "И он..."

Многим это покажется очень странным, но это так: он не любил актрис и актеров, говорил о них:

- На семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества. Пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди. Вот, например, вспоминаю Соловцова...

- Позвольте, - говорю я, - а помните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру после его смерти?

- Мало ли что приходится писать в письмах, телеграммах. Мало ли что и про что говоришь иногда, чтобы не обижать...

И, помолчав, с новым смехом:

- И про Художественный театр...

В его записной книжке есть кое-что, что я слышал от него самого. Он, например, не раз спрашивал меня (каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смеясь от всей души):

- Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую всегда думаешь, что у нее под корсажем жабры?

Не раз говорил:

- В природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей наоборот: из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница... /518/

- Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости...

- Когда бездарная актриса ест куропатку, мне жаль куропатку, которая была во сто раз умней и талантливей этой актрисы...

- Савина, как бы там ни восхищались ею, была на сцене то же, что Виктор Крылов среди драматургов...

Иногда говорил:

- Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями... Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден! Как восхищался Давыдовой! Придет, бывало, к ней Мамин-Сибиряк: "Александра Аркадьевна, у меня ни копейки, дайте хоть пятьдесят рублей авансу". - "Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что я запру вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива и выпущу только тогда, когда вы постучите и скажете мне, что у вас готов рассказ".

А иногда говорил совсем другое:

- Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи... Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор - три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно - писателю...

Говоря о Толстом, он как-то сказал:

- Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям, или, лучше сказать, не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня... Отчего хвалит? Оттого, что он смотрит на нас как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него детские игры, и поэтому он, в сущности, одними глазами глядит и на Мопассана и на Семенова. Вот Шекспир - другое дело. /519/ Это уже взрослый и раздражает его, что пишет не по-толстовски... {519}

Однажды, читая газеты, он поднял лицо и не спеша, без интонаций сказал:  
- Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов...

Теперь он выделен. Но, думается, и до сих пор не понят как следует: слишком своеобразный, сложный был он человек, душа скрытная.

Замечательная есть строка в его записной книжке:

"Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу один".

В ту же записную книжку он занес такие мысли:

"Как люди охотно обманываются, как любят они пророков, вещателей, какое это стадо!"

"На одного умного полагается 1000 глупых, на одно умное слово приходится 1000 глупых, и эта тысяча заглушает".

Его заглушали долго. До "Мужиков", далеко не лучшей его вещи, большая публика охотно читала его; но для нее он был только занятный рассказчик, автор "Винта", "Жалобной книги". Люди "идейные" интересовались им, в общем, мало: признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрели, - помню, как некоторые из них искренне хохотали надо мной, юнцом, когда я осмелился сравнивать его с Гаршиным, Короленко, а были и такие, которые говорили, что и читать-то никогда не станут человека, начавшего писать под именем Чехонте: "Нельзя представить себе, - говорили они, - чтобы Толстой или Тургенев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой".

Настоящая слава пришла к нему только с постановкой его пьес в Художественном театре. И, должно быть, это было для него не менее обидно, чем то, что только после "Мужиков" заговорили о нем: ведь и пьесы его далеко не лучшее из написанного им, а кроме того, это ведь значило, что внимание к нему привлек театр, то, что тысячу раз повторилось его имя на афишах, что запомнились "22 несчастья", "глубокоуважаемый шкаф", "человека забыли" {519}... Он часто сам говорил: /520/

- Какие мы драматурги! Единственный, настоящий драматург - Найденов: прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри. Он должен теперь еще десять пьес написать и девять раз провалиться, а на десятый опять такой успех иметь, что только ахнешь!

И, помолчав, вдруг заливался радостным смехом:

- Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем, и обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: "Поцелуйте меня", и, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и этаким энергичной старческой скороговоркой: "А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!"

Долго иначе не называли его, как "хмурым" писателем, "певцом сумеречных настроений", "большим талантом", человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно.

Теперь гнут палку в другую сторону. "Чеховская нежность, грусть, теплота", "чеховская любовь к человеку..." Воображаю, что чувствовал бы он сам, читая про свою "нежность"! Еще более были бы противны ему "теплота", "грусть".

Говоря о нем, даже талантливые люди порой берут неверный тон. Например, Елпатьевский: "Я встречал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям. Его всегда влекли к себе тихие долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами..." Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как "простота и задушевность" {520}, приписывает ему "печаль о призраках" {520}. Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его беспощаднейшим талантом {520}.

Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное действовало на него резко; сам он говорил прекрасно - всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, /521/ сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом.

К "высоким" словам чувствовал ненависть. Замечательное место есть в одних воспоминаниях о нем: "Однажды я пожаловался Антону Павловичу: "Антон Павлович, что мне делать? Меня рефлексия заела!" И Антон Павлович ответил мне: "А вы поменьше водки пейте" {521}.

Верно, в силу этой ненависти к "высоким" словам, к неосторожному обращению со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами.

- Это стоит всего Урениуса, - сказал он однажды, вспомнив "Парус" Лермонтова.

- Какого Урениуса? - спросил я.

- А разве нет такого поэта?

- Нет.

- Ну, Упрудиуса {521}, - сказал он серьезно.

- Вот умрет Толстой, все к черту пойдет! - говорил он не раз.
- Литература?
- И литература.

Про московских "декадентов", как тогда называли их, он однажды сказал:

- Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики! Их бы в арестантские роты отдать...

Про Андреева тоже не лестно:

- Прочитаю страницу Андреева - надо после того два часа гулять на свежем воздухе.

Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов: со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтения, никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забытым, лишним. И всех неизменно держал на известном расстоянии от себя.

Чувство собственного достоинства, независимости было у него очень велико. /522/

- Боюсь только Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна{522} сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте!

- Seriously, я его боюсь, - говорит он, смеясь и как бы радуясь этой боязни.

И однажды чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому.

Сбросил пенсне, помолодел и, мешая, по своему обыкновению, шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах:

- Нет, эти неприлично узки! Подумает: шелкопер!

И шел надевать другие, и опять выходил, смеясь:

- А эти шириной с Черное море! подумает: нахал...

Однажды он, в небольшой компании близких людей, поехал в Алупку и завтракал там в ресторане, был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке:

- Господа! Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антона Павловича, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений...

Поблуднев, он встал и вышел.

Я подолгу жила в Ялте и почти все дни проводил у него. Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил:

- Приезжайте завтра пораньше.

Он на некоторых буквах шепелявил, голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, как бы бормоча: трудно было иногда понять, серьезно ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенсне, прикладывал руки к сердцу с едва уловимой улыбкой на бледных губах, отдельно повторял:

- Ну, убедительнейше вас прошу, господин маркиз Букишон! Если вам будет скучно со старым забытым писателем, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с моей женой, венгеркой Книпшиц... Будем говорить о литературе...

Я приезжал, и случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал множество. Он говорил: "Давайте газеты /523/ читать и выуживать из провинциальной хроники темы для драм и водевилей". Иногда попадалось кое-что обо мне, чаще всего что-нибудь очень неумное, и он спешил смягчить это:

- Обо мне же еще глупее писали, обо мне говорили еще злее, а то и совсем молчали...

Случалось, что во мне находили "чеховское настроение". Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью:

- Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали "тургеневскими нотами". Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: "море пахнет арбузом"... Это чудесно, но я бы так не сказал. Вот про курсистку - другое дело...

- Про какую курсистку?

- А помните, мы с вами выдумывали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннейший почтовый поезд... А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстого господина, высунувшегося из другого окна...

Иногда он вдруг опускал газету, сбрасывал пенсне и принимался тихо и сладко хохотать.

- Что такое вы прочли?

- Самарский купец Бабкин, - хохоча, отвечал он тонким голосом, - завещал все свое состояние на памятник Гегелю.

- Вы шутите?

- Ей-богу, нет, Гегелю.

А то, опуская газету, внезапно спрашивал:

- Что вы обо мне будете писать в своих воспоминаниях?

- Это вы будете обо мне писать. Вы переживете меня.

- Да вы мне в дети годитесь.

- Все равно. В вас народная кровь.

- А в вас дворянская. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются.

Прочтите-ка мою повесть "Три года". А потом вы же здоровеннейший мужчина, только худы очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитные капли и будете жить сто лет. Я пропишу вам нынче же, /524/ я ведь доктор. Ко мне сам Никодим Палыч Кондаков обращался, и я его от геморроя вылечил. А в воспоминаниях обо мне не пишите, что я был "симпатичный талант и кристальной чистоты человек".

- Это про меня писали, - говорил я, - писали, будто я симпатичное дарование.

Он принимался хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.

- Пойдите, а как это про вас Короленко написал?

- Это не Короленко, а Златовратский. Про один из моих первых рассказов. Он написал, что этот рассказ "сделал бы честь и более крупному таланту".

Он со смехом падал головой на колени, потом надевал пенсне и, глядя на меня зорко и весело, говорил:

- Все-таки это лучше, чем про меня писали. Нас, как в бурсе, критики каждую субботу драли. И поделом. Я начал писать как последний сукин сын. Я ведь пролетарий. В детстве, в нашей таганрогской лавочке, я сальными свечами торговал. Ах, какой там проклятый холод был! А я все-таки с наслаждением заворачивал эту ледяную свечку в обрывок хлопчатой бумаги. А нужник у нас был на пустыре, за версту от дома. Бывало, прибежишь туда ночью, а там жулик ночует. Испугаемся друг друга ужасно! - Только вот вам мой совет, - вдруг прибавлял он, - перестаньте быть дилетантом, сделайте хоть немного мастеровым. Это очень скверно, как я должен был писать - из-за куска хлеба, но в некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновенья.

Потом, помолчав:

- А Короленке надо жене изменить, обязательно, - чтобы начать получше писать. А то он чересчур благороден. Помните, как вы мне рассказывали, что он до слез восхищался однажды стихами в "Русском богатстве" какого-то Вербова или Веткова, где описывались "волки реакции", обступившие певца, народного поэта, в поле, в страшную метель, и то, как он так звучно ударил по струнам лиры, что волки в страхе разбежались? {524} Это вы правду рассказывали?

- Честное слово, правду.

- А кстати: вы знаете, что в Перми все извозчики похожи на Добролюбова? /525/

- Вы не любите Добролюбова?

- Нет, люблю. Это же порядочные были люди. Не то что Скабичевский, который писал, что я умру под забором от пьянства, так как у меня "искры божьей нет" {525}.

- Вы знаете, - говорил я, - мне Скабичевский сказал однажды, что он за всю свою жизнь не видал, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал.

- Ну, вот, вот, а всю жизнь про народ и про рассказы из народного быта писал... Да, страшно вспомнить, что обо мне писали! И кровь-то у меня холодная - помните у меня рассказ "Холодная кровь"? - и изображать-то мне решительно все равно, что именно - собаку или утопленника, поезд или первую любовь... {525} Меня еще спасали "Хмурые люди", - находили, что это рассказы все-таки стоящие, потому что там будто бы изображена реакция восьмидесятых годов. Да еще рассказ "Припадок" - там "честный" студент с ума сходит при мысли о проституции. А я русских студентов терпеть не могу - они же лодыри...

Раз, когда он опять как-то стал шутя приставать ко мне, что именно напишу я о нем в своих воспоминаниях, я ответил:

- Я напишу прежде всего, как и почему я познакомился с вами в Москве. Это было в девяносто пятом году, в декабре. Я не знал, что вы приехали в Москву. Но вот сидим мы однажды с одним поэтом в "Большом Московском", пьем красное вино, слушаем машину, а поэт все читает свои стихи, все больше и больше собой восторгаясь. Вышли мы очень поздно, и поэт был уже так возбужден, что и на лестнице продолжал читать. Так, читая, он стал и свое пальто на вешалке искать. Швейцар ему нежно: "Позвольте, господин, я сам найду..." Поэт на него зверем: "Молчать, не мешай!" - "Но позвольте, господин, это не ваше пальто..." - "Как, негодяй? Значит, я чужое пальто беру?" - "Так точно, чужое-с". - "Молчать, негодяй, это мое пальто!" - "Да нет же, господин, это не ваше пальто!" - "Тогда говори сию же минуту, чье?" - "Антон Павловича Чехова". - /526/ "Врешь, я убью тебя за эту ложь на месте!" - "Есть на то воля ваша, только это пальто Антона Павловича Чехова". - "Так, значит, он здесь?" - "Всегда у нас останавливаются..." И вот, мы чуть не кинулись к вам знакомиться, в три часа ночи. Но, к счастью, удержались и пришли на другой день, и на первый раз не застали - видели только ваш номер, который убирала горничная, и вашу рукопись на столе. Это было начало "Бабьего царства">{526}.

Он помирал со смеху и говорил:

- Кто этот поэт, догадываюсь. Бальмонт, конечно. А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столе? Значит, подсмотрели?

- Простите, дорогой, не удержались.

- А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо - закатиться куда-нибудь ночью, внезапно. Я люблю рестораны.

Необыкновенно радовался он однажды, когда я рассказал ему, что наш сельский дьякон до крупинки съел как-то, на именинах моего отца, фунта два икры. Этой историей он начал свою повесть "В овраге".

Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.

Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе:

- Ровно сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам, молодым, чета! Работник! Хотите, парочку продам?

Иногда он разрешал себе вечерние прогулки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу - за последние дни много смочил платков кровью, - молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит: /527/

- А слышали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!



Я останавливаюсь от изумления, а он быстро шепчет:  
- Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина.

Один писатель жаловался: "До слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать!"

- Ах, что вы, что вы! - воскликнул он. - Это же чудесно - плохо начать! Поймите же, что, если у начинающего писателя сразу выходит все честь честью, ему крышка, пиши пропало!

И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди способные, то есть не оригинальные, таланта, в сущности, лишенные, потому что способность равняется уменью приспособляться и "живет она легко", а талант мучится, ища проявления себя.

По берегам Черного моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смешанное с презрением, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищением сказать, какой это трудолюбивый, честный народ.

Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде.

Руки у него были большие, сухие, приятные.

Как почти все, кто много думает, он нередко забывал то, что уже не раз говорил.

Помню его молчание, покашливание, прикрывание глаз, думу на лице, спокойную и печальную, почти важную. Только не "грусть", не "теплоту".

Крымский зимний день, серый, прохладный, сонные густые облака на Яйле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгении Яковлевны. Он, без пенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша, аккуратно записывает что-то. Потом встает, /528/ надевает пальто, шляпу, кожаные мелкие калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодые деревца, идет к скамеечке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки. Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается: блохи ползут по розовому брюшку... Потом, прислонясь к скамье, смотрит вдаль, на Яйлу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора...

Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? Думаю, что нет.

"Любовь, - писал он в своей записной книжке, - это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь".

Что думал он о смерти?

Много раз старательно-твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме - сущий вздор:

- Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что бессмертие - вздор.

Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:

- Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие - факт. Вот погодите, я докажу вам это...

Последнее время часто мечтал вслух:

- Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот... /529/

Его "Архиерей" прошел незамеченным - не то что "Вишневый сад" с большими бумажными цветами, невероятно густо белевшими за театральными окнами. И кто знает, что было бы с его славой, не будь "Винта", "Мужиков", Художественного театра!

"Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят... И ей в самом деле не все верили..." {529}

Последнее письмо я получил от него из-за границы, в середине июня 1904 года, живя в деревне. Он писал, что чувствует он себя недурно, заказал себе белый костюм, огорчается только за Японию, "чудесную страну", которую, конечно, разобьет и раздавит Россия {529}. Четвертого июля я поехал верхом в село на почту, взял там газеты, письма и завернул в кузницу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, - и вдруг точно ледяная бритва полоснула мне по сердцу...

Смерть его ускорила простуда. Перед отъездом из Москвы за границу он пошел в баню и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано: встретился в предбаннике с Сергееenko и бежал от него, от его навязчивости, болтливости...

Это тот самый Сергееenko, который много лет надоедал Толстому ("Как живет и работает Толстой") и которого Чехов за его худобу и длинный рост, неизменный черный костюм и черные волосы называл так:

- Погребальные дроги стоймя.

1914 г. /530/

### [ДОПОЛНЕНИЯ]

Мы сидели, как обычно, в кабинете Антона Павловича и почему-то заговорили о наших крестных отцах:

- Вас крестил генерал Сипягин, а вот меня купеческий брат Спиридон Титов. Слыхали такое звание?

- Нет.

И Антон Павлович протянул мне метрическое свидетельство. Я прочел и спросил:

- Можно переписать его?

- Пожалуйста.

Запись в метрической книге Таганрогской соборной церкви:

"1860 года месяца Генваря 17-го дня рожден, а 27-го крещен Антоний, родители его: таганрогский купец третьей гильдии Павел Георгиевич Чехов и законная жена его Евгения Яковлевна, воспитатели: таганрогский купеческий брат Спиридон Титов и таганрогского третьей гильдии купца Дмитрия Сафьянопуло жена".

- Купеческий брат! удивительное звание! - никогда не слышал!

В метрическом свидетельстве указано, что Чехов родился 17 генваря.

Между тем Антон Павлович в письме к сестре пишет (16 января 1899 г.):

"Сегодня день моего рождения, 39 лет. Завтра именины, здешние барышни и барыни (которых зовут антоновками) пришлют и принесут подарки".

Разница в датах? Вероятно, ошибся дьякон.

Я спрашивал Евгению Яковлевну (мать Чехова) и Марию Павловну:

- Скажите, Антон Павлович плакал когда-нибудь?

- Никогда в жизни, - твердо отвечали обе.

Замечательно.

Моим друзьям Елпатьевским Чехов не раз говорил:

- Я не грешен против четвертой заповеди... {530} /531/

Весною 1900 года, когда в Крыму играл Художественный театр, я тоже приехал в Ялту. Встретился тут с Маминым-Сибиряком, Станюковичем, Горьким, Телешовым, Куприным. Привезены были четыре пьесы: "Чайка", "Дядя Ваня", "Одинокое" Гауптмана и "Гедда Габлер" Ибсена. Спектакли шли сначала в Севастополе, затем в Ялте {531}.

Все были оживлены, возбуждены, Чехов чувствовал себя сравнительно хорошо. Мы с утра отправлялись в городской театр, ходили по сцене, где шли усиленные приготовления к спектаклю, а затем всей компанией направлялись к Чехову, где проводили почти все свободное время.

Чехов в те дни увлекался "Одинокими", много об этом говорил, считал, что Художественный театр должен держаться подобных пьес.

Да, в январе 1901 года я все еще жил у Чеховых. Сохранилась у меня даже запись тех времен:

Крым, зима 1901 года, на даче Чехова.

Чайки как картонные, как яичная скорлупа, как поплавки возле клонящейся лодки. Пена как шампанское.

Провалы в облаках - там какая-то дивная неземная страна. Скалы известково-серые, как птичий помет. Бакланы. Суук-Су. Кучукой. Шум внизу, солнечное поле в море, собака пустынно лает. Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко поднимающееся. Крупа, находят облака.

Красавица Березина (!).

31 января было первое представление "Трех сестер" {531}, конечно Марья Павловна и "мамаша", как мы все звали Евгению Яковлевну, очень волнуются. К Синани должна была прийти телеграмма из театра. Их слуга Арсений посылается к Синани. Марья Павловна просит из города позвонить по телефону.

Минут через двадцать Арсений взволнованным голосом сообщает:

- Успех аграмадный... /532/

Собрались гости: местная начальница гимназии В.К.Харкеевич, С.П.Бонье, Средины; конечно, выпили по этому случаю.

В начале февраля Марья Павловна уехала в Москву, а я остался до приезда Антона Павловича с мамашей, с которой у меня была большая дружба и которая мне много рассказывала об Антоше.

В каждом ее слове чувствовалось обожание.

В середине февраля - как я теперь вижу по письмам - Антон Павлович вернулся домой. Я переехал в гостиницу "Ялта", пережил очень неприятную ночь,

- рядом в номере лежала покойница... Чехов, поняв, что я перечувствовал за эту ночь, слегка надо мной подшучивал...

Он настаивал, чтобы я бывал у него ежедневно с самого утра. И в эти дни мы особенно сблизились, хотя и не переходили какой-то черты, - оба были сдержанны, но уже крепко любили друг друга. У меня ни с кем из писателей не было таких отношений, как с Чеховым. За все время ни разу ни малейшей неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как старший, - я почти на одиннадцать лет моложе его, - но в то же время никогда не давал чувствовать свое превосходство и всегда любил мое общество, - теперь я могу это сказать, так как это подтверждается его письмами к близким: "Бунин уехал, и я один."

По утрам пили чудный кофе. Потом сидели в садике, где он всегда что-нибудь делал в цветнике, или около плодовых деревьев. Шли разговоры о деревне, я представлял в лицах мужиков, помещиков, рассказывал о жизни своей в Полтаве, об увлечении толстовством, а он о жизни на Луке в имении Линтваревых, оба мы восхищались Малороссией (тогда так называлась Украина). Мы оба бывали в Святогорском монастыре, в гоголевских местах {532}.

Наедине со мной он часто смеялся своим заразительным смехом, любил шутить, выдумывать разные разности, нелепые прозвища; как только ему становилось лучше, он был неистощим на все это.

Иногда мы выдумывали вместе рассказы: то о захудалом чиновнике-деспоте, а то чувствительную повесть {533} с героинями по имени Ирландия, Австралия, Невралгия, Истерия - все в таком роде, - блеска у него было много. Иногда я представлял пьяного. На карточке любительской, - не помню кем снятой, - в его кабинете мы сидим - он в кресле, а я на ручке кресла - у него смеющееся лицо, у меня злое, осовелое - я изображаю пьяного.

Иногда я читал ему его старые рассказы. Он как раз готовил их к изданию, и я часто видел, как он перемарывал рассказ, чуть не заново его писал.

Как-то я выбрал и начал вслух читать его давнишний рассказ, написанный в 1886 году, "Ворона" {533}.

Сначала Антон Павлович хмурился, но по мере того, как развивалось действие, делался все благодушнее, понемногу стал улыбаться, смеяться. Правда, пьяных я умел изображать.

В другой раз в сумерках я читал ему "Гусева" {533}, дико хвалил его, считая, что "Гусев" первоклассно хорош, он был взволнован, молчал. Я еще раз про себя прочел последний абзац этого рассказа:

- "А наверху в это время, где заходит солнце, скучиваются облака, одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы"... - как он любит облака сравнивать с предметами, - мелькнуло у меня в уме. - "Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба, немного погода рядом с этим ложится золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан

сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке назвать трудно".

"Увижу ли я когда-нибудь его?" - подумал я. - Индийский океан привлекал меня с детства... - И неожиданно глухой, тихий голос:

- Знаете, я женюсь...

И сразу стал шутить, что лучше жениться на немке, чем на русской, она аккуратнее, и ребенок не будет по дому ползать и бить в медный таз ложкой...

Я, конечно, уже знал о его романе с Ольгой Леонардовной Книппер, но не был уверен, что он окончится /534/ браком. Я был уже в приятельских отношениях с Ольгой Леонардовной и понимал, что она совершенно из другой среды, чем Чеховы. Понимал, что Марье Павловне нелегко будет, когда хозяйкой станет она. Правда, Ольга Леонардовна - актриса, едва ли оставит сцену, но все же многое должно измениться. Возникнут тяжелые отношения между сестрой и женой, и все это будет отзываться на здоровье Антона Павловича, который, конечно, как в таких случаях бывает, будет остро страдать то за ту, то за другую, а то и за обеих вместе. И я подумал: "Да это самоубийство! хуже Сахалина", - но промолчал, конечно.

За обедом и ужином он ел мало, почти всегда вставал из-за стола и ходил взад и вперед по столовой, останавливаясь около гостя и усиленно его угощая, и все с шуткой, с метким словом. Останавливался и около матери и, взяв вилку и ножик, начинал мелко-мелко резать мясо, всегда с улыбкой и молча.

Постепенно я все более и более узнавал его жизнь, начал отдавать отчет, какой у него был разнообразный жизненный опыт, сравнивал его со своим и стал понимать, что я перед ним мальчишка, щенок... Ведь до тридцати лет написаны "Скучная история", "Тиф" {534} и другие, поражающие опытом его произведения.

Я вижу Чехова чаще бодрым и улыбающимся, чем хмурым, раздраженным, несмотря на то, что я знавал его в течение четырех лет наших близких отношений в плохие периоды его болезни. Там, где находился больной Чехов, царили шутка, смех и даже шалость.

Никогда не видал его в халате, всегда он был одет аккуратно и чисто. У него была педантическая любовь к порядку - наследственная, как настойчивость, такая же наследственная, как и наставительность.

9 сентября Антон Павлович пишет жене: "Теперь я здоров. Ходит ко мне каждый день Бунин" {534}.

И опять начались бесконечные разговоры. Когда я приехал, он чувствовал себя весьма нехорошо.

Много рассказывал Антон Павлович о кумысе, где он поправился {534}, а вернувшись в Ялту, "опять захирел, стал кашлять и в июле даже поплевывал кровью", восторгался степью, лошадьми, туземцами, только уж /535/ очень была серая публика и никаких удобств! Вкус кумыса похож на квас и непротивный, но, конечно, надоедает.

Через несколько дней ему стало лучше. Он в сентябре решил ехать в Москву, вероятно уже скучал без жены.

Читал он в эти дни свои старые рассказы, некоторые почти писал заново, так, по его мнению, они были слабы.

До моего приезда в Ялте жил и Дорошевич, умом которого восхищался Чехов, и артист Орленев, которого он считал талантливым, но беспутным; последнего я застал.

Жаловался на газету "Курьер": "Чуть не в каждом номере пишет про меня всякое вранье и пошлости..."

Ему хотелось поехать в Москву до репетиций "Трех сестер", чтобы сделать некоторые указания и, может быть, изменения{535}.

...Мне все кажется, что несмотря на то, что Чехов стоял в литературе уже высоко, занимая свое особое место, он все же не отдавал себе отчета в своей ценности.

По вечерам иногда собирались к ужину гости: Телешов, Горький, Нилус, после ужина заходил Елпатьевский, и меня упрашивали иногда прочесть тот или другой рассказ Чехова. Об этом вспоминает Телешов: "Антон Павлович сначала хмурился, неловко ему казалось слушать свое же сочинение, потом стал невольно улыбаться, а потом, по мере развития рассказа, буквально трясся от хохота в своем кресле, но молча, стараясь сдерживаться".

Прослушав как-то свой "осколочный" рассказ, Антон Павлович сказал:

- Вам хорошо теперь писать рассказы, все к этому привыкли, а это я пробил дорогу к маленькому рассказу, меня еще как за это ругали...

- Требовали, чтобы я писал роман, иначе и писателем нельзя называться...

Всех нас радовало, что Толстой выздоравливал. Словом, настроение было самое хорошее. И вдруг пришла телеграмма, что в Петербурге заболела Ольга Леонардовна. /536/

Ежедневные телеграммы. Пять дней ожидания ее прибытия, и наконец в первый день пасхи, 10 апреля, ее на руках перенесли с парохода на дачу{536} с температурой 39 градусов под мышкой.

Конечно, Нилусу пришлось бросить портрет, и скоро мы все разъехались.

В начале декабря Антон Павлович приехал в Москву. Я тоже был там, - мы с Найденовым готовились к поездке за границу. Ежедневно по вечерам я заходил к Чехову, оставался иногда у него до трех-четырёх часов утра, то есть до возвращения Ольги Леонардовны домой.

Чаще всего она уезжала в театр, но иногда отправлялась на какой-нибудь благотворительный концерт. За ней заезжал Немирович во фраке, пахнувший сигарами и дорогим одеколоном, а она в вечернем туалете, надушенная, красивая, молодая, подходила к мужу со словами:

- Не скучай без меня, дусик, впрочем с Букишончиком тебе всегда хорошо... До свиданья, милый, - обращалась она ко мне. Я целовал ее руку, и они

уходили. Чехов меня не отпускал до ее возвращения. И эти бдения мне особенно дороги.

Он иногда мыл себе голову. Я старался развлекать его, рассказывал о себе, расспрашивал о семье. Он много говорил о своих братьях, Николае, Александре, которого он ставил очень высоко и бесконечно жалел, так как он иногда запивал, - этим он объяснял, что из него ничего не вышло, а одарен он был щедро.

Александр был человек редко образованный: окончил два факультета - естественный и математический, много знал и по медицине. Хорошо разбирался в философских системах. Знал много языков. Но ни на чем не мог остановиться. А как он писал письма! Прямо на удивление. Был способен и на ручные работы, сам сделал стенные часы. Одно время был редактором пожарного журнала. Над его кроватью висел пожарный звонок, чтобы он мог всегда знать, где горит. Он был из чудачков, писал только куриными перьями. Любил разводить птицу и сооружал удивительные курятники, словом, человек на редкость умный, оригинальный. Хорошо понимал шутку, /537/ но последнее время стал тяжел: когда был трезв, то мучился тем, каким он был во хмелю, а под хмелем действительно был тяжел.

Я спросил Антона Павловича:

- А не мучается ли он, что вы заслонили его как писателя?

Он улыбнулся своей милой улыбкой и ответил:

- Нисколько, ведь и пишет он между делом, так, чтобы лишнее заработать. Да я и не знаю, что его больше интересует: литература, философия, наука или куроводство? Он слишком одарен во многих отношениях, чтобы отдаться чему-нибудь одному... Вот и брат Михаил служил в финансовом ведомстве, бросил, работает по книжному делу у Суворина. Пишет рассказы, но никаких усилий не делает, чтобы стать настоящим писателем. У нас ведь нет такого честолюбия, как у многих писателей нынешних. У нас у всех есть любовь к тому делу, над каким мы трудимся.

Расспрашивал Антон Павлович меня и о первом представлении пьесы Горького "На дне" {537}, и об ужине, который стоил 800 рублей, и что за такую цену подавали?

Я, изображая Горького, говорил:

- Рыбы первым делом и какой-нибудь этакой, черт ее дери совсем, чтобы не рыба была, а лошадь.

Чехов очень смеялся, а особенно замечанию профессора Ключевского, который был беспечно-спокоен, мирно-весел, чистенький, аккуратный, в застегнутом сюртучке, слегка склонив голову набок и искоса, поблескивая очками и своим лукавым оком, - мы стояли рядом, и он тихо сказал:

- Лошадь! - Это, конечно, по величине приятно. Но немножко и обидно. Почему же непременно лошадь? Разве мы все ломовые?

Последнее время часто мечтал вслух:



- Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре возле леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот... /538/

Мы с Найденовым уже были в конце декабря на отлете. Чехов рассказывал мне о своем пребывании в Ницце, о М.М.Ковалевском, о консуле Юрасове, давал советы относительно здоровья и, как всегда, уверял, что я проживу до глубокой старости, так как я "здоровенный мужчина", и опять в который раз уговаривал писать ежедневно, бросить "дилетантство", а нужно относиться к писанию "профессионально"...

И не думал я в те дни, что они - наше последнее свидание.

Часа в четыре, а иногда и совсем под утро возвращалась Ольга Леонардовна, пахнувшая вином и духами...

- Что же ты не спишь, дуся?.. Тебе вредно. А вы тут еще, Букишончик, ну, конечно, он с вами не скучал!

Я быстро вставал и прощался.

У Чехова каждый год менялось лицо.

Благородство Чехова - цветы, животные, благородство людских поступков.

Со всеми он был одинаков, какого бы ранга человек ни был.

## ***А.И.КУПРИН. ПАМЯТИ ЧЕХОВА***

Он между нами жил...

Бывало, в раннем детстве вернешься после долгих летних каникул в пансион. Все серо, казарменно, пахнет свежей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день - еще крепишься кое-как, хотя сердце - нет-нет, и сожмется внезапно от тоски. Занимают встречи, поражают перемены в лицах, оглушают шум и движение.

Но когда настанет вечер и возня в полутемной спальне уляжется, - о, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой! Грызешь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами, и знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя. И вот тогда-то понимаешь впервые весь потрясающий ужас двух неумолимых вещей:

невозвратимости прошлого и чувства одиночества. Кажется, что сейчас же с радостью отдал бы всю остальную жизнь, перенес бы всяческие мучения за один только день того светлого, прекрасного существования, которое никогда не повторится. Кажется, ловил бы каждое милое, заботливое слово и заключал бы его навсегда в памяти, впивал бы в душу медленно и жадно, капля по капле, каждую ласку. И жестоко терзаешься мыслью, что по небрежности, в суете и потому, что время представлялось неисчерпаемым, - ты не воспользовался каждым часом, каждым мгновением, промелькнувшим напрасно. /540/

Детские скорби жгучи, но они растают во сне и исчезнут с завтрашним солнцем. Мы, взрослые, не чувствуем их так страстно, но помним дольше и скорбим глубже. Вскоре после похорон Чехова, возвращаясь с панихиды, бывшей на кладбище, один большой писатель сказал простые, но полные значения слова:

- Вот похоронили мы его, и уже проходит безнадежная острота этой потери. Но понимаете ли вы, что навсегда, до конца дней наших, останется в нас ровное, тупое, печальное сознание, что Чехова нет?

И вот теперь, когда его нет, особенно мучительно чувствуешь, как драгоценно было каждое его слово, улыбка, движение, взгляд, в которых светилась его прекрасная, избранная, аристократическая душа. Жалеешь, что не всегда был внимателен к тем особенным мелочам, которые иногда сильнее и интимнее говорят о внутреннем человеке, чем крупные дела. Упрекаешь себя в том, что из-за толкотни жизни не успел запомнить, записать много интересного, характерного, важного. И в то же время знаешь, что эти чувства разделяют с тобою все те, кто был близок к нему, кто истинно любит его как человека несравненного душевного изящества и красоты, кто с вечной признательностью будет чтить его память, как память одного из самых замечательных русских писателей.

К любви, к нежной и тонкой печали этих людей я обращаю настоящие строки.

## I

Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. Не знаю, кто ее строил {540}, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой вверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами, - она походила бы на здания в стиле *moderne*, если бы в ее плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. Дача стояла /541/ в углу сада, окруженная цветником. К саду, со стороны, противоположной шоссе, примыкало, отделенное низкой стенкой, старое, заброшенное татарское кладбище, всегда зеленое, тихое и безлюдное, со скромными каменными плитами на могилах.

Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад еще очень молодой. Росли в нем груши и яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль. В последние годы сад уже начал приносить кое-какие плоды, доставляя Антону Павловичу много забот и трогательного, какого-то детского удовольствия. Когда наступало время сбора миндальных орехов, то их снимали и в чеховском саду. Лежали они обыкновенно маленькой горкой в гостиной на подоконнике, и, кажется, ни у кого не хватало жестокости брать их, хотя их и предлагали.

А.П. не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, летящей сверху, с аутского шоссе, и что сад плохо снабжен водою. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или выдергивал сорные травы из клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи наконец шел дождь, наполнявший водою запасные глиняные цистерны!

Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое сознание. Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами:

- Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? - прибавлял он вдруг с серьезным лицом, тоном глубокой веры. - Знаете ли, через триста - четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна.

Эта мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его /542/ душевных, наиболее лелеемых мыслей. Как часто, должно быть, думал он о будущем счастья человечества, когда, по утрам, один, молчаливо подрезывал свои розы, еще влажные от росы, или внимательно осматривал раненный ветром молодой побег. И сколько было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного самозабвения!

Нет, это не была заочная жажда существования, идущая от ненасытного человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это не было - ни жадное любопытство к тому, что будет после меня, ни завистливая ревность к далеким поколениям. Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомерно страдавшей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости - от всего ужаса и темноты современных будней. И потому-то под конец его жизни, когда пришла к нему огромная слава, и сравнительная обеспеченность, и преданная любовь к нему всего, что было в русском обществе умного, талантливого и честного, - он не замкнулся в недостижимости холодного величия, не впал в пророческое учительство, не ушел в ядовитую и мелочную вражду к чужой известности. Нет, вся сумма его большого и тяжелого житейского опыта, все его огорчения, скорби, радости и разочарования выразились в этой прекрасной, тоскливой, самоотверженной мечте о грядущем, близком, хотя и чужом счастье.

- Как хороша будет жизнь через триста лет!

И потому-то он с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ будущей красоты, и следил за новыми путями, пролагаемыми человеческим умом и знанием. Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на большие морские пароходы, живо интересовался всяким последним изобретением в области техники и не скучал в обществе специалистов. Он с твердым убеждением говорил о том, что преступления вроде убийства, воровства и прелюбодеяния становятся все реже, почти исчезают в настоящем интеллигентном обществе, в среде учителей, докторов, писателей. Он верил в то, что грядущая, истинная культура облагородит человечество {542}.

Рассказывая о чеховском саде, я позабыл упомянуть, что посредине его стояли качели и деревянная скамейка. /543/ И то, и другое осталось от "Дяди Вани", с которым Художественный театр приезжал в Ялту, приезжал, кажется, с исключительной целью показать больному тогда А.П.-чу постановку его пьесы {543}. Обоими предметами Чехов чрезвычайно дорожил и, показывая их, всегда с признательностью вспоминал о милом внимании к нему Художественного театра. Здесь у места также упомянуть, что эти прекрасные артисты своей исключительной деликатной чуткостью к чеховскому таланту и дружной преданностью ему самому много скрасили последние дни незабвенного художника.

## II

Во дворе жили: ручной журавль и две собаки. Надо заметить, что Антон Павлович очень любил всех животных, за исключением, впрочем, кошек, к которым он питал непреодолимое отвращение. Собаки же пользовались его особым расположением. О покойной Каштанке, о мелиховских таксах Броне и Хине он вспоминал так тепло и в таких выражениях, как вспоминают об умерших друзьях. "Славный народ - собаки!" - говорил он иногда с добродушной улыбкой.

Журавль был важная, степенная птица. К людям он относился вообще недоверчиво, но вел тесную дружбу с Арсением, набожным слугой Антона Павловича. За Арсением он бегал всюду, по двору и по саду, причем уморительно подпрыгивал на ходу и махал растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танец, всегда смешивший Антона Павловича.

Одну собаку звали Тузик, а другую - Каштан, в честь прежней, исторической Каштанки, носившей это имя. Ничем, кроме глупости и лени, этот Каштан, впрочем, не отличался. По внешнему виду он был толст, гладок и неуклюж, светло-шоколадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за Тузиком он лаял на чужих, но стоило его поманить и почмокать ему, как он тотчас же переворачивался на спину и начинал угодливо извиваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с нежностями, и говорил с притворной суровостью:

- Уйди же, уйди, дурак... Не приставай. /544/

И прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой, но со смеющимися глазами:

- Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.

Но однажды случилось, что Каштан, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попал под колеса фаэтона, который раздавил ему ногу. Бедный пес прибежал домой на трех лапах, с ужасающим воем. Задняя нога вся была исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал ее йодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки и с какой сострадательной укоризной бранил он и уговаривал визжавшего Каштана:

- Ах ты, глупый, глупый... Ну, как тебя угораздило?.. Да тише ты... легче будет... дурачок...

Приходится повторить избитое место, но несомненно, что животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову. Иногда приходила к А.П. одна больная барышня{544}, приводившая с собою девочку лет трех-четырех, сиротку, которую она взяла на воспитание. Между крошечным ребенком и пожилым, грустным и больным человеком, знаменитым писателем, установилась какая-то особенная, серьезная и доверчивая дружба. Подолгу сидели они рядом на скамейке, на веранде; А.П. внимательно и сосредоточенно слушал, а она без умолку лепетала ему свои детские смешные слова и путалась ручонками в его бороде.

С большой и сердечной любовью относились к Чехову и все люди попроще, с которыми он сталкивался: слуги, разносчики, носильщики, странники, почтальоны - и не только с любовью, но и с тонкой чуткостью, с бережностью и с пониманием. Не могу не рассказать здесь одного случая, который передаю со слов очевидца, маленького служащего в "Русском о-ве пароходства и торговли", человека положительного, немногословного и, главное, совершенно непосредственного в восприятии и передаче своих впечатлений.

Это было осенью. Чехов, возвращавшийся из Москвы, только что приехал на пароходе из Севастополя в Ялту и еще не успел сойти с палубы. Был промежуток /545/ той сумятицы, криков и бестолочи, которые всегда поднимаются вслед за тем, как опустят сходни. В это-то суматошное время татарин-носильщик, всегда услуживавший А.П-чу и увидевший его еще издали, раньше других успел взобраться на пароход, разыскал вещи Чехова и уже готовился нести их вниз, как на него внезапно налетел бравый и свирепый помощник капитана. Этот человек не ограничился одними непристойными ругательствами, но в порыве начальственного гнева ударил бедного татарина по лицу.

"- И вот тогда произошла сверхъестественная сцена, - рассказывал мой знакомый. - Татарин бросает вещи на палубу, бьет себя в грудь кулаками и, вытаращив глаза, лезет на помощника. И в то же время кричит на всю пристань:

- Что? Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударил? Ты - вот кого ударил!

И показывает пальцем на Чехова. А Чехов, знаете ли, бледный весь, губы вздрагивают. Подходит к помощнику и говорит ему тихо так, отдельно, но с

необычайным выражением: "Как вам не стыдно!" Поверите ли, ей-богу, будь я на месте этого мореплавателя, - лучше бы мне двадцать раз в морду плюнули, чем услышать это "как вам не стыдно". И на что уж моряк был толстокож, но и того проняло: заметался-заметался, забормотал что-то и вдруг испарился. И уж больше его на палубе не видели".

### III

Кабинет в ялтинском доме у А.П. был небольшой, шагов двенадцать в длину и шесть в ширину, скромный, но дышавший какой-то своеобразной прелестью. Прямо против входной двери - большое квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны от входа, около окна, перпендикулярно к нему - письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху, из-под потолка, крошечным оконцем; в нише - турецкий диван. С правой стороны, посередине стены - коричневый кафельный камин; наверху, в его облицовке, оставлено небольшое не заделанное плиткой местечко, и в нем небрежно, но мило написано красками вечернее поле с уходящими вдаль стогами - это работа Левитана. Дальше, по той же стороне, в самом углу - дверь, /546/ сквозь которую видна холостая спальня Антона Павловича, - светлая, веселая комната, сияющая какой-то девической чистотой, белизной и невинностью. Стены кабинета - в темных с золотом обоях, а около письменного стола висит печатный плакат: "Просят не курить". Сейчас же возле входной двери направо - шкаф с книгами. На камине несколько безделушек и между ними прекрасная модель парусной шкуны. Много хороших вещей из кости и из дерева на письменном столе; почему-то преобладают фигуры слонов. На стенах портреты - Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном маленьком столике, на веерообразной подставке, множество фотографий артистов и писателей. По обоим бокам окна спускаются прямые, тяжелые темные занавески, на полу большой, восточного рисунка, ковер. Эта драпировка смягчает все контуры и еще больше темнит кабинет, но благодаря ей ровнее и приятнее ложится свет из окна на письменный стол. Пахнет тонкими духами, до которых А.П. всегда был охотник. Из окна видна открытая подковообразная лощина, спускающаяся далеко к морю, и самое море, окруженное амфитеатром домов. Слева же, справа и сзади громоздятся полукольцом горы. По вечерам, когда в гористых окрестностях Ялты зажигаются огни и когда во мраке эти огни и звезды над ними так близко сливаются, что не отличаешь их друг от друга, - тогда вся окружающая местность очень напоминает иные уголки Тифлиса...

Всегда бывает так: познакомишься с человеком, изучишь его наружность, походку, голос, манеры и все-таки всегда можешь вызвать в памяти его лицо таким, каким его видел в самый первый раз, совсем другим, отличным от настоящего. Так и у меня, после нескольких лет знакомства с А.П., сохранился в памяти тот Чехов, каким я его увидел впервые, в общем зале "Лондонской" гостиницы в Одессе {546}. Показался он мне тогда почти высокого роста,

худощавым, но широким в костях, несколько суровым на вид. Следов болезни в нем тогда не было заметно, если не считать его походки - слабой и точно на немного согнутых коленях. Если бы меня спросили тогда, на кого он похож с первого взгляда, я бы сказал: "на земского врача или на учителя провинциальной гимназии". Но было в нем также что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное - /547/ в лице, в говоре и в оборотах речи, была также какая-то кажущаяся московская студенческая небрежность в манерах. Именно такое первое впечатление выносили многие, и я в том числе. Но спустя несколько часов я увидел совсем другого Чехова - именно того Чехова, лицо которого никогда не могла уловить фотография и которое, к сожалению, не понял и не прочувствовал ни один из писавших с него художников. Я увидел самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное человеческое лицо, какое только мне приходилось встречать в моей жизни.

Многие впоследствии говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это ошибка, но ошибка до странного общая всем, знавшим его. Глаза у него были темные, почти карие, причем раёк правого глаза был окрашен значительно сильнее, что придавало взгляду А.П., при некоторых поворотах головы, выражение рассеянности. Верхние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у художников, охотников, моряков - словом, у людей с сосредоточенным зрением. Благодаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекол, несколько приподняв кверху голову, лицо А.П. часто казалось суровым. Но надо было видеть Чехова в иные минуты (увы, столь редкие в последние годы), когда им овладевало веселье и когда он, быстрым движением руки сбрасывая пенсне и покачиваясь взад и вперед на кресле, разражался милым, искренним и глубоким смехом. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, с добрыми морщинками у наружных углов, и весь он тогда напоминал тот юношеский известный портрет, где он изображен почти безбородым, с улыбающимся, близоруким и наивным взглядом несколько исподлобья. И вот - удивительно, - каждый раз, когда я гляжу на этот снимок, я не могу отделаться от мысли, что у Чехова глаза были действительно голубые.

Обращал внимание в наружности А.П. его лоб - широкий, белый и чистый, прекрасной формы; лишь в самое последнее время на нем легли между бровями, у переносья, две вертикальные задумчивые складки. Уши у Чехова были большие, некрасивой формы, но другие такие умные, интеллигентные уши я видел еще лишь у одного человека - у Толстого.

Однажды летом, пользуясь добрым настроением Антона Павловича, я сделал с него несколько снимков /548/ ручным фотографическим аппаратом. Но, к несчастью, лучшие из них и чрезвычайно похожие вышли совсем бледными благодаря слабому освещению кабинета. Про другие же, более удачные, сам А.П. сказал, посмотрев на них:

- Ну, знаете ли, это не я, а какой-то француз.

Помнится мне теперь очень живо пожатие его большой, сухой и горячей руки, - пожатие, всегда очень крепкое, мужественное, но в то же время сдержанное, точно скрывающее что-то. Представляю также себе и его почерк: тонкий, без нажимов, ужасно мелкий, с первого взгляда - небрежный и

некрасивый, но, если к нему приглядеться, очень ясный, нежный, изящный и характерный, как и все, что в нем было.

#### IV

Вставал А.П., по крайней мере летом, довольно рано. Никто даже из самых близких людей не видал его небрежно одетым; также не любил он разных домашних вольностей вроде туфель, халатов и тужурок. В восемь-девять часов его уже можно было застать ходящим по кабинету или за письменным столом, как всегда безукоризненно изящно и скромно одетого.

По-видимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда, хотя пишущим его, кажется, никому не удавалось заставить: в этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив. Зато нередко в хорошие теплые утра его можно было видеть на скамейке за домом, в самом укромном месте дачи, где вдоль белых стен стояли кадки с олеандрами и где им самим был посажен кипарис. Там сидел он иногда по часу и более, один, не двигаясь, сложив руки на коленях и глядя вперед, на море.

Около полудня и позднее дом его начинал наполняться посетителями. В это же время на железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, висли целыми часами, разинув рты, девицы в белых войлочных широкополых шляпах. Самые разнообразные люди приезжали к Чехову: ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессоры, светские люди, сенаторы, священники, /549/ актеры - и бог знает, кто еще. Часто обращались к нему за советом, за протекцией, еще чаще с просьбой о просмотре рукописи; являлись разные газетные интервьюеры и просто любопытствующие; были и такие, которые посещали его с единственной целью "направить этот большой, но заблудший талант в надлежащую, идейную сторону". Приходила просящая беднота - и настоящая, и мнимая. Эти никогда не встречали отказа. Я не считаю себя вправе упоминать о частных случаях, но твердо и наверно знаю, что щедрость Чехова, особенно по отношению к учащейся молодежи, была несравненно шире того, что ему позволяли его более чем скромные средства.

Бывали у него люди всех слоев, всех лагерей и оттенков. Несмотря на утомительность такого постоянного человеческого круговорота, тут было нечто и привлекательное для Чехова: он из первых рук, из первоисточников, знакомился со всем, что делалось в данную минуту в России. О, как ошибались те, которые в печати и в своем воображении называли его человеком равнодушным к общественным интересам, к мятущейся жизни интеллигенции, к жгучим вопросам современности. Он за всем следил пристально и вдумчиво; он волновался, мучился и болел всем тем, чем болели лучшие русские люди. Надо было видеть, как в проклятые, черные времена, когда при нем говорили о нелепых, темных и злых явлениях нашей общественной жизни, - надо было видеть, как сурово и печально сдвигались его густые брови, каким



страдальческим делалось его лицо и какая глубокая, высшая скорбь светилась в его прекрасных глазах.

Здесь уместно вспомнить об одном факте, который, по-моему, прекрасно освещает отношение Чехова к глупостям русской действительности. У многих в памяти его отказ от звания почетного академика, известны и мотивы этого отказа, но далеко не все знают его письмо в Академию по этому поводу - прекрасное письмо, написанное с простым и благородным достоинством, со сдержанным негодованием великой души:

"В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А.М.Пешкова в почетные академики, и я не замедлил повидаться с А.М.Пешковым, который тогда /550/ находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что, ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст., выборы признаются недействительными, причем было точно указано, что это извещение исходит из Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило и от меня. Я поздравлял сердечно и я же признавал выборы недействительными - такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство с 1035 ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, просить о сложении с меня звания почетного академика.

А.Чехов" {550}.

Странно - до чего не понимали Чехова! Он - этот "неисправимый пессимист", - как его определяли, - никогда не уставал надеяться на светлое будущее, никогда не переставал верить в незримую, но упорную и плодотворную работу лучших сил нашей родины. Кто из знавших его близко не помнит этой обычной, излюбленной его фразы, которую он так часто, иногда даже совсем не в лад разговору, произносил вдруг своим уверенным тоном:

- Послушайте, а знаете что? Ведь в России через десять лет будет конституция.

Да, даже и здесь звучал у него тот же мотив о радостном будущем, ждущем человечество, который отзывался во всех его произведениях последних лет.

Надо сказать правду: далеко не все посетители щадили время и нервы А.П-ча, а иные так просто были безжалостны. Помню я один случай, поразительный, почти анекдотически невероятный по точу огромному запасу пошлости и неделикатности, который обнаружило лицо артистического как будто бы звания.

Было хорошее, нежаркое, безветренное летнее утро. А.П. чувствовал себя на редкость в легком, живом и беспечном настроении. И вот появляется, точно с

неба, /551/ толстый господин (оказавшийся впоследствии архитектором), посылает Чехову свою визитную карточку и просит свидания. А.П. принимает его. Архитектор входит, знакомится и, не обращая никакого внимания на плакат: "Просят не курить", не спрашивая позволения, закуривает вонючую, огромную рижскую сигару. Затем, отвесив, как неизбежный долг, несколько булыжных комплиментов хозяину, он приступает к приведшему его делу.

Дело же заключалось в том, что сынок архитектора, гимназист третьего класса, бежал на днях по улице и, по свойственной мальчикам привычке, хватался на бегу рукой за все, что попадалось: за фонари, тумбы, заборы. В конце концов он напоролся рукой на колючую проволоку и сильно оцарапал ладонь. "Так вот, видите ли, глубокоуважаемый А.П., - заключил свой рассказ архитектор, - я бы очень просил вас напечатать об этом в корреспонденции. Хорошо, что Коля ободрал только ладонь, но ведь это - случай! Он мог бы задеть какую-нибудь важную артерию - и что бы тогда вышло?" - "Да, все это очень прискорбно, - ответил Чехов, - но, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я не пишу, да никогда и не писал корреспонденции. Я пишу только рассказы". - "Тем лучше, тем лучше! Вставьте это в рассказ, - обрадовался архитектор. - Пропечатайте этого домовладельца с полной фамилией. Можете даже и мою фамилию проставить, я и на это согласен... Или нет... все-таки лучше мою фамилию не целиком, а просто поставьте литеру: господин С. Так, пожалуйста... А то ведь у нас только и осталось теперь два настоящих либеральных писателя - вы и господин П." (и тут архитектор назвал имя одного известного литературного закройщика).

Я не сумел передать и сотой доли тех ужасающих пошлостей, которые наговорил оскорбленный в родительских чувствах архитектор {551}, потому что за время своего визита он успел докурить сигару до конца, и потом долго приходилось проветривать кабинет от ее зловонного дыма. Но едва он наконец удалился, А.П. вышел в сад совершенно расстроенный, с красными пятнами на щеках. Голос у него дрожал, когда он обратился с упреком к своей сестре Марии Павловне и к сидевшему с ней на скамейке знакомому: /552/

- Господа, неужели вы не могли избавить меня от этого человека? Прислали бы сказать, что меня зовут куда-нибудь. Он же меня измучил!

Помню также - и это, каюсь, отчасти моя вина, - как приехал к нему выразить свое читательское одобрение некий самоуверенный штатский генерал, который, вероятно желая доставить Чехову удовольствие, начал, широко расставив колени и упершись в них кулаками вывороченных рук, всячески поносить одного молодого писателя, громадная известность которого только еще начинала расти {552}. И Чехов тотчас же сжался, ушел в себя и все время сидел с опущенными глазами, с холодным лицом, не проронив ни одного слова. И только по быстрому укоряющему взгляду, который он бросил при прощании на знакомого, приведшего генерала, можно было видеть, как много огорчения принес ему этот визит.

Так же стыдливо и холодно относился он и к похвалам, которые ему расточали. Бывало, уйдет в нишу, на диван, ресницы у него дрогнут и медленно опустятся, и уже не поднимаются больше, а лицо делается неподвижным и

сумрачным. Иногда, если эти неумеренные восторги исходили от более близкого ему человека, он старался обратить разговор в шутку, свернуть его на другое направление. Вдруг скажет ни с того ни с сего, с легким смешком:

- Ужасно люблю читать, что обо мне одесские репортеры пишут.

- Почему так?

- Смешно очень. Всё врут. Ко мне прошлой весной явился один из них в гостиницу. Просит интервью. А у меня как раз времени не было. Я и говорю: "Извините, я теперь занят. Да, впрочем, пишите, что вздумаете. Мне все равно". Ну, уж он и написал! Меня даже в жар бросило.

А однажды он с самым серьезным лицом сказал:

- Что вы думаете: меня ведь в Ялте каждый извозчик знает. Так и говорят: "А-а! Чехов? Это который читатель? Знаю". Почему-то называют меня читателем. Может быть, они думают, что я по покойникам читаю? Вот вы бы, батенька, спросили когда-нибудь извозчика, чем я занимаюсь... /553/

## V

В час дня у Чехова обедали внизу, в прохладной и светлой столовой, и почти всегда за столом бывал кто-нибудь приглашенный. Трудно было не поддаться обаянию этой простой, милой, ласковой семьи. Тут чувствовалась постоянная нежная заботливость и любовь, но не отягощенная ни одним пышным или громким словом, - удивительная деликатность, чуткость и внимание, но никогда не выходящая из рамок обыкновенных, как будто умышленно будничных отношений. И, кроме того, всегда замечалась истинно чеховская боязнь всего надутого, приподнятого, неискреннего и пошлого.

Было в этой семье очень легко, тепло и уютно, и я совершенно понимаю одного писателя, который говорил, что он влюблен разом во всех Чеховых.

Антон Павлович ел чрезвычайно мало и не любил сидеть за столом, а все, бывало, ходил от окна к двери и обратно. Часто после обеда, оставшись в столовой с кем-нибудь один на один, Евгения Яковлевна (мать А.П.) говорила тихонько, с беспокойной тоской в голосе:

- А Антоша опять ничего не ел за обедом.

Он был очень гостеприимен, любил, когда у него оставались обедать, и умел угощать на свой особенный лад, просто и радушно. Бывало, скажет кому-нибудь, остановившись у него за стулом:

- Послушайте, выпейте водки. Я, когда был молодой и здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а перед обедом выпьешь рюмки две или три. Чудесно!..

После обеда он пил чай наверху, на открытой террасе, или у себя в кабинете, или спускался в сад и сидел там на скамейке, в пальто и с тросточкой, надвинув на самые глаза мягкую черную шляпу, и поглядывал из-под ее полей прищуренными глазами.

Эти же часы бывали самыми людными. Постоянно спрашивали по телефону, можно ли видеть А.П-ча, постоянно кто-нибудь приезжал. Приходили незнакомые с просьбами о карточках, о надписях на книгах. Бывали здесь и смешные курьезы.

Один "тамбовский помещик", как окрестил его Чехов, приехал к нему за врачебной помощью. Тщетно А.П. уверял, что он давно бросил практику и отстал /554/ в медицине, напрасно рекомендовал обратиться к более опытному доктору - "тамбовский помещик" стоял на своем: никаким докторам, кроме Чехова, он не хочет верить. Волей-неволей пришлось дать ему несколько незначительных, совершенно невинных советов. Прощаясь, "тамбовский помещик" положил на стол два золотых и, как его ни уговаривал А.П., ни за что не соглашался взять их обратно. Антон Павлович принужден был уступить. Он сказал, что, не желая и не считая себя вправе брать эти деньги как гонорар, он возьмет их на нужды ялтинского благотворительного общества, и тут же написал расписку в их получении. Оказывается, только того и нужно было "тамбовскому помещику". С сияющим лицом, бережно спрятал он расписку в бумажник и тогда уж признался, что единственной целью его посещения было желание приобрести автограф Чехова. Об этом оригинальном и настойчивом пациенте А.П. рассказывал мне сам - полусмеясь, полусердито.

Повторяю, многие из этих посетителей порядком донимали Чехова и даже раздражали его, но, по свойственной ему изумительной деликатности, он со всеми оставался ровен, терпеливо-внимателен, доступен всем, желавшим его видеть. Эта деликатность доходила порою до той трогательной черты, которая граничит с безволием. Так, например, одна добрая и суетливая дама, большая поклонница Чехова, подарила ему, кажется в день его именин, огромного сидячего мопса, сделанного из раскрашенного гипса, аршина в полтора высотой от земли, то есть раз в пять больше натурального роста. Мопса этого посадили внизу на площадке, около столовой, и он сидел там с разъяренной мордой и оскаленными зубами, пугая всех забывавших о нем своей неподвижностью.

- Знаете, я сам этого каменного пса боюсь, - признавался Чехов. - А убрать его как-то неловко, обидятся. Пусть уж тут живет.

И вдруг, с глазами, загорающимися лучистым смехом, он прибавлял неожиданно, по своему обыкновению:

- А вы заметили, что в домах у богатых евреев такие гипсовые мопсы часто сидят около камина?

В иные дни его просто угнетали всякие хвалители, порицатели, поклонники и даже советчики. "У меня /555/ такая масса посетителей, - жаловался он в одном письме, - что голова ходит кругом. Трудно писать" {555}. Но все-таки он не оставался равнодушным к искреннему чувству любви и уважения и всегда отличал его от праздной и лстивой болтовни. Как-то раз он вернулся в очень веселом настроении духа с набережной, где он изредка прогуливался, и с большим оживлением рассказывал:

- У меня была сейчас чудесная встреча. На набережной вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, совсем молодой еще, подпоручик. "Вы А.П.Чехов?" - "Да, это я. Что вам угодно?" - "Извините меня за навязчивость, но мне так давно

хочется пожать вашу руку!" И покраснел. Такой чудесный малый, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись.

Всего лучше чувствовал себя А.П. к вечеру, часам к семи, когда в столовой опять собирались к чаю и легкому ужину. Здесь иногда - но год от году все реже и реже - воскресал в нем прежний Чехов, неистощимо веселый, остроумный, с кипучим, прелестным юношеским юмором. Тогда он импровизировал целые истории, где действующими лицами являлись его знакомые, и особенно охотно устраивал воображаемые свадьбы, которые иногда кончались тем, что на другой день утром, сидя за чаем, молодой муж говорил вскользь, небрежным и деловым тоном:

- Знаешь, милая, а после чаю мы с тобой оденемся и поедem к нотариусу. К чему тебе лишние заботы о твоих деньгах?

Придумывал он удивительные - чеховские - фамилии, из которых я теперь - увы! - помню только одного мифического матроса Кошкодавленко. Любил он также, шутя, старить писателей. "Что вы говорите - Бунин мой сверстник, - уверял он с напускной серьезностью. - Телешов тоже. Он уже старый писатель. Вы спросите его сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у И.А.Белоусова{555}. Когда это было!" Одному талантливому беллетристу, серьезному, идейному писателю, он говорил: "Послушайте же, ведь вы на двадцать лет меня старше. Ведь вы же раньше писали под псевдонимом Нестор Кукольник..."

Но никогда от его шуток не оставалось заноз в сердце, так же как никогда в своей жизни этот удивительно /556/ нежный человек не причинил сознательно даже самого маленького страдания ничему живущему.

После ужина он неизменно задерживал кого-нибудь у себя в кабинете на полчаса или на час. На письменном столе зажигались свечи. И потом, когда уже все расходились и он оставался один, то еще долго светился огонь в его большом окне. Писал ли он в это время, или разбирался в своих памятных книжках, заноса впечатления дня, - это, кажется, не было никому известно.

## VI

Вообще мы почти ничего не знаем не только о тайнах его творчества, но даже и о внешних, привычных приемах его работы. В этом отношении А.П. был до странного скрытен и молчалив. Помню, как-то мимоходом он сказал очень значительную фразу:

- Только спаси вас бог читать кому-нибудь свои произведения, пока они не напечатаны. Даже в корректуре не читайте.

Так он и сам поступал постоянно, хотя иногда делал исключения для жены и сестры. Раньше, говорят, он был щедрее на этот счет.

Это было в то время, когда он писал очень много и очень быстро. Он сам говорил, что писал тогда по рассказу в день. Об этом же рассказывала и Е.Я.Чехова. "Бывало, еще студентом, Антоша сидит утром за чаем и вдруг

задумается, смотрит иногда прямо в глаза, а я знаю, что он уж ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку и пишет быстро, быстро. И опять задумается..."

Но в последние годы Чехов стал относиться к себе все строже и все требовательнее: держал рассказы по несколько лет, не переставая их исправлять и переписывать, и все-таки, несмотря на такую кропотливую работу, последние корректуры, возвращавшиеся от него, бывали кругом испещрены знаками, пометками и вставками. Для того чтобы окончить произведение, он должен был писать его не отрываясь. "Если я надолго оставлю рассказ, - говорил он как-то, - то уже не могу потом приняться за его окончание. Мне надо тогда начинать снова". /557/

Где он черпал свои образы? Где он находил свои наблюдения и сравнения? Где он выковывал свой великолепный, единственный в русской литературе язык? Он никому не поверял и не обнаруживал своих творческих путей. Говорят, после него осталось много записных книжек; может быть, в них со временем найдутся ключи к этим сокровенным тайнам? А может быть, они и навсегда останутся неразгаданными? Кто знает? Во всяком случае, мы должны довольствоваться в этом направлении только осторожными намеками и предположениями.

Я думаю, что всегда, с утра до вечера, а может быть, даже и ночью, во сне и бессоннице, совершалась в нем незримая, но упорная, порою даже бессознательная работа - работа взвешивания, определения и запоминания. Он умел слушать и расспрашивать, как никто, но часто, среди живого разговора, можно было заметить, как его внимательный и доброжелательный взгляд вдруг делался неподвижным и глубоким, точно уходил куда-то внутрь, созерцая нечто таинственное и важное, совершавшееся в его душе. Тогда-то А.П. и делал свои странные, поражающие неожиданностью, совсем не идущие к разговору вопросы, которые так смущали многих. Только что говорили и еще продолжают говорить о неомарксистах, а он вдруг спрашивает: "Послушайте, вы никогда не были на конском заводе? Непременно поезжайте. Это интересно". Или вторично предлагал вопрос, на который только что получил ответ.

Внешней, механической памятью Чехов не отличался. Я говорю про ту мелочную память, которой так часто обладают в сильной степени женщины и крестьяне и которая состоит в запоминании того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов и какие сапоги, какого цвета волосы. Просто эти детали были для него неважны и неинтересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качества и порядок и уже знал, как очертить его главную, внутреннюю суть двумя-тремя штрихами.

Однажды Чехов с легким неудовольствием говорил о своем хорошем знакомом, известном ученом {557}, который, несмотря на давнюю дружбу, несколько утеснял А.П.-ча своей многословностью. Как только приедет /558/ в Ялту, сейчас же является к Чехову и сидит с утра до обеда; в обед уедет к себе в гостиницу на полчаса, а там опять приезжает и сидит до глубокой ночи и все говорит, говорит, говорит... И так каждый день.

И вдруг, быстро обрывая этот рассказ, точно увлекаемый новой, интересной мыслью, А.П. прибавлял оживленно:

- А ведь никто не догадывается, что самое характерное в этом человеке. А я вот знаю. То, что он профессор и ученый с европейским именем - это для него второстепенное. Главное то, что он считает себя в душе замечательным актером и глубоко верит в то, что только по воле случая он не приобрел на сцене мировой известности. Дома он постоянно читает вслух Островского.

Однажды, улыбаясь своему воспоминанию, он вдруг заметил:

- Знаете, Москва - самый характерный город. В ней все неожиданно.

Выходим мы как-то утром с публицистом С[абли]ным из "Большого Московского". Это было после длинного и веселого ужина. Вдруг С-н тащит меня к Иверской, здесь же, напротив. Вынимает пригоршню меди и начинает оделять нищих - их там десятки. Сунет копеечку и бормочет: "О здравии раба божия Михаила". Это его Михаилом зовут. И опять: "Раба божия Михаила, раба божия Михаила..." А сам в бога не верит... Чудак...

Тут я должен подойти к щекотливому месту, которое, может быть, не всем понравится. Я глубоко убежден в том, что Чехов с одинаковым вниманием и с одинаковым проникновенным любопытством разговаривал с ученым и с разносчиком, с просящим на бедность и с литератором, с крупным земским деятелем и с сомнительным монахом, и с приказчиком, и с маленьким почтовым чиновником, отсылавшим его корреспонденцию. Не оттого ли у него в рассказах профессор говорит и думает именно как старый профессор, а бродяга - как истый бродяга? И не оттого ли у него тотчас же после его смерти отыскалось такое множество "закадычных" друзей, за которых он, по их словам, был готов в огонь и в воду?

Думается, что он никому не раскрывал и не отдавал своего сердца вполне (была, впрочем, легенда о каком-то его близком, любимом друге, чиновнике из / 559/ Таганрога), но ко всем относился благодушно, безразлично в смысле дружбы и в то же время с большим, может быть бессознательным, интересом.

Свои чеховские словечки и эти изумительные по своей сжатости и меткости черточки брал он нередко прямо из жизни. Выражение "не ндравится мне это", перешедшее так быстро из "Архиерея" в обиход широкой публики, было им почерпнуто от одного мрачного бродяги полупьяницы, полупомешанного, полупророка. Также, помню, разговорились мы с ним как-то о давно умершем московском поэте {559}, и Чехов с яркостью вспомнил и его, и его сожительницу, и его пустые комнаты, и его сенбернара Дружка, страдавшего вечным расстройством желудка. "Как же, отлично помню, - говорил А.П., весело улыбаясь, - в пять часов к нему всегда входила эта женщина и спрашивала: "Лиодор Иваныч, а Лиодор Иваныч, а что, вам не пора пиво пить?" Я тогда же неосторожно сказал: "Ах, так вот откуда это у вас в "Палате N 6"?" - "Ну да, оттуда", - ответил А.П. с неудовольствием.

Были у него также знакомые из тех средостенных купчих, которые, несмотря на миллионы, и на самые модные платья, и на внешний интерес к литературе, говорили "едеял" и "принципально". Иные из них часами изливались перед Чеховым: какие у них необыкновенные тонкие "нервные" натуры и какой

бы замечательный роман мог сделать "гинеяльный" писатель из их жизни, если бы все рассказать. А он ничего, сидел себе и молчал, и слушал с видимым удовольствием, - только под усами у него скользила чуть заметная, почти неуловимая улыбка.

Я не хочу сказать, что он искал, подобно другим писателям, моделей. Но мне думается, что он всюду и всегда видел материал для наблюдений, и выходило у него это поневоле, может быть часто против желания, в силу давно изоощренной и никогда не искоренимой привычки вдумываться в людей, анализировать их и обобщать. В этой сокровенной работе было для него, вероятно, все мучение и вся радость вечного бессознательного процесса творчества.

Ни с кем не делился он своими впечатлениями, так же как никому не говорил о том, что и как собирается он писать. Также чрезвычайно редко сказывался в его /560/ речах художник и беллетрист. Он, отчасти нарочно, отчасти инстинктивно, употреблял в разговоре обыкновенные, средние, общие выражения, не прибегая ни к сравнениям, ни к картинам. Он берег свои сокровища в душе, не позволяя им расточаться в словесной пене, и в этом была громадная разница между ним и теми беллетристами, которые рассказывают свои темы гораздо лучше, чем их пишут.

Происходило это, думаю, от природной сдержанности, но также и от особенной стыдливости. Есть люди, органически не переносящие, болезненно стыдящиеся слишком выразительных поз, жестов, мимики и слов, и этим свойством А.П. обладал в высшей степени. Здесь-то, может быть, и кроется разгадка его кажущегося безразличия к вопросам борьбы и протеста и равнодушия к интересам злободневного характера, волновавшим и волнующим всю русскую интеллигенцию. В нем жила боязнь пафоса, сильных чувств и неразлучных с ним несколько театральных эффектов. С одним только я могу сравнить такое положение: некто любит женщину со всем пылом, нежностью и глубиной, на которые способен человек тонких чувств, огромного ума и таланта. Но никогда он не решится сказать об этом пышными, выпренными словами и даже представить себе не может, как это он станет на колени и прижмет одну руку к сердцу и как заговорит дрожащим голосом первого любовника. И потому он любит и молчит, и страдает молча, и никогда не отважится выразить то, что развязно и громко, по всем правилам декламации, изъясняет фат среднего пошиба.

## VII

К молодым, начинающим писателям Чехов был неизменно участлив, внимателен и ласков. Никто от него не уходил подавленным его огромным талантом и собственной малозначительностью. Никому никогда не сказал он: "Делайте, как я, смотрите, как я поступаю". Если кто-нибудь в отчаянии жаловался ему: "Разве стоит писать, если на всю жизнь останешься "нашим молодым" и "подающим надежды", - он отвечал спокойно и серьезно:



- Не всем же, батенька, писать, как Толстой. /561/

Внимательность его бывала иногда прямо трогательной. Один начинающий писатель приехал в Ялту и остановился где-то за Ауткой, на окраине города, наняв комнатку в шумной и многочисленной греческой семье. Как-то он пожаловался Чехову, что в такой обстановке трудно писать, - и вот Чехов настоял на том, чтобы писатель непременно приходил к нему с утра и занимался у него внизу, рядом со столовой {561}. "Вы будете писать внизу, а я вверху, - говорил он со своей очаровательной улыбкой. - И обедать будете также у меня. А когда кончите, непременно прочтите мне или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуру".

Читал он удивительно много и всегда все помнил, и никого ни с кем не смешивал. Если авторы спрашивали его мнения, он всегда хвалил, и хвалил не для того, чтобы отвязаться, а потому, что знал, как жестоко подрезает слабые крылья резкая, хотя бы и справедливая критика и какую бодрость и надежду вливает иногда незначительная похвала. "Читал ваш рассказ. Чудесно написано", - говорил он в таких случаях грубоватым и душевным голосом. Впрочем, при некотором доверии и более близком знакомстве, и в особенности по убедительной просьбе автора, он высказывался, хотя и с осторожными оговорками, но определеннее, пространнее и прямее. У меня хранятся два его письма, написанные одному и тому же беллетристу по поводу одной и той же повести. Вот выдержка из первого.

"Дорогой N, повесть получил и прочел, большое Вам спасибо. Повесть хороша, прочел я ее в один раз, как и предыдущую, и получил одинаковое удовольствие..." {562}

Но так как автор не удовольствовался одной похвалой, то вскоре он получил от А.П. другое письмо:

"Вы хотите, чтобы я говорил только о недостатках, и этим ставите меня в затруднительное положение. В этой повести недостатков нет, и если можно не соглашаться, то лишь с особенностями ее, некоторыми. Например, героев своих, актеров, Вы трактуете по старинке, как трактовались они уже лет сто всеми писавшими о них - ничего нового. Во-вторых, в первой главе Вы заняты описанием наружностей - опять-таки по старинке, описанием, без которого можно обойтись. Пять определенно /562/ изображенных наружностей утомляют внимание и в конце концов теряют свою ценность. Бритые актеры похожи друг на друга, как ксендзы, и остаются похожими, как бы старательно Вы ни изображали их. В-третьих, грубоватый тон, излишества в изображении пьяных. Вот и все, что я могу Вам сказать в ответ на Ваш вопрос о недостатках; больше уж ничего придумать не могу" {562}.

К тем из писателей, с которыми у него возникала хоть какая-нибудь духовная связь, он всегда относился бережно и внимательно. Никогда он не упускал случая сообщить известие, которое, он знал, будет приятно или полезно.

"Дорогой N, - писал он одному знакомому, - сим извещаю Вас, что Вашу повесть читал Л.Н.Толстой и что она ему очень понравилась. Будьте добры, пошлите ему Вашу книжку по адресу: Кореиз, Таврич. губ., и в заглавии подчеркните рассказы, которые Вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них. Или книжку пришлите мне, а я уж передам ему" {562}.

К пишущему эти строки он также проявил однажды милую любезность, сообщив письмом, что "в "Словаре русского языка", издаваемом Академией наук, в шестом выпуске второго тома, который (то есть выпуск) я сегодня получил, показались наконец и Вы. Так, на странице такой-то и т.д." {562}.

Все это, конечно, мелочи, но в них сквозит так много участия и заботливости, что теперь, когда нет уже больше этого изумительного художника и прекрасного человека, его письма приобретают значение какой-то далекой, невозвратимой ласки.

- Пишите, пишите как можно больше, - говорил он начинающим беллетристам. - Не беда, если у вас не совсем выходит. Потом будет выходить лучше. А главное - не тратьте понапрасну молодости и упругости: теперь вам только и работать. Смотрите: вот вы пишете чудесно, а лексикон у вас маленький. Нужно набираться слов и оборотов, а для этого необходимо писать каждый день.

И он сам неустанно работал над собой, обогащая свой прелестный, разнообразный язык отовсюду: из /563/ разговоров, из словарей, из каталогов, из ученых сочинений, из священных книг. Запас слов у этого молчаливого человека был необычайно громаден.

- Слушайте, ездите почаще в третьем классе, - советовал он. - Я жалею, что болезнь мешает мне теперь ездить в третьем классе. Там иногда услышишь замечательно интересные вещи.

Удивлялся он также тем писателям, которые по целым годам не видят ничего, кроме соседнего брандмауэра из окон своих петербургских кабинетов. И часто он говорил с оттенком нетерпения:

- Не понимаю, отчего вы - молодой, здоровый и свободный - не поедете, например, в Австралию (Австралия была почему-то его излюбленной частью света) или в Сибирь? Как только мне станет получше, я непременно опять поеду в Сибирь. Я там был, когда ездил на Сахалин {563}. Вы и представить себе не можете, батенька, какая это чудесная страна. Совсем особое государство. Знаете, я убежден, что Сибирь когда-нибудь совершенно отделится от России, вот так же, как Америка отделилась от метрополии. Поезжайте же, поезжайте туда непременно...

- Отчего вы не напишете пьесу? - спрашивал он иногда. - Да напишите же, в самом деле. Каждый писатель должен написать по крайней мере четыре пьесы.

Но тут же он соглашался, что драматический род сочинений теряет с каждым днем интерес в наше время. "Драма должна или выродиться совсем, или принять совсем новые, невиданные формы, - говорил он. - Мы себе и представить не можем, чем будет театр через сто лет".

Бывали у А.П. иногда маленькие противоречия, которые в нем казались особенно привлекательными и в то же время имели глубокий внутренний смысл. Так было однажды с вопросом о записных книжках. Чехов только что с увлечением убеждал нас не обращаться к их помощи, полагаясь во всем на память и на воображение. "Крупное само останется, - доказывал он, - а мелочи вы всегда изобретете или отыщете". Но вот, спустя час, кто-то из присутствующих, прослуживший случайно год на сцене, стал рассказывать о своих театральных впечатлениях и, между прочим, упомянул о таком случае. Идет дневная репетиция в садовом театре маленького провинциального городка. Первый любовник, в шляпе и /564/ в клетчатых панталонах, руки в карманах, расхаживает по сцене, рисуясь перед случайной публикой, забредшей в зрительную залу. Энженю-комик, его "театральная" жена, тоже находившаяся на сцене, обращается к нему: "Саша, как это ты вчера напевал из "Паяцев"? Насвищи, пожалуйста". Первый любовник поворачивается к ней, медленно меряет ее с ног до головы уничтожающим взором и говорит жирным актерским голосом: "Что-о? Свистать на сцене? А в церкви ты будешь свистать? Так знай же, что сцена - тот же храм!"

После этого рассказа А.П. сбросил пенсне, откинулся на спинку кресла и захохотал своим громким, ясным смехом. И тотчас же полез в боковой ящик стола за записной книжкой. "Постойте, постойте, как вы это рассказывали? Сцена - это храм?.." И записал весь анекдот {564}.

В сущности, даже и противоречия во всем этом не было, и сам А.П. потом объяснил это. "Не надо записывать сравнений, метких черточек, подробностей, картин природы - это должно появиться само собой, когда будет нужно. Но голый факт, редкое имя, техническое название надо занести в книжку - иначе забудется, рассеется".

Нередко вспоминал Чехов те тяжелые минуты, которые ему доставляли редакции серьезных журналов, до той поры, пока с легкой руки "Северного вестника" он не завоевал их окончательно.

- В одном отношении вы все должны быть мне благодарны, - говорил он молодым писателям. - Это я открыл путь для авторов мелких рассказов. Прежде, бывало, принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят. Только посмотрят с пренебрежением. "Что? Это называется - произведением? Да ведь это короче воробьиного носа. Нет, нам таких штучек не надо". А я вот добился и другим указал дорогу. Да это еще что, так ли со мной обращались! Имя мое сделали нарицательным. Так и острили, бывало: "Эх вы, Че-хо-вы!" Должно быть, это было смешно.

Антон Павлович держался высокого мнения о современной литературе, то есть, собственно говоря, о технике теперешнего письма. "Все нынче стали чудесно писать, плохих писателей вовсе нет, - говорил он решительным тоном. - И оттого-то теперь все труднее становится выбиться из неизвестности. И, знаете, кто сделал такой /565/ переворот? Мопассан. Он, как художник слова, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже больше невозможным. Попробуйте-ка вы теперь перечитать некоторых наших классиков, ну хоть Писемского, Григоровича или Островского, нет, вы попробуйте только, и увидите, какое это все старье и общие места. Зато возьмите, с другой стороны,

наших декадентов. Это они лишь притворяются больными и безумными, - они все здоровые мужики. Но писать - мастера".

В то же время он требовал от писателей обыкновенных, житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных колоритов. "Зачем это писать, - недоумевал он, - что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все. И потом, зачем эти подзаголовки: психический этюд, жанр, новелла? Все это одни претензии. Поставьте заглавие попроще, - все равно, какое придет в голову, - и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире - это манерно".

Еще учил он, чтобы писатель оставался равнодушен к радостям и огорчениям своих героев. "В одной хорошей повести, - рассказывал он, - я прочел описание приморского ресторана в большом городе. И сразу видно, что автору в диковинку и эта музыка, и электрический свет, и розы в петлицах, и что он сам любит на них. Так - нехорошо. Нужно стоять вне этих вещей и хотя знать их хорошо, до мелочи, но глядеть на них как бы с презрением, сверху вниз. И выйдет верно".

## VIII

Сын Альфонса Доде в своих воспоминаниях об отце упоминает о том, что этот талантливый французский писатель полусуто называл себя "продавцом счастья". К нему постоянно обращались люди разных положений за советом и за помощью, приходили со своими огорчениями и заботами, и он, уже прикованный к креслу /566/ неизлечимой, мучительной болезнью, находил в себе достаточно мужества, терпения и любви к человеку, чтобы войти душой в чужое горе, утешить, успокоить и ободрить.

Чехов, конечно, по своей необычайной скромности и по отвращению к фразе, никогда не сказал бы о себе ничего подобного, но как часто приходилось ему выслушивать тяжелые исповеди, помогать словом и делом, протягивать падающему свою нежную и твердую руку. В своей удивительной объективности стоя выше частных горестей и радостей, он все знал и видел. Но ничто личное не мешало его проникновению. Он мог быть добрым и щедрым не любя, ласковым и участливым - без привязанности, благодетелем - не рассчитывая на благодарность. И в этих чертах, которые всегда оставались неясными для его окружающих, кроется, может быть, главная разгадка его личности {566}.

Пользуясь позволением одного моего друга, я приведу коротенький отрывок из чеховского письма. Дело в том, что этот человек переживал большую тревогу во время первой беременности горячо любимой жены и, по правде сказать, порядочно докучал А.П. своей болью. И вот Чехов однажды написал ему:

"Скажите Вашей жене, чтобы не беспокоилась, все обойдется благополучно. Роды будут продолжаться часов 20, а потом наступит блаженнейшее состояние, когда она будет улыбаться, а Вам будет хотеться плакать от умиления. 20 часов - это обыкновенный maximum для первых родов">{566}.

Какое тонкое внимание к чужой тревоге слышится в этих немногих, простых строчках. Но еще характернее то, что, когда впоследствии, уже сделавшись счастливым отцом, этот мой приятель спросил, вспомнив о письме, откуда Чехов так хорошо знает эти чувства, А.П. ответил спокойно, даже равнодушно:

- Да ведь, когда я жил в деревне, мне же постоянно приходилось принимать у баб. Все равно - и там такая же радость.

Если бы Чехов не был таким замечательным писателем, он был бы прекрасным врачом. Доктора, приглашавшие его изредка на консультации, отзывались о нем как о чрезвычайно вдумчивом наблюдателе и находчивом, проницательном диагносте. Да и не было бы ничего /567/ удивительного в том, если бы его диагноз оказался совершеннее и глубже диагноза, поставленного какой-нибудь модной знаменитостью. Он видел и слышал в человеке - в его лице, голосе, походке - то, что было скрыто от других, что не поддавалось, ускользало от глаза среднего наблюдателя.

Сам он предпочитал советовать, в тех редких случаях, когда к нему обращались, средства испытанные, простые, по преимуществу домашние. Между прочим, чрезвычайно удачно лечил он детей.

Верил он в медицину твердо и крепко, и ничто не могло пошатнуть этой веры. Помню я, как однажды он рассердился, когда кто-то начал свысока третировать медицину по роману Золя "Доктор Паскаль".

- Золя ваш ничего не понимает и все выдумывает у себя в кабинете, - сказал он, волнуясь и покашливая. - Пусть бы он поехал и посмотрел, как работают наши земские врачи и что они делают для народа.

И кто же не знает, какими симпатичными чертами, с какой любовью сквозь внешнюю жесткость и как часто описывал он этих чудных тружеников, этих неизвестных и незаметных героев, сознательно осуждающих свои имена на забвение? Описывал, даже не щадя их.

## IX

Есть изречение: смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о последних его днях, даже о последних минутах. Даже в самые его похороны судьба внесла, по какой-то роковой последовательности, много чисто чеховских черт.

Боролся он с неумолимой болезнью долго, страшно долго, но переносил ее мужественно, просто и терпеливо, без раздражения, без жалоб, почти без слов.

За последнее время лишь мимоходом, небрежно упоминает он в письмах о своем здоровье "Здоровье мое поправилось, хотя все еще хожу с компрессом...", "Только что перенес плеврит, но теперь мне лучше...", "Здоровье мое неважно... пишу понемногу..." {567}

Не любил он говорить о своей болезни и сердился, когда его расспрашивали. Только, бывало, и узнаешь /568/ что-нибудь от Арсения. "Сегодня утром очень плохо было - кровь шла", - скажет он шепотом, покачивая головой. Или Евгения Яковлевна сообщит по секрету с тоской в голосе:

- А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлял. Мне через стенку все слышно.

Знал ли он размеры и значение своей болезни? Я думаю, знал, но бестрепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигающейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывавшие на это. Так, например, одной даме, жаловавшейся ему на бессонницу и нервное расстройство, он сказал спокойно, с едва лишь уловимым оттенком покорной грусти:

- Видите ли, пока у человека хороши легкие, все хорошо.

Умер он просто, трогательно и сознательно. Говорят, последние его слова были: "Ich sterbe!"\*. И последние его дни были омрачены глубокой скорбью за Россию, были взволнованы ужасом кровопролитной, чудовищной японской войны...

---

\* Я умираю! (нем.)

Точно сон, припоминаются его похороны. Холодный, серенький Петербург, путаница с телеграммами, маленькая кучка народу на вокзале, "вагон для устриц", станционное начальство, никогда не слыхавшее о Чехове и видевшее в его теле только железнодорожный груз. Потом, как контраст, Москва, стихийное горе, тысячи точно осиротевших людей, заплаканные лица. И, наконец, могила на Новодевичьем кладбище, вся заваленная цветами, рядом со скромной могилой "вдовы казака Ольги Кукаретниковой".

Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение.

Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом:

- Вот горе-то у нас какое... Нет Антоши... /569/

О, эта потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними. Нет! Утешения здесь были бы бессильны. Разве может истощиться, успокоиться горе тех людей, души которых так близко прикасались к великой душе избранника?

Но пусть облегчит их неутолимую тоску сознание, что их горе - и наше общее горе. Пусть смягчится оно мыслью о незабвенности, о бессмертии этого

прекрасного, чистого имени. В самом деле, пройдут годы и столетия, и время сотрет даже самую память о тысячах тысяч живущих ныне людей. Но далекие грядущие потомки, о счастии которых с такой очаровательной грустью мечтал Чехов, произнесут его имя с признательностью и с тихой печалью о его судьбе.

## ***С.Я.ЕЛПАТЬЕВСКИЙ. АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ***

### **I**

Кому повею печаль мою?

Антон Павлович Чехов приехал в Москву - совсем, навсегда приехал. Быть может, правильнее сказать: вернулся в Москву - в ту Москву, из которой уехал помимо воли, из-за болезни, и куда так неудержимо стремился все те семь-восемь лет, которые он прожил на моих глазах в Ялте, в ту Москву, которая занимала все его мысли, была для него воистину обетованною землей, в которой сосредоточивалось все то, что было в России самого хорошего, приятного, милого для Чехова. Я видал саратовских патриотов, полтавских, сибирских, но такого влюбленного в свое место, как был влюблен Антон Павлович в Москву, я редко встречал. Это было немножко смешно и немножко трогательно, - более трогательно, чем смешно.

Вот один из многих наших разговоров. Антон Павлович собирается в Москву; я боюсь за него, всеми силами отговариваю его и представляю свои аргументы.

- Ведь теперь март месяц, Антон Павлович, - самое отвратительное время в Москве. Все хляби московские разверзнуты.

Я напоминаю ему, что такое московские хляби, и убеждаю, что и самое слово "хляби" выдуманно в Москве и специально для Москвы. /571/

Он сердится и начинает ругать Ялту и говорит, что ялтинские хляби хуже московских. И видно, что ему не терпится, что ему страстно хочется уехать в Москву.

Я начинаю говорить про московскую вонь, про весь нелепый уклад московской жизни, московские мостовые, кривули узеньких переулков, знаменитые тупики, эти удивительные Бабы Городки, Зацепы, Плющихи, Самотеки, - и чем больше неприятностей говорю я по адресу Москвы, тем веселей и приятнее становится хмурое лицо Антона Павловича, тем чаще смеется он своим коротким чеховским смешком. И видно, что и Самотека, и Плющиха, и даже скверные московские мостовые, и даже мартовская грязь, и серые мглистые дни - что все это ему очень мило и наполняет его душу самыми приятными ощущениями.

Запас сведений о Москве у нас обоих обширен, - мы оба учились в Московском университете. Чехов вдохновляется и говорит:

- А помните?..

И начинает вспоминать знаменитые пирожки "с лучком, перцем, с собачьим сердцем", которые готовились в грязном переулке на Моховой, кажется специально для нас, студентов-медиков, работавших в анатомическом театре и химической лаборатории; вспоминает любезные Патриаршие пруды и миловидные Бронные и Козицкие переулки, и морщины мелкими складками собираются вокруг глаз на похудевшем лице, и смеется он веселым, громким, радостным смехом, каким редко смеялся покойный Антон Павлович. И он, умный человек, мог говорить удивительно несообразные слова, когда разговор шел о Москве. Раз, когда я отговаривал его ехать в Москву в октябре, он стал уверять совершенно серьезно, без иронии в голосе, что именно московский воздух в особенности хорош и живителен для его туберкулезных легких, и, притягивая науку в доказательство, говорил, что нам, врачам, не следует быть рутинерами и упираться в стену и что октябрьская московская непогода может быть даже полезна для некоторых больных легких. Нечего и говорить о Московской губернии и об окрестностях Москвы, - нужно было видеть, с каким восторгом и торжеством над моим неверием и непониманием рассказывал он мне, возвратившись как-то из летней поездки в Московскую губернию, как часами ловил он там /572/ пескарей и окуней, как великолепно отхаркивал мокроту, какой развился у него аппетит и как прибыл он там в весе что-то около восьми фунтов за лето.

И все было мило для него в Москве - и люди, и улицы, и звон разных Никол Мокрых и Никол на Щепках, и классический московский извозчик, и вся московская бестолочь. Отдышится он от Москвы и от московского плеврита, проживет в Ялте два-три месяца - и снова разговоры всё о Москве. И все три сестры, повторяющие на разные лады: "В Москву, в Москву", - это все он же, один Антон Павлович, думавший вечно о Москве и постоянно стремившийся в Москву, где постоянно получал он плевриты и обострения процесса и которая, имею основание думать, укоротила ему жизнь.

## II

Случалось, мы сговаривались по телефону, и я приезжал к нему по делу - поговорить об "Яузляре", санатории ялтинского благотворительного общества {572}, которым он очень интересовался, об устройстве какого-нибудь народного учителя или земской фельдшерицы, которые приехали лечиться в Ялту без денег; но деловыми вопросами разговор никогда не кончался. Он ждал меня в своем кабинете с рассыпанными по полу газетами, - перечитывал он их великое множество, - с камином, набитым конвертами и письмами, которых он получал тоже великое множество, и тотчас после деловых разговоров начинал сообщать мне литературные новости, и говорили мы о новых талантливых писателях,



появление которых он встречал с таким радостным чувством, о литературных веяниях, о всем том новом, хорошем и дурном, что входило в литературу и искусство. И лицо его оживлялось, и искорки юмора вспыхивали в глазах. Приходилось говорить и о тех конфликтах, которыми полна русская жизнь, и о тех острых и болезненных вопросах, которые давно стоят перед русской жизнью в их строгой повелительности, но разговор о них недолго продолжался. Лицо его делалось усталым и скучным, говорил он слова скучные и утомительные, приводил какой-нибудь случай из деревенской или обывательской жизни, характеризующий жестокость и некультурность этой жизни, иногда /573/ приводил свои заграничные впечатления и охотно переходил на другие темы, и было видно, что ему скучно говорить и хочется уйти от надоедливой темы и что он не любит острого, требовательного, повелительного. И когда у меня вырывалось резкое, жесткое замечание о каком-нибудь его знакомом литераторе, ему было неприятно, и он начинал оправдывать его и приводить смягчающие вину обстоятельства.

Он стоит предо мною в темном костюме, чуточку сгорбившись, с тихой речью и мягкими манерами, немножко застенчивый. И в небольшом кабинете его есть маленький фонарик, совсем маленький, где может поместиться только коротенький диванчик, и когда Чехов говорит, он любит уходить в фонарик и сидеть на маленьком диванчике. А в большом окне кабинета - разноцветные стекла, чтобы мягче был свет, и против фонарика, над камином, Левитан нарисовал маленькую картину - русская смутная, тихая даль со смутно освещенными стогами сена... И встречал я у него людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и не влекло его к людям строгим, которые остро ставят вопросы жизни и без колебаний отвечают на них...

Я вспоминаю полученное письмо и передаю ему "поклоны" - настоящие московские поклоны - от знакомых писателей, которые любили его, и Антон Павлович улыбается ласковою улыбкой, от которой молодело и светлело хмурое лицо. И снова говорим мы о литературе и об искусстве, снова оживлялся он и смеялся своим коротким смешком, и румянец выступал на бледных щеках. И забывал он тогда Москву, и свою повышенную температуру, и свое унылое ялтинское одиночество.

Одиночество. Он был окружен нежной заботливостью родных и близких, широким и почтительным вниманием ялтинских людей, и тем не менее он был одинок - ему не доставало привычной, желанной литературной обстановки, широкой и желанной московской жизни.

В личных отношениях Чехов был мягкий, добрый, терпимый, быть может слишком терпимый человек, но в литературных суждениях был строг, и его отзывы о художественной стороне произведений не знали терпимости. Он ненавидел все сытое, самодовольное, не знающее /574/ сомнений, не выносил ничего напыщенного, риторического, претенциозного и фокусного и был поразительно чуток ко всякой фальши, ко всему лживому, выдуманному, изломанному. Здесь у него были определенные симпатии и антипатии, и были пункты, в которых он был удивительно упорен. Я помню, как несколько раз он старался убедить меня, что Гончаров - устарелый и скучный писатель, и никак не

мог понять, почему я, перечитавши Гончарова незадолго до нашего разговора, продолжаю находить его интересным и талантливым. И в этих разговорах чувствовалось, как он любил литературу и что он был воистину писатель в лучшем, высоком русском смысле - в смысле правды, простоты и искренности, которые всегда составляли главную особенность русской литературы.

В доме тихо, и чувствуется одиночество в кабинете с газетами и письмами, и, должно быть, становится совсем тихо и пусто, когда уходит из кабинета гость и остается там одинокий человек с думами о литературе, с мечтами о Москве. И когда я уходил от него, у меня всегда была одна и та же мысль: почему этот, так ищущий людей, человек одинок и почему он, жадный к жизни, с тонким проникновением красоты, - хмурый человек?

### III

Чехова много раз сравнивали с Мопассаном, и я помню, как проницательные люди, всегда исследующие, кто кому подражает, обвиняли Чехова в подражании Мопассану. С тех пор прошло много времени, и Мопассан остался Мопассаном, а Чехов сделался Чеховым. В них, несомненно, есть общее, и не только в манере и красках, но и в темах, которые они выбирали; но вот какая существенная разница между русским и французским Мопассаном.

Мой хороший знакомый, знаменитый русский ученый, рассказывал мне про свою встречу с Мопассаном у Тургенева. Это было вскоре после смерти дяди Мопассана, Флобера; Мопассан пришел к Тургеневу, которого он, /575/ после смерти дяди, называл своим *cher maitre'*ом\*, посоветоваться о газете, которую он вместе с компанией литературной молодежи, - кажется, туда входил и Бурже, - хотел основать в Париже. Тургенев спросил его, какими же принципами будет руководиться газета, и Мопассан ответил: "*Pas de principes!*"\*\* И ответил спокойно и решительно, как программу, как знамя своей газеты.

---

\* дорогим учителем (франц.).

\*\* Никаких принципов! (франц.).

Чехов редко и неохотно говорил о своих литературных неудачах, но я не слышал большей горечи в его голосе и не чувствовалось большей обиды, как в тот раз, когда он рассказывал мне, как в одном толстом журнале о нем было напечатано: "В русской литературе одним беспринципным писателем стало больше..."\*{575}

---

\* Я не читал этой статьи и цитирую со слов Чехова (Прим. С.Я.Елпатьевского.).

И не предлагали Мопассану вопросов: кто ты? И не ломали копий по поводу мопассановских "мужиков" литературные и политические партии, и французские люди сравнительно редко ищут решения вопросов жизни на страницах произведений французских беллетристов.

- Напишите рассказ в "Журнал для всех"... Непременно напишите... Ведь там какая публика! - не знаю уж в который раз убеждал меня Антон Павлович...

#### IV

Мне хочется сказать несколько слов не о Чехове-писателе, а о человеке - Антоне Павловиче. Публика знает веселого рассказчика, каким был Чехов в молодости, и хмурого человека, бытописателя русской скуки, пошлости - позднейших лет. Мне хотелось бы осветить уголок души его, самый теплый и трогательный.

Как-то раз, давно, у нас зашел разговор о прекрасных и удивительных русских словах - народных словах. Что значит "тоска", как звучит у бабы, только что всунувшей себе нож в грудь, слово "скушно было", какое многосмысленное и полноценное слово "хорошо", и проч. и проч. /576/

Я говорил, что для меня самое удивительное русское слово "жалеть", приводил в пример, что баба никогда не скажет, что муж любит ее, а ответит: "жалеет..." и иногда прибавит: "больно" жалеет...

И это "больно" вместо "очень" и "жалеть" вместо "любить" не только характерно для понимания своеобразного содержания русской любви, но даже до известной степени определяет русскую литературу. Помню, Антон Павлович необыкновенно воодушевился и рассказал мне случай из деревни, где он жил в Московской губернии, - кажется, в той самой, где жили описанные им "мужики". Назначен был в приход новый дьякон, которого никто не знал. А от старого дьякона осталась сука, которая ощенилась многочисленными щенятами. И то обстоятельство, что новый дьякон не утопил, по деревенскому обычаю, лишних щенят, а стал кормить, сразу определило положение его в селе. "Пожалел щенят-то!.." - улыбаясь, говорили мужики и решили, что дьякон - человек хороший. И было так много ласки в его обычной насмешливой улыбке, когда Чехов рассказывал историю про дьякона.

Все близко соприкасавшиеся с Чеховым знают, как много доброты и жалости лежало в нем и сколько добра - стыдливого, хоронящегося добра делал он в жизни. Я помню, какое горячее участие принял он в беде, приключившейся с сыном моего знакомого, и как упрасивал он моего знакомого воспользоваться теми обширными связями, которые имел в разнообразных петербургских кругах Антон Павлович. И, кажется, не было для него большего удовольствия, как устроить кого-нибудь, поддержать молодого писателя, дать возможность прожить в Ялте бедному учителю, найти место, занятия...

Хочется мне вспомнить здесь кое-что из рассказов Чехова, - не те веселые и хмурые, которые всем известны, а те, в которые вложены его любовь и жалость

к людям и о которых почему-то меньше говорят. Вспоминается Ванька, заброшенный в Москву девятилетний Ванька, голодный, иззябший, вечно избитый, опускающий в почтовый ящик письмо с адресом: "На деревню, дедушке Константину Макарычу": "Милый дедушка, сделай божескую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь / 577/ тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру..." И как бесконечный плач, льются горькие, жалобные детские мольбы (рассказ "Ванька").

Вспоминается "цоцкай", который всю жизнь ходил с бумагами по мужикам и господам, в грязь и метель, тоже голодный и иззябший, от лица которого Чехов говорит: "Мы идем, мы идем, мы идем... Мы не знаем покоя, не знаем радостей... Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей. Мы идем, мы идем..." ("По делам службы".)

Вспоминается "Тоска" - старик извозчик, который ищет человека, которому бы рассказать про смерть сына, про свое горе неизбывное; все хочет рассказать своим случайным седокам, своему товарищу, парню-извозчику, и никто не хочет выслушать его, и идет он в конюшню к своей лошади и ей говорит: "Так-то, брат, кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча. Приказал долго жить... Теперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку - родная мать... И вдруг, скажем, этот жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?"

Я несколько раз прочитывал рассказ "Тоска", и теперь, когда Чехов совсем ушел из жизни, я вспоминаю судьбу его, вспоминаю всего Чехова и не могу без волнения читать взятый им к этому рассказу эпиграф: "Кому повем печаль мою?.."

И - так случилось! - именно в последнее, предсмертное время настроение Чехова резко изменилось, - шире, светлее, выше тоном стало на душе его. Жизнь приласкала его, поманила к себе, - и не только славой и дарами ее, не только личным счастьем, но и широкими далями, новыми для Чехова светлыми перспективами. Изменилось его отношение к людям и фактам, иначе, в других красках встал пред ним мир...

В Чехове не было горьковской дерзости, горьковского озорства. Красивый, изящный, он был тихий, немного застенчивый, с негромким смешком, с медлительными движениями, с мягким, терпимым и немножко скептическим, насмешливым отношением к жизни и людям.

И дом свой устроил по своему вкусу, уютный, с маленькими комнатами. Мы начали строиться почти /578/ одновременно. Он дразнил меня, называл мой дом, высоко на горе, над Ялтой, откуда открывался великолепный, единственный вид в Ялте на море и на горы - "Вологодской губернией", а я называл его место - "дыра". Мне не нравилось выбранное место в дальней части неопрятно содержавшейся Аутки, в ложбине у пыльного шоссе, но у Чехова было уютнее и интимнее, в особенности, когда рассадил он свой прекрасный садик и пустынное место стало обжитым, забегали по садику две ласковые собачки и торжественно зашагала по двору цапля.

К политике Чехов относился равнодушно, пренебрежительно, даже можно сказать - немножко брезгливо. Он не любил заостренных политических людей, редко бывал в домах, где мог встретить их, услышать интеллигентские споры о политике.

Мы были с самого начала в добрых отношениях. Он сердечно подошел к нашей работе по устройству в Ялте безденежной туберкулезной пубрики, собирал пожертвования\*{578}, часто обращался ко мне с просьбой устроить нуждающихся больных, которых присылали к нему московские знакомые, но наши отношения долго не делались интимными - мешала политика. Антон Павлович был более чем равнодушен к тому, что волновало меня, и был слишком мягок и терпим к людям, которые были непереносимы для меня, и на этой почве у нас возникала иногда временная отчужденность. К нему приезжали разные люди, пестрая публика.

---

\* Чехов не практиковал, хотя всегда интересовался медициной, но какой-то московский купец, несмотря на все отговорки Чехова, пожелал непременно получить от него совет и заплатил 50 р. Чехов передал нам этот гонорар, долго очень гордился этим и с торжеством спрашивал меня: "Ну, вы, ялтинские врачи, получаете пятьдесят рублей за визит?" (Прим. С.Я.Елпатьевского.)

Помню один неприятный случай. Как-то раз я встретил у него Меньшикова, нововременского, уже высказавшегося до конца Меньшикова. Чехов познакомил нас. Оставаться в обществе Меньшикова мне было неприятно, я прождал несколько минут и, отговорившись какими-то делами, ушел, не простившись с Меньшиковым. На другой день Чехов упрекал меня в нетерпимости, в том, что я обидел Меньшикова. В другой раз, по поводу беспорядков в Петербургском университете, в которых /579/ деятельное участие принимал мой сын, Чехов стал говорить, что эти бунтующие студенты завтра станут прокурорами по политическим делам, а когда я заметил, что в массе эти студенты, несомненно, будут больше подсудимыми, чем прокурорами, он пренебрежительно махнул рукой и не продолжал разговора.

Это не значит, что Чехов был ближе к прокурорам, чем к подсудимым, не значит, что он не интересовался общественными делами, что равнодушно проходил мимо того, что совершалось кругом. Он был горячо предан общественной медицине, земскому школьному делу, известно, как много делал он в своем Мелихове, я знаю, как участливо относился он к нахлынувшему бедствию голода. На Сахалин он ездил не как турист, ради развлечения. И в Ялте он много и многим помогал, чем мог. Он был чуткий к чужим нуждам, добрый активной добротой и враг лжи, сытого самодовольства, враг обмана и насилия, но человек левитановских пейзажей, настроения не бунтующей музыки Чайковского, Чехов не любил громких криков, трубных звуков. Ему чуждо было все острое, повелительное, непреклонно требовательное - ему не сроден был бунт.

И вот пришло время, не стало прежнего Чехова... И случилось это как-то вдруг, неожиданно для меня. Поднимавшаяся бурная русская волна подняла и понесла с собой и Чехова. Он, отвертывавшийся от политики, весь ушел в

политику, по-другому и не то стал читать в газетах, как и что читал раньше. Пессимистически и, во всяком случае, скептически настроенный Чехов стал верующим. Верующим не в то, что будет хорошая жизнь через двести лет, как говорили персонажи его произведений, а что эта хорошая жизнь для России придвинулась вплотную, что вот-вот сейчас перестроится вся Россия по-новому, светлому, радостному...

И весь он другой стал - оживленный, возбужденный, другие жесты явились у него, новая интонация послышалась в голосе.

Помню, когда я вернулся из Петербурга в период оживления Петербурга перед революцией 1905 года, он в тот же день звонил нетерпеливо по телефону, чтобы я как можно скорее, немедленно, сейчас же приехал к нему, что у него важнейшее, безотлагательное дело ко мне. Оказалось, что это важнейшее безотлагательное /580/ дело заключалось в том, что он волновался, что ему безотлагательно, сейчас же нужно было знать, что делается в Москве и Петербурге, и не в литературных кругах, о которых раньше он исключительно расспрашивал меня, а в политическом мире, в надвигавшемся революционном движении... И когда мне, не чрезмерно обольщавшемуся всем, что происходило тогда, приходилось вносить некоторый скептицизм, он волновался и нападал на меня с резкими, не сомневающимися, не чеховскими репликами.

- Как вы можете говорить так! - кипятился он. - Разве вы не видите, что все сдвинулось сверху донизу! И общество, и рабочие!..

И как-то все перевернулось в нем. О том же Меньшикове он говорил мне:

- Читали вы, что написал этот мерзавец Меньшиков?

Я ответил, что Меньшиков был и есть Меньшиков и что у меня не всегда бывает охота и терпение читать его. А он все волновался и повторял:

- Нет, вы прочитайте, что он в последнем номере пишет.

Стал рассказывать мне о "Новом времени", с которым был связан и о котором раньше нередко упоминал. О самом старике Суворине он редко говорил и, когда говорил, косвенно защищал его. Помню, он мне рассказывал, что возмутительная статья в "Новом времени" по поводу 1 марта, требовавшая чуть ли не четвертования "злодеев", была помещена в газете без ведома Суворина, написана Иловайским, но относительно "Нового времени" он не жалел красок. Рассказывал, какие там дурные люди ведут дело, как там фабрикуется заведомая ложь, как подкупаются сотрудники, как во время дрейфусовского дела {580} переделывались и подделывались телеграммы, получавшиеся из Парижа от их собственного корреспондента, как вставлялись "не" в телеграммы, выбрасывалось нежелательное, ставились вопросительные и восклицательные знаки - появлялась в газете совсем другая телеграмма, с противоположным смыслом.

Здоровье Чехова становилось - в значительной мере, думаю, из-за поездок в Москву - все хуже и хуже, и мне было трогательно и волнующе наблюдать эту /581/ просыпающуюся в Чехове веру в близкую новую жизнь, поднимавшееся в нем новое настроение.

Мы вели частые и долгие споры о литературе, но о произведениях друг друга говорили редко и как-то стыдливо. Только раз - помню, шли мы куда-то, - глядя в сторону, Чехов неожиданно сказал мне:

- Прочитал ваш рассказ ("О, мама!"). У вас там как на виолончели играют. Тем более поразило меня, когда Чехов, всегда сдержанный в разговорах о своей литературной работе, неожиданно протянул мне рукопись:

- Вот, только что кончил... Мне хотелось бы, чтобы вы прочитали.

Я прочитал. Это была "Невеста" {581}, где звучали новые для Чехова, не хмурые ноты. Для меня стало очевидно, что происходил перелом во всем настроении Чехова, в его художественном восприятии жизни, что начинается новый период его художественного творчества.

Он не успел развернуться, этот период. Чехов скоро умер.

### ***И.А.НОВИКОВ. ДВЕ ВСТРЕЧИ***

Встречался я с Антоном Павловичем Чеховым всего два раза, но обе встречи дали ощущение живого Чехова и, более того, помогли понять его как писателя, хотя беседа велась совсем не о литературе. Я тогда лишь немного начинал печататься, но в этом ему не признался, а сам Чехов, как большинство настоящих писателей, думается, рад был вести разговор не "писательский", а простой - житейский. Я никак не затрагивал вопроса и о его произведениях. Я ехал тогда на голод в Бессарабию и по этому именно делу к нему и зашел.

Заговорили, конечно, и о любимой Чеховым Москве. Несмотря на январь, в Ялте было тепло, все ходили по-летнему, по каменным стенам вились маленькие пушистые розы, цвели и какие-то еще розовые цветы с плотными блестящими лепестками; все это было зимою несколько призрачно. И грусть по морозной Москве - запрещенной - была как нельзя более понятна. В кабинете, совсем небольшом, очень простом, постепенно сгущались синие сумерки; огни не зажигали. Антон Павлович говорил не спеша, раздумчиво, больше расспрашивал - о Москве, о студенческих наших делах, немного всегда беспокойных. Кстати, когда передают речь Чехова, всегда пестрит частица "же", которую он будто бы прибавлял чуть не к каждому слову; получается впечатление сугубо провинциального местного говора, почти комического. Правда, пишут это люди, знавшие Чехова долго и хорошо, но если и была в его /583/ речи такая особенность (я ее вовсе не ощутил), то, во всяком случае, передающие слова А.П. ею злоупотребляют. Он говорил, как писал, короткими фразами, подумав, несколько скупно и очень определенно; так же скупы и выразительны были и его жесты, едва намеченные и, одновременно, вполне законченные.

Я не помню подробностей этого первого разговора, да и не в них дело, но тогда же я отчетливо почувствовал, как Чехов был пристально внимателен к другому человеку - совсем для него случайному. И это не был интерес специфически писательский, а именно человеческий. Пожалуй, в этом была и доброта, но не такая теплая и конкретная, какая присуща была Владимиру Галактионовичу Короленко, которого увидел я много позже. У Чехова любовь эта была как бы несколько далекою: не данный сидящий перед ним человек сам по

себе, а он же, но лишь как один из тех живых существ, что именуются человеком. У Чехова, несомненно, присутствовала всегда свойственная ему органически дума о людях, о человеке, о жизни. И вот он сидел в сумерках и говорил, с паузами, подкашливая, спрашивал что-нибудь, и так это воспринималось: точно хочет проверить себя, прикинуть свое "издали" на этом вблизи сидящем, приехавшем оттуда - из всегда молодой Москвы.

Чехов был человеком конкретностей и писал живых людей, может быть как никто, но эти конкретности он давал по-особому, на широком и спокойном горизонте своего раздумья. Так иногда, на фоне заката, увидишь стебли полыни или дикой рябинки, они такие же, как и те, что у тебя под ногами, но и не те, ибо конкретность их дана с гравюрною четкостью, и даны расстояние, простор и грань горизонта, и теплая желтизна уходящего неба. Это сочетание конкретности и дали, живого быта и длительного раздумья, оно и является основным в творческой манере Чехова.

Какого же рода было это раздумье? Несомненно, оно было очень разнообразного свойства: и философского, и социального - тому имеется много свидетельств. Во вторую свою встречу с Чеховым я очень остро почувствовал именно этот социальный интерес писателя, и притом не отвлеченный, головной, а /584/ напротив - живой, исполненный настоящего человеческого тепла.

Я увидел Чехова на одной из выставок картин в Москве. Он был один, но я не подходил к нему, стесняясь напомнить о нашем случайном знакомстве, однако он сам, взглянув и помедлив секунду, узнал меня.

- Да, хорошо написано, - сказал он о портрете какого-то генерала {584}, перед которым как раз я стоял, - но кому это нужно, зачем?

Портрет привлекал общее внимание, и мастерство художника было налицо. Но Чехов не захотел углубить свою мысль, и она приобрела всю свою значительность лишь в порядке противопоставления.

- Вы это еще не видали?

Не рассеянно, но очень быстро прошел он ряд других полотен и надолго остановился затем перед одной небольшою картиной.

- Вот, - сказал он, - вот что я вам хотел показать. Это хорошо.

Я не помню, чья это была картина {584}, но передо мной встают и теперь - фабричные задворки, вечер, лиловатая мгла и молодой рабочий с ребенком на руках; он держит его очень неловко и очень бережно, со скуповатою, может быть чуть-чуть стыдливою, нежностью, которую не хотел бы показать. Чем-то родственно этому сочетанию чувств было и само восприятие Чехова, и молчание его было для меня выразительно полно: сам он писал не потому лишь, что умел отлично писать и хорошо знал человека, но и потому, что он человека любил и жалел, и думал, по-своему, об устройении его неустроенной жизни.

***И.Н.АЛЬТШУЛЛЕР. О ЧЕХОВЕ***



## Из воспоминаний

Как-то я застал Чехова за чтением критической о нем статьи {585}, и он встретил меня словами:

- Вот, батенька, мы с вами и не знали, а я, оказывается, уже в третьем периоде.

И затем, сбросив привычным жестом пенсне и лукаво блеснув глазами, он комически развел руками и прибавил:

- Да, то совсем не было периодов, а теперь вот три.

Не знаю, на сколько периодов можно делить литературное творчество Чехова, но мое знакомство с ним совпадает, несомненно, с началом нового в его личной жизни ялтинского периода, которому суждено было оказаться последним.

В конце сентября 1898 года я, спасаясь от гнилой северной осени, приехал в Ялту, которой раньше не знал. У меня было письмо к местному санитарному врачу д-ру П.П.Розанову, а у него я познакомился с его двоюродным братом С.Я.Елпатьевским. Последний тоже незадолго перед этим переселился окончательно в Ялту, строил себе, как говорил Чехов, "с аппетитом" дачу, был влюблен в южный берег Крыма, очень красноречиво доказывал необходимость и мне покинуть север и сообщил, что вот и Чехов приехал и тоже решил перекочевать сюда. Как-то, проходя со мною через городской сад, он заметил на одной из скамеек Чехова, подошел к нему и познакомил нас. На следующий день подъехал /586/ наш общий приятель, известный московский земский врач И.И.Орлов, и как-то так вышло, что мы втроем стали проводить значительную часть дня вместе. Чехов занимал две небольшие комнатки на даче Бушева по Николаевской улице. Осень в тот год выдалась исключительная даже для Крыма. Чехов был в прекрасном настроении. Он тогда еще имел довольно бодрый вид и выглядел, пожалуй, не старше своих тридцати восьми лет, был худ и, несмотря на то, что ходил несколько сгорбившись, в общем представлял стройную фигуру. Только намечавшиеся уже складки у глаз и углов рта, порой утомленные глаза, а главное, на наш врачебный глаз, заметная одышка, особенно при подъемах, обусловленная этой одышкой степенная, медленная походка и предательский кашель говорили о наличии недуга. Тщательно избегал говорить о последнем только сам больной. Было два верных способа сделать неприятность Чехову и заставить его съезжиться: это - коснуться поподробнее его здоровья или его текущих литературных работ.

Доктор Орлов, очень любивший Антона Павловича и очень беспокоившийся за него, как-то, когда мы сидели втроем и весело болтали, шутливо предложил: давайте-ка все друг друга послушаем "для проверки". Чехов мягко отвел его предложение, сказав: "Лучше пройдемся".

Приехал он в Ялту как будто без определенных планов, но здесь скоро принял решение перебраться на юг окончательно и так как "по гостиницам жить надоело", то стал подыскивать участок. По этому поводу у него происходили постоянные совещания с И.А.Синани, владельцем книжного магазина на набережной, хорошо знакомым всякому бывавшему в Ялте, так как его магазин с лавочкой у входа служил излюбленным местом свиданий и встреч друзей и

знакомых, особенно писателей. К Чехову Синани, вообще человек очень доброжелательный, питал необыкновенно нежные чувства и любовно заботился о всех его интересах, а так как Ялту, южный берег, ялтинцев и все про ялтинцев и все текущие местные новости и события он знал, как никто, то лучшего советчика по отысканию участка или дачи трудно было найти. Однажды А.П. тайно повез нас с доктором Орловым в Верхнюю Аутку, которая /587/ тогда еще не была присоединена к городу Ялте, а считалась деревней, остановился в конце ее, загадочно предложил нам перелезть через низкий забор, и когда мы очутились на довольно неприглядном участке, под самым пыльным шоссе, с запущенным виноградником, с двумя-тремя тощими деревьями и старым татарским кладбищем с многочисленными характерными надгробными мусульманскими памятниками по передней его границе, он торжественно заявил, что этот самый участок он собирается купить, причем при оценке его рекомендовал обратить особенное внимание на два его достоинства: во-первых, на имеющийся "библейский" колодец и, во-вторых, на чудесный далекий вид на долину речки Учан-Су и кусочек моря. Так как владелец продавал участок из уважения к Чехову необыкновенно дешево, за четыре тысячи, да еще так, что три тысячи можно было платить когда угодно и без процентов, то тут же на общем совещании решено было, что покупать стоит. Впрочем, шоссе впоследствии при ремонте было значительно поднято и несколько отведено в сторону, а к дому Чехова устроен небольшой, в виде переулочка, спуск. Денег свободных у него в это время еще не было, и он комбинировал всякие кредитные операции.

В середине октября умер отец Антона Павловича, и известие об этом еще более укрепило его в решении поскорее построиться и перевезти мать, которой, как он полагал, будет теперь очень тоскливо оставаться в Мелихове. Последнее предполагалось продать. В значительной мере под влиянием Чехова придя также в конце концов к заключению о необходимости покинуть окончательно север, я снял в Ялте квартиру, пустую, только с несколькими самыми необходимыми предметами обстановки, и так как раньше года семья моя не могла переехать, то Чехов перебрался ко мне {587}. Он в это время очень много работал, преимущественно по утрам. Мы много гуляли, тщательно избегая набережной, где его одолевали курортные дамы, "антоновки", преследуя его по пятам; стоило ему зайти к Синани, как немедленно лавка заполнялась покупательницами, которым неотложно требовались газеты, книги, папиросы и т.п. Чехов с мрачным видом круто поворачивался и устремлялся через ближайшие улицы или городской сад подальше от набережной. /588/

Бывали и экстраординарные развлечения. Местный караим-купец, приятель Синани, пригласил Чехова на обед с шашлыками и с классическими, как он говорил, чебуреками. Было душно, жарко, масса приглашенных "на Чехова" родственников и приятелей радушного хозяина. Чебурики на бараньем жиру, с бараньей начинкой с непривычки показались ужасными, разговор вертелся все время около строительных вопросов и подрядчиков. Чехов серьезно слушал, почти ничего не ел и вставлял деловые замечания. Как только мы вышли, Чехов завернул в аптеку и купил свою любимую касторку: "Надо будет сейчас же принять". - "Да вы ж ничего не ели". - "А запах, а разговоры?"

Несмотря на длинные разговоры, совместную жизнь, темы о болезни мы все еще не касались, или, вернее, касались, но односторонне: он не одобрял моего кашля, советовал серьезно полечиться и т.д.

Когда я после кратковременной отлучки для ликвидации своей службы в Новоторжском земстве вернулся в Ялту, то не застал его уже на моей пустой квартире, он переехал на дачу Иловайской, где и проживал до переезда к себе в Аутку. Но очень часто, спасаясь от посетителей, мешавших работать, он приходил ко мне рано утром и оставался до обеда.

Генеральша Иловайская, у которой он в это время жил, хорошо к нему относилась, хотя искренне скорбела о том, что он не признает гомеопатии и губит свое здоровье, не соглашаясь принимать ее целительных пилюль. Она даже очень серьезно принялась за устройство его судьбы, подыскав для него очень подходящую пару в лице молоденькой дочери местного протоиерея, часто ее навещавшей. Тайнственно обращала мое внимание на некоторые как будто благоприятные в этом смысле признаки и особенно радовалась, когда Чехов с поповной поехал раз прокатиться в Ореанду. И всерьез была огорчена, когда все ее тонкие планы кончились ничем {588}.

Чехов считал себя очень практическим человеком (и в известной степени, может быть, это и было верно), и так как я в это время устраивал квартиру, то он принимал в этом живейшее участие. Пришел в ужас, увидев на дверях мою визитную карточку. /589/

- Это же невозможно, серьезные доктора должны иметь серьезную дощечку; и нельзя медную. Нужно в Москве заказать черную чугунную с литыми буквами.

И действительно, через брата, кажется, выписал такую для меня из Москвы. Уверял меня, что без него я и занавесок настоящих никак не смогу купить. Настаивал, что надо мне непременно записаться в члены Общества взаимного кредита и расплачиваться чеками, и когда я, смеясь, говорил ему, что запишусь, когда разбогатею, а пока нечего туда вносить, то он серьезно ответил, что это наша русская некультурность, что на Западе никто денег при себе не держит.

В начале 1899 года он вел переговоры с Марксом, очень волновался, когда они затягивались, в то время был искренне убежден, что совершает очень выгодную для себя сделку. Так как по договору Маркс обязывался через каждые 5 лет повышать на 200 руб. плату за печатный лист, то Чехов все высчитывал и жалел бедного Маркса: "Что же с ним будет, если вдруг до восьмидесяти пяти лет проживу?" {589}

Для Чехова составляло величайшее удовольствие помогать другим, и он постоянно для кого-нибудь что-нибудь устраивал. Он рекомендовал учителей в гимназии, хлопотал перед архиереем о месте для священника и, уже тяжело больной, искал через друзей протекции для московского дьякона {589}, которому нужно было сына-студента перевести из Юрьева в Москву. Подыскивал для знакомых и приятелей-москвичей комнаты и квартиры, выписывал для них каталоги растений, помогал начинающим писателям завязать отношения с редакциями, хлопотал о постановке чужих пьес, вечно устраивал каких-нибудь

больных учительниц или земских служащих. И уезжая в Москву, он каждый раз спрашивал, не надо ли чего привезти, прислать, особенно из Москвы, где, по его мнению, только и можно было достать все настоящее и хорошее и откуда он сам выписывал для себя и писчую бумагу, и конверты, и колбасу, и резиновые калоши, и многое другое, что можно было получить в любом магазине на набережной и получения чего из Москвы он иногда дожидался неделями. Но переубедить его в этом было невозможно. Когда нас несколько человек задумало создать санаторию для нуждающихся, то Чехов, к которому мы обратились за содействием, /590/ очень горячо отозвался, объявил у себя прием пожертвований и много времени терял на жертвователей, в большом числе пользовавшихся случаем за небольшой взнос получить чеховский автограф в виде квитанции. Расчетливо тративший на себя, он много раздавал, тайно помогал отдельным учащимся.

Когда Чехов приступил к постройке дачи, он очень подробно и внимательно разрабатывал с архитектором и приехавшей сестрой, Марией Павловной, план дома. Предполагалось три жильца - он сам, мать и в летнее время сестра, служившая тогда преподавательницей в одной из московских женских гимназий. Требовалось, чтобы комнаты были по возможности изолированы. Оттого дом и имел несколько странное расположение: прямо от входа кабинет Антона Павловича, столько раз описанный, и отделенная от него незастекленной с резьбой дверью небольшая, очень светлая спальня. В другом конце коридора дверь в комнату матери, и в башенке наверху - комната Марии Павловны. Внизу столовая и комната для гостей. Чехов перебрался на свой участок задолго до того, как был готов дом, и жил в комнате при будущей кухне, помещавшейся в отдельном небольшом флигеле {590}. Он очень много занимался будущим садом. У него было большое стремление к своему углу, к покупке всяких участков, дач и т.д. Вскоре после ауткинской дачи он приобрел участок в Кучук-Кое, около Кикинеиза, верстах в 25 от Ялты, совершенно ему не нужный и никчемный, к которому вел очень крутой спуск от шоссе с еще более крутым спуском от него к морскому берегу.

Купил потому, что "там чудный вид, и все есть: и маленький домик, и табачный сарай, и дроги, и нужно только будет из Москвы выписать ложки, вилки, самовар. Почта рядом, я уверен, что и матери понравится". - "Но ведь туда добраться нельзя". - "Это ничего, можно будет купить ослика, чудесно будет, или еще и лошадь". А через год он еще купил участок в Гурзуфе {590}, потому что на самом берегу, "свой кусочек берега, и можно будет рыбу ловить, чудесно!" И на обоих участках, я думаю, он был счетом не более двух-трех раз. Когда после продажи сочинений Марксу получались свободные деньги, он собирался и в Москве домик купить, "где-нибудь на окраине, но непременно с садом", /591/ и где-нибудь дачу под Москвой, непременно около речки. И когда я ему говорил, что он тоже свой крыжовник любит {591}, то он смеялся и говорил: "Здесь же крыжовника нет, а миндаль, грецкий орех". Но его привлекал, конечно, не крыжовник, а именно свой угол, сад. Он очень любил растения и цветы и понимал толк в них и в уходе за ними. И чудный сад, вполне разросшийся уже только после его смерти, целиком дело его рук. Я думаю, что лучшими часами в его

жизни были те, когда он в хорошие дни возился в саду, окруженный не отступавшими от него собачками, преемниками славных мелиховских такс Брома Исаевича и Хины Марковны, и танцующим прирученным журавлем. Занимался любимым делом, и никто не мешал думать, как на севере помогала думать удочка. Чехов любил животных. Когда я увидел, с какой заботливостью он ухаживал за раненым Каштаном, как внимательно, по всем правилам хирургического искусства, перевязывал его разодранную лапу и с какими при этом ласковыми словами к нему обращался, я понял, почему такой удивительной вышла у него "Каштанка". И когда он, поведя серьезную войну против мышей, брал из мышеловки осторожно за хвост попавшуюся мышь и спускал ее через низкий забор на кладбищенский участок, то я уверен, что мышь только посмеивалась и, наверное, в ближайшую же ночь перебиралась обратно на дачу к своему врагу.

Осенью 1899 года дача была совсем готова, и Чехов перебрался в дом с его уютно устроенным кабинетом, Чехов был необыкновенно аккуратен, и у него всегда царил образцовый порядок. Все раз навсегда на определенном месте, все годы и в том же порядке на письменном столе стояли и оригинальные подсвечники, и чернильницы, и слоны, и "Вся Москва" Суворина, и коробочка с мятными лепешками, и всякие другие мелочи. Этот застывший порядок в очень приятной и уютной комнате с специально написанным для камина этюдом Левитана и с другой картиной этого художника{591} в глубокой нише за письменным столом шел даже в ущерб уюту, внося некоторый холодок.

Я никогда не видел у него кабинет неубранным или разбросанные части туалета в спальне, и сам он был всегда просто, но аккуратно одет, ни утром, ни поздно /592/ вечером я никогда не заставал его по-домашнему, без воротничка, галстука. Кто читал его письма к жене, в которых так много пишется про мытье головы, перемену белья, чистку платья, обуви и т.д., тот может получить совершенно ложное представление о Чехове как о каком-то замухрышке, приводимом в благопристойный вид. Но это было бы совершенно неверным представлением. В этом сыне мелкого торговца, выросшем в нужде, было много природного аристократизма не только душевного, но и внешнего, и от всей его фигуры веяло благородством и изяществом.

Время с весны 1899 года до начала 1901 года было, пожалуй, самым приятным и радостным за весь ялтинский период его жизни. Переезд и устройство в новой, по собственному вкусу выстроенной даче, плодотворная творческая работа, постановка "Чайки" и "Дяди Вани" в Художественном театре, приезд этого театра с двумя его пьесами в Ялту специально для него, избрание его в академики, которое он принял с нескрываемой радостью, между прочим, и потому, что им официально как бы признавалось значение русского писателя, наконец личные радостные переживания - все это заметно поднимало его настроение и мирило с "теплой Сибирью".

Но ни тогда, ни после этот мнивший себя очень практичным человек все-таки так, как ему хотелось, устроиться не мог. Помимо здоровья и всяких личных причин, мешали и некоторые особенности ялтинской жизни и исключительная деликатность.

Конец 90-х и начало 900-х годов были как раз началом расцвета и быстрого роста южного берега как всероссийского курорта. Ялта становилась местом, куда съезжались не только для лечения, но и для отдыха весной, летом и осенью не только богатая буржуазия, но и представители русской интеллигенции. От этого много выигрывали Крым и крымчаки, но от этого очень терпел Чехов. Само собою разумеется, что Чехова считали долгом посетить съезжавшиеся писатели и вообще люди, имевшие отношение к литературе и журналистике. И так как они отдыхали и делать им было нечего, то приходили часто и сидели подолгу. Среди них были люди, Чехову приятные и близкие, с которыми ему было хорошо и которых он сам звал, а были и чуждые и несимпатичные, от которых отделаться он все-таки не мог. /593/

Раз поздно ночью раздается телефонный звонок. Голос Чехова. Я встревожился.

- Что случилось?
- Плохо, батенька, опять касторку только что пришлось принять.
- А что?
- Да ведь NN же опять весь день просидел.

Дело касалось молодого писателя, жившего вне Ялты, но часто навещавшего Антона Павловича {593}. Этою же писателя я застал, заехав как-то случайно днем. Он оживленно что-то рассказывал, а Чехов сидел за письменным столом мрачнее тучи, с закрытыми глазами, без пенсне.

- Антон Павлович, а можно спросить, длинную вы теперь вещь пишете?
  - Листа два.
  - Вот и мой рассказ тоже, должно быть, листа в два с половиной будет.
- Одев пенсне, Чехов вдруг обращается ко мне:

- А знаете, доктор, здешняя касторка куда хуже келлеровской, сравнить нельзя.

Когда через несколько минут позвали к обеду, он любезно предложил посетителю спуститься вниз, пообедать с матерью и передать, что он сейчас есть не хочет, а, может быть, будет позже. Когда гость ушел, он забежал по кабинету и полушутя, полусерьезно сказал:

- Вот вам и усиленное питание... И пообедать не имею возможности.

Кто к нему только не ходил, и по каким только делам! Фельдшер, долгое время присылавший ему для прочтения плоды своей безграмотной музыки {593}, приезжает специально в Ялту, чтобы посоветоваться, так как Чехов "тоже нашего медицинского персонала". Знакомая владелица вновь открывающегося курорта {593} является с просьбой написать для газет объявление такое, "чтобы действительно было замечательно". И когда смущенный Антон Павлович клянется, что он никогда этим не занимался, она смеется и говорит: "Тоже, ей-богу, вы скажете, самый замечательный писатель и вдруг не можете! Кто же этому поверит?" Приходил учитель гурзуфской школы, молчаливый человек, просиживавший часами, покусывая свою бородку. Приходили посоветоваться, как устроиться получше, как устроить своих /594/ больных, приходили по выдуманным предложениям, так как в программу пребывания на южном берегу, кроме посещений Учан-Су, Ай-Петри, массандровских подвалов и прочих

достопримечательностей, входил и визит к популярному писателю. И мешали ему работать, мешали думать, мешали быть одному. А отказать, защитить себя он не был в состоянии, не умел, и если не всегда был с такими посетителями слишком приветлив, то всегда внешне любезен и корректен.

В первое время меня иногда неприятно поражало, когда я слышал, как он в разговорах, особенно с писателями, высказывал об их произведениях суждения или проявлял к ним отношение, не соответствовавшее тем мнениям, которые приходилось от него слышать в их отсутствие. Это же можно сказать и про многие места в его письмах. Но, присмотревшись внимательнее, я понял, что это не фальшь, а результат опять-таки его необычайной деликатности и боязни кого-нибудь задеть, обидеть. И в конце концов и в разговорах и в письмах он в мягкой, крайне осторожной форме высказывал все-таки свое настоящее мнение. Может быть, только не всегда все до конца.

Очень много писалось о равнодушии Чехова к общественным вопросам {594}, о его "холодной крови". По натуре своей он не был борцом и сам это неоднократно повторял. Судя по его рассказам, когда он вступал в жизнь, он мало интересовался общественными вопросами, но уже на старших курсах его симпатии и общественные интересы, под влиянием в значительной степени, я думаю, земско-медицинской среды, получают совершенно определенный уклон. Его часто упрекали за дружбу с Сувориным. Но Чехов всю жизнь помнил, что Суворин, Григорович, Плещеев и Полонский первые обратили на него внимание, когда он еще был Антошей Чехонте, и первые помогли ему выбраться из "Осколков" и "Будильника", и он сохранил к Суворину благодарность навсегда. Он не раз, и всегда с большим волнением, рассказывал, как в начале его писательской карьеры встретила его серьезная критика, как Скабичевский писал, что ему "суждено умереть пьяным под забором" {594}. И, однако, при всем этом он, который когда-то утверждал, что будет печататься там, "куда занесут ветер и его свобода", уже с начала 90-х годов перестал /595/ печататься в "Новом времени", а после процессов Золя и Дрейфуса он, возмущенный отвратительным поведением "Нового времени", навсегда и резко порвал с редакцией и не мог хладнокровно говорить о ней. Но лично с Сувориным он сохранил, хотя и несколько охладевшие, отношения до конца {595}. Объясняется это в значительной степени тем, что в своей интимной переписке с Чеховым Суворин бывал очень часто не Сувориным "Нового времени". И о студенческих беспорядках, и даже о процессе Дрейфуса, и о многом другом он в своих письмах писал так, что когда Чехов передавал их содержание или изредка читал отрывки из его писем, не верилось, что автором их был Суворин. Вообще обнародование писем Суворина к Чехову представило бы громадный общественный интерес; к сожалению, этого никогда не случится, потому что Суворин очень ловко сумел получить их обратно вскоре после смерти Антона Павловича и, конечно, уничтожил {595}.

Когда в 1902 году были отменены выборы Горького в Академию, Чехов по собственной инициативе послал отказ от этого почетного звания {595}. А чтобы оценить этот поступок по-настоящему, нужно вспомнить, как Чехов дорожил званием академика и с каким отвращением он относился ко всякого рода

публичным выступлениям. Во всей биографии Чехова, во всей его переписке нельзя найти и намека на какой-нибудь антиобщественный или лично некорректный поступок.

Известно, с какой особенной любовью относился Чехов к Толстому. Во время серьезной болезни последнего зимой 1901-[190]2 годов он страшно волновался и требовал, чтобы, возвращаясь из Гаспры, я хоть на минутку заезжал к нему, а если заехать нельзя, то хоть по телефону рассказал о состоянии больного. И Толстой платил ему таким же отношением и говорил о нем с необыкновенно теплым участием. А когда раза два Чехов приезжал со мною в Гаспру, Толстой все время оживленно с ним беседовал и не отпускал. Как-то на мой вопрос, что за книжка у него в руках, он ответил: "Я живу и наслаждаюсь Чеховым; как он умеет все заметить и запомнить, удивительно; а некоторые вещи глубоки и содержательны; замечательно, что он никому не подражает и идет своей дорогой; а какой лаконический язык". Но и тут не забыл прибавить: "А пьесы его /596/ никуда не годятся, и "Трех сестер" я не мог дочитать до конца".

Этот исключительно простой и скромный человек, никогда и никому не старавшийся импонировать, застенчиво избегавший всякого представительства и всякого чествования и вообще всяких людских сборищ, внушал всем какое-то невольное почтительное и бережное отношение к себе. Его как-то стеснялись, и это проявлялось иногда в мелочах. Д.Н.Мамин-Сибиряк праздновал именины своей дочери Аленушки и, между прочим, устроил у себя винт. Когда я приехал, то застал самого хозяина и партнеров, К.М.Станюковича и С.Я.Елпатьевского, в самом лучшем настроении. Сели играть, и за картами Мамин стал рассказывать уральские анекдоты и "случаи из жизни". Рассказчик он был красочный, а анекдоты были крепкие, сибирские. Его рассказы покрывались общим хохотом, и даже страстный винтер Станюкович отложил карты в сторону. В это время открылись двери и вошел Чехов. Несмотря на его усиленные просьбы продолжать, рассказы прекратились, стало очень степенно. Он вскоре ушел, и когда я потом в бледной передаче рассказал ему некоторые из маминских "случаев", то он долго смеялся своим особым, заразительным смехом и все приговаривал: "Послушайте, как же вы его не заставили продолжать, надо будет попросить".

Когда Чехов был не в саду, когда не было посетителей, его всегда можно было застать в кабинете, и если не за письменным столом, то в глубоком кресле, сбоку от него. Он много времени проводил за чтением. Он получал и просматривал громадные количества газет, столичных и провинциальных. По прочтении часть газет он рассылал разным лицам, строго индивидуализируя. Ярославскую газету - очень им уважаемому священнику, северному уроженцу {596}; а "Гражданин" отправлялся нераскрытым будущей ялтинской знаменитости, частному приставу Гвоздевичу. Ему приходилось много времени тратить на прочтение присылаемых ему рукописей. Кроме других толстых журналов, читал и "Исторический вестник", и "Вестник иностранной литературы", и орган религиозно-философского общества "Новый путь". Часто читал и классиков, следил внимательно за вновь появляющейся беллетристикой. /597/



Но он мог часами просиживать в кресле, без газет и без книг, заложив ногу на ногу, закинув назад голову, часто с закрытыми глазами. И кто знает, каким думам он предавался в уединенной тишине своего кабинета, никем и ничем не отвлекаемый. Я уверен, что не всегда и не только о литературе и о житейском.

Был ли Чехов верующим?

Он сам, если судить по его письмам, считал себя атеистом и говорил о том, что веру потерял и вообще не верит в интеллигентскую веру. Еще недавно человек, хорошо его знавший {597}, рассказывал мне, как раз, во время рыбной ловли, услышав церковный благовест, Чехов обратился к нему со словами: "Вот любовь к этому звону - все, что осталось еще у меня от моей веры".

Я только в самом начале слышал от него замечания в этом роде. Но я помню и такой случай. Как-то пришлось к разговору, я рассказал ему о слышанном много в публичной лекции одного профессора про четвертое измерение и спросил его: верит ли он в четвертое измерение. Он ничего не ответил. Через несколько дней совершенно неожиданно он вдруг говорит: "А знаете, четвертое измерение-то, может, окажется и существует, и какая-нибудь загробная жизнь..." Он носил крестик на шее. Это, конечно, не всегда должно свидетельствовать о вере, но еще меньше ведь об отсутствии ее. Еще в 1897 году он в своем таком скудном, всего с несколькими записями, и то не за каждый год, дневнике отметил: "Между "есть бог" и "нет бога" лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его, и потому он обыкновенно не знает ничего или очень мало". Мне почему-то кажется, что Чехов, особенно последние годы, не переставал с трудом продвигаться по этому полю, и никто не знает, на каком пункте застала его смерть.

Антон Павлович был, как известно, врачом; он очень любил медицину, студентом и первое время по окончании добросовестно ее изучал и не собирался ее бросить. Еще в середине 80-х годов он писал, что "медицина - моя законная жена, а литература - любовница" {597}. Студентом он занимался на каникулах в Чикинской земской больнице Звенигородского уезда, потом короткое время заменял земского врача и в Москве принимал {598/} больных. По-видимому, собирался писать и работу специальную. По крайней мере после его смерти среди бумаг оказалось несколько исписанных листов с заметками по истории медицины в России {598}. Я, к сожалению, не догадался тогда снять копию. Эти заметки до сих пор нигде не напечатаны. По наведенным мною справкам, рукопись находится теперь в Центроархиве. Чехов, впрочем, и на свой "Сахалин" смотрел как на некоторого рода медицинскую диссертацию {598}. И в Мелихове он еще принимал у себя обращавшихся к нему крестьян и снабжал их лекарствами, конечно бесплатно. Но этим тогда уже исчерпывалось его отношение к медицине. За последние 10-15 лет он научной медициной не занимался. Правда, в Ялту из редакции "Русской мысли" ему аккуратно пересылался медицинский еженедельник "Русский врач", но он в нем прочитывал только хронику и иногда мелкие так называемые "заметки из практики". И, случалось, любил поразить: "Вы читали в последнем номере о новом средстве от геморроя?" - "Нет, не читал".

- "Вот, сударь, и растеряете практику. А я вот прочитал и уж Кондакова вылечил. Прекрасное средство". И на письменном столе слева всегда лежал молоточек и трубочка для выслушивания и медицинский календарь Риккера за текущий год. Но он принимал всегда деятельное участие в лечении своих домашних или заболевшей прислуги. Любил давать советы своим приятелям и расспрашивать про их болезни. Но обычно это оканчивалось указанием, что надо серьезно лечиться и обратиться к врачу. Была у него слабость - он любил писать рецепты. И, зная это, я старался не прописывать ему лекарств, а обыкновенно он стоит, бывало, у телефона и под мою диктовку передает заказ в аптеку, особенно при этом как-то отчеканивая латинские названия. Заставлял провизора повторить и прибавлял в конце: (для автора) д-р Чехов.

Тем обстоятельством, что Чехов был врач, можно в известной степени объяснить и некоторые особенности истории его болезни. Как это ни странно, но как раз врачи чаще других впадают в две возможные крайности: или они переоценивают свои болезненные ощущения и симптомы и относят к себе все самое неблагоприятное, что знают про свою болезнь, или, наоборот, недооценивают того, что есть, опять-таки стараясь /599/ обосновать свое отношение медицинскими соображениями.

Я уже упоминал о том, что в самое первое время нашего знакомства Чехов про болезнь свою не говорил. В конце ноября 1898 года рано утром мне принесли от него записку, в которой он просил зайти, захватив с собой "стетоскопчик и ларингоскопчик" {599}, так как у него кровохарканье, - и я действительно застал его с порядочным кровотечением. Ларингоскоп тут был ни при чем, потому что не могло быть никакого сомнения, что это настоящее легочное кровотечение. Когда через несколько дней я мог его детально исследовать, то я был поражен найденным. В этот первый наш медицинский разговор Чехов начал летосчисление с года поездки на Сахалин (1890), когда у него в дороге появилось будто бы первое кровохарканье, но впоследствии выяснилось, что оно было уже в 1884 году и потом довольно нередко повторялось. И с студенческих лет он много кашлял, весной и осенью плохо себя чувствовал и нередко лихорадил, но объяснял это инфлуэнцей, никогда не лечился, не давал себя выслушивать, чтобы "чего-нибудь там не нашли". Объяснял кровохарканье горлом, а кашель - простой простудой, хотя, по его собственным словам, временами превращался в стрекозиные мощи. И еще в 1888 году он наставительно, как врач, пишет Суворину, что "чахотка, или иное серьезное легочное страдание, узнается только по совокупности признаков, а у меня-то именно этой совокупности-то и нет" {599}. И даже, несмотря на кровохаркания, единственный симптом, производивший на него впечатление, так как "в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве" {599}, и даже после смерти брата Николая от скоротечной чахотки в 1889 году он еще заявляет, что "ни за что выслушивать себя не позволит", и только хлынувшая весной 1897 года в необычно большом количестве кровь и вмешательство друзей заставили его лечь в клинику профессора Остроумова. С того времени, очевидно, процесс неуклонно прогрессировал. И я при первом исследовании уже нашел распространенное поражение в обоих легких, особенно в правом, с несколькими кавернами, следы

плевритов, значительно ослабленную, перерожденную сердечную мышцу и отвратительный кишечник, мешавший поддерживать должное питание. Мои /600/ тогдашние попытки убедить Чехова в необходимости серьезно лечиться не привели ни к чему. Он упорно заявлял, что лечиться, заботиться о здоровье - внушает ему отвращение. И ничто не должно было напоминать о болезни, и никто не должен был ее замечать. Поэтому и выработал он такую манеру говорить, не повышая голоса, медленно, монотонно, останавливаясь при чувстве раздражения гортани, чтобы удержать кашель, а если уже приходилось кашлять, то мокрота отплевывалась в маленький, заранее приготовленный бумажный фунтик, тут же где-нибудь лежавший за книгами на столе и отправляемый потом в камин. Только с дипломатическими подходами, как будто невзначай или пользуясь случайными поводами, удавалось его послушать и заставить сделать то или иное. Только с 1901 года он перешел на положение настоящего пациента и сам уж часто предлагал: "Давайте послушаемся". Но и тут заставить его лечь, вообще заняться лечением, главным образом и прежде всего, было нельзя. И не только с посторонними он не любил говорить о своей болезни, но и от своих домашних скрывал свои немощи, никогда не жаловался; на вопрос: "как себя чувствуешь?" - отвечал: "сейчас хорошо, почти здоров, только вот кашель", - или "голова болит", или что-нибудь в этом роде. К несчастью, процесс уже находился в той стадии, когда на выздоровление не могло быть никакой надежды, а можно было только стремиться к замедлению темпа болезни или к временному улучшению состояния больного. Увы, и для этого у Чехова обстоятельства сложились крайне неблагоприятно прежде всего в силу окружавшей его обстановки; и как это ни странно, но он был лишен ухода и некоторых необходимых для лечения условий. Чехов был очень привязан к семье, но особенно нежно любил свою мать, окружал ее трогательной заботливостью, и последние слова в его завещании сестре {600} были: "Береги маму". И Евгения Яковлевна платила своему Антоше той же нежностью. Но что могла сделать эта милая, всеми любимая старушка? Разве могла она что-нибудь провести или на чем-нибудь настоять? И выходило так, что, несмотря на все предписания, пищу давали ему совершенно неподходящую, и компресс ставила неумелая горничная, и о тысяче мелочей, из которых состоит режим такого больного, некому было /601/ позаботиться. Сестра его, Мария Павловна, когда выяснилось положение, была готова бросить службу и Москву и совсем переехать в Ялту, но после его женитьбы по психологически понятным причинам это отпало. Антон Павлович повенчался с Ольгой Леонардовной Книппер в мае 1901 года, как известно, никого не предупредив. С этого времени и условия его жизни резко изменились.

Как врач, лечивший Чехова, и исключительно с врачебной точки зрения, я должен сказать, что изменения эти, к сожалению, не могли способствовать ни лечению, ни улучшению его здоровья. Одному известному французскому специалисту по туберкулезу принадлежит афоризм: "Чахоточные должны забыть о лаврах", и судьба Чехова как будто этот афоризм подтверждает. Его несчастьем стало счастье, выпавшее на его долю к концу жизни и оказавшееся непосильным для него: Художественный театр и женитьба. Я помню, как волновался Чехов перед постановкой его "Чайки" в Художественном театре, как этого волнения он

не мог скрыть и как оно выражалось в подробных рассказах о провале этой пьесы в Александринском театре, и помню, в каком длительном радостном возбуждении он находился после торжества и одержанной в Москве победы. И он, давший себе раньше слово порвать с театром и не писать больше пьес, пишет пьесы специально для этого театра, и Художественный театр делается театром Чехова и очень сильно содействует увеличению популярности Чехова в последние годы его жизни. И затем женитьба. От Чехова, когда он бывал в особенно хорошем настроении, приходилось иногда слышать, как, случалось, он с приятелями в молодости веселился. Но я никогда не слышал ни от него самого, ни от других ни про одно его серьезное увлечение. Ольгой Леонардовной он увлекся еще до постановки его пьес, увидев ее в первый раз на репетиции "Царя Федора" {601}. Когда я за границей из "Русских ведомостей" узнал об их браке, я вспомнил почему-то, как в приезд Ольги Леонардовны в чеховский дом весной 1900 года я однажды увидел такую группу: она с Марией Павловной наверху лестницы, а внизу Антон Павлович. Она в белом платье, радостная, сияющая здоровьем и счастьем, в начале блестящей карьеры, первая актриса Художественного театра, в центре внимания не одной Москвы, с громадными возможностями /602/ и надеждами в будущем, он - осунувшийся, худой, пожелтевший, быстро стареющий, безнадежно больной. И когда они, повенчавшись, связали свою жизнь, то фатальные последствия не могли заставить себя ждать. Она должна была оставаться в Москве, - он без риска и вредных последствий для здоровья не мог покидать своей "теплой Сибири". И зная Чехова, нетрудно было вперед сказать, чем это кончится. Начинаются постоянные переезды из Ялты в Москву и обратно. Возвращаясь почти после каждой поездки в Москву, он расплачивается за нее либо плевритом, либо кровохарканьем, либо длительной лихорадкой. И сознательно обманывает себя, принимая следствие за причину, указывает, что вот в Москве было недурно, а как в Ялту вернулся, так опять расхворался. Зимы 1901-[190]2, 1902-1903 годов он проводит в Ялте и почти все время очень плохо себя чувствует, проделывая те или другие обострения.

К концу этого периода он очень изменился и внешне. Цвет лица приобрел сероватый оттенок, губы стали бескровны, он еще больше похудел и заметно поседел. Деятельность сердца все ухудшалась, процесс в легких все расплзался. В соответствии с этим стала все резче проявляться одышка, появились симптомы и туберкулезного поражения кишок.

У меня сохранилось письмо Ольги Леонардовны от 9 января 1902 года, то есть через полгода после свадьбы. Она просит написать подробнее о здоровье Антона Павловича и, между прочим, пишет: "Мне очень тяжела эта зима. Только, что занята сильно, это помогает. Такая разлука невыносима. Я все-таки думала, что здоровье Антона Павловича в лучшем состоянии, чем оно есть, и думала, что ему возможно будет провести хотя бы три зимние месяца в Москве. Но теперь я об этом, конечно, не заикаюсь... Уж очень грустно и тяжело".

Выхода не было, и когда Ольга Леонардовна говорила о том, что бросит сцену и переедет в Ялту, то Антон Павлович, конечно, протестовал и не допускал и речи об этом {602}. И был при данных условиях прав. Весною 1903 года, с благословения известного московского клинициста проф. Остроумова,

принимается решение зиму проводить в Москве. Но осенью 1903 года он не перестает лихорадить, один плеврит следует за другим, /603/ трудно поддающиеся лечению расстройства кишечника. Он уже не скрывает своего плохого самочувствия. А Художественный театр, увлеченный своими задачами, связанный планом, торопит скорейшей присылкой "Вишневого сада". Все чаще я заставлял Чехова в кресле или на диване, уже без книжек и газет в руках, и он впервые не избегал говорить о своей работе, а жаловался, как трудно ему дописывать и переписывать пьесу, - он мог делать это только урывками.

В октябре я в последний раз попытался задержать его, сказал ему почти всю правду, умолял не губить себя, не ездить в Москву {603}, что это безумие. Он об этом написал в Москву, но к декабрю все-таки уехал. Дальнейшее известно. Повторяю - то, что случилось при сложившихся обстоятельствах, было неизбежно. Но когда мы в одном из его писем к жене читаем: "Решай ты, ибо ты человек занятой, рабочий, а я болтаюсь на этом свете как фитюлька" {603}, - то мы, читатели Чехова, с этим согласиться не можем, и когда он в другом письме, указывая на то, что во вновь снятой в Москве квартире на третьем этаже лестница высокая и лифта нету и что ему трудно будет с его одышкой подниматься, кончает словами: "ну да ничего, как-нибудь взберусь" {603}, - то я, врач, не могу не думать о том, какое роковое влияние эта лестница должна была оказать на его и так уже крайне ослабевшее сердце.

В Москве он принимает горячее участие в репетициях "Вишневого сада", очень волнуется; при этом разгар сезона, по обыкновению масса гостей.

Сознавал ли сам Антон Павлович в глубине души свое положение? Ольга Леонардовна в предисловии к изданным его письмам пишет: "Точно судьба решила его побаловать и дала ему в последний год жизни все те радости, которыми он дорожил: и Москву, и зиму, и постановку "Вишневого сада", и людей, которых он любил" {603}. Все это и сам Чехов неоднократно говорил: как он любит Москву и все московское, как скучает по северной зиме, как близок стал ему Художественный театр и как тянет его к московским людям и обстановке.

И однако, по-видимому, и в Москве бывали у него знакомые мне по Ялте настроения: Так, старый друг чеховской семьи, прекрасно всех их знавшая Т.Л.Щепкина-Куперник в своих воспоминаниях описывает свое /604/ посещение, относящееся к осени 1902 года: "Я изумилась происшедшей в нем перемене... {604} Он горбился, зябко кутался в какой-то плед и то и дело подносил к губам баночку для сплевывания мокроты... В этот вечер Ольга Леонардовна участвовала в каком-то концерте. За ней приехал корректный Вл.Ив.Немирович, во фраке с безупречным пластроном. Ольга Леонардовна вышла в нарядном туалете, повеяло тонкими духами. Ласково и нежно простилась с Антоном Павловичем, сказала ему какую-то шутиливую фразу, чтобы он "не скучал и был умником", и исчезла. Антон Павлович поглядел ей вслед, сильно закашлялся и долго кашлял, и когда прошел приступ кашля, сказал без всякой видимой связи с нашим разговором, весело вертевшимся около воспоминаний прошлого, общих знакомых и проч.

- Да, кума, помирать пора..."

17 января премьера "Вишневого сада" и чествование Чехова Москвой, а он с трудом стоит на сцене, мертвенно-бледный и кашляет. В середине февраля он

вернулся в Ялту в значительно худшем состоянии, но полный еще московских впечатлений. Оживленно рассказывал про чествование, показывал поднесенные ему подарки и комически жаловался, что кто-то, должно быть, нарочно, чтобы ему досадить, распустил слух о том, что он любитель древностей, а он их терпеть не может. Среди подношений действительно были модель древнего русского городка, старинный ларчик и, между прочим, чернильница XVIII века. На мое замечание, что все это очень красиво и что мне особенно нравится чернильница, он ответил: "Да что вы, ведь теперь песочком не посыпают, есть пропускная бумага, и гусиных перьев же нет". Потом со своей милой улыбкой прибавил: "Ну вот, если вам очень нравится, я распоряжусь, чтобы в наказание вам эту чернильницу после моей смерти и вручили". Как он ни был плох, я тогда все-таки не мог думать, что чернильница уже меньше чем через полгода действительно перейдет ко мне. Он пробыл в Ялте до конца апреля, временами оживлялся, строил планы на будущее, мечтал засесть за работу, говоря, что в голове много уже созрело. Собирался, если поправится, с наступлением тепла поехать на войну, из-за которой очень волновался, врачом, так как врач может больше видеть {604}. Но чаще бывал молчалив, сосредоточенно задумчив, и он, никогда /605/ раньше не жаловавшийся на здоровье, говорил, что устал, что хочется по-настоящему отдохнуть, набраться сил. Он чувствовал необходимость в покое, но в самом конце апреля он уехал в Москву. В дороге простудился, получил резкое обострение, плеврит с необыкновенно для него высокой температурой и немедленно по приезде слег, и встал только, чтобы поехать в Баденвейлер.

Последнее письмо я получил от него 26 мая следующего содержания: "Дорогой Исаак Наумович! Я как приехал в Москву, так с той поры все лежу в постели, и днем, и ночью, ни разу еще не одевался. Поручение, которое Вы дали мне насчет Хмелева\*, я, конечно, не исполнил.

---

\* Н.Н.Хмелев исполнял тогда обязанности председателя Московской губернской управы. Дело касалось участия Московского земства в устройстве санатория для больных из действующей армии. (Прим. И.Н.Альтшуллера.).

Да и если бы я был здоров, то и тогда едва ли сделал бы что-нибудь. Хмелев теперь очень занят, видеть его трудно. Поносов у меня уже нет, теперь стражду запорами. Третьего дня я заболел какой-то инфекцией. После обеда поднимается температура, и потом не сплю всю ночь. Кашель слабее. 3-го июня уезжаем за границу, в Шварцвальд, в августе буду в Ялте. Ах, как одолели меня клизмы... Кофе уже дают, и я пью его с удовольствием, а яйца и мягкий хлеб воспрещены. Крепко жму руку. А теперь я лежу на диване и по целым дням от нечего делать все браню Остроумова и N{605}. Большое удовольствие. Ваш А.Чехов".

А потом приписка:

"Сегодня первая ночь, которую я проспал хорошо" {605}.

Ольга Леонардовна мне потом с возмущением рассказывала, как в Берлине в "Савой-отель" к нему приехал приглашенный известный клиницист проф. Эвальд. Внимательно осмотрев больного, он развел руками и, ничего не

сказав, вышел. Это, конечно, было жестоко, но развел он руками, наверное, от недоумения, зачем и куда такого больного везут.

И все-таки, как ни был я уверен в близости роковой развязки, меня как молния поразила полученная мною рано утром 3 июля на Рижском взморье телеграмма о его смерти.

### ***М.К.ПЕРВУХИН. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ЧЕХОВЕ***

Мое знакомство с Антоном Павловичем Чеховым относится целиком к последнему, ялтинскому периоду его жизни. К тому печальному периоду, когда злой недуг, давно подточивший организм Чехова, стал быстро прогрессировать, заставляя больного писателя все больше и больше замыкаться у себя дома и отражаясь на его настроении.

Я поселился в Ялте осенью 1899 года, но наезжал туда и раньше. И вот на моих глазах произошел многознаменательный перелом в жизни Чехова: раньше он, особенно в те чудные, мягкие дни, которыми любит дарить Ялту осень, зачастую и утром и вечером выбирался со своей дачи, выстроенной за городом, по дороге, ведущей из Ялты через шумную, с азиатским элементом населения, загрязненную Аутку - в горы, к пресловутому водопаду Учан-Су. Бывало, что Чехов, как он сам, шутя над своею слабостью, выражался ироническим тоном, "совершал подвиг", проходя все расстояние от дачи до ялтинской набережной пешком, без отдыха по пути. На набережной же у него была "станция" в крошечном книжном магазине большого чудака Синани, который, будучи человеком весьма скромной, доморощенной культуры, с благоговением относился к писателям вообще, а Чехова буквально боготворил.

Книжная торговля Синани шла очень вяло: с одной стороны - "Ялте читать некогда", а с другой - у самого Синани - то ли из-за недостатка средств на расширение /607/ дела, то ли по недостатку предприимчивости - выбор книг был донельзя ограничен. Настоящий покупатель был в лавке большою редкостью. Но крошечный магазинчик стоял на перепутье, в самом центре набережной, сам Синани, один из могижан старой Ялты, отличался положительно всеведением и словоохотливостью. Поэтому в магазинчике его постоянно происходили импровизированные "заседания", в которых принимал участие и сам говорун и хлопотун хозяин, крикливо обличавший не порядки то ялтинского городского самоуправления, то земства, то администрации, а то и самого Петербурга, ненавидимого стариком Синани за пренебрежение интересами Ялты.

У дверей магазинчика Синани стояла удобная скамья, из-за которой чудака-караим вел нескончаемые препирательства с городской управой и местной полицией, требовавшими удаления ее. И вот если не в самом магазине Синани, то у дверей его, на этой самой скамье, получившей название "писательской", по целым часам засиживался Антон Павлович, греясь на солнышке и созерцая море, сухо покашливая и рассеянно слушая разгоревшийся в магазине спор крикуна

Синани с любившим подшучивать над ним непременным членом ялтинской городской управы, отставным знаменитым певцом баритоном Д.Усатовым, который на склоне дней своих стал ялтинским домовладельцем и городским деятелем, причем почему-то облюбовал в управе себе особую отрасль - заведение очисткой городских улиц от мусора, в то время как другой член управы, бывший в былые годы ассенизатором, а потом державший бани, некий Иванов, заведовал... городским театром и местным "казино".

- Перевешать вас всех надо! - горячится вспыльчивый Синани, - в Сибирь сослать! Вот погодите, дождетесь вы! Только и знаете, что население грабите!

Выскочит на улицу, стучит палкою с железным наконечником о цементный тротуар, отчаянно жестикулирует.

- Антон Павлович! - вопит к мирно греющемуся на ласковом солнышке и думающему какую-то печальную, хмурую думу Чехову. - Нет, вы слышали?! Нет, что вы скажете на это безобразие?! /608/

Чехов бесконечно далек от предмета спора. Ялту он откровенно недолгоблювает и словно сердится на нее за то, что ему приходится жить в ней. Горячность Синани явно смешит его. Но, мягко и чуть иронически улыбаясь, он отзывается солидным баском:

- Да, это действительно безобразие!

- Вот погодите! - грозит Синани своему противнику. - Я уже просил Антона Павловича разделить вас под орех в каком-нибудь своем произведении! И Антон Павлович обещал, что соберется, разделает! Правда ведь, Антон Павлович? Вы обещали?

И Чехов рассеянно отвечает баском:

- Обещал! Я их, злодеев!

Теперь все трое мирно спят могильным сном: Чехов на кладбище Новодевичьего монастыря в Москве, в той Москве, куда он так рвался из нелюбимой им Ялты, - крикун и хлопотун Синани и горлан экс-король баритонов и специалист по очистке ялтинских улиц от мусора Д.Усатов - на ялтинском кладбище...

Но вышеописанные визиты Чехова "в город" и "заседания" на лавочке у магазина Синани с течением времени становились все реже и реже. В городе Чехов почти перестал показываться, и если ему случалась надобность побывать там, то он обращался предварительно с просьбою по телефону или к живчику и весельчаку доктору Бородулину, или к фотографу Дзюбе - прислать на дачу извозчика.

Знакомством с Чеховым дорожила, без преувеличения сказать, вся Ялта, даже люди, которые едва ли прочитали хоть один чеховский рассказ: он был знаменитостью, которою Ялта гордилась, он был своего рода ялтинскою достопримечательностью. Но сам он, по крайней мере в тот период, к которому относится мое с ним знакомство, явно тяготился всеми этими знакомствами и бывал у очень немногих ялтинцев. Чаше других бывал он в гостеприимном доме собрата по перу и деятельного общественного и политического деятеля, Сергея Яковлевича Елпатьевского, потом - у вышеупомянутого доктора Бородулина, который одно время был врачом Чехова, потом, если не ошибаюсь, бывал в доме



начальницы местной женской гимназии Харкеевич. Если к этому коротенькому списку добавить дом художника Ярцева, княгиню Марью Владимировну Барятинскую, у которой /609/ Чехов бывал по делам сбора средств на сооружение в Ялте санаториума для туберкулезных больных, да еще квартиру боготворившей Чехова и подвергавшейся со всех сторон едва ли заслуженным насмешкам вдовы казанского врача Софьи Павловны Бонье, окрещенной в Ялте именем "антоновки", - то этим, кажется, и будет исчерпан весь список мест, которые посещал в последние годы своей жизни в Ялте на правах знакомства Чехов.

В первые месяцы моего пребывания Чехов был довольно частым посетителем тогда только что возникшей "художественной фотографии" С.В.Дзюбы - "Юг", помещавшейся на набережной в доме Овчинниковых. Большинство фотографий последнего периода жизни Чехова относится именно к работе этой фотографии. Особенно много снимков было произведено зимою 1899-1900 года, когда в Ялту заглянул старый друг Чехова, так же как и Чехов, безвременно погибший великий талант - художник Левитан {609}.

Первое мое знакомство с Чеховым в доме фотографа С.Дзюбы оставило во мне следующее впечатление:

Чехов - угрюмый, совершенно не словоохотливый человек. Держится он не то отгораживаясь от простых смертных, не то попросту высокомерно. Ни о каком сближении с ним, ни о каком разговоре "по душам" и речи быть не может.

Но вот как-то Чехов затащил Левитана в фотографию, где я проводил на правах школьного товарища владельца ее целые дни, - и я не узнал Чехова. Он казался помолодевшим, живым, веселым, говорливым, простым и доступным.

Покуда фотограф возился, приготавливая свои аппараты, Чехов и Левитан в приемной вели себя, как школьники. Левитан допытывался у Чехова, указывая на одну ранее сделанную Дзюбою фотографию, на которой у Чехова было напряженное, угрюмое и, пожалуй, надменное выражение, с какой целью сделана именно эта фотография.

- Держу пари, - говорил он, - ты хочешь сделать большой запас таких фотографий, чтобы раздавать осаждающим тебя поклонникам!

- Вот и не угадал! - отвечал Чехов. - Это - специально для издателей! /610/  
- Зачем это?

- А как же?! Пристает человек - "дайте рассказ!" Обещает дать "хорошую полистную", благоразумно увиливая от точного обозначения размера ее. Ну, я ему и пошлю этот портрет. Как увидит меня таким... Навуходоносором... Испугается! Поневоле, хоть зубами скрипя, лишних сто рублей на лист накинёт!

- Ах ты, Навуходоносор! - хохотал заразительно весело Левитан. - Жаль, что я не портретист! Я бы тебя изобразил! Век бы ты помнил и...

- И ругал бы тебя! - подхватил Чехов. - Ты ведь однажды своим искусством нанес мне личное оскорбление! Помнишь?

- И не однажды, но многожды...

Однако когда фотограф изготовился и пригласил Чехова усестся перед аппаратом, у Антона Павловича опять на лице появилось то же напряженное и чуть-чуть высокомерное, надменное выражение. Все попытки Левитана заставить его изменить это натянутое выражение на более простое, на "домашнее", ни к

чему не привели. Сделанный Дзюбою большой портрет положительно не удался. В следующий визит в фотографию Левитан уже и не называл Чехова иначе, как "местным Навуходоносором".

И, подтрунивая, допытывался у фотографа:

- Много ли карточек Чехова распродаете публике?

- Не говорите, - смеясь, запрещал Чехов. - Если узнает истину, он живопись бросит и сам здесь фотографию откроет, чтобы распродавать меня оптом и в розницу!

- А кто больше покупает? - продолжал допытываться Левитан.

Фотограф сказал, что за последнюю неделю куплены только две фотографии: одну взял какой-то заезжий священник, а другую приобрели две местные гимназистки.

По этому поводу опять разгорелась перепалка: Чехов уверял, что он всегда пользовался большими симпатиями духовенства и учащейся молодежи, а Левитан в тон ему твердил, что если, может быть, батюшка и купил фотографию "с благими намерениями", - в крайнем случае пошлет при доносе на недостаточную благонадежность Чехова, - то гимназистки уж явно собираются с портретом выкинуть какую-нибудь пакость. /611/

- Ну вот еще?! - протестовал Чехов. - Какую же пакость?!

- А такую! Знаю я их! - пугал его Левитан. - Вот возьмут да и выцарапают твоему портрету глаза.

- Ух, страшно!

- А потом, - продолжал фантазировать Левитан, - возьмут и приколотят фотографию - вниз головою!

Мелкий, но любопытный эпизод: в те дни в Ялте проживала свой долгий век генеральша фон Шаренберг, помнившая еще императора Николая I. Старуха обладала доброю душою и большую часть своего порядочного дохода тратила на благотворительность. Но в то же время она являлась субъектом крайне неуравновешенным и способным на разные эксцентричности. Коротая свой век в полном почти одиночестве и отчужденности от всего живого, она убивала досуг чтением и по очереди увлекалась то тем, то другим писателем, но на очень короткий промежуток времени.

Как раз когда Чехов, по выражению Левитана, "поступил в Навуходоносоры", старая чудака генеральша запоем читала все произведения Антона Павловича и яростно пропагандировала его в качестве "величайшего писателя в мире". Узнав, что в фотографии "Юг" продаются портреты Чехова, она немедленно приехала туда, приобрела один из портретов и заказала вделать его в богатую рамку. Но вот попался ей в руки новый рассказ Чехова или кто-то повлиял на нее - и произошла реакция. Экспансивная старая генеральша всеми силами души возненавидела бедного писателя и с его портретом расправилась по-генеральски: в богатую раму вставила портрет отца Иоанна Кронштадтского, а у портрета Чехова выколола ножницами глаза, потом через весь портрет сделала какую-то невероятную ругательную надпись и по почте отправила по адресу Чехова.

На первых порах Чехов думал, что это шутка Левитана, но потом дело выяснилось, и оба хохотали, как дети. Однако, насколько я подметил, Чехов как будто опасался, что история эта станет известною его домашним и может их потревожить, и настойчиво просил и Левитана, и Дзюбу, и меня не проболтаться как-нибудь.

Вскользь отмечу, что у бедной эксцентричной генеральши фон Шаренберг такая расправа с писательскими портретами потом вошла в привычку: последовательно /612/ она приобретала, вставляла в богатые рамы, потом вынимала, уродовала, покрывала оскорбительными надписями и отправляла по соответствующему адресу портреты Максима Горького, Льва Толстого и, наконец, священника Григория Петрова. Да мало того, что учиняла сие, - являлась в редакцию издававшегося тогда в Ялте "Крымского курьера" и настойчиво требовала от меня, как фактического редактора, печатания ее обличительных открытых писем к указанным писателям, и очень огорчалась, услышав мой отказ.

- Да я заплачу хоть и сто рублей! - настаивала она.

- Нельзя!

- Ну, хоть в отделе объявлений! Что вам стоит? Ах да, понимаю: отомстят! Загрызут!

...Спит теперь и чудачка генеральша в сырой земле на одном из ялтинских кладбищ. И где-то спит безвременно сошедший в могилу талантливый Левитан, один из немногих настоящих и верных друзей Чехова: вскоре после вышеупомянутого визита в Ялту он скончался от запущенной сердечной болезни.

Если не обманывает меня память, то именно после смерти Левитана Чехов почти совершенно прекратил свои, прежде довольно частые, выезды из дому: смерть художника потрясла Чехова до глубины души. Как-то раз он заглянул при мне в ту же фотографию, увидел большой и очень удачный портрет Левитана - и обратился ко мне с просьбою:

- Попросите Дзюбу - ему это ни к чему! А мне портрет очень, очень дорог! Пусть отдаст его мне!

И, помолчав немного, добавил глухо:

- И пусть больше не вывешивает в приемной.

Весною 1900 года я сделался постоянным сотрудником ялтинской, тогда единственной на всем южном берегу Крыма, газеты "Крымский курьер". А.П.Чехов очень резко отзывался как о самой газете, влачившей, признаться, жалкое существование, так особенно о ее издательнице, державшей и газету и нас, сотрудников, в черном теле. Но в то же время Чехов интересовался газетою и иногда заглядывал ко мне на дом, чтобы узнать /613/ последние новости до выхода номера. Мне очень льстили эти, правда редкие, визиты Чехова, но однажды я все же осведомился - почему он не заглядывает в редакцию? Разумеется, все телеграммы - в его полном распоряжении и так далее.

Чехов нахмурился. Долго молчал, потом неожиданно для меня разразился целою филиппикою.

- Не только на вашу газету, - говорил он сурово, - но и на большинство провинциальных и даже столичных газет мне тяжело смотреть! Еще тяжелее - заглядывать в редакции. Тяжело, тяжело!

- Да почему, Антон Павлович?

- А потому... Вот, на Сахалине я был. Там нечто в том же роде! Каторга какая-то!

Во-первых, в чьих руках огромное большинство газет сейчас? Вы скажете: в руках газетных работников! Неправда! Иллюзия! Газета - в руках издателей. А кто эти издатели? В одном месте - гоголевская помещица Коробочка, так боявшаяся продешевить мертвые души при продаже Чичикову, тупая, безграмотная, алчная, для которой текст газеты совершенно безразличен, важны - объявления. Она готова всю газету сплошь занять объявлениями, а текст и совсем выбросить. Еще и лучше: из-за текста цензурные неприятности могут выйти, а из-за объявлений - никогда. И за объявления - ей деньги платят...

В другом месте в газете хозяйничает бывший кабацкий сиделец, который всех своих сотрудников на "ты" называет и при случае чуть ли не затрепинами кормит. И пичкает газету шантажными вещами. И из попавших, по несчастию, к нему, в его острог, мелких газетных работников, развращая их, вырабатывает целую шайку газетных бандитов.

В третьем... Ах, да что и говорить?!

А личный состав сотрудников газетных? Вы - только начинаете работать. Вы покуда не окунулись с головою в это дело! Вот - не дай бог! - окунетесь, приглядитесь, - и вам самому страшно сделается: какой чудовищный процент людей в газетном деле - это просто люди, которым буквально деваться некуда. Газета - последнее прибежище. Хоть с моста да в воду или - в редакцию.

Их, этих загнанных жизнью в газету людей, винить нельзя, - жертвы жизни. /614/

Но делу-то от этого не легче.

Вот разве на то можно надеяться, что придет-таки пора, когда повременная печать получит хоть минимум свободы и станет под защитой законов. Ну, тогда, конечно, - если доживете, - увидите: перемрут, как мухи осенью, почти все те издания, которые существуют теперь, - и уйдет из газетной работы три четверти тех людей, которые теперь присосались к ней...

- А потом что будет, Антон Павлович?

Чехов раздраженно махнул рукою:

- А, черт... Рубль силу заберет! По-американски! А лучше ли, хуже ли... Кто его знает? Нет, впрочем, конечно, лучше. Газета станет капиталистическим производством. Выгодным будет только то предприятие, которое отвечает на спрос широкой публики. А спросом-то будут пользоваться издания, так или иначе отстаивающие интересы широких масс. Значит...

Должно быть, близко то время, когда народится особый тип газеты: для народа. Не нынешние простыни со многими тысячами строчек текста, не наши доморощенные "Таймсы", а крошечные газетки, где все будет сжато. Зато эти пойдут и в народ, потому что будут дешевы. Но все это - впереди, впереди. А

сейчас - каждый раз, когда вижу молодого писателя, втягивающегося в газетное дело, - нехорошо у меня, признаться, делается на душе. Омут!

С одной стороны - не хозяева вы в своих газетах, господа! {614} Батраки, и больше ничего! Вы вкладываете свои силы, свои знания, свое здоровье... А в любой момент вам говорят:

- Милый друг! Не угодно ли вам - уйти?

А сколько свежих молодых талантов губит газета? Ведь губит, губит! Для газеты нужна спешная, ежедневная, газетная по духу, работа. Злободневность нужна. На все надо отзываться даже тогда, когда отзываться вовсе не тянет. Где уж тут думать о работе серьезной, спокойной, обдуманной? Где вынашивать свои вещи? Впору только поспевать писать, писать и писать...

Ну, и привыкает мало-помалу человек - не выписывать свои вещи, а фабриковать их. Не дает себе труда развить облюбованную мысль, наметить характеры. Некогда! Надо поскорее написать и сбыть. А в результате что же получается? /615/

Возьмите для примера...

Чехов назвал имя большого, тогда гремевшего русского фельетониста {615}.

- Ведь талант какой! Да что - талант?! Талантище! А что из этого богатства остается в литературе?

Когда выходит номер газеты с его фельетоном, - это своего рода общественное событие. Шумит Россия. То есть та, конечно, которая фельетоны вообще читает. А вздумай он же издать отдельным томом свои нашумевшие фельетоны, - все это уже мертво. Все живет только несколько дней, в лучшем случае - недель, покуда не проходит интерес к самому факту, давшему материал для фельетона.

Точно фейерверк: покуда горит - звезды в небе. Прогорел - чад один остается.

А ведь если бы этот самый человек не принадлежал к числу соблазненных минутным успехом и громадными заработками, если бы он работал, просто только добросовестно работал над своими же собственными темами да давал бы себе труд, как в молодости, наблюдать жизнь, изучать ее, - в России было бы одним великим писателем больше. Жаль...

Надо заметить, что при разговорах со мною Антон Павлович очень часто останавливался на видимо близкой его сердцу теме - на быте литературной братии. Однажды как-то он как будто проговорился о причинах этого предпочтения:

- Как только сможете - убегайте! сломя голову убегайте из Ялты!

- Почему, Антон Павлович?

- Не место она для литературных работников! Здесь наш брат в безвоздушном пространстве оказывается. Здесь как-то контакт с жизнью, с настоящей жизнью обрывается. А писатель - он ведь питается соками окружающей среды. Ему нужны живые наблюдения. Ему нужно, чтобы не только в нем, но и вокруг него работала мысль, шло бы творчество. Здесь этого нет, и

потому писателю сюда ездить следовало бы запретить под страхом смертной казни!

Заметив, что я чуть-чуть улыбнулся, Чехов и сам заулыбался.

- Вот, вот! Вы мне же сейчас шпильку подпустить хотите! - А почему, мол, вы сами, Антон Павлович, в /616/ сей Ялте обретаетесь да еще домовладельцем оной сделались?

А я вам на это отвечу:

- С одной стороны - по болезни, а с другой - по слабости характера. Жилка домовладельческая подвела, признаться! С молодости у меня было какое-то, не смейтесь, особое почтение к титулу "господин домовладелец". А тут вдруг случай подвернулся - самому домовладельцем, да еще ялтинским, сделаться. Ну, и сделался! И... и теперь иной раз на дачу мою мне смотреть тошнехонько!

В самом деле, в голосе Чехова звучали остро тоскливые нотки.

Но через минутку он опять рассеянно улыбнулся и продолжал:

- В общем, я просто-напросто, селясь в Ялте, как говорится, "опередил события". Надо было бы подождать так... Ну, лет сто, что ли? Тогда, знаете, добрые люди по воздуху летать [будут] со скоростью не ста, а... а тысячи верст в час! Целые, знаете, воздушные поезда будут. И вот, знаете, тогда мы с вами могли бы, вставши утречком в Ялте, вместе отправляться на чай в Москву, на завтрак - в Питер, а к вечеру, к обеду - домой, в эту самую Ялту. А вечером к нам сюда, в Ялту, живые люди из Москвы и Питера заглядывать будут. Вот при таких условиях - стоит и в Ялте жить. При иных - нет!

Еще помолчав немного, Чехов шутливым тоном заговорил:

- А то, знаете, здесь еще кому из писательской братии жить?

Историческим романистам! Мордовцеву, Салиасу! Недаром Салиас таки заглядывает сюда! Видели его? Приехал третьего дня, в "России" остановился. С бонною-француженкою...

Лукавая усмешка мелькает и скрывается.

- Прислал мне записку на изящнейшем листке почтовой бумаги с графскою короною, осведомляясь, может ли он иметь честь навестить меня? Ну, я ему ответил, что, конечно, буду рад принять его у себя, но что сегодня же съезжу к нему. Советую и вам навестить старика. Ему это даже польстит, доказав, что он не /617/ совсем позабыт современным поколением и что даже представители печати...

Опять лукавая усмешка.

...представители, так сказать, шестой там или седьмой великой державы им, покойником Салиасом, интересуются!

"Покойником" не я его, а он сам себя называть любит! И... и прав. И жалко признаваться, а так. Ведь это и в физическом смысле - живой труп, - он разбит параличом, еле ползает, перегнувшись пополам, а в литературном смысле - совсем, ну совсем покойник. Страшная, знаете, ирония судьбы! Ведь тоже - талант был, и большой и интересный талант. Вы вспомните, начал-то он как и с чего? Написал огромный и, право же, интереснейший роман "Пугачевцы" {617}. По своему времени - литературное событие первого ранга было. Чуть-чуть не наравне с "Войною и миром" Толстого трактовалось. Мамаши

наши как этим романом зачитывались?! Да в нем и есть немало достоинств, и - прежде всего - отличная форма, отличный язык, великолепно разработанная фабула. А этот роман, не забывайте, был написан почти мальчиком. Человеком, который только краешком глаза взглянул на жизнь!

И вот, судя по этому роману, которым молодой Салиас, как говорится, размахнулся, - от него бог весть чего можно было бы ожидать! А что вышло? Что он дал после?

С ним, очевидно, случилась какая-то внутренняя катастрофа. Что-то, знаете, внутри - сломалось, расхлябалось. Бывает это - в сложных аппаратах, в часах. Часы, знаете, с великолепною гравированною золотою крышкой. Стекло - и то цело. Циферблат - и тот не тронут. А тряхнешь - внутри звон и шум. Столпотворение вавилонское. Затикает маятник, протикает десять или пятнадцать секунд и потом - стоп машина. Стоят часы. Как мужики говорят:

- Нутро перегорело! Середка испорчена!

Вот после "Пугачевцев" у бедняги Салиаса его литературное нутро, знаете, должно быть, того... перегорело!

- Да ведь он и после "Пугачевцев" писал немало!

- Даже очень много! Даже слишком много! Но вы обратите внимание: по размеру - уже ни единой такой большой вещи не написал. Это очень характерный /618/ признак. Как в часах, "завод" стал коротким. То "заводил" свой талант на тысячу страниц, а то и на три сотни трудно. По содержанию - еще характернее: повторяю, с ним, с Салиасом, как с писателем какая-то внутренняя катастрофа приключилась. Какая-то сложная болезнь интеллекта. Личность раздвоилась. Получилось как бы два Салиаса. Один - новый, совершенно лишенный творческого дара, и другой - весь измятый, изломанный, изорванный, но живучий - старый. И этот старый остался с старым циклом идей. Обратите внимание: все почти сплошь то, что Салиас написал после "Пугачевцев", - это является не больше как развитием его же собственных, салиасовских, старых, им уже вскользь в "Пугачевцах" использованных тем.

Когда он был молод, - набрал этих тем столько, что, как говорится, просто швырялся ими, не давая себе труда вычеканить, отграничить. И наворотил, нашвырял груды: "Пугачевцы". Потом сам внутренне сломался, раздвоился. Творить нового уже был не в силах, но и отстать от творчества механически уже не мог. И вот начал постоянно возвращаться к своему же, к старому, к небрежно навороченному, брошенному, рыться в этой горе, выкапывать из нее кирпичинки, разглядывать и возиться с ними. По существу - обкрадывать самого себя... Грустное зрелище, признаться!

Но вы к нему сходите! Право, стоит! Увидите истинного барина, каких мы с вами, разночинцы, видеть не привыкли, и познакомитесь с истинным джентльменом.

Только не уделяйте его "бонне" особого внимания: старика Салиаса это всегда очень огорчает. Бог с ним!

Не знаю, состоялось ли предположенное свидание Чехова с Салиасом. Сам я к Салиасу так и не собрался, но в "Крымском курьере" напечатал коротенькую заметку, посвященную пребыванию в Ялте автора популярных

исторических романов. На другой же день Салиас сделал визит в редакцию, чтобы поблагодарить меня "за память о старике". Его привела, чуть ли не втащила по грязной редакционной лестнице молодая, рослая, статная, вульгарно красивая француженка, с осиною талией, невероятными бедрами, коровьим выменем вместо груди и разрисованным лицом.

Это и была "очередная бонна" обратившегося в "живой труп" старика романиста... /619/

Из разговоров с Чеховым о литературной братии вспоминаю еще один большой разговор, вызванный особым поводом: меня, как редактора, вообще одолевали разные "самородки" и "писатели из народа", и в числе их - какой-то до ужаса безграмотный "сочинитель". Сначала я пытался разобраться в его гиероглифах, потом убедился, что это дело совершенно безнадежное, и просто стал швырять в корзину все письма "самородка". "Самородок" оскорбился и обратился к Антону Павловичу с длинной и обстоятельнейшей жалобой на меня. И вот, получив эту жалобу, Чехов вызвал меня к себе по телефону - "поговорить".

Должно быть, в тот день он чувствовал себя лучше обыкновенного, поэтому был в веселом и шутливом настроении. Речь его была полна юмора. Он был на редкость словоохотлив.

- Ну-с, подсудимый! - начал он, встретив меня на пороге своего рабочего кабинета. - Что вы скажете в свое оправдание?

И при этом похлопал по краю массивного письменного стола целую кипю исписанных неряшливым, хорошо мне уже знакомым почерком "самородка", листов.

- Сие - обвинительный акт и прочие судебные материалы! Итак, приступим к разбору дела! Отвечайте, не уклоняясь, на вопросы: а почему вы, обвиняемый, на страницах "Крымского курьера" печатаете какие-то там метеорологические бюллетени и упорно отказываетесь напечатать хотя бы сию "Повесть о том, как адна кнегиня ис правадником Асланом хвосты трепала"?

Это был дословно заголовок одного из произведений одолевавшего меня "самородка".

- Одолевают? - допытывался, сверкая глазами, Чехов. - Так вам и надо! Страшно рад! Поделом! Не беритесь за редакторское дело! Не лезьте добровольно в каторгу! Полезли? Кушайте на здоровье!

- Да вы-то, Антон Павлович, почему злорадствуете?! - засмеялся я. - Почему вам-то это доставляет удовольствие?

- А как же? - словно удивился Чехов. - Это, батенька, как где-нибудь в приемной популярного врача, где собирается множество больных разнообразнейшими болезнями и каждому доставляет удовольствие, если /620/ удастся обнаружить, что его сосед еще опаснее болен, чем он.

У меня один только зуб ноет, и то хоть вешайся, а у него вон не то три зуба, не то целая челюсть!

Чехов показал мне лежавшую на письменном столе форменную грудку разнообразнейших рукописей {620}.



- Видите? Засыпают! Из Владивостока даже шлют! Про Архангельск уж и говорить нечего: по нашим временам - это совсем ведь близко! Спасибо Савве Мамонтову - железную дорогу соорудил до Архангельска-то! Несчастливцевым {620} большое одолжение сделал!

А вы вот что, М.К.! "Самородок"-то ваш представляет некий интерес. Не в отношении своего творчества, конечно, а как личность. Попросил я вас прийти к себе, конечно, не из-за его слезницы, а просто - редакционным воздухом дохнуть захотелось, поболтать, а вы здесь, в Ялте, сейчас - единственный "сих дел мастер". Уж вы не сердитесь... А относительно "самородка" и присных - рекомендую обратить внимание: не пренебрегайте! И это - материал, и материал, могущий оказаться чрезвычайно интересным. Наблюдайте. Входите в непосредственное соприкосновение. Расспрашивайте. Когда-нибудь, - если только избавит вас аллах от газетной лямки, - размахнетесь и сами романом из жизни газетной братии. И тогда вот такие из жизни взятые фигуры вам вот как понадобиться могут в качестве сырого материала!

Я последовал совету Чехова, вызвал в редакцию "самородка", долго объяснялся с ним и потом должен был дать отчет о разговоре самому Чехову.

...Мальчик шестнадцати или семнадцати лет. Служит подручным в кузнечном заведении, стоящем на краю города. Учился в деревенской школе. Одержим страстью писать стихи, говорит стихом. Дошел до того, что кажется маньяком: подбирает рифмы к каждому услышанному слову.

- Мне кричат:

- Тащи воду!

- А я отвечаю:

Я принес бы воду  
Для крещеного народу,  
Да к воде нет ходу  
За неименьем броду! /621/

...Маленького роста, кривоногий, с низким звериным лбом, приплюснутым носом и выпяченными губами, с вытянутым редькою черепом, весь какой-то корявый. От хозяина получает угол там же, в кузнице, еду, обноски платья и три рубля в месяц. С трудом читает, - читает только газеты. И вот - он исписывает стопы бумаги повестями... из великосветской жизни. Его "персонажи" - графини, княгини, баронессы, графы, бароны, миллионеры банкиры - "американе". Чушь получается, понятно, невообразимая. Но мальчишка упорно стоит на своем: пишет, рассылает по редакциям, ждет ответа, обижается, пишет уже дерзкие письма, грозит "бросить боньбу", то есть бомбу.

Чехов почему-то заинтересовался этим несчастным свихнувшимся маньяком, и устроилось у меня в редакции свидание.

- Зачем вы пишете про графинь, маркиз, баронесс? - допытывался Чехов у мальчугана. - Да вы хоть одну-то княгиню живую видели?

- Вот те на! - сердился мальчишка. - Да мимо нашей кузни сама княгиня Барятинская сколько раз проезжала! Видел ее как облупленную!

- Вот вы из деревни? Да? Вы работаете в кузнице? В кузницу приходят десятки людей: рабочие, татары, греки. Почему вы не попробуете о них писать?

- Очень нужно кому?! - фыркает "самородок". - Рабочие - они рабочие и есть! Одно слово - рабы! А татары - баранья лопатка!

Так мальчик и ушел разочарованным.

С другим "писателем из народа" Чехов на моих глазах провозился несколько недель, покуда не был вынужден признаться, что и это случай совершенно безнадежный {621}.

Это был мужиковатый парень, кажется - ярославец, раньше, в дни юности, бывший позолотчиком и зарабатывавший очень недурно. Как-то он присутствовал на пожаре, уничтожившем старинную церковку, и написал о пожаре корреспонденцию в местных епархиальных ведомостях. За корреспонденцию ему прислали 11 рублей 50 копеек. Это его и погубило. На селе он стал известен под именем "писателя", к нему стали обращаться о просьбах "разделить" волостного старшину, писаря, священника. И вот парень записал. Писал в прозе, в /622/ стихах, исписывал целыми пудами бумагу. Заваливал редакции и издательства. На его беду именно в этот период ракетой взвилась слава Максима Горького, в литературу вошел босняк, заговорил дерзкие речи. Бывший позолотчик - назовем его Поликарповым, - он жив и сейчас, - жадно ухватился за "горьковские" темы и стал описывать "людей со дна", причем все эти люди оказывались невероятными философами, говорили не иначе, как напыщенными тирадами, обличая "гнусных буржуев".

Редакции не принимали писательских упражнений отбившегося от настоящей работы позолотчика. Тогда он, не долго думая, махнул из Твери или Рыбинска в Крым, в Ялту, с целым ворохом своих произведений, чтобы представить их собравшимся в то время в Крыму трем корифеям русской литературы - Чехову, Горькому и Льву Толстому.

Чехов имел терпение переглядеть целый ворох рукописей Поликарпова и вызвал его для беседы о его работе. Результатом беседы было то, что Поликарпов решил:

- Конечно, как Чехов - интеллигент, а интеллигенты боятся, чтобы свежие силы из народа их не оттеснили, ну, так он и затирает меня! Пойду к Горькому!

Чехов, зная, что я принимаю участие в действительно голодавшем в Ялте Поликарпове, вызвал меня - побеседовать о нем. Очень волновался.

- Ужас что такое! - говорил он. - Ведь вот - парень здоровый. Ремесло знает, и ремесло прибыльное. Неглуп. С хитринкою даже. С воловьим упрямством, с адскою трудоспособностью, с нечеловеческою энергией и стальным здоровьем. Займись он чем-либо другим, только не литературою - он всюду проложил бы себе дорогу. А он словно помешался. Он сделался графоманом. Он убивает время, силы, здоровье, он терзает всех окружающих. Во имя чего? Хочет быть писателем! Но его творчество никому и ни на что не нужно. Его рассказы - это жеваная бумага. Это отрыжка Горького...

Нет, из него никогда ничего не выйдет...

Но оказалось - Чехов ошибся: из Поликарпова писателя, конечно, не вышло, но вышел сносный провинциальный газетный работник на все руки - и

этому он обязан был своей действительно нечеловеческой /623/ настойчивости. Совершенно безграмотный вначале, он корпел по ночам, штудировал грамматику, теорию словесности, всяческие учебники. Все брал, как говорится, назубок, и на моих глазах смог сначала занять место газетного корректора, потом хроникера, вырезчика и т.д., словом - изучил технику газетного дела. Я виделся с Чеховым накануне его отъезда в Баденвейлер. Чехов порылся в бумагах, вытащил какое-то письмо, показал мне.

- Не объясните ли вы, М.К., что это за человек такой? Поликарповым его зовут... Торжественно извещает:

- Вот вы, Антон Павлович, пренебрегли мною и признали, что я никогда писателем не сделаюсь. А вы ошиблись! Сейчас я сам редактором сделался! А если бы вас послушался, то был бы я простым позолотчиком!

Я напомнил Чехову историю упрямого позолотчика. Чехов усмехнулся:

- Гм, да! Так, значит, из позолотчиков - в господа редакторы попал? Жаль, жаль! Из него, по всем признакам, отличный позолотчик был! Загубил, можно сказать, талант!

Вообще говоря, грубо ошибаются люди, рисующие покойного Чехова каким-то расслабленным сентименталистом, не человеком, а ангелом во плоти. Мои наблюдения над Чеховым очень невелики, хотя знакомство и сношения поддерживались в течение около пяти лет. Но по крайней мере в ялтинский период жизни Чехова - это был человек исстрадавшийся, упорно боровшийся против беспощадного недуга и, главное, знавший, что борьба эта, собственно говоря, бесполезна. Именно это-то, кажется, и накладывало на него оттенок глубокого трагизма. С каждым годом мрачнее становилась физиономия Чехова, все менее и менее словоохотливым делался он, словно говоренье мешало ему думать его вечную думу. Все реже в разговоре проскальзывали нотки светлого и беззлобного юмора, искорки примиренного отношения к жизни.

Да, Чехов никогда не был скопидомом, скупцом и в дни жизни в Ялте, располагая не бог весть какими средствами, - он очень солидный процент своего литературского дохода тратил на помощь нуждающимся, осаждавшим его просьбами {623}. Очень видную роль в этом играла /624/ помощь Чехова постоянно появлявшимся в Ялте, так сказать "транзитом", странствующим литераторам из низшей категории провинциальной газетной братии. Но и помогая этим людям, Чехов в интимном разговоре не скрывал своего отрицательного отношения к целому классу. Может быть, приговор Чехова был слишком односторонен и потому чересчур суров, но приходилось, слушая его, сознаваться, что во многом Чехов и прав.

- Кто уходит в газетную работу? - говорил мне как-то Чехов. - Увы, это горько, но это так: отбросы интеллигенции, люди, которым больше деваться некуда... Здесь - нужен аттестат хотя бы среднего образования. Там - требуется протекция. Тут нужна исключительная деловитость, известные знания, хорошая репутация. В редакции вы, господа редактора, ничего этого не требуете. Вы проявляете положительно преступную терпимость, и потому вы повинны в том, что возле газеты развелась туча полулитературной мошкары, ядовитого овода. Печатное слово - это страшное оружие. Вы с этим оружием обращаетесь, как

ребенок обращается с отравленным кинжалом. Ваши издатели в массе - это базарные шибай, барышники, заботящиеся только о доходах. Кто подешевле работает на них - тот им и мил, тот им и друг. Поэтому-то у нас и разводится такое нестерпимое количество газетной шушеры, простиитуирующей газетное дело, обращающей газету в дом терпимости.

Вы, М.К., молоды и наивны! Но присмотритесь, и вам, вероятно, страшно станет! Оглянитесь вокруг. Будем говорить только о знакомых нам с вами лицах...

И часами лилась полная желчи обличительная речь Чехова:

- N.N. - фактический редактор крупной и бойкой провинциальной газеты. Кончил где-то прогимназию, служил в консистории, был изгнан. Поступил на службу в полицию. Приказом губернатора удален со службы за избивание арестованных и поборы. Стал доставлять газете хронику городских происшествий. Втерся. Стал хроникером вообще. Набил руку на сенсационных номерах, зачастую выдуманных. Получил приглашение заведовать в более мелком провинциальном центре газетою на правах редактора. Применяет газету для собственных /625/ целей: ведет помаленьку шантажную политику. Обложил данью театр, сады, цирк, даже - карусель...

- X.X. изгнан из третьего класса гимназии. Был полицейским вольнонаемным писцом. Проворовался. Попал в газету. В газете ведет хронику. Занимается поборами. Особенно грабит наезжающие в город трупы.

И т.д.

- Не люблю немцев! - признавался Антон Павлович. - Но, насколько знаю, там, в Германии, по крайней мере образовательный уровень газетных работников высок. Там, если к газетной работе припускают человека без образования, значит - он истинный, хотя бы и на немецкий образец талант. Рядовые же работники сплошь вербуются из лиц с университетским образованием. Пусть талантливости в них мало. Нам трудно судить. Но по крайней мере - это грамотные работники! В немецкой газете не рискуешь прочесть такой чепухи, от которой волос дыбом становится! Помилуйте! Что это такое? Я за последнее время стал вырезки делать, собираю альбом газетных ляпсусов. Вот, не хотите ли?

В Одессе, в крупнейшем культурном центре, в крупной газете видный сотрудник-фельетонист описывает свое путешествие из Одессы в Киев. Едет он, как и полагается одесситу, - морем. Вплоть до самого Киева ухитряется все ехать морем! В его очень красноречивом фельетоне описаны золотые маковки киевских церквей, озаренные солнцем, поднявшимся над морем!

Черт знает что такое!

Вот другой одессит. Тот рассказывает, как его и его товарища арестовал... судебный пристав и как судебный пристав являлся в "каталажку", призывал городских и заставлял истязать арестованных.

Человек не знает того, что судебный пристав - это судейский чиновник, у которого строго определенные функции, что он может описывать имущество должников, рассылать повестки и принимать меры охраны имущества умерших, но не арестовывать людей, не распоряжаться в каталажке!

Вот третий. Сей - пишет рассказы. И он отправляет влюбленную чету венчаться в женском монастыре.

Черт знает, прямо черт знает какое невежество, какая наглость!

Но почему все это? А потому... /626/

Потому, что каждый мало-мальски дельный, толковый, способный работник при нашей бедности в хороших рабочих во всех областях легко находит себе занятие. На долю литературы остаются поскребыши. Те, которым больше как в газету деваться некуда!

И так будет еще долго. Я не доживу до улучшения дела. Вы - может быть...

Мне вспоминается маленький и прекурьезный эпизод из моих сношений с Чеховым, относящийся, если не ошибаюсь, к 1902 или 1903 году.

Чехов занес ко мне в редакцию рукопись - небольшой, но поразительно красиво написанный рассказ на военную, точнее сказать - на боевую тему.

- Прислала мне барышня одна, местная гимназисточка! - пояснил он. - Просит посодействовать, чтобы его где-нибудь напечатали: хотя бы в "Русской мысли". Рассказ очень, очень недурен, но для ежемесячника не подходит. Может быть, вы у себя напечатаете?

- Антон Павлович! - возопил я. - Да ведь моя издательница за такие вещи не платит! А вашей гимназистке надо заплатить!

- Естественно, что заплатить надо! Тем более что автор-то намекает. Заплатили бы, дескать, "хотя" по пяти копеек за строку. Я справлялся. Не из голодающих, но и не из денежных людей. Заработать хочет, бедняга! Так, знаете, вот что мы сделаем: вы печатайте, а я вам оставлю для нее... ну, рублей двадцать, что ли. Чур - меня не выдавать! Скажете, что это редакционные деньги. Да предупредите, что впредь платить не станете...

Я оставил у себя рукопись и, когда Чехов ушел, принялся переглядывать ее, чтобы удобнее разместить в следующих номерах. Однако с первых же строк во мне начало зарождаться сомнение: рассказ обличал в авторе великолепное знание техники военного дела. Всюду мелькали термины, которых невоенный знать не может. Автор - молоденькая девушка, гимназистка. Откуда такие специальные знания у нее? Что-то нечисто...

Чем дальше я вчитывался, тем больше становилось мое сомнение. И наконец я вспомнил, не читая, финал рассказа. Я читал этот рассказ. Он был напечатан. Когда? Тогда, когда рекомендованной Чеховым гимназистки еще и на свете не было. Я стал перебирать в /627/ памяти всех русских писателей на военные темы, остановился на В.И.Немировиче-Данченке, добыл его книги и без труда в романе "Под грозою" нашел полный текст рассказа гимназистки.

Чехов был и взволнован и искренне огорчен всею этой историей и, помню, зайдя в редакцию, долго ворчал отрывисто:

- Ведь вот поди же ты! Чистое такое, юное и душою и телом существо... Глазки такие милые и ясные... Улыбочка светлая. А сама - мошенница!

Чехов предоставил все дело мне. Я вызвал гимназистку к себе в редакцию и, каюсь, пугнул ее уголовной ответственностью. Гимназистка перетрусилась до полусмерти, а я делал вид неумолимого судьи и выгнал ее из редакции. Зашевелился семейный муравейник, прибежала ко мне пара великовозрастных гимназистов - кузены "юной преступницы", какой-то студент. Все уверяли, что

это была простая невинная шутка, что я напрасно раздуваю дело и т.д. Помучив этих "милых шутников", я наконец сжалился над ними, отдал злополучную рукопись, но на прощание еще раз жестоко пугнул всю компанию и заставил гимназистку поклясться, что впредь она такими делами заниматься не будет. Не знаю, сдержала ли она свое слово, но знаю, что, окончив гимназию, она немедленно вышла замуж за акцизного чиновника и стала играть роль в местном ялтинском "свете".

До этой истории Антон Павлович частенько так направлял ко мне в редакцию начинающих авторов или их произведения с рекомендациею. После этого - перестал.

- Боюсь попасть впросак! - признавался он. - Ну их к богу, знаете! Правда, я добросовестно прочитываю все, что мне присылают, но ведь кто же поручится, что ему не подсунут старой-престарой, перелицованной заново вещи? Вон, говорят, кто-то даже "Пиковую даму" Пушкина ухитрился всучить издателю! А Стасюлевичу старик Мордовцев горячо рекомендовал роман какого-то начинающего исторического романиста. А роман-то оказался переписанным романом самого Мордовцева - "Царь и гетман"...

...И все же мы оба с Чеховым, как говорится, сели в лужу: по его личной рекомендации я напечатал в /628/ "Крымском курьере" маленькую крымскую легенду, доставленную ему, Чехову, какою-то очень нуждавшеюся в заработке драматическою артисткою. На другой день живший в Ялте литератор А.Я.Бесчинский, автор хороших путеводителей по Крыму и Кавказу, при встрече со мною язвительно заметил мне:

- Если вы, коллега, в другой раз пожелаете перепечатывать что-либо из путеводителей, то берите по крайней мере новые издания! А то эта ваша "Крымская легенда" {628} целиком содрана со страниц старого путеводителя по Крыму Тихомировой... Неудобно, знаете!

Чтобы не огорчать сильно тогда прихварывавшего Чехова, я так и не сказал ему об этом казусе, но каким-то образом он сам проведал о случившемся и прислал мне записку с извинениями. Записка была в шутливом тоне:

"Я, нижеподписавшийся, Антон Павлов сын Чехов и пр. и пр. сим клятвенно обязуюсь впредь юным плагиаторам не покровительствовать, для "Крымского Таймса" никаких поэтических и прозаических произведений неведомых мне авторов не рекомендовать" {628}.

Но однажды, в разговоре со мною, А.П.Чехов затронул одну, по-видимому, сильно интересовавшую его чуть ли не до смерти тему, или, вернее, одного очень большого русского человека, сыгравшего такую видную роль в истории русской общественности последней четверти девятнадцатого века. Это - покойный А.С.Суворин.

Не помню, в 1902 или 1903 году А.С.Суворин приезжал в Крым, в свое любимое имение в Алуште, и оттуда заехал в Ялту с исключительной целью

повидаться с Чеховым {628}. Накануне приезда Суворина к Чехову Антон Павлович заглянул ко мне в редакцию и несколько конфузливо попросил:

- Сделайте мне, М.К., большое одолжение. Прав на это одолжение с вашей стороны я не имею никаких. Если откажете - не обидите меня, но очень и очень огорчите...

- Слушаю!

- Сюда приезжает старик Суворин. Если можно, не печатайте об этом ничего. Не разругайте его! /629/

Обращение Чехова, признаюсь, меня удивило: суть в том, что, зачастую расходясь радикально с "Новым временем" и иной раз пускаясь с ним в полемику, я никогда не затрагивал лично А.С.Суворина и, напротив, к нему лично относился с исключительным интересом, чтя в нем огромную организаторскую силу и большой талант. Это я и высказал Чехову.

- Да, да! Вы правы! - как будто обрадовался Чехов. - О старике мы с вами еще поговорим! А что я вас предупредил, - так ведь это - на всякий случай! Вон у вас этот, как его... Ну, тот, который напоминает похоронные дроги, поставленные оглоблями вверх...

- Дубичинский?

- Ну да, Дубичинский! Он ведь "лихой наездник". Возьмет да и восприветствует старика Суворина по-своему! И ведь если бы это было идейно! А то ведь просто - ради красного словца обложит. А старик, хоть и стреляная птица, - огорчится. А мне очень и очень не хотелось бы его огорчать! Бог с ним!

Несколько дней спустя я был у Чехова, и он завел снова разговор о Суворине.

- Мы с ним были большими друзьями! - говорил Чехов. - Потом мы разошлись. Расхождение началось с несчастного дела Дрейфуса, по отношению к которому, по моему мнению, "Новое время" заняло ошибочную позицию {629}. За последние годы между мною и Сувориным осталось уже мало общего. Но все-таки - это воспоминания молодости. Я чувствую себя очень обязанным Суворину. Пусть на него собак вешают. Пусть на него возлагают ответственность за то, в чем его личной вины очень мало, что является коллективным грехом. Но все же "старая любовь", говорят, "не ржавеет". И я до могилы не смогу относиться безразлично к Суворину.

Дальше Чехов горячо заговорил о положительной роли Суворина в русской жизни.

- Кто поднял гонорар газетного работника? - говорил Чехов. - Кто первый стал давать русским писателям такую плату, при которой культурному человеку сделалось возможным целиком отдаться газетной работе? Это сделал именно Суворин. Вы скажете, что просто-напросто он применил правильный коммерческий расчет. Да. Пусть так. Но другие не хотели, да и сейчас не хотят применять этот "правильный расчет". /630/

Кто вообще относился к своим сотрудникам с исключительной заботливостью? Старик Суворин! Загляните в его конторские книги, вы увидите, какие колоссальные суммы розданы Сувориным сотрудникам в виде безнадежных авансов. Кто первый стал обеспечивать своих сотрудников пенсиями? Суворин!

Знаете ли вы, например, дело с У.?

Этот человек был когда-то полезным работником. Суворин его ценил. Хорошо платил. Потом У. заболел нервным расстройством и работником быть перестал. Суворин назначил ему месячное жалование - двести рублей. Зная гордость У., Суворин отдал приказание в редакции:

- Пусть У. постоянно пишет. Принимайте его вещи, но не печатайте. Ссылайтесь на цензурные условия, на недостаток места, на что хотите. Ссылайтесь на меня лично: говорите, что данная вещь мне не понравилась и я не позволил ее печатать! А деньги платите!

И вот У. продолжает годами присылать свой материал, в большинстве случаев являющийся сумбуром, - а Суворин продолжает выплачивать ему гонорар и от времени до времени дает ему отпуск и на поездку выдает отдельную сумму...

Кто по-человечески обставил своих типографских рабочих? Кто для типографского персонала создал отличную профессиональную школу, эмеритальную кассу и т.д.? - Суворин.

Кто из русских господ издателей, придя к убеждению, что данный начинающий писатель обещает со временем развернуться, - берет этого писателя к себе, любовно за ним ухаживает, бережет его, направляет его талант? Суворин.

Кто, наконец, из русских издателей способен, заранее зная, что данная книга пойдет туго, будет залеживаться десятилетиями, - все же издать такую книгу и затратить на издание многие десятки тысяч? Только Суворин!

У кого из этих русских издателей в душе живет жилка жажды творчества и кто занимается издательством не столько ради возможных выгод, сколько ради того, что этим создаются культурные ценности? Это - А.С.Суворин.

И вот когда история будет судить его, - пусть она не забудет и этих сторон жизни Суворина... /631/

... {631}

... /632/

В книге отсутствовал лист стр.631-632 (OCR Zmiy).

... /633/

А в Петербурге, там, знаете ли, как надо к изданию приступить? Ассигновать триста тысяч. И то - на первые расходы. На три года, что ли. Да держать в запасе еще двести тысяч.

И знаете, что будет, если вы размахнетесь полумиллионом? Вы оттянете у каждого существующего журнала по тысяче или полторы подписчиков да, может быть, "создадите" новых пять тысяч. Вот и все, чего вы добьетесь.

Сконфуженные инициаторы журнала, при словах Чехова о полумиллионе чуть не упавшие в обморок, убрались. Но затронутая ими тема, по-видимому, заинтересовала Чехова, и, покашливая, он долго еще говорил на эту же тему:



- Да, толстый журнал... Ах, как мило! Ах, как хорошо! Да, знаете! Но это продукт старой России. Той России, когда, знаете ли, еще дворянские усадьбы процветали и когда культурный владелец одной из оных, вспоминая о тоскливых зимних вечерах, осенью, продав урожай или заложив липовую рощу в Дворянском банке, выписывал сразу три или четыре журнала. А ежели он был из бюрократов, то непременно - "Русский архив".

Ах, мило! Ах, хорошо!

Зимою, знаете, гудит вьюга. Все снегом занесено. А какой-нибудь Никифор или Пантелей со станции прет в мешке ворох "Нового времени" да две, а то и три кирпичины - свежие книжки толстых журналов. И в семье идет даже ссора из-за того, кому первому проглядывать журналы. А тощая гувернантка тоскливо поглядывает на толстенную кирпичину - "Вестник Европы". Там - переводной роман этакого, знаете ли, Гэмфри Уорда, что ли! Герцог, член палаты пэров, графиня, неземная красавица, ну, и еще артист-итальянец и непременно англиканский пастор...

Но, господа, ведь усадьба-то стерта с лица земли! Ведь этот потребитель журналов умер. Ведь кто в усадьбе и читал, тот сбежал в город, а в городе - библиотека, клуб, общественное собрание. И книжку можно достать "почитать". Ее выписывать не стоит...

Дальше Чехов заговорил о самих русских журналах:

- По бедности - добрую половину переводами заполняют. Это убивает интерес к журналу: ведь /634/ переводить труднее, чем оригинальное писать. Ведь выбирать на иностранном, что ли, рынке подходящий для перевода материал - это отчаянно трудная штука. А за перевод грош платят. А переводят чисто случайные вещи. А перевод сам в огромном большинстве - жеваная бумага. Вот в старые годы, в период, повторяю, усадьбы, - тогда перевод не был еще ремесленным. Марко-Вовчок, например, переводила. Прелесть! Лавровские переводы Сенкевича - чуть ли не лучше подлинника. А теперь переводы поставляют голодные курсистки, закабаленные каким-нибудь шустрым подрядчиком, имеющим связи с редакторами да издателями.

- Стойте! Вы не помните, чей это роман с английского "Наследник"? - неожиданно перебил сам себя Чехов. - Кажется, в "Современнике" печатался! Читали? Ну, вот... Вот истинный символ прошлого периода усадьбы. Отличный по тем временам роман. Великолепный, несравненный роман! Во всех двенадцати книжках, и в каждой книжке по пяти или шести печатных листов. И в целой первой книжке, на пяти, на шести или семи листах, - рассказ о том, как некий мистер Уильям или Джерэмия, - прыщавая такая жалкая фигурка, писец, или, по-английски, извините, клерк какой-то лесной конторы, просыпается в воскресенье, съедает свой завтрак - лэнч, извините, - причем, помню, фигурирует еще сваренное вкрутую яйцо и посеребренная ложечка, которой мистер Уильям или Джерэмия выковыривает оное яйцо из скорлупы. Это - пол-листа. Потом описывается, как он, герой, облачается в праздничный костюм, собственноручно вычистив сапоги, и отправляется прогуливаться по Лондону, старательно высунув из кармана жакета кончик старенького голубого шелкового платочка. Еще половина печатного листа: покуда герой не спустился с лестницы... Ну, а потом -

его размышления по поводу уличного движения и утреннего тумана - пол-листа, описание прохожих - еще пол-листа, и так далее... Словом, в первой книжке герой на пяти или шести листах успел только прогуляться по городу и встретиться с парюю знакомых, выпить стакан пива, вернуться домой. А тут его, знаете ли, застаёт письмо какого-то стряпчего, и в письме намекается на то, что в судьбе героя может произойти некая перемена.

Читатель страшно заинтересован и, сгорая от /635/ нетерпения узнать, в чем дело, - ждет следующей книжки. Через месяц, знаете!

Я этот роман читал на вакациях. Стал читать - он был кем-то заботливо в отдельную книгу переплетен, - нету сил. Бросил! Изголодался без чтения, снова пытался одолеть. Не мог. Бросил. И так до пяти раз. А потом как-то на самого себя рассердился, засел, вернее сказать, залег, - и все прочитал. До последней страницы. И узнал всю подноготную. Сначала, знаете, герой оказался имеющим запутанные, но законные права на какое-то большое наследство. Поместье в английском стиле, знаете ли, ну, там - аллея из двухсотлетних вязов, что ли, и старый дом, и пруды, по которым лебеди плавают. Ну, и старый благообразный дворецкий... Прелесть, прелесть... Но поместьем владеет благороднейшая личность - эсквайр. И у него прелестная дочь. И им этот новый наследник - как снег на голову... Кой черт, снег?! Как дубина на голову обрушивается! Все благосостояние, вся идиллия - пошла к черту!

И читатель волнуется:

- Бедный эсквайр! Несчастливая Нэлли!

Это - в пятой или шестой книжке.

Ну, а в двенадцатой - перемена декораций: выплывает какой-то затерянный документ, удостоверяющий, что наследник-то хоть сам он и законнорожденный, но его дедушка был не совсем законнорожденный. И посему - его из поместья выкидывают, а благородный эсквайр с прелестною Нэлли водворяется снова в усадьбе, и лебеди плавают, и благообразный дворецкий встречает подъезжающих к парадному крыльцу гостей...

Ах, как хорошо писали, знаете, в шестидесятых годах! Ах, как, знаете, легко было тогда писать! Ах, какой читатель тогда был милый! А вот попробуйте теперь написать такую... ахинею! Попробуйте ее в нашем ежемесячнике напечатать! Так, пожалуй, читатель-то при всей своей долготерпеливости этими самыми ежемесячными кирпичинами вам голову проломит! Вот что!

Нет! По-видимому, наш журнал - отжил. Нужно что-то другое. Альманахи - это хорошо. Но это - временное. Это ведь - чисто случайное. Вероятно, просто-напросто, нужен тот же самый журнал, только совершенно реформированный. Может быть - двухнедельными, а то и недельными книжками. Переводы по /636/ тридцать печатных листов - к черту. Вместо них - в каждом номере интересная заграничная корреспонденция. Париж, Лондон, Берлин, Рим, Константинополь. Общее число печатных листов должно быть увеличено. Редакции под страхом смертной казни будет запрещено запасаться материалом на полтора года, как бывает и по сей день: материал должен идти только свежий. Если произойдет какое-нибудь чрезвычайное событие, - пусть две и три книжки целиком будут посвящены ему. Словом, журнал должен, оставаясь журналом, приблизиться

елико возможно к типу газеты, быть свежим. На все надо отзываться по горячему следу. В литературе - следить за каждым новым течением. Отрешиться от олимпийства, от академизма. И тогда...

Словно споткнувшись, Чехов закончил:

- И тогда, вероятно, все же ничего из этого всего не выйдет, и ваш журнал съест вас...

В разговорах с Чеховым я не раз подмечал его недоброжелательное отношение к Одессе. Это меня заинтересовало, и как-то раз в часы "заседаний" на знаменитой "писательской скамеечке" у магазина караима Синани я рискнул прямо спросить Чехова, почему он не любит Одессу?

- Против Одессы как города, - ответил он, - я ничего не имею. Но против одесситов... Действительно, есть-таки у меня недоброе чувство. Зародилось оно издавна, тогда еще, когда самой Одессы я и не знал, - по знакомству с одесской печатью. Всегда эта печать была бог знает чем. Всегда она отличалась нестерпимою крикливостью, наянливостью, всегда на ней лежал отпечаток чего-то дешево-базарного. Говорят: - это оттенок европеизма. Покорно благодарю! Откуда европеизм? Я ведь знаю одесскую газетную братию. Издатель - бывший мороженник, таскавший по улицам Одессы тачку с лимонадами. Вот он взялся издавать газету. Да мало того, что просто издавать, - он взялся руководить ею. К нему попадали и талантливые люди. Но они или не уживались и уходили, или, если уживались, - опускались на самое дно, становились молодцами своего издателя, выучивались у него держаться так, как держался он сам, носивший на голове кадку с мороженым. Когда /637/ завелась другая газета, - в Одессе завелась вечная грызня, и притом самого откровенного свойства. Газеты обливают друг друга помоями. Газеты целые столбцы свои занимают собственными дрызгами, воображая, что эти дрызги интересны публике. Может быть, и интересны. Но ведь это же означает - потакать самым дурным инстинктам толпы. А язык одесских газет? Боже мой, что только они делают с русским языком и из русского языка?!

В другой раз Чехов очень сердито отозвался об одесситах-интервьюерах, изредка добивавшихся свидания с ним.

- Побудет человек пять минут, услышит, собственно говоря, только "здравствуй, прощай", а потом три недели пишет ежедневно фельетон и передает наши объяснения. Зачем это? К чему?

Нет, нет! Это, знаете, как вот бывают магазины такие: базар - любая вещь двадцать копеек. И стакан - двадцать, и перочинный нож - двадцать, и коврик - двадцать, и все грошовое, и все никчемное, и все ярко раскрашенное линючею, крикливою краскою. Нет, бог с нею, с Одессою!

После смерти Чехова не раз мало знавшие его люди пытались уверить, будто Чехов питал нежные чувства по отношению к Ялте, в которой он прожил последние годы своей жизни. На самом деле у Чехова было резко отрицательное отношение к Ялте. Иногда он откровенно ненавидел Ялту и, не стесняясь,

высказывал это. Помимо жалобы на то, что жить в Ялте приходится, как в безвоздушном пространстве, Чехов жаловался и на многое другое:

- Дивное море, а Ялта в это море вываливает нечистоты. Чудесные горы, а Ялта не умеет провести дорог по этим горам. И те дороги, которые проведены, отравляют окрестности пылью. Настроили дворцов и вилл, но это - фасад. А за фасадом - каменные карманы с насквозь прогнившими стенами. На набережной - магазины, которым и в Париж не стыдно показаться, а в двух шагах кофейни, на ночь обращающиеся в ночлежные приюты для беспаспортных. И это - символ всей жизни Ялты. Это - кофейня, она же - /638/ ночлежка. Настоящего, прочного, органически связанного с городом населения еще нету. Все не граждане, так сказать, а временные курортные арендаторы, которым до внесезона в высшей степени никакого дела нет. Прицелился, обобрал кого-нибудь, - а если обобраный завопил - гони его в шею. Жди другого.

И с этим беспардонным хищничеством - поразительная беспомощность во всех отношениях, полное непонимание своих даже собственных выгод, что-то тревожно-алчное, вот как бывает у игроков в Монте-Карло. Да еще у шулеров на волжских пароходах. Ходит, знаете, фертом таким, франтоват, весел, говорлив, а в глазах - тревожное ожидание:

"А скоро ли меня при всем честном народе бить будут и с парохода ссадят?!"

И тут же сам себя успокаивает:

"Но это ничего! Все равно, я на другой пароход пересяду!"

При Чехове как-то летом в одну ночь сгорел маленький, но сносный городской театр {638}, в котором тогда подвизалась опереточная труппа известного южного антрепренера Новикова. Город получил страховую премию. И началась волокита - с вопросом о постройке нового театра. Проект за проектом, и один другого грандиознее. Старый театр стоил что-то тысяч сорок. Новый - должен быть грандиозным: в триста, нет, в четыреста тысяч? Да что четыреста? В миллион!

Годы шли, а Ялта оставалась без хотя бы скромного театра.

Это, по-видимому, очень огорчало Чехова.

- Скучно! - признавался он. - Хоть плохой театр был, хоть не бог знает какие труппы играли, а все же - без театра, как без близкого человека. Пустота какая-то в жизни образовалась! Белое место!

И вот, истомившись в Ялте, устав жить в "безвоздушном пространстве", Чехов зачастую, не считаясь с интересами своего подорванного здоровья, уезжал в любимую им Москву. Уезжая, он казался словно помолодевшим, поздоровевшим. Приезжал - утомленный, скучный, мрачный.

Но никогда я не видел его таким угрюмым и мрачным, как в тот день, когда он покидал Ялту {638}, чтобы уехать в доконавший его Баденвейлер... /639/

После смерти Чехова в Ялте сейчас же заговорили о необходимости поставить в честь его памятник. Из разговоров этих так ничего и не вышло, и вряд

ли выйдет раньше, чем лет через пятьдесят; {639} уж очень "тонка" наша культура вообще, а специальная ялтинская "культура" в особенности.

Кстати о памятниках.

В Ялте, на окраине города, на горе возле границ Массандры, умер С.Я.Надсон. Как-то, отправившись посмотреть на этот дом, я встретил Чехова.

- Был у Надсона! - сказал он. - Грустно, знаете! Человека читают как никого, может быть чуть не каждый год - новое издание требуется, а поставить в его память хоть крошечный бюст здесь, в Ялте, - никому и в голову не приходит. Свиньи мы, знаете!

Это чеховское "свиньи мы, знаете ли!" мне всегда вспоминается, когда придет в голову мысль о том, как нами почтена память самого Чехова...

Рим, 1915 г.

## ***М.А.ЧЛЕНОВ. А.П.ЧЕХОВ И КУЛЬТУРА***

**К двухлетней годовщине со дня его смерти**

.....  
.....  
О Чехове писали уже много, но во всех этих воспоминаниях мало оттенено то, что является, по моему мнению, главной, преобладающей чертой личности этого человека, так резко отличавшей его от многих других, а именно его необыкновенная, исключительная культурность, которая зависит не только от образования, но и от чего-то другого, корнящегося в самой природе человека. Эта удивительная культурность Чехова особенно поразительна, когда вспомнишь, что ведь он, в сущности, по происхождению крестьянин. "Мне было очень трудно выбиваться, - говорил мне не раз Чехов. - Ведь я - крестьянин, мой дед был крепостным. А возьмите Левитана! Какая у него в прошлом богатая, старая культура, и насколько ему было легче, чем мне".

Из каких элементов слагалась культурная личность Чехова? О научном закале Чехова я говорил уже в своих прежних воспоминаниях о нем\*. Мне редко приходилось встречать человека, который бы с таким глубоким, прямо беспредельным уважением относился к науке и так верил бы в ее значение для нравственного оздоровления и благоденствия человечества. "К беллетристам, относящимся к науке отрицательно, - говорит он в своей /641/ автобиографии, - я не принадлежу, и к тем, которые до всего доходят своим умом, не хотел бы принадлежать" {641}. Несмотря на свое писательство, он очень любил прежде всего свою науку - медицину, которой считал себя, как писатель, многим обязанным и которой не переставал интересоваться до последних дней своей жизни. Он аккуратно выписывал медицинские журналы, следил за всеми открытиями в области медицины, мечтал в Ялте приехать в Москву "поговорить о

Мечникове" {641}, пытался положить начало в Москве научному институту для усовершенствования врачей. Но не только медицина, а и все другие стороны человеческого духа не оставались ему чужды; радиий, театр, живопись, земледельческие науки, огромные океанские пароходы, все новости техники не менее интересовали его...

\* "А.П.Чехов и медицина". "Русские ведомости", N 91, апрель 1906 года (Прим. М.А.Членова).

.....  
.....  
Я познакомился с А.П.Чеховым в 1897 году {641}, когда он ушел уже давно из "Нового времени", работал исключительно в лучших, прогрессивных журналах и когда его общественное и политическое мировоззрение сложилось окончательно. От этого первого знакомства, когда он, отдавая кому-то книгу о французской революции одного духовного лица, заметил: "Что значит революция! Она захватывает даже духовенство", - и кончая последним свиданием с ним, когда больной, стоящий уже на пороге могилы, он забывал все время о себе и горячо рассуждал о надвигающейся революции, я сохранил воспоминание о нем, как о необыкновенно чутком общественном и политическом деятеле с твердыми и ясными взглядами, от которых он никогда не отступал. Это, к сожалению, было мало знакомо публике, потому что Чехов, по свойственной ему необычайной скромности, не выступал никогда с заявлением о своих политических взглядах, и даже его известное письмо в Академию наук с отказом от звания академика по поводу исключения г.Горького (а многие ли совершили такой гражданский подвиг?) было опубликовано г.Куприным лишь после смерти Чехова {641}. Политическое воспитание Чехова складывалось вообще очень неблагоприятно. Брошенный силой обстоятельств и материальными условиями в среду юмористических журналов и мелких газет с их невысоким политическим уровнем и при этом в первые годы самой мрачной реакции, он, конечно, мог найти здесь мало почвы для /642/ политического воспитания.

Малоблагоприятную для этого обстановку он мог найти, конечно, и в "Новом времени", куда перешел затем и где довольно долго работал, но, к счастью, и "Новое время" не коснулось его прекрасной души, и он ушел оттуда таким же чистым, каким и вошел в него. Но это сотрудничество в "Новом времени" Чехову долго не могли простить. Теперь, однако, можно сказать, что и критика и публика совершенно неясно и неверно представляли себе характер этих отношений Чехова к "Новому времени". Насколько я выяснил себе, Чехов резко разделял "Новое время" и А.С.Суворина, с которым действительно был в близких отношениях; с "Новым временем" у Чехова было мало общего и тогда, когда он в нем работал, а в более позднее время - решительно ничего общего; {642} для этого стоит только взять хотя бы отношение Чехова к еврейскому вопросу, где растлевающее влияние "Нового времени" сказывалось особенно сильно, и я не говорю уже о таких произведениях Чехова, как "Скрипка Ротшильда", об его глубокой, тесной дружбе с Левитаном и другими евреями, об его частых хлопотах за евреев, об его

отношении к процессу Дрейфуса {642}, во время которого он писал г.Батюшкову, что "Новое время" просто отвратительно" {642}, но мне достаточно вспомнить, какое потрясающее впечатление произвели на Чехова кишиневские ужасы {642} и как много дружеских и утешающих писем посылал он в это время...

Но с А.С.Сувориным Чехов был действительно в близких отношениях, и для этого было много основательных причин; что бы там ни говорили, но все же именно г.Суворин первый извлек Чехова из мелких газет и вывел его на широкую литературную дорогу, да и вообще Чехов был многим обязан г.Суворину. В конце 80-х годов он, однако, ушел из "Нового времени" {642} и начал печататься в "толстых" журналах, а из газет - в "Русских ведомостях". Его политическое развитие шло наряду с жизнью, и вместе с нею Чехов все более и более левел и в последние годы уже с необычайной для него страстностью, не перенося никаких возражений (в этих случаях он почему-то говорил: "Вы - совершенный Аверкиев"), доказывал, что мы - "накануне революции".

## ***А.СЕРЕБРОВ (ТИХОНОВ). О ЧЕХОВЕ***

### **I**

В уральских владениях Саввы Морозова готовились к приезду хозяина.

Управляющий именем - "дядя Костя", расторопный толстяк, похожий на мистера Пикквика, хотя он был всего-навсего морозовским приказчиком, вторую неделю метался из одного края обширного имения в другой, не разбирая ни дня, ни ночи.

Хлопот было по горло.

В одном углу имения охотники стреляли дичь, в другом - рыбаки ловили в горной речке нежных харьюзов, чтобы было чем кормить Морозова.

Домой, во Всеволодо-Вильвенский завод, дядя Костя приезжал только отсыпаться - усталый, опухший от комаров, весь зашлепанный таежной грязью, не исключая даже круглых очков в серебряной оправе, которые еле держались на кончике его крохотного, кнопочкой, носа.

Но и дома было не легче. Дом красили снаружи, скребли и мыли внутри, чистили парк, вывозили навоз из конюшен и спешно вешали собак, в непотребном количестве расплотившихся около кухни. На это дело был поставлен кучер Харитон, рыжебородый тяжелый мужик, и впрямь похожий на палача. При всей его лютости ему, однако, удалось "казнить" только трех, остальные собаки, почуяв беду, благоразумно куда-то скрылись. /644/

Новая школа, числившаяся по отчетам готовой, стояла еще без окон и дверей. Выписанный из Перми жирный повар, похожий на скопца, оказался запойным. Пьяный, он бил на кухне посуду и требовал от Анфисы Николаевны

каких-то не существующих в природе "бунчаусов", без которых нельзя было, по его словам, изготовить ни одного благородного, "губернаторского" кушанья.

С утра непричесанная, в розовом фланелевом халате, Анфиса Николаевна - супруга дяди Кости - в куриной истерике бегала по комнатам и поминутно затевала ссоры с прислугой, малярами, с поломойками, которые успели уже выдавить два стекла и сломали ее любимый многолетний фикус.

Четверо мальчуганов, потомство дяди Кости, оставшись без надзора, объявили себя шайкой разбойников и неистовой ватагой носились по дому, с удовольствием приклеиваясь босыми пятками к еще не просохшему от краски полу. В парке они рубили деревянными саблями высаженные на клумбы цветы.

Дядя Костя махнул на них рукой. Все личное перестало для него существовать. Его единственной отрадой был теперь только что поставленный впервые в доме, опять-таки ради Морозова, теплый ватерклозет с фарфоровой чашей и громыхающим, как Ниагара, водосливом.

Выходя из уборной, дядя Костя ощупывал свои необъятные парусиновые брюки, всегда с незастегнутой от торопливости прорешкой, и каждый раз радостно изумлялся:

- Вот это - Европа!

Волновались не только в господском доме. Волнение захватило и заводской поселок, находившийся неподалеку от усадьбы. В волостном правлении по вечерам густо гудели мужики, составлявшие прошение Морозову насчет каких-то спорных лугов.

Из церкви несло хоровое пение - это о.Геннадий, по прозвищу "Иисусик", разучивал со школьниками приветственную к приезду Морозова кантату. Даже начальник станции - усатый истукан из бывших жандармов, - казалось бы, ему-то какое дело до приезда Морозова, - и тот, единственно раболепства ради, приказал /645/ начистить толченым кирпичом станционный колокол и саморучно увешал платформу приветственными гирляндами.

Наконец торжественный день настал.

Это было 23 июня 1902 года, за два года до смерти Чехова.

В десять утра дядя Костя в заново отлакированной коляске, с Харитоном на козлах, разодетым в плисовую с позументами безрукавку, покати́л на вокзал встречать хозяина. Я остался ждать около дома на скамейке, палимый снаружи солнцем, а внутри - нетерпением поскорее, увидеть Савву, - так за глаза называли Морозова, - которого я уже знал по Москве.

Через полчаса из-за угла дома вихрем вырвалась возвращавшаяся тройка и разом замерла у парадного крыльца, окутанная догнавшим ее наконец-то облаком пыли.

Из коляски легко, по-молодому, выскочил Морозов, без фуражки, в парусиновой блузе и высоких охотничьих сапогах. Его лицо - монгольского бородатого божка - хитро щурилось.

- А я вам гостя привез! - шепнул он мне, здороваясь.

Следом за ним с подножки коляски осторожно ступил на землю высокий, сутулый человек, в кепке, узком черном пиджаке, с измятым галстуком-бабочкой. Его лицо в седеющей, клином, бородке было серым от усталости и пыли. У левого



бедра на ремне через плечо висела в кожаном футляре квадратная фляжка, какую носят охотники. Помятые брюки просторно болтались на длинных, сходящихся коленями ногах.

В нескольких шагах от нас он вдруг глухо и надолго закашлялся. Потом отвинтил от фляжки никелированную крышку и, отвернувшись конфузливо в сторону, сплюнул в отверстие фляжки вязкую мокроту... Молча подал мне влажную руку... Поправил пенсне... Прищурившись, оглядел с высокого откоса млеющие в горячем тумане заречные дали, провел взглядом по изгибам полусонной речки и сказал низким, хриповатым от кашля голосом:

- А, должно быть, здесь шуки водятся?!

Это был Чехов. /646/

## II

День прошел в праздничной суете. После легкого завтрака ходили осматривать ближайшие достопримечательности: спиртовой завод, новую школу, березовый парк.

Чехов шел медленно, глядя под ноги и отставая от других. Тонкой гнувшейся тросточкой он пробовал растрескавшуюся от жары землю, как бы не доверяя ее обманчивой внешности. Горький однажды написал мне: "Чехов ходит по земле, как врач по больнице: больных в ней много, а лекарств нет. Да и врач-то не совсем уверен, что лечить надо" {646}.

Темный, низкий, закопченный завод, где в огромных чанах и холодильниках сутками прели какие-то составы и жидкости, где не было живого огня и шума машин, Чехову явно не понравился {646}. Морщась от уксусного запаха, он безразлично прослушал объяснения инженера, постучал из вежливости тросточкой по огромной бутылке денатурата и, не дождавись Морозова, вышел на воздух.

В новую школу, куда за отсутствием крыльца надо было подниматься по узкой стремянке, Чехов даже не заглянул, и, пока Савва мерил рулеткой будущие классы и вычислял их кубатуру, Чехов сидел около школы на бревнах и, побрякивая жестяной коробочкой, которую он всегда носил в жилетном кармане, приманивал мятными лепешками деревенских ребят, собиравших около постройки сосновые щепы - матерям на растопку.

Ребята шмыгали носами, подталкивая друг друга локтями, но ни один из них так и не решился подойти за конфетками к этому чужому "дяде", в очках со шнурочком.

Под зелеными сводами парка Чехов ожил, снял кепку, как в церкви, и, вытирая пот платком, сказал со вздохом и нараспев:

- Хорошо у вас тут... Бе-ре-зы... Не то, что у нас в Ялте. - И, как бы слегка капризная, добавил: - Не понимаю: зачем это здоровые люди в Ялту ездят? Что там хорошего? Берез - нету, черемухи - нету, скворцов - и то нет!

- Здоровые люди - они глупые, им везде нравится! - ответил Савва с таким ехидным простодушием, что /647/ нельзя было понять, над кем он подсмеивается - над здоровыми людьми или над больным Чеховым.

Обед состоял из семи блюд, и каждое из них почему-то запаздывало. Дядя Костя сидел красный от стыда и чуть не плакал.

За столом собралась вся местная интеллигенция: лесничий, фельдшер, инженер и техники с заводов - нескладные, бородатые обломы, "рабочая скотинка" Морозова. Они нарядились, как на свадьбу: суконные сюртуки пахли нафталином, накрахмаленные манишки с невероятными галстуками пузырями выпирали из жилетов. Все их внимание было приковано к хозяину. Они говорили, пили водку, смеялись тогда, когда говорил, пил и смеялся хозяин. На Чехова они не обращали внимания. Многие из них даже не знали, кто такой Чехов, и, прослышав, что он писатель, принимали его за помощника Морозова "по письменной части".

Между рыбой и жарким школьники в соседней комнате - обед совершался на террасе - спели кантату, очень похожую на "Херувимскую", после чего сияющий о.Геннадий в новой шелковой рясе, подобной колоколу, присоединился к обедающим.

Чехов сидел чужаком, на краю стола, для всех посторонний, и с тоской поглядывал на вечереющий сад, где солнце уже резало пополам стволы берез и кипело последним золотом в их пышных вершинах.

Он ничего не ел, кроме супа, пил привезенную с собой минеральную воду "аполлинарис" и весь обед недружелюбно молчал, лишь изредка и с неохотой отвечая на реплики Морозова, всячески старавшегося вовлечь его в общий разговор.

Обед затянулся до сумерек. Когда все встали, Чехов, сославшись на усталость, ушел к себе в комнату, ни с кем не попрощавшись и видимо чем-то обиженный.

Мы с Саввой отправились во флигель, где я жил, чтобы там на свободе поговорить о делах. Я был в ту пору студентом Горного института и производил в имении Морозова разведки на каменный уголь.

Оказалось, что составленные мною чертежи были так велики, что не умещались ни на одном из столов. Чтобы вывести меня из затруднения, Савва раскинул кальку от одного угла комнаты в другой, поставил на концах горящую лампу и несколько подсвечников и, растянувшись /648/ на полу, пригласил меня последовать его примеру. Так, ползая по занозистым половицам, мы приступили к осмотру чертежей и деловой беседе.

В середине моего доклада Савва привстал на колени и сказал, как всегда, с хитрецей:

- Знаете что? Я завтра утром уеду осматривать именье, а Чехова подброшу вам. Вы его тут займите. Вам будет интересно!..

Помолчал и, почесывая острием карандаша коротко остриженный седеющий затылок, уныло прибавил:

- Скучно ему со мной! И зачем я его сюда затащил?!

### III

Неожиданно для себя я оказался глаз на глаз с Чеховым, вдвоем в огромном пустом доме. Дядя Костя уехал с Морозовым, а домашних своих он еще загодя отправил к родственникам, чтобы они, как он выразился, "не портили здесь пейзажа".

Чехову было со мной еще скучнее, чем с Морозовым.

Стояла африканская жара, без ветерка, без прохлады даже ночью. Чехов, изнывая от зноя, бесцельно слонялся по парку, черный среди его белых колонн, давил тростью червяков, читал в садовой беседке приложения к "Ниве" и каждый час справлялся у горничной, нет ли телеграммы из Москвы, где он оставил больную жену. Его томило безлюдье, безделье и кашель.

Вероятно, в этот именно день он написал Вл.И.Немировичу-Данченко:

"Пишу тебе сие черт знает откуда, из северной части Пермской губернии. Если проведешь пальцем по Каме, вверх до Перми, то уткнешься в Усолье, так вот я именно возле этого Усолья... Жизнь здесь серая, неинтересная, и если изобразить ее в пьесе, то слишком тяжелая" {648}.

Хорошо, что Чехов не написал такой пьесы, иначе мне пришлось бы играть в ней незавидную роль!

В самом деле, положение мое было в высокой степени нелепым. Навязанный насильно совершенно незнакомому человеку в качестве гостеприимного хозяина и единственного собеседника, я ни в какой мере не годился ни /649/ для того, ни для другого. К тому же этим незнакомым человеком был не кто иной, как Чехов.

Недолго думая, я попросту сбежал от него и, сославшись на спешную работу, просидел весь день у себя во флигеле, исподтишка наблюдая в окошко за своим страшным гостем.

Вечером Чехов пригласил меня пить чай на террасу. Отказаться было невозможно. После первых неуверенных, нащупывающих собеседника фраз о том, какой налить чай - крепкий или слабый, с сахаром или с вареньем, речь зашла о Горьком. Тема была легкая. Я знал, что Чехов любит и ценит Горького, и со своей стороны не поскупился на похвалы автору "Буревестника". Вскоре я просто задыхался от междометий и восклицательных знаков.

- Извините... Я не понимаю... - оборвал меня Чехов с неприятной вежливостью человека, которому наступили на ногу. - Вот вам всем нравятся его "Буревестник" и "Песнь о Соколе"... Я знаю, вы мне скажете - политика! Но какая же это политика? "Вперед без страха и сомненья!" - это еще не политика. А куда вперед - неизвестно?! Если ты зовешь вперед, надо указать цель, дорогу, средства. Одним "безумством храбрых" в политике никогда и ничего еще не делалось. Это не только легкомысленно, это - вредно. Особенно вот для таких петухов, как вы...

От изумления я обжегся глотком чая.

- "Море смеялось", - продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенсне. - Вы, конечно, в восторге!.. Вот вы прочитали - "море смеялось" и

остановились. Вы думаете, остановились потому, что это хорошо, художественно. Да нет же! Вы остановились просто потому, что сразу не поняли, как это так: море - и вдруг смеется?.. Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает... Посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит... птички поют... Никто не рыдает и не смеется. А ведь это и есть самое главное - простота...

Длинными пальцами он трогал близлежащие предметы: пепельницу, блюдечко, молочник и сейчас же с какой-то брезгливостью отпихивал их от себя.

- Вот вы сослались на "Фому Гордеева", - продолжал он, сжимая около глаз гусиные лапки морщин. - И опять неудачно! Он весь по прямой линии, на одном /650/ герое построен... И все персонажи говорят одинаково, на "о"... Романы умели писать только дворяне. Нашему брату - мещанам, разнолюду - роман уже не под силу. Вот скворешники строить, на это мы горазды. Недавно я видел один такой: трехэтажный, двенадцать окошечек и резное крылечко, а над крылечком надпись: трах! тир!.. Парфенон, а не скворешник!.. Чтобы строить роман, необходимо хорошо знать закон симметрии и равновесия масс. Роман - это целый дворец, и надо, чтобы читатель чувствовал себя в нем свободно, не удивлялся бы и не скучал, как в музее. Иногда надо дать читателю отдохнуть и от героя, и от автора. Для этого годится пейзаж, что-нибудь смешное, новая завязка, новые лица... Сколько раз я говорил об этом Горькому, не слушает... Гордый он - а не Горький!..

- ...Да не-ет! - отмахиваясь от меня, как от табачного дыма, сердился Чехов. - Вы совсем не то цените в Горьком, что надо. А у него действительно есть прекрасные вещи. "На плотях" - например. Помните? Плынут в тумане... ночью... по Волге... Чудесный рассказ! Во всей нашей литературе я знаю только еще один такой, это "Тамань" Лермонтова...

Наступившее молчание свидетельствовало о моем полном ничтожестве. Как утопающий за соломинку, я ухватился за "декадентов", которых считал "новым течением в литературе".

- Никаких декадентов нет и не было, - безжалостно доконал меня Чехов. - Откуда вы их взяли?.. Во Франции - Мопассан, а у нас - я стали писать маленькие рассказы, вот и все новое направление в литературе. А насчет декадентов - так это их "Зритель" {650} в "Новом времени" так выругал, они и обрадовались. Жулики они, а не декаденты! Гнилым товаром торгуют... Религия, мистика и всякая чертовщина! Русский мужик никогда не был религиозным, а черта он давным-давно в баню под полук упрятал. Это все они нарочно придумали, чтобы публику морочить. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не "бледные" {650}, а такие же, как у всех, - волосатые.

Разговор снова оборвался. Чехов невкусно, как лекарство, глотал остывший чай.

Все, что он говорил, было для меня новым и подавляюще неожиданным. Но в самой парадоксальности его /651/ суждений чувствовалась какая-то нарочитость. Казалось, он говорил не совсем то, что думал: может быть, из чувства противоречия к тем банальностям, какими я его засыпал, а может быть, просто потому, что был нездоров и не в духе. Во всяком случае, то, что он говорил, никак не вязалось с моим представлением о "великом писателе",

которого я мыслил себе в ту пору обязательно либо в образе величавого апостола, как Л.Толстой, либо в ореоле пламенного витии, как Герцен и Чернышевский. Чехов же был слишком прост и обыденен.

Я попробовал спорить, но неожиданные реплики Чехова сейчас же сбили меня с толку, я запутался и в отчаянии понес такую ерунду, что самому слушать было стыдно... Но остановиться я уже не мог.

Чехов искоса, с недоброй, застрявшей в усах улыбкой поглядывал на меня и, точно поддразнивая, - так дразнят щенка, чтобы он громче лаял, - поколачивал меня время от времени все новыми и новыми парадоксами:

- Ну, какой же Леонид Андреев писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, которые все ужасно как любят красиво говорить...

Или:

- Почему вы против Суворина? Он умный старик и любит молодежь... У него все берут в долг, и никто не отдает.

Или:

- Студенты бунтуют, чтобы прослыть героями и легче ухаживать за барышнями...

Я обиделся за студентов и свирепо замолчал.

Чехов это заметил и переменял разговор. Ласково поглядывая в мою сторону и посмеиваясь на этот раз только одними глазами, он стал рассказывать о том, как хорошо на Каме, по которой он только что проехал, и какие там вкусные стерляди. Рассказал несколько смешных анекдотов о рассеянности Морозова и о том, как надо подманивать карасей, чтобы они лучше клевали.

Вставая, чтобы идти спать, он слегка обнял меня за плечо и спросил шепотом, как поп на исповеди:

- А сами вы не пишете?.. Нет! Вот это хорошо. А то нынче студенты, вместо того чтобы учиться, либо романы пишут, либо революцией занимаются... А впрочем, - возразил он сам себе, - может быть, это и лучше. Мы, /652/ студентами, пиво пили, а учились тоже плохо. Вот и вышли такими... недотёпами{652}...

Он весело рассмеялся, смакуя меткое слово, ставшее впоследствии таким знаменитым.

Когда через несколько месяцев в Москве Чехова спросили обо мне, он сказал с улыбкой:

- Как же, помню!.. Такой горячий, белокурый студент. - И после паузы прибавил: - Студенты часто бывают белокурами...

#### IV

Вскоре, однако, и у нас с Чеховым нашлись общие интересы. С утра до вечера мы сидели теперь под глинистым откосом, у темного омута, и с

увлечением ловили окуней, иногда попадались и щуки. Чехов был прав: щук в реке было много.

- Чудесное занятие! - говорил Чехов, поплеывая на червяка. - Вроде тихого помешательства. И самому приятно, и для других не опасно. А главное - думать не надо... Хорошо!

Он с удовольствием грелся на солнце, снимал пиджак и галстук и почти не кашлял. Рыбак он был превосходный, его улов всегда был больше, чем у меня, хотя мы сидели рядом.

Солнце размаривало, и клонило в дремоту. Тишина была такая мягкая и добротная, что никакой пушкой ее не прошибешь. Вода тепло блестела, от этого блеска приятно кружилась голова, и в глазах двоились поплавки.

Чехов сладко дремал. В этих случаях его удочки сторожила рыжая, похожая на таксу сучка, бог весть откуда взявшаяся - вероятно, одна из тех, что не успел повесить кучер Харитон. Подобострастно облизываясь, она внимательно следила за поплавками, а когда начинало клевать, - вскакивала, махала хвостом и визгливо лаяла... За это Чехов кормил ее пойманной рыбой, которую она, к нашему удивлению, пожирала живьем.

Однажды, глядя, как она, давясь и жадничая, заглатывала окуня, который бил ее хвостом по морде, Чехов сказал с брезгливостью:

- Совсем как наша критика! /653/

## V

Морозов и Чехов, при всем их обоюдном старании казаться друзьями, были, в сущности, людьми друг другу чужими. Интеллигент, писатель - Чехов плохо сочетался с капиталистом Саввой Морозовым. Это различие особенно ясно сказывалось, когда они были вместе на людях. При этом всегда выходило как-то так, что центром внимания окружающих оказывался неизменно не Чехов, а Савва... Морозовские ситцы имели в ту пору более широкое распространение, нежели рассказы Чехова. Обаяние морозовских миллионов действовало на обывателя сильнее писательской популярности Чехова.

Савва понимал всю незаслуженность такого предпочтения, это его смущало, и, чтобы выйти из неприятного положения, он всячески старался в таких случаях выдвинуть Чехова вместо себя на первое место.

Чехов воспринимал это как ненужное заступничество. Его самолюбие страдало, хотя он тщательно это скрывал. Но иногда его скрытая неприязнь к Морозову все-таки прорывалась наружу.

Как-то раз, вернувшись из приемного покоя, куда он ходил смотреть, как лечат больных, Чехов, намыливая над умывальником руки, угрюмо проворчал, намекая на Морозова:

- Богатый купец... театры строит... с революцией заигрывает... а в аптеке нет йоду и фельдшер - пьяница, весь спирт из банок выпил и ревматизм лечит касторкой... Все они на одну статью - эти наши российские Рокфеллеры.

## VI

По предложению Морозова было решено окрестить именем Чехова вновь отстроенную школу. Чехову это не понравилось, но он промолчал. Мне поручили составить соответствующий адрес, а дяде Косте - его прочитать. Тот долго отнекивался, но наконец сказал, что "ради памяти потомства" он согласен.

Когда Чехов узнал, что в школе будут служить молебны, он наотрез отказался присутствовать на торжестве. Тогда решили поднести ему адрес на дому. /654/

Я сидел у Чехова в комнате и читал ему вслух Апухтина. Чехов лежал на кушетке - ему сильно нездоровилось.

- Хорошие стихи, - сказал он позевывая, - даром что автор не признает женщин, а какая нежная любовная лирика! Вот и поди разгадай поэтов!

В комнату несмело вошла делегация: учитель, священник, фельдшер и начальник станции. Дядя Костя выступил вперед и, задыхаясь от волнения, прочел мой высокопарный адрес... Настало торжественное молчание... Начальник станции даже вытянул руки по швам, как на параде.

Чехов медленно поднялся, взял папку с адресом из дрожащих рук дяди Кости и, оглядев его, сказал так, будто ничего не произошло:

- Константин Иванович, а у вас опять брюки не застегнуты!

Дядя Костя закрыл ладонями живот и присел от испуга. Все засмеялись и громче всех, басом, начальник станции, усатый жандарм.

Когда я вечером рассказал об этом Савве, тот долго трясся от залиvistого, с бубенчиком, смеха и, вытирая белоснежным платком слезы, сказал:

- Чему же вы удивляетесь? Вы еще его не знаете - он не только дядю Костю, он кого угодно может стащить с колокольни... Не любит он пышности и вообще колокольного звона. Вы читали его "Степь"? Помните там: "по небу чиркнули серной спичкой". Это он так про грозу, чтоб не очень гремела... Вот подождите, Илья-пророк припомнит еще ему эти спички! Отомстит ему старик... Он ведь, как все мужики, - злопамятный.

## VII

Как это ни странно, но предсказание Морозова оправдалось, и очень скоро.

Вечером мы опять вдвоем с Чеховым сидели за чаем на террасе.

Ночь шла зловещая, душная... Темнота так плотно напирала с трех сторон на террасу, точно хотела выдавить стекла и захлестнуть испуганно гудевшую десятилинейную лампу. Под ее зеленым абажуром метались /655/ бабочки и,

обжегшись, умирали в судорогах на клеенке стола, уставленного чайной посудой, которая уродливо отражалась в новеньком серебряном самоваре.

Березы в саду были полны беспокойства; они то стояли совсем тихо, то вдруг без причины начинали дрожать всей листвой сверху и до самого низу.

Над горизонтом, подминая под себя тусклые звезды, медленно подымалась огромная туча, черная даже в темноте.

Чехов был в этот вечер как-то особенно грустен и доверчив. От прежней его раздражительности - при нашей первой встрече - не осталось и следа. Зажав между костлявыми коленями свои длинные руки, он сидел, согнувшись, на стуле, против раскрытой двери террасы, и, вглядываясь в темноту сада, точно споря с кем-то невидимым, кто там находился, медленно говорил:

- Прежде всего, друзья мои, не надо лжи... Искусство тем особенно и хорошо, что в нем нельзя лгать... Можно лгать в любви, в политике, в медицине, можно обмануть людей и самого господ бога - были и такие случаи, - но в искусстве обмануть нельзя...

Он на минуту замолчал, как бы ожидая возражений своего невидимого собеседника, и, не дождавшись, продолжал:

- Вот меня часто упрекают - даже Толстой упрекал, - что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или хотя бы, как у Лескова, просто честных исправников... {655} А где их взять? Я бы и рад! - Он грустно усмехнулся. - Жизнь у нас провинциальная, города немощные, деревни бедные, народ поношенный... Все мы в молодости восторженно чирикаем, как воробьи на дерьме, а к сорока годам - уже старики и начинаем думать о смерти... Какие мы герои!

Он посмотрел на меня через плечо, опять согнулся и уставился немигающими глазами в темноту.

- Вот вы говорите, что плакали на моих пьесах... Да и не вы один... А ведь я не для этого их написал, это их Алексеев сделал такими плаксивыми. Я хотел другое... Я хотел только честно сказать людям: "Посмотрите на себя, посмотрите, как вы все плохо и скучно живете!.." Самое главное, чтобы люди это поняли, а когда они это поймут, они непременно создадут себе другую, лучшую /656/ жизнь... Я ее не увижу, но я знаю, - она будет совсем иная, не похожая на ту, что есть... А пока ее нет, я опять и опять буду говорить людям: "Поймите же, как вы плохо и скучно живете!" Над чем же тут плакать?

- "А те, которые уже это поняли?" - повторил он мой вопрос и, вставая со стула, закончил: - Ну, эти и без меня дорогу найдут... Пойдемте спать... Гроза будет...

Чтобы не оставлять Чехова одного в пустом доме, я спал теперь в соседней с ним комнате. В доме было душно, пахло масляной краской, пищали комары. Окна нельзя было открыть - боялись воров.

Я беспокоился о Чехове. Сквозь тонкую перегородку мне был явственно слышен его кашель, раздававшийся эхом в пустом темном доме. Так длительно и напряженно он никогда еще не кашлял.



Несколько раз он вставал с кровати, - мне было слышно, как гудели пружины матраца, - ходил по комнате, что-то пил из стакана, снова ложился, кашлял и снова вставал...

Под конец я все-таки уснул.

Меня разбудило ощущение близкой опасности. Я открыл глаза.

Комната была полна белым ослепительным сиянием, которое мгновенно исчезло, чтобы через секунду вновь появиться. Вокруг дома свирепствовала буря. Озверевшие серые огромные тучи лезли друг на друга, изрыгая огонь и грохот. Березы в саду, согнувшись, выли от боли, поражаемые косым дождем, который от молний казался стеклянным. От вихря и грома дом так сильно дрожал, что за вздувшимися обоями осыпалась штукатурка.

И вдруг сквозь грохот разрушавшегося неба я услышал протяжный, мычащий стон...

Ухо, приложенное к стене, за которой был Чехов, подтвердило мою догадку... Стон повторился - мучительный, почти нечеловеческий, оборвавшийся не то рвотой, не то рыданьем.

Мне показалось, что Чехов умирает и что если он умрет, то это по моей вине. Себя не помня, как был, в одной рубашке и босиком, я бросился через столовую к комнате Чехова. У дверей я еще раз прислушался, стуча зубами.

Как это часто бывает в минуты ее наивысшего напряжения, гроза вдруг на мгновение остановилась. В /657/ доме стало тихо и страшно... И в этой тишине явственно были слышны сдавленные стоны, кашель и какое-то бульканье.

Я распахнул дверь и шепотом окликнул Чехова:

- Антон Павлович!

На тумбочке у кровати догорала оплывшая свеча. Чехов лежал на боку, среди сбитых простынь, судорожно скорчившись и вытянув за край кровати длинную с кадыком шею. Все его тело содрогалось от кашля... И от каждого толчка из его широко открытого рта в синюю эмалированную плевательницу, как жидкость из опрокинутой вертикально бутылки, выхаркивалась кровь...

За шумом начавшейся опять грозы Чехов меня не заметил. Я еще раз назвал его по имени.

Чехов отвалился навзничь, на подушки и, обтирая платком окровавленные усы и бороду, медленно в темноте нащупывал меня взглядом.

И тут я в желтом стеариновом свете огарка впервые увидел его глаза без пенсне. Они были большие и беспомощные, как у ребенка, с желтоватыми от желчи белками, подернутые влагой слез...

Он тихо, с трудом проговорил:

- Я мешаю... вам спать... простите... голубчик...

Ослепительный взмах за окном, и сейчас же за ним страшный удар по железной крыше заглушил его слова.

Я видел только, как под слипшимися от крови усами беззвучно шевелились его губы...

На следующий день Савва, бросив ревизовать именье, увез больного Чехова в Пермь.

## ***Н.ГАРИН. ПАМЯТИ ЧЕХОВА***

Антон Павлович Чехов не отвечал на вопрос: каким должен быть человек? Но отвечал: каков при данных обстоятельствах человек.

Он - гениальный автор хмурых, безыдейных, беспринципных людей, таковых, какими они существуют, без малейшей фальши его резца.

Тонкого, исключительного в мире резца.

Антон Павлович - творец маленького рассказа, самого трудного из всех.

И пока такие рассказы получили права гражданства, он долго носил их в своем портфеле.

В прошлом году я производил изыскания в Крыму; {658} со мной вместе работал брат жены Антона Павловича - К.Л.Книппер, и я ближе познакомился с А.П. и его семьей.

Удивительный это был человек по отзывчивости и жизнерадостности. Он давно недомогал, скрипел. Но всего этого он как-то не замечал. Все его интересовало, кроме болезни.

Пытливость, масса юмора и веры в жизнь.

Смотришь на него, слушаешь, и сердце тоскливо сжимается, зачем такое ценное содержание заключено в такой хрупкий сосуд.

А он, спокойный, ясный, расспрашивает, говорит - странное сочетание мудреца и юноши.

В прошлом году шел его "Вишневый сад", и мы праздновали 25-летний юбилей А.П. {658} /659/

Праздновали, не произнося слова "юбилей".

Двадцать пять лет назад впервые выступил А.П. в 78 году в "Стрекозе" под псевдонимом "Человек без селезенки" {659}.

И вот через двадцать пять лет он стоял на сцене Художественного театра - любимейший писатель русского общества. Только его мы и видели, хотя и театр и сцена были переполнены.

Такой же, как и всегда, в пиджаке, худой, немного сгорбленный, умными, ясными глазами он смотрел, наклоня голову, как бы говоря:

"Да, да, я вас знаю".

Заманивали мы его и в Петербург, он обещал, но не приехал.

Вскоре после этого текущие события {659} ураганом охватили русское общество, и даже смерть Н.К.Михайловского {659} прошла, сравнительно для времени, бесследно.

В последний раз я виделся с А.П. в апреле этого года в Крыму, на его даче в Ялте.

Он выглядел очень хорошо, и меньше всего можно было думать, что опасность так близка.

- Вы знаете, что я делаю? - весело встретил он меня. - В эту записную книжку я больше десяти лет заносу все свои заметки, впечатления. Карандаш стал стираться, и вот я решил навести чернилом: {659} как видите, уже кончаю.

Он добродушно похлопал по книжке и сказал:

- Листов на пятьсот еще неиспользованного материала. Лет на пять работы. Если напишу, семья останется обеспеченной.

Все его сочинения купил, как известно, Маркс, за 75 тысяч рублей.

А.П. выстроил на эти деньги дачу, на которую надо было еще каждый год тратить.

Жить приходилось, считая каждую копейку.

В Москве квартира на третьем этаже, без подъемной машины.

Полчаса надо было ему, чтобы взобраться к себе. Он снимал шубу, делал два шага, останавливался и дышал, дышал.

Если бы у него были средства, он жил бы долго и успел бы передать людям те сокровища, которые унес теперь с собой в могилу. /660/

Сенкевичу его общество поднесло имение, обставило его старость.

Нашему гению мы ничего не дали.

А.П., провожая меня {660}, очень серьезно уверял, что непременно приедет в Маньчжурию.

- Поеду за границу, а потом к вам. Непременно приеду. Горький, Елпатьевский, Чириков, Скиталец только говорят, что приедут, а я приеду {660}.

И он с задорным упрямством детей, которым старшие не позволяют, твердил:

- Непременно приеду, приеду.

Нет, не было тогда у меня предчувствий, что я смотрел на него в последний раз.

Ляоян, 16 июля.

## ***Г.И.РОССОЛИМО. ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ***

1879 год для медицинского факультета Московского университета ознаменовался большим наплывом молодежи, в том числе и из самых отдаленных уголков России; на первый курс поступило около 450 студентов, и в числе их нас, четверо одесситов, и трое из таганрогской гимназии {661}, среди последних был и А.П.Чехов. Не помню, встречался ли я с ним в первое время, но позднее, благодаря знакомству моему через студента-юриста Х.М. Кладас с другом и товарищем А.П., тоже медиком, Василием Ивановичем Зембулатовым, я обратил внимание на будущего писателя. Особенных поводов к сближению с ним у меня вначале не было, вероятно потому, что, попав на крайне многолюдный курс, мы все, юнцы, держались больше общества своих земляков; так было со мной, так же

было и с А.П., который, однако, как мне стало известно от Зембулатова, вскоре примкнул к группе художников и литераторов.

Несмотря на рано обнаружившийся у него уклон в сторону писательства, он тем не менее оставался прилежным студентом, хотя и довольно пассивным по отношению к увлечению общественной работой или медицинской специальностью. Он аккуратно посещал лекции и практические занятия, нигде, однако, не выдвигаясь вперед. Если бывал на сходках {661}, то скорее в качестве зрителя, и на втором курсе, в 1880/81 академическом году, в бурные времена, предшествовавшие и последовавшие за событием 1 марта 1881 года (убийством Александра II), /662/ он оставался в рядах большинства студентов курса, не индифферентных, хотя и не активных революционеров. В прорывавшемся иногда вихре, выдвинувшем на вершину волны Омарева, Стыранкевича, П.П.Кашенко и других, остальные тысячи студентов нашего университета слились в бушевавшую массу, и потому, вероятно, менее активные студенты не оставили следов своего личного отношения к историческим событиям той знаменательной эпохи. Этим я и объясняю то, что у меня выпал из памяти образ А.П. за этот период времени. Позднее, когда студенческая жизнь вошла более или менее в свою колею, его было видно и в аудиториях и лабораториях; и экзамены он сдавал добросовестно, переходя аккуратно с курса на курс. О его отношениях к занятиям и студенческим обязанностям свидетельствует образцово составленная на V курсе кураторская (обязательная зачетная) история болезни пациента нервной клиники, оригинал которой находился до настоящего времени в архиве заведомой мною клиники нервных болезней 1-го Московского университета и передан мной, согласно ходатайству Музея им. Чехова и с разрешения правления университета, этому музею. Как сказано выше, представление о Чехове-студенте у меня составилось частью из данных наблюдений со стороны и личных встреч - особенно во время занятий с товарищами в порученной мне, как старосте V курса, студенческой лаборатории, - частью же из того, что о нем сообщал словоохотливый и прямодушный, наш милый товарищ Вася Зембулатов, которого Чехов часто звал по гимназическому обычаю "Макаром" {662}, и другой товарищ по Таганрогу Савельев. Оба товарища А.П. относились к нему, как к самому лучшему другу детства; их соединяли не только узы гимназической скамьи, но и донское происхождение, и весь, хотя и неглубокий, но и обычно интимный круг интересов гимназических одноклассников. Но в то же время было ясно, что спайка трех товарищей произошла и благодаря, с одной стороны, чуткости, чуткости будущего крупного сердцеведа, с другой - художественной спаянности взаимно друг друга дополнявших индивидуальностей - толстенького маленького, с ротиком сердечком, маленькими усиками и жидкой эспаньолкой, с подпрыгивающим животиком во время добродушного смеха, степняка-хуторянина Васи Зембулатова и поджарого, /663/ высокого, доброго, благородного, по-детски мечтательно-удивленного, молчаливого казака Савельева. У Чехова, уже студентом ушедшего в круг широких литературных интересов и уже вырисовывавшегося как яркая творческая индивидуальность, казалось, ничего не должно было оставаться общего с этими милыми детьми южных степей. А между тем тесная дружба с гимназическими товарищами

оставалась неизменно прочной до последних дней каждого, ушедшего по очереди с этого света; и это можно было понять, так как А.П., хотя и отдалившись в силу своего исключительного творческого таланта от будничного, земного, тем не менее оставался до конца своей жизни сыном родившей и вскормившей окружавшей его природы и среды.

Пришел конец курсу медицинских наук, и из окончивших 340 студентов осталось нас в Москве человек 25-30, остальные же разбрелись по широкому простору Европейской и Азиатской России. Связи курса разорвались, разбились и прочные земляческие гнезда, в том числе и таганрогское; встречи с однокурсниками, за немногими исключениями, стали случайными. А.П.Чехов я потерял из виду и с 1884 по 1893 год имел о нем сведения лишь по его произведениям. Через девять лет по окончании курса я впервые встретился с ним случайно однажды днем, когда я шел из университета домой. На Никитской улице, не доходя до Никитских ворот, я услышал голос окликнувшего меня в тот момент, когда ко мне подъехал в извозничьей пролетке Антон Павлович; насколько я помню, он был в драповом расстегнутом пальто, в широкополой шляпе и галстуке, завязанном бантом. Лицо его было озарено радостной улыбкой. Он закидал меня вопросами, рассказал в кратких словах о своей поездке на Сахалин и, для продолжения беседы, предложил зайти в редакцию "Русской мысли", помещавшуюся в соседнем Леонтьевском переулке. Нас здесь встретил покойный редактор В.А.Гольцев, с которым, за стаканчиком легкого вина, мы побеседовали на темы дня. Неожиданная встреча с А.П., как яркая искра, осветила наше прошлое, выдвинула из мрака почти десятилетней разлуки все то общее, что между нами зарождалось в студенческие годы и вынашивалось в тяжелые годы реакции. Эта встреча сблизила и наши эстетические вкусы, положила основу чувству дружбы, доверия /664/ и симпатии, которые нас не покидали до рокового 1904 года - конца жизни А.П.-ча. С этой поры не было, кажется, ни одного приезда А.П. в Москву, когда он ко мне не заходил бы или я его не навещал.

О некоторых наших встречах {664} расскажу вкратце то, что у меня сохранилось в памяти. Однажды, вскоре после описанной встречи, А.П.-ч пригласил меня к себе на Неглинный в дом Ганецкой для встречи с М.Горьким {664}, с которым мой друг хотел меня познакомить как с человеком высокого художественного дарования. К моему огорчению, свидание не состоялось, Горькому было некогда, но мы провели время в долгой беседе на темы, которые сами собой обычно всплывали при наших встречах, - о товарищах по курсу, о научных новостях в медицине, о современной литературе и особенно часто о литературном творчестве. Как бы продолжением этой беседы через некоторое время явилась другая, при посещении мной его на Спиридоновке (во флигеле, во дворе {664}).

Это было в зимнее время, перед вечером. Эта встреча осталась у меня в памяти главным образом благодаря тому, что А.П. делился со мной наблюдениями над своим творческим процессом. Меня особенно поразило то, что он подчас, заканчивая абзац или главу, особенно старательно подбирал последние слова по их звучанию, ища как бы музыкального завершения предложения. Особенно интересны были его рассуждения на тему о влиянии медицины и

естественных наук на него как на беллетриста; эти мысли он включил в присланную мне вскоре затем свою автобиографию для помещения в юбилейный сборник нашего университетского выпуска {664}. Вот что писал он в этой автобиографии:

"Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня как для писателя может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось избежать многих ошибок. Знакомство с естественными науками, научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, /665/ соображаться с научными данными, а где невозможно - предпочитал не писать вовсе.

Замечу кстати, что условия художественного творчества не всегда допускают полное согласие с научными данными; нельзя изобразить на сцене смерть от яда так, как происходит на самом деле. Но согласие с научными данными должно чувствоваться и в этой условности, то есть нужно, чтобы для читателя или зрителя было ясно, что это только условность и что он имеет дело со сведущим писателем. К беллетристам, относящимся к науке отрицательно, я не принадлежу, и к тем, которые до всего доходят своим умом, - не хотел бы принадлежать..." {665} (См. "Письма А.П.Чехова" под редакцией М.П.Чеховой, т. V, стр. 439.)

В этот же вечер мы обсуждали проект упомянутого выше празднования в июне того года (1899) нашим выпуском пятнадцатилетия окончания курса. А.П. хотел принять участие, прислал фотографическую карточку и автобиографию, обещал явиться и на вечеринку, если окажется к тому времени в Москве. Сделать этого ему, однако, не удалось...

2 мая 1900 года вечером ко мне зашел А.П.Чехов {665}. У меня он застал нашего общего учителя, Александра Богдановича Фохта. Благодаря последнему вечер прошел с большим оживлением. А.Б., талантливый чтец, художественно цитировал и беллетристов и поэтов, делился своими воспоминаниями о знаменитых драматических артистах. Уступая нашим настойчивым просьбам, он прочел несколько рассказов Слепцова ("Спевка", "В вагоне 3-го класса" и др.). Чтение было настолько живо и замечательно по художественной передаче, что А.П.Чехов хохотал до колик в животе. Продолжая хохотать, со слезами на глазах, он говорил, что в жизни ему не приходилось переживать подобного наслаждения, как в этот вечер. Позднее он не раз, при наших встречах, вспоминал об этом вечере и просил снова пригласить его, когда у меня будет А.Б.Фохт. Этого, однако, повторить не пришлось; и не раз теперь, встречая своего учителя и слушая его чтение и декламации, вспоминаю покинувшего нас друга, его детски восторженное и радостное лицо в тот вечер.

Еще одна встреча с А.П., оставившая в моей памяти глубокий след, относится к 16 декабря 1903 года. /666/ Сообщаю о ней выпиской из моего дневника: "Хоронили Алтухова, еще один товарищ-однокурсник доработался. На отпевании в университетской церкви меня взял за локоть Чехов. Я не знал, что он

здесь, но очень ему обрадовался. Он очень изменился за последние полгода: похудел, пожелтел, и лицо покрылось множеством мелких морщин. И все-таки какое у него всегда доброе, славное и молодое лицо. Удивленно, с доброй, мечтательной улыбкой глядя вдаль из-под пенсне, он нежным баском подпевал хору.

До окончания службы, уставши, он предложил ехать ко мне отдохнуть и подкрепиться, чтобы затем ехать на кладбище; я, конечно, согласился и повез его к себе... М[ария] С[ергеевна] захотела снять нас вдвоем; Чехов сказал, что он с радостью будет позировать - он к этому привык, - при этом шутил на тему о том, кто из нас двоих раньше последует за Алтуховым... Мы долго ждали у входа на кладбище, так как гроб несли на руках. Сильна, однако, меланхоличная нотка у Чехова. Он любит, как говорит, кладбище, особенно зимой, как сегодня, когда могил почти не видно из-под глубокого пушистого снега.

Погребальное шествие подходило к воротам кладбища, а его конец терялся во мгlistой дали зимних сумерек; над головами толпы молодежи качался гроб; впереди несли венки, и первым - венок из свежих цветов "от учеников"; его высоко держали студент и курсистка с гордо поднятыми головами, с решительным, хотя и грустным взором. Невольно вырвалось: "Какой простор!" {666} - "Вот они, те, - сказал Чехов, - которые хоронят старое и вместе с ним вносят в царство смерти живые цветы и молодые надежды..." Чуть ли не накануне своего рокового отъезда в Баденвейлер, что-то в самом конце мая или 1, 2 июня 1904 года, А.П. спешно вызвал меня к себе несколькими словами на клочке бумаги; видно, писать ему было трудно, хотя почерк был еще его обычный, твердый, мелкий и единообразный.

Собрался я к нему в сумерки жаркого безоблачного дня; было душно; на небе и на земле лежал пыльно-бледный тон; город казался вымершим, и редкие люди, одиноко бродившие по пустынным улицам мимо зеркальных окон запертых магазинов, напоминали мух. С грустным чувством подходил я к жилищу Антона /667/ Павловича. Он жил тогда в Леонтьевском переулке, в верхнем этаже большого дома N 26, третьего или четвертого от Тверской. Войдя к нему в кабинет, я застал его в постели у стены, изголовьем к окну, у которого за письменным столом, при лампе под зеленым абажуром, сидела, облокотившись, Ольга Леонардовна и, сколько мне помнится, перелистывала "Русскую мысль". В комнате царил полумрак; бледный свет умиравшего дня боролся с зеленым тоном искусственного освещения. Рука Чехова была суха и горяча, щеки горели; в прерывавшемся одышкой голосе звучали радостные и бодрые нотки. На вопрос о здоровье он пожаловался на мучительные кишечные расстройства, но высказал при этом большое удовольствие по поводу замечательного врачебного опыта лечившего его терапевта, доктора Ю.Р.Таубе, удивительно изобретательного по части разных легких блюд и вкусных пищевых сочетаний. К своей основной, легочной болезни он относился с обычным для таких больных оптимизмом. Вспоминали мы с Чеховым наши университетские годы и товарищей, живых и покойников; прошло уже двадцать лет со дня окончания нами курса. Он, как и всегда, подробно расспрашивал о тех однокурсниках, с которыми мне чаще приходилось встречаться; не обошли мы, конечно, и в этот раз молчанием нашего

общего товарища и друга, а его товарища по таганрогской гимназии, уже умершего Василия Ивановича Зембулатова. Антону Павловичу было трудно говорить; ему было тяжело, и в комнате все еще стояла духота. Воспользовавшись вопросом о том, что поделялся я в последнее время, я подробно рассказал ему о своей недавней поездке на о. Корфу, о прелестях тамошней природы и климата, о дивных экскурсиях в Грецию - на Марафон, к развалинам храма Диониса и подножию Пентеликона, о волшебных панорамах во время проезда по Архипелагу, о розовой утренней заре, освещавшей покрытую в то время снегом и точно висевшую в безбрежности глубокого южного неба вершину старого Афона, о том душевном покое, который испытываешь среди морской прохлады во время морских путешествий. Не помню еще, о чем в этом роде старался я рассказывать метавшемуся в жару А.П.-чу, хотя и слушавшему меня с напряженным вниманием. Мне казалось, что, унеся его мысленно в волшебные края, подальше от окружавшей /668/ его обстановки, я облегчал его томление и отгонял призрак "Черного монаха" {668}.

Были у меня с А.П. и еще встречи, правда мимолетные, случайные. Помню одну в вестибюле Художественного театра на премьере одной из его пьес; другую - в его квартире на Малой Дмитровке, в Дегтярном переулке, в доме Шешкова, в присутствии молодой интересной дамы, сидевшей на диване, в то время как Чехов ходил по комнате, веселый, изящно одетый, и что-то ей объяснял в полушутливом тоне; бывали и другие встречи - заключаю это на основании писем.

Фактический материал, который у меня накопился благодаря встречам, наблюдениям, беседам и письмам, позволяет составить характеристику личности А.П. На основании этих данных у меня вырисовывалось отношение его к товарищам, к практическому врачебному делу, к медицинской науке, к его болезни, к артистам - исполнителям его произведений, наконец к политике. В кратких чертах постараюсь зафиксировать относящиеся сюда воспоминания.

К товарищам у него наблюдалось отношение в высокой степени симпатичное, крайняя благожелательность к курсовым товарищам: раз сойдясь и подружившись, он сближался все более и более и был в чувствах своих неизменно прочен, поэтому и отвечали ему друзья тем же. К числу близко сошедшихся с ним в студенческие годы товарищей относится и умерший сравнительно недавно Николай Иванович Коробов, сохранивший к А.П. до конца своей жизни чувства искренней дружбы и симпатии. Хотя Чехов и сошелся на курсе с немногими, но товарищеское чувство у него распространялось далеко за пределы кружка земляков и друзей. Примером может служить случай, лет через шестнадцать после окончания курса, с душевным заболеванием одного из наших однокурсников - Д[анилова], с которым А.П. даже не был знаком; узнав, однако, стороной, что семья заболевшего осталась без всяких средств к жизни, он принял энергичное, живое участие в организованной мной денежной помощи. Еще пример. Я был вызван в г. Серпухов к захворавшему параличом д-ру В[итте]; по возвращении в Москву вскоре получил от А.П. запрос о состоянии знакомого ему больного товарища. Стоит ли говорить, что я в течение многих лет при всех



встречах его с /669/ гимназическими товарищами только и видел с их стороны самое трогательное к нему внимание и любовь.

Как было сказано выше, Чехов был примерным студентом и, несмотря на отвлекавшие его с первых же курсов писательские дела, с полным успехом изучил медицинские науки: лекции он посещал, посещал аккуратно и клиники и лаборатории. По окончании медицинского факультета он не бросил медицину, он работал в качестве земского врача в Воскресенске и Звенигороде Московской губернии и через семь-восемь лет после окончания курса заведовал во время холерной эпидемии мелиховским участком тоже Московской губернии. Работал он с любовью и добросовестно, как об этом гласят предания.

Кстати будет здесь заметить, что в Воскресенске он нашел в лице теперь уже покойного фельдшера земской больницы оригинал для героя своей "Хирургии" {669}. В Звенигороде он насадил на земле больницы аллею лиственниц, которые еще и теперь стройными красавицами тянутся от служебного корпуса вплоть до больничного. И помимо больничной работы, доктор Чехов не избегал, поскольку ему позволяли время и обстоятельства, практической врачебной деятельности: у меня бывали с ним общие пациенты, которых он иной раз направлял ко мне из Мелихова и из Крыма для выяснения характера нервного заболевания. Он любил давать врачебные советы и следил за научной и практической медициной по периодической литературе. Отношение его к больным отличалось трогательной заботливостью и мягкостью: видно было, что в нем, враче, человеческое достигало высокой степени, что способность сострадать, переживать вместе с больным его страдания была присуща не только ему как человеку, но еще более как врачу-человеку. Меня, между прочим, однажды поразила глубокая сердечность, с которой он хлопотал о приискании средств для помещения через меня в лечебницу писательницы Ж. {669}

Следить за большой медицинской наукой А.П., конечно, было некогда, хотя он старался черпать сведения о движении науки из общемедицинских периодических журналов. Тем не менее ученая степень, поскольку она была нужна для преподавания в университете - он любил помечтать, - казалась ему желательной. /670/ Характерный эпизод произошел в связи с этим после одного нашего с ним разговора о необходимости профессору при описании болезней подходить и со стороны переживаний самого больного. Он выразился так: "Вот я страдаю, например, катаром кишок и прекрасно понимаю, что испытывает такой больной, какие душевные муки переживает он, а это редко врачу бывает понятно. Если бы я был преподавателем, то я бы старался возможно глубже вовлекать свою аудиторию в область субъективных ощущений пациента, и думаю, что это студентам могло бы действительно пойти на пользу". Мне идея очень понравилась, и я предложил ему предпринять шаги для получения звания приват-доцента, для чего требовалось, между прочим, запастись ученой степенью доктора медицины. "Но у меня нет диссертационной работы?! Разве только предложить для этой цели "Сахалин"? - "Ну что же, - сказал я, - и очень просто". Он дал мне согласие снести по этому вопросу с тогдашним деканом, проф. И.Ф.Клейном, что я и сделал. Однако я потерпел полнейшее фиаско, так как декан на мое предложение сделал большие глаза, взглянул на меня поверх очков,

отвернулся и молча отошел. Я сообщил о своих неудачах Чехову, который в ответ расхохотался. С тех пор он окончательно оставил мысль об академической карьере.

Несколько слов и об отношении А.П. к своей болезни, которое было удивительно характерным. Как известно, он более десяти лет страдал туберкулезом легких, позднее поразившим и его кишечник; известно также, что туберкулезные больные крайне оптимистически относятся к своей болезни, то игнорируя симптомы ее, то стараясь объяснить явление чем-либо иным, но не туберкулезом, и нередко даже накануне смерти считают себя совершенно здоровыми. Чехов, образованный врач, крайне чуткий человек, обладавший способностью глубокого анализа и самоанализа, хотя не отрицал существования болезни, но относился к ней крайне легкомысленно, чтобы не сказать больше, и различные проявления ее старался объяснить по-своему. Так, например, в письме от 30/IX 1900 года, когда речь шла, по-видимому, об обострении легочного процесса, он мне пишет: "Здоровье мое сносно, было что-то вроде инфлуэнцы, а теперь ничего, остался только кашель, небольшой". /671/

Или еще 17/VI 1904 года, то есть за две недели до смерти, по приезде в Баденвейлер, он прислал мне открытку, в которой писал: "Я уже выздоровел, осталась только одышка и сильная, вероятно неизлечимая, лень. Очень похудел и отошал. Боли в руках и ногах прошли еще до Варшавы".

Еще более разительно то место его письма, - написанного мне за три дня до смерти (28/VI 1904), - где он жалуется на свои страдания, заставляющие его мечтать о морском путешествии обратно в Россию Средиземным и Черным морем... "У меня все дни была повышена температура, а сегодня все благополучно, чувствую себя здоровым, особенно когда не хожу, т.е. не чувствую одышки. Одышка тяжелая, просто хоть караул кричи, даже минутами падаю духом. Потерял я всего 15 фунтов весу. Здесь жара невыносимая, просто хоть караул кричи, а летнего платья у меня нет, точно в Швецию приехал. Говорят, везде очень жарко, по крайней мере на юге..."

Тут и одышка, и ощущения, сопровождающие повышенную температуру, и слабость (почерк, стиль и пр.), а между тем оценка состояния неверная, раз он, расстававшийся с жизнью, в чем для окружающих не могло уже быть никакого сомнения, готовился к долгой поездке морем, чтобы вернуться в Ялту.

Отношения его к исполнителям его пьес? Упоминаю я здесь об этом лишь для того, чтобы передать слышанное мной однажды от него, когда речь шла о психологии драматического артиста и о его подготовке к сцене; между прочим, он привел для примера то, что находил в артистах Художественного театра (давших, как известно, воплощение драм Чехова, граничащее с гениальностью); по его словам, они, несмотря на все, мало его удовлетворяли, и для лучших достижений они нуждаются в более широком художественном и психологическом образовании. Позволяю себе думать, что сказанное Чеховым в этой беседе не является полным отражением его мнения о достижениях Художественного театра;

я оговариваюсь для того, чтобы не оставить у читателя впечатления поверхностного вывода, сделанного на основании случайного замечания. /672/

Также должен сказать и об отношении А.П. к политике, я его с этой стороны не изучал; однако из всей совокупности следов наших разговоров и наблюдений он был, правда, не активным политическим деятелем, но все же был человеком с тонким гражданским чутьем благодаря своему психологическому и моральному складу и в студенческие времена, также и позднее представлял собой тип тонко разбирающегося в вопросах общественности и политики интеллигента. Повторяю - таково только произведенное на меня впечатление.

Два слова в заключение: много известно примеров того, как из среды врачей, то есть лиц с медицинским образованием, выделяются прекрасные писатели (В.Вересаев, С.Я.Елпатьевский и другие) или люди со всякого рода стремлениями то к другим наукам, то к различным видам искусства. Должно полагать, что выбор медицинского факультета вытекает нередко у чуткого юноши из стремления разобраться в человеческих страданиях и что, подойдя раз к медицине, уже он естественно углубляется в изучение человека и жизни, потребность расширить и углубить область познаний выводит из круга узкой специальности. Бывают случаи, когда медики уходят в поиски других путей из дебрей медицины, в которой успели разочароваться. Бывает и так, что истинное призвание к чему-либо обнаруживается лишь только после вступления на путь медицинской специальности. Антон Чехов принадлежал, по-видимому, к последней категории. Но, надо думать, ни он, ни кто другой не пожалел о его измене медицинской специальности: литература в нем заслонила медицину, хотя изучение последней, как он сам об этом заявлял, и не прошло для него бесследно. Медицинский факультет Московского университета все же будет гордиться если не ученым, то писателем.

### ***В.В.ВЕРЕСАЕВ. А.П.ЧЕХОВ***

Я познакомился с Чеховым в Ялте весной 1903 года. Повез меня к нему Горький {673}, который был с ним знаком уже раньше.

Неуютная дача на пыльной Аутской улице. Очень покатым двор. По двору расхаживает ручной журавль. У ограды чахлые деревца.

Кабинет Антона Павловича. Большой письменный стол, широкий диван за ним. На отдельном столике, на красивом картонном щите, веером расположены фотографические карточки писателей и артистов с собственноручными надписями. На стене печатное предупреждение: "Просят не курить".

Чехов держался очень просто, даже как будто немножко застенчиво. Часто покашливал коротким кашлем и плевал в бумажку. На меня он произвел впечатление удивительно деликатного и мягкого человека. Объявление "Простят не курить" как будто повешено не просто с целью избавить себя от необходимости говорить об этом каждому посетителю, мне показалось, это было для Чехова единственным способом попросить посетителей не отравлять табачным дымом его больных легких. Если бы не было этой надписи и посетитель бы закурил, я не представляю себе, чтобы Чехов мог сказать: "Пожалуйста, не курите, - мне это вредно".

Горький в своих воспоминаниях о Чехове приводит несколько очень резких его ответов навязчивым посетителям. Рассказывает он, например, как к Чехову /674/ пришла полная, здоровая, красивая дама и начала говорить "под Чехова":

- Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди, небо, море... И нет желаний... душа в тоске... Точно какая-то болезнь...

И Чехов ей ответил:

- Да, это болезнь. По-латыни она называется morbus\* pritvorialis.

---

\* болезнь (лат.).

Совершенно не могу себе представить Чехова, так говорящего со своей гостьей. После ухода ее он мог так сказать, - это другое дело. Но в лицо...

Для меня очень был неожидан острый интерес, который Чехов проявил к общественным и политическим вопросам. Говорили, да это чувствовалось и по его произведениям, что он человек глубоко аполитический, общественными вопросами совершенно не интересуется, при разговоре на общественные темы начинает зевать. Чего стоила одна его дружба с таким человеком, как А.С.Суворин {674}, издатель газеты "Новое время". Теперь это был совсем другой человек: видимо, революционное электричество, которым в то время был перезаряжен воздух, встряхнуло и душу Чехова {674}. Глаза его загорались суровым негодованием, когда он говорил о неистовствах Плеве, о жестокости и глупости Николая II.

За чаем Антон Павлович рассказал, что недавно получил письмо из Одессы от одного почтенного отца семейства. Тот писал, что девушка, дочь его, недавно ехала на пароходе из Севастополя в Одессу, на пароходе познакомилась с Чеховым. И как не стыдно! Пишете, господин Чехов, такие симпатичные рассказы, а позволяете себе приставать к девушке с гнусными предложениями.

- А я никогда из Севастополя не ездил в Одессу.

Когда Чехов рассказывал, глаза искрились смехом, улыбка была на губах, но в глубине его души, внутри, чувствовалась большая, сосредоточенная грусть.

И еще сильнее я почувствовал эту его грусть, когда через несколько дней по телефонному вызову Антона Павловича пришел к нему проститься {674}. Он уезжал в Москву, радостно укладывался, говорил о предстоящей /675/ встрече с женой, Ольгой Леонардовной Книппер, о милой Москве. О Москве он говорил,

как школьник о родном городе, куда едет на каникулы; а на лбу лежала темная тень обреченности. Как врач, он понимал, что дела его очень плохи.

Узнал, что я в прошлом году был в Италии.

- Во Флоренции были?

- Был.

- Кианти пили?

- Еще бы!

- Эх, кианти!.. Еще бы раз попасть в Италию, попить бы кианти... Никогда уже этого больше не будет.

Накануне, у Горького, мы читали в корректуре новый рассказ Чехова "Невеста" (он шел в миролюбовском "Журнале для всех").

Антон Павлович спросил:

- Ну, что, как вам рассказ?

Я помялся, но решил высказаться откровенно:

- Антон Павлович, не так девушки уходят в революцию. И такие девицы, как ваша Надя, в революцию не идут.

Глаза его взглянули с суровой настороженностью.

- Туда разные бывают пути.

Был этот разговор двадцать пять лет назад, но я его помню очень ясно.

Однако меня теперь берет сомнение: не напутал ли я здесь чего? В печати я тогда этого рассказа не прочел. А сейчас перечитал: вовсе в революцию девица не идет. Выведена типическая безвольная чеховская девушка, кузен подбивает ее бросить жениха и уехать в столицу учиться, она уезжает чуть ли не накануне свадьбы и там, в столице, учится и работает. Но учится и работает не в том смысле, как в то время это понималось в революционной среде, а в специально чеховском смысле: учиться вообще наукам и вообще работает, как, например, работали у Чехова дядя Ваня и Соня в пьесе "Дядя Ваня". В чем тут дело? Я ли напутал, или Чехов переработал рассказ? Интересно было бы сравнить корректурный оттиск рассказа "Невеста" с окончательной его редакцией. Я слышал, что корректурный оттиск этот с чеховскою правкою хранится в одном из музеев{675}.

Через месяц я получил от Чехова письмо, и там, между прочим, он сообщает: "Кое-что подделываю. /676/ Рассказ "Невесту" искромсал и переделал в корректуре" {676}. Из этого заключаю, что, может быть, Чехов в этом направлении что-то исправил и нашел более подходящим для своей Нади, чтобы она ушла не в революцию, а просто в учебу.

Все это интересно в том смысле, что под конец жизни Чехов сделал попытку, - пускай неудачную, от которой сам потом отказался, - но все-таки попытку вывести хорошую русскую девушку на революционную дорогу. /677/

### **Н.З.ПАНОВ. СЕАНС**

**К портрету А.П.Чехова**

- Приходите завтра!.. Я буду думать, а вы порисуйте!.. - сказал мне Антон Павлович.

Жарко. Душно. Открытое окно не приносит свежего дыхания моря, сверкающего в отдалении ярко-фиолетовой полосой.

Он сидит у своего рабочего стола задумчивый и видимо спокойный.

Я смотрю в эти грустные, усталые глаза и тороплюсь набросить на холст первые очертания немного склоненной набок головы.

Мы замолчали. "Я буду думать", - вспомнил я его вчерашние слова.

Строгое осунувшееся лицо тает в воздухе.

Немного сгорбленная, недавно еще красивая, стройная фигура согнулась и высохла; складки платья дерзко выдают ее худобу.

Вся поза, наклон головы, осторожные движения исхудалых рук - все говорит о том, что человек прислушивается к себе, к своим мыслям и к тому... к чему здоровый не прислушивается, - к какой-то новой работе внутри, новой, подозрительной жизни, отвлекающей внимание от привычной мысли.

Резко обозначились на лице складки, появились новые тени, придающие лицу сухой и озабоченный характер. Нависшая на лоб редкая прядь волос едва заметно трепещет от легкого прерывистого дыхания. /678/

Как тяжело, как больно глядеть в эти серьезные, печальные глаза, уходящие дальше человеческих наблюдений.

Совестно быть здоровым и ненужным в присутствии больного и дорогого для всей России человека.

А может быть, болезнь не опасна?... Это только так кажется... Ведь он сам врач, он знает! Он так спокойно работает...

- Вам удобно? или я дам вот это кресло? - говорит он голосом, ушедшим вглубь, без звука.

- Нет, благодарю вас... Мне очень хорошо. Мне всегда удобно. (Зачем я сказал: всегда? - негодую я про себя. - Как будто нарочно напоминаю, что ему уже не всегда удобно.)

Опять тишина. Только издалека доносится вечно неумолкающий говор моря, говор тысячи голосов, слившихся в одной мятежной речи.

Мне хочется нарушить молчание, и я не знаю, что сказать. Все кажется мне неуместным, напоминающим о чем-то нелепом и страшном.

И не я один, случайный и чужой, но все близкие и родные... У всех одна мысль, и все прячут ее в его присутствии, гонят как можно дальше.

Все знают, и все молчат об этом важном, и говорят обо всем другом - случайном и неважном. Говорят громко и весело, а на лицах страх и беспокойство. Оставаясь одни, говорят шепотом и взаимно верят и надеются, утешая друг друга.

- Вы что-то нашли? - спрашивает он, ласково улыбаясь, заметив мое нервное движение.

Я смотрю на него, на просветленное от улыбки лицо и с тревогой говорю:

- Теперь не то! Вы у меня какой-то усталый и грустный вышли.

- Ну, что ж, - какой есть. Не надо менять... Первое впечатление всегда вернее.

Заговорили о живописи, о Левитане - этом истинном художнике, талантливом и прекрасном, в каждом произведении которого было столько поэзии и глубокой артистической души.

- Вот это его картина!.. и этот этюд на камине - тоже. Правда, это чудесно?.. Рано умер!.. Сколько бы еще сделал с его любовью к труду... Да, да, надо много /679/ работать, постоянно работать, не покладая рук... Мы в большинстве недеятельны, ленивы, довольствуемся зачатками и скоро успокаиваемся на полдороге. Теоретически - всё знаем, понимаем и всему доброму сочувствуем, свободно решаем вопросы высшего порядка, а в нашей каждодневной будничной жизни теряемся в мелочах, и обновить ее нет ни энергии, ни умения. А как много нужно сделать!

И долго еще лилась мягкая, убежденная речь; глаза потеплели, весь оживился...

Случайно заговорили о новых открытиях в науке.

- Вот Мечников, - говорю я (конечно, невпопад, касаясь больного места), - изыскивает способы продления человеческой жизни...

- Не нужно! Нужен другой Мечников, который помог бы сделать обыкновенную жизнь здоровой и красивой. И, я думаю, такой придет...

Он закашлялся и с горькой усмешкой, поднеся к губам неразлучный платок, сел на прежнее место.

Опять забежал карандаш, опять глаза ушли вдаль и по лицу заходили тени.

Да, нет сомненья.

Она показалась... эта черная, неумолимая, нежеланная гостья. Каждый видит ее повсюду витающей около дорогого существа, и каждый не смеет верить своим глазам и мыслям.

Она ревниво бережет избранника и час за часом медленно отрывает его от своей соперницы - жизни.

Приближается страшная драма без слов.

Она придет, и все скажут: мы знали!

Все мы знаем - она придет. Часто знаем, она - близка, но наш рассудок никогда не уяснит тайны - великой страшной тайны, под покровом которой живет и трепещет человечество.

Наука, познавшая ее причины, - бессильно отошла перед загадкой цели...

Светоч погасает!..

Но от него зажгутся новые и новые, и, пока живет человечество, на его пути к светлому и прекрасному горизонту пойдут впереди лучшие его избранники и осветят долгий и тяжелый путь жизни.

Ялта, 10 августа 1903 года.

## ***О.Л.КНИППЕР-ЧЕХОВА. О А.П.ЧЕХОВЕ***

Бывают в жизни большие, светлые праздники. Таким светлым праздником был в моей жизни 1898 год - год моего окончания драматической школы Филармонического училища в Москве, год открытия Московского Художественного театра, год моей встречи с А.П.Чеховым. И ряд последующих лет был продолжением этого праздника. То были годы радостного созидания, работы, полной любви и самоотвержения, годы больших волнений и крепкой веры.

Мой путь к сцене был не без препятствий. Я росла в семье, не терпевшей нужды. Отец мой, инженер-технолог, был некоторое время управляющим завода в бывшей Вятской губернии, где я и родилась. Родители переехали в Москву, когда мне было два года, и здесь провела я всю свою жизнь. Моя мать была в высшей степени одаренной музыкальной натурой, она обладала прекрасным голосом и была хорошей пианисткой, но, по настоянию отца, ради семьи, не пошла ни на сцену, ни даже в консерваторию. После смерти отца и потери сравнительно обеспеченного существования она стала педагогом и профессором пения при школе Филармонического училища, иногда выступала в концертах и трудно мирилась со своей неудачно сложившейся артистической карьерой.

Я после окончания частной женской гимназии жила, по тогдашним понятиям, "барышней": занималась языками, музыкой, рисованием. Отец мечтал, чтобы я стала /681/ художницей, - он даже показывал мои рисунки Вл. Маковскому, с семьей которого мы были знакомы, - или переводчицей; я в ранней юности переводила сказки, повести и увлекалась переводами. В семье меня, единственную дочь, баловали, но держали далеко от жизни... Товарищ старшего брата, студент-медик, говорил мне о высших женских курсах, о свободной жизни (видя иногда мое подавленное состояние), и когда заметили, как я жадно слушала эти рассказы, как горели у меня глаза, милого студента тихо удалили на время из нашего дома. А я осталась со своей мечтой о свободной жизни.

Детьми и в ранней юности мы ежегодно устраивали спектакли; смастерили сцену у нас в зале, играли и у нас, и у знакомых, участвовали и в благотворительных вечерах. Но когда мне было уже за двадцать лет и когда мы стали серьезно поговаривать о создании драматического кружка, отец, видя мое увлечение, мягко, но внушительно и категорически прекратил эти мечтания, и я продолжала жить как в тумане, занимаясь то тем, то другим, но не видя цели. Сцена меня манила, но по тогдашним понятиям казалось какой-то дикостью сломать семью, которая окружала меня заботами и любовью, уйти, и куда уйти? Очевидно, и своей решимости и веры в себя было мало.

Резко изменившиеся после внезапной смерти отца материальные условия поставили все на свое место. Надо было думать о куске хлеба, надо было зарабатывать его, так как у нас ничего не осталось, кроме нанятой в большом



особняке квартиры, пяти человек прислуги и долгов. Переменили квартиру, отпустили прислугу и начали работать с невероятной энергией, как окрыленные. Мы поселились "коммуной" с братьями матери (один был врач, другой - военный) и работали дружно и энергично. Мать давала уроки пения, я - уроки музыки, младший брат, студент, был репетитором, старший уже служил инженером на Кавказе.

Это было время большой внутренней переработки, из "барышни" я превращалась в свободного, зарабатывающего на свою жизнь человека, впервые увидавшего эту жизнь во всей ее пестроте.

Но во мне вырастала и крепла прежняя, давнишняя мечта - о сцене. Ее поддержало пребывание в течение /682/ двух летних сезонов после смерти отца в "Полотняном заводе", майоратном имении Гончаровых, с которыми дружили и родители, и мы, молодежь. Разыскав по архивным документам, что небольшой дом, в котором тогда помещался трактир, имел в прошлом отношение, хотя и весьма смутное, к Пушкину (его жена происходила из того же рода), мы упросили отдать этот дом в наше распоряжение, и вся наша жизнь сосредоточилась в этом доме. Мы устроили сцену и начали дружно составлять программу народного театра. Мы играли Островского, водевили с пением, пели, читали в концертах. Наша маленькая труппа пополнялась рабочими и служащими писчебумажной фабрики Гончаровых. Когда в 1898 году мы открывали Художественный театр "Царем Федором", я получила трогательный адрес с массой подписей от рабочих Полотняного завода, - это была большая радость, так как Полотняный завод оставил в моей памяти незабываемое впечатление на всю мою жизнь.

Мало-помалу сцена делалась для меня осознанной и желанной целью. Никакой другой жизни, кроме артистической, я уже себе не представляла. Потихоньку от матери подготовила я с трудом свое поступление в драматическую школу при Малом театре, была принята очень милостиво, прозанималась там месяц, как вдруг неожиданно был назначен "проверочный" экзамен, после которого мне было предложено оставить школу, но сказано, что я не лишена права поступления на следующий год. Это было похоже на издевательство. Как впоследствии выяснилось, я из числа четырех учениц была единственной, принятой без протекции, а теперь нужно было устроить еще одну, поступавшую с сильной протекцией, отказать нельзя было. И вот я была устранена.

Это был для меня страшный удар, так как вопрос о театре стоял для меня тогда уже очень остро - быть или не быть, вот - солнце, вот - тьма. Мать, видя мое подавленное состояние и несмотря на то, что до этого времени была очень против моего решения идти на сцену, устроила через своих знакомых директоров Филармонии мое поступление в драматическую школу, хотя прием туда уже целый месяц как был прекращен.

Три года я пробыла в школе по классу Вл.И.Немировича-Данченко и А.А.Федотова, одновременно бегая /683/ по урокам, чтоб иметь возможность платить за учение и зарабатывать на жизнь.

Зимой 1897/98 года я кончала курс драматической школы. Уже ходили неясные, волновавшие нас слухи о создании в Москве какого-то нового, "особенного" театра; уже появлялась в стенах школы живописная фигура

Станиславского с седыми волосами и черными бровями, и рядом с ним характерный силуэт Санина; уже смотрели они репетицию "Трактирщицы" {683}, во время которой сладко замирало сердце от волнения; уже среди зимы учитель наш, Вл.И.Немирович-Данченко, говорил М.Г.Савицкой, мне и некоторым другим моим товарищам, что мы будем оставлены в этом театре, и мы бережно хранили эту тайну... И вот тянулась зима, надежда то крепла, то, казалось, совсем пропадала, пока шли переговоры... И уже наш третий курс волновался пьесой Чехова "Чайка", уже заразил нас Владимир Иванович своей трепетной любовью к ней, и мы ходили неразлучно с желтым томиком Чехова, и читали, и перечитывали, и не понимали, как можно играть эту пьесу, но все сильнее и глубже охватывала она наши души тонкой влюбленностью, словно это было предчувствие того, что в скором времени должно было так слиться с нашей жизнью и стать чем-то неотъемлемым, своим, родным.

Все мы любили Чехова-писателя, он нас волновал, но, читая "Чайку", мы, повторяю, недоумевали: возможно ли ее играть? Так она была непохожа на пьесы, шедшие в других театрах.

Владимир Иванович Немирович-Данченко говорил о "Чайке" с взволнованной влюбленностью и хотел ее ставить на выпускном спектакле. И когда обсуждали репертуар нашего начинающегося молодого дела, он опять убежденно и проникновенно говорил, что непременно пойдет "Чайка". И "Чайкой" все мы волновались, и все, увлекаемые Владимиром Ивановичем, были тревожно влюблены в "Чайку". Но, казалось, пьеса была так хрупка, нежна и благоуханна, что страшно было подойти к ней и воплотить все эти образы на сцене...

Прошли наши выпускные экзамены, происходившие на сцене Малого театра. И вот наконец я у цели, я достигла того, о чем мечтала, я актриса, да еще в каком-то новом, необычном театре. /684/

14/26 июня 1898 года в Пушкине произошло слияние труппы нового театра: члены Общества искусства и литературы, возглавляемого К.С.Станиславским, и мы, кончившие школу Филармонии, с Вл.И.Немировичем-Данченко, нашим руководителем, во главе. Началось незабываемое лето в Пушкине {684}, где мы готовили пьесы к открытию. Для репетиций нам было предоставлено выстроенное в парке знакомых К.С. летнее здание со сценой и одним рядом стульев. Началась работа над "Царем Федором Иоанновичем", "Шейлоком", "Ганнеле" {684}, а затем принялись за "Чайку", уже к осени.

Приступали мы к работе с благоговением, с трепетом и с большой любовью, но было страшно! Так недавно бедная "Чайка" обломала крылья в Петербурге в первоклассном театре {684}, и вот мы, никакие актеры, в театре, никому не известном, смело и с верой беремся за пьесу любимого писателя. Приходит сестра Антона Павловича Мария Павловна и тревожно спрашивает, что это за отважные люди, решающиеся играть "Чайку" после того, как она доставила столько страданий Чехову, - спрашивает, тревожась за брата.

А мы работаем, мучаемся, падаем духом, опять уповаем. Трудно было работать еще потому, что все мало знали друг друга, только приглядывались. Константин Сергеевич как-то не сразу почувствовал пьесу, и вот Владимир

Иванович со свойственным ему одному умением "заражать" заражает Станиславского любовью к Чехову, к "Чайке".

Я вступала на сцену с твердой убежденностью, что ничто и никогда меня не оторвет от нее, тем более что в личной жизни моей прошла трагедия разочарования первого юного чувства. Театр, казалось мне, должен был заполнить один все стороны моей жизни.

Но на самом пороге этой жизни, как только я приступила к давно грезившейся мне деятельности, как только началась моя артистическая жизнь, органически слитая с жизнью нарождавшегося нашего театра, этот самый театр и эта самая жизнь столкнули меня с тем, что я восприняла как "явление" на своем горизонте, что заставило меня глубоко задуматься и сильно пережить, - я встретила с Антоном Павловичем Чеховым. /685/

А.П.Чехов последних шести лет - таким я знала его: Чехов, слабеющий физически и крепнущий духовно...

Впечатление этих шести лет - какого-то беспокойства, метания, - точно чайка над океаном, не знающая, куда присесть: смерть его отца {685}, продажа Мелихова {685}, продажа своих произведений А.Ф.Марксу {685}, покупка земли под Ялтой {685}, устройство дома и сада и в то же время сильное тяготение к Москве, к новому своему, театральному делу; метание между Москвой и Ялтой, которая казалась уже тюрьмой; женитьба {685}, поиски клочка земли недалеко от трогательно любимой Москвы и уже почти осуществление мечты - ему разрешено было врачами провести зиму в Средней России; {685} мечты о поездке по северным рекам, в Соловки, в Швецию, в Норвегию, в Швейцарию, и мечта последняя и самая сильная, уже в Шварцвальде, в Баденвейлере, перед смертью, - ехать в Россию через Италию, манившую его своими красками, соком жизни, главное - музыкой и цветами, - все эти метания, все мечты были кончены 2/15 июля 1904 года его собственными словами: "Ich sterbe" (Я умираю).

Жизнь внутренняя за эти шесть лет прошла до чрезвычайности полно, насыщенно, интересно и сложно, так что внешняя неустроенность и неудобства теряли свою остроту, но все же, когда оглядываешься назад, то кажется, что жизнь этих шести лет сложилась из цепи мучительных разлук и радостных свиданий.

"Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству" {685}, - писал как-то Антон Павлович.

Казалось бы, очень просто разрешить эту задачу - бросить театр и быть при Антоне Павловиче. Я жила этой мыслью и боролась с ней, потому что знала и чувствовала, как Ломка моей жизни отразилась бы на нем и тяготила бы его. Он никогда бы не согласился на мой добровольный уход из театра, который и его живо интересовал и как бы связывал его с жизнью, которую он так любил. Человек с такой тонкой духовной организацией, он отлично понимал, что значил бы для него и для меня мой уход со сцены, он ведь знал, как нелегко досталось мне это жизненное самоопределение. /686/

Мы встретились впервые 9/21 сентября 1898 года - знаменательный и на всю жизнь не забытый день.

До сих пор помню все до мелочей, и трудно говорить словами о том большом волнении, которое охватило меня и всех нас, актеров нового театра, при первой встрече с любимым писателем, имя которого мы, воспитанные Вл.И.Немировичем-Данченко, привыкли произносить с благоговением.

Никогда не забуду ни той трепетной взволнованности, которая овладела мною еще накануне, когда я прочла записку Владимира Ивановича о том, что завтра, 9 сентября, А.П.Чехов будет у нас на репетиции "Чайки", ни того необычайного состояния, в котором шла я в тот день в Охотничий клуб на Воздвиженке, где мы репетировали, пока не было готово здание нашего театра в Каретном ряду, ни того мгновения, когда я в первый раз стояла лицом к лицу с А.П.Чеховым.

Все мы были захвачены необыкновенно тонким обаянием его личности, его простоты, его неумения "учить", "показывать". Не знали, как и о чем говорить... И он смотрел на нас, то улыбаясь, то вдруг необычайно серьезно, с каким-то смущением, пощипывая бородку и вскидывая пенсне и тут же внимательно разглядывая "античные" урны, которые изготовлялись для спектакля "Антигоны" {686}.

Антон Павлович, когда его спрашивали, отвечал как-то неожиданно, как будто и не по существу, как будто и общо, и не знали мы, как принять его замечания - серьезно или в шутку. Но так казалось только в первую минуту, и сейчас же чувствовалось, что это брошенное как бы вскользь замечание начинает проникать в мозг и душу и от едва уловимой характерной черточки начинает проясняться вся суть человека.

Один из актеров {686}, например, просил Антона Павловича охарактеризовать тип писателя в "Чайке", на что последовал ответ: "Да он же носит клетчатые брюки". Мы не скоро привыкли к этой манере общения с нами автора, и много было впоследствии невыясненного, непонятого, в особенности когда мы начинали горячиться; но потом, успокоившись, доходили до корня сделанного замечания.

И с этой встречи начал медленно затягиваться тонкий и сложный узел моей жизни. /687/

Второй раз Чехов появился на репетиции "Царя Федора" уже в "Эрмитаже" {687}, в нашем новом театре, где мы предполагали играть сезон. Репетировали мы вечером в сыром, холодном, далеко еще не готовом помещении, без пола, с огарками в бутылках вместо освещения, сами закутанные в пальто. Репетировали сцену примирения Шуйского с Годуновым, и такими необычными казались звуки наших собственных голосов в этом темном, сыром, холодном пространстве, где не видно было ни потолка, ни стен, с какими-то грустными громадными, ползающими тенями... и радостно было чувствовать, что там, в пустом темном партере, сидит любимая нами всеми "душа" и слушает нас.

На другой день, в дождливую, сырую погоду, Чехов уезжал на юг, в тепло, в нелюбимую им тогда Ялту.

17 декабря 1898 года мы играли "Чайку" в первый раз. Наш маленький театр был не совсем полон. Мы уже сыграли и "Федора" и "Шейлока"; хоть и хвалили нас, однако составилось мнение, что обстановка, костюмы

необыкновенно жизненны, толпа играет исключительно, но... "актеров пока не видно", хотя Москвин прекрасно и с большим успехом сыграл Федора. И вот идет "Чайка", в которой нет ни обстановки, ни костюмов - один актер. Мы все точно готовились к атаке. Настроение было серьезное, избегали говорить друг с другом, избегали смотреть в глаза, молчали, все насыщенные любовью к Чехову и к новому нашему молодому театру, точно боялись расплескать эти две любви, и несли мы их с каким-то счастьем, и страхом, и упованием. Владимир Иванович от волнения не входил даже в ложу весь первый акт, а бродил по коридору.

Первые два акта прошли... Мы ничего не понимали... Во время первого акта чувствовалось недоумение в зале, беспокойство, даже слышались протесты - все казалось новым, неприемлемым: и темнота на сцене, и то, что актеры сидели спиной к публике, и сама пьеса. Ждали третьего акта... И вот по окончании его - тишина какие-то несколько секунд, и затем что-то случилось, точно плотину прорвало, мы сразу не поняли даже, что это было; и тут-то началось какое-то безумие, когда перестаешь чувствовать, что есть у тебя ноги, голова, тело... Все слилось в одно сумасшедшее ликование, зрительный зал и сцена были как бы одно, занавес /688/ не опускался, мы все стояли, как пьяные, слезы текли у всех, мы обнимались, целовались, в публике звенели взволнованные голоса, говорившие что-то, требовавшие послать телеграмму в Ялту {688}... И "Чайка" и Чехов-драматург были реабилитированы.

Чем же мы взяли? Актеры мы все, за исключением Станиславского и Вишневого, были неопытные и не так уж прекрасно играли "Чайку", но, думается, что вот эти две любви - к Чехову и к нашему театру, которыми мы были полны до краев и которые мы несли с таким счастьем и страхом на сцену, - не могли не перелиться в души зрителей. Они-то и дали нам эту радость победы...

Следующие спектакли "Чайки" пришлось отменить из-за моей болезни - я первое представление играла с температурой 39° и сильнейшим бронхитом, а на другой день слегла совсем. И нервы не выдержали; первые дни болезни никого не пускали ко мне; я лежала в слезах, негодуя на свою болезнь. Первый большой успех - и нельзя играть!

А бедный Чехов в Ялте, получив поздравительные телеграммы и затем известие об отмене "Чайки", решил что опять полный неуспех, что болезнь Книппер - только предлог, чтобы не волновать его, не вполне здорового человека, известием о новой неудачной постановке "Чайки".

К Новому году я поправилась, и мы с непрерывающимся успехом играли весь сезон нашу "Чайку".

Весной приезжает Чехов в Москву. {688} Конечно, мы хотели непременно показать "Чайку" автору, но... у нас не было своего театра. Сезон кончался, с началом великого поста кончалась и аренда нашего театра. Мы репетировали где попало, снимая на Бронной какой-то частный театр. Решили на один вечер снять театр "Парадиз" на Большой Никитской, где всегда играли в Москве приезжие иностранные гастролеры. Театр нетопленный, декорации не наши, обстановка угнетающая после всего "нашего", нового, связанного с нами.

По окончании четвертого акта, ожидая, после зимнего успеха, похвал автора, мы вдруг видим: Чехов, мягкий, деликатный Чехов, идет на сцену с

часами в руках, бледный, серьезный, и очень решительно говорит, что все очень хорошо, но "пьесу мою я прошу кончать /689/ третьим актом, четвертый акт не позволю играть..." Он был со многим не согласен, главное с темпом, очень волновался и уверял, что этот акт не из его пьесы. И правда, у нас что-то не ладилось в этот раз. Владимир Иванович и Константин Сергеевич долго успокаивали его, доказывая, что причина неудачной нашей игры в том, что мы давно не играли (весь пост), а все актеры настолько зеленые, что потерялись среди чужой, неуютной обстановки мрачного театра. Конечно, впоследствии забылось это впечатление, все поправилось, но всегда вспоминался этот случай, когда так решительно и необычно для него протестовал Чехов, когда ему было что-то действительно не по душе.

Была радостная, чудесная весна, полная волнующих переживаний: создание нового нашего театра, итоги первого сезона, успех и неуспех некоторых постановок, необычайная наша сплоченность и общее волнение и трепет за каждый спектакль; большой, исключительный успех "Чайки", знакомство с Чеховым, радостное сознание, что у нас есть "свой", близкий нам автор, которого мы нежно любили, - все это радостно волновало и наполняло наши души. Снимались с автором - группа участвующих в "Чайке", и в середине Чехов, якобы читающий пьесу. Уже говорили о постановке "Дяди Вани" в будущем сезоне.

Этой весной я ближе познакомилась с Чеховым и со всей его милой семьей. С сестрой его Марией Павловной мы познакомились еще зимой и как-то сразу улыбнулись друг другу. Помню, А.Л.Вишневский привел Марию Павловну ко мне в уборную в один из спектаклей "Чайки".

Помню солнечные весенние дни, первый день пасхи, веселое смятение колоколов, наполнявших весенний воздух чем-то таким радостным, полным ожидания... И в первый день пасхи пришел вдруг Чехов с визитом, он, никуда и никогда не ходивший в гости...

В такой же солнечный весенний день мы пошли с ним на выставку картин, смотреть Левитана, его друга, и были свидетелями того, как публика не понимала и смеялась над его чудесной картиной "Стога сена при лунном свете", - так это казалось ново и непонятно.

Чехов, Левитан и Чайковский - эти три имени связаны одной нитью, и, правда, они были певцами /690/ прекрасной русской лирики, они были выразителями целой полосы русской жизни.

Именно Чехов в своих произведениях дал право на жизнь простому, внешне незаметному человеку с его страданиями и радостями, с его неудовлетворенностью и мечтой о будущем, об иной, "невообразимо прекрасной" жизни.

И в жизни Чехов относился с необыкновенной любовью и вниманием к каждому так называемому незаметному человеку и находил в нем душевную красоту. Люди любили его нежно и шли к нему, не зная его, чтобы повидать, послушать; а он утомлялся, иногда мучился этими посещениями и не знал, что сказать, когда ему задавали вопрос: как надо жить? Учить он не умел и не любил... Я спрашивала этих людей, почему они ходят к Антону Павловичу, ведь он не проповедник, говорить не умеет, а они отвечали с кроткой и нежной

улыбкой, что когда посидишь только около Чехова, хоть молча, и то уйдешь обновленным человеком...

Помню, когда я везла тело Антона Павловича из Баденвейлера в Москву, на одной глухой, заброшенной, никому не известной станции, стоявшей одиноко среди необозримого пространства, подошли две робкие фигуры с полными слез глазами и робко и бережно прикрепили какие-то простые полевые цветы к грубым железным засовам запечатанного товарного вагона, в котором стоял гроб с телом Чехова. Это, конечно, были люди - не герои, из тех, которые приходили к нему "посидеть", чтобы после молчаливого визита уйти с новой верой в жизнь.

Не могу не пережить в памяти первого и последнего посещения студии Левитана (он вскоре скончался), не могу не вспомнить тишины и прелести тех нескольких часов, когда он показывал свои картины и этюды Марии Павловне и мне. Сильно волнуясь (у него была болезнь сердца), бледный, с горячими красивыми глазами, Левитан говорил о мучениях, которые он испытывал в продолжение шести лет, пока он не сумел передать на холсте лунную ночь средней полосы России, ее тишину, ее прозрачность, легкость, даль, пригорок, две-три нежные березки... И действительно, это была одна из замечательнейших его картин. /691/

Три чудесных весенних солнечных дня провела я в Мелихове, небольшом имении Чеховых под Серпуховом. Все там дышало уютом, простой здоровой жизнью, чувствовалась хорошая, любовная атмосфера семейной жизни. Очаровательная матушка Антона Павловича, тихая, русская женщина, с юмором, которую я нежно любила, Антон Павлович, такой радостный, веселый... Он показывал свои "владения": пруд с карасями, которыми гордился, - он был страстный рыболов, - огород, цветник. Он очень любил садоводство, любил все, что дает земля. Вид срезанных или сорванных цветов наводил на него уныние, и когда, случалось, дамы приносили ему цветы, он через несколько минут после их ухода молча выносил их в другую комнату. Все решительно пленило меня там: и дом, и флигель, где написана была "Чайка", и сад, и пруд, и цветущие фруктовые деревья, и телята, и утки, и сельская учительница, гулявшая с учителем по дорожке, - казалось, что шла Маша с Медведенко, - пленяли радушие, ласковость, уют, беседы, полные шуток, остроумия...

Это были три дня, полные чудесного предчувствия, полные радости, солнца... "Какие чувства - чувства, похожие на нежные, изящные цветы..." {691}

Кончился сезон, и я уехала отдыхать на Кавказ, где жил мой брат с семьей на даче около Мцхета. К этому периоду относится начало нашей переписки {691}. Еще в Москве я обещала приехать с Кавказа в Крым, где Антон Павлович купил участок земли и строил дом. Письмами мы сговорились встретиться на пароходе в Новороссийске около 20 июля и вместе приехали в Ялту, где я остановилась в семье доктора Л.В.Средина, с которой была дружна вся наша семья. А Антон Павлович жил на набережной в гостинице "Марино", откуда он ходил ежедневно на постройку своего дома в Аутку. Он плохо питался, так как никогда не думал о еде, уставал, и как мы с Срединым ни старались зазывать его под разными предложениями, чтобы устроить ему нормальное питание, это удавалось очень редко: Антон Павлович не любил ходить "в гости" и избегал обедов не у себя дома, хотя

к Срединым он относился с симпатией. У них было всегда так просто и радушно, и все, что бывало в Ялте из мира артистического, литературного и музыкального, /692/ все это посещало всегда Срединых (Горький, Аренский, Васнецов, Ермолова).

Место, которое Антон Павлович приобрел для постройки дома, было далеко от моря, от набережной, от города и представляло собой в полном смысле слова пустырь с несколькими грушевыми деревьями.

Но вот стараниями Антона Павловича, его большой любовью ко всему, что родит земля, этот пустырь понемногу превращается в чудесный, пышный, разнообразный сад.

За постройкой дома Антон Павлович следил сам, ездил на работы и наблюдал. В городе его часто можно было видеть на набережной, в книжном магазине И.А.Синани, к которому Антон Павлович относился с большой симпатией, к нему и его семье. Исаак Абрамович был очень предан Антону Павловичу, с каким-то благоговением помогал ему хлопотать о приобретении Кучук-Коя и участка под Ялтой, наблюдал, помогал советами, исполнял трогательно все поручения.

Около магазина была скамейка, знаменитая скамейка, где сходились, встречались, сидели и болтали все приезжавшие в Ялту "знаменитости": и литераторы, и певцы, и художники, и музыканты... У Исаака Абрамовича была в магазине книга, в которой расписывались все эти "знаменитости" (и он гордился тем, что все это общество сходилось у него); у него же в магазине и на скамейке узнавались все новости, все, что случалось и в небольшой Ялте и в большом мире. И всегда тянуло пойти на ослепительно белую, залитую солнцем набережную, вдыхать там теплый, волнующий аромат моря, щуриться и улыбаться, глядя на лазурный огонь морской поверхности, тянуло поздороваться и перекинуться несколькими фразами с ласковым хозяином, посмотреть полки с книгами, нет ли чего новенького, узнать, нет ли новых приехавших, послушать невинные сплетни...

В августе мы с Антоном Павловичем вместе уехали в Москву, ехали на лошадях до Бахчисарая, через Ай-Петри... Хорошо было покачиваться на мягких рессорах, дышать напоенным запахом сосны воздухом и болтать в милом, шутливом, чеховском тоне и подремывать, когда сильно припекало южное солнце и морило душу зноем. Хорошо было ехать через живописную долину Коккоза, полную какого-то особенного очарования и прелести... /693/

Дорога шла мимо земской больницы, расположенной в некотором отдалении от шоссе. На террасе стояла группа людей, отчаянно махавших руками в нашем направлении и как будто что-то кричавших... Мы ехали, углубившись в какой-то разговор, и хотя видели суетившихся людей, но все же не подумали, что это могло относиться к нам, и решили, что это сумасшедшие... Впоследствии оказалось, что это были не сумасшедшие, а группа ялтинских знакомых нам докторов, бывших в больнице на какой-то консультации и усиленно старавшихся остановить нас... Этот эпизод потом был источником смеха и всевозможных анекдотов.



В Москве Антон Павлович пробыл недолго и в конце августа уехал обратно в Ялту, а уже с 3 сентября возобновилась наша переписка.

В сезон 1899/900 года мы играли "Дядю Ваню".

С "Дядей Ваней" не так было благополучно. Первое представление похоже было почти на неуспех. В чем же причина? Думаю, что в нас. Играть пьесы Чехова очень трудно: мало быть хорошим актером и с мастерством играть свою роль. Надо любить, чувствовать Чехова, надо уметь проникнуться всей атмосферой данной полосы жизни, а главное - надо любить человека, как любил его Чехов, и жить жизнью его людей. А найдешь то живое, вечное, что есть у Чехова, - сколько ни играй потом образ, он никогда не потеряет аромата, всегда будешь находить что-то новое, неиспользованное в нем.

В "Дяде Ване" не все мы сразу овладели образами, но чем дальше, тем сильнее и глубже вживались в суть пьесы, и "Дядя Ваня" на многие-многие годы сделался любимой пьесой нашего репертуара. Вообще пьесы Чехова не вызывали сразу шумного восторга, но медленно, шаг за шагом, внедрялись глубоко и прочно в души актеров и зрителей и обволакивали сердца своим обаянием. Случалось не играть некоторые пьесы несколько лет, но при возобновлении никогда у нас, артистов и режиссеров, не было такого отношения: ах, опять старое возобновлять! К каждому возобновлению приступали мы с радостью, репетировали пьесу, как новую, и находили в ней все новое и новое...

В конце марта труппа Художественного театра решила приехать в Крым {693} с пьесами "Чайка", "Дядя Ваня", "Одинокое" и "Гедда Габлер". /694/

Я приехала еще на страстной с Марией Павловной, и как казалось уютно и тепло в этом новом доме, который летом только еще строился и был нежилым... Все интересовало, каждый пустяк; Антон Павлович любил ходить и показывать и рассказывать, чего еще нет и что должно быть со временем; и, главное, занимал его сад, фруктовые посадки...

С помощью сестры, Марии Павловны, Антон Павлович сам рисует план сада, намечает, где будет какое дерево, где скамеечка, выписывает со всех концов России деревья, кустарники, фруктовые деревья, устраивает груши и яблони шпалерами, и результатом были действительно великолепные персики, абрикосы, черешни, яблоки и груши. С большой любовью растил он березку, напоминавшую ему нашу северную природу, ухаживал за штамбовыми розами и гордился ими, за посаженным эвкалиптом около его любимой скамеечки, который, однако, недолго жил, так же как березка: налетела буря, ветер сломал хрупкое белое деревце, которое, конечно, не могло быть крепким и выносливым в чуждой ему почве. Аллея акаций выросла невероятно быстро, длинные и гибкие, они при малейшем ветре как-то задумчиво колебались, наклонялись, вытягивались, и было что-то фантастическое в этих движениях, беспокойное и тоскливое... На них-то всегда глядел Антон Павлович из большого итальянского окна своего кабинета. Были и японские деревца, развесистая слива с красными листьями, крупнейших размеров смородина, были и виноград, и миндаль, и пирамидальный тополь - все это принималось и росло с удивительной быстротой благодаря любовному глазу Антона Павловича. Одна беда - был вечный недостаток в воде, пока наконец Аутку не присоединили к Ялте и не явилась возможность устроить водопровод.

По утрам Антон Павлович обыкновенно сиживал в саду, и при нем всегдашние адъютанты - две собаки-дворняжки, которые откуда-то появились и прижились очень быстро благодаря симпатии, с которой Антон Павлович относился к ним, и два журавля с подрезанными крыльями, которые всегда были около людей, но в руки не давались. Журавли эти были очень привязаны к Арсению (дворнику и садовнику вместе), очень тосковали, когда он отлучался. О возвращении Арсения из города /695/ весь дом знал по крику этих серых птиц и странным движениям, которыми они выражали свою радость, - что-то вроде вальса.

В это же время был в Ялте и А.М.Горький {695}, входивший в славу тогда быстро и сильно, как ракета. Он бывал у Антона Павловича и как чудесно, увлекательно, красочно рассказывал о своих скитаниях. И он сам и то, что он рассказывал, - все казалось таким новым, свежим, и долго молча сидели мы в кабинете Антона Павловича и слушали...

Тихо, уютно и быстро прошла страстная неделя, неделя отдыха, и надо было ехать в Севастополь, куда прибыла труппа Художественного театра. Помню, какое чувство одиночества охватило меня, когда я в первый раз в жизни осталась в номере гостиницы, да еще в пасхальную ночь, да еще после ласковости и уюта чеховской семьи... Но уже начались приготовления к спектаклям, приехал Антон Павлович, и жизнь завертелась... Начался какой-то весенний праздник... Переехали в Ялту - и праздник стал еще ярче, нас буквально засыпали цветами... Закончился этот праздник феерией на крыше дачи гостеприимной Ф.К.Татариновой, которая с такой любовью относилась к нашему молодому театру и не знала, как и чем выразить свое поклонение Станиславскому и Немировичу-Данченко, создавшим этот театр. Артисты приезжали часто к Антону Павловичу, обедали, бродили по саду, сидели в уютном кабинете, и как нравилось все это Антону Павловичу, - он так любил жизнь подвижную, кипучую, а тогда у нас все надеялось, кипело, радовалось...

Жаль было расставаться и с югом, и с солнцем, и с Чеховым, и с атмосферой праздника... но надо было ехать в Москву репетировать. Вскоре приехал в Москву и Антон Павлович, ему казалось пусто в Ялте после жизни и смятения, которые внес приезд нашего театра, но в Москве он почувствовал себя нездоровым и быстро вернулся на юг.

Я в конце мая уехала с матерью на Кавказ, и каково было мое удивление и радость, когда в поезде Тифлис - Батум я встретила Антона Павловича, Горького, Васнецова, доктора Алексина, ехавших в Батум. Ехали мы вместе часов шесть, до станции Михайлово, где мы с матерью пересели на Боржомскую ветку. /696/

В июле я снова гостила у Чеховых в Ялте.

Переписка возобновилась с моего отъезда в Москву в начале августа и прервалась приездом Антона Павловича в Москву с пьесой "Три сестры".

Когда Антон Павлович прочел нам, артистам и режиссерам, долго ждавшим новой пьесы от любимого автора, свою пьесу "Три сестры", воцарилось какое-то недоумение, молчание... Антон Павлович смущенно улыбался и, нервно покашливая, ходил среди нас... Начали одиноко брошенными фразами что-то высказывать, слышалось: "Это же не пьеса, это только схема...", "Этого нельзя

играть, нет ролей, какие-то намеки только..." Работа была трудная, много надо было распахивать в душах...

Но вот прошло несколько лет, и мы уже с удивлением думали: неужели эта наша любимая пьеса, такая насыщенная переживаниями, такая глубокая, такая значительная, способная затрагивать самые скрытые прекрасные уголки души человеческой, неужели эта пьеса могла казаться не пьесой, а схемой и мы могли говорить, что нет ролей?

В 1917 году, после Октябрьской революции, одной из первых пьес, которые мы играли, была пьеса "Три сестры", и у всех было такое чувство, что мы раньше играли ее бессознательно, не придавая значения вложенным в нее мыслям и переживаниям, а главное - мечтам. И впрямь иначе зазвучала вся пьеса, почувствовалось, что это были не просто мечты, а какие-то предчувствия и что действительно "надвинулась на нас всех громада", сильная буря сдула "с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку..."

В середине декабря Антон Павлович отправился на юг Франции, в Ниццу, где он прожил около трех месяцев, сильно волнуясь ходом работ в театре над постановкой пьесы "Три сестры".

В Москве он смотрел "Когда мы, мертвые, пробуждаемся". К Ибсену Антон Павлович относился как-то недоверчиво и с улыбкой, он казался ему сложным, непростым и умствующим. Постановке "Снегурочки" {696} Антон Павлович тоже не очень сочувствовал; он говорил, что пока мы не должны ставить таких пьес, а придерживаться пьес типа "Одиноких". /697/

Наша возобновившаяся переписка тянулась с 11 декабря по 18 марта 1901 года. В начале апреля я ненадолго приезжала в Ялту, а с половины апреля (до половины мая) шла опять переписка.

Таковы были внешние факты. А внутри росло и крепло чувство, которое требовало каких-то определенных решений, и я решила соединить мою жизнь с жизнью Антона Павловича, несмотря на его слабое здоровье и на мою любовь к сцене. Верилось, что жизнь может и должна быть прекрасной, и она стала такой, несмотря на наши горестные разлуки, - они ведь кончались радостными встречами. Жизнь с таким человеком мне казалась нестрашной и нетрудной: он так умел отбрасывать всю тину, все мелочи жизненные и все ненужное, что затемняет и засоряет самую сущность и прелесть жизни.

В половине мая 1901 года Антон Павлович приехал в Москву. 25 мая мы повенчались и уехали по Волге, Каме, Белой до Уфы, откуда часов шесть по железной дороге - в Андреевский санаторий около станции Аксеново. По дороге навестили в Нижнем-Новгороде А.М.Горького, отбывавшего домашний арест {697}.

У пристани Пьяный Бор (Кама) мы застряли на целые сутки и ночевали на полу в простой избе, в нескольких верстах от пристани, но спать нельзя было, так как неизвестно было время, когда мог прийти пароход на Уфу. И в продолжение ночи и на рассвете пришлось несколько раз выходить и ждать, не появится ли какой пароход. На Антона Павловича эта ночь, полная отчужденности от всего культурного мира, ночь величаявая, памятная какой-то покойной, серьезной содержательностью и жутковатой красотой и тихим рассветом, произвела сильное

впечатление, и в его книжечке, куда он заносил все свои мысли и впечатления, отмечен Пьяный Бор.

В Аксенове Антону Павловичу нравилась природа, длинные тени по степи после шести часов, фыркание лошадей в табуне, нравилась флора, река Дема (Аксаковская), куда мы ездили однажды на рыбную ловлю. Санаторий стоял в прекрасном дубовом лесу, но устроен был примитивно, и жить было неудобно при минимальном комфорте. Даже за подушками пришлось мне ехать в Уфу. Кумыс сначала пришелся по вкусу Антону /698/ Павловичу, но вскоре надоел, и, не выдержав шести недель, мы отправились в Ялту через Самару, по Волге до Царицына и на Новороссийск. До 20 августа мы пробыли в Ялте. Затем мне надо было возвращаться в Москву: возобновлялась театральная работа.

И опять начинаются разлуки и встречи, только расставания становятся еще чувствительнее и мучительнее, и уже через несколько месяцев я стала сильно подумывать, не бросить ли сцену. Но рядом вставал вопрос: нужна ли Антону Павловичу просто жена, оторванная от живого дела? Я чуяла в нем человека-одиночку, который, может быть, тяготился бы ломкой жизни своей и чужой. И он так дорожил связью через меня с театром, возбуждившим его живейший интерес.

Я невольно с необычайной остротой вспомнила все эти переживания, когда много лет спустя, при издании писем Антона Павловича, я прочла его слова, обращенные к А.С.Суворину еще в 1895 году: "Извольте, я женюсь, если Вы хотите этого. Но мои условия: все должно быть, как было до этого, то есть она должна жить в Москве, а я в деревне (он жил тогда в Мелихове), и я буду к ней ездить. Счастья же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, я не выдержу. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день" {698}.

Я не знала тогда этих слов, но чувствовала, что я нужна ему такая, какая я есть, и все-таки после моей тяжелой болезни в 1902 году я опять серьезно говорила с нашими директорами о своем уходе из театра, но встретила сильный отпор. Антон Павлович тоже восставал, хотя и воздерживался от окончательного решения. Я понимала причину его сдержанности, но никогда мы не трогали ее словами и не говорили о том, что мешало нам до конца соединить жизнь, и только в письмах у меня появлялись недоговоренности, и подозрительность, и иногда раздражение.

Так и потекла жизнь - урывками, с учащенной перепиской в периоды разлуки.

С этой поры жизнь Антона Павловича больше, чем прежде, делится между Москвой и Ялтой. Начались частые встречи и проводы на Курском вокзале и на вокзале в Севастополе. В Ялте ему "надо" было жить, в /699/ Москву "тянуло" все время. Хотелось быть ближе к жизни, наблюдать ее, чувствовать, участвовать в ней, хотелось видеть людей, которые хотя иногда и утомляли его своими разговорами, но без которых он жить не мог: не в его силах было отказывать человеку, который пришел с тем, чтобы повидать его и побеседовать с ним.

В Ялте привлекали сначала только постройка дома, разбивка сада, устройство жизни, а впоследствии он свыкся с ней, хотя и называл ее своей "теплой Сибирью". В Москву все время стремился, стремился быть ближе к

театру, быть среди актеров, ходить на репетиции, болтать, шутить, смотреть спектакли, любил пройтись по Петровке, по Кузнецкому, посмотреть на магазины, на толпу. Но в самый живой период московской жизни ему приходилось быть вдали от нее. Только зиму 1903-1904 года доктора разрешили ему провести в столице, и как он радовался и умилялся на настоящую московскую снежную зиму, радовался, что можно ходить на репетиции, радовался, как ребенок, своей новой шубе и бобровой шапке.

Мы эту зиму приискивали клочок земли с домом под Москвой, чтобы Антон Павлович мог и в дальнейшем зимовать близко от нежно любимой Москвы (никто не думал, что развязка так недалека). И вот мы поехали в один солнечный февральский день в Царицыно, чтобы осмотреть маленькую усадьбу, которую нам предлагали купить. Обратно (не то мы опоздали на поезд, не то его не было) пришлось ехать на лошадях верст около тридцати. Несмотря на довольно сильный мороз, как наслаждался Антон Павлович видом белой, горевшей на солнце равнины и скрипом полозьев по крепкому, укатанному снегу! Точно судьба решила побаловать его и дала ему в последний год жизни все те радости, которыми он дорожил: и Москву, и зиму, и постановку "Вишневого сада", и людей, которых он так любил...

Работа над "Вишневым садом" была трудная, мучительная, я бы сказала никак не могли понять друг друга, сговориться режиссеры с автором.

Но все хорошо, что хорошо кончается, и после всех препятствий, трудностей и страданий, среди которых рождался "Вишневый сад", мы играли его с 1904 года до наших дней и ни разу не снимали его с репертуара, /700/ между тем как другие пьесы отдыхали по одному, по два, три года.

"Вишневый сад" мы впервые играли 17/30 января 1904 года, в день именин Антона Павловича.

Первое представление "Вишневого сада" было днем чествования Чехова литераторами и друзьями {700}. Его это утомляло, он не любил показных торжеств и даже отказался приехать в театр. Он очень волновался постановкой "Вишневого сада" и приехал только тогда, когда за ним послали.

Первое представление "Чайки" было торжеством в театре, и первое представление последней его пьесы тоже было торжеством. Но как непохожи были эти два торжества! Было беспокойно, в воздухе висело что-то зловещее. Не знаю, может быть теперь эти события окрасились так благодаря всем последующим, но что не было ноты чистой радости в этот вечер 17 января - это верно. Антон Павлович очень внимательно, очень серьезно слушал все приветствия, но временами он вскидывал голову своим характерным движением, и казалось, что на все происходящее он смотрит с высоты птичьего полета, что он здесь ни при чем, и лицо освещалось его мягкой, лучистой улыбкой, и появлялись характерные морщины около рта, - это он, вероятно, услышал что-нибудь смешное, что он потом будет вспоминать и над чем неизменно будет смеяться своим детским смехом.

Вообще Антон Павлович необычайно любил все смешное, все, в чем чувствовался юмор, любил слушать рассказы смешные и, сидя в уголке, подперев рукой голову, пощипывая бородку, заливался таким заразительным смехом, что я

часто, бывало, переставала слушать рассказчика, воспринимая рассказ через Антона Павловича. Он очень любил фокусников, клоунов. Помню, мы с ним как-то в Ялте долго стояли и не могли оторваться от всевозможных фокусов, которые проделывали дрессированные блохи. Любил Антон Павлович выдумывать - легко, изящно и очень смешно, это вообще характерная черта чеховской семьи. Так, в начале нашего знакомства большую роль у нас играла "Наденька", якобы жена или невеста Антона Павловича, и эта "Наденька" фигурировала везде и всюду, ничто в наших отношениях не обходилось без "Наденьки", - она нашла себе место и в письмах{700}. /701/

Даже за несколько часов до своей смерти он заставил меня смеяться, выдумывая один рассказ. Это было в Баденвейлере. После трех тревожных, тяжелых дней ему стало легче к вечеру. Он послал меня пробежаться по парку, так как я не отлучалась от него эти дни, и когда я пришла, он все беспокоился, почему я не иду ужинать, на что я ответила, что гонг еще не прозвонил. Гонг, как оказалось после, мы просто прослушали, а Антон Павлович начал придумывать рассказ, описывая необычайно модный курорт, где много сытых, жирных банкиров, здоровых, любящих хорошо поест, краснощеких англичан и американцев, и вот все они, кто с экскурсии, кто с катанья, с пешеходной прогулки - одним словом, отовсюду собираются с мечтой хорошо и сытно поест после физической усталости дня. И тут вдруг оказывается, что повар сбежал и ужина никакого нет, - и вот как этот удар по желудку отразился на всех этих избалованных людях. Я сидела, прикорнувши на диване после тревоги последних дней, и от души смеялась. И в голову не могло прийти, что через несколько часов я буду стоять перед телом Чехова!

В последний год жизни у Антона Павловича была мысль написать пьесу. Она была еще неясна, но он говорил мне, что герой пьесы - ученый, любит женщину, которая или не любит его, или изменяет ему, и вот этот ученый уезжает на Дальний Север. Третий акт ему представлялся именно так: стоит пароход, затертый льдами, северное сияние, ученый одиноко стоит на палубе, тишина, покой и величие ночи, и вот на фоне северного сияния он видит: проносится тень любимой женщины.

Антон Павлович тихо, покойно отошел в другой мир. В начале ночи он проснулся и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Ощущение чего-то огромного, надвигающегося придавало всему, что я делала, необычайный покой и точность, как будто кто-то уверенно вел меня. Помню только жуткую минуту потерянности: ощущение близости массы людей в большом спящем отеле и вместе с тем чувство полной моей одинокости и беспомощности. Я вспомнила, что в этом же отеле жили знакомые русские студенты - два брата, и вот одного я попросила сбегать за доктором, сама пошла колоть лед, чтобы положить на сердце /702/ умирающему. Я слышу, как сейчас среди давящей тишины июльской мучительно душной ночи звук удаляющихся шагов по скрипучему песку...

Пришел доктор{702}, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): "Ich sterbe..."

Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: "Давно я не пил шампанского...", покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда... И страшную тишину ночи нарушала только как вихрь ворвавшаяся огромных размеров черная ночная бабочка, которая мучительно билась о горящие электрические лампочки и металась по комнате.

Ушел доктор, среди тишины и духоты ночи со страшным шумом выскочила пробка из недопитой бутылки шампанского... Начало светать, и вместе с пробуждающейся природой раздалось, как первая панихида, нежное, прекрасное пение птиц, и донеслись звуки органа из ближней церкви. Не было звука людского голоса, не было суеты обыденной жизни, были красота, покой и величие смерти...

И у меня сознание горя, потери такого человека, как Антон Павлович, пришло только с первыми звуками пробуждающейся жизни, с приходом людей, а то, что я испытывала и переживала, стоя одна на балконе и глядя то на восходящее солнце и на звенящее пробуждение природы, то на прекрасное, успокоившееся, как бы улыбающееся лицо Антона Павловича, словно понявшего что-то, - это для меня, повторяю, пока остается тайной неразгаданности... Таких минут у меня в жизни не было и не будет...

1921-1933 гг.

## ПРИМЕЧАНИЯ\*

\* Письма и ссылки на произведения А.П.Чехова даются по Полному собранию сочинений и писем А.П.Чехова, М. 1944-1951. Ссылки на места хранения неопубликованных рукописей и документов - со следующими условными сокращениями:

Архив Академии наук СССР - ААН

Гос. библиотека СССР имени В.И.Ленина - ГБЛ

Гос. публичная библиотека имени М.Е.Салтыкова-Щедрина - ГПБ

Гос. театральный музей им. А.С.Бахрушина - ГТМ

Институт русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом) -

ИРЛИ

Таганрогский музей А.П.Чехова - ТМЧ

Центральный государственный архив литературы и искусства СССР -

ЦГАЛИ

Тексты воспоминаний, примечания к ним (за исключением оговоренных ниже) и указатель имен подготовила Н.И.Гитович. (И.В.Федоровым подготовлены тексты воспоминаний М.П.Чехова, И.Е.Репина, И.Н.Потапенко,

С.Я.Елпатьевского, Г.И.Россолимо, О.Л.Книппер-Чеховой и примечания к ним; А.Л.Лессом - воспоминания Л.Н.Шаповалова.)

Использованные в примечаниях к воспоминаниям М.К.Первухина и М.А.Членова выдержки из статьи В.Г.Короленко и его неопубликованных дневников сообщены А.В.Храбровицким.

## **Ал.П.ЧЕХОВ**

### **[ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ А.П.ЧЕХОВА]**

Чехов Александр Павлович (1855-1913) - старший брат А.П.Чехова, журналист и беллетрист. Окончил физико-математический факультет Московского университета по естественному и математическому отделениям.

Литературную деятельность начал в студенческие годы в московских юмористических журналах и газетах. С 1886 года - постоянный сотрудник "Нового времени", где печатал свои рассказы, /706/ очерки и статьи по различным общественно-бытовым вопросам. Сотрудничал также в "Осколках", "Новостях дня", "Новороссийском телеграфе" и др. изданиях под псевдонимами: А.Седой, Алоэ, Агафопод, Агафопод Единицын. Отдельными изданиями вышли: "Святочные рассказы", Спб. 1897; "Княжеские бриллианты", Спб. 1904; "Коняга", Спб. 1913, и др. Несколько книг посвящено специальным вопросам: "Исторический очерк пожарного дела в России", Спб. 1892; "Алкоголизм и возможная с ним борьба", Спб. 1897, и др. Некоторое время Ал.П.Чехов служил в таможнях в Таганроге, Новороссийске и Петербурге. Был редактором журналов "Слепец", "Пожарный", "Вестник русского общества покровительства животным".

Детство и гимназические годы Александра Павловича протекали, так же как и Чехова, в Таганроге. Об этих годах жизни он впоследствии написал несколько очерков-воспоминаний: "Чехов в греческой школе" ("Вестник Европы", 1907, кн. IV); "А.П.Чехов - певчий" ("Вестник Европы", 1907, кн. X); "Антон Павлович Чехов - лавочник" ("Вестник Европы", 1908, кн. XI); "В гостях у дедушки и бабушки" (Спб. 1912); "Из детства Антона Павловича Чехова" (Спб. 1912).

Имеются также воспоминания Ал.П.Чехова: "Первый паспорт Антона Павловича Чехова" ("Русское богатство", 1911, N 3) и "В Мелихове" ("Нива", 1914, N 26).

Ал.П.Чехов состоял в постоянной переписке с Чеховым. Известны двести писем к нему Чехова (за 1875-1904 годы). Письма Ал.П.Чехова изданы отдельной книгой ("Письма А.П.Чехову его брата Александра Чехова", М. 1939), в которую вошли триста девятнадцать писем за те же годы. Некоторое количество писем Ал.П.Чехова к Чехову осталось неопубликованным. Хранятся в ГБЛ.



Публикуемые здесь воспоминания ["Из детских лет А.П.Чехова"] объединяют два очерка: "Антон Павлович Чехов - лавочник" и "А.П.Чехов - певчий". Печатаются по текстам, опубликованным в "Вестнике Европы".

Эти воспоминания Ал.П.Чехова вызвали возражения со стороны младших членов семьи Чеховых, которые считали, что в них сильно сгущены мрачные краски их детства. См. М.П.Чехов. Вокруг Чехова, М.- Л. 1933, стр. 36; М.П.Чехова. Из далекого прошлого. Запись Н.А.Сысоева (ГБЛ); письмо И.П.Чехова к М.П.Чеховой от 20 сентября 1909 года (ГБЛ).

Однако воспоминания Александра Павловича совпадают с высказываниями самого Чехова как в письмах, так и в его рассказах современникам. /707/

В письме Ал.П.Чехову от 2 января 1889 года Чехов писал: "...деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать". И позднее - 9 марта 1892 года, И.Л.Щеглову, - в ответ на его восторженный отзыв о школе профессора С.А.Рачинского, сторонника религиозного воспитания детей: "Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание - с церковным пением, с чтением апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным, религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два мои брата среди церкви пели трио "Да исправится" или же "Архангельский глас", на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками. Да, милый! Рачинского я понимаю, но детей, которые учатся у него, я не знаю. Их души для меня потемки. Если в их душах радость, то они счастливее меня и братьев, у которых детство было страданием". По поводу полученного им в детстве религиозного воспитания Чехов писал также А.С.Суворину 17 марта 1892 года: "Вообще, в так называемом религиозном воспитании не обходится дело без ширмочки, которая недоступна оку постороннего. За ширмочкой истязуют, а по сю сторону улыбаются и умиляются". В письме Ал.П.Чехову от 4 апреля 1893 года имеются такие слова: "Детство отравлено у нас ужасами..." (Фраза эта отсутствует в тексте письма Чехова, опубликованного по копии в томе 16 Полного собрания сочинений и писем. Она обнаружена в подлиннике этого письма, поступившего в Архив ИРЛИ уже после выхода Полн. собр. соч.).

По воспоминаниям Вл.И.Немировича Данченко, Чехов никогда не мог простить отцу, что тот его в детстве сек (см. стр. 42).

А.С.Лазарев-Грузинский писал Н.М.Ежову 11-12 января 1887 года, что Чехов рассказывал о "пройденной им суровой школе жизни: был в певчих, торговал, мерз на морозе и т.д. и т.д." (ЦГАЛИ).

В мемуарах "Антон Чехов и литературная Москва 80-х и 90-х годов" (ЦГАЛИ), в главе об Ал.П.Чехове, А.С.Лазарев-Грузинский писал: "Интересны воспоминания о детстве Антона Чехова, напечатанные Александром Павловичем в "Вестнике Европы" и др. журналах. Их обвиняли в сгущении черных красок, в преувеличении отрицательных черт в характере отца. Это едва ли справедливо. То

же самое я слышал от Николая Чехова, который много и откровенно рассказывал мне о тех тяжелых условиях, в которых росли братья Чеховы. /708/

Николай Чехов, который мне очень нравился, был кротким и милым человеком, но и он весь вспыхивал и загорался гневом, когда ему случалось касаться самодурства отца".

Старшие братья, очевидно, острее чувствовали тяжесть семейной обстановки, которая ко времени сознательной жизни младших уже несколько смягчилась. Еще в 1898 году Ал.П.Чехов в письме к Михаилу Павловичу вспоминал таганрогский период их жизни: "Что это была за дьявольщина. Это было сплошное татарское иго без просвета, с торговой депутацией и стремлением к медалям во главе. Медаль! Какую она роль играла в нашей семье. Мозга не было, а честолюбие было громадное. Из-за медали и детство наше погибло... С давящей тоской я оглядываюсь на свое детство" (ГБЛ).

Стр. 63. ...перевез семью. - См. воспоминания М.П.Чехова на стр. 75, 81-82.

Стр. 67. ...система преподавания... толстовская... - В 1865-1880 годах министром народного просвещения был Д.А.Толстой, проводивший реакционную систему преподавания.

Стр. 68. ...последние годы - ошибка: не последние годы, а последние месяцы.

## **М.П.ЧЕХОВ**

### **АНТОН ЧЕХОВ НА КАНИКУЛАХ**

Чехов Михаил Павлович (1865-1936) - младший брат Чехова, юрист и писатель. Сотрудничал в изданиях: "Детское чтение", "Друг детей", "Свет и тени", "Новости дня", "Будильник" под псевдонимами: М.Богемский, Капитан Кук и др. Отдельными изданиями (в 1903-1906 гг.) выходили некоторые его повести и сборник "Очерки и рассказы" (СПб. 1905 и 1907). Ему принадлежит первый биографический очерк о Чехове (напечатан в шеститомном издании "Письма А.П.Чехова" под редакцией М.П.Чеховой, М. 1912-1916). Автор ряда работ о Чехове биографического характера ("Антон Чехов и его сюжеты", М. 1924; "Вокруг Чехова", М. 1933 и 1959, и др.). Известно сорок одно письмо Чехова к Михаилу Павловичу (1879-1903 гг.). Все письма к Чехову Михаила Павловича (за исключением двух, хранящихся в Архиве А.П.Чехова - ГБЛ) находятся в его семейном архиве, у сына его, Сергея Михайловича.

Печатается по тексту, опубликованному в "Чеховском сборнике", изд. "Об-ва А.П.Чехова и его эпохи", М. 1929.

Стр. 75. ...пять братьев и одна сестра... - Александр, Николай, Антон, Иван, Михаил и Мария Чеховы. /709/

Стр. 83. ...в усадьбу... - Усадьба Зембулатова - хутор Котломино, недалеко от Таганрога.

Стр. 84. ...брата нашей тетушки Марфы Ивановны... - Имеется в виду И.И.Лобода, брат М.И.Морозовой.

..."Свадебный сезон". - Напечатано в журнале "Зритель", 1881, N 18. В карикатурных зарисовках узнали себя таганрогские родственники и знакомые Чеховых.

Стр. 86. "Здесь и полиция..." - из рассказа Чехова "В суде".

Стр. 92. "Я в Абхазии..." - из письма А.С.Суворину от 25 июля 1888 года.

..."красная свитка". - См. повесть Н.В.Гоголя "Сорочинская ярмарка" (1831).

...писал А.Н.Плещееву - 27 августа 1888 года.

Стр. 96... инсценированных его рассказов. - По поводу одного из таких спектаклей, 15 июля 1891 года, Чеховым написана шуточная рецензия (см. т. 7).

## **В.А.СИМОВ**

### **ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ЧЕХОВЕ**

Симов Виктор Андреевич (1858-1935) - художник, декоратор Московского Художественного театра со дня его основания; заслуженный деятель искусств.

В.А.Симовым написаны декорации к пьесам Чехова, поставленным Художественным театром при жизни писателя. В Архиве А.П.Чехова имеется письмо к нему Симова от января 1899 года, в котором он, вспоминая встречи с Чеховым в декорационных мастерских частной оперы Мамонтова, пишет о своей работе над декорациями к "Чайке": "Прошло пятнадцать лет, и мог ли я думать, что буду проникаться и писать декорацию и для Вашего чудного и правдивого произведения "Чайка", буду радоваться и глотать слезы вместе с людьми, умеющими Вас ценить. Что и на мою долю выпадет частица Вашего громадного успеха и победы над мраком и рутинной" (ГБЛ).

Печатается по рукописи (МХАТ).

Стр. 98. Частная русская опера основана С.И.Мамонтовым в 1885 году.

Стр. 103. ...с картинами Перова (1882)... - Картины "Проповедь в селе" и "Сельский крестный ход на пасхе" написаны в 1861 году, "Чаепитие в Мытищах" - в 1862 году.

Передвижники - русские художники-реалисты (И.Н.Крамской, /710/ И.Е.Репин, В.И.Суриков, Г.Г.Мясоедов, И.И.Левитан, В.Г.Перов и др.),

входившие в прогрессивную организацию "Товарищество передвижных художественных выставок" (1870-1923).

## **В.А.ГИЛЯРОВСКИЙ**

### **ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ ЛЮДИ**

Гиляровский Владимир Алексеевич (1833-1935) - поэт, беллетрист и журналист. Прежде чем стать писателем, Гиляровский вел скитальческую жизнь и брался за всякую работу: был бурлаком, пожарником, бродячим актером и др. В 1881 году поселился в Москве, начал сотрудничать в юмористических журналах, помещал репортерские заметки в газетах. Печатал стихи, фельетоны, очерки, рассказы под своей фамилией и псевдонимами: Дядя Гиляй, Генерал Гиль, Джура и др. О своих скитаниях и встречах рассказал в нескольких книгах: "Москва и москвичи", М. 1922; "Мои скитания", М. 1928; "Друзья и встречи", М. 1934; "Люди театра", М. 1941.

С Чеховым познакомился, вероятно, в 1883 году. Знакомство и переписка продолжались до конца жизни Чехова, но известны только шесть писем Чехова Гиляровскому. В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) имеется тридцать девять писем к нему Гиляровского 1884-1904 годов.

Гиляровский неоднократно писал о Чехове. См. "О Чехове" ("Русское слово", 1904, NN 186 и 188); "Заметки" ("Голос Москвы", 1910, N 13, 17 января); "Веселые дни А.П.Чехова" ("Заря", 1914, N 26); "Мои воспоминания" ("Голос Москвы", 1914, N 151, 2 июля); глава "Антоша Чехонте" (в книге "Друзья и встречи", М. 1934).

Эта же глава с дополнениями, сделанными по рукописи В.А.Гиляровского, под названием "Жизнерадостные люди", напечатана в последних изданиях его книги "Москва и москвичи", М. 1955 и 1959.

Печатается по тексту последнего издания.

Стр. 104. ...писать о них было легко. - См. книгу Гиляровского "Мои скитания", М. 1928, стр. 26-30 и 56-58.

Стр. 105. ..."Пестрые рассказы"... - Первая книжка рассказов Чехова "Сказки Мельпомены" вышла в 1884 году. Первое издание сборника "Пестрые рассказы" - в 1886 году.

Заглавие было другое... - Первоначальное заглавие рассказа Чехова "Каштанка" - "В ученом обществе". Под этим названием напечатан в "Новом времени", 1887, 25 декабря. См. также прим. к стр. 111. /711/

...напечатана "Степь"... - Повесть "Степь" напечатана в "Северном вестнике", 1888, кн. 3.

Стр. 108. ...мы с тобой... познакомились. - Чехов был на собрании Гимнастического общества 24 сентября 1883 года. В этот день, возможно, и состоялось его знакомство с Гиляровским.

Стр. 109. ...писал заметки об этом процессе... под псевдонимом "Рувер". - Судебный процесс по делу Рыкова, вызванный крахом банка в Скопине Московской губ., начался 22 ноября 1884 года. Чехов присутствовал на всех заседаниях и посылал корреспонденции ("Дело Рыкова и комп.") в "Петербургскую газету", где они печатались в ноябре и декабре 1884 года (NN 325-338, 340).

Стр. 110. ...приказчиком у галантерейщика Гаврилова... - П.Е.Чехов служил конторщиком в амбаре купца Гаврилова.

Стр. 111. ...послужило темой для "Каштанки". - Об истории сюжета "Каштанки" рассказывает В.Л.Дуров: "Каштанка" была молоденькая рыжая собачка, которой пришлось быть первой из дрессированных мною собак. До того, как она попала ко мне, ее хозяином был бедный столяр. Каштанка заблудилась, потеряла хозяина и попала ко мне на выучку.

Ее история послужила содержанием для знаменитого рассказа А.П.Чехова "Каштанка" (В.Л.Дуров. Мои звери, М. 1927, стр. 14). См. также В.Демченко. История "Каштанки" - "Таганрогская правда", 1956, N 138, 10 июля.

Стр. 113. ...в театре Корша. - Пьеса "Иванов" вышла в литографированном издании московской театральной библиотеки Е.Н.Рассохиной в декабре 1887 года. В московском театре Корша премьера состоялась 19 ноября 1887 года.

Стр. 114. ..."Невинные речи". - Сборник юмористических рассказов Чехова "Невинные речи" вышел в издании журнала "Сверчок" в 1887 году.

Единственный экземпляр... я подарил жене. - Книга В.А.Гиляровского "Трущобные люди" печаталась в 1887 году; была сожжена по решению цензурного комитета. Впервые издана по сохранившемуся экземпляру Гослитиздатом в 1957 году.

Стр. 117. ...когда они жили на Большой Якиманке - с октября 1885 до августа 1886 года.

Стр. 118. В 80-х годах Антон Павлович купил... Мелихово... - Мелихово было приобретено в начале 1892 года.

Стр. 119. ...бывший тогда еще гимназистом... - М.П.Чехов в это время уже окончил университет.

...Алеша Чехов. - Гиляровский имел в виду А.А.Долженко, племянника Е.Я.Чеховой.

...случайно уцелевшая открытка - от конца марта 1893 года. /712/

..."Люди четвертого измерения". - Имеется в виду фельетон "Люди четвертого измерения (Вечер смеха и забавы)" по поводу реферата С.В.Потресова о символистах ("Русское слово", 1903, N 78, 20 марта).

Стр. 122. ...в собрании писем, изданных Марией Павловной... - Имеется в виду 5-й том "Писем А.П.Чехова", М. 1915.

Стр. 126. ...домовладелец Моисеев платил... с четырехсот рублей в год возвысил до восьмисот. - Здесь допущена неточность. Чеховы с 1874 года жили в

собственном доме. Постройка этого дома, наряду с убыточной торговлей, резко подорвала материальное положение семьи.

Стр. 129. "И какой-то Бабакай". - Четверостишие В.А.Гиляровского:

Край, друзья, у вас премилый,  
Наслаждайся и гуляй,  
Шарик, Тузик косорылый  
И какой-то Бабакай -

написанное им на косяке, сохранялось в течение многих лет и случайно было закрашено маляром во время ремонта ялтинского дома.

Стр. 131. "Идет казацкой силы рать..." - из поэмы Гиляровского "Запорожцы".

**В.Г.КОРОЛЕНКО**

## АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

Короленко Владимир Галактионович (1853-1921) - писатель.

Воспоминания написаны вскоре после смерти Чехова, в июле 1904 года. Им предшествовала запись в дневнике В.Г.Короленко от 6 июля 1904 года: "Вчера из Новороссийска мне прислали телеграмму: в Баденвейлере (Шварцвальд) умер от чахотки А.П.Чехов. Я знал Чехова с 80-х годов и чувствовал к нему искреннее расположение. Думаю, что и он тоже. Он был человек прямой и искренний, а иные его обращения ко мне дышали именно личным расположением. В писательской среде эти чувства всегда очень осложняются. Наименее, пожалуй, сложное чувство (если говорить не о самых близких лично и по направлению людям) было у меня к Чехову, и чувство, которое я к нему испытывал, без преувеличения можно назвать любовью" (ГБЛ).

В день своего пятидесятилетия, 15 июля 1903 года, Короленко получил от Чехова телеграмму следующего содержания: "Дорогой, любимый товарищ, превосходный человек, сегодня с особенным чувством вспоминаю Вас. Я обязан Вам многим. Большое спасибо"; /713/ 29 июля того же года Короленко писал Н.Ф.Анненскому: "Это одна из особенно приятных для меня телеграмм, потому что я его давно люблю... А человек он правдивый..." (В.Г.Короленко. Избранные письма, т. 2, М. 1933, стр. 182).

Высокая оценка Чеховым Короленко как человека и писателя известна из опубликованных писем Чехова. Вспоминает и Ф.Д.Батюшков свою беседу с Чеховым о Короленко в 1903 году - Чехов говорил о сдержанном и недоверчивом отношении Л.Н.Толстого к Короленко как писателю. "Но я нашел чем победить его предубеждение, - поспешил заявить Антон Павлович. - Вы помните, конечно,

очерки у казаков... там есть сцена в трактире... Превосходная. Я дал ее прочесть Льву Николаевичу... Никакой выдумки, все верно, правдиво, ярко" ("Современная иллюстрация", 1913, N 7). Высказывания Короленко о Чехове см. также на стр. 788 и в прим. к стр. 642.

Переписка Чехова и Короленко полностью опубликована. См. "Чехов и Короленко", М. 1923.

Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в издании: В.Г.Короленко. Собр. соч., т. 8, М. 1955.

Стр. 135. ...в 1886 или в начале 1887 года... - Время первой встречи Чехова и Короленко точно не установлено; возможно, она состоялась в феврале 1887 года, когда Короленко был в Москве проездом из Н.-Новгорода в Петербург. В письмах Чехова упоминается о второй встрече с Короленко, состоявшейся в конце сентября или начале октября 1887 года. 6-8 октября Чехов писал Ал.П.Чехову: "...у меня был Короленко. Я проболтал с ним три часа и нахожу, что это талантливый и прекраснейший человек". 17 октября того же года Чехов писал Короленко: "...я чрезвычайно рад, что познакомился с Вами... читая Вас и теперь познакомившись с Вами, я думаю, что мы друг другу не чужды".

...виньетку эту... - Эта виньетка была нарисована Ф.О.Шехтелем; с ней вышла часть тиража сборника "Пестрые рассказы" в изд. журнала "Осколки".

...и в общем это был большой успех. - Сборник "Пестрые рассказы", изд. журнала "Осколки", вышел в мае 1886 года. В течение июня - декабря в газетах, юмористической прессе и толстых журналах появилось множество отзывов о книге, как положительных, так и отрицательных, создавших ей большой успех. 18 января 1887 года Чехов писал М.Г.Чехову: "...в Петербурге я теперь самый модный писатель. Это видно из газет и журналов, которые в конце 1886 года занимались мной, трепали на все лады мое имя и превозносили меня паче заслуг". /714/

Стр. 136. ...Григорович... едва ли не от него узнал о Чехове Суворин... - 25 марта 1886 года Д.В.Григорович писал Чехову: "Около года тому назад я случайно прочел в "Петерб. газете" Ваш рассказ, названия его теперь не припомню, помню только, что меня поразили в нем черты особенной своеобразности, а главное - замечательная верность, правдивость в изображении действующих лиц и также при описании природы. С тех пор я читал все, что было подписано Чехонте, хотя внутренне сердился на человека, который так еще мало себя ценит, что считает нужным прибегать к псевдониму. Читая Вас, я постоянно советовал Суворину и Буренину следовать моему примеру. Они меня послушали и теперь, вместе со мною, не сомневаются, что у Вас настоящий талант, - талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколения..." ("Слово", сб. второй, М. 1914, стр. 199).

...написано из-за границы. - Имеется в виду письмо Григоровича из Ниццы от 30 декабря 1887 года ("Слово", сб. второй, М. 1914, стр. 206-210), которое было не показано, а послано Чеховым Короленко 9 января 1888 года. "Из него Вы увидите, - писал Чехов, - что литературная известность и хороший гонорар

несколько не спасают от такой мещанской прозы, как болезни, холод и одиночество: старик кончает жизнь".

Стр. 138. ... "По пути"... - Имеется в виду рассказ "На пути" ("Новое время", 1886, N 3889, 25 декабря).

Ни о ком... из сверстников Михайловский не писал так много, как о Чехове... - За время с 1887 по 1902 год Н.К.Михайловский напечатал ряд статей о Чехове: "Новые книги" [О сборнике "В сумерках"] - "Северный вестник", 1887, кн. 9; "Случайные заметки" [о пьесе "Иванов"] - "Русские ведомости", 1889, N 133; "Письма о разных разностях" [О сборнике "Хмурые люди"] - "Русские ведомости", 1890, N 104 (в собрании сочинений Н.К.Михайловского эта статья озаглавлена: "Об отцах и детях и о г.Чехове"); "Палата N 6" - "Русские ведомости", 1892, N 335; "Литература и жизнь" [О повести "Мужики"] - "Русское богатство", 1897, N 6; "Литература и жизнь. О страшной силе г.Новус'а, о моей робости и некоторых недоразумениях" [О повести "Мужики"] - "Русское богатство", 1897, N 11; "Литература и жизнь. Еще кое-что по поводу современной беллетристики" - "Русское богатство", 1899, N 2; "Литература и жизнь. Кое-что о Чехове" - "Русское богатство", 1900, N 4; "Литература и жизнь. О повестях и рассказах гг. Горького и Чехова" - "Русское богатство", 1902, N 2.

Стр. 139. ...оставляет голову клиента недостриженной... - Имеются в виду рассказы Чехова "Умный дворник" (первоначально: /715/ "Мораль") и "В циркульне" (первоначально: "Драма в циркульне") - в журнале "Зритель", 1883, NN 16 и 10.

Стр. 140. ...очерк "Святою ночью" - напечатан в газете "Новое время", 1886, 13 апреля.

...в назначенный день... - Встреча состоялась, вероятно, в первых числах декабря 1887 года.

Стр. 141. ... "Степь". - Повесть напечатана в "Северном вестнике", 1888, кн. 3.

"...пахнет степными цветами и травами"... - Имеются в виду строки о "Степи" в письме А.Н.Плещееву от 3 февраля 1888 года: "Пока писал, я чувствовал, что пахло около меня летом и степью".

Стр. 142. Он... приехал в Нижний... - О встрече Чехова с Короленко в Н.-Новгороде сведений не имеется. Она могла состояться в январе 1892 года, когда Чехов был в Н.-Новгороде проездом на ст. Богоявление Нижегородской губ., по делам организации помощи голодающим.

...за писанием драмы. - Короленко посетил Чехова в конце сентября или первых числах октября 1887 года, когда Чехов заканчивал пьесу "Иванов" (пьеса была окончена 5 октября 1887 года).

Стр. 143. ...Чехов переделывал несколько раз... - Дразу "Иванов" Чехов несколько изменил после первого спектакля в театре Корша (ноябрь 1887 года) и внес значительные изменения в январе 1889 года перед постановкой ее в Александринском театре. "Всю неделю я возился над пьесой, строчил варианты, поправки, вставки, сделал новую Сашу (для Савиной), изменил IV акт до неузнаваемости, отшлифовал самого Иванова", - писал Чехов А.Н.Плещееву 15 января 1889 года.



В феврале, после первого спектакля "Иванова" в Александринском театре, Чехов внес в пьесу дополнительные исправления.

Стр. 144. ...рассказ "Именины" - напечатан в "Северном вестнике", 1888, кн. 11.

...Чехов... выражает недовольство этим рассказом. - Повесть "Огни" напечатана до "Именин" в "Северном вестнике", 1888, кн. 6. О своем недовольстве этим произведением Чехов писал И.Л.Щеглову 18 апреля 1888 года: "Я оканчиваю скучнейшую повестушку. Вздумал пофилософствовать, а вышел канифоль с уксусом". См. также письмо Плещееву от 9 апреля 1888 года.

..."В сумерках"... "Хмурые люди"... - Сборник "В сумерках" вышел в 1887 году, сборник "Хмурые люди" - в 1890 году.

..."Палата N 6"... - повесть напечатана в журнале "Русская мысль", 1892, кн. 11.

"Жаль только: жить в эту пору прекрасную..." - из стихотворения Н.А.Некрасова "Железная дорога" (1865). /716/

Стр. 145. Мы вместе с ним отправились... - Встреча состоялась в Петербурге 2 декабря 1887 года.

Стр. 146. ...его омраченной жизни... - В.М.Гаршин, в состоянии психического расстройства, покончил жизнь самоубийством; умер 24 марта 1888 года.

Я недавно вернулся из Сибири... - В.Г.Короленко вернулся из сибирской ссылки в декабре 1884 года.

Стр. 147. ...в редакции "Русской мысли". - Встречи с Чеховым были: в феврале 1896 года в Петербурге и в апреле 1897 года в Москве (в редакции "Русской мысли").

...для разговора об одном общем заявлении. - Чехов и Короленко, после совместного обсуждения, подали заявления в Академию наук о своем отказе от звания почетных академиков, в знак протеста против исключения, по распоряжению Николая II, из состава академиков М.Горького.

Стр. 148. ..."Крестьянин". - Роман немецкого писателя В.Поленца "Крестьянин" вышел в издании "Посредник", М. 1902, с предисловием Л.Н.Толстого.

## **И.Е.РЕПИН**

### **О ВСТРЕЧАХ С А.П.ЧЕХОВЫМ**

Репин Илья Ефимович (1844-1930).

Чехов и Репин встречались и переписывались лишь изредка. В 1899 году, по просьбе переводчика Д.Роша, Репин сделал рисунок к рассказу Чехова "Мужики" для французского издания этого произведения (в журнале "Revue

illustree"). Позднее рисунок этот был подарен Репиным Чехову (в настоящее время хранится в ТМЧ).

В своих письмах Репин восторженно отзывается о Чехове и его произведениях. (См., напр., И.Е.Репин и Л.Н.Толстой, I, Переписка, М.- Л. 1949, стр. 73, 75.)

Чехов в свою очередь был горячим почитателем Репина, ставил его на третье место в русском искусстве, вслед за Л.Н.Толстым и П.И.Чайковским (см. письмо Чехова М.И.Чайковскому от 16 марта 1890 года). Известно одно письмо Чехова к Репину. В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) имеются четыре письма к нему Репина 1893, 1895, 1897 и 1901 гг. (Опубликованы в книге: И.Е.Репин. Письма к писателям и литературным деятелям, М. 1950.)

Печатается по тексту, опубликованному в газете "Одесские новости", 1910, 16 января.

Стр. 149. ...он увлекся воспоминанием своей практики земского врача. - Случай, о котором Чехов рассказал Репину, произошел в /717/ июне 1884 года возле города Воскресенска. См. письмо Чехова Н.А.Лейкину от 27 июня 1884 года.

...мне удалось сделать с него очень удачный набросок... - Упомянутый набросок сделан Репиным в Русском литературном обществе в конце 80-х - первой половине 90-х годов.

## **А.С.ЛАЗАРЕВ-ГРУЗИНСКИЙ**

### **А.П.ЧЕХОВ**

Лазарев Александр Семенович (1861-1927) - писатель. Окончил Строгановское училище в Москве и в течение ряда лет был преподавателем рисования и черчения. Литературную деятельность начал в середине 80-х годов. Сотрудничал в "Осколках", "Будильнике", "Петербургской газете", "Новом времени", "Ниве" и других изданиях, главным образом под псевдонимом: А.Грузинский.

Отдельно изданы: "Нескучные рассказы", Спб. 1891, и "Женщины. Рассказы", М. 1911.

С Чеховым познакомился в конце 1886 года. Отношения и переписка поддерживались до конца жизни Чехова. Известны тридцать три письма Чехова Лазареву-Грузинскому (1887-1904 гг.). В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) имеется шестьдесят одно письмо к нему Лазарева-Грузинского за те же годы.

Лазарев-Грузинский много раз писал о Чехове: "О Чехове" ("Русская правда", 1904, N 99, 11 июля); "Шипы и тернии в жизни Чехова" ("Южный край", 1904, N 8155, 18 июля); "Антон Чехов" ("Солнце России", 1914, N 228/25, июнь);

"Антон Чехов" ("Южный край", 1914, N 12136, 2 июля); "Воспоминания" ("Русское слово", 1914, N 151, 2 июля); "Пропащие романы и пьесы Чехова" ("Энергия", сб. третий, Спб. 1914) и др.

Публикуемые воспоминания - глава из неизданной книги Лазарева-Грузинского "Антон Чехов и литературная Москва 80-х и 90-х годов". Печатается по рукописи (ЦГАЛИ).

Стр. 151. Я пришел к Чехову... в 1887 году... - Первая встреча Лазарева-Грузинского с Чеховым состоялась 31 декабря 1886 года.

..."Агафья", "Ведьма", "Мечты" - напечатаны в "Новом времени" в 1886 году (N 3607, 15 марта; N 3600, 8 марта и N 3849, 15 ноября).

Стр. 152. "Николай шалаберничает..." - из письма от 20-х чисел февраля 1883 года.

На чеховской даче в Крыму? - В ялтинском доме Чехова находится большая картина Н.П.Чехова "Бедность". /718/

"Живем сносно..." - из письма от 17-18 апреля 1883 года.

Стр. 153. "В сумерках"... - Сборник вышел в 1887 году.

...сборник стихотворений Минаева... вышедший... в конце шестидесятых годов. - "В сумерках Сатиры и песни", Спб. 1868.

Стр. 154. ...мы ленивы и нелюбопытны. - См. А.С.Пушкин. "Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года", гл. 2 (1835).

..."Пассажир 1-го класса" - рассказ, напечатанный в 1886 году.

Стр. 155. ...сидя в глуши... - Лазарев-Грузинский был преподавателем учительской семинарии в Киржаче Владимирской губернии.

Стр. 157. ...где около трех лет... аккуратно печатал беллетристические наброски по понедельникам... - В "Петербургской газете" Чехов сотрудничал в 1885-1888 годах.

Стр. 158. ...2-е издание "Сумерек", новую книгу... - В 1888 году, в издании А.С.Суворина, вышли: 2-е издание сборника "В сумерках" и сборник "Рассказы".

..."В ученом обществе" - первоначальное заглавие рассказа "Каштанка" ("Новое время", 1887, 25 декабря); отдельным изданием вышел в 1892 году.

Стр. 163. ...этот монолог не включил. - Монолог "О вреде табака", напечатанный в 1886 году, Чехов переделал в 1902 году для Собрания сочинений. Он писал А.Ф.Марксу 1 октября 1902 года: "В числе моих произведений, переданных Вам, имеется водевиль: "О вреде табака", - это в числе тех произведений, которые я просил Вас исключить из полного собрания сочинений и никогда не печатать. Теперь я написал совершенно новую пьесу под тем же названием "О вреде табака", сохранив только фамилию действующего лица, и посылаю Вам для помещения в VII томе". В архиве И.П.Чехова сохранился подаренный ему Чеховым экземпляр "О вреде табака" (2-е литографированное издание театральной библиотеки Е.Н.Рассохиной, М. 1890), на котором имеется большое количество исправлений Чехова, сделанных им в 1898 году. Эта редакция водевиля приближается к последней.

..."тоже прошел через его цензуру". - Имеется в виду письмо Чехова писательнице Е.М.Шавровой от 20 июня 1891 года.

Во время редактирования Чеховым беллетристического отдела в "Русской мысли"... - Чехов официально считался редактором беллетристического отдела журнала "Русская мысль" с октября 1903 года.

Стр. 164. ...были для меня целым откровением. - Лазарев-Грузинский писал Н.М.Ежову 29 марта 1887 года после своей встречи с Чеховым: "Чехов большой мастер слога и сравнений. Большой мастер. Например, он совершенно справедливо говорит, что это штука нелегкая, нужно работать и работать, и нельзя (т.е. лучше бы /719/ делать иначе) черное называть черным прямо, белое белым прямо. Он говорит: "Плохо будет, если, описывая лунную ночь, вы напишете: с неба светила луна, с неба кротко лился лунный свет и т.п. и т.д. Плохо, плохо! Но скажите вы, что от предметов легли черные резкие тени или что-нибудь подобное - дело выиграет в 100 раз. Желая описать бедную девушку, не говорите: по улице шла бедная девушка и т.п., а намекните, что ватерпруф ее был потрепан или рыжеват, - и картина выиграет. Желая описать рыжеватый ватерпруф, не говорите: на ней был рыжеватый ватерпруф, а старайтесь выразить все это иначе" (ЦГАЛИ).

Стр. 165. "Стройте фразу..." - из письма от 13 марта 1890 года.

Стр. 166. В одном из писем, кажется, к Щеглову... - в письме И.Л.Щеглову от 22 марта 1890 года.

Стр. 167. "Мой знакомый А.И.Иваненко..." - письмо от первой половины сентября 1892 года.

Стр. 168. N - Н.М.Ежов.

Записка без даты - письмо от 15 октября 1892 года.

Стр. 169. Все эти письма... являются в печати впервые. - В настоящее время эти письма опубликованы в Полном собрании сочинений и писем А.П.Чехова.

Один из русских писателей... - Имеются в виду воспоминания о Чехове В.Г.Короленко (см. стр. 137).

Стр. 170. "Медведь" - написан Чеховым в феврале 1888 года.

Стр. 171. Писатель - А.К.Детенгоф, печатавшийся в журнале "Наблюдатель" под псевдонимом "Ал. Молотов".

...водевиль "Гамлет, принц датский". - Об этом неосуществленном замысле Чехова Лазарев-Грузинский написал более подробно в статье "Пропавшие романы и пьесы Чехова" ("Энергия", сб. третий, Спб. 1914).

...принять в нем участие... - О замысле этого романа Лазарев-Грузинский писал Ежову 3 апреля 1887 года: "...Курепин хочет летом писать роман с оригинальной идеей. Писать так, чтобы каждая глава представляла некоторый интерес и в отдельности, и писать роман этот в сотрудничестве нескольких лиц" (ЦГАЛИ).

Стр. 172. ...пропавших романах и пьесах Чехова... - ("Энергия", сб. третий, Спб. 1914).

"Творчество стыдливо..." - См. стр. 309.

Стр. 173. ...К.С.Баранцевич... рассказывает... - Воспоминания К.С.Баранцевича "На лоне природы с А.П.Чеховым" см. в газете "Биржевые ведомости", 1905, 2 июля.

Об этом же свидетельствуют и воспоминания поэта Р.А.Менделевича, заставшего Чехова за писанием "Степи": "Прихожу как-то вечером к Антону Павловичу, смотрю: на письменном столе лист /720/ исписан только наполовину, а сам Антон Павлович, засунув руки в карманы, шагает по кабинету:

- Вот никак не могу схватить картину грозы! Застрял на этом месте!

Через неделю я опять был у него, и опять тот же наполовину исписанный лист на столе.

- Что же, написали грозу? - спрашиваю у Антона Павловича.

- Как видите, нет еще. Никак подходящих красок не найду"

(Р.А.Менделевич. Ключки воспоминаний, "Раннее утро", 1914, N 151).

..."Сирена"... - Рассказ напечатан в "Петербургской газете", 1887, 24 августа.

...все монахи покинули монастырь. - Имеется в виду "Сказка", напечатанная в "Новом времени" 1 января 1888 года. В Собрании сочинений этот рассказ назван "Без заглавия".

Стр. 174. Записная книжка. - Эта ранняя записная книжка Чехова не сохранилась.

Стр. 175. ...в его книге о Чехове... - Имеется в виду книга А.Измайлова "Чехов. Биографический набросок", М. 1916.

Стр. 176. ...а затем старая дружба... не прерывалась... в течение шести или семи лет. - Об этом рассказывает в своих воспоминаниях Т.Л.Щепкина-Куперник: "...я зимой собралась в Мелихово и по дороге заехала к Левитану, обещавшему показать мне этюды, написанные им летом на Удомле, где мы вместе жили... Когда Левитан узнал, куда я еду, он стал, по своей привычке, длительно вздыхать и говорить, как тяжел ему этот глупый разрыв и как бы ему хотелось туда по-прежнему поехать.

- За чем же дело стало? - говорю с энергией и стремительностью молодости. - Раз хочется - так и надо ехать. Поедьте со мной сейчас!

- Как? Сейчас? Так вот и ехать?

- Так вот и ехать, только руки вымыть! (Он был весь в красках.)

- А вдруг это будет некстати? Вдруг он не поймет?

- Беру на себя, что будет кстати! - безапелляционно решила я.

Левитан заволновался, зажегся - и вдруг решился. Бросил кисти, вымыл руки, и через несколько часов мы уже подъезжали к мелиховскому дому.

Всю дорогу Левитан волновался, протяжно вздыхал и с волнением говорил:

- Танечка, а вдруг (он очень приятно грассировал) мы глупость делаем? / 721/

Я его успокаивала, но его волнение заражало и меня, и у меня невольно стало сердце екатъ: а вдруг я подведу его под неприятную минуту? Хотя, с другой стороны, зная А.П., уверена была, что этого не будет.

И вот мы подъехали к дому, залаяли собаки, выбежала на крыльцо Маша, вышел закутанный А.П., в сумерках взгляделся - кто со мной? Маленькая пауза - потом крепкое рукопожатие... и заговорили о самых обыкновенных вещах, о дороге, о погоде, точно ничего и не случилось.

Это было началом возобновления дружеских отношений, не прерывавшихся уже до смерти Левитана, которого А.П. и навещал и лечил". (См. "Чехов в воспоминаниях современников", изд. 1947, 1952 и 1954 гг.)

Как видно из дневника П.Е.Чехова (ЦГАЛИ), И.И.Левитан и Т.Л.Щепкина-Куперник приехали в Мелихово 2 января 1895 года. Следовательно, разрыв продолжался почти три года. 3 января, уезжая рано утром из Мелихова, Левитан оставил Чехову записку: "Сожалею, что не увижу тебя сегодня. Заглянешь ты ко мне? Я рад несказанно, что вновь здесь у Чеховых. Вернулся опять к тому, что было дорого и что на самом деле не переставало быть дорогим... Жму дружески руку. Твой Левитан" (И.И.Левитан. Письма. Документы. Воспоминания. М. 1956, стр. 50).

...утверждение... что от дома Кувшинниковой Чехову было "категорически отказано"... - См. воспоминания Вяч.А.Фаусека на стр. 198.

Стр. 177. ..."Ариадна" - рассказ, напечатанный в "Русской мысли", 1894, N 12.

Стр. 180. ...выступил со своим "Опытом характеристики" Чехова Н.М.Ежов. - Имеется в виду клеветническая статья Н.М.Ежова "Антон Павлович Чехов (Опыт характеристики)" - "Исторический вестник", 1909, кн. 8.

"Опыт" произвел в прессе тех лет большой шум... - Статья вызвала ряд возражений. Из них Лазарев-Грузинский упоминает статьи: П.Н.Сакулина "Новый взгляд на Чехова" ("Русские ведомости", 1909, N 190), Г.С.Петрова "На барском дворе" ("Русское слово", 1909, N 194) и А.Измайлова "Возвышающий обман и низкие истины (Новые воспоминания о Чехове)" ("Русское слово", 1909, N 187). По поводу статьи Ежова писали также А.В.Амфитеатров, Л.Войтоловский и др.

..."Моя статья о Чехове" - напечатана в "Историческом вестнике", 1909, кн. 11.

Стр. 185. ...писал где-то... - Воспоминания А.Круглова о Чехове напечатаны в газете "Голос Москвы", 1912, N 156. /722/

Стр. 186. С легкой руки артистов Художественного театра... - Имеются в виду воспоминания о Чехове артистов Художественного театра, записанные Л.А.Сулержицким (альманах "Шиповник", кн. 23, П. 1914).

**Вяч.ФАУСЕК**

## МОЕ ЗНАКОМСТВО С А.П.ЧЕХОВЫМ

Фаусек Вячеслав Андреевич известен как журналист. Печатался в "Русских ведомостях", "Современном мире", "Журнале для всех". С Чеховым познакомился в 1894 году. Имеются и другие воспоминания Фаусека о Чехове: "Призраки прошлого" ("Утро", Харьков, 1914, N 2357, 2 июля).

Известно одно письмо Чехова Фаусеку. В Архиве Чехова (ГБЛ) имеется четыре письма к нему Фаусека 1894 и 1898 годов.

Печатается по тексту, опубликованному в газете "Утро", Харьков, 1909, N 781, 2 июля.

Стр. 189. Это было в Ялте в 1893 году... - Знакомство состоялось в марте 1894 года.

...я точно не знаю... - А.И.Звягин познакомился с Чеховым в июле 1889 года, во время его пребывания в Ялте.

Стр. 191. Чехов жил в гостинице "Россия". - В ялтинской гостинице "Россия" Чехов жил с начала марта до начала апреля 1894 года.

Стр. 193. ...моя книжечка - очерки плавания по Средиземному морю... - Вяч. Фаусек. За морским горизонтом. Очерки плавания по Средиземному морю (Из юношеских воспоминаний), Спб. 1894.

...на станцию Лопасня... - С марта 1892 года Чехов жил в имении Мелихово, в 13 верстах от ст. Лопасня.

Стр. 197. Последними уходили Чехов с Радецким. - И.М.Радецкий в письме к М.П.Чеховой от 24 августа 1913 года также вспоминает об этом: "Я часто вспоминаю наш разговор с Антоном Павловичем на набережной, после моего доклада в доме одного учителя, на тему "Мученики темного царства" и "О физическом воспитании детей" (тогда А.П. стоял в гостинице "Россия" с Миролюбовым). Он также печально смотрел на вещи, ибо сердцем чувствовал все зло проклятой русской действительности..." (ГБЛ).

Стр. 198. ...в "Русской мысли" печатались его очерки Сибири... - Имеется в виду произведение Чехова "Остров Сахалин", которое, до выхода отдельным изданием, печаталось в журнале "Русская мысль", 1893, кн. X-XII, и 1894, кн. II, III и V-VII. /723/

Семейство это в одном из последних рассказов Антона Павловича "узнало себя"... - Речь идет о рассказе Чехова "Попрыгунья" (см. воспоминания А.С.Лазарева-Грузинского на стр. 174-177), в сюжете и в деталях которого было некоторое внешнее сходство с жизнью семьи знакомых Чехова Кувшинниковых. М.П.Чехова рассказывала, что А.П.Ленский также "узнал себя" в одном из персонажей "Попрыгуньи" - "толстом актере" - и что из-за этого рассказа прервалась дружба Чехова и с семьей Ленских. (См. М.П.Чехова. Письма к брату А.П.Чехову, М. 1954, стр. 138.)

...я и в мыслях не имел писать портреты с этих моих знакомых! - 29 апреля 1892 года Чехов писал Л.А.Авиловой: "Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей "Попрыгуньи" ("Север", NN 1 и 2), и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика - внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор, а живет она с художником".

...Оболенский очень лестно отзывался об его работах. - Имеется в виду статья Оболенского в журнале "Русское богатство", 1886, N 12 - "Обо всем. Критическое обозрение (Молодые таланты: г.Чехов и г.Короленко. Сравнение между ними)".

По прочтении этой статьи Чехов писал М.В.Киселевой 14 января 1887 года: "...в декабрьской книге "Русского богатства", где печатается Лев Толстой, есть статья Оболенского (два печатных листа) под заглавием "Чехов и Короленко". Малый восторгается мной и доказывает, что я больше художник, чем Короленко... Вероятно, он врет, но все-таки я начинаю чувствовать за собой одну заслугу: я единственный, не печатавший в толстых журналах, писавший газетную дрянь, завоевал внимание вислоухих критиков - такого примера еще не было".

Л.А.АВИЛОВА

### А.П.ЧЕХОВ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Авилова Лидия Алексеевна (урожд. Страхова, 1864-1943) - писательница. Рассказы ее печатались в "Русском богатстве", "Новом слове", "Вестнике Европы", "Русских ведомостях", "Ниве". В 1896 году вышел первый сборник ее рассказов под заглавием: "Счастливец и другие рассказы", Спб.; позднее: "Общее дело", Спб. 1904; "Сын", М. 1906; "Власть и другие рассказы", М. 1906; "Первое горе и другие рассказы", М. 1913; "Образ человеческий (Рассказы)", М. 1914. Сборник "Первое горе" был переиздан после Октябрьской революции (М. 1919). / 724/

Краткие воспоминания Авиловой о Чехове, в которых она рассказывает о своем знакомстве с Чеховым, но которые не раскрывают их отношений, были напечатаны в 1910 году, в газете "Русские ведомости", N 13, 17 января, и в газете "Голос Москвы", N 13, 17 января (Перепечатаны в том же году в сборниках "О Чехове" и "Чеховском юбилейном сборнике".)

Известны тридцать писем Чехова к Авиловой (1892, 1893, 1895-1900 и 1904 гг.). Письма Авиловой Чехову были, по ее просьбе, возвращены ей после смерти Чехова сестрой писателя. В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) случайно остались три письма Авиловой 1904 года.

Публикуемые здесь воспоминания написаны Авиловой в последние годы жизни. Отрывок из них, под заглавием "Последнее свидание", был опубликован в "Литературной газете" (1940, 4 августа). С сокращениями рукопись опубликована в предыдущих изданиях сборника "Чехов в воспоминаниях современников", М. 1947, 1952 и 1954.

Полностью публикуется впервые по авторизованной машинописи, хранящейся в ЦГАЛИ; там же хранится незаконченный отрывок воспоминаний Авиловой, озаглавленный "1904 год" (о ее переживаниях в связи со смертью Чехова).

В воспоминаниях, в виде эпиграфов, даны строки из стихотворения в прозе И.С.Тургенева "Старик" (1878): "...уйди в себя, свои воспоминанья, - и там, глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному



доступная жизнь блеснет перед тобой своей пахучей, все еще свежей зеленью и лаской и силой весны!" и строки из стихотворения А.А.Блока "Осенняя любовь" (1907):

И вот уже ветром разбиты, убиты  
Кусты облетелой ракиты,

И прахом дорожным  
Угрюмая старость легла на ланиты.  
Но в темных орбитах  
Взглянули, сверкнули глаза  
Невозможным...

И радость, и слава -  
Все в этом сиянье бездонном  
И дальном.

Но смятые травы  
Печальны.  
И листья крутятся в лесу обнаженном...

И снится, и снится, и снится:  
Бывалое солнце!  
Тебя мне все жальче и жальче...

О глупое сердце,  
Смеющийся мальчик,  
Когда перестанешь ты биться? /725/

В машинописи эпиграфы перечеркнуты карандашом, но неизвестно кем - автором или первым редактором. Поэтому мы даем их в примечаниях.

Относительно воспоминаний Авиловой - можно ли считать их вполне достоверными, или в них имеются элементы творческого вымысла - существуют различные мнения И.А.Бунина и М.П.Чеховой.

Бунин, хорошо знавший и Чехова и Авилову, написал в подготавливаемой им книге о Чехове:

"Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием.

Я хорошо знал Лидию Алексеевну, отличительными чертами которой были правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора даже над самой собой.

Прочтя ее воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нем приоткрылось.

Я и не подозревал о тех отношениях, какие существовали между ними". (См. книгу И.А.Бунина: "О Чехове. Незаконченная рукопись". Нью-Йорк, 1955, стр. 134.)

"Да, с воспоминаниями Авиловой биографам Чехова придется серьезно считаться", - пишет Бунин в другом месте рукописи (там же, стр. 147).

Иначе к этим воспоминаниям отнеслась М.П.Чехова, которой были известны письма к Чехову Авиловой. М.П.Чехова находила, что в мемуарах Авиловой есть "элементы творчества, художественного - вольного или невольного - домысла писательницы". См. М.П.Чехова. Из далекого прошлого. Запись Н.А.Сысоева (ГБЛ).

В этих воспоминаниях М.П.Чехова привела письмо к ней Авиловой от 20 июля 1904 года.

Авилова писала: "Я вовсе не хочу инсинуировать, что я его хорошо знала, что и я была для него хоть чем-нибудь. Нет, я его, вероятно, плохо знала, но он имел такое влияние на всю мою жизнь, я ему так многим обязана. Не могу писать связно и спокойно. Из жизни исчезло что-то до такой степени красивое, светлое и дорогое. Не до фраз...

...У меня много его писем. Я не знаю, почему он звал меня "матушка". Я не видела его пять лет.

...Я написала Вам, что у меня много его писем. Но я не знаю, как он относился ко мне. Мне это очень тяжело..."

О существовавших между Чеховым и Авиловой каких-то личных отношениях свидетельствует одно из трех сохранившихся писем ее к Чехову. В письме от 9 февраля 1904 года Авилова писала: "...пять /726/ лет. Я бы очень хотела видеть Вас, рассказать Вам и многое снять с себя, что мне так ненавистно. И в особенности в мои годы, когда жизнь прошла - создавать себя все еще смешной и жалкой так тяжело! Точно позор. А я, по совести, не чувствую, что заслужила его.

Простите мне, Антон Павлович, всю эту мою непрошеную откровенность. Я ухватилась за случай, но я не искала его. Я все боялась, что я умру и не успею сказать Вам, что я Вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из людей. И что я же оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло. И это было самое крупное горе моей жизни. Теперь пора это сказать.

Крепко жму Вашу руку. Благодарю Вас, если я даже ошиблась. И помните, мне дорога была бы не только Ваша дружба (я не смею рассчитывать на нее), но каждое Ваше слово хотя бы снисходительного участия. Мне не надо, чтобы Вы меня простили, я хочу, чтобы Вы меня поняли" (ГБЛ).

К публикуемым воспоминаниям Авиловой было написано предисловие: "Ни одного слова выдумки в моем романе нет... Все время, пока я писала, я чувствовала себя связанной страхом увлечься своей фантазией, мечтой, предположением, догадкой и этим исказить правду. Слишком священна для меня память Антона Павловича, чтобы я могла допустить в воспоминаниях о нем хотя какую-нибудь неточность..." Но Авилова передала свои воспоминания в 1940 году для печати без этого предисловия. Оно сохранилось в рукописи, в семье Авиловой (См. полный текст предисловия в т. 68 "Литературного наследства").

Ниже, в примечаниях, оговорены все случаи встречающихся в воспоминаниях фактических неточностей.

Стр. 200. Сестра была замужем за редактором-издателем очень распространенной газеты. - Сестра Л.А.Авиловой - Надежда Алексеевна - была женой редактора-издателя "Петербургской газеты" С.Н.Худекова. В этой газете в 80-х годах сотрудничал Чехов.

Стр. 201. "Гусар, на саблю опираясь..." - из стихотворения К.Н.Батюшкова "Разлука" (1812-1813).

Стр. 202. ...я плакала над Ионой... - Имеется в виду рассказ Чехова "Тоска", напечатанный впервые в "Петербургской газете", 1886, N 26, 27 января.

...он приехал ставить свою пьесу "Иванов"... очень недоволен артистами... - Первое представление пьесы Чехова "Иванов" в Александринском театре состоялось 31 января 1889 года. За несколько дней до спектакля Чехов писал М.П.Чехову: "Актеры играют плохо, из пьесы ничего путного не выйдет, с нудным Давыдовым ссорюсь и мирюсь по 10 раз на день". /727/

Стр. 208. ...25-летний юбилей... газеты. - Празднование юбилея "Петербургской газеты" состоялось 1 января 1892 года в квартире С.Н.Худекова.

Стр. 213. ...печатал толстые романы... - Имеется в виду Н.А.Лейкин.

Стр. 213-214. "Ваше письмо..." - из письма от 19 марта 1898 года.

Стр. 216. ...приехал Антон Павлович Чехов. - Эта третья встреча с Авиловой в Петербурге могла произойти в конце декабря 1892 или начале января 1893 года.

Стр. 219. ...у Лейкиных должны были собраться гости... - Эта встреча с Чеховым состоялась 9 февраля 1895 года.

Стр. 220. Рыбы стоны! - П.Н.Лейкина имела в виду один из эпизодов в рассказе М.Н.Альбова "Рыбы стоны" ("Осколки", 1885, NN 27-31).

Стр. 222. ...Эртелев переулок! - В Эртелевом переулке жил А.С.Суворин. У него остановился Чехов во время своего приезда в Петербург в феврале 1895 года.

Стр. 228. "Рассказ хорош..." - из письма от 21 февраля 1892 года.

...послал вас к этому негодяю?... я ушла со своею рукописью... - По-видимому, этот разговор о Буренине передан не совсем точно, так как на другой день (вероятно, 14 февраля 1895 года) Чехов послал Авиловой книгу с другим письмом, о котором не упомянуто в воспоминаниях:

"Многоуважаемая Лидия Алексеевна!

Вы не правы, говоря, что я у Вас скучал бессовестно. Я не скучал, а был несколько подавлен, так как по лицу Вашему видел, что Вам надоели гости. Мне хотелось обедать у Вас, но вчера Вы не повторили приглашения, и я вывел заключение опять-таки, что Вам надоели гости. Буренина я не видел сегодня и, вероятно, не увижусь с ним, так как постараюсь завтра уехать к себе в деревню. Посылаю Вам книжку и тысячу душевных пожеланий и благословений. Пишите роман.

Искренно преданный А.Чехов".

Кроме того, в Архиве А.П.Чехова имеется письмо к нему В.П.Буренина от 15 февраля 1895 года, из которого видно, что Чехов и сам обращался к нему по поводу рассказов Авиловой: "Авилова прислала мне письмо, - писал Буренин, - которое я прилагаю. Я отвечу ей, что передал Вам рассказы. "Власть" я сейчас прочитал: напечатать, конечно, можно, и еще лучше не печатать. Другого рассказа не помню" (ГБЛ). /728/

Стр. 232... я получила... письмо. - На другой день после встречи было получено не это письмо, а приведенное выше.

Стр. 234. "Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее" - из рассказа Чехова "Соседи" в книге: "Повести и рассказы", изд. Сытина, М. 1894.

Стр. 235. ...не было ни Чехова, ни письма... - В своих воспоминаниях Авилова не пишет о том, что вскоре (в конце февраля) она уехала в Москву, откуда послала Чехову в Мелихово письмо, на которое не получила ответа. В дневнике Н.А.Лейкина, в записях от 7 и 9 марта 1895 года, имеются следующие строки:

"7 марта... сегодня утром прибыл в Москву...

В Москве писательница-дилетантка Лидия Алексеевна Авилова. Она уехала из Петербурга на прошлой неделе... Также заезжал в редакцию "Русская мысль" и узнал, что Антон Чехов у себя в имении в Серпуховском уезде. В пятницу поеду на денек к нему".

"9 марта... поехал в библиотеку Страхова на Плющиху, где остановилась Л.А.Авилова, и пил у нее чай. Она в горе, она десять дней тому назад писала из Москвы Чехову письмо в имение и звала его в Москву, а он ни сам не приехал и не ответил; она справилась в "Русской мысли", в имении ли он теперь, а ей ответили, что уехал в Таганрог, а я сообщил ей, что мне в "Русской мысли" сказали, что он в имении, ждет меня и я завтра еду к нему. Вот ее и горе" (ЦГАЛИ).

Стр. 238. Знала, что и от него не получу больше никогда ничего. - Авилова не пишет, что Чехов, будучи в Петербурге с 3 по 13 января 1896 года, в день своего отъезда в Москву получил от нее книгу: "Счастливец и другие рассказы", Спб. 1896, с надписью: "Гордому мастеру от подмастерья. Л.Авилова, 12 января 96 г."; 17 января Чехов ответил ей из Мелихова: "...я должен был неожиданно уехать из Петербурга - к великому моему сожалению. Узнав от Надежды Алексеевны, что Вы издали книжку, я собрался было к Вам, чтобы получить детище Ваше из собственных Ваших рук, но судьба решила иначе: я опять на лоне природы.

Книжку Вашу получил в день своего отъезда. Прочесть ее еще не успел и потому могу говорить только об ее внешности: издана она очень мило и выглядит симпатично.

После 20-25, кажется, я опять поеду в Петербург и тогда явлюсь к Вам, а пока позвольте пожелать Вам всего хорошего. Почему Вы называли меня "гордым" мастером? Горды только индюки.

Гордому мастеру чертовски холодно. Мороз 20®.

Ваш А.Чехов.

Я сегодня именинник - и все-таки мне скучно". /729/

Стр. 239. Я подошла к Антону Павловичу. - Встреча на маскараде была, по-видимому, 27 января. О пребывании Чехова в это время в Петербурге Авилова должна была знать из его письма от 17 января (см. выше).

Стр. 243. ...один билет. - Речь идет о первом представлении "Чайки" в Александринском театре - 17 октября 1896 года.

Стр. 246. Пьеса с треском проваливалась. - В дневнике Н.А.Лейкина имеется запись, сделанная 17 октября 1896 года: "Сейчас вернулся из Александринского театра с первого представления новой пьесы А.П.Чехова "Чайка", которая шла в бенефис Е.Н.Левкеевой. Пьеса успеха не имела, завтра, пожалуй, развонят во всех газетах, что пьеса провалилась. Рецензенты с каким-то злорадством ходили по коридорам и буфету и восклицали: "Падение таланта", "Исписался". Пьесе даже шикали, когда после второго акта раздалось несколько голосов, требовавших автора. По-моему, в том, что дал для сцены Чехов, нет пьесы, но есть совершенно новые типы и характеры, хотя и не особенно ярко намеченные. Это набросок пьесы - и только. Видно также, что Чехов стремился быть как можно более оригинальным. Ни банальностей, ни общих мест никаких, а публика Александринского театра любит банальности и общие места. Дай эту рукопись Чехова хоть самому заурядному драматическому писателю, и он, накачав в нее эффектных банальностей и общих мест, сделает пьесу, которая понравится" (ЦГАЛИ). См. также воспоминания И.Л.Щеглова (гл. III) в предыдущих изданиях настоящего сборника.

...Нина... протянула ему медальон... - Судя по письму В.Ф.Коммиссаржевской Чехову от начала мая 1897 года (ГБЛ) и ответному письму Чехова от 20 мая 1897 года, медальон, подаренный Чехову Авиловой, был передан им Коммиссаржевской для спектаклей "Чайка".

Стр. 259. ...корректуру - повести "Мужики", печатавшейся в апрельской книжке "Русской мысли".

Стр. 261. ...такую печать. - Имеются воспоминания М.О.Меньшикова, в которых он писал, что на его вопрос - откуда эта печать, Чехов ответил: "Это печать моего отца. Когда дед увидел ее у отца, он сказал: "Надо женить Павла", и его женили" ("Новое время", 1904, 11 июля).

Стр. 264. ...пойду его навестить. - Л.Н.Толстой посетил Чехова в клинике 28 марта 1897 года.

Стр. 268. ...рассказ... "Шутка". - Имеется в виду рассказ Чехова "Шуточка" ("Сверчок", 1885, 12 марта).

Стр. 269. "За границей..." - из письма от 6 октября 1897 года. /730/

"Пока была холодная погода..." - окончание письма к Л.А.Авиловой от 3 ноября 1897 года.

Стр. 269-270. "Ах, Лидия Алексеевна..." - письмо от 3 ноября 1897 года.

Стр. 270. ...в конце июля я получила... следующее письмо. - После возвращения из-за границы Чехов писал Авиловой также 10 июля 1898 года:

"Вы хотите только три слова, а я хочу написать их двадцать.

В Скопинском уезде я не был и едва ли поеду туда. Живу я у себя дома, кое-что пописываю, - стало быть, занят. И много гостей, которые меня не пускают.

Здоровье мое недурно. За границу я едва ли поеду, так как у меня нет денег и взять их негде.

Теперь о Вас. Что Вы поделяетесь? Что пишете? Я часто слышу о Вас так много хорошего, и мне грустно, что в одном из своих писем я критиковал Ваши рассказы ("На изломе") и этой ненужной суровостью немножко опечалил Вас. Мы с Вами старые друзья; по крайней мере я хотел бы, чтобы это было так. Я хотел бы, чтобы Вы не относились преувеличенно строго к тому, что я иногда пишу Вам. Я человек не серьезный; как Вам известно, меня едва даже не забаллотировали в "Союзе писателей" (и Вы сами положили мне черный шар). Если мои письма бывают иногда суровы или холодны, то это от несерьезности, от неумения писать письма; прошу Вас снисходить и верить, что фраза, которою Вы закончили Ваше письмо: "если Вам хорошо, то Вы и ко мне будете добрее", - эта фраза строга не по заслугам. Итак, я хотел бы, чтобы Вы прислали мне что-нибудь Ваше - оттиск или просто в рукописи. Ваши рассказы я всегда читаю с большим удовольствием. Буду ждать..."

Стр. 270-271. "Гостей так много..." - письмо Чехова от 23-27 июля 1898 года.

Стр. 271. ...августовскую книгу "Русской мысли"... - В этой книге "Русской мысли" напечатаны рассказы Чехова "Крыжовник" и "О любви".

Стр. 274. "Я поеду в Крым..." - письмо Чехова от 30 августа 1898 года.

Стр. 275. "Верьте, Вы строги не по заслугам" - из письма от 10 июля 1898 года.

Стр. 276. ..."с отвращением читать жизнь свою" - перифраз из стих. А.С.Пушкина "Воспоминание" (1828).

Стр. 277. "За Вашу готовность..." - письмо Чехова от 18 февраля 1899 года.

Стр. 281. "Деньги мои..." - из письма Чехова от 6 апреля 1899 года. /731/

"Если мать и сестра..." - из письма от 27 апреля 1899 года.

"Вы присылаете не бандероли, а тюки... 1-го мая я буду еще в Москве" - из письма от 27 апреля 1899 года.

Стр. 282. ...играют "Чайку" только для меня. - См. прим. к стр. 379.

Стр. 289. "Странное стечение обстоятельств" - комедия в двух действиях, пер. М.В.Кириллова-Карнеева "Странное стечение обстоятельств (Жена моего ближнего)".

Стр. 292. Это письмо... я... не отдала... для собрания "Писем". - Текст этого письма, приведенный по памяти, вызывает сомнение.

Имеются еще два письма Чехова к Авиловой (от 11 февраля 1895 года и от 21 октября 1898 года), которые она также не хотела публиковать, но все же передала их М.П.Чеховой с просьбой не печатать. Относительно второго письма она писала М.П.Чеховой 22 сентября 1914 года: "Я его зачеркну. И пусть его как бы совсем не было" (ГБЛ).

Эти два письма не были напечатаны в собрании "Писем А.П.Чехова", изданных М.П.Чеховой. Они сохранились в архиве М.П.Чеховой в копиях и впервые напечатаны в Полном собрании сочинений и писем А.П.Чехова.

**В.Н.ЛАДЫЖЕНСКИЙ**

**В СУМЕРКИ**

Дорогой памяти А.П.Чехова

**ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А.П.ЧЕХОВЕ**

Ладыженский Владимир Николаевич (1859-1932) - поэт, беллетрист и журналист. Сотрудничал в "Русской мысли", "Вестнике Европы" и др. изданиях. Земский деятель, работавший в области народного образования. После Октябрьской революции эмигрировал во Францию, где занимался главным образом педагогической деятельностью.

С Чеховым познакомился в 1890 году, изредка переписывался с ним. Известны три письма Чехова Ладыженскому 1899, 1901 и 1902 годов. В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) имеются девять писем к нему Ладыженского 1899-1901 годов.

Ладыженский несколько раз писал о Чехове: "Антоша Чехонте" ("Солнце России", 1910, N 1); "Дача в Аутке" ("Чеховский юбилейный сборник", М. 1910); "Памяти А.П.Чехова" ("Современный мир", 1914, кн. VI). В последние годы жизни писал мемуары "В /732/ далекие дни", отрывок из которых (о Чехове) напечатан в газете "Россия и славянство", Париж, 1929, N 33, 13 июля.

Публикуемые воспоминания были напечатаны впервые в журнале "Мир божий", 1905, кн. 4, и повторены в сборниках "Памяти А.П.Чехова", М. 1906, и "О Чехове", М. 1910.

Печатается по тексту сборника "О Чехове".

Стр. 296. ...в самом конце восьмидесятых годов. - Знакомство с Чеховым состоялось в январе 1890 года.

Стр. 297. Работал он тогда в журнале "Северный вестник"... - А.Н.Плещеев был редактором отдела беллетристики и поэзии этого журнала.

..."Хмурые люди" и "Пестрые рассказы"... производили сенсацию. - В эти годы появились в печати сборники рассказов Чехова: "Пестрые рассказы" (1886), "В сумерках" (1887), "Рассказы" (1888) и "Хмурые люди" (1890).

Стр. 298. Особенно... интересовала его... каторга. - Существует мнение, что Чехова интересовали на Сахалине только уголовные преступники. Так,

например, В.А.Брендер записал воспоминания о Чехове писателя П.Д.Боборыкина: "После своей поездки на Сахалин он рассказывал мне в шутовском тоне, как его среди ссыльнокаторжных гораздо больше интересовали экземпляры уголовных преступников, махровые продукты нравственного извращения, особенно интеллигентов, чем те "политические", каких он находил на Сахалине.

- Ведь вперед знаешь, о чем и в каком тоне такой политический будет говорить с вами. А у каждого крупного уголовного преступника есть своя физиономия, свой тон и язык, своя психика" (ЦГАЛИ).

Документы, однако, свидетельствуют о том, что Чехов интересовался и политическими ссыльными, но не имел возможности общаться и беседовать с ними. Помимо личной договоренности об этом с Чеховым, начальник о.Сахалина генерал Кононович дал секретное предписание начальникам округов "иметь неослабное наблюдение за тем, чтобы Чехов не имел никаких сношений с ссыльнокаторжными, сосланными за государственные преступления, и административно-ссыльными, состоящими под надзором полиции". См. Н.И.Гитович. Летопись жизни и творчества А.П.Чехова, М. 1955, стр. 272.

В марте 1896 года Чехов писал Д.Л.Манучарову, брат которого, политический заключенный, был приговорен к ссылке на Сахалин: "Бывший приамурский генерал-губернатор барон Корф разрешил мне посещать тюрьмы и поселения с условием, что я не буду иметь никакого общения с политическими, - я должен был дать /733/ честное слово. С политическими мне приходилось говорить очень мало и то лишь при свидетелях-чиновниках (из которых некоторые играли при мне роль шпионов), и мне известно из их жизни очень немного. На Сахалине политические ходят в вольном платье, живут не в тюрьмах, несут обязанности писарей, надзирателей (по кухне и т.п.), смотрителей метеорологических станций, один при мне был церковным старостой, другой был помощником смотрителя тюрьмы (негласно), третий заведовал библиотекой при полицейском управлении и т.д. При мне телесному наказанию не подвергали ни одного из них. По слухам, настроение духа у них угнетенное. Были случаи самоубийства - это опять-таки по слухам"\*.

---

\* Новонайденные письма Чехова Д.Л.Манучарову публикуются полностью Э.А.Полоцкой в томе 68 "Литературного наследства". (Подлинники хранятся в частном собрании.)

...интересуясь... запутанным уголовным процессом Тальмы в Пензе... - В сентябре 1895 года в Пензенском окружном суде слушалось дело об убийстве вдовы генерала - П.Г.Болдыревой и ее горничной А.Савиновой. Дело это оказалось запутанным вследствие противоречивости улик в отношении обвиняемого Тальмы. Он был осужден и сослан на Сахалин; в 1900 году открылись новые обстоятельства дела, в силу которых Тальма был оправдан. (Ладыженский был постоянным жителем Пензы.)

Стр. 300. ...зачем ему... конституция... - В дневнике Чехова имеется запись, сделанная 19 февраля 1897 года: "Обед в "Континентале" в память



великой реформы. Скучно и нелепо. Обедать, пить шампанское, глядеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести, свободе и т.п., в то время, когда кругом стола снуют рабы во фраках, те же крепостные, и на улице, на морозе, ждут кучера, - это значит лгать святому духу" (т. 12, стр. 335).

Стр. 301. "Vive monsieur...", "Служи беспорочно..." - из писем от 17 февраля 1900 и от 4 февраля 1899 года.

...когда я прочитал почти те же слова... - "Дом с мезонином" напечатан в "Русской мысли", 1896, кн. IV. В статье "Памяти А.П.Чехова" ("Современный мир", 1914, кн. 6) Ладыженский сообщает, что этот рассказ был написан Чеховым "почти на его глазах" - "после долгих споров и разговоров на тему о народном образовании".

Стр. 302. ...в день крушения поезда. - Имеется в виду крушение царского поезда, происшедшее 17 октября 1887 года.

...один издатель... - Вероятно, имеется в виду издатель "Детского чтения" Д.И.Тихомиров, которому Чехов дал для его журнала рассказ "Белолобый" (1895). См. об этом также в воспоминаниях И.Н.Потапенко на стр. 336. /734/

Стр. 303. ...был необыкновенно оживлен и весел. - О пребывании Ладыженского в Мелихове с 27 по 31 августа 1898 года имеются записи Чехова в дневнике его отца, П.Е.Чехова (т. 12, стр. 342). 29 августа Чехов и Ладыженский были на молебне в мелиховской школе. В статье "Памяти А.П.Чехова" Ладыженский писал: "Мне думается, что я никогда не видал Чехова таким радостным и, по обычаю, шутливым, как в этот день. Он, по-видимому, обрадовался мне на этот раз не только как гостю, но и как человеку, с которым мог разделить свое скромное, но дорогое ему торжество. Радостно шутил он, пытаясь выдать меня молоденькой учительнице за начальство, за "чужого инспектора" народных школ. Молодая девушка, если не ошибаюсь, только что кончившая серпуховскую гимназию, едва ли, однако, ему поверила. Слишком преувеличенный тон о значении и необходимости моей абсолютной власти, к тому же неудачно поддержанный мной, выдали присутствующим мистификацию..." ("Современный мир", 1914, кн. 6).

В этот день Чехов подарил Ладыженскому свою книгу с шутливой надписью: "Господину инспектору Владимиру Николаевичу Ладыженскому, присутствовавшему на молебне и всех очаровавшему своим обращением, от скромного автора. 1898, 29 авг."

Стр. 304. ...когда он приехал в Москву, он попал в больницу... - Здесь допущена неточность: в клинике Чехов лежал до переезда в Крым, с 25 марта по 10 апреля 1897 года.

...продает свои сочинения Марксу за 75 тысяч... - См. стр. 482-486.

...он скончался раньше и похоронен в Москве. - П.Е.Чехов умер 12 октября 1898 года. Похоронен в Москве, на кладбище Новодевичьего монастыря.

Стр. 304-305. "Большое тебе спасибо..." - из письма В.Н.Ладыженскому от 4 февраля 1899 года.

Стр. 305. "Я все в той же Ялте..." - из письма от 17 февраля 1900 года.

**И.Н.ПОТАПЕНКО**

## НЕСКОЛЬКО ЛЕТ С А.П.ЧЕХОВЫМ

К 10-летию со дня его кончины

Потапенко Игнатий Николаевич (1856-1929) - беллетрист, драматург и фельетонист (псевдоним: Фингал). Знакомство с Чеховым состоялось в Одессе, в 1889 году. Вторая встреча - начало их сближения - относится к 1893 году. Состоял с Чеховым в длительной переписке. Известны лишь семь писем Чехова к Потапенко (их должно быть около семидесяти) 1896 и 1903 годов. В Архиве /735/ А.П.Чехова (ГБЛ) имеется шестьдесят восемь писем к нему Потапенко (1895-1900 и 1903 гг.).

Печатается по тексту, опубликованному в журнале "Нива", 1914, NN 26-28.

Стр. 314. В Польше праздновали юбилей... Генриха Сенкевича. - Юбилей Сенкевича отмечался в 1895 году.

Я знал... одного писателя... - Имеется в виду И.Л.Щеглов.

Стр. 315... "филиальное чествование". - Чествование Д.В.Григоровича, в связи с 50-летием его литературной деятельности, было организовано редакцией журнала "Русская мысль" в 1894 году.

...написал ему трогательное отеческое письмо. - См. прим. к стр. 136.

Стр. 317. ...приводил известный рассказ о встрече Белинского с Достоевским. - Белинский, получив от Некрасова для просмотра рукопись "Бедных людей" Достоевского, под впечатлением повести "не спал всю ночь" и выразил желание немедленно познакомиться с молодым автором. Подробнее об этой встрече см. Ю.Оксман. Летопись жизни и творчества В.Г.Белинского, М. 1958, стр. 407.

Стр. 318. "Когда я теперь вспоминаю о своем детстве..." - из письма от 9 марта 1892 года.

Стр. 322. "Медицина - моя законная жена..." - из письма И.И.Островскому от 11 февраля 1893 года.

"Душа моя утомлена..." - из письма от 16 августа 1892 года.

"Нехорошо быть врачом..." - из письма А.С.Суворину от 1 августа 1892 года.

Стр. 322-323. ...искренного влечения к врачебной деятельности А.П. не питал. - Это утверждение Потапенко опровергается и повседневной жизненной практикой самого Чехова и свидетельствами его современников. См.: И.М.Гейзер. Чехов и медицина, М. 1954, и Е.Б.Меве. Страницы из жизни А.П.Чехова (Труд и болезнь писателя-врача), Харьков, 1959.

Стр. 323-324. "Маленько покашливаю..." - из письма Ал.П.Чехову от 29 октября 1893 года.

Стр. 324. "Я жив и здоров...", "Для чего... все эти... слухи..." - из писем А.С.Суворину от 11 и 25 ноября 1893 года.

Стр. 330. ..."в забавах суетного света малодушно погружены" - перифраз из стихотворения А.С.Пушкина "Поэт" (1827).

"Ты спрашиваешь..." - из письма к И.Н.Потапенко от 26 февраля 1903 года.

Стр. 332. ...в одном из своих писем. - См. письма А.С.Суворину от 15 августа 1894 года и к Н.М.Линтваревой от 6 сентября 1894 года. /736/

Стр. 335. ...небывалый в России праздник книги... - Имеется в виду фактическая отмена цензуры, вызванная революционными событиями 1905 года, и, в связи с этим, значительное расширение книгоиздательского дела.

...издатель - А.Ф.Маркс. Об условиях договора Чехова с Марксом см. воспоминания Н.Д.Телешева на стр. 482-486.

Стр. 336. ...издатель детского журнала. - Д.И.Тихомиров, редактор-издатель журнала "Детское чтение".

Стр. 337. "Не работать мне нельзя..." - из письма от 29 декабря 1895 года.

"Я до такой степени измочалился..." - из письма к Л.С.Мизиновой от 27 марта 1894 года.

Стр. 338. ...книга... ниже всего... написанного им... - Потапенко не смог правильно оценить ни значения этого путешествия для творческой биографии Чехова, ни общественного значения "Острова Сахалина". См. статью М.Л.Семановой "Сахалинское путешествие А.П.Чехова" (Ученые записки Ленингр. пед. ин-та им. А.И.Герцена, т. 43, кафедра русской литературы, Л. 1947).

"Денег, денег..." - из письма к Л.С.Мизиновой от 13 августа 1893 года.

Стр. 339. N. - П.А.Сергеенко.

Стр. 344. Последние годы своей жизни он посвятил народному театру, много писал о нем... - О народном театре И.Л.Щегловым написан ряд работ: "Народный театр в очерках и картинках", Спб. 1895 и 1898; "В защиту народного театра", Спб. 1901, и др.

Стр. 345. В воспоминаниях одного писателя... - См. воспоминания В.Г.Короленко на стр. 145.

Стр. 346. Татьянин день - 12 января - традиционный праздник, отмечавшийся московским студенчеством в ознаменование годовщины основания Московского университета.

Стр. 347. ...целый ряд... обедов. Они назывались "беллетристическими". - Первый "обед беллетристов" состоялся 12 января 1893 года в петербургском ресторане "Малый Ярославец". На обеде присутствовало восемнадцать писателей: А.П.Чехов, Д.В.Григорович, Д.Н.Мамин-Сибиряк, К.С.Баранцевич и др.

Стр. 349. ...(см. N 26, стр. 512) - указывается страница N 26 журнала "Нива" за 1914 год, где печатались воспоминания Потапенко. См. эту фотографию в наст. издании.

...об известном провале... чеховской "Чайки"... - См. воспоминания Л.А.Авиловой на стр. 244-248.

Стр. 352. В одном из писем своих, не помню - кому... - письмо И.Л.Щеглову от 23 сентября 1896 года. /737/

Стр. 356. ...и еще кой-кто из близких - Л.С.Мизинова; см. воспоминания М.П.Чеховой в предыдущих изданиях настоящего сборника.

Стр. 359. ..."ужинал у Романова, честь-честью" - из письма А.С.Суворину от 22 октября 1896 года.

Стр. 360. ...он извещал о своем отъезде Марью Павловну... Суворина... брата. - Письма к М.П.Чеховой, А.С.Суворину и М.П.Чехову от 18 октября 1896 года.

Стр. 361. "Дома у себя..." - из письма А.С.Суворину от 22 октября 1896 года.

Стр. 363. ...собраны и изданы в четырех книгах. - Имеется в виду шеститомное издание "Писем А.П.Чехова", М. 1912-1916, из которого ко времени написания Потапенко своих воспоминаний (1914) вышло четыре тома.

Этих писем... нет в изданных сборниках. - Значительная часть писем Чехова вошла в Полное собрание сочинений и писем, М. 1944-1951.

## **С.Т.СЕМЕНОВ**

### **О ВСТРЕЧАХ С А.П.ЧЕХОВЫМ**

Семенов Сергей Терентьевич (1868-1922) - писатель, вышедший из крестьянской среды. Литературную деятельность начал в 1887 году. Семенова высоко ценил Л.Н.Толстой. См. предисловие Л.Н.Толстого к первому тому "Крестьянских рассказов" С.Т.Семенова, М. 1894.

В 1904 году, за выступления, выражавшие сочувствие Крестьянскому союзу, Семенов был арестован и приговорен к ссылке в Олонецкую губернию, которая была ему заменена разрешением выехать за границу. Вернулся в Россию в 1906 году. В 1922 году Семенов был убит кулаками в деревне, где он вел активную культурно-просветительную работу.

Печатается по тексту, опубликованному в журнале "Путь", 1913, N 2.

Стр. 364. ...я был в редакции "Посредника" - в феврале 1894 года.

Стр. 365. ...включено несколько рассказов в сборники. - Упомянутые Семеновым рассказы Чехова вышли в издательстве "Посредник" в 1893 году. В 1895 году в изданный "Посредником" сборник "Проблески" включены рассказы Чехова: "Припадок". "В суде", "Володя", "Тоска" и "Устрицы". /738/

Несколько рассказов... перестали издаваться... этого не разрешает издательство Маркса. - По договору с А.Ф.Марксом, заключенному в 1899 году, Чехов лишился права печатать свои произведения в других издательствах.

...словаря "Закром" ... - Этот словарь вышел в 1895 году, в издании журнала "Русская мысль".

...А.П. ...рассказывал, в чем сущность его рассказа "Черный монах" и как его не поняли. - Повесть Чехова "Черный монах" напечатана в журнале "Артист", 1894, N 1. Идейное содержание этой повести не было понято критикой, воспринявшей ее очень поверхностно. Так, например, А.Скабичевский писал, что "от этой психопатологической демонстрации читатель никакой идеи, никакого вывода не выносит" ("Новости и биржевая газета", 1894, N 47, 17 февраля); в обзоре "Журнальные новости" ("Русские ведомости", 1894, N 24, 24 января) Д.М. писал: "...согласно изображению Чехова, сильное стремление и истинная благородная страсть возможны только в погоне за призраком", и др.

Стр. 366. ...А.П. приехал в Ясную Поляну... - Чехов приехал в Ясную Поляну 8 августа 1895 года. Встреча его с Семеновым состоялась 9 августа.

...один из сыновей Л.Н. - старший сын Л.Н.Толстого Сергей Львович.

Стр. 367. ...сам отбывал обязанности присяжного заседателя... - Чехов присутствовал в качестве присяжного заседателя на судебных заседаниях в г.Серпухове с 22 по 25 ноября 1894 года.

Лев Николаевич... впоследствии исправил свою ошибку. - В опубликованной редакции "Воскресения" Маслова приговорена к четырем годам каторги.

...был ли А.П. после в Ясной Поляне. - Дальнейшие встречи Чехова с Толстым в 1899 году состоялись в Москве и в начале 900-х годов - в Крыму.

Стр. 368. ...в сборнике... "Почин". - Рассказ "Супруга" напечатан в сборнике "Почин", вышедшем в апреле 1895 года.

Хвалил рассказ "На подводе"... - Рассказ "На подводе" ("Русские ведомости", 1897, N 352, 21 декабря) Толстой прочитал в тот же день и записал в своем дневнике: "Превосходно по изобразительности, но риторика, как только он хочет придать смысл рассказу" (Полн. собр. соч., т. 53, М. 1953, стр. 172).

..."Душечку"... он перечитывал несколько раз... - Рассказ "Душечка" напечатан в журнале "Семья", 1899, N 1. В письме Чехову от 24 января 1899 года И.И.Горбунов-Посадов сообщил ему мнение Толстого о "Душечке": "Лев. Николаевич в восторге от нее. Он все говорит, что это перл, что Чехов - это большой-большой /739/ писатель. Он читал ее уже чуть ли не четыре раза вслух и каждый раз с новым увлечением" (ГБЛ). О том же писала Чехову Т.Л.Сухотина-Толстая, 30 марта 1899 года: "...Ваша "Душечка" - прелесть! Отец ее читал четыре вечера подряд вслух и говорит, что поумнел от этой вещи" (ГБЛ).

"Моя жизнь" понравилась Л.Н... местами. Он считал, что прототипом героя... послужил... опрощенец князь В.В.Вяземский... - Об отзыве Л.Н.Толстого о повести "Моя жизнь" ("Ежемесячные литературные приложения к "Ниве", 1896, NN 10-12) Семенов написал также в своих воспоминаниях о Толстом, где он привел его беседу с Г.А.Русановым: "- У Чехова появилась новая вещь "Моя жизнь", читали ее вы?

- Пробежал, - улыбаясь, проговорил Лев Николаевич. - Мне кажется, она навеяна историей князя Вяземского, вот этого чудака, что жил под Серпуховом.

- И что же, хороша?

- Есть места удивительные, но вся повесть слаба..." ("Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников", т. I, М. 1955 и 1960).

Князь В.В.Вяземский (1810-1892) - помещик, живший в Серпуховском уезде Московской губернии. После его смерти в некоторых некрологах он был представлен как идейный предшественник Л.Н.Толстого. В 1895 году, в "Книжках недели" (август) М.О.Меньшиков, в статье "Дознание", разоблачал легенду о князе Вяземском, утверждая, на основании произведенного им лично расследования, что Вяземский был не столько "опростившимся", сколько "опустившимся" помещиком, отличавшимся жестокостью и развратным поведением.

Не по сердцу пришлись Л.Н-чу и "Мужики"... - Повесть "Мужики" напечатана в "Русской мысли", 1897, кн. 4. Мнение Л.Н.Толстого о "Мужиках" Чехова известно также из письма А.С.Бутурлина П.А.Строеву от 15 сентября 1902 года: "...забыл упомянуть об очень любопытном отзыве Льва Николаевича о "Мужиках" Чехова. Лев Николаевич ими недоволен. "Из ста двадцати миллионов русских мужиков, - сказал Лев Николаевич, - Чехов взял одни только темные черты. Если бы русские мужики были действительно таковы, то все мы давно перестали бы существовать" ("Литературное наследство", N 22-24, М. 1935, стр. 779). Отзыв Толстого о "Мужиках" записал и В.С.Миролюбов: "Рассказ "Мужики" - это грех перед народом. Он не знает народа" (ИРЛИ).

...его более возмущал шум, поднятый по поводу их в печати... - Появление "Мужиков" вызвало ряд откликов в печати. В заметке (без подписи), напечатанной в "Северном вестнике" (1897, кн. 6), отмечалось: "...давно уже новое беллетристическое произведение не /740/ пользовалось в нашей журналистике таким громким и притом таким искренним успехом, как "Мужики". Успех этот напоминает нам те времена, когда появлялся новый роман Тургенева или Достоевского".

По поводу "Мужиков" возникла полемика между легальными марксистами и народниками. См. статью П.Б.Струве в журнале легальных марксистов "Новое слово" (1897, N 5), в которой он отмечал большое общественное значение повести, заключавшееся главным образом в художественном обличении "жалкого морализирования народников", и возражение Н.К.Михайловского ("Русское богатство", 1897, N 6).

Стр. 368-369. "...их страдания не могут быть достойны внимания". - Толстой смотрел пьесу Чехова "Дядя Ваня" в Художественном театре 24 января 1900 года. 27 января он записал в своем дневнике: "Ездил смотреть Дядю Ваню и возмутился" (Полн. собр. соч., т. 54, М. 1935, стр. 10).

Об отношении Толстого к "Дяде Ване" писали Чехову Вл.И.Немирович-Данченко и А.А.Санин:

"Ты, вероятно, уже знаешь, - писал Немирович-Данченко в феврале 1900 года, - что на "Дяде Ване" был Толстой. Он очень горячий твой поклонник - это ты знаешь. Очень метко рисует качества твоего таланта. Но пьес не понимает. Впрочем, может быть, не понимал потому, что я старался уяснить ему тот центр, которого он ищет и не видит. Говорит, что в "Дяде Ване" есть блестящие места, но нет трагизма положения. А на мое замечание ответил: "Да помиуйте, гитара,

сверчок - все это так хорошо, что зачем искать от этого чего-то другого?" (Вл.И.Немирович-Данченко, Избранные письма, М. 1954, стр. 188).

"Толстому не понравился мой любимейший "Дядя Ваня", - писал Чехову Санин, - хотя он очень чтит и ценит Вас как писателя. "Где драма?! - вопил гениальный писатель, - в чем она", "пьеса топчется на одном месте!..." Затем Толстой заявил, что Астров и дядя Ваня - дрянь люди, бездельники, бегущие от дела в деревню, как место спасения... На эту тему он говорил много..." (Письмо от 12 марта 1900 года. - ГБЛ).

Стр. 369. Рассказ "Драма"... восхищал Л.Н... и детские фигуры Чехова, вроде "Ваньки"... - Первый том Собрания сочинений Чехова, в издании Маркса, вышел в декабре 1899 года. Упомянутые Семеновым рассказы Чехова "Драма" и "Ванька", по свидетельству сына Толстого Ильи Львовича, были отнесены Толстым к рассказам "первого сорта". См. письмо И.Л.Толстого Чехову от 25 мая 1903 года (ГБЛ). /741/

...у Н.Д.Телешова. - Чехов был у Н.Д.Телешова на "среде" в январе или феврале 1904 года.

...вышла одна из моих книжек, и я послал ее А.П... - С.Т.Семенов послал Чехову свою книгу, в которую вошли: очерк "В родной деревне" и повесть "Гаврила Скворцов", изд. "Посредник", М. 1904, с надписью: "Антону Павловичу Чехову с чувством безграничного уважения. Автор. 27 мая 1904 г." (хранится в ТМЧ).

Стр. 370. ...он обещал исполнить, как только вернется из-за границы... - Чехов ответил Семенову 31 мая 1904 года: "От всего сердца благодарю Вас за дорогой подарок, многоуважаемый Сергей Терентьевич, и крепко жму Вам руку. Теперь я со 2-го мая безвыездно сижу дома, лежу в постели, так как очень нездоров. 3-го июня доктора посылают меня за границу, и только, простите, в августе, по возвращении, я буду иметь возможность выслать Вам свою книжку. Дома у меня ни одной моей книжки.

Я Вас давно знаю и давно уважаю и как писателя, и как человека. Грустно мне только, что редко приходится видеть Вас.

Крепко жму руку и еще раз благодарю. Искренно Вас уважающий, преданный А.Чехов".

## **К.С.СТАНИСЛАВСКИЙ**

### **А.П.ЧЕХОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ**

#### **Воспоминания**

Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863-1938) - артист и режиссер, один из основателей и руководителей Московского Художественного

театра; народный артист Союза ССР. В пьесах Чехова исполнял роли: Тригорина в "Чайке", Астрова в "Дяде Ване", Вершинина в "Трех сестрах", Гаева в "Вишневом саде" и Шабельского в "Иванове". С Чеховым познакомился в 1888 году; более близкое знакомство относится к 1899 году. С этого времени возникает их переписка. Известны четырнадцать писем Чехова Станиславскому (1899-1904 гг.) и тридцать семь писем Станиславского Чехову за те же годы (опубликованы в "Ежегоднике Московского Художественного театра, 1944", т. I, М. 1946).

Впервые воспоминания Станиславского о Чехове, записанные с его слов Л.А.Сулержицким, были опубликованы в альманахе "Шиповник", кн. 23, П. 1914, и затем в газете "Речь", 1914, N 177 (записаны со слов Станиславского сотрудником газеты).

Позднее Станиславский писал о Чехове в своей книге "Моя жизнь в искусстве" (1-е издание, М. 1925). /742/

Воспоминания "А.П.Чехов в Художественном театре" остались в рукописи, которая впервые была опубликована в "Ежегоднике Московского Художественного театра, 1943", М. 1945.

Печатается по тексту Собр. соч. К.С.Станиславского, т. 5, М. 1958, с добавлением главы "Вишневый сад" (не полностью) - из книги К.С.Станиславского "Моя жизнь в искусстве" (Собр. соч., т. 1, М. 1954).

Стр. 371. ...это случилось в 18... - Знакомство Станиславского с Чеховым состоялось, вероятно, 3 ноября 1888 года, в Москве, на открытии Общества искусства и литературы.

Стр. 372. Другая... встреча... на музыкально-литературном вечере в пользу фонда литераторов. - Встреча состоялась, вероятно, на литературно-музыкальном вечере, устроенном в пользу недостаточных студентов Московского университета 15 февраля 1897 года. На этом вечере Станиславский читал сцену в подвале из "Скупого рыцаря" А.С.Пушкина.

Вы... чудесно играете мою пьесу "Медведь". - Одноактная пьеса Чехова "Медведь" была поставлена в Обществе искусства и литературы в апреле 1895 года и после большого перерыва возобновлена в январе 1897 года, т.е. незадолго до встречи Станиславского с Чеховым в театре Корша. Станиславский исполнял в "Медведе" роль Смирнова.

Стр. 373. ...план здания для народного дома, чайной и театра. - Встреча состоялась 16 февраля 1897 года в редакции "Русской мысли", где в тот вечер обсуждался сделанный архитектором Ф.О.Шехтелем план здания "Народного дворца", постройка которого проектировалась кружком благотворителей.

...себя сравнивал с Дрейфусом. - Станиславский имеет в виду слова из телеграммы Чехова Вл.И.Немировичу-Данченко (от 18 или 19 декабря 1898 года): "Сижу в Ялте как Дрейфус на острове Дьявола. Тоскую, что не с Вами". О деле Дрейфуса см. прим. к стр. 449.

Больше всего он... интересовался репертуаром будущего театра. - В записной книжке Станиславского имеется следующая запись о Чехове: "Обширную деловую переписку вел с ним Вл.И.Немирович-Данченко. Больше всего они списывались по вопросам репертуара. К сожалению, я не помню мнения



А.П. по этому интересному вопросу. Знаю только, что он хоть и стоял за постановку "Царя Федора", но не считал автора ее природным драматургом. Ложноклассические тона и сильное влияние Шекспира осуждались А.П." (Собр. соч., т. 5, М. 1958, стр. 616). /743/

После неуспеха ее в С.-Петербурге... - См. воспоминания Л.А.Авиловой на стр. 244-248 и примеч. к стр. 246.

...в августе 18[98] года "Чайка" была включена в репертуар - Вл.И.Немирович-Данченко убеждал Чехова дать разрешение на постановку "Чайки": "Я задался целью, - писал он 25 апреля 1898 года, - указать на дивные, по-моему, изображения жизни и человеческой души в произведениях "Иванов" и "Чайка". Последняя особенно захватывает меня, и я готов отвечать чем угодно, что эти скрытые драмы и трагедии в каждой фигуре пьесы, при умелой, небанальной, чрезвычайно добросовестной постановке, захватят и театральную залу. Может быть, пьеса не будет вызывать взрывов аплодисментов, но что настоящая постановка ее с свежими дарованиями, избавленными от рутины, будет торжеством искусства, - за это я отвечаю. Остановка за твоим разрешением" (Вл.И.Немирович-Данченко, Избранные письма, М. 1954, стр. 110).

Чехов не дал разрешения, ссылаясь на то, что он не в силах переживать больше театральные волнения. Разрешение было дано только после вторичной просьбы Вл.И.Немировича-Данченко, писавшего Чехову 12 мая 1898 года: "Если ты не дашь, то зарежешь меня, т.к. "Чайка" - единственная современная пьеса, захватывающая меня как режиссера, а ты - единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром" (там же, стр. 111).

Я уехал... писать *mise en scene*. - Режиссерский план "Чайки" был написан Станиславским летом 1898 года в имении его брата Андреевке близ Харькова и высылался частями в Пушкино, где шли первые репетиции "Чайки". "Мизансцена была смелой, непривычной для обыкновенной публики, но очень жизненной", - писал Вл.И.Немирович-Данченко в своей книге "Из прошлого", М. 1938, стр. 132.

Стр. 374. ...за репетициями "Чайки", которые уже начались тогда. - Чехов присутствовал на репетициях "Чайки" 9 и 11 сентября 1898 года.

Репетиции "Чайки" временно прекратились. - В октябре и ноябре, ввиду одновременного выпуска нескольких спектаклей, репетиции "Чайки" были приостановлены и возобновились в декабре.

...митрополит... снял с репертуара театра. - Во время генеральной репетиции пьесы Г.Гауптмана "Ганнеле" была получена телеграмма московского обер-полицмейстера Трепова, запрещающая постановку этой пьесы. Поехавшие к Трепову Станиславский и Немирович-Данченко выяснили, что он не возражает против постановки, но снятия пьесы потребовал московский митрополит. Когда / 744/ же, по совету Трепова, руководители театра обратились к митрополиту, тот показал им анонимное письмо, сообщавшее, что "некая вдова" имела "видение" и жаловалась, что "господа нашего Иисуса Христа на Художественном общедоступном театре позорят". Возражения Станиславского и Немировича, что, "напротив, в пьесе Христос прославляется", успеха не имели. См. Н.Е.Эфрос. Московский Художественный театр, М. 1923.

...в театр явилась... Мария Павловна Чехова. - Этот факт отрицает М.П.Чехова. "Почему-то, - пишет она, - и К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко в своих воспоминаниях упорно заявляют, что перед постановкой "Чайки" я приходила якобы в театр и просила отменить спектакль, чем еще больше создавала нервозность всей труппы перед премьерой "Чайки"... до первого спектакля "Чайки" я ни разу не бывала в театре и даже не знала, что Немирович-Данченко возглавляет этот театр. Вероятно, мои дорогие незабвенные друзья, и Константин Сергеевич и Владимир Иванович, немножко пофантазировали для того, чтобы подчеркнуть трудности постановки "Чайки" (а с их легкой руки об этом в дальнейшем стал повторять в своих трудах и ряд наших уважаемых современных писателей-чеховедов). См. М.П.Чехова. Из далекого прошлого (Сб. "Чехов в воспоминаниях современников", М. 1954, стр. 342).

Стр. 375. ...публика потребовала посылки телеграммы автору. - Первый спектакль "Чайки" в Художественном театре состоялся 17 декабря 1898 года. В ночь с 17 на 18 декабря Вл.И.Немирович-Данченко послал Чехову следующую телеграмму: "Только что сыграли "Чайку", успех колоссальный. С первого акта пьеса так захватила, что потом следовал ряд триумфов. Вызовы бесконечные. Мое заявление после третьего акта, что автора в театре нет, публика потребовала послать тебе от нее телеграмму. Мы сумасшедшие от счастья" (Вл.И.Немирович-Данченко, Избранные письма, М. 1954, стр. 145).

Стр. 377. ...нескольких лет... - Здесь, вероятно, описка в рукописи Станиславского - не нескольких лет, а нескольких месяцев.

Стр. 378. ...пригласил А.П. для переговоров. - Беседа по поводу "Дяди Вани" была с управляющим театрами В.А.Теляковским. Имеется запись в дневнике Теляковского от 15 апреля 1899 года: "Заходил сегодня Чехов говорить по поводу "Дяди Вани" и браковки этой пьесы комитетом. Чехов просил не поднимать шума из-за этого факта. Переделывать он ничего не хочет, ибо пьеса эта издана уже пять лет тому назад. Обещал написать для Малого театра новую пьесу к осени... Вообще жаль, что комитет театральный вместо помощи управляющему делает затруднения. "Дядя Ваня" была /745/ единственная пьеса, которую выбрал я и артисты к постановке. В этом году, и эту-то пьесу забраковали" (ГТМ).

Стр. 379. ...этого замечательного протокола. - Пьеса Чехова "Дядя Ваня" была принята к постановке Московским Малым театром и передана для рассмотрения в Театрально-литературный комитет (в составе Н.И.Стороженко, А.Н.Веселовского и И.И.Иванова), который согласился допустить пьесу к постановке только при условии переделки третьего акта. В протоколе совещания, состоявшегося 8 апреля 1899 года, указано, что "разочарование в таланте профессора, раздражение на его бесцеремонность не может служить достаточным поводом для преследования его пистолетным выстрелом, у зрителя может даже появиться подозрение, что поступок дяди Вани находится в связи с состоянием похмелья, в котором автор почему-то слишком часто показывает и дядю Ваню и Астрова". (Текст этого протокола см. в книге В.А.Теляковского "Воспоминания, 1898-1917", П. 1924, стр. 168-170.)

Чехов отказался переделать пьесу и отдал ее Художественному театру, где она была поставлена впервые 26 октября 1899 года.

...некоторых исполнителей он осуждал... - Закрытый спектакль "Чайки" был показан Чехову 1 мая 1899 года. Чехов не был удовлетворен исполнением ролей Тригорина и особенно Нины Заречной, которую играла М.Л.Роксанова. Он писал М.Горькому 9 мая 1899 года: "...сама Чайка играла отвратительно, все время рыдала навзрыд..." О своем впечатлении от спектакля в целом Чехов сообщил П.Ф.Иорданову 15 мая 1899 года: "В Москве для меня играли мою "Чайку" в Художественном театре. Постановка изумительная".

Стр. 380. ...при вторичном возобновлении "Чайки". - "Чайка была возобновлена в Художественном театре в 1905 году.

Стр. 382. ...труппа... выехала из Москвы в Севастополь. - Художественный театр выехал в Крым 10 апреля 1900 года с четырьмя спектаклями для постановки в Севастополе и Ялте: "Чайка" и "Дядя Ваня" Чехова, "Одинокое" Г.Гауптмана и "Эдда Габлер" Г.Ибсена.

Стр. 384. ...сценка фотографирования попала в пьесу... ("Три сестры"). - В тексте воспоминаний Станиславского, записанных Л.А.Сулержицким и напечатанных в альманахе "Шиповник" (кн. 23, Спб. 1914), этот абзац дан в другой редакции: "Наш ярый фотограф-любитель Тихомиров снял его на сходне парохода, и потом везде, где только мог, он ловил Антона Павловича и фотографировал его: то одного, то вместе с труппой, во всех видах и положениях. Это постоянное снятие, вероятно, запомнилось Антону Павловичу и дало ему повод написать сценку фотографирования в /746/ "Трех сестрах", которых он тогда вынашивал в голове". См. эпизоды фотографирования в первом и четвертом актах "Трех сестер".

Стр. 385. Требовали автора. Он был в отчаянии, но все-таки вышел. - В записной книжке Станиславского имеются более подробные записи о спектакле "Дядя Ваня" в Севастополе: "Первый акт был принят вяло. Потому ли, что наша манера игры была необычна, или потому, что мы хуже играли, - трудно решить. Далее успех рос, и к концу успех дошел до овации.

От А.П. приходили гонцы с хорошими известиями. Он хлопал и к концу спектакля принужден был выйти на вызовы. Его появление вызвало неистовые овации и бесконечно удлинило вызовы. А.П. был очарователен во время вызовов. Он конфузился, но с достоинством стоял среди сцены, изредка отвечивая быстрые и короткие поклоны. Так как занавес умышленно долго не опускали, публика ревела еще сильнее. Он не знал, как заполнить время, и от застенчивости прибегал к своей любимой манере поправлять *pinse-nez*. Потом опять следовали быстрые и короткие поклоны.

Когда занавес опускали, он обращался к нам с таким лицом, точно вышел из-под холодного душа.

- Послушайте, что же вы не закрываете. Они же убьют меня.

На сцене было ликование, тем более что А.П. повеселел и даже румянец окрасил его щеки.

Теперь оставалось провести его незаметно для публики, иначе она могла поднять его на руки и простудить. Для этого пришлось ему переждать в самой теплой уборной.

Тут только он впервые высказался о спектакле.

- Послушайте, это прекрасно. У вас же талантливые и интеллигентные люди" (Собр. соч., т. 5, М. 1958, стр. 618).

Стр. 386. ...как это человек в таком драматическом месте может свистеть. - В записной книжке Станиславского сделана более подробная запись: "Каждому из нас он сделал по замечанию, вроде той шарады о галстуке. Так, например, мне он сказал только о последнем акте:

- Он же ее целует так (тут он коротким поцелуем приложился к своей руке). Астров же не уважает Елену. Потом же, слушайте, Астров свистит, уезжая.

И эту шараду я разгадал не скоро, но она дала совершенно иное, несравненно более интересное толкование роли.

Астров циник, он им сделался от презрения к окружающей пошлости. Он не сентиментален и не раскисает. Он человек идейного дела. Его не удивишь прозой жизни, которую он хорошо /747/ изучил. Раскисая к концу, он отнимает лиризм финала дяди Вани и Сони. Он уезжает по-своему. Он мужественно переносит жизнь.

Надо быть специалистом, чтоб оценить филигранную тонкость этих замечаний" (там же, стр. 618-619).

Стр. 388. Он уже решил написать нам пьесу! - В письме С.В.Васильеву (Флерову) в апреле 1900 года Станиславский писал, что спектакли МХТ вызвали желание у писателей, собравшихся в Ялте, написать для театра пьесы. "Больше всех загорелся Горький. Он ходит как шальной и все забегает ко мне поделиться нарождающимися мечтами и созревающим планом новой пьесы" (там же, стр. 619-620).

Стр. 393. В следующем году у нас шли... - В театральном сезоне 1900/1901 года МХТ поставил пьесы: "Снегурочка" А.Н.Островского (24 сентября), "Доктор Штокман" Г.Ибсена (24 октября), "Когда мы, мертвые, пробуждаемся" Г.Ибсена (28 ноября) и "Три сестры" Чехова (31 января).

...Антон Павлович не только согласился прислать пьесу, но привез ее сам. - Чехов приехал в Москву 24 октября 1900 года и пробыл до 11 декабря, присутствуя почти на всех происходивших в это время репетициях "Трех сестер".

Стр. 394. ...письмо А.П.Чехова к М.П.Лилиной... - В этом письме Чехов писал по поводу своей пьесы "Вишневый сад", которую он в то время заканчивал: "Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс, и я боюсь, как бы мне не досталось от Владимира Ивановича" [Немировича-Данченко].

...одного его знакомого генерала. - Полковник В.А.Петров, по просьбе Чехова, консультировал постановку "Трех сестер" в МХТ как военный специалист. М.П.Чехова писала Чехову 28 января 1901 года: "Полковник Петров бывает на репетициях каждый день, делает свои замечания как режиссер. Его называют очередным режиссером, смеются над ним, но вежливы и деликатны с ним". См. М.П.Чехова. Письма к брату А.П.Чехову, М. 1954, стр. 171.

Стр. 396. ...он уехал в Ниццу. - Чехов, уехавший в Ниццу в декабре 1900 года, оттуда присылал взятые для переделки 3-й и 4-й акты "Трех сестер". Отдельные замечания к пьесе он присылал из-за границы в письмах к О.Л.Книппер, К.С.Станиславскому и А.Л.Вишневскому.

В четвертом акте... Андрей, разговаривая с Ферапонтом... - В упомянутой сцене Андрей Прозоров, в присутствии Ферапонта, разговаривает с Чебутыкиным.

Стр. 397. ...чтобы... не получать никаких известий о том, как прошел спектакль. - Первый спектакль "Трех сестер" состоялся 31 января 1901 года. Чехов уехал из Флоренции в Рим 30 января. /748/

Пришлось допустить... натяжку, чтобы телеграфировать... что пьеса имела "большой успех". - Вл.И.Немирович-Данченко послал Чехову после премьеры "Трех сестер" следующую телеграмму (перевод с французского): "Первый акт громадные вызовы, энтузиазм, 10 раз. Второй акт показался длинным. Третий большой успех. После окончания вызовы превратились в настоящую овацию. Публика потребовала телеграфировать тебе. Артисты играли исключительно хорошо, особенно дамы. Привет от всего театра" ("Ежегодник Московского Художественного театра, 1944", М. 1946, стр. 193).

Второе представление прошло со значительно большим успехом. М.П.Чехова писала Чехову 4 февраля 1901 года: "Второе представление выделило пьесу в совершенство. "Три сестры" гораздо лучше "Дяди Вани" и даже, пожалуй, - "Чайки" ("Письма к брату А.П.Чехову", М. 1954, стр. 173).

В марте 1901 года Чехову писал М.Горький из Петербурга, где в это время гастролировал МХТ: "...Три сестры" идут изумительно! Лучше "Дяди Вани". Музыка, не игра" (Собр. соч., т. 28, М. 1954, стр. 159).

Пресса также долго не понимала этой пьесы. - Большинство рецензий расценивало пьесу "Три сестры" как глубоко пессимистическое произведение, с чем Станиславский не был согласен. Против этих рецензий выступил Л.Н.Андреев. В статье "Три сестры" он писал, что основной мотив пьесы - "тоска о жизни - вот то мощное настроение, которое от начала до конца проникает пьесу и слезами ее героинь поет гимн этой самой жизни"... "разве вы не слышите, как бурлит жизнь, разве не доходит до ваших ушей ее гневно-протестующий голос?" (Джемс Линч и Сергей Глаголь. Под впечатлением Художественного театра, М. 1902, стр. 83 и 84.)

...когда ездили туда давать там свои спектакли. - Художественный театр гастролировал в Берлине в 1906 году.

Стр. 398. ...в церковь, венчаться... - Венчание А.П.Чехова и О.Л.Книппер состоялось 25 мая 1901 года.

...телеграмма - не сохранилась.

Осенью он действительно приехал... - Чехов пробыл в Москве с 17 сентября до 24 октября 1901 года.

...Антон Павлович не мог смотреть без улыбки на А.Р.Артема... - "Дикая утка" Г.Ибсена была поставлена в Художественном театре впервые 19 сентября 1901 года. А.Р.Артем исполнял в этом спектакле роль Экдаля.

Стр. 399. Ему очень понравилось. - Пьеса Г. Гауптмана "Микаэль Крамер" была поставлена в Художественном театре впервые 27 октября 1901 года. По поводу этого спектакля Чехов писал О.Л. Книппер 1 ноября 1901 года: "Судя по газетам, "Крамер" не /749/ имел того успеха, какого я ждал, и теперь мне больно. Нашей публике нужны не пьесы, а зрелища", и 7 ноября 1901 года: "... "Крамер" идет у вас чудесно, Алексеев очень хорош, и если бы рецензентами у нас были свежие и широкие люди, то пьеса эта прошла бы с блеском".

Стр. 400. ...[Чехов] смотрел "Три сестры" и остался очень доволен спектаклем. - Чехов писал Л.В. Средину 24 сентября 1901 года: "Три сестры" идут великолепно, с блеском, идут гораздо лучше, чем написана пьеса. Я прорежиссировал слегка, сделал кое-кому авторское внушение, и пьеса, как говорят, теперь идет лучше, чем в прошлый сезон".

Стр. 402. Пьесу в конце концов разрешили. - О цензурных мытарствах, которые пришлось испытать Художественному театру при постановке "Мещан", Станиславский говорил в своем докладе о цензуре на заседании Московского литературно-художественного кружка в апреле 1905 года (К.С. Станиславский. Собр. соч., т. 5, М. 1958, стр. 277-278, а также в книге "Моя жизнь в искусстве". Собр. соч., т. 1, М. 1954, стр. 253).

Станиславский и Немирович-Данченко под угрозой запрета постановки "Мещан" были вынуждены временно внести ряд дополнительных сокращений в текст пьесы. По этому поводу О.Л. Книппер писала Чехову 17 марта 1902 года: "Ты не говори Горькому, что мы много помарали помимо цензуры. После первых спектаклей восстановим опять". См. "Переписка А.П. Чехова и О.Л. Книппер", т. II, М. 1936, стр. 387.

Состоялся первый спектакль. - Первый спектакль "Мещан" состоялся 26 марта 1902 года в Петербурге.

Стр. 403. ...захворала О.Л. Книппер. - О.Л. Книппер исполняла во время гастролей МХТ в Петербурге роль Елены только в первых двух спектаклях "Мещан". На следующих спектаклях ее заменяла М.Г. Савицкая.

...в сборники. - Имеется в виду подготовка рассказов для Собрания сочинений.

Стр. 404. ...поспешили прийти Антон Павлович с женой. - Чехов и Книппер приехали в Москву 27 мая 1902 года. В этот день происходили экзамены в драматическом классе при Художественном театре. На экзаменационном просмотре, в числе других отрывков, была показана сцена из "Чайки".

Стр. 405. ...каре́та от Иверской - карета от Иверской часовни, развозившая по домам иконы для служения молебнов.

...так и не увидел. - См. воспоминания В.А. Гиляровского на стр. 115-117. / 750/

Стр. 407. Туда вскоре и переехали Антон Павлович... и А.Л. Вишневский. - Чехов прожил в Любимовке с 6 июля по 14 августа 1902 года.

Стр. 408. N - А.Л. Вишневский.

Стр. 409. Роль Епиходова создавалась из многих образов. - Станиславский считал, что образ Епиходова сложился из наблюдений над слугой Егором, очень неловким и незадачливым, и отчасти под впечатлением выступлений фокусника в

"Аквариуме" (см. стр. 407), которого Чехов очень любил смотреть; среди своих жонглерских упражнений он с большим комизмом разыгрывал неудачника, с которым приключилось "двадцать два несчастья".

Капустник - эстрадный концерт, состоящий из юмористических номеров; один из капустников был устроен в Художественном театре 31 декабря 1903 года, под Новый год (см. главу "Капустники и "Летучая мышь" в книге К.С.Станиславского "Моя жизнь в искусстве" - Собр. соч., т. 1, М. 1954).

Стр. 410. ...с одного из тогдашних обитателей Любимовки. - О прототипе Трофимова вспоминал в 1914 году Станиславский: "Сына горничной, служившего в конторе при имении, Антон Павлович убедил бросить контору, подготовиться к экзамену зрелости и поступить в университет, говоря, что из юноши непременно выйдет профессор. И юноша действительно выполнил совет Чехова: стал учиться, сдал гимназический экзамен, поступил в университет. Может быть, он когда-нибудь и будет профессором. Между прочим, некоторые черты этого юноши, его угловатость, его пасмурную внешность облезлого барина Чехов затем внес в образ Пети Трофимова" ("Речь", 1914, N 177.)

...Чехов приехал в Москву - 5 декабря 1903 года.

Стр. 412. ...в конце второго акта "Вишневого сада"... - Чехов внес изменения во 2-й акт "Вишневого сада" уже после первых спектаклей. Опущено начало акта - разговор Ани и Трофимова о поездке к ярославской бабушке. Снят конец - разговор Шарлотты и Фирса. Часть рассказа Шарлотты о своем детстве дана в начале акта. В начальной сцене вставлен "жестокий романс" Епиходова. Прибавлен аккомпанемент гитары в коротенькой немой сцене Епиходова, проходящей на заднем плане. С этими изменениями пьеса шла с середины февраля 1904 года.

Стр. 413. ...чествование любимого поэта. - В 1904 году исполнялось 25-летие литературной деятельности Чехова.

Стр. 415. ...спектаклем Метерлинка... - Имеется в виду спектакль из миниатюр М.Метерлинка: "Слепые", "Непрошенная", "Там, внутри". Поставлены в Художественном театре впервые 2 октября 1904 года. /751/

## **Вл.И.НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО**

### **ЧЕХОВ**

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858-1943) - драматург, режиссер, один из основателей и руководителей Московского Художественного театра; народный артист Союза ССР. С Чеховым познакомился в начале 80-х годов и с конца 80-х годов переписывался с ним. Известны только двадцать восемь писем Чехова Немировичу-Данченко (1895, 1896, 1898-1904 годов), в то время как в архиве А.П.Чехова (ГБЛ) сохранилось сто пятьдесят четыре письма к

нему Немировича-Данченко. Из них сто пятьдесят два письма опубликованы в "Ежегоднике Московского Художественного театра, 1944", т. 1, М. 1946. Остальные два письма хранятся в ЦГАЛИ.

Печатается не полностью глава "Чехов" из книги Вл.И.Немировича-Данченко "Из прошлого", "Academia", М. 1936.

Стр. 419. ...когда Чехов продал все свои сочинения... - Договор с издателем А.Ф.Марксом был заключен 26 января 1899 года. См. об этом в воспоминаниях Н.Д.Телешова на стр. 482-486.

Его книжка... получила полную академическую премию... - В октябре 1888 года Чехову была присуждена Академией наук половина пушкинской премии за книгу "В сумерках", Спб. 1887.

Стр. 420. А старик Григорович... идет еще дальше. - Об отношении Григоровича к Чехову писал сестре 8 июля 1888 года Ал.П.Чехов: "Вчера из Ниццы приехал Д.В.Григорович, расцеловался со мною и завопил о том, что у нас в России нет критики и что такого гейнима, как Антон, недостаточно оценили... Я... выслушал приблизительно такую речь: "Дорогой мой Чехов, скажите Вы брату, что такую фразу, как сравнение зари с подергивающимися пеплом угольями, был бы счастлив написать Тургенев, если бы был жив. Много, много у него прекрасных мест. Я их все отмечаю. У - талант, у - силища!" (ГБЛ).

...Боборыкин... доставляет себе такое удовольствие: каждый день непременно читать по одному рассказу Чехова. - Об этом вспоминает П.Д.Боборыкин: "Мне было рекомендовано врачами читать как можно меньше. По утрам, за кофе, в столовой, где я всегда был один за ранним временем, я положил себе: прочитывать по одному рассказу [Чехова], никак не больше. Но меня они стали так "забирать", что я охотно преступал эту порцию и читал по два и больше рассказа" (ЦГАЛИ). /752/

Боборыкин писал об этом и в письме Чехову от 5 июля 1889 года: "...рисуя утомить единственный зоркий для работы глаз, с трудом отрывался от них: это заменит Вам жалкие излишние любезности". Он благодарил Чехова за "правдивые и яркие рассказы, полные оригинальной новизны" (ГБЛ).

...неуспехом "Чайки" в Петербурге. - См. воспоминания Л.А.Авиловой на стр. 244-248.

Стр. 422. "Шепот, робкое дыханье, трели соловья..." - первая строка стихотворения (без названия, 1850) А.А.Фета. Стихотворение это обычно приводилось как образец "чистой" поэзии, чуждой гражданских мотивов.

Стр. 423. ...в частном театре Корша. - Первое представление пьесы "Иванов" в театре Ф.А.Корша состоялось 19 ноября 1887 года.

Стр. 424. П.Кичеев грубо бранил пьесу... Флеров... тоже критиковал пьесу, но кончал приблизительно так: "...у молодого автора настоящий талант". - П.Кичеев писал о первом спектакле "Иванова": "...никогда мы не подозревали, чтобы человек молодой, человек с высшим университетским образованием рискнул преподнести публике такую глубоко безнравственную, такую нагложиническую путаницу понятий, какую преподнес Чехов в своем "Иванове" ("Московский листок", 1887, N 325, 22 ноября); Флеров (С.Васильев) находил, что



финал пьесы "несколько ходулен, характер Иванова обрисован не совсем ясно, трудно понять, зачем автор заставляет первую жену Иванова быть еврейкой, это мотив, остающийся неразъясненным. И тем не менее пьеса смотрится с интересом и удовольствием, ибо при всей неопытности автора в ней сказывается талант и выведены живые лица" ("Московские ведомости", 1887, N 323, 23 ноября).

О первом спектакле "Иванова" Чехов писал Ал.П.Чехову 20 ноября 1887 года: "Театралы говорят, что никогда они не видели в театре такого брожения, такого всеобщего аплодисменто-шиканья, и никогда в другое время им не приходилось слышать стольких споров, какие видели и слышали они на моей пьесе. А у Корша не было случая, чтобы автора вызывали после 2-го действия".

...пьеса была уже напечатана. - Пьеса "Иванов" напечатана в "Северном вестнике", 1889, N 3 (до этого вышла в литографированном издании московской театральной библиотеки Е.Н.Рассохиной в декабре 1887 года).

До "Иванова"... "Медведь" и "Предложение". - Водевиль "Медведь" и "Предложение" написаны после "Иванова", в 1888 году; "Медведь" появился в печати раньше "Иванова", в "Новом /753/ времени", 1888, 30 августа; "Предложение" напечатано в "Новом времени", 1889, 3 мая.

Стр. 429. ...успех если и был, то очень сдержанный. - Пьеса "Леший", впервые поставленная в театре М.А.Абрамовой 27 декабря 1889 года, успеха не имела. "Пьеса более чем слаба и невыдержанна", - читаем в отзыве, напечатанном в газете "Театр и жизнь" (1890, N 439, 31 декабря). Другой рецензент, С.Васильев, находил, что недостаток комедии Чехова "состоит в ее объективности. Он написал протокол, а не комедию" ("Московские ведомости", 1890, N 439, 31 декабря) и т.д.

В газете "Новости дня" (1890, N 2334, 1 января) напечатана и рецензия Вл.И.Немировича-Данченко, за подписью "Никс": "...Чехов смотрит на свою пьесу как на комедию, я вижу в ней только сцены, страдающие некоторою растянутостью и недостатком действия, но, бесспорно, свежо и талантливо написанные. Скажу более: пьесы нет, из-за неумело построенных сцен выглядывает повесть или даже роман, к сожалению втиснутый в драматическую форму.

Как пьеса "Леший" значительно слабее "Иванова": много бесцельных эпизодов... местами полное отсутствие действия... известное однообразие примеров и, наконец, совершенно водевильная развязка".

Стр. 430. Помню "Дядю Ваню" уже в маленьком сборнике пьес. - Пьеса "Дядя Ваня", написанная, как указывает Чехов в письме С.П.Дягилеву (от 20 декабря 1901 года), еще в 1890 году, стала известной только в 1897 году, когда Чехов выпустил сборник своих пьес.

...сначала "Дядю Ваню" играли в провинции. - В письме М.Горькому от 3 декабря 1898 года Чехов писал: "Дядя Ваня" написан давно, очень давно, я никогда не видел его на сцене. В последние годы его стали часто давать на провинциальных сценах - быть может, оттого, что я выпустил сборник своих пьес".

Стр. 431. ...секретарь и казначей - И.М.Кондратьев и А.А.Майков.  
...драматург-адвокат - В.А.Александров.

...и Чехов. - Чехов был выбран в комитет Общества 10 апреля 1889 года.

Стр. 433. Мы вместе написали одну пьесу - "Соколы и вороны". Написана Вл.И.Немировичем-Данченко и А.И.Сумбатовым-Южиным в 1885 году.

"Эрнани", "Рюи-Блаз" - пьесы Виктора Гюго (1829 и 1838 гг.).

"Я, не отрываясь, прочел..." - из письма от 6 октября 1895 года.

Стр. 434. ...и написал "Чайку". - Пьеса написана осенью 1895 года. /754/

Стр. 435. И Толстой где-то сказал так. - В дневнике А.С.Суворина имеется запись: "О "Чайке" еще говорил Толстой: "Литераторов не следует выставлять: нас очень мало и нами не интересуются. Лучшее в пьесе - монолог писателя, это автобиографические черты, но их можно было написать отдельно или в письме, в драме они ни к селу ни к городу" (Дневник А.С.Суворина, М.- П. 1923, стр. 147).

Эта фраза из повести самого же Чехова... - из повести "Соседи" ("Книжки недели", 1892, N 7).

Стр. 437. ...впоследствии Чехов не раз повторял это выражение. - Чехов действительно не раз повторял это выражение, но не со слов Немировича-Данченко. И.Я.Гурлянд писал в своих воспоминаниях, напечатанных сразу же после смерти Чехова ("Театр и искусство", 1904, N 28), что еще летом 1889 года, в Ялте, им были записаны некоторые высказывания Чехова о технике драматургии и, в частности, такое замечание: "Если вы в первом акте повесили на стену пистолет, то в последнем он должен выстрелить".

Стр. 438. Письмо было по поводу "Чайки" - Немирович-Данченко, вероятно, ошибся. Известно письмо А.П.Ленского 1889 года (ГБЛ), написанное по поводу пьесы "Леший": "...Посылаю Вам, Антон Павлович, Вашу пьесу... Одно скажу: пишите повесть. Вы слишком презрительно относитесь к сцене и драматической форме..." Вероятность существования другого письма Ленского относительно "Чайки" исключается, так как с начала 1892 года отношения между Чеховым и Ленским были прерваны (см. прим. к стр. 198) и переписка их прекратилась.

**В.В.ЛУЖСКИЙ**

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Лужский (Калужский) Василий Васильевич (1869-1932) - артист Московского Художественного театра с 1898 года; заслуженный деятель искусств. В пьесах Чехова исполнял роли: Сорина в "Чайке", профессора Серебрякова в "Дяде Ване", Андрея Прозорова в "Трех сестрах", Гаева, Симеонова-Пищика и Фирса - в "Вишневом саду", Лебедева - в "Иванове", Пришибеева - в инсценировке рассказа "Унтер Пришибеев".

Печатается по тексту, опубликованному в журнале "Солнце России", 1914, N 228/25, июнь.

Стр. 439. ...в одном из писем к В.И.Немировичу-Данченко... - в письме от 2 ноября 1903 года. /755/

...на репетиции "Чайки" - 9 сентября 1898 года.

Стр. 440. ...распределение ролей было сначала не то, в котором шел первый спектакль. - На первых репетициях "Чайки" роль Тригорина исполнял артист А.И.Адашев (Платонов). Станиславский, которому вначале была дана роль Дорна, не участвовал совсем в первых репетициях, так как к этому времени он не вернулся еще в Москву из Харьковской губернии, где писал мизансцены "Чайки". Чехов остался недоволен игрой Адашева и просил, чтобы роль Тригорина передали Станиславскому. В первом спектакле "Чайки", 17 декабря 1898 года, роль Шамраева исполнял А.Р.Артем.

...для "Антигоны"... - Трагедия Софокла "Антигона" поставлена в Художественном театре впервые 12 января 1899 года.

...две репетиции в присутствии автора. - Чехов присутствовал на репетициях "Чайки" 9 и 11 сентября. Об этом писал Вл.И.Немирович-Данченко К.С.Станиславскому 12 сентября 1898 года: "Приехал Чехов. Привел я его дня три назад на репетицию. Он быстро понял, как усиливает впечатление Ваша mise en scene. Прослушал два первых акта, высказал мне, а потом артистам свои замечания. Они очень волновались. Он нашел, что у нас на репетициях приятно, славная компания и отлично работает.

На другой день мы (без Чехова) переделали по его замечаниям (кое-где я не уступил), и вчера он опять слушал. Нашел много лучшим. Но Платоновым и Гандуриной и он, конечно, остался недоволен. Затем начал просить, чтобы Тригорина играли Вы". (Вл.И.Немирович-Данченко, Избранные письма, М. 1954, стр. 140-141). Платонов репетировал роль Тригорина, Н.А.Гандурина - роль Маши.

О присутствии Чехова на репетиции "Чайки" 11 сентября записал в своем дневнике В.Э.Мейерхольд. Чехов возражал против того, чтобы за сценой квакали лягушки, трещали стрекозы.

"- Зачем это? - недовольным голосом спрашивает Антон Павлович.

- Реально, - отвечает актер.

- Реально, - повторяет А.П., усмехнувшись, и после маленькой паузы говорит: - Сцена - искусство. У Крамского есть одна жанровая картина, на которой великолепно изображены лица. Что, если на одном из лиц вырезать нос и вставить живой? Нос "реальный", а картина-то испорчена" (В.Э.Мейерхольд. О театре, Спб. 1913).

...в севастопольском театре. - См. прим. к стр. 382.

"Брата моего..." - слова из исполнявшейся А.Р.Артемом роли Телегина в "Дяде Ване".

Стр. 441. Он стал смотреть пьесу... на репетициях... каждый раз /756/ он занимался со мной не менее часа. - Чехов присутствовал на репетициях "Трех сестер" в сентябре 1901 года. Об этом он писал Л.В.Средину 24 сентября 1901 года. См. прим. к стр. 400.

...где упоминается об озере и лебедях... - Поэт К.Д.Бальмонт читал стихотворение "Лебедь". См. его книгу "В безбрежности", М. 1896.

...в театре "Парадиз" Антон Павлович смотрел "Чайку"... - Закрытый спектакль "Чайки" был показан Чехову 1 мая 1899 года. См. прим. к стр. 379.

Стр. 442. ...которым был мало доволен. - См. прим. к стр. 379.

## В.И.КАЧАЛОВ

### [ВОСПОМИНАНИЯ]

Качалов (Шверубович) Василий Иванович (1875-1948) - артист Московского Художественного театра с 1900 года; народный артист Союза ССР. В пьесах Чехова исполнял роли: Тузенбаха и Вершинина в "Трех сестрах", Пети Трофимова в "Вишневом саде", Тригорина в "Чайке", Астрова в "Дяде Ване", Иванова в "Иванове".

Печатается по тексту, опубликованному в альманахе издательства "Шиповник", кн. 23, Спб. 1914. Записано со слов В.И.Качалова Л.Л.Сулержицким.

Стр. 444. ...Гаев говорит в первом акте шкапу - в пьесе "Вишневый сад".

Вдруг ворвался А.М.Горький и набросился за какие-то литературные дела на Миролубова. - В воспоминаниях В.И.Качалова "Встречи с Горьким" этот эпизод рассказан подробнее: "Идет первое представление его последней пьесы - "Вишневого сада", Горький в публике. Чехова чествуют на сцене, долго, торжественно, помпезно. Много в чествовании хорошо, трогательно, тепло. Но еще больше лишнего, плоского, бездарного, почти - юмористического. Много от того самого "многоуважаемого Шкапа", над которым только что смеялся Чехов в своей пьесе. И минутами Чехов, несмотря на утомление, нездоровье и растерянность от всего этого парада, от количества депутатий, от плохого большей частью качества речей - не может удержаться от улыбки... "Черт их поberi совсем, эту публику. Они же его залили своей пошлостью, они же его замучили вконец", - слышу я возмущенный голос Горького в нашем актерском фойе. И тут же, как бы срывая свой гнев (на эту публику) - обрушивается со всей свирепостью на подвернувшегося под руку Миролубова (редактора "Журнала для всех", в котором /757/ Горький тогда принимал близкое участие): "Вот тоже, благодарю вас, завели пошлятину: в последней книжке пустили этого, черт бы его драл - богоискателя Волина [Волжского]... Если он опять в следующей книжке будет бормотать о боге, ну вас к черту всех, и весь "Журнал для всех" - ко всем чертям". Миролубов диаконовским басом оправдывался, Горький на него насккивал со сжатым кулаком, и оба они куда-то скрылись в закулисном пространстве" ("Прожектор", 1928, N 13).

Стр. 445. N - артист Московского Художественного театра С.Н.Судьбинин, исполнявший в пьесе Горького "Мещане" роль Нила.

...понравился я ему в Тузенбахе или нет. - Чехов положительно отзывался об исполнении Качаловым роли Тузенбаха. После ухода из Художественного театра первого исполнителя этой роли, В.Э.Мейерхольда, Чехов писал Л.А.Сулержицкому 5 ноября 1902 года, что в "Трех сестрах" его заменил Качалов, который "играет чудесно".

А когда я играл Вершинина... - Качалов играл Вершинина в "Трех сестрах" весной 1901 года на петербургских гастролях Художественного театра, а в сезон 1901/1902 года дублировал основного исполнителя этой роли - Станиславского.

Я репетировал Тригорина в "Чайке". - Качалов дублировал Станиславского в роли Тригорина, а в сезон 1901/1902 года являлся единственным исполнителем этой роли.

## **М.М.КОВАЛЕВСКИЙ**

### **ОБ А.П.ЧЕХОВЕ**

Ковалевский Максим Максимович (1851-1916) - юрист, историк и социолог умеренно либерального направления. В 1887 году был уволен из состава профессоров Московского университета и эмигрировал в Париж, где в 1901 году основал Высшую русскую школу социальных наук. С Чеховым познакомился в 1897 году. Переписывался с ним. Известно девять писем Чехова Ковалевскому 1897-1901 гг. (Публикуются в "Литературном наследстве", т. 68). В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) имеется десять писем Ковалевского Чехову за те же годы.

Воспоминания печатается по тексту, опубликованному в газете "Биржевые ведомости", 1915, N 15185, 2 ноября.

Стр. 447. Пробыв некоторое время в Биаррице - с 8 по 22 сентября 1897 года. /758/

...мы сделали уже приятелями. - Знакомство Ковалевского с Чеховым состоялось в сентябре 1897 года в Ницце (см. запись в дневнике Чехова от 23 сентября 1897 года, т. 12, стр. 337). 29 сентября Чехов писал М.П.Чеховой: "Познакомился с Максимом Ковалевским, живущим около Ниццы в Beaulieu, в своей вилле. Это тот самый М.Ковалевский, который был уволен из университета за вольнодумство и в которого, незадолго до своей смерти, была влюблена Софья Ковалевская. Это интересный, живой человек, ест очень много, много шутит, смеется заразительно - и с ним весело. Готовится к лекциям, которые будет читать в Париже и Брюсселе".

Чехов посетил Ниццу несколько зим подряд. - В Ницце Чехов был зимой 1897-1898 и 1900-1901 гг.

Стр. 448. "Если я когда-нибудь напишу рассказ про сельского учителя..." - Чехов вскоре, в Ницце, написал рассказ про сельскую учительницу - "На подводе". Напечатан в газете "Русские ведомости", 1897, N 352, 21 декабря.

Стр. 449. Колупаев, Разуваев - персонажи произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина "Убежище Монрепо" (1878-1879).

...по его отношению к делу Дрейфуса. - Дело Дрейфуса - провокационный процесс, организованный в 1894 году во Франции реакционными и антисемитскими кругами против офицера генерального штаба, еврея Альфреда Дрейфуса. На основании подложных документов Дрейфус был обвинен в шпионаже и приговорен к пожизненной ссылке на Чертов остров.

Через три года демократические круги Франции добились пересмотра этого дела. Пребывание Чехова во Франции в 1897/98 году совпало со временем вторичного судебного разбирательства дела Дрейфуса, который и на этот раз был обвинен; подлинному же виновнику - майору Эстергази был вынесен оправдательный приговор.

Дрейфус был оправдан только в 1906 году.

Отношение Чехова к делу Дрейфуса и выступившему в защиту Дрейфуса Э.Золя известно из ряда писем Чехова: "...Вы спрашиваете меня, все ли я еще думаю, что Золя прав. А я Вас спрашиваю: неужели Вы обо мне такого дурного мнения, что могли усомниться хоть на минуту, что я не на стороне Золя? Один ноготь на его пальце я не отдам за всех, кто судит его теперь в ассизах, всех этих генералов и благородных свидетелей", - отвечал Чехов художнице А.А.Хотяинцевой 2 февраля 1898 года.

Позиция "Нового времени" в деле Дрейфуса явилась причиной изменения отношений Чехова с Сувориным. Чехов писал Ал.П.Чехову 23 февраля 1898 года: "В деле Золя "Новое время" вело себя /759/ просто гнусно. По сему поводу мы со старцем обменялись письмами... и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем..."

Как выясняется из найденных недавно в Англии писем Чехова к И.Я.Павловскому, Чехов хотел выступить в парижской печати с протестом против обвинителей Дрейфуса. Встретившись с французским публицистом Бернардом Лазаром, Чехов дал ему интервью для французских газет. В печати, однако, оно не появилось, так как, ознакомившись с репортерской записью этой беседы (сделанной другим лицом по материалам, полученным от Б.Лазара), Чехов нашел в ней много искажений. "В начале еще ничего, - писал Чехов Павловскому, - но середина и конец совсем не то... и план и цель нашей беседы были совсем иные" ("Oxford Slavonic papers", vol. IX, Oxford, 1960).

...письмо... Суворину... - Имеется в виду письмо А.С.Суворину от 6 февраля 1898 года.

...на отношении "Нового времени" к знаменитому процессу. - В другом варианте воспоминаний М.М.Ковалевского (хранящемся в виде машинописной копии в ААН) об этом написано подробнее: "Во время известного дела Дрейфуса он с жаром читал газеты и, убедившись в невинности "оклеветанного еврея",

писал никому другому, как Суворину, горячие письма о том, что нечестно травить ни в чем не повинного человека. Суворин, как рассказывал мне Чехов, в ответ на одно из таких писем написал ему: "Вы меня убедили". - "Никогда, однако, - прибавил Чехов, - "Новое время" не обрушивалось с большей злобой на несчастного капитана, как в недели и месяцы, следовавшие за этим письмом".

...Чехов нередко дарил мне отдельные томики своих рассказов. - Одна из этих книг - повесть "Моя жизнь" (изд. А.С.Суворина, Спб. 1897) - сохранилась у наследников М.М.Ковалевского, живущих во Франции. Дарственная надпись на этой книге: "Максиму Максимовичу Ковалевскому в память о его гостеприимстве, пикете, обедах в Pension russe и о телеграмме, которую мы вместе и так долго сочиняли. А.Чехов. 97 28/X". [Телеграмма М.М.Стасюлевичу к 50-летию его литературной деятельности.]

Стр. 450. ...ночь, проведенная с ним в одном поезде - с 30 на 31 января 1901 года.

...читателей "Русского курьера", в котором печатались его мелкие рассказы... - В газете "Русский курьер" произведения Чехова не публиковались.

Стр. 451. ...известие о скорой постановке его новой пьесы... - В Художественном театре готовилась к постановке пьеса "Три сестры".

Стр. 452. ...проведенных за корректурой "Трех сестер". - Пьеса /760/ "Три сестры" была напечатана в "Русской мысли" (1901, кн. II). Присланную корректуру Чехов читал в Риме 7 февраля 1901 года. (В этот же день он уехал в Россию.)

## С.Н.ЩУКИН

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А.П.ЧЕХОВЕ

Щукин Сергей Николаевич (1873-1931) - священник, учитель ялтинской церковной школы и литератор. Познакомился с Чеховым в конце 1898 года. Известны четыре письма к нему Чехова 1901 и 1904 гг. В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) имеется семь писем к нему Щукина 1899, 1901 и 1904 гг.

Печатаются I-VI главы из воспоминаний С.Н.Щукина, опубликованных в журнале "Русская мысль", 1911, кн. X, за подписью: С.Щ.

Стр. 454. ...стали говорить, что приехал А.П.Чехов. - Чехов приехал в Ялту в середине сентября 1898 года.

...давно ли перед этим Антон Павлович был в Ялте... - Чехов был в Ялте летом 1889 и осенью 1894 года.

Стр. 455. ...принимает... в своей квартире, в такие-то часы. - Впервые заметка о приеме пожертвований (в пользу голодающих детей Самарской губернии) на квартире у Чехова была напечатана в газете "Крымский курьер",

1898, 24 ноября, и затем повторена в ряде номеров этой газеты в 1898 и 1899 годах.

Стр. 456. ...газету "Северный край", которая в то время выходила в Ярославле. - В Ярославле жил и иногда печатался в местной газете брат Чехова Михаил Павлович.

Стр. 457. ...и на всех его надпись. - В семье С.Н.Щукина сохранились две книги Чехова с дарственными надписями автора: "Мужики" и "Моя жизнь", изд. Суворина (6-е), Спб. 1899, с надписью: "Сергею Николаевичу Щукину на добрую память от автора. 27/XII - 1899", и "Рассказы", т. IV, изд. Маркса (Спб. 1900), с надписью: "Отцу Сергию Щукину на добрую память и в знак искреннего глубокого уважения от старого знакомого автора. А.Чехов. 1901, VII. 10".

Стр. 458. ...на похоронах одного ялтинского врача - А.И.Кольцова, на Аутском кладбище, 7 марта 1899 года.

Перед пасхой он уезжал. - Чехов уехал в Москву 10 апреля 1899 года.

Стр. 459. ...поселился в своем доме. - Чехов вернулся в Ялту и поселился в отстроенном флигеле своей дачи в конце августа 1899 года. /761/

...дал займы довольно большую сумму на одну из наших школ... - В мае 1900 года Чехов послал 1000 рублей на постройку нового здания школы в Мухалатке (в 40 верстах от Ялты). Еще до этого он пожертвовал 500 рублей на поддержание мухалатской школы, которой грозило закрытие из-за отсутствия средств.

...звание члена попечительного совета гимназии. - Чехов был членом попечительского совета ялтинской женской гимназии, начальницей которой была В.К.Харкеевич.

Стр. 461. ...его приветствовали взволнованно, радостно и шумно. - См. прим. к стр. 385.

Стр. 463. ...он сам послал рассказ в редакцию журнала. - Рассказ С.Н.Щукина под заглавием "Глупости Ивана Ивановича" (под псевдонимом: Воскресенский), посланный Чеховым в январе 1900 года в редакцию газеты "Неделя", не был напечатан.

Стр. 464. ...статья о Чехове Горького, по поводу новой повести. - Имеется в виду статья М.Горького "По поводу нового рассказа А.П.Чехова "В овраге". Напечатана в газете "Нижегородский листок", 1900, 30 января.

Стр. 465. ...среди карточек писателей... знакомых... есть одна довольно необычная. - Фотография эта находится в настоящее время в ялтинском Доме-музее А.П.Чехова, в кабинете писателя.

**Л.Н.ШАПОВАЛОВ**

**КАК БЫЛ ПОСТРОЕН ДОМ ЧЕХОВА В ЯЛТЕ**



(Литературная запись А.Л.Лесса, авторизованная Л.Н.Шаповаловым)

Шаповалов Лев Николаевич (1871-1956) - архитектор, строитель дачи А.П.Чехова в Ялте.

Печатается по авторизованной машинописи.

**Н.Д.ТЕЛЕШОВ**

**А.П.ЧЕХОВ**

Телешов Николай Дмитриевич (1867-1957) - писатель, заслуженный деятель искусств. С Чеховым познакомился в феврале 1888 года, но встречались они главным образом во второй половине 90-х и начале 900-х годов. Известны девять писем Чехова Телешову (1899-1904 гг.). В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) имеется шестнадцать писем к нему Телешова (1895-1904 гг.). /762/

Печатается по тексту: Н.Д.Телешов. Избранные сочинения, т. 3, М. 1956, глава А.П.Чехов (из "Записок писателя").

Стр. 473. Несмотря на молчание критики... - Сведения о сборнике "В сумерках" неверны. Сборник вышел в августе 1887 года, и уже с сентября в газетах и журналах появились отзывы о книге. 13 сентября 1887 года Чехов писал М.В.Киселевой: "Рецензий было много, и, между прочим, в "Северном вестнике". Читаю и никак не могу понять, хвалят ли меня, или же плачут о моей погибшей душе? "Талант, талант, но, тем не менее, упокой, господи, его душу" - таков смысл рецензий". 28 сентября он снова писал М.В.Киселевой: "Рецензии о себе читаю почти ежедневно".

Что же касается критики Буренина, то именно сборник "В сумерках" был им оценен очень высоко. В рецензии "Критические очерки. Рассказы г.Чехова" ("Новое время", 1887, N 4157, 25 сентября) он писал: "...почти в каждом его рассказе свежий, яркий и оригинальный талант бьет ключом, и автор неистощим и разнообразен в своих очерках".

Приведенное Телешовым четверостишие Буренина не относится к сборнику "В сумерках".

Стр. 474. ...рассказ "Свадьба" и... водевиль на ту же тему?... - Предположение Телешова, что "отсюда вышел" рассказ Чехова "Свадьба с генералом", неверно, так как этот рассказ был напечатан в "Осколках" 15 декабря 1884 года, а в доме Клименкова (который имеет в виду Телешов) Чеховы жили с начала декабря 1885 года.

"... на свадьбе у Белоусова". - Свадьба поэта И.А.Белоусова состоялась 10 февраля 1888 года.

Стр. 475. ...собранные в первую книжку. - К этому времени вышли сборники рассказов Чехова: "Сказки Мельпомены" (1884), "Пестрые рассказы" (1886), "Невинные речи" (1887), "В сумерках" (1887).

...Григорович... однажды сам пришел к Чехову... - С Григоровичем Чехов познакомился в Петербурге у Суворина весной 1886 года. Григорович был у Чехова в Москве позднее. (Об этом см. в книге М.П.Чехова "Вокруг Чехова", М.-Л. 1933, стр. 137.)

Стр. 476. ..."при несомненной интеллигентности лица..." - См. воспоминания В.Г.Короленко на стр. 137.

Стр. 477. ...написал "Каштанку" и "Белолобого"... - Рассказ "Каштанка" был в это время уже напечатан в "Новом времени", 1887, 25 декабря, под заглавием "В ученом обществе". Рассказ "Белолобый" напечатан значительно позднее в "Детском чтении" (1895, ноябрь).

Стр. 479. ...охотник был посмеяться. - За этими словами в /763/ предыдущей редакции воспоминаний Телешова о Чехове следовал текст, который в "Избранных произведениях", т. 3, в измененном виде, перенесен автором в главу "Среда. Литературный кружок".

Приводим этот текст:

"В 1900 году в Москве образовался у нас товарищеский кружок литераторов под именем "Среда". Большинство виднейших молодых писателей того времени, как Горький, Леонид Андреев, Вересаев, Бунин, Скиталец, Куприн, были постоянными посетителями наших собраний. Не чуждались их и более старшие писатели - Короленко, Златовратский, Мамин-Сибиряк... Хотя Чехов жил в Ялте, но всегда интересовался кружком и требовал, чтобы я писал ему о наших новостях. Рядом с серьезными и деловыми беседами у нас допускались и шутки. Так, в одну из зим появились у нас шуточные прозвища нашим постоянным товарищам. Но прозвища эти дозволялось выбирать только из существующих названий тогдашних улиц, площадей и переулков, это называлось у нас "давать адреса".

Например, писателю Гославскому за его обычное безмолвие во время споров дали название: "Большая Молчановка", а другого товарища, наоборот, - за пристрастие к речам прозвали "Самотека". Старику Златовратскому дан был сначала адрес: "Старые Триумфальные ворота", но потом переменили на "Патриаршие пруды". Редактору "Русской мысли" Гольцеву дали адрес "Девичье поле", но вскоре изменили на "Бабий городок". Тимковский назывался "Зацеп", театральный критик Сергей Глаголь был "Брехов переулок", а Шаляпин был - "Разгуляй". Бунин, отчасти за свою худобу, отчасти за острословие, от которого иным приходилось солоно, назывался "Живодерка", а кроткий Белоусов - "Пречистенка". Вересаев - за твердость взглядов был "Каменный мост", Серафимович за свою лысину назывался - "Кудрино", Куприн, за пристрастие к лошадям и к цирку, - "Конная площадь", а только что начинавший тогда Леонид Андреев получил адрес: "Большой Новопроектированный переулок". В таком же роде были прозваны и многие другие товарищи.

Над этими адресами, помню, потешался и хохотал Чехов, когда однажды в его ялтинском кабинете я докладывал ему о них как о новинках только что минувшего сезона.

- А меня как прозвали? - с интересом спрашивал Антон Павлович, готовясь смеяться над собственным адресом.

- Вас не тронули. Вы без адреса.

- Ну, это жалко! - разочарованно говорил он. - Это очень досадно.

Приедете в Москву, непременно прозовите меня. Только, /764/ пожалуйста, без всяких церемоний: чем смешнее, тем лучше. И напишите - как. Доставите удовольствие.

Когда он узнал, что Миролубову, издателю "Журнала для всех", за его колоссальный рост дали адрес: "Каланчовская площадь", то с улыбкой заметил:

- Вот Глеб Успенский его тоже великолепно окрестил. Совершенно невероятным именем, но метко: "Пирамидальный буйвол", - вот это сказано!"

Стр. 480. ...от февраля 1903 года из Ялты... - письмо от 7 февраля 1903 года.

Так отзывался о Чехове Л.Н.Толстой. - См. А.Зенгер. У Толстого ("Русь", 1904, N 212, 15 июля).

Стр. 481. "Я боюсь смерти Толстого..." - из письма М.О.Меньшикову от 28 января 1900 года.

...резкий отказ от этого почетного звания... - См. воспоминания А.И.Куприна на стр. 549-550 и прим. к ним.

Стр. 482-483. "Пошлите-ка вы этого жулика..." - из письма от 27 июня 1901 года (Собр. соч., т. 28, М. 1954, стр. 166).

Стр. 486. ...где он теперь и находится. - Документ этот хранится в ЦГАЛИ.

Стр. 487. ...севастопольского спектакля... - См. об этом воспоминания Станиславского на стр. 385.

...поставлена в Художественном театре. - Замысел пьесы "На дне", возникший у Горького в 1900 году, был осуществлен позднее - летом 1902 года. Пьеса поставлена в Художественном театре впервые 12 декабря того же года. Раньше была написана пьеса "Мещане", поставленная в Художественном театре 26 марта 1902 года.

...участь Чехова-драматурга, казалось, была решена бесповоротно. - О постановках "Иванова" и "Лешего" см. воспоминания Вл.И.Немировича-Данченко на стр. 424 и 429 и прим. к ним; о провале "Чайки" - воспоминания Л.А.Авиловой на стр. 246 и прим. к ней.

Победа была полная... - См. воспоминания К.С.Станиславского на стр. 374-375.

Стр. 488. ...ставились на сцене МХТ. - "Иванов" был поставлен в Художественном театре впервые 19 октября 1904 года, инсценировки рассказов Чехова: "Хирургия", "Злоумышленник", "Жених и папенька" - в 1905 году. Об остальных постановках см. прим. к стр. 375 и 397.

...случай этот не выдуман... - Об отношении Л.Н.Толстого к пьесе "Дядя Ваня" см. прим. к стр. 368-369.

"Художественный театр - это лучшие страницы..." - из письма Чехова Вл.И.Немировичу-Данченко от 24 ноября 1899 года. /765/

Стр. 490. ... "вагона для устриц" ... - См. воспоминания М.Горького на стр. 504 и прим. к ней.

Стр. 490-491. "Глава о Чехове еще не кончена..." - из книги К.С.Станиславского "Моя жизнь в искусстве" (Собр. соч., т. 1, М. 1954, стр. 277).

Стр. 492. "Чехов - это Пушкин в прозе!" - Эти слова Л.Н.Толстого о Чехове известны из письма Б.А.Лазаревского к Чехову, написанного по возвращении из Ясной Поляны 5 сентября 1903 года: "Всего, о чем он говорил, здесь не опишешь, но много говорил и о Вас - "Чехов - это Пушкин в прозе" (ГБЛ). Об этом же Б.А.Лазаревский написал в своих воспоминаниях ("Журнал для всех", 1905, N 7).

## М.ГОРЬКИЙ

### А.П.ЧЕХОВ

Горький М. (Пешков Алексей Максимович, 1868-1936).

Воспоминания написаны в 1904 году и впервые опубликованы в "Нижегородском сборнике", изд. "Знание", Спб. 1905. Дополнительные записи от слов: "Пятый день повышена температура" (стр. 505) сделаны Горьким в 1914 году и позднее. Опубликовано впервые в журнале "Беседа", Берлин, 1923, кн. 2. Обе части вместе напечатаны впервые в том же году в книге Горького "Воспоминания", изд. "Книга", Берлин.

Заочное знакомство Горького с Чеховым началось в конце октября 1898 года, когда Горький послал Чехову письмо и свои книги: "Очерки и рассказы", тт. 1 и 2, вышедшие в 1898 году. С этого времени возникла их переписка (опубликована полностью в книге: "М.Горький и А.П.Чехов", М. 1951).

Личное знакомство состоялось в Ялте 19 марта 1899 года, и уже 22 марта Горький писал Е.П.Пешковой: "Чехов - человек на редкость. Добрый, мягкий, вдумчивый... Говорить с ним в высокой степени приятно, и давно уже я не говорил с таким удовольствием, с каким говорю с ним" (Собр. соч., т. 28, М. 1954, стр. 69); и в начале апреля 1899 года: "Он очень определенно высказывает большую симпатию ко мне, очень много говорит мне таких вещей, каких другим не скажет, я уверен. Меня крайне трогает его доверие ко мне, и вообще я сильно рад, очень доволен тем, что он, которого я считаю талантом огромным и оригинальным, писателем из тех, что делают эпохи в истории литературы и в настроениях общества, - он видит во мне нечто, с чем считается. Это не только лестно мне, это крайне хорошо, ибо способно заставить меня относиться к самому себе строже, требовательнее. Он замечательно славно /766/ смеется - совсем по-детски. Видимся мы ежедневно" (там же, стр. 70-71).

23 марта Чехов писал Л.А.Авиловой о своем знакомстве с Горьким: "В Ялте Горький. По внешности это босяк, но внутри это довольно изящный человек - и я очень рад".

В дневнике писателя Б.А.Лазаревского имеется запись от 28 ноября 1899 года: "Очень меня порадовало и заинтересовало мнение Чехова о Горьком:

- Большой поэт! громаднейший талант!
- Немного рисуется своим прошлым, - сказал я.
- Это есть, есть, да пускай его, это даже идет к нему" (ГПБ).

Дальнейшие встречи Чехова с Горьким происходили в 1900-1904 годах - в Ялте, Москве, Н.-Новгороде и Петербурге.

Печатается по тексту, опубликованному в томе 5 Собр. соч. М.Горького, М. 1950.

Стр. 493. ...белый двухэтажный домик. - Домик в деревне Кучук-Кой, на южном берегу Крыма, Чехов приобрел в конце 1898 года, когда еще не была построена его дача в Ялте. О своей поездке с Чеховым в Кучук-Кой (4 апреля 1899 года), где Чехов познакомил его с местным учителем, Горький упоминает в своей статье "О женщине" (1930), но в ней ошибочно указан год поездки (1901).

Стр. 495. ...нет возможности помочь ему? - Имеются воспоминания М.Е.Плотова, бывшего учителем в селе Щеглятьеве, вблизи Мелихова. Он рассказывает, как Чехов пытался добыть ему средства на поездку в Крым для лечения.

"О моей поездке в Крым я и думать перестал: не было на это средств, но Антон Павлович, оказалось, не только не забыл о ней, но и старался сделать все от него зависящее, чтобы добыть необходимые для этого средства.

В один из моих последующих визитов в Мелихово Антон Павлович говорил мне:

- Я написал местному благочинному письмо. Просил его, как человека, знакомого с графиней Орловой-Давыдовой, обратиться к ней, как попечительнице Щеглятьевской школы, с просьбой оказать вам материальную помощь для поездки в Крым. Благочинный в своем ответном письме между прочим пишет мне: "Графиня сама знает нужды своих подчиненных".

Надо было слышать, с каким негодованием и отвращением произнес Чехов последнюю фразу. Это возмущение было настолько /767/ велико, что он не мог усидеть на месте и вынужден был несколько минут быстро ходить по кабинету, чтобы успокоиться.

Я уверен, что Антон Павлович никогда так не волновался, не возмущался и не жалел о своих личных неудачах, как волновался и возмущался по поводу неудач маленьких людей, своих знакомых, особенно в тех случаях, когда к неудачам материального порядка присоединялись попытки умаления человеческого достоинства этих людей" ("Комсомольская правда", 1944, N 164, 15 июля).

Стр. 498. ...говорил своим языком... - Вероятно, передав верно характер этой беседы, Горький не совсем точно вспомнил тему ее, так как война греков с турками происходила и закончилась в 1897 году, до знакомства Чехова с Горьким.

Сохранилась записная книжка М.Горького, в которой имеется такая запись:

"А.П.Чехов.

Дамы "разворачивались" пред ним, изгибались, показывая все свои округлости, делали масляные глазки, прискорбно спрашивали:

- А.П. Отчего вы так грустно пишете о любви?

Покашливая, пощипывая бородку, он отвечал неожиданными вопросами:

- Вы бывали в Миргороде?

- Это - где?

- В Полтавской губернии. Помните Гоголя "Миргород"?

- Ах, значит это не выдумал Гоголь?

- Гоголь никогда ничего не выдумывал.

- А... а "Вий"?

Но, не касаясь "Вия", А.П. пресерьезно рассказывал, что Миргород знаменит своей лужей во всем мире и что смотреть на нее приезжают люди из всех государств Европы.

- У них, в Европе, нет городов с такими лужами на площади..." ("Архив А.М.Горького", т. VI, М. 1957, стр. 212).

Стр. 500. ...носит лаковые ботинки... - Вероятно, имеется в виду В.С.Миролюбов. См. воспоминания В.И.Качалова на стр. 444.

Стр. 501. ...умру в пьяном виде под забором. - Имеется в виду рецензия А.М.Скабичевского ("Северный вестник", 1886, кн. VI) на сборник "Пестрые рассказы". В ней Скабичевский писал, что Чехов "тратит свой талант на пустяки и пишет первое, что ему придет в голову, не раздумывая долго над содержанием своих рассказов", "...вообще книга Чехова, как ни весело ее читать, представляет собою весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта, который изводит себя медленной смертью газетного царства". В рецензии рисовалась судьба /768/ "газетных писателей", которым "приходится в полном забвении умирать где-нибудь под забором".

Стр. 502. - ...а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам... - Эти слова Чехова совпадают с его высказываниями об интеллигенции в письме доктору И.И.Орлову от 22 февраля 1899 года: "Пока это еще студенты и курсистки - это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора-дачевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры. Вспомните, что Катков, Победоносцев, Вышнеградский - это питомцы университетов, это наши профессора, отнюдь не бурбоны, а профессора, светила... Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям - интеллигенты они или мужики, - в них сила, хотя их и мало. Несть праведен пророк в отечестве своем, и отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна; что

бы там ни было, наука все подвигается вперед к вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и т.д. и т.д. - и все это делается помимо прокуроров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции en masse\* и несмотря ни на что".

---

\* в целом (франц.).

Стр. 504. ...в вагон для перевозки "устриц". - В письме к Е.П.Пешковой от 11 или 12 июля 1904 года Горький писал: "Этот чудный человек, этот прекрасный художник, всю свою жизнь боровшийся с пошлостью, всюду находя ее, всюду освещая ее гнилые пятна мягким, укоризненным светом, подобным свету луны, Антон Павлович, которого коробило все пошлое и вульгарное, был привлечен в вагоне "для перевозки свежих устриц" и похоронен рядом с могилой вдовы казака Ольги Кукареткиной. Это - мелочи, дружище, да, но когда я вспоминаю вагон и Кукареткину - у меня сжимается сердце, и я готов выть, реветь, драться от негодования, от злобы. Ему - все равно, хоть в корзине для грязного белья вези его тело, но нам, русскому обществу, я не могу простить вагон "для устриц". В этом вагоне - именно та пошлость русской жизни, та некультурность ее, которая всегда так возмущала покойного" (Собр. соч., т. 28, М. 1954, стр. 310). /769/

Стр. 506. ...человек сто, не более... - Горький ехал из Петербурга в Москву на похороны Чехова в том же поезде, к которому был прицеплен вагон с гробом писателя. У него, вероятно, остался в памяти момент встречи гроба на вокзале, где он увидел... "человек сто". В цитируемом выше письме к Е.П.Пешковой Горький писал: "...я видел толпу "публики", ее было, может быть, три-пять тысяч" (там же).

"Нет ничего скучнее..." - Упоминаемое письмо Чехова А.С.Суворину от 11 июля 1894 года было опубликовано в журнале "Лукоморье", 1914, N 12.

...книги Лондона... только раздражают воображение. - Позднее Горький дал иную оценку влиянию Джека Лондона в России: "Джек Лондон. Его волюнтаризм. Рыцари. Воспитал ли он рыцарей в России? Я думаю - да. Это те, которые шли вперед и погибли на фронтах гражданской войны. А воспитал ли он авантюристов? Тоже - да. Плохое прививается легче хорошего" (Архив А.М.Горького, т. VI, М. 1957, стр. 213).

Стр. 507. Затеяв написать пьесу "Васька Буслаев"... - Замысел пьесы о Василии Буслаеве возник у Горького в 90-х годах. Затем, в 1912 году, он предполагал написать либретто оперы на ту же тему. В Архиве А.М.Горького сохранился ряд набросков к "Василию Буслаеву".

Стр. 510. Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах. - Об отношении Л.Н.Толстого к рассказу Чехова "Душечка" см. также воспоминания С.Т.Семенова на стр. 368 и прим. к ней.

## ЧЕХОВ

Бунин Иван Алексеевич (1870-1953) - писатель. С Чеховым познакомился в 1895 году, сблизился с ним в начале 900-х годов. Известны четырнадцать писем Чехова Бунину (1891, 1901, 1902 и 1901 гг.). В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) имеется семнадцать писем Бунина к Чехову за те же годы.

Впервые воспоминания И.А.Бунина напечатаны в сборнике "Знание", 1905, кн. III, посвященном памяти А.П.Чехова. Перепечатаны в сборнике "Памяти А.П.Чехова", М. 1906, и сборнике "О Чехове", М. 1910; вошли в Собр. соч. И.А.Бунина, т. 6, изд. Маркса, Спб. 1915, где они дополнены страницами "Из записной книжки".

В переработанном виде воспоминания опубликованы за границей, куда эмигрировал Бунин после Октябрьской революции: /770/

И.А.Бунин. Собр. соч., т. 10, изд. "Петрополис", Берлин, 1935, и в книге Бунина "Воспоминания", Париж, 1950.

Печатается по тексту последнего издания.

В "Дополнениях" даны выдержки из посмертного издания книги И.А.Бунина "О Чехове (незаконченная рукопись)", Нью-Йорк, 1955.

Стр. 512. ...до весны девяносто девятого года. - Эти встречи, вероятно, были не весной 1899 года, а осенью 1898, так как в своих воспоминаниях "О Шаляпине" Бунин писал, что он познакомил Шаляпина с Чеховым в Ялте - это могло быть только в сентябре 1898 года. См. письма Чехова: И.П.Чехову от 19 сентября 1898 года; Л.С.Мизиновой от 21 сентября 1898 года; Е.З.Коновицеру от 21 сентября 1898 года.

В воспоминаниях Бунина о Шаляпине читаем:

"...Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я наконец спросил:

- Да за чем же дело стало?

- Да за тем, - отвечал он, - что Чехов нигде не показывается, что все нет случая представиться ему.

- Помилуй, какой для этого нужен случай? Возьми извозчика и поезжай.

- Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком.

- Ну, полно, это ты сейчас дурака валяешь.

- Бог свидетель, нисколько не валяю. Вот если б ты свез меня как-нибудь к нему...

Я не замедлил сделать это и убедился, что все было правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать. А вышел от него в полном восторге:

- Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человек!.." ("Иллюстрированная Россия", Париж, 1938, N 19/677).



Стр. 513. По-моему, чудесно. - В воспоминаниях о Чехове, опубликованных в Собр. соч. И.А.Бунина (изд. Маркса, т. 6, Спб. 1915, стр. 293-295) за этими словами шел следующий текст: "Может быть, это покажется кому-нибудь манерностью. Но - Чехов и манерность! "Скажу прямо, - говорит один из хорошо знавших Чехова, - я встречал людей не менее искренних, чем Чехов, но людей до такой степени простых, чуждых всякой фразы и аффектировки, я не помню". Да, он любил только искреннее, жизненное, органическое, - если только оно не было грубо и косно, - и положительно не выносил фразеров, книжников и фарисеев, особенно /771/ тех из них, которые настолько вошли в свои роли, что роли стали их вторыми натурами. В своих работах он почти никогда не говорил о себе, о своих вкусах, о своих взглядах, что и повело, кстати сказать, к тому, что его долго считали человеком беспринципным, необщественным. В жизни он также очень редко говорил о своих симпатиях и антипатиях: "я люблю то-то", "я не выношу того-то" - это не чеховские фразы. Но симпатии и антипатии его были чрезвычайно устойчивы и определены, и среди его симпатий одно из первых мест занимала именно естественность. "Море было большое..." Ему, с его постоянной жаждой наивысшей простоты, с его отвращением ко всему вычурному, напряженному, казалось это "чудесным". А в его словах об офицере и музыке сказалась другая его особенность: сдержанность. Неожиданный переход от моря к офицеру, несомненно, был вызван его затаенной грустью о молодости, о здоровье. Море пустынно... А он любил жизнь, радость, и за последние годы эта жажда радости, хотя бы самой простой, самой обыденной, особенно часто сказывалась в его разговоре. Но именно только сказывалась.

Слова за последнее время стали очень дешевы. И хорошие и дурные слова произносятся теперь с удивительной легкостью и лживостью. Но, кажется, чаще всего так говорят об умерших. Очень много легкости, неточностей, а порой просто скудоумия можно встретить и в воспоминаниях о Чехове. Пишут, например, что Чехов поехал на Сахалин затем, чтобы поддержать репутацию "серьезного" человека, и в дороге так простудился, что нажил чахотку... Пишут, что смерть Чехова была ускорена постановкой "Вишневого сада": накануне спектакля Чехов будто бы так волновался, так боялся, что его пьеса не понравится, что всю ночь бредил... Все это сущий вздор. На Сахалин Чехов поехал потому, что его интересовал Сахалин, и еще потому, что в путешествии он хотел встряхнуться после смерти брата Николая, талантливого художника. И чахотку он нажил не в Сибири, - о том, что его легкие "хрипят", он упоминал в письмах к сестре еще в восемьдесят седьмом году, - хотя несомненно, что ездить ему не следовало: взять хотя бы этот страшно тяжелый двухмесячный путь на перекладных, ранней весной, в дождь и в холод, почти без сна и положительно на пище св. Антония благодаря дикости сибирских трактов! А что до волнений о "Вишневом саде"... Пишущие, конечно, очень чувствительны к тому, что говорят о них, и много, много в пишущих чувствительности жалкой, мелкой, неврастенической. Но как все это далеко от такого большого и сильного человека, как Чехов! Ибо кто с таким мужеством следовал велениям своего сердца, а не велениям толпы, как он? Кто умел так, как он, скрывать ту острую боль, которую /772/ причиняет человеческому уму человеческая глупость? Известен

только один вечер, когда Чехов был явно потрясен неудачей, - вечер постановки "Чайки" в Петербурге. Но с тех пор много воды утекло. Да и кто мог знать, волнуется он или нет? Того, что совершалось в глубине его души, никогда не знали во всей полноте даже самые близкие ему люди.

Мальчиком Чехов был, по словам его школьного товарища Сергеенко, "вялым увальнем с лунообразным лицом"\* . Я, судя по портретам и по рассказам родных Чехова, представляю его себе иначе. Слово "увальень" совсем не подходит к хорошо сложенному, выше среднего роста мальчику. И лицо у него было не "лунообразное", а просто - большое, очень умное и очень спокойное. Вот это то спокойствие и дало, вероятно, повод считать мальчика Чехова "увальнем", - спокойствие, а отнюдь не вялость, которой у Чехова никогда не было - даже в последние годы. Но и спокойствие это было, мне кажется, особенное - спокойствие мальчика, в котором зрели большие силы, редкая наблюдательность и редкий юмор. Да и как, в противном случае, согласовать слова Сергеенко с рассказами матери и братьев Чехова о том, что в детстве "Антоша" был неистощим на выдумки, которые заставляли хохотать до слез даже сурового в ту пору Павла Егоровича! В юности - в те счастливые дни, когда ему доставляло наслаждение проектировать такие произведения, как "Искусственное разведение ежей, - руководство для сельских хозяев", - это спокойствие тонуло в пышном расцвете прирожденной Чехову жизнерадостности все, кто знали его в эту пору, говорят о неотразимом очаровании его веселости, красоты его открытого, простого лица и его лучистых глаз. Но годы шли, дух и мысль становились глубже и прозорливее. Смело отдав дань молодости, первым непосредственным проявлениям своей богатой натуры, он приступил к суровому в своей художественной неподкупности изображению действительности".

---

\* Воспоминания "О Чехове" П.А.Сергеенко - см. сб. "О Чехове", М. 1910, стр. 152, 153 и Ежемесячн. литературные приложения к "Ниве", 1904, кн. X.

...две-три картины Левитана. - В кабинете Чехова находятся картины И.И.Левитана "Дуб и березка" (1884), "Река Истра" (1885), "Тяга" (1891), "Этюд" (1895) и "Стоги сена при лунном свете" (1899).

Стр. 514. ...рассказ - "Студент". - Этот рассказ впервые напечатан в "Русских ведомостях", 1894, 16 апреля, под заглавием "Вечером". /773/

Стр. 515. ...я представлялся ему молодым человеком выгнанным из гимназии за пьянство. - См. прим к стр. 501.

"Публикует "Скорпион" о своей книге неряшливо..." - из письма от 14 марта 1901 года.

..."В море". - Рассказ "В море" ("Мирской толк", 1883, N 40, 29 октября) был напечатан в альманахе "Северные цветы" (М. 1901) с исправлениями и под новым названием "Ночью". При включении рассказа в Собрание сочинений Чехов вернулся к первоначальному заглавию.

Стр. 516. "Здравствуйте, милый И.А.!" - из письма от 8 января 1904 года.

Стр. 519. ...пишет не по толстовски... - В книге И.А.Бунина "О Чехове" вслед за этим абзацем следует: "А мне Илья Львович Толстой говорил в 1912 году, что у них в доме на писателей смотрели "вот как", и он нагибался и держал руку на высоте низа дивана, и, когда он мне это рассказывал, я вспомнил эти слова Чехова".

..."человека забыли" - из пьесы Чехова "Вишневый сад".

Стр. 520. ..."простота и задушевность"... - В рецензии на "Северные сборники", кн. 5, П. 1908 ("Русское богатство", 1908, кн. 10), Короленко писал, что рассказы Седерберга напоминают "простоту и задушевность нашего Чехова". (См. эту рецензию также в Собр. соч. В.Г.Короленко, т. 9, изд. А.Ф.Маркса, П. 1914, и т. 8, Гослитиздат, М. 1955.).

..."печаль о призраках". - Имеется в виду рецензия Короленко "О сборниках товарищества "Знание" на 1903 год", напечатанная в журнале "Русское богатство", 1904, кн. 8, и в Собр. соч. В.Г.Короленко, т. 5, изд. А.Ф.Маркса, П. 1914.

...называет его беспощаднейшим талантом. - См. статью "Творчество из ничего" в книге Л.Шестова "Начала и концы", Спб. 1908.

Стр. 521. "А вы поменьше водки пейте". - Чьи воспоминания имел в виду Бунин - не установлено.

Урениус... Упрудиус... - Возможно, что Чехов имел в виду поэта-символиста И.И.Ореуса.

Стр. 522. Анна - "Анна Каренина".

Стр. 524. ...волки в страхе разбежались... - из стихотворения Н.Ведкова "В ожидании утра" ("Русское богатство", 1899, N 8, август).

Стр. 525. ..."искры божьей нет". - См. прим. к стр. 501.

...поезд или первую любовь... - Имеется в виду статья Н.К.Михайловского о сборнике рассказов Чехова "Хмурые люди" ("Русские ведомости", 1890, N 104. Вошла в Собр. соч. Н.К.Михайловского, т. VI, изд. "Русского богатства", 1897, под заглавием "Об /774/ отцах к детям и о г.Чехове"). В этой статье Михайловский писал: "Выбор тем г.Чехова поражает своею случайностью. Везут по железной дороге быков в столицу на убой. Г.Чехов заинтересовывается этим и пишет рассказ под названием "Холодная кровь"... Почту везут, по дороге тарантас встряхивает, почтальон вываливается и сердится. Это - рассказ "Почта"... И рядом вдруг "Спать хочется" - рассказ о том, как тринадцатилетняя девчонка Варька, состоявшая в няньках у сапожника и не имеющая ни минуты покоя, убивает порученного ей грудного ребенка потому, что именно он мешает ей спать. И рассказывается это тем же тоном, с теми же милыми колокольчиками и бубенчиками, с той же "холодной кровью", как про быков или про почту, которая выехала с одной станции и приехала на другую".

Стр. 526. Это было начало "Бабьего царства". - Вероятно, это была рукопись рассказа "Дом с мезонином", который Чехов писал в декабре 1895 года. Повесть "Бабье царство" была в это время уже напечатана (в январе 1894 г.).

Стр. 529. "Через месяц был назначен..." - окончание рассказа "Архиерей".

...разобьет и раздавит Россия. - Письмо это неизвестно.

## [ДОПОЛНЕНИЯ]

Стр. 530. ...против четвертой заповеди... - Бунин имел в виду не четвертую, а пятую заповедь: "Чти отца твоего и мать твою".

Стр. 531. Спектакли шли сначала в Севастополе, затем в Ялте. - См. прим. к стр. 382.

...первое представление "Трек сестер" - в Московском Художественном театре.

Стр. 532. ...в Святогорском монастыре, в гоголевских местах. - В 1888 году Чехов, во время своего пребывания на Луке, возле г.Сумы Харьковской губ., совершил поездку по Украине (с 14 по 19 июня). "Был в Лебедине, в Гадяче, в Сорочинцах и во многих прославленных Гоголем местах", - писал он Н.А.Лейкину 21 июня 1888 года. В Святогорском монастыре Чехов был в мае 1887 года.

Стр. 533. ..."Ворона" - напечатано впервые в журнале "Осколки", 1885, N 22, 1 июня, под заглавием "Павлин в вороньих перьях". Под заглавием "Ворона" рассказ включен в Собрание сочинений.

..."Гусев" - впервые напечатан в газете "Новое время", 1890, N 5326, 25 декабря.

Стр. 534. ..."Скучная история", "Тиф"... - Повесть "Скучная история" впервые напечатана в "Северном вестнике", 1889, кн. XI; рассказ "Тиф" - в "Петербургской газете", 1887, N 80, 23 марта. /775/

"Теперь я здоров..." - из письма к О.Л.Книппер от 9 сентября 1901 года.

...о кумысе, где он поправился... - На кумысе, в Аксенове Уфимской губ., Чехов был в июне 1901 года.

Стр. 535. ...чтобы сделать некоторые указания и, может быть, изменения. - Чехов приехал в Москву 16 сентября 1902 года, присутствовал на репетициях "Трех сестер". См. воспоминания В.В.Лужского и прим. к стр. 441.

Стр. 536. ...ее на руках перенесли с парохода на дачу... - О.Л.Книппер приехала в Ялту 14 апреля 1902 года.

Стр. 537. ...о первом представлении пьесы Горького "На дне"... - состоялось в Художественном театре 17 декабря 1902 года.

## А.И.КУПРИН

### ПАМЯТИ ЧЕХОВА

Куприн Александр Иванович (1870-1938) - писатель. С Чеховым познакомился в 1901 году, переписывался с ним. Известны девять писем Чехова

Куприну (1902-1904 гг.). В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) имеется девятнадцать писем к нему Куприна (1901-1904 гг.).

Воспоминания о Чехове Куприн написал в 1904 году. Впервые были опубликованы в сборнике т-ва "Знание", кн. 3, Спб. 1905, посвященном памяти А.П.Чехова.

Печатаются по тексту, опубликованному в т. 6 Собр. соч. А.И.Куприна, М. 1958.

Стр. 540. ...кто ее строил... - Дача Чехова построена по проекту архитектора Л.Н.Шаповалова. См. воспоминания Л.Н.Шаповалова.

Стр. 542. Он верил в то, что грядущая, истинная культура облагородит человечество. - Известна Солее подробная запись Куприна об этих высказываниях Чехова: "В начале 900-х годов мне как-то приходилось разговаривать с Чеховым. Он, между прочим, высказал мысль, что многие ошибаются, приписывая человечеству нравственное падение. Обратите внимание, говорил он, что все более и более редкими становятся преступления вроде убийства, насилия, воровства между людьми интеллигентных профессий: докторами, инженерами, адвокатами, учителями... Следовательно, человеческое образование содействует прогрессу в нравственном смысле" (газета "Последние известия", Ревель, 1922, N 3, 4 января).

Стр. 543. ...постановку его пьесы. - См. прим к стр. 385 и 386.

Стр. 544. ...больная барышня. - О.Р.Васильева. /776/

Стр. 546. ...каким я его увидел впервые... в Одессе. - Эта встреча состоялась 13 февраля 1901 года.

Стр. 549-550. "В декабре прошлого года..." - Письмо Чехова с отказом от звания почетного академика на имя председателя отделения русского языка и словесности Академии наук А.Н.Веселовского от 25 августа 1902 года было напечатано в журнале "Освобождение" (1902, N 10), выходившем в Штутгарте и нелегально распространявшемся в России.

Куприн писал Чехову 6 декабря 1902 года: "Большое впечатление произвело в Петербурге Ваше письмо в Академию. О нем нет разногласия: все единодушно находят его чрезвычайно сдержанным и очень сильным. На днях в одном обществе, где был и Боборыкин, это письмо читали вслух. Маститый романист, говорят, чувствовал себя при этом не совсем ловко" (ГБЛ).

В России это письмо было опубликовано впервые в сборнике т-ва "Знание", кн. 3, Спб. 1905.

Избрание Горького в почетные академики состоялось не в декабре (как ошибочно указано в письме Чехова), а 25 февраля 1902 года. Об этом известили Чехова телеграммами Н.П.Кондаков - 26 февраля и В.С.Миролюбов - 27 февраля (ГБЛ); 10 марта в "Правительственном вестнике" было напечатано следующее сообщение: "Ввиду обстоятельств, которые не были известны соединенному собранию Отделения русского языка и словесности и разряда изящной словесности императорской Академии наук, - выборы в почетные академики Алексея Максимовича Пешкова (псевдоним: Максим Горький), привлеченного к

дознанию в порядке ст. 1035 устава уголовного судопроизводства, объявляются недействительными".

Стр. 551. ...оскорбленный в родительских чувствах архитектор... - Как видно из письма Куприна Чехову от мая 1901 года, у Чехова был архитектор Секавин. "Четверть часа тому назад, - писал Куприн, - я встретил на Набережной архитектора Секавина, который, помните, доезжал Вас целые три часа. Он, правда, мой старый знакомый, то есть мы были знакомы мальчишками, когда мне было лет пятнадцать, а ему двадцать. Я его спросил, зачем он к Вам тогда приходил. Он очень обрадовался и снова рассказал мне эту идиотскую историю. Но как я ни старался ему объяснить нелепость его поступка (даже прибегал к разным сравнениям), он остался непоколебим. "У нас только и есть в России два либеральных писателя - Чехов и Потапенко, которые не побоятся высказать правду в глаза печатно". Жена у него удивительно, до смешного похожа на него, а сын - бледный мальчишка с разинутым ртом и оттопыренными ушами" (ГБЛ). / 777/

Стр. 552. ...одного молодого писателя, громадная известность которого только еще начинала расти. - Вероятно, имелся в виду М.Горький.

Стр. 554-555. "У меня такая масса посетителей..." - из письма А.И.Куприну от 1 ноября 1902 года.

Стр. 555. ...мы с ним гуляли на свадьбе у И.А.Белоусова. - Чехов познакомился с Н.Д.Телешовым на свадьбе поэта И.А.Белоусова 10 февраля 1888 года.

Стр. 557. ...известном ученом... - Имеется в виду академик Н.П.Кондаков.

Стр. 559. ...московском поэте. - Л.И.Пальмине.

Стр. 561. ...чтобы писатель... приходил к нему с утра и занимался у него внизу, рядом со столовой. - Этим начинающим писателем был сам Куприн. М.К.Иорданская-Куприна пишет в своих воспоминаниях, что Куприн рассказывал ей: "...каждое утро к 9 часам... я приходил на дачу Чехова работать над своим рассказом "В цирке". Мои денежные дела были в самом плачевном состоянии. Перед отъездом в Ялту я сдал несколько мелких рассказов в "Одесские новости". Присылка гонорара запаздывала, я сидел без гроша и поэтому особенно стеснялся оставаться обедать у Чеховых. Но Антон Павлович видел меня насквозь, и когда я начинал уверять, что хозяйка ждет меня с обедом, он решительно прерывал меня: "Ничего, подождет, а пока садитесь за стол без разговоров. Когда я был молодой и здоровый, я легко съедал по два обеда, а вы, я уверен, отлично справитесь и с тремя".

Рассказ "В цирке" очень нравился Чехову, и он, как врач, давал Куприну указания, на какие симптомы болезни атлета (гипертрофия сердца) автор должен обратить особенное внимание и выделить их так, чтобы характер болезни не оставлял сомнений. Он с увлечением прочел Александру Ивановичу целую лекцию о различных сердечных болезнях.

- Я понял, - говорил Куприн, - что, если бы Чехов не был таким замечательным писателем, он был бы прекрасным врачом" ("Огонек", 1948, N 38).

Стр. 561-562. "Дорогой N., повесть получил...", "Вы хотите, чтобы я говорил только о недостатках..." - Куприн имеет в виду письма Чехова к нему.

Приведенные два отрывка - неточные цитаты из письма от 1 ноября 1902 года. В них идет речь о рассказе Куприна "На покое".

Стр. 562. "Дорогой N... сим извещаю Вас..." - Приведенный отрывок - из письма Чехова А.И.Куприну от 22 января 1902 года. В нем идет речь о повести Куприна "В цирке" и о его книжке "Миниатюры. Очерки и рассказы", Киев, 1897. /778/

"...в "Словаре русского языка", издаваемом Академией наук..." - Письмо Куприну от 7 февраля 1903 года. В тот же день письмо аналогичного содержания Чехов послал Н.Д.Телешову.

Стр. 563. ...когда ездил на Сахалин. - Чехов был на Сахалине в 1890 году.

Стр. 564. И записал весь анекдот. - В записной книжке Чехова имеется запись: "Репетиция. Жена: - Как это в "Паяцах?" Посвисти, Миша. - На сцене свистать нельзя. Сцена - это храм" (т. 12, стр. 259). Позже Куприн использовал этот анекдот в рассказе "Как я был актером" ("Театр и искусство", 1906, N 52).

Стр. 566. ...главная разгадка его личности. - В письме Чехову (октябрь 1902 года) Куприн писал: "Я до сих пор помню, никогда, вероятно, в моей жизни не забуду того вечера, когда я заходил прощаться с Вами и когда Вы говорили со мной о родах и о прочих сюда относящихся вещах. Я читал где-то, что Доде называл себя "продавцом счастья"\* в том смысле, что он умел глубоко проникать в человеческое горе и утешать. К Вам, конечно, не идет это определение, потому что оно по-французски манерно и приподнято. По от Вас я ушел тогда успокоенный и ободренный, почти умиленный" (ГБЛ).

---

\* В рукописи воспоминаний Куприна о Чехове (ЦГАЛИ) написано не "продавцом счастья", а "провидцем счастья".

"Скажите Вашей жене..." - письмо А.И.Куприну от 1 ноября 1902 года.

Стр. 567. "Здоровье мое поправилось..." - См. письма Чехова от мая 1904 года.

## **С.Я.ЕЛПАТЬЕВСКИЙ**

### **АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ**

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854-1933) - писатель, врач. Долгое время жил в Ялте, где близко познакомился с Чеховым.

Известно одно письмо А.П.Чехова к Елпатьевскому (1903 г.). В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) писем к нему Елпатьевского не имеется.

Печатаются не полностью главы III и IV из книги С.Я.Елпатьевского "Близкие тени", Спб. [1909]; начиная от слов: "В Чехове не было горьковской

дерзости" (стр. 577) и до конца - по книге Елпатьевского "Воспоминания за пятьдесят лет", 1929, стр. 301-307, не полностью.

Стр. 572. ...санатории ялтинского благотворительного общества... - По свидетельству М.П.Чеховой, тяжелое положение, в /779/ котором оказывались приезжавшие в Ялту материально не обеспеченные туберкулезные больные, "производило на Антона Павловича удручающее впечатление и привело к мысли о том, что в Ялте нужно организовать общедоступный санаторий. Он включился в деятельность ялтинского благотворительного общества, состоящего из врачей-общественников, составил воззвание с призывом присылать пожертвования на организацию специального санатория, разослал его редакциям газет, своим друзьям и знакомым. Так в Ялте и был создан первый общедоступный санаторий для туберкулезных больных, носивший название "Яузлар" (ныне санаторий А.П.Чехова). См. "Дом-музей А.П.Чехова в Ялте", М. 1954, стр. 10. В дальнейшем Чехов состоял участковым попечителем о нуждающихся туберкулезных больных в Ялте.

Стр. 575. "...одним беспринципным писателем стало больше..." - В журнале "Русская мысль", 1890, кн. 3, на странице 147 библиографического отдела было напечатано: "Еще вчера даже жрецы беспринципного писания, как гг. Ясинский и Чехов..." В ответ Чехов писал В.М.Лаврову, редактору "Русской мысли", 10 апреля 1890 года: "Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я никогда не был... Обвинение Ваше - клевета".

Стр. 578. ...собирал пожертвования... - Среди рукописных материалов Чехова в ЦГАЛИ сохранились две квитанционные книжки за его подписью для сбора пожертвований в пользу туберкулезных больных, приезжавших для лечения в Ялту.

Стр. 580. ...во время дрейфусовского дела... - См. прим. к стр. 449.

Стр. 581. ..."Невеста"... - Рассказ "Невеста" напечатан в "Журнале для всех", 1903, N 12.

## **И.А.НОВИКОВ**

### **ДВЕ ВСТРЕЧИ**

Новиков Иван Алексеевич (1877-1958) - писатель.

Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в "Литературной газете", 1929, 15 июля, правленному автором для издания сборника 1947 года.

Первая встреча состоялась в январе 1899 года. И.А.Новиков был в то время студентом Московской сельскохозяйственной академии. Вторая встреча произошла на XXVIII выставке художников-передвижников, в мае 1900 года.



Стр. 584. ...какого-то генерала. - Портрет гр. И.И.Воронцова-Дашкова работы художника Н.П.Богданова-Бельского.

...чья эта была картина... - Картина "В гости" молодого /780/ художника М.С.Пырина, в то время кончавшего училище живописи, ваяния и зодчества в Москве. Картина находится в Третьяковской галерее. См. публикацию М.П.Сокольниковой в "Литературном наследстве", т. 68.

(В 1940 году картина экспонировалась на юбилейных выставках М.С.Пырина в Москве и Иванове.)

## **И.Н.АЛЬТШУЛЛЕР**

### **О ЧЕХОВЕ**

#### **Из воспоминаний**

Альтшуллер Исаак Наумович (1870-1943) - врач, специалист по туберкулезу. Один из основателей Международной лиги для борьбы с туберкулезом. В течение многих лет жил в Ялте; лечил Чехова и Л.Н.Толстого во время пребывания последнего в Гаспре. Известны семь писем Чехова Альтшуллеру (публикуются в томе 68 "Литературного наследства", М. 1960). В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) имеется шесть писем Альтшуллера к Чехову.

Умер за границей, куда эмигрировал из Крыма до установления в Крыму советской власти.

Впервые воспоминания Альтшуллера о Чехове напечатаны в газете "Русские ведомости", 1914, 2 июля, под названием: "Отрывки из воспоминаний об А.П.Чехове".

Публикуемые воспоминания написаны в 1929 году. В Архиве М.П.Чеховой сохранилось письмо к ней Альтшуллера от 19 июля 1929 года, в котором он писал: "Ко мне теперь, по поводу годовщины, пристают с просьбами написать воспоминания об Антоне Павловиче. С одной стороны, я бы это сделал с удовольствием, так как ведь сколько о нем ни написано, но почти всегда новое находится у каждого. С другой стороны, мне, как бы это сказать, немного страшно, что ли. Мне ведь в последние годы его жизни пришлось очень близко быть около него, иногда, когда других наблюдателей и не было. Да и по положению я мог видеть и наблюдать многое, что недоступно посторонним, то, что, пожалуй, знаете только Вы, хотя мы почти никогда или только очень редко и только вскользь касались этих тем. Исчезнем мы и немногие другие, и, мне кажется, об Антоне Павловиче останется у потомства неверное, точнее неполное, представление" (ГБЛ).

М.П.Чехова ответила Альтшуллеру: "Воспоминания о брате пишите обязательно, вы должны это сделать".

Воспоминания опубликованы в журнале "Современные записки", Париж, 1930, XLI. /781/

В последние годы жизни И.Н.Альтшуллер снова написал о Чехове. Эти воспоминания под названием: "Еще о Чехове" опубликованы в "Новом журнале", кн. IV, Нью-Йорк, 1943. Повторив частично текст воспоминаний из журнала "Современные записки", И.Н.Альтшуллер дополнил их сведениями об истории болезни Чехова и связи ее с событиями последних лет его жизни. Эти воспоминания печатаются в томе 68 "Литературного наследства".

В настоящем издании печатается текст "Современных записок", Париж, 1930, XLI.

Стр. 585. ...за чтением критической о нем статьи... - Вероятно, это была статья Н.К.Михайловского "Литература и жизнь. Кое-что о Чехове" ("Русское богатство", 1900, кн. IV).

Стр. 587. ...Чехов перебрался ко мне. - Чехов жил у Альтшуллера в октябре 1898 года, до переезда на дачу Иловайской.

Стр. 588. ...все ее тонкие планы кончились ничем. - О встречах с дочерью ялтинского протоиерея Терновского - Надеждой Александровной Терновской - Чехов писал М.П.Чеховой 10 марта 1899 года: "Бываю в Ореанде, Массандре. Катаюсь с поповной чаще, чем с другими, - и по сему случаю разговоров много, и поп наводит справки, что я за человек".

Стр. 589. ... "если вдруг до 85 лет проживу?" - Чехов писал И.П.Чехову 20 января 1899 года: "За будущие произведения я буду получать (по предварительном напечатании в журналах обычным порядком) 250 р. за лист, потом через 5 лет 450 р., еще через 5 лет 650 р. за лист и т.д. с надбавкой по 200 р. через каждые 5 лет. Обещал в телеграмме, что буду жить не долее 80 лет". Телеграмма эта не сохранилась. По поводу нее телеграфировал Чехову Суворин 21 января 1899 года: "Сейчас был Сергеев. Маркс ужасно испугался Вашей угрозы прожить до восьмидесяти лет, когда ценность Ваших произведений так возрастает. Вот сюжет для комического рассказа" (ЦГАЛИ).

...тяжко больной, искал... протекции для... дьякона... - Накануне отъезда в Баденвейлер, 2 июня 1904 года, Чехов писал дьякону Л.И.Любимову: "Я болен, со 2-го мая лежу в постели и завтра уезжаю лечиться за границу, но тем не менее все-таки мне удастся сделать что-нибудь для Вашего сына Александра Леонидовича. Сегодня я уже направил одного господина, который будет иметь разговор с ректором, а завтра поговорю с другим..." В день отъезда, 3 июня 1904 года, он писал В.А.Гольцеву: "...как раз перед отъездом я получил прилагаемое письмо. Это пишет дьякон Любимов, учитель нескольких городских училищ, очень хороший, превосходный человек. Нельзя ли сделать что-нибудь? /782/

Подумай, голубчик! Дьякон беден, а теперь приходится посылать в Дерпт сыну".

Стр. 590. ...в отдельном небольшом флигеле. - Во флигеле Чехов поселился по возвращении из Москвы в конце августа.

...участок в Гурзуфе... - Участок и домик в Гурзуфе Чехов приобрел в январе 1900 года.

Стр. 591. ...свои крыжовник любит... - И.Н.Альтшуллер, шутя, сравнивал Чехова с героем его рассказа "Крыжовник".

...этюдом Левитана и с другой картиной этого художника... - Картина "Стоги сена в лунную ночь" была написана И.И.Левитаном в декабре 1899 года, в кабинете Чехова. Другая картина - "Этюд" - написана Левитаном летом 1895 года в Мелихове.

Стр. 593. ...молодого писателя... часто навещавшего Антона Павловича. - Речь идет о писателе Б.А.Лазаревском.

Фельдшер... присылавший ему для прочтения плоды своей безграмотной музы... - Возможно, что это был фельдшер Задера. Из сохранившихся в архиве Чехова писем к нему Задеры видно, что Чехов редактировал и переделывал его рассказы.

...владелица... курорта... - Владелица курорта Суук-Су О.М.Соловьева. Объявления об открытии этого курорта печатались в ялтинской газете "Крымский курьер".

Стр. 594. ...о равнодушии Чехова к общественным вопросам... - Имеется в виду статья Н.К.Михайловского о сборнике рассказов Чехова "Хмурые люди". См. прим. к стр. 525.

..."суждено умереть пьяным под забором". - Имеется в виду статья А.М.Скабичевского о сборнике Чехова "Пестрые рассказы". См. прим. к стр. 501.

Стр. 595. Но лично с Сувориным он сохранил... отношения до конца. - После 1892 года произведений Чехова в "Новом времени" не появлялось. В дальнейшем позиция "Нового времени" по отношению к делу Дрейфуса заставила Чехова порвать и лично с Сувориным. Именно с этого времени дружеские отношения их были прерваны. Были еще редкие письма, несколько встреч, когда Суворин приезжал в Ялту, но Чехов сам считал их отношения и переписку прекратившимися. Так, например, в письме М.П.Чехову от 3 декабря 1899 года Чехов писал: "С Сувориным давно уже прекратил переписку (дело Дрейфуса)"; писал он также и Н.И.Коробову 23 ноября 1903 года: "С Сувориным я давно уже не переписываюсь".

Об отношениях Чехова с Сувориным см. также воспоминания М.К.Первухина на стр. 629-630 и прим. к стр. 631.

...и, конечно, уничтожил. - М.П.Чехова сообщила, что Суворин передал ей письма к нему Чехова, поставив условием возвращение его писем к Чехову, сохранившихся в архиве писателя. /783/

...Чехов... послал отказ от этого почетного звания. - См. прим. к стр. 549-550.

Стр. 596. ...священнику, северному уроженцу - С.Н.Щукину. См. его воспоминания на стр. 455-456.

Стр. 597. ...человек, хорошо его знавший... - Вероятно, имелся в виду артист А.Л.Вишневский. См. его книгу "Клочки воспоминаний", М. 1928, стр. 100.

..."медицина - моя законная жена..." - См. письмо А.С.Суворину от 11 сентября 1888 года.

Стр. 598. ...с заметками по истории медицины в России. - Имеется в виду задуманная Чеховым диссертация на степень доктора медицины: "Врачебное дело в России". Он занимался этой темой в 1884-1885 годах, подбирая нужный материал. Рукопись этой работы (хранящейся в ЦГАЛИ) представляет собой выписки из различных источников на 46 листах писчей бумаги.

...некоторого рода медицинскую диссертацию. - См. об этом воспоминания Г.И.Россолимо на стр. 670.

Стр. 599. ... "стетоскопчик и ларингоскопчик"... - Записка от 27 ноября 1898 года, как и другие письма Чехова И.Н.Альтшуллеру, публикуется в томе 68 "Литературного наследства".

... "чахотка или иное серьезное легочное страдание..." - из письма от 14 октября 1888 года.

... "в крови, текущей изо рта..." - там же.

Стр. 600. ...в его завещании сестре... - Письмо-завещание на имя М.П.Чеховой написано Чеховым 3 августа 1901 года.

Стр. 601. ...на репетиции "Царя Федора". - О.Л.Книппер исполняла в пьесе А.К.Толстого "Царь Федор Иоаннович" роль Ирины.

Стр. 602. ...Антон Павлович... не допускал и речи об этом. - Сохранилась запись, сделанная Л.Я.Гуревич со слов И.П.Чехова: "Ольга Леонардовна хотела бросить сцену, Антон Павлович не допустил, говоря, что жить без дела, без работы нельзя" (ИРЛИ). Разговор с Чеховым на эту же тему записал В.С.Миролюбов в своей записной книжке 5 апреля 1903 года: "Чехов говорил: "Все зависело от меня, я потребовал, чтобы она не бросала сцены, что бы она тут делала в Ялте" (ИРЛИ).

Стр. 603. ...умолял... не ездить в Москву... - Чехов уехал в Москву 2 декабря 1903 года. О том, что Альтшуллер "умолял" его "в Москву не ездить, в Москве не жить", Чехов писал О.Л.Книппер 2 октября 1903 года.

"Решай ты..." - из письма к О.Л.Книппер от 5-6 марта 1903 года.

... "ну да ничего, как-нибудь взберусь..." - из письма к О.Л.Книппер от 11 апреля 1903 года. /784/

"Точно судьба решила его побаловать..." - Имеется в виду статья О.Л.Книппер: "Несколько слов об А.П.Чехове", напечатанная в виде предисловия к книге: "Письма А.П.Чехова к О.Л.Книппер", "Слово", Берлин, 1924.

Стр. 604. "Я изумилась происшедшей в нем перемене..." - См. эти воспоминания в предыдущих изданиях настоящего сборника.

...так как врач может больше видеть. - Чехов писал А.В.Амфитеатрову 13 апреля 1904 года: "Если буду здоров, то в июле или августе поеду на Дальний Восток не корреспондентом, а врачом. Мне кажется, врач увидит больше, чем корреспондент".

Стр. 605. N - В.А.Щуровский.

"...я как приехал в Москву..." - письмо от 26 мая 1904 года.

## ИЗ ВОСПОМИНАНИИ О ЧЕХОВЕ

Первухин Михаил Константинович (1870-1928) - писатель и журналист, сотрудничал в провинциальной и московской прессе под псевдонимами: Волохов, Марк, Де-Мар и др. Отдельными изданиями вышли очерки и рассказы Первухина: "Обыкновенная история. Повестушка из ялтинской жизни", Ялта, 1903; "У самого берега синего моря. Очерки и рассказы", Ялта, 1903-1904; "Догорающие лампы. Сборник рассказов", Спб. 1909; "Бой на воздушном океане", М. 1911 и др.

С конца 1899 года из-за туберкулеза легких Первухин поселился в Ялте, где с весны 1900 года стал фактическим редактором местной газеты "Крымский курьер". В эти годы он часто встречался с Чеховым. Позднее Первухин был корреспондентом "Русского слова". В 1908 году из-за болезни переехал в Италию, куда был командирован "Русским словом", и там прожил до конца жизни.

Воспоминания Первухина о Чехове появлялись в печати в 1904, 1905 и 1910 годах: "Ялтинские силуэты" ("Одесский листок", 1904, N 174); "Еще из воспоминаний об А.П.Чехове" ("Одесский листок", 1904, N 183, 15 июля); "Наброски" ("Приазовский край", 1904, N 179, 8 июля); "Чехов и Ялта" ("Русское слово", 1904, N 189, 9 июля); "Отрывки из воспоминаний о Чехове" ("Русское слово", 1905, N 85, 29 марта); "Чехов и ялтинцы" (журнал "Вселенная", 1910, N 5).

Публикуемые воспоминания написаны Первухиным в Риме, в 1915 году. Печатаются впервые по авторизованной машинописи (ИГАЛИ). /785/

Стр. 609. ...в Ялту заглянул... художник Левитан. - И.И.Левитан был в Ялте в конце декабря 1899 года и начале января 1900 года. Умер в Москве 22 июля 1900 года.

Стр. 614. ...не хозяева вы в своих газетах, господа! - Один из редакторов ялтинской газеты "Крымский курьер" А.Я.Бесчинский записал в своих воспоминаниях, что в 1899 году Чехов предложил свой проект упорядочения дела этой газеты: организацию товарищества, которое составило бы редакционный совет газеты. В товарищество должны были войти: А.П.Чехов, С.Я.Елпатьевский, А.Я.Бесчинский и др. (всего шесть человек). Чехов составил проект условия с издательницей газеты Лупандиной. Был подписан контракт, но к исполнению его Чехов не приступил. "У меня хранится, - писал Бесчинский, - как одно из воспоминаний о Чехове, экземпляр этого странного условия, которое Чехов сам придумал, сам подписал и не приступил к его исполнению" ("Воспоминания об А.П.Чехове" - "Приазовская речь", 1910, N 48, 23 января). В объявлениях о приеме подписки на газету "Крымский курьер", печатавшихся в декабре 1899 года, указан редакционный состав газеты в количестве шести человек.

Стр. 615. ...имя большого, тогда гремевшего русского фельетониста. - Вероятно, речь шла о В.М.Дорошевиче.

Стр. 617. ..."Пугачевцы" - роман Е.А.Салиаса (1873-1874).

Стр. 620. Чехов показал мне... форменную грудку разнообразнейших рукописей. - В других своих воспоминаниях Первухин рассказывает: на

высказанное им удивление, что Чехов тратит очень много времени на работу с начинающими писателями, он ответил дословно так:

"- Стыдитесь! Разве можно иначе относиться к работам начинающих? Разве можно просто швырнуть рукопись в физиономию человеку? Ведь он - пусть глупо, пусть неудачно, пусть нелепо, но он душу свою вложил в эту работу. А вы считаете себя вправе оборвать его? А что, если у человека просто слепота куриная литературного свойства? А что, если он хочет и может, да просто себя не понимает, как приняться за дело, как начать, не умеет? Ведь и это бывает. Разве все начинают правильно?"

- Но этот-то, кажется, безнадежен.

- И мне кажется. А что, если и вы, и я ошибаемся? Нет, так нельзя! Он обращается к нам по праву, и бессовестно пройти мимо" (журнал "Вселенная", 1910, N 5).

Несчастливцев - действующее лицо в пьесе А.Н.Островского "Лес" (1871).

Стр. 621. ...случай совершенно безнадежный. - Первухин вспоминает, что Чехов прочитал рукописи Поликарпова в количестве /786/ 62 печ. листов и затем "около часу толковал с ним, с непонятным для меня терпением, касался каждого из двадцати рассказов П-ва, цитировал отдельные места, указывал даже на отдельные фразы. Словом, он давал полный, подробный, строго мотивированный отзыв о каждом рассказе" (журнал "Вселенная", 1910, N 5).

Стр. 623. ...тратил на помощь нуждающимся, осаждавшим его просьбами. - "Мне лично точно известно, - писал в своих воспоминаниях Бесчинский, - каким путем Чехов подчас помогал больным "дешево устроиться". Он через меня оплачивал их квартиру или целиком вносил за них плату в приют хроников благотворительного общества, куда мне, по его поручению, случалось помещать больных" ("Приазовская речь", 1910, N 45).

Стр. 628. ..."Крымская легенда"... - В "Крымском курьере", 1900, N 208, 17 сентября напечатана крымская легенда "Злое сердце", за подписью: Вий.

"Я, нижеподписавшийся..." - Письмо это публикуется в томе 68 "Литературного наследства".

...А.С.Суворин... заехал в Ялту... повидаться с Чеховым. - Суворин был в Ялте в начале сентября 1902 года.

Стр. 629. ..."Новое время" заняло ошибочную позицию. - О деле Дрейфуса и об отношении Чехова к позиции "Нового времени" см. прим. к стр. 449.

Стр. 631. Таков был отзыв Чехова о Суворине. - Воспоминания современников вносят большую ясность в понимание причин, по которым Чехов в течение долгого времени был в дружеских отношениях с Сувориным.

Чехов познакомился с Сувориным в 1885 году, когда в прошлом либеральный и даже демократический журналист А.С.Суворин был уже издателем одной из самых реакционных газет - "Новое время".

В самом начале знакомства Чехова покорили природный ум и художественное чутье Суворина. Суворин один из первых увидел талант Чехова и оказал неизвестному тогда молодому писателю моральную и материальную поддержку, за что Чехов сохранил к нему благодарность до конца жизни.

Вначале Чехов не считал для себя неудобным сотрудничать в "Новом времени". Вопреки Н.К.Михайловскому, который писал ему, что в "общем котле" газеты его рассказы "не индифферентны", а "прямо служат злу", Чехов считал, что его рассказы даже в какой-то мере нейтрализуют "зло", на которое указывал ему Михайловский. Чехов полагал также, что, "будь в редакции два-три свежих человека, умеющих громко называть чепуху чепухой, /787/ г.Эльпе не дерзнул бы уничтожать Дарвина, а Буренин долбить Надсона" (из письма к Ал.П.Чехову от 7/8 сентября 1887 года).

Но по мере роста своего писательского самосознания и чувства ответственности Чехов стал распознавать подлинное лицо "Нового времени". Так, в письме Ал.П.Чехову от 24 октября 1891 года он уже признавался, что сотрудничество в "Новом времени" не принесло ему как литератору ничего, кроме зла. "По убеждениям своим я стою на 7375 верст от Жителя и К@", - писал он ему же (4 апреля 1893 года).

После 1892 года произведения Чехова в "Новом времени" не появлялись. Но дружеские отношения с Сувориным все еще продолжались, так как Чехов полагал, что "Новое время" не отражает личных взглядов Суворина, и потому не считал его полностью ответственным за все то, что печаталось в этой газете. В.Г.Короленко записал в своем дневнике 24 июля 1899 года: "Чехов рассказывал мне, что Суворин иногда рвал на себе волосы, читая собственную газету" (В.Г.Короленко. Дневник, т. IV. Госиздат Украины, 1928, стр. 172).

Это заблуждение Чехова объяснялось тем, что в своих личных высказываниях - в беседах и письмах - Суворин был, как выразился И.Н.Альтшуллер, "не Сувориным "Нового времени" (см. стр. 595). Именно поэтому, сразу же после смерти Чехова, Суворин потребовал возвращения его писем к Антону Павловичу, боясь, что они "скомпрометируют его политически". (Пометка М.П.Чеховой на полях присланной ей для замечаний книги А.А.Измайлова "Чехов", М. 1916. Экземпляр этот хранится в ИРЛИ.)

И.Л.Щеглов, вспоминая одну из своих бесед с Сувориным и Чеховым на затронутую последним тему о "рутине и тенденциозности, заедающих современную русскую литературу и искусство", говорит, что, слушая со стороны высказывания на эту тему Суворина, смело можно было принять его за "шестидесятника, и меньше всего, конечно, подумать... об издателе "Нового времени" (см. "Ежемесячные литературные приложения к "Ниве", 1905, N 6).

Многое Чехов объяснял и бесхарактерностью Суворина, не понимая, что эта "бесхарактерность" была проявлением его полнейшей беспринципности.

Так, Чехов вначале расценивал как "бесхарактерность" позицию Суворина в деле Дрейфуса: в письме Чехову Суворин писал, что убежден им в невиновности Дрейфуса, а вслед за тем кампания "Нового времени" против "несчастливого капитана" еще усилилась.

В архиве И.Л.Щеглова (ИРЛИ) сохранилась запись, из которой видно, что Чехов и ему говорил о бесхарактерности Суворина, /788/ добавив при этом, что "бесхарактерные люди часто бывают в серьезные минуты жизни вреднее злодеев".

Но поведение "Нового времени" в деле Дрейфуса так глубоко возмутило Чехова, что он порвал и свои дружеские отношения с Сувориным. Из писем Чехова М.П.Чехову видно, что он осознал ренегатство и двуличность Суворина. На попытку М.П.Чехова "помирить" его с Сувориным Чехов ответил брату резким письмом (29 января 1900 года), которое закончил словами: "Я ни на одну минуту не забываю, что А.С. очень добрый человек и издает "Новое время". 22 февраля 1901 года Чехов писал ему же: "Суворин лжив, ужасно лжив, особенно в так называемые откровенные минуты, т.е. он говорит искренно, быть может, но нельзя поручиться, что через полчаса он не поступит как раз наоборот".

Интересны как материал, касающийся отношений Чехова с Сувориным, записи в дневниках В.Г.Короленко: "Он был близок с Сувориным и до конца отзывался о нем хорошо, хотя и несколько презрительно. Он характеризовал его как психопата и истерика, часто страдающего от того, что пишут в "Новом времени", неглубокого, возмущающегося сегодня тем, что завтра его уже не волнует" (6 июля 1904 года. - ГБЛ). В записи, сделанной 4 декабря 1916 года, имеются следующие строки о Чехове: "...у него выходило хорошо все, даже сношения с Сувориным, с которым он дружил сначала и разошелся потом. И все ясно до прозрачности: почему дружил и почему разошелся" (ГБЛ).

Отзыв Чехова о Суворине, приведенный Первухиным, дает дополнительный материал для понимания того, какие качества Суворина ценил Чехов. Но отзыв этот был дан в то время, когда Чехов фактически уже порвал с Сувориным, осудив его и поняв, что его будет "судить история".

См. также прим. к стр. 449 и 595.

Стр. 638. При Чехове... сгорел... городской театр... - Ялтинский городской театр сгорел в сентябре 1900 года.

...он покидал Ялту... - Чехов выехал в Москву 1 мая 1904 года.

Стр. 639. ...лет через пятьдесят... - Памятник Чехову в Ялте поставлен в 1954 году.

## **М.А.ЧЛЕНОВ**

### **А.П.ЧЕХОВ И КУЛЬТУРА**

К двухлетней годовщине со дня его смерти

Членов Михаил Александрович (1871-1941) - врач по кожным болезням, позднее - профессор Московского университета. С Чеховым познакомился в 1899 году, переписывался с ним. Известны /789/ одиннадцать писем Чехова М.А.Членову 1901-1903 гг. В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) имеется девятнадцать писем к нему Членова 1899-1903 гг.



Членов напечатал две статьи (воспоминания) о Чехове: "Чехов и медицина" ("Русские ведомости", 1906, N 91, 5 апреля) и "А.П.Чехов и культура" ("Русские ведомости", 1906, N 169, 2 июля).

Мы печатаем отрывок из второй статьи.

Стр. 640-641. "К беллетристам, относящимся к науке отрицательно..." - Автобиография послана в письме к Г.И.Россолимо от 11 октября 1899 года. В письме Членову от 24 июля 1901 года Чехов писал: "Работать для науки и общих идей - это-то и есть личное счастье. Не "в этом", а "это".

Стр. 641. ..."поговорить о Мечникове"... - 13 сентября 1903 года Чехов писал Членову: "Мне хотелось бы поговорить с Вами о Мечникове... Оправдываются ли надежды на прививку?"

...в 1897 году... - Знакомство с Чеховым состоялось в апреле 1899 года.

...письмо... было опубликовано г.Куприным лишь после смерти Чехова. - Письмо это см. на стр. 549-550. Оно было опубликовано в сборнике "Знание", кн. 3, Спб. 1905.

Стр. 642. ...с "Новым временем" у Чехова... в более позднее время - решительно ничего общего... - Об этом писал также и В.Г.Короленко в одной из своих статей: "Теперь, когда и жизнь и переписка Чехова вся перед нами, мы видим, что этот необыкновенно цельный человек, и дружески входя к Суворину вначале и под конец уходя от него в негодовании, оставался тем же Чеховым, которого мы любим и ценим. От нововременства к нему не пристало ничего, он отряхнулся, как лебедь, и попытки использовать эту близость во вред его памяти - были жалки и бессильны.

Но надо сказать при этом, что ни в "Новом времени", ни вне его Чехов не написал ни одной строки, в которой ему пришлось бы каяться, от которой пришлось бы отрекаться... Не отрекаться, не каяться - это судьба, редко выпадающая на долю писателя. Она дается не всем. Чехову она далась, может быть, потому, что он был только художник". (Цитируется по "Киевской мысли", 1917, 6 декабря.)

См. также прим. к стр. 631 и воспоминания И.Н.Альтшуллера на стр. 594-595.

...об его отношении к процессу Дрейфуса... - См. прим. к стр. 449.

..."Новое время" просто отвратительно"... - из письма от 23 января 1898 года.

...кишиневские ужасы - организованный черносотенцами еврейский погром в Кишиневе в 1903 году. /790/

В конце 80-х годов он... ушел из "Нового времени"... - Постоянное сотрудничество Чехова в "Новом времени" прекратилось в 1891 году. В 1892 году им были напечатаны только рассказ "Страхи" и фельетон "От какой болезни умер Ирод" в одном номере от 25 декабря.

## О ЧЕХОВЕ

Тихонов (Серебров) Александр Николаевич (1880-1957) - литератор, по образованию инженер; в 1916 году издавал журнал "Летопись", редактировавшийся М.Горьким.

Воспоминания относятся к июню 1902 года, когда Тихонов, будучи студентом Горного института, был на практике на Всеволодо-вильвенском заводе и жил в Усолье, имении С.Т.Морозова.

Печатается глава из книги "Время и люди", М. 1955.

Стр. 646. "Чехов ходит по земле..." - из письма от 28 марта 1933 года (Собр. соч., т. 30, М. 1956, стр. 294).

...завод... Чехову явно не понравился. - О посещении Чеховым Всеволодо-вильвенского завода имеются воспоминания бывшего управляющего и многих старых рабочих завода, записанные директором пермской областной научной библиотеки А.К.Шарцем. Они сообщили, что Чехов интересовался условиями труда рабочих, расспрашивал их о зарплате и продолжительности рабочего дня. На заводе и в лаборатории Чехов, в присутствии рабочих, говорил Морозову о недопустимости на таком заводе двенадцатичасового рабочего дня и настойчиво просил его снизить рабочий день до восьми часов.

Под влиянием Чехова Морозов ввел на заводе с 1 июля 1902 года восьмичасовой рабочий день для основных рабочих и десятичасовой - для подсобных. После смерти Морозова, в 1906 году, его наследники увеличили рабочий день до десяти часов. См. А.Шарц. Чехов на Урале, газета "Молодая гвардия", Пермь, 1954, N 82.

Стр. 648. "Пишу тебе сие" ... - из письма Чехова от 25 июня 1902 года.

Стр. 650. "Зритель" - псевдоним В.В.Розанова.

И ноги у них вовсе не "бледные" ... - Намек на стихотворение В.Я.Брюсова, состоящее из одной строки: "О, закрой свои бледные ноги" (В.Брюсов. Juvenalia. Юношеские стихотворения. 1892-1894). /791/

Стр. 652. ...недотепами... - Словами Фирса: "Эх, ты... недотепа!" заканчивается "Вишневый сад".

Стр. 655. ...честных исправников... - Имеется в виду рассказ Н.С.Лескова "Однодум" (1879).

Стр. 657. ...увез больного Чехова в Пермь. - Отъезд Чехова из имения Морозова не был внезапным; день отъезда был им намечен еще в Москве. В письмах от 22 июня к М.П.Чеховой и к О.Л.Книппер Чехов также повторял, что 2 июля будет в Москве "непременно".

## ПАМЯТИ ЧЕХОВА

Гарин (Михайловский) Николай Георгиевич (1852-1906) - писатель, инженер-путеец. Личное знакомство и встречи с Чеховым относятся к 1903-1904 годам. Чехов обратил внимание на Гарина сразу же после появления в печати его первых произведений и писал А.С.Суворину 27 октября 1892 года: "Прочтите, пожалуйста, в "Русской мысли", март, "Несколько лет в деревне" Гарина. Раньше ничего подобного не было в литературе в этом роде по тону и, пожалуй, искренности. Начало немножко рутинно, и конец приподнят, но зато середка - сплошное наслаждение. Так верно, что хоть отбавляй".

Воспоминания опубликованы в газете "Вестник Маньчжурской армии", Ляоян, 1904, 22 июля. Печатаются по тексту издания: Н.Г.Гарин-Михайловский, Собр. соч., т. 5, М. 1958.

Стр. 658. ...я производил изыскания в Крыму... - Н.Г.Гарин-Михайловский производил в 1903 году в Крыму изыскания для постройки южнобережной железной дороги.

...25-летний юбилей А.П. - Имеется в виду первое представление "Вишневого сада" в Московском Художественном театре 17 января 1904 года, на котором было отмечено 25-летие литературной деятельности Чехова.

Стр. 659. ..."Человек без селезенки". - Первое из дошедших до нас опубликованных произведений Чехова "Письмо к ученому соседу" напечатано в журнале "Стрекоза", 1880, N 10, за подписью "...в".

...текущие события... - Имеется в виду начавшаяся 26 января 1904 года война с Японией.

...смерть Н.К.Михайловского... - Н.К.Михайловский умер 27 января 1904 года. /792/

...я решил навести чернилом... - В своей записной книжке, которую Чехов вел с 1891 года, он в 1903 году обвел чернилами те записи, которые к этому времени еще не были использованы в его опубликованных произведениях.

Стр. 660. ...проводя меня... - В марте 1904 года Н.Гарин уехал на Дальний Восток.

...а я приеду. - О своем намерении поехать в действующую армию Чехов сообщал в письмах: "Если в конце июня и в июле буду здоров, то поеду на войну..." (к О.Л.Книппер, 12 марта 1904 года); "Если буду здоров, то в июле или в августе поеду на Дальний Восток не корреспондентом, а врачом. Мне кажется, врач увидит больше, чем корреспондент" (А.В.Амфитеатрову, 13 апреля 1904 года); "В июле или в августе, если здоровье позволит, я поеду врачом на Дальний Восток" (Б.А.Лазаревскому, 13 апреля 1904 года).

## ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ

Россолимо Григорий Иванович (1860-1928) - профессор-невропатолог, товарищ Чехова по Московскому университету.

Известны четырнадцать писем Чехова к Россолимо (1898-1900 и 1902-1904 гг.). В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) имеется двадцать два письма Россолимо к Чехову (1893, 1895, 1898-1904 гг.).

Частично воспоминания Россолимо о Чехове опубликованы в журнале "Правда", 1905, июль, и в газете "Русские ведомости", 1914, N 151, 2 июля.

Печатается по тексту предыдущих изданий настоящего сборника с добавлениями по рукописи (ЦГАЛИ).

Стр. 661. ...трое из таганрогской гимназии... - А.П.Чехов, В.И.Зембулатов, Д.Т.Савельев.

Если бывал на сходках... - Университетские сходки происходили 10, 12, 27 и 31 марта 1881 года.

Стр. 662. "Макар"... - См. воспоминания М.П.Чехова на стр. 83.

Стр. 664. О некоторых наших встречах... - Даты описываемых встреч (помимо первой и последних - 1903 и 1904 гг.) ошибочны.

...для встречи с М.Горьким... - Встреча в Неглинном переулке, в доме Ганецкой, могла быть только в 1902 году.

...при посещении мной его на Спиридоновке (во флигеле, во дворе). - На Спиридоновке Чехов жил в 1901 году.

...юбилейный сборник нашего университетского выпуска - юбилейный сборник выпуска 1884 года. Издание сборника задумано и /793/ осуществлено по инициативе Россолимо в память 15-летия выпуска. Сборник состоит из фотографий однокурсников. К некоторым из них приложены автобиографические сведения. См. "Юбилейный сборник. XV. Врачи, окончившие курс в Московском университете в 1884 году (1884-1899)". На товарищеском обеде медиков выпуска 1884 года Чехов не был, и ему была послана приветственная телеграмма.

Стр. 664-665. "Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками..." - из письма к Г.И.Россолимо от 11 октября 1899 года.

Стр. 665. ...ко мне зашел А.П.Чехов. - Встреча у Россолимо была, по-видимому, в 1899 году. О чтении А.Б.Фохтом рассказов В.А.Слепцова Чехов писал М.Горькому 2 января 1900 года.

Стр. 666. "Какой простор!" (1903) - название картины И.Е.Репина.

Стр. 668. "Черный монах" - повесть А.П.Чехова.

Стр. 669. ...оригинал для героя своей "Хирургии". - Прототипом фельдшера Курятин в "Хирургии" послужил звенигородский фельдшер С.В.Барминцев. См. М.П.Чехов. Вокруг Чехова, М.- Л. 1933, стр. 121.

...для помещения... в лечебницу писательницы Ж. - Речь идет о писательнице О.Ф.Жихаревой, одной из пациенток Г.И.Россолимо; по его просьбе

Чехов в конце сентября 1902 года писал в Литературный фонд относительно выдачи ей пособия.

**В.В.ВЕРЕСАЕВ**

**А.П.ЧЕХОВ**

Вересаев (Смидович) Викентий Викентьевич (1867-1945) - писатель, по образованию врач.

Печатается по тексту, опубликованному в томе 4 Сочинений В.В.Вересаева, М. 1948.

Стр. 673. Повез меня к нему Горький... - Вересаев и М.Горький были у Чехова в середине апреля 1903 года.

Стр. 674. ...дружба с таким человеком, как А.С.Суворин... - Близкие отношения Чехова с Сувориным прервались еще в 1898 году. См. об этом прим. к стр. 449 и 631.

...видимо, революционное электричество... встряхнуло и душу Чехова. - Обостренный интерес к общественным и политическим вопросам появился у Чехова уже в конце 90-х годов. Он получает много писем от своих корреспондентов, которые сообщают ему об общественных настроениях в Москве, Петербурге, Киеве, о происходивших в те годы студенческих волнениях. "О студенческих беспорядках здесь, - писал Чехов Суворину 4 марта 1899 года, - как /794/ и везде, много говорят и вопиют, что ничего нет в газетах. Получаются письма из Петербурга, настроение в пользу студентов. Ваши письма о беспорядках не удовлетворили - это так и должно быть, потому что нельзя печатно судить о беспорядках, когда нельзя касаться фактической стороны дела". 18 марта 1901 года он писал М.Горькому, который вернулся из Петербурга в Н.-Новгород после известной студенческой демонстрации у Казанского собора: "Напишите же в чем дело; я мало, почти ничего не знаю, как и подобает россиянину, проживающему в Татарии, но предчувствую очень многое". В.М.Лавров рассказывает в своих воспоминаниях о Чехове: "...начинались студенческие волнения, которые Чехов принимал близко к сердцу и страшно, до боли, возмущался человеконенавистническими словесами, изрыгаемыми рыцарями "охранительной печати" (В.М.Лавров. "У безвременной могилы". - "Русские ведомости", 1904, N 202, 22 июля).

В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) имеется письмо московского студента П.А.Базилевича от марта 1902 года, из которого видно, что Чехов оказал материальную помощь ссылаемым в Сибирь студентам. (Присланные им деньги были переданы партии в 32 человека, направленной в Иркутск 21 марта 1902 года.)

Общественное настроение этих лет Чехов стремился отразить и в своем творчестве. М.Горький писал в ноябре 1901 года из Крыма В.А.Поссе: "А.П.Чехов пишет какую-то большую вещь и говорит мне: "Чувствую, что теперь нужно писать не так, не о том, а как-то иначе, о чем-то другом, для кого-то другого, строгого и честного". Полагает, что в России ежегодно, потом ежемесячно, потом еженедельно будут драться на улицах и лет через десять додерутся до конституции. Путь не быстрый, но единственно верный и прямой. Вообще А.П. очень много говорит о конституции, и ты, зная его, разумеется поймешь, о чем это свидетельствует" (Собр. соч., т. 28, М. 1954, стр. 199). Вспоминает и Е.П.Карпов о своей встрече с Чеховым у В.Ф.Коммиссаржевской летом 1902 года в Москве:

"- Написали что-нибудь для театра? - спросила Вера Федоровна.

- Да, пишу... - нехотя, конфузливо улыбаясь, ответил Антон Павлович. - Пишу не то, что надо... Не то, что хотелось бы писать... Нудно выходит... Совсем не то теперь надо...

- А что же?

- Совсем другое надо... Бодрое, сильное... Пережили мы серую канитель... Поворот идет... Круто повернули...

- Разве пережили? Что-то не похоже, - усомнился я.

- Пережили... уверяю вас... - убежденно сказал Антон Павлович. - ...Вот мне хотелось бы поймать это бодрое настроение... /795/ Написать пьесу... Бодрую пьесу... Может быть, и напишу... очень интересно... Сколько силы, энергии, веры в народе... Прямо удивительно!" (См. сб. "А.П.Чехов в воспоминаниях современников", М. 1952 и 1954; см. также воспоминания С.Я.Елпатьевского на стр. 579-580.)

...пришел к нему проститься. - Вторая встреча с Вересаевым состоялась, по-видимому, 20 апреля.

Стр. 675. ...корректорный оттиск этот с чеховскою правкою хранится в одном из музеев. - Горький и Вересаев читали "Невесту" уже во второй корректуре. Уехав 22 апреля 1903 года в Москву, Чехов эту корректуру взял с собой и, по-видимому, сразу же по приезде приступил к переделке рассказа. 29 апреля он писал И.Н.Альтшуллеру: "Сижу дома безвыходно и читаю корректуру". 12 июня Чехов отослал корректуру В.С.Миролюбову, написав ему: "Простите, делать мне нечего, и вот на досуге я увлекся и переделал весь рассказ".

Корректурa, хранящаяся в Архиве ИРЛИ, испещрена значительными переделками. В последней главе Чехов снял два абзаца, из которых видно, что по первоначальному замыслу автора героиня рассказа Надя шла на революционную работу.

Рассказ был напечатан в "Журнале для всех", 1903, N 12, после третьей корректуры.

Стр. 675-676. "Кое-что поделяваю..." - из письма от 5 июня 1903 года.

## **Н.З.ПАНОВ**

### **СЕАНС**

#### **К портрету А.П.Чехова**

Панов Николай Захарович (1871-1916) - художник. В 1903 году жил в Ялте, где познакомился с Чеховым через писателя Н.Г.Гарина-Михайловского. В письмах Чехова 1903 года несколько раз упоминается о посещениях Панова.

10 августа 1903 года Панов написал карандашный портрет Чехова и в этот же день записал свои впечатления о встрече с ним. Портрет воспроизводится в настоящем издании.

Печатается по тексту, опубликованному в журнале "Живописное обозрение", 1904, N 40.

## **О.Л.КНИППЕР-ЧЕХОВА**

### **О А.П.ЧЕХОВЕ**

Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1870-1959) - артистка Московского Художественного театра с 1898 года; народная артистка Союза ССР. Жена А.П.Чехова. /796/

Опубликована "Переписка А.П.Чехова и О.Л.Книппер" (за 1899-1902 гг.) - т. I, М. 1934, и т. II, М. 1936. Часть переписки за последующие годы напечатана в журнале "Новый мир", 1938, NN 10-12, в журнале "Октябрь", 1938, N 7, и часть писем О.Л.Книппер Чехову - в журнале "Театр", 1960, N 1.

Письма О.Л.Книппер к Чехову находятся в ГБЛ.

Печатается глава 1 мемуаров О.Л.Книппер "Из воспоминаний", опубликованных в "Ежегоднике Московского Художественного театра, 1949-1950", М. 1952.

Стр. 683. "Трактирщица" ("Хозяйка гостиницы") - комедия К.Гольдони.

Стр. 684. Пушкино - подмосковная дачная местность по Ярославской (ныне Северной) железной дороге; там, в помещении, предоставленном членом правления Общества искусства и литературы Н.Н.Архиповым (впоследствии - режиссер Арбатов), началась подготовительная работа к открытию Художественного театра.

"Шейлок" ("Венецианский купец") - пьеса В.Шекспира. "Ганнеле" - пьеса Г.Гауптмана.

... "Чайка" обломала крылья в Петербурге в первоклассном театре. - См. воспоминания Л.А.Авиловой на стр. 244-248 и М.П.Чеховой в предыдущих изданиях настоящего сборника.

Стр. 685. ...смерть его отца... - П.Е.Чехов умер 12 октября 1898 года.

...продажа Мелихова... - Мелихово было продано в 1899 году.

...продажа своих произведений А.Ф.Марксу... - См. воспоминания Н.Д.Телешова на стр. 482-486.

...покупка земли под Ялтой... - Покупка земли под Ялтой, на Аутке, состоялась в 1898 году.

...женитьба... - А.П.Чехов и О.Л.Книппер обвенчались 25 мая 1901 года.

...провести зиму в средней России... - Чехову было разрешено врачами провести в Москве зиму 1903-1904 года.

"Если мы теперь не вместе..." - из письма к О.Л.Книппер от 27 сентября 1900 года.

Стр. 686. ...для спектакля "Антигоны". - См. прим. к стр. 440.

Один из актеров - К.С.Станиславский.

Стр. 687. ...на репетиции "Царя Федора" уже в "Эрмитаже"... - Чехов был на одной из репетиций "Царя Федора Иоанновича" в 1898 году.

Стр. 688. ...голоса... требовавшие послать телеграмму в Ялту... - См. прим. к стр. 375. /797/

Весной приезжает Чехов в Москву. - 13 апреля 1899 года Чехов приехал в Москву и пробыл здесь до первых чисел мая.

Стр. 691. "Какие чувства..." - Слова Нины Заречной из пьесы Чехова "Чайка".

...начало нашей переписки. - Первое письмо к О.Л.Книппер было послано Чеховым из Мелихова 16 июня 1899 года.

Стр. 693. ...труппа Художественного театра решила приехать в Крым... - См. прим. к стр. 382.

Стр. 695. ...был в Ялте и А.М.Горький... - М.Горький находился в Ялте с 16 марта до 28 мая 1900 года.

Стр. 696. "Снегурочка" - пьеса А.Н.Островского. Поставлена в Художественном театре впервые 24 сентября 1900 года.

Стр. 697. ...навестили в Нижнем-Новгороде А.М.Горького, отбывавшего домашний арест. - А.П.Чехов и О.Л.Книппер посетили М.Горького в Н.-Новгороде 26 мая 1901 года.

Стр. 698. "Извольте, я женюсь..." - из письма от 23 марта 1895 года.

Стр. 700. Первое представление... было днем чествования Чехова литераторами и друзьями. - См. прим. к стр. 658.

..."Наденька"... нашла себе место и в письмах. - См. письмо Чехова к О.Л.Книппер от 3 сентября 1899 года.

Стр. 702. ...доктор - Шверер, лечивший Чехова. /798/



## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

Абаринова Антонина Ивановна (1842-1901) - артистка Александринского театра. В пьесе Чехова "Чайка" исполняла роль Полины Андреевны - 356.

Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836-1905) - драматург и беллетрист - 642.

Авилов Михаил Федорович - чиновник, муж Л.А.Авиловой - 201-208, 212-217, 219, 223-226, 233, 234, 236-239, 243, 244, 248-250, 253, 255, 256, 262-264, 266, 267, 276, 278-280, 287.

Авилова Лидия Алексеевна (о ней на стр. 723) - 200-293, 723-731, 736, 743, 752, 764, 766, 796.

"Власть" - 232, 723, 727.

"Забытые письма" - 269, 270.

"Ко дню ангела" - 232, 233.

"На изломе" - 730.

"Образ человеческий" (Рассказы) - 723.

"Общее дело" - 723.

"Первое горе и др. рассказы" - 723.

"Последнее свидание" - 724.

"Счастливцев и другие рассказы" - 250, 723, 728.

"Сын" - 723.

Адашев (Платонов) Александр Иванович - артист Московского Художественного театра с 1898 по 1913 год. В пьесах Чехова исполнял роли: рабочего в "Дяде Ване" и Андрея Прозорова в "Трех сестрах" - 755.

Академия наук - 716, 776, 778.

"Аквариум" - московский летний сад-театр с увеселительными зрелищами - 407, 442.

Александр I (1777-1825) - 68, 69, 72.

Александринский театр - императорский драматический театр в Петербурге. Основан в 1832 году. После Октябрьской революции - Государственный театр драмы имени А.С.Пушкина - 92, 244-248, 302, 349, 361, 362, 363, 601, 715, 726, 729.

Александров Владимир Александрович (1856-?) - драматург, по образованию юрист - 431, 753.

Александров Николай Григорьевич (1870-1930) - артист и помощник режиссера Московского Художественного театра с 1898 года. В пьесах /799/ Чехова исполнял роли: работника в "Дяде Ване", лакея Яши в "Вишневом саде", гостя в "Иванове", офицера, Ферапонта, доктора Чебутыкина в "Трех сестрах" - 441.

Алексеев, см. Станиславский.

Алексеева, см. Лилина.

Алексеева Елизавета Васильевна (1841-1904) - мать К.С.Станиславского - 407.

Алексин Александр Николаевич (1863-1925) - ялтинский врач, знакомый Чехова - 508.

Алтухов Николай Владимирович (1859-1903) - врач, доктор медицины, прозектор клиники Московского университета, однокурсник Чехова по медицинскому факультету - 666.

Альбов Михаил Нилович (1851-1911) - писатель-беллетрист. С 1891 года - редактор журнала "Северный вестник" - 347, 473.

"Рыбьи стоны" - 727.

Альманах "Будильника" на 1882 год - 153.

Альтшуллер Исаак Наумович (о нем на стр. 780) - 585-605, 780-783, 787, 789, 795.

"Еще о Чехове" - 781

"Отрывки из воспоминаний о Чехове" - 730.

Амиров Н.Ф. - студент-медик, член центрального университетского кружка "Народная воля" в Москве - 662.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862-1937) - фельетонист и беллетрист, сотрудничавший в либеральных и в черносотенных изданиях. В 1921 году эмигрировал за границу - 721, 784, 792.

Андреев Леонид Николаевич (1871-1919) - писатель - 369, 483, 485, 521, 651, 748, 763.

"Три сестры" - 748.

Андреева Мария Федоровна (1872-1953) - с 1898 по 1906 год - артистка Московского Художественного театра. В пьесах Чехова исполняла роли: Нины Заречной в "Чайке", Ирины в "Трех сестрах" и Вари в "Вишневом саде" - 386.

Андрей Егорыч - почтмейстер в Воскресенске. По свидетельству М.П.Чехова, послужил прототипом Фендрикова в рассказе Чехова "Экзамен на чин" - 86.

Андрюша Белугин, см. Островский А.Н. "Женитьба Белугина".

Андрюшка, см. Харченко А.А.

Анненский Николай Федорович (1843-1912) - статистик, публицист и общественный деятель - 713.

Аполлонский Роман Борисович (1865-1928) - артист Александринского театра. В пьесе Чехова "Чайка" исполнял роль Треплева - 356.

Апухтин Алексей Николаевич (1841-1893) - поэт - 654.

Арбатов (Архипов) Николай Николаевич (1868-1926) - режиссер и театральный педагог, участник спектаклей Общества искусства и литературы - 796.

Арсений, см. Щербаков А.Е.

Артем (Артемьев) Александр Родионович (1842-1914) - артист Московского Художественного театра. В пьесах Чехова исполнял роли: Шамраева в "Чайке", Телегина в "Дяде Ване", Чебутыкина в "Трех сестрах" и Фирса в "Вишневом саде" - 323, 382, 383, 385, 398, 407, 408, 414, 440, 748, 755.

"Артист" - театральный, музыкальный и художественный журнал, издававшийся в Москве Ф.А.Куманиным в 1889-1894 годах - 341, 738.

Архангельский Павел Арсентьевич (1852-?) - врач /800/ Воскресенской земской больницы Звенигородского уезда. Под его руководством Чехов работал в больнице в студенческие годы и в первый год врачебной практики - 85.

Архипов Абрам Ефимович (1862-1930) - художник-жанрист - 486.

Архипов Н.Н., см. Арбатов Н.Н.

Ашешов Николай Петрович (1866-1923) - публицист и литературный критик. В 90-х годах редактировал "Самарскую газету" и затем "Нижегородский листок". В 1900-х годах сотрудничал в петербургских изданиях: газете "Новости", журнале "Образование" и др. - 483, 485.

Бабакай, см. Кальфа Б.О.

Бабакин Иван - ученик Воскресенской школы, в которой учительствовал И.П.Чехов - 117, 118, 130.

Базилевич Петр Андреевич - студент естественного отделения физико-математического факультета Московского университета - 794.

Бальзак Оноре (1799-1850) - 396.

Бальмонт (Б.) Константин Дмитриевич (1867-1942) - поэт-символист и переводчик. После Октябрьской революции эмигрировал за границу - 441, 525, 526, 756.

"В безбрежности" - 756.

"Лебедь" - 756.

Баранов (Б.) Николай Александрович - артист Художественного театра с 1899 по 1903 год - 402, 403.

Баранцевич Казимир Станиславович (1851-1927) - писатель - 91, 173, 297, 347, 473, 719, 736.

"На лоне природы с А.П.Чеховым" - 719.

Барминцев С.В. - звенигородский фельдшер. По свидетельству М.П.Чехова, послужил прототипом фельдшера Курятин в рассказе Чехова "Хирургия" - 793.

Барятинская Мария Владимировна - председательница ялтинского комитета Российского общества Красного Креста - 608, 621.

Баттистини Маттиа (1856-1928) - итальянский певец - 232.

Батюшков Федор Дмитриевич (1857-1920) - историк литературы и критик, редактор журнала "Мир божий" - 642, 713.

Батюшков Константин Николаевич (1787-1855) - поэт. "Разлука" - 726.

Бегичев Владимир Петрович (1838-1892) - директор императорских театров в Москве - 86, 87.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848) - 317, 735.

Белоусов Иван Алексеевич (1863-1929) - поэт демократического направления, переводчик Шевченко - 128, 369, 474, 475, 485, 555, 762, 763, 777.

Беранже Пьер-Жан (1780-1857) - французский поэт - 179.

Березина, см. Соловьева О.М.

Бесчинский А.Я. - журналист, бывший таганрогский сосед Чеховых - 628, 785, 786.

"Воспоминания об А.П.Чехове" - 755.

Бетховен Людвиг, ван (1770-1827) - 87.

Билибин Виктор Викторович (1859-1908) - писатель-юморист и фельетонист. Печатался под псевдонимами "И.Грэк", "Диоген" и др. С 80-х годов до 1906 года был секретарем журнала "Осколки" - 154, 163.

"Биржевые ведомости" - ежедневная /801/ политическая, общественная и литературная газета. Выходила в Петербурге с 1888 по 1916 год - 165.

Бирюков Павел Иванович (1860-1931) - друг и первый биограф Л.Н.Толстого, один из редакторов издательства "Посредник" - 365.

Блок Александр Александрович (1880-1921).

"Осенняя любовь" - 724.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836-1921) - писатель - 342, 420, 732, 751, 752.

Бова - герой лубочной сказки - 473.

Богданов-Бельский Николай Петрович (1868-1945) - художник.

Портрет гр. И.И.Воронцова-Дашкова - 779.

Большой театр - 87, 98, 106.

Бонье Софья Павловна (ум. в 1921 г.) - ялтинская знакомая Чехова - 532, 609.

Бородулин Василий Андреевич - ялтинский врач - 608.

Брендер Владимир Александрович - журналист, один из первых публикаторов писем А.П.Чехова - 732.

Брет-Гарт Фрэнсис (1839-1922) - американский писатель - 153, 160.

Брэм Альфред-Эдмунд (1829-1884) - немецкий ученый, зоолог - 70.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924) - поэт.

"О закрой свои бледные ноги" - 790.

"Juvenalia" - 790.

"Будильник" - "московский сатирический журнал с карикатурами". Чехов сотрудничал в нем в 1881-1887 годах - 107, 109, 111, 135, 152, 166, 167, 334, 421, 424, 442, 474, 594, 705, 717.

Бунин Иван Алексеевич (о нем на стр. 769) - 369, 376, 383, 388-390, 403, 471, 480, 486, 487, 489, 512-538, 725, 763, 769-774.

"О Чехове. Незаконченная рукопись" - 725, 770.

"О Шаляпине" - 770.

Бутурлин Александр Сергеевич (1815-1916) - кандидат естественных наук, врач. Знакомый Л.Н.Толстого с 70-х годов - 739.

Буренин Виктор Петрович (1841-1926) - реакционный критик и фельетонист "Нового времени" - 160, 182, 228, 714, 727, 762.

"Критические очерки. Рассказы г.Чехова" - 762.

Быков Петр Васильевич (1843-1930) - критик и библиограф, редактор журнала "Всемирная иллюстрация" - 276.

Былим-Колосовский Евгений Дмитриевич - помещик, владелец имения "Богимово" близ Алексина; по свидетельству М.П.Чехова послужил прототипом Белокурова в повести Чехова "Дом с мезонином" - 95, 96.

Вагнер Владимир Александрович (1849-1934) - зоолог - 96, 97.

Вальяно - таганрогский коммерсант, миллионер, разбогатевший на контрабандной торговле - 32.

Варламов Константин Александрович (1848-1915) - артист Александринского театра. В пьесах Чехова исполнял роли: Лебедева в "Иванове" и Шамраева в "Чайке" - 356, 362.

Васильев С., см. Флеров С.В.

Васильева Вера Сергеевна (1859-1905) - артистка Московского Малого театра - 174, 175.

Васильева Ольга Родионовна - переводчица, знакомая Чехова - 544, 775. / 802/

Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926) - художник - 99.

Ведков Н.

"В ожидании утра" - 524, 775.

Вейнберг Петр Исаевич (1830-1908) - поэт и переводчик, председатель Литературно-театрального комитета - 297.

Венедиктов - харьковский ветеринарный врач - 197, 199.

Вересаев (Смидович) Викентий Викентьевич (о нем на стр. 793) - 369, 486, 673-676, 763, 793, 795.

Вернер Евгений Антонович и Михаил Антонович, братья - издатели журнала "Сверчок" - 114.

Веселовский Александр Николаевич (1838-1906) - историк литературы, академик. С 1899 года председатель отделения русского языка и словесности Академии наук - 776.

Веселовский Алексей Николаевич (1843-1918) - профессор западноевропейской литературы. С 1901 по 1904 год председатель Общества любителей российской словесности - 745.

"Вестник Европы" - исторический, политический и литературный ежемесячный журнал. Выходил в Петербурге с 1866 года до лета 1918 года. Орган либеральной буржуазии - 632, 633, 707, 723, 731.

"Вестник иностранной литературы" - ежемесячный журнал литературно-исторический. Выходил в Петербурге с 1897 по 1916 год - 596.

"Вестник пожарного дела в России" - журнал, выходивший в Петербурге с 1892 года - 706.

"Вестник русского общества покровительства животным" - двухнедельный журнал. Выходил в Петербурге в 1886-1888 годах - 706.

Вий.

"Злое сердце" - 786.

Витте Иван Германович (1854-1905) - земский врач-хирург Серпуховского городского медицинского участка, один из организаторов общественной медицины в 1885-1900 годах - 668.

Вишневский (Вишневецкий) Александр Леонидович (1861-1943) - артист Московского Художественного театра с 1898 года. Заслуженный деятель искусств. В пьесах Чехова исполнял роли: Дорна в "Чайке", Войницкого в "Дяде

Ване", Кулыгина в "Трех сестрах" - 376, 382, 388, 397-399, 407, 439-441, 488, 491, 597, 747, 750, 783.

"Клочки воспоминаний" - 753.

Владимиров А.И. - врач - 113.

Владиславлев Михаил Петрович (1827-1909) - певец-тенор, артист Московского Большого театра - 87.

Войтоловский Лев Наумович (р. в 1875 г.) - критик, по образованию врач - 721.

Волжский, см. Глинка А.С.

"Врач" - еженедельная медицинская газета. Выходила в Петербурге в 1880-1916 годах (с 1901 г. под названием "Русский врач") - 598.

Врубель Михаил Александрович (1856-1910) - художник - 99.

"Вся Москва" - адресная и справочная книга, выходила в Москве в 1875-1917 годах - 129, 591.

Вышнеградский Иван Алексеевич (1832-1895) - министр финансов, член Государственного совета - 768. /803/

Вяземский В.В. (ум. в 1892 г.) - серпуховский помещик - 368, 739.

Гавриил Парфентьевич, см. Селиванов Г.П.

Гаврилов Иван Егорович - московский купец, в его торговом предприятии служил П.Е.Чехов, отец писателя - 110, 711.

Гандурина (Левина) Наталья Андреевна - артистка. Состояла в труппе Московского Художественного театра с 1898 по 1899 год. Репетировала роль Маши в "Чайке" - 755.

Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (о нем на стр. 791) - 483, 485, 658-660, 791, 792, 795.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855-1888) - писатель - 146, 335, 519, 716.

Гауптман Гергарт (1862-1946) - немецкий драматург - 393, 399.

"Ганнеле" - 374, 684, 743.

"Одинокие" - 386, 531, 745.

"Михаэль Крамер" - 399, 748, 749.

Гвоздевич Михаил Михайлович - ялтинский пристав - 596.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) - немецкий философ-идеалист - 523.

Геннерт Иван Иванович - заведующий бутафорской частью Московского Художественного театра с 1898 по 1905 год - 440.

Герцен Александр Иванович (1812-1870) - 651.

Гиляровская Мария Ивановна - жена В.А.Гиляровского - 109, 110, 114, 133.

Гиляровский Владимир Алексеевич (о нем на стр. 710) - 104-134, 183, 405, 475-477, 710-712, 749.

"Антоша Чехонте" - 710.

"Веселые дни А.П.Чехова" - 710.

"Друзья и встречи" - 710.

"Заметки" - 710.

"Запорожцы" - 131, 712.

"Люда театра" - 710.

"Люди четвертого измерения" - 119, 120, 712.

"Мои воспоминания" - 710.

"Мои скитания" - 710.

"Москва и москвичи" - 710.

"О Чехове" - 710.

"Стенька Разин" - 130.

"Трущобные люди" - 114, 115, 711.

Гирс Д.К.

"Калифорнийский рудник" - 153.

Глаголь Сергей, см. Голоушев С.С.

Глассби Е.Р. - гувернантка (в семье соседей Станиславского), с которой Чехов встречался летом 1902 года. По свидетельству Станиславского, послужила прототипом Шарлотты в пьесе Чехова "Вишневый сад" - 408, 409.

Глебов Федор Глебович - московский портной - 128.

Глинка Александр Сергеевич (1878-1940) - критик. Печатался под псевдонимом: Волжский - 757.

Гнедич Петр Петрович (1855-1927) - беллетрист и драматург. С 1891 по 1895 год - член Петербургского театрально-литературного комитета. В 90-900 годах - управляющий труппой Александринского театра - 427.

Говердовский Егор - работник на даче К.С.Станиславского в Тарасовке. По свидетельству К.С.Станиславского, послужил прототипом Епиходова в пьесе "Вишневый сад" - 409, 750.

Гоголь Николай Васильевич (1809-1852) - 92, 148, 185, 300, 348, 369, 420, 450, 492, 767. /804/

"Вий" - 767.

"Мертвые души" - 92, 613.

"Майская ночь, или утопленница" - 450.

"Миргород" - 767.

"Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" - 92.

"Сорочинская ярмарка" - 92, 709.

Голике Роман Романович - владелец типографии и издатель. Издавал вместе с Н.А.Лейкиным журнал "Осколки" - 157, 159, 299.

"Голос Москвы" - ежедневная политическая, литературная и экономическая газета. Выходила в 1885-1886 и 1906-1915 годах - 724.

Голоушев Сергей Сергеевич (1855-1920) - художник и художественный критик, фельетонист. Печатался под псевдонимом: Сергей Глаголь. По образованию врач, однокурсник Чехова по медицинскому факультету. Автор воспоминаний о Чехове (см. журн. "Заря", 1914, N 26) - 369, 486, 763.

Голохвастов Павел Дмитриевич (1839-1892) - писатель-славянофил - 85.

Голохвастова Ольга Андреевна (?-1894) - драматург, жена П.Д.Голохвастова - 85.

Гольдони К. (1707-1793).

"Трактирщица (Хозяйка гостиницы)" - 683, 796.

Гольцев Виктор Александрович (1850-1906) - публицист и журналист, редактор "Русской мысли" - 168, 206, 211, 228, 234, 259, 260, 262, 312, 313, 317, 341, 369, 422, 444, 486, 663, 763, 781.

Гомер (жил между 12-8 вв. до н.э.) - 450.

Гонта Иван - один из руководителей крестьянского восстания на Правобережной Украине (1768). Казнен в 1768 году польскими панамы - 130.

Гончаров Иван Александрович (1812-1891) - 574.

Гончаров С.С. - прокурор. Вел в 1884 году в московском окружном суде дело Скопинского банка - 109.

Горбунов Иван Федорович (1831-1895) - актер и рассказчик, автор бытовых сценок из жизни городского мещанства и крестьян - 186.

Горбунов-Посадов Иван Иванович (1864-1939) - писатель, один из основных работников книгоиздательства "Посредник", с 1897 года его руководитель - 364-366, 738.

Гордиенко Константин - кошевой атаман запорожских казаков; боролся против украинского и русского дворянства. Казнен в 1715 году - 130.

Горький (Пешков) Алексей Максимович (о нем на стр. 765) - 162, 369, 383, 388-392, 402, 428, 444, 450, 471, 479, 481-483, 487, 493-511, 531, 535, 549, 550, 577, 595, 612, 622, 641, 646, 649, 650, 660, 664, 673, 675, 692, 695, 697, 716, 745, 747, 749, 753, 756, 757, 761, 763, 765-769, 776, 777, 790, 792-795, 797.

"Васька Буслаев" - 507, 508, 769.

"Воспоминания" - 765.

"Мальва" - 649.

"Мещане" - 402, 403, 445, 749, 757, 764.

"На дне" - 450, 487, 537.

"О женщине" - 766.

"Очерки и рассказы", т. 1 и 2 - 765.

"Песня о Буревестнике" - 649.

"Песня о Соколе" - 649.

"По поводу нового рассказа А.П.Чехова "В овраге" - 761.

"Фома Гордеев" - 649.

Гославский Евгений Петрович (1861-1917) - беллетрист и драматург - 485, 763. /805/

Градов-Соколов Леонид Иванович (1846-1890) - артист театра Корша, позднее - Александринского. Исполнял роль Косых в пьесе Чехова "Иванов", поставленной в театре Корша - 113, 163.

"Гражданин" - крайне реакционная газета, издававшаяся в Петербурге кн. В.П.Мещерским с 1887 года. В 1901-1914 годах - литературная и политическая газета-журнал - 596.

Грибановский Михаил - епископ - 465-467.

Грибунин Владимир Федорович (1873-1933) - артист Московского Художественного театра с 1898 года. Заслуженный артист РСФСР. В пьесах Чехова исполнял роли Чебутыкина и Ферапонта в "Трех сестрах", Симеонова-



Пищика в "Вишневом саде", Косых в "Иванове", Телегина в "Дяде Ване" и фельдшера в инсценировке рассказа Чехова "Хирургия" - 414, 441.

Григорий Алексеевич - слуга Линтваревых, бывший крепостной. По свидетельству М.П.Чеховой, послужил прототипом Фирса в пьесе Чехова "Вишневый сад" - 91.

Григорович Дмитрий Васильевич (1822-1899) - писатель - 136, 182, 315-317, 420, 475, 546, 565, 594, 714, 735, 736, 751, 762.

Грузинский, см. Лазарев (Грузинский) А.С.

Гуревич Любовь Яковлевна (1866-1940) - театровед, писательница и переводчица. В 1891-1898 годах редактор журнала "Северный вестник" - 783.

Гурлянд Илья Яковлевич (1863-?) - литератор, печатавшийся под псевдонимами: Арсений Г. и Арс.Г.; профессор административного права в Демидовском лицее - 754.

Гюго Виктор (1802-1885) - 433.

"Рюи Блаз" - 433, 753.

"Эрнани" - 433, 753.

Давыдов (Горелов) Владимир Николаевич (1849-1923) - артист Александринского театра. Два сезона, в 1886-1887 и 1887-1888 годах - в театре Корша. Народный артист РСФСР. Первый исполнитель роли Иванова в пьесе Чехова "Иванов" в обоих театрах - 162, 297, 356, 727.

Давыдов Всеволод Васильевич - редактор журнала "Зритель" - 107.

Давыдова Александра Аркадьевна - издательница журнала "Мир божий" - 145, 518.

Далматов Василий Пантелеймонович (1852-1912) - артист театра Литературно-артистического кружка - 107.

Даль Владимир Иванович (1801-1872) - ученый-диалектолог, этнограф, писатель - 348.

Данилов Владимир Константинович - врач, однокурсник Чехова по медицинскому факультету - 668.

Дарвин Чарлз (1809-1882) - 508, 787.

"Дело" - ежемесячный литературно-политический журнал демократического направления, издававшийся в Петербурге с 1866 по 1888 год - 344.

Демченко В.

"История "Каштанки" - 711.

Дестомб Клавдия Ивановна - артистка театра Литературно-артистического кружка - 440.

Детенгоф Александр Карлович - журналист; печатался в журнале "Наблюдатель" под псевдонимом. Ал.Молотов - 171, 719.

"Детское чтение" - ежемесячный иллюстрированный /806/ журнал для детей среднего и старшего возраста. Выходил в Петербурге в 1869-1906 годах - 190, 708, 733, 762.

Джемс Линч, см. Андреев Л.Н.

Дзюба - владелец фотографии "Юг" в Ялте - 608-612.

Добролюбов Николай Александрович (1836-1861) - 524, 525.

Доде Альфонс (1840-1897) - французский писатель - 565, 566, 778.

"Жены артистов" - 153.

Доде Леон (1867-?) - французский романист и реакционный политический деятель, сын А.Доде - 565.

Долженко Алексей Алексеевич (1866-1942) - двоюродный брат Чехова - 119, 125, 711.

Долженко Алексей Борисович - таганрогский купец, родственник Чеховых - 125.

Долженко (урожд. Морозова) Федосья Яковлевна (1829-1891) - тетка Чехова - 125.

Донауров Сергей Иванович - цензор драматических сочинений в Главном управлении по делам печати - 350.

Дорошевич Влас Михайлович (1864-1922) - журналист - 535, 755.

Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) - 282, 317, 335, 735, 740.

"Бедные люди" - 735.

"Преступление и наказание" - 428.

Дрейфус Альфред (1859-1935) - офицер французского генерального штаба (см. прим. к стр. 449) - 373, 449, 595, 629, 642, 742, 758, 759, 779, 782, 787-789.

Дрианский.

"Записки мелкотравчатого" - 153.

"Друг детей" - двухнедельный иллюстрированный журнал для детского чтения. Выходил в Москве в 1902-1903 годах - 708.

Дубичинский - фельетонист, сотрудник ялтинской газеты "Крымский курьер" - 629.

Дуров Владимир Леонидович (1863-1934) - цирковой артист и дрессировщик - 711.

"Мои звери" - 711.

Дьяков Александр Александрович (1845-1895) - реакционный публицист, постоянный сотрудник "Нового времени", печатавшийся под псевдонимами: Житель и Незлобин - 787.

Дюжикова Антонина Михайловна (1853-1941) - артистка Александринского театра. В пьесе "Чайка" исполняла роль Аркадиной - 353, 356.

Дягилев Сергей Павлович (1872-1929) - художественный и театральный деятель, редактор журнала "Мир искусства" и один из организаторов художественной группировки "Мир искусства". Пропагандист русского искусства в Париже, где организовал выставку русской живописи XVIII-XIX веков и музыкально-театральные "русские сезоны", продолжавшиеся ряд лет. После Октябрьской революции эмигрировал за границу - 753.

Евреинова Анна Михайловна (1844-?) - редактор журнала "Северный вестник" в 1889-1890 годах - 136.

Егор, см. Говердовский Егор.

Егоров Евграф Петрович - офицер, знакомый Чехова по Воскресенску, позднее земский начальник в Нижегородской губернии. В 1892 году Чехов работал с ним по организации помощи голодающим - 85. /807/

Ежов Николай Михайлович (1862-1942) - беллетрист, фельетонист "Нового времени" - 155, 168, 180-185, 707, 718, 719, 721.

"Антон Павлович Чехов. Опыт характеристики" - 155, 180-184, 721.

"Моя статья о Чехове" - 180, 721.

Елпатьевские - 530.

Елпатьевский Сергей Яковлевич (о нем на стр. 778) - 383, 388, 480, 487, 520, 535, 570-581, 585, 596, 608, 660, 672, 705, 778, 785, 795.

"Близкие тени" - 775.

"Воспоминания за пятьдесят лет" - 778.

"О, мама!" - 581.

Е.М.Ш., см. Шаврова Е.М.

Епифанов Сергей Алексеевич - поэт. Сотрудничал в журналах "Будильник", "Зритель" и др. - 120-122.

Ефремова Елизавета Александровна - гувернантка детей А.С. и М.В. Киселевых - 87.

"Жизнь" - ежемесячный литературно-научный и политический журнал. Выходил в Петербурге с 1897 по 1901 год. С конца 1899 года являлся органом "легального марксизма". В журнале печатались отдельные статьи революционных марксистов, в беллетристическом отделе - произведения Горького, Серафимовича, Вересаева. Этот отдел был высоко оценен В.И.Лениным (см. В.И.Ленин, Сочинения, т. 34, изд. 4-е, стр. 15). В 1901 году постановлением правительства журнал был закрыт, в 1902 году выходил за границей - 143.

Житель, см. Дьяков.

Жихарева Ольга Филипповна - писательница - 669, 793.

"Журнал для всех" - ежемесячный литературный и научно-популярный журнал. Выходил в Петербурге с 1893 по 1906 год - 575, 675, 722, 756, 764, 795.

"Журнал спорта" - выходил в Москве с 1898 года по 1905 год от 2 до 4 раз в неделю. Издатель-редактор В.А.Гиляровский - 115.

Завадский Владислав Ромулович (1840-1910) - судебный деятель - 440.

Задера Григорий Пантелеймонович - фельдшер - 752.

Зальца Александр Иванович - капитан, дядя О.Л.Книппер - 681.

Зальца Карл Иванович - врач, дядя О.Л.Книппер - 681.

Звягин Александр Иванович - акцизный чиновник, ялтинский знакомый Чехова - 189, 191, 193, 199, 722.

Зембулатов Василий Иванович - врач, товарищ Чехова по таганрогской гимназии и Московскому университету - 81, 83, 661, 662, 667, 709, 792.

Зенгер А.

"У Толстого" - 764.

Златовратский Николай Николаевич (1845-1911) - писатель народнического направления - 166, 524, 763.

"Знание" - книгоиздательство, основанное в Петербурге в 1898 году. После вступления в него М.Горького (1900) стало крупным прогрессивным издательством. Сборники "Знание", в которых печатались произведения демократических писателей, противостояли упадочной декадентской литературе начала XX века - 482, 483.

Золя Эмиль (1840-1902) - 153, 485, 595, 755.

"Доктор Паскаль" - 567.

"Зритель" - иллюстрированный юмористический журнал. /808/ Выходил в Москве в 1881-1885 годах (с перерывами). Чехов сотрудничал в нем в 1881 и 1883 годах - 84, 107, 111, 155, 709, 715.

Зритель, см. Розанов В.В.

Ибсен Генрик (1828-1906) - норвежский драматург - 387, 398, 399.

"Дикая утка" - 398, 748.

"Доктор Штокман" - 393, 747.

"Когда мы, мертвые, пробуждаемся" - 393, 747.

"Эдда Габлер" - 386, 387, 531, 745.

Иван Парфентьевич, см. Селиванов И.П.

Иваненко Александр Игнатьевич - музыкант-флейтист. Близкий знакомый семьи Чеховых. Автор нескольких рассказов, напечатанных под псевдонимом "Юс малый". По свидетельству М.П.Чехова, отчасти послужил прототипом Епиходова в пьесе Чехова "Вишневый сад" - 89, 166-169, 719.

Иванов Иван Иванович (1862-1939) - историк литературы и критик - 745.

Иванов-Классик (псевдоним Алексея Федоровича Иванова, 1841-1894) - поэт - 107.

Измайлов Александр Алексеевич (1873-1921) - литературный критик - 164, 174, 178-181.

"Возвышающий обман и низкие истины" - 721.

"Чехов (Биографический набросок)" - 175, 178, 179, 181, 720.

Иловайская Капитолина Михайловна - владелица дачи в Ялте, знакомая Чехова - 454, 455, 470, 588.

Иловайский Дмитрий Иванович (1832-1920) - историк. Автор официальных учебников всеобщей и русской истории - 580.

Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев) (1829-1908) - протоиерей Андреевского собора в Кронштадте, черносотенный церковный деятель, шарлатан-"чудотворец" - 611.

Иорданов Павел Федорович - санитарный врач г.Таганрога, позднее таганрогский городской голова - 745.

Иорданская-Куприна Мария Карловна - первая жена А.И.Куприна - 777.

"Исторический вестник" - ежемесячный историко-литературный журнал реакционного направления. Выходил в Петербурге в 1880-1917 годах - 184, 596.

Кальфа Бабакай Осипович - подрядчик, принимавший участие в строительстве дачи Чехова в Ялте - 129, 130.

Карпов Евтихий Павлович (1859-1926) - драматург, режиссер Александринского театра - 794.

Катков Михаил Никифорович (1818-1887) - публицист, редактор журнала "Русский вестник" и газеты "Московские ведомости", крайний реакционер - 768.

Качалов Василий Иванович (о нем на стр. 756) - 414, 443-446, 756, 757, 767.

"Встречи с Горьким" - 756.

Кащенко Петр Петрович (1853-1920) - студент-медик Московского университета, председатель студенческих сходок 80-х годов. Впоследствии - выдающийся психиатр - 662.

Кириллов-Карнеев М.В. - переводчик.

"Странное стечение обстоятельств" - 289, 731. /809/

Киселев Александр Александрович (1838-1911) - художник - 96.

Киселев Алексей Сергеевич - помещик, земский начальник. В его имении Бабкино под Москвой жили Чеховы летом 1885, 1886 и 1887 годов - 86, 87, 186.

Киселев Павел Дмитриевич (1788-1872) - министр государственных имуществ при Николае I, дипломат - 86.

Киселев Сережа - сын А.С. и М.В. Киселевых - 87.

Киселева Мария Владимировна - детская писательница, жена А.С.Киселева - 86, 87, 723, 762.

Киселева Саша - дочь А.С. и М.В. Киселевых - 87.

Киселевы - 87, 88.

Кичеев Николай Петрович (1848-1890) - журналист и переводчик. В начале 80-х годов был редактором журнала "Будильник" - 107, 421, 423.

Кичеев Петр Иванович (1845-1902) - поэт и театральный рецензент, сотрудник мелкой журнальной прессы - 424, 752.

Кладас Х.М. - студент-юрист Московского университета - 661.

Клейн Иван Федорович (1847-1929) - профессор патологической анатомии, декан медицинского факультета Московского университета в 90-х годах - 670.

Ключевский Василий Осипович (1841-1911) - профессор русской истории, представитель русской буржуазной историографии - 486.

"Книжки недели" - ежемесячный литературный журнал. (Прилож. к газ. "Неделя".) Выходил в Петербурге с 1885 по 1901 год - 739.

Книппер Анна Ивановна (1850-1919) - профессор Московской филармонии по классу пения, мать О.Л.Книппер - 289, 680, 695.

Книппер Константин Леонардович (1866-1924) - инженер-путеец, брат О.Л.Книппер - 289, 290, 658. Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (о ней на стр. 795) - 132, 288, 289, 291, 369, 375, 383, 386, 389, 397, 398, 403-405, 407, 408, 414, 415, 426, 439, 442, 491, 522, 533-536, 538, 601, 605, 667, 680-702, 705, 747-749, 775, 783, 784, 791, 792, 795-797.

"Несколько слов об А.П.Чехове" - 784.

"Из воспоминаний" - 796.

Кобылин Иван Егорович - таганрогский купец. У него работал счетоводом и приказчиком П.Е.Чехов - 64.

Ковалевская Софья Васильевна (1850-1891) - математик, профессор Стокгольмского университета, член-корреспондент Петербургской академии наук. Также автор нескольких беллетристических произведений - 758.

Ковалевский Максим Максимович (о нем на стр. 757) - 327, 425, 447-452, 538, 758, 759.

Кожевников Петр Алексеевич (1872-?) - писатель-беллетрист - 486.

Коля, см. Чехов Н.П.

Кольцов А.И. - ялтинский врач - 760.

Комарова А.П. - попечительница ялтинской церковной школы - 457.

Коммиссаржевская Вера Федоровна (1864-1910) - артистка. Первая исполнительница роли Заречной в пьесе Чехова "Чайка". С 1896 года по 1904 год играла в Александринском театре. В 1904 году основала свой театр в Петербурге - 247, 349, 353-356, 362, 363, 729, 794. /810/

Кондаков Никодим Павлович (1844-1925) - археолог и историк искусства, академик - 524, 598, 776, 777.

Кондратьев Иван Максимович - секретарь Общества русских драматических писателей и оперных композиторов. Занимал должность старшего делопроизводителя в канцелярии генерал-губернатора - 431, 753.

Кони Анатолий Федорович (1844-1927) - либеральный судебный деятель и публицист. Автор обширных мемуаров "На жизненном пути". В V томе этих мемуаров опубликован очерк о Чехове - 440.

"Коннозаводство и коневодство" - еженедельный журнал, выходил в Москве с 1888 года - 115.

Коновицер Ефим Зиновьевич - адвокат, соиздатель газеты "Курьер", знакомый семьи Чеховых - 770.

Кононович Владимир Осипович - генерал, начальник острова Сахалина - 732.

Коринфский Аполлон Аполлонович (1868-?) - поэт - 107.

Корнеев Яков Алексеевич - врач, владелец дома на Садовой-Кудринской в Москве, в котором семья Чеховых жила в 1886-1890 годах - 127, 152-154, 171.

Коробов Николай Иванович - врач, однокурсник Чехова по Московскому университету - 668, 782.

Коровин Константин Алексеевич (1861-1939) - художник, автор воспоминаний о Чехове ("Россия и славянство", Париж, 1929, N 33, 13 июля) - 99, 100, 413.

Короленко Владимир Галактионович (о нем на стр. 712) - 128 135-148, 471, 481, 519, 520, 524, 583, 705, 712-716, 719, 723, 736, 762, 763, 773, 787-789.

"Дневник", т. IV - 757.

"О сборниках т-ва "Знание" на 1903 год" - 773.

"Северные сборники" (Рецензия) - 773.

Короленко Евдокия Семеновна (1855-1940) - жена В.Г.Короленко - 137.

Коротнев Алексей Алексеевич (1854-1915) - зоолог, профессор Киевского университета - 447, 448.

Корф Андрей Николаевич (1831-1893) - приамурский генерал-губернатор - 732.

Кравцов Петр Гаврилович (Петя) - племянник Г.П.Селиванова. Чехов в конце 70-х годов готовил его в юнкерское училище - 81-83.

Крамской Иван Николаевич (1837-1887) - художник - 709, 755.

Кривенко Сергей Николаевич (1847-1907) - публицист либерально-народнического направления. В 90-х годах был членом редакции газеты "Сын отечества" - 228.

Круглов Александр Васильевич (1853-1915) - писатель, по образованию военный инженер - 185, 721.

Крылов Виктор Александрович (1838-1906) - драматург, печатался под псевдонимом: В.Александров. В 1893-1898 годах начальник репертуарной части петербургских императорских театров - 518.

"Крымский вестник" - севастопольская газета - 190, 194.

"Крымский курьер" - ялтинская газета - 455, 612, 618, 619, 628, 750, 782, 785, 786.

Кувшинников Дмитрий Павлович - полицейский врач, муж С.П.Кувшинниковой - 175-177.

Кувшинникова Софья Петровна (1847-1907) - художница - 174-177, 721.

Кувшинниковы - 198, 723. /811/

Кукольник Нестор Васильевич (1809-1868) - драматург и беллетрист реакционного направления - 555.

Куприн Александр Иванович (о нем на стр. 775) - 452, 474, 487, 518, 531, 539-569, 641, 763, 764, 775-778, 789.

"В цирке" - 777.

"Как я был актером" - 775.

"Миниатюры" - 777.

"На покое" - 777.

Курепин Александр Дмитриевич (1847-1891) - журналист и фельетонист - 171, 719.

Лавров Вукол Михайлович (1852-1912) - редактор-издатель журнала "Русская мысль" - 168, 312-317, 341, 634, 779, 794.

"У безвременной могилы" - 794.

Ладыженский Владимир Николаевич (о нем на стр. 731) - 294-306, 731-734.

"Антоша Чехонте" - 731.

"В далекие дни" - 731.

"Дача в Аутке" - 731.

"Памяти А.П.Чехова" - 731.

Лазарь Бернард (1865-1903) - французский общественный деятель, публицист. Автор брошюры "La verite sur l'affaire Dreyfus" ("Правда о деле

Дрейфуса"), которая послужила началом кампании за пересмотр дела Дрейфуса - 759.

Лазарев-Грузинский Александр Семенович (о нем на стр. 717) - 151-188, 441, 442, 707, 717-719, 721, 723.

"Антон Чехов" - 717.

"Антон Чехов" - 717.

"Антон Чехов и литературная Москва 80-х и 90-х годов" - 717.

"Воспоминания" - 717.

"Нескучные рассказы" - 160, 161, 717.

"О Чехове" - 717.

"Пропавшие романы и пьесы Чехова" - 172, 717, 719.

"Старый друг" - 163.

"Шипы и тернии в жизни Чехова" - 717.

Лазаревский Борис Александрович (1871-1936) - писатель, автор воспоминаний о Чехове - 508, 593, 765, 766, 782, 792.

Ленинский Владимир Дмитриевич (1849-?) - редактор юмористического журнала "Будильник" - 167.

Левитан Адольф Ильич - художник-жанрист, брат И.И.Левитана - 169, 174, 177.

Левитан Исаак Ильич (1860-1900) - 87-89, 100, 102, 109, 110, 133, 162, 170, 174-177, 376, 418, 471, 472, 513, 545, 573, 609-612, 640, 642, 678, 710, 720, 721, 772, 782, 785.

"Ветлы" - 109.

"Дуб и березка" - 772.

"Море при лунном свете" - 109.

"Река Истра" - 772.

"Стоги сена при лунном свете" - 689, 772, 752.

"Тяга" - 772.

"Этюд" - 772, 752.

Левкеева Елизавета Ивановна (1851-1904) - артистка Александринского театра - 352, 337-359, 729.

Лейкин Николай Александрович (1811-1906) - писатель-юморист, редактор-издатель журнала "Осколки" - 140, 157-161, 180, 186, 213, 217, 220, 221, 223, 299, 717, 727-729, 774.

Лейкина Прасковья Никифоровна - жена Н.А.Лейкина - 220.

Лейкины - 219, 220, 238, 727.

Ленские - 723.

Ленский Александр Павлович (1847-1908) - артист Московского Малого театра. С 1906 /812/ года главный режиссер этого театра - 431, 437, 438, 486, 723, 754.

Леонидов (Вольфензон) Леонид Миронович (1873-1941) - артист Московского Художественного театра с 1903 года. Народный артист СССР. В пьесах Чехова исполнял роли: Соленого и Вершинина в "Трех сестрах", Лопахина в "Вишневом саде", Калхаса в "Калхасе" и Боркина в "Иванове" - 414.

Леонтьев, см Щеглов И.Л.



Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) - 292, 423, 441, 463, 514.

"Парус" - 521.

"Тамань" - 514, 650.

Лесков Николай Семенович (1831-1895) - 107, 655.

"Однодум" - 791.

Лидия Федоровна, см. Михайлова Л.Ф.

Лилина (Алексеева) Мария Петровна (1866-1943) - артистка Московского Художественного театра с 1898 года. Народная артистка РСФСР. Жена К.С.Станиславского. В пьесах Чехова исполняла роли: Маши и Нины Заречной в "Чайке", Сони в "Дяде Ване", Наташи в "Трех сестрах", Ани и Вари в "Вишневом саде" - 394, 406, 439, 747.

Линтварев Георгий Михайлович - пианист, сын А.В.Линтваревой - 91.

Линтварев Павел Михайлович - земский деятель, сын А.В.Линтваревой - 91.

Линтварева Александра Васильевна - владелица усадьбы "Лука" Харьковской губ., где жили Чеховы летом в 1888-1890 годах - 91.

Линтварева Елена Михайловна - врач, дочь А.В.Линтваревой - 91.

Линтварева Зинаида Михайловна - врач, дочь А.В.Линтваревой. Ум. в 1891 году. Чехов написал некролог ["З.М.Линтварева"]. См. т. 7, стр. 507 - 91.

Линтварева Наталья Михайловна - учительница, дочь А.В.Линтваревой - 91, 735.

Линтваревы - 89-91, 340, 532.

Литвинов Иван Михайлович (1844-1906) - цензор драматических сочинений в Главном управлении по делам печати - 350.

Литературный фонд - неофициальное название "Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым". Утверждено в 1850 году в Петербурге - 742.

Лобода Иван Иванович - таганрогский купец, родственник Чеховых - 84, 709.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) - 126.

Лондон Джек (1876-1916) - американский писатель - 506, 769.

Лужский (Калужский) Василий Васильевич (о нем на стр. 754) - 439-442, 754, 775.

Лупандина - издательница ялтинской газеты "Крымский курьер" - 785.

Любимов Александр Леонидович - студент, сын Л.И.Любимовой - 589.

Любимов Леонид Иванович - московский дьякон, преподаватель городских училищ - 589, 781.

Маевский Болеслав Игнатьевич - полковник, знакомый Чехова по Воскресенску - 84-86.

Маевские - Алеша, Аня, Соня - дети Б.И.Маевского - 85.

Майков Аполлон Александрович (1826-1900) - управляющий московскими императорскими театрами с 1886 по /813/ 1888 год. Один из

учредителей Общества русских драматических писателей и оперных композиторов, многолетний его казначей, затем председатель - 431, 753.

Майн-Рид (1818-1883) - английский писатель, автор приключенческих романов - 59.

Макаров - учитель - 496.

Маклаков Василий Алексеевич (1870-195?) - адвокат, член 2, 3 и 4 Государственной думы. О своих встречах с Чеховым напечатал воспоминания (См. "Раннее утро", 1909, N 201, от 2 сентября и книгу "Из воспоминаний", Нью-Йорк, 1954, стр. 174-175) - 506.

Маковский Владимир Егорович (1846-1920) - художник - 681.

Малый театр - 308, 378, 424, 431, 433, 434, 437, 438, 744, 745.

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852-1912) - 347-349, 363, 383, 388, 390, 471, 487, 518, 531, 596, 735, 763.

Мамонтов Савва Иванович (1842-1918) - промышленник, меценат, основатель первого частного оперного театра в Москве - 100, 620, 709.

Манучаров Давид Львович (1867-1942) - техник, железнодорожный служащий (в год переписки с Чеховым), брат народовольца И.Л.Манучарова - 732, 733.

Марко-Вовчок (псевдоним Марии Александровны Вилинской, 1834-1907) - украинская писательница - 634.

Маркони Франческо (?-1916) - итальянский певец - 232.

Маркс Адольф Федорович (1838-1904) - петербургский книгоиздатель, издатель журнала "Нива" - 276, 277, 304, 365, 369, 376, 482-486, 589, 590, 659, 685, 734, 736, 738, 751, 796.

Мартос Иван Петрович (1754-1835) - русский скульптор - 69.

Матьюз - гувернантка. По свидетельству М.П.Чехова, послужила Чехову прототипом англичанки в рассказе "Дочь Альбиона" - 87.

Мачтет Григорий Александрович (1852-1901) - писатель - 342.

Медведева Надежда Михайловна (1832-1899) - артистка Малого театра - 194.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874-1940) - артист и режиссер. В труппе Московского Художественного театра состоял с 1898 по 1902 год. В пьесах Чехова исполнял роли: Треплева в "Чайке" и Тузенбаха в "Трех сестрах" - 439, 755, 757.

Менделевич Родион Абрамович (1866-1927) - поэт. Сотрудничал в журнале "Осколки", газете "Новости дня" и др. После Октябрьской революции - литературный сотрудник "Правды". Автор воспоминаний о Чехове (см. "Раннее утро", 1914, 2 июля) - 719, 720.

Меньшиков Михаил Осипович (1859-1919) - публицист. В 90-х годах сотрудничал в либерально-народнической газете "Неделя". С 1901 года постоянный сотрудник "Нового времени" - 365, 578, 580, 729, 739, 764. "Дознание" - 739.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865-1941) - беллетрист, поэт, критик и публицист - основатель религиозно-философского общества. После Октябрьской революции эмигрировал за границу - 297.

Мериме Проспер /814/ (1803-1870) - французский писатель - 160.  
 Метерлинк Морис (1862-1949) - бельгийский писатель-символист - 415.  
 "Непрошенная" - 750.  
 "Слепые" - 750.  
 "Там внутри" - 750.  
 Мечников Илья Ильич (1845-1916) - 641, 679, 789.  
 Мизинова Лидия Стахивна (1870-1937) - близкая знакомая семьи  
 Чеховых - 95, 96, 319, 736, 737, 770.  
 Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835-1889) - поэт и переводчик.  
 "В сумерках. Сатиры и песни" - 153, 718.  
 Минский (Виленкин) Николай Максимович (1855-1938) - 473.  
 "Мир божий" - ежемесячный литературный и научно-популярный журнал  
 либерального направления. Издавался в Петербурге с 1892 по 1906 год. С октября  
 1906 по 1918 год выходил под названием "Современный мир" - 145, 443, 632.  
 Миролюбов Виктор Сергеевич (1860-1939) - до 1897 года был певцом  
 Большого театра, где выступал под фамилией Мирон. С 1898 года редактор-  
 издатель ежемесячного "Журнала для всех" - 190, 194, 388, 444, 675, 722, 739, 756,  
 757, 764, 767, 776, 783, 795.  
 Михаил, см. Грибановский Михаил.  
 Михайлова Лидия Федоровна - учительница, знакомая Чехова по Луке -  
 92.  
 Михайловский Николай Константинович (1842-1904) - литературный  
 критик и публицист, идеолог либерального народничества - 137, 138, 145, 166,  
 297, 419, 422 474, 525, 594, 659, 714, 740, 773, 786, 791.  
 "Еще кое-что о современной беллетристике" - 714.  
 "Кое-что о Чехове" - 585, 714, 781.  
 "Литература и жизнь" [О повести "Мужики"] - 714.  
 "Новые книги" [О сб. "В сумерках"] - 714.  
 "О повестях и рассказах гг. Горького и Чехова" - 714.  
 "О страшной силе г. Novus'a, о моей робости и некоторых недоразумениях"  
 - 714.  
 "Об отцах и детях и о г. Чехове", см. "Письма о разных разностях". "Палата  
 N 6" - 714.  
 "Письма о разных разностях" [О сб. "Хмурые люди"] - 773, 782.  
 "Случайные заметки" [О пьесе "Иванов"] - 714.  
 Моисеев - таганрогский домовладелец. В его доме жили Чеховы в 1869-  
 1874 годах - 126, 712.  
 Молотов, см. Детенгоф.  
 Мопассан Ги, де (1850-1893) - 160, 182, 428, 450, 514, 518, 565, 574, 575,  
 650.  
 "Одна жизнь" - 450.  
 Мордовцев Даниил Лукич (1830-1905) - беллетрист и историк - 627.  
 "Царь и гетман" - 627.

Морозов Савва Тимофеевич (1862-1905) - фабрикант, близко стоял к Московскому Художественному театру, оказывая ему большую материальную помощь - 404, 508, 643-648, 651, 653, 654, 657, 790.

Морозов Сергей Тимофеевич - фабрикант, брат предыдущего - 326, 331-334.

Морозова Марфа Ивановна - тетка Чехова - 81, 84, 709.

"Москва" - еженедельный литературно - художественный журнал. Выходил в Москве в /815/ 1882 и начале 1883 года - 111.

Москвин Иван Михайлович (1874-1946) - артист Московского Художественного театра с 1898 года. Народный артист СССР. В пьесах Чехова исполнял роли: Родэ в "Трех сестрах", Епиходова в "Вишневом саде", Львова в "Иванове" и дьячка в инсценировке рассказа Чехова "Хирургия" - 390, 409, 410, 414, 441, 491, 687.

"Московская иллюстрация" - "Московская иллюстрированная газета" - ежедневная газета, выходила в Москве в 1890-1891 годах - 156, 167.

Московская консерватория - 468.

"Московский листок" - реакционная газета. Выходила с 1881 по 1918 год - 120, 121.

Московский университет - 155, 346, 571, 661, 662, 672, 736, 742, 757, 793.

Московский Художественный театр - 105, 115, 186, 349, 363, 371, 373, 374, 393-395, 397, 400, 402, 420, 433, 434, 439, 440, 451, 461, 486-488, 491, 517, 519, 529, 531, 543, 592, 601, 603, 668, 671, 680, 682, 689, 695, 709, 740, 744, 745, 748-750, 754-757, 759, 764, 774, 775, 791, 795-797.

Муратова Елена Павловна (1874-1921) - артистка Московского Художественного театра с 1901 года. В пьесах Чехова исполняла роли: Марии Васильевны и Марины в "Дяде Ване", Шарлотты в "Вишневом саде", Авдотьи Назаровны в "Иванове" - 409, 414.

Муромцев Сергей Андреевич (1850-1910) - юрист, профессор Московского университета - 486.

Мясоедов Григорий Григорьевич (1835-1911) - художник - 710.

"Наблюдатель" - ежемесячный литературный и политический журнал с антисемитским уклоном, издававшийся в Петербурге в 1882-1902 годах - 171, 719.

Надсон Семен Яковлевич (1862-1887) - поэт - 335, 639.

Найденов (Алексеев) Сергей Александрович (1869-1922) - драматург - 383, 486, 487, 520, 536, 538.

"Неделя" - еженедельная либерально-народническая газета, выходила в Петербурге с 1866 по 1901 год - 165, 761.

Некрасов Николай Алексеевич (1821-1878) - 735. "Железная дорога" - 144, 715.

Немирович-Данченко Варвара Ивановна (1856-1901) - артистка провинциальных театров, сестра Вл.И.Немировича-Данченко - 430.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1848-1936) - писатель, брат Вл.И.Немировича-Данченко - 627. "Под грозою" - 627.

Немирович-Данченко Владимир Иванович (о нем на стр. 751) - 240, 285, 289, 342, 373, 376, 378, 385, 387, 388 419-438, 439, 440, 488, 536 604, 648, 707, 740 742-744 747-749, 751, 753, 754, 755, 764.

"Губернаторская ревизия" - 433, 434.

"Из прошлого" - 743, 751.

"Мертвая ткань" - 434.

Немирович-Данченко Вл.И. и Сумбатов-Южин А.И.

"Соколы и вороны" - 433, 753.

"Нива" - еженедельный "иллюстрированный журнал литературы, политики и /816/ современной жизни". Издавался в Петербурге А.Ф.Марксом с 1870 года - 482-484, 717, 723.

"Нижегородский листок" - ежедневная общественно-литературная, политическая и биржевая газета, выходившая в Н.-Новгороде с 1895 по 1916 год - 761.

Николай, таврический епископ - 466, 467.

Николай II (1868-1918) - 674, 716.

Нилус Петр Александрович (1869-?) - художник - 535, 536.

Ницше Фридрих (1844-1900) - реакционный немецкий философ - 369.

Новиков - артист, арендатор ялтинского театра - 638.

Новиков Иван Алексеевич (о нем на стр. 779) - 582-584, 779.

"Новое время" - газета, выходившая в Петербурге с 1868 года по октябрь 1917 года. Вначале умеренно-либеральная, с 1876 года она превратилась в орган реакционных дворянских и бюрократических кругов. Вела борьбу не только против революционного, но и против либерально-буржуазного движения. С 1905 года стала одним из органов черносотенцев - 105, 136, 140, 143, 151, 160, 163, 173, 182, 185, 186, 297, 449, 578, 580, 595 629, 633, 641, 642, 674, 705, 710, 717, 718, 752, 753, 759, 762, 782, 786-790.

"Новое слово" - ежемесячный научно-литературный и политический журнал. Выходил в Петербурге с 1894 года - 723.

"Новороссийский телеграф" - газета "политическая, коммерческая и литературная". Выходила в Одессе с 1875 года - 706.

"Новости дня" - ежедневная газета, выходившая в Москве с 1883 по 1906 год - 705, 708, 753.

"Новости терапии" - ежемесячный журнал. Выходил в Москве с 1886 года ежемесячно и с 1889 года еженедельно - 502.

"Новый путь" - ежемесячный литературно-философский журнал. Орган религиозно-философского общества. Выходил в Петербурге в 1903 году - 596.

Оболенский Леонид Егорович - критик - 198, 199, 723. "Обо всем. Критическое обозрение (Молодые таланты: г.Чехов и г.Короленко)" - 723.

Общество русских драматических писателей и оперных композиторов - учреждено в 1874 году А.Н.Островским и Н.Г.Рубинштейном - 430.

Общество искусства и литературы - учреждено в 1888 году в Москве К.С.Станиславским, Ф.А.Соллогубом, А.Ф.Федотовым и Ф.П.Коммиссаржевским - 684, 742.

Общество любителей российской словесности - учреждено в 1811 году при Московском университете - 368.

"Одесские новости" - ежедневная "политическая, научная, литературная и коммерческая" газета. Выходила в 1884-1916 годах - 777.

Олигер Николай Федорович (1882-?) - писатель - 508.

Омаров, см. Амиров Н.Ф.

Ореус (псевдоним: Иван Коневский) Иван Иванович (1877-1901) - поэт-символист - 773.

Орленев (Орлов) Павел Николаевич (1869-1932) - народный артист РСФСР - 535.

Орлов Иван Иванович /817/ (1851-1917) - земский врач. Заведовал Солнечногорской лечебницей Московского губернского земства - 586, 768.

Орлова-Давыдова, графиня, попечительница школы в селе Щеглятьево, вблизи Мелихова - 766.

"Освобождение" - русский журнал, выходивший два раза в месяц под редакцией П.Б.Струве в Штутгарте, затем в Париже. В России распространялся нелегально - 776.

"Осколки" - еженедельный иллюстрированный юмористический журнал, издававшийся в Петербурге с 1881 по 1917 год. Чехов сотрудничал в нем в 1882-1887 годах - 89, 111, 114, 127, 135, 140, 154, 157, 158, 163, 179, 180, 270, 334, 342, 474, 594, 706, 713, 717, 762.

Островский Александр Николаевич (1823-1886) - 348, 352, 430, 431, 558, 565, 682.

"Лес" - 620, 785.

"Снегурочка" - 393, 696, 747, 797.

Островский Иосиф Исаевич - врач, товарищ Чехова по таганрогской гимназии - 735.

Остроумов Алексей Алексеевич (1844-1908) - профессор-терапевт - 599, 602, 605.

"Отечественные записки" - ежемесячный журнал, основанный в 1820 году. В 1839-1846 годах в журнале принимал участие В.Г.Белинский, заведовавший критическим отделом. С 1868 года журналом руководили Некрасов, Салтыков-Щедрин и др. В этот период журнал группировал вокруг себя революционно-демократическую интеллигенцию. Журнал подвергался непрерывным цензурным преследованиям, в 1881 году был закрыт царским правительством - 136, 153.

Павловский Иван Яковлевич (1853-1924) - журналист, парижский корреспондент "Нового времени", уроженец Таганрога - 759.

Пазетти - петербургский фотограф - 169.

Пальмин Лиодор Иванович (1841-1891) - поэт. Был одним из ближайших сотрудников сатирической "Искры", позднее - "Осколков" - 178, 559, 777.

Панаевский театр - петербургский театр, арендованный театром литературно-артистического кружка. В этом же здании происходили спектакли Московского Художественного театра во время петербургских гастролей - 402.

Панов Николай Захарович (о нем на стр. 795) - 677-679, 795.

Пантюхин Никита - крестьянин. По свидетельству В.А.Гиляровского, послужил прототипом для рассказа Чехова "Злоумышленник" - 111, 112.

Панчин Александр Семенович (1856-1906) - артист Александринского театра. В чеховской "Чайке" исполнял роль учителя Медведенко - 356.

"Парадиз" - театр Парадиза в Москве - 441, 756.

Пастухов Николай Иванович (1831-1911) - издатель газеты "Московский листок", автор бульварных романов - 120-122.

Пасхалова Анна Александровна (?-1944) - драматическая артистка, игравшая в Петербурге и в провинции - 297.

Первухин Михаил Константинович (о нем на стр. 784) - 606-639, 705, 784, 785, 788.

"Бой на воздушном океане" - 784.

"Догорающие лампы" - 784. /818/

"Еще из воспоминаний об А.П.Чехове" - 784.

"Наброски" - 784.

"Обыкновенная история" - 784.

"Отрывки из воспоминаний о Чехове" - 784.

"У самого берега синего моря" - 784.

"Чехов и Ялта" - 784.

"Чехов и ялтинцы" - 784.

"Ялтинские силуэты" - 784.

Перов Василий Григорьевич (1833-1882) - художник-жанрист - 103, 709, 710.

"В трапезной" - 103.

"После праздника" - 103.

"Проповедь в селе" - 103, 709.

"Сельский крестный ход на пасхе" - 103, 709.

"Чаепитие в Мытищах" - 103, 709.

"Петербургская газета" - ежедневная политическая и литературная газета, издававшаяся с 1867 года - 89, 109, 127, 157, 159, 163, 173, 200, 208, 264, 275, 276, 342, 711, 714, 717, 718, 720, 727, 774.

Петербургский университет - 578.

Петров Виктор Александрович (1859-?) - военный инженер, полковник, был консультантом при постановке "Трех сестер" в Художественном театре - 394, 396, 747.

Петров Григорий Спиридонович (1867-1925) - священник, литератор, сотрудник газеты "Русское слово" - 180, 612, 721.

"На барском дворе" - 721.

Пешков Максим Алексеевич (1897-1934) - сын А.М.Горького - 391.

Пешкова Екатерина Павловна (р. в 1878 г.) - жена А.М.Горького - 765, 768, 769.

Писарев Модест Иванович (1844-1905) - артист Александринского театра. В пьесе Чехова "Чайка" исполнял роль Дорна - 356.

Писемский Алексей Феофилактович (1820-1881) - писатель - 565.

Платов Матвей Иванович (1751-1818) - граф, атаман Донского казачьего войска, герой Отечественной войны 1812 года. В имении его наследников был управляющим дед Чехова Е.М.Чехов - 80.

Плевако Федор Николаевич (1843-1908) - московский адвокат, выдающийся судебный оратор - 486.

Плеве Вячеслав Константинович (1846-1904) - министр внутренних дел и шеф жандармов в 1902-1904 годах - 120, 674.

Плещеев Алексей Николаевич (1825-1893) - поэт - 91, 92, 137, 139, 141, 296, 297, 594, 709, 715, 732.

Плотов Михаил Егорович - учитель в селе Щеглятьеве, вблизи Мелихова - 766.

Победоносцев Константин Петрович (1829-1907) - обер-прокурор Синода с 1885 по 1905 год - 768.

"Пожарный", см. "Вестник пожарного дела в России".

Покровский Федор Платонович - протоиерей, законоучитель таганрогской гимназии - 52, 53.

Поленов Василий Дмитриевич (1844-1927) - художник - 99.

Поленц Вильгельм (1861-1903) - немецкий писатель "Крестьянин" - 148, 716.

Полонский Яков Петрович (1819-1898) - поэт - 299, 594.

Попов Лазарь Константинович (1851-?) - журналист, постоянный сотрудник "Нового времени", где вел "научный фельетон", под псевдонимом "Эльпе" - 787. /819/

"Посредник" - книгоиздательство культурно-просветительного характера, созданное в Москве в 1884 году В.Г.Чертковым при участии Л.Н.Толстого. Выпускало дешевые книги в двух сериях: "Для народа" и "Для интеллигентных читателей". Существовало до 1925 года - 364, 365, 737.

Поссе Владимир Александрович (1864-1940) - журналист, редактор журнала "Жизнь" - 794.

Потапенко Игнатий Николаевич (о нем на стр. 734) - 162, 172, 173, 222, 307-363, 435, 448, 517, 519, 551, 705, 733-737, 776.

"На действительной службе" - 435.

"Секретарь его превосходительства" - 435.

Потресов Сергей Викторович (псевдоним: С Яблоновский) - журналист - 712.

"Почин" - сборник Общества любителей российской словесности - 368, 738.

"Правда" - ежемесячный журнал искусства, литературы и общественной жизни. Выходил в Москве два раза в месяц в 1904-1906 годах - 792.

"Правительственный вестник" - издавался в Петербурге с 1869 года - 776.



- "Проблески" - "Сборник произведений русских авторов", изд. "Посредник", М. 1895. (В сборник включены рассказы Чехова "Припадок", "Володя", "Тоска", "В суде", "Устрицы".) - 737.
- Прохоров-Риваль В.А. - писатель-романист - 178.
- Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742-1775) - 131.
- Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) - 121, 154, 284, 292, 423, 492, 765.
- "Воспоминание" - 730.
- "Пиковая дама" - 627.
- "Поэт" - 735.
- "Путешествие в Арзрум" - 718.
- "Скупой рыцарь" - 742.
- Пырин Михаил Семенович (1874-1943) - художник - 780.
- "В гости" - 779, 780.
- Радецкий Иван Маркович - автор брошюр о гигиене и педагогике - знакомый Чехова - 195-197, 722.
- Раевская (Иерусалимская) Евгения Михайловна (ум. в 1923 г. - артистка Московского Художественного театра с 1898 года. Заслуженная артистка РСФСР. В пьесах Чехова исполняла роли: Полины Андреевны в "Чайке", Марии Васильевны в "Дяде Ване", Зинаиды Саввишны в "Иванове", Анфисы в "Трех сестрах" - 439.
- "Развлечение" - еженедельный литературный и юмористический журнал. Издавался в Москве с 1859 года Чехов сотрудничал в нем в 1884-1885 годах - 111, 157.
- Разин Степан Тимофеевич (казнен в 1671 г.) - 130.
- Рассохина Е.Н. - издательница театральных новинок (литографированных изданий) - 711, 718, 752.
- Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943) - композитор - 471.
- Рачинский Сергей Александрович (1833-1922) - деятель по народному образованию, профессор Московского университета, сторонник религиозного воспитания детей - 318, 707.
- Ремезов Митрофан Нилович (1835-1901) - член редакции журнала "Русская мысль" - 341.
- Репин Илья Ефимович (о нем /820/ на стр. 716) - 149-150, 716, 717.
- "Какой простор!" - 666, 793.
- Розанов Василий Васильевич (1856-1919) - философ-идеалист, критик и публицист реакционного направления. С 1899 года постоянный сотрудник "Нового времени". Печатался под псевдонимом "Зритель" - 650, 790.
- Розанов Павел Петрович (1858-1910) - ялтинский санитарный врач - 585.
- Роксанова (Петровская) Мария Людомировна - артистка Московского Художественного театра с 1898 по 1902 год. В пьесе Чехова "Чайка" исполняла роль Нины Заречной - 439, 745.
- Рокфеллер Джон-Девисон (1839-1937) - американский миллионер - 653.

Россолимо Григорий Иванович (о нем на стр. 792) - 661-672, 705, 783, 789, 792, 793.

Россолимо Мария Сергеевна - жена Г.И.Россолимо - 666.

Рош Дени (D.Roche) (1868-1951) - французский писатель, переводчик Чехова - 716.

Рощин-Инсаров (Пашенный) Николай Петрович (1861-1899). Был артистом театра Корша в Москве, с 1895 года - артист киевского театра Н.Н.Соловцова - 331.

Рубинштейн Николай Григорьевич (1835-1881) - 106.

Русанов Гавриил Андреевич (1846-1907) служил по судебному ведомству, друг и единомышленник Л.Н.Толстого - 739.

"Русская мысль" - ежемесячный литературно-научный журнал либерального направления. Выходил в Москве с 1880 года. После революции 1905 года стал органом кадетской партии - 105, 115, 144, 147, 163, 164, 184, 198, 211, 228, 234, 259, 260, 270, 271, 313, 315, 341, 342, 361, 443, 598, 626, 632, 663, 667, 716, 718, 722, 728-731, 735, 735, 742, 763, 763, 779, 791.

"Русские ведомости" - газета, издававшаяся в Москве с 1863 года либеральными профессорами Московского университета и земскими деятелями. С 1905 года - орган правых кадетов - 105, 106, 109, 115, 143, 170, 190, 311, 341, 342, 368, 447, 515, 601, 642, 722 - 724, 738, 758, 772, 792.

"Русский вестник" - ежемесячный политический и литературный журнал. Выходил в Москве в 1856-1906 годах. С 60-х годов журнал являлся органом крепостнической реакции - 342.

"Русский врач", см. "Врач".

"Русский курьер" - ежедневная газета "политическая, общественная и литературная". Выходила в Москве в 1879-1889 годах - 759.

"Русский слепец" - журнал для обсуждения вопросов, касающихся улучшения положения слепых. Выходил в Москве в 1886-1889 годах - 706.

"Русский спорт" - "Русский коннозаводский журнал". Выходил в Москве с 1882 года два раза в месяц - 115.

"Русское богатство" - ежемесячный журнал либерально - народнического направления. Выходил в Петербурге в 1883-1916 годах - 462, 524, 632, 723.

"Русское литературное общество" - учреждено в Петербурге в 1886 году - 149, 717.

"Русское слово" - ежедневная газета, выходившая в /821/ Москве с 1897 года - 784.

Рыков Иван - возглавлял скопинский банк. По поводу хищений в этом банке в ноябре 1884 года был крупный судебный процесс: "Дело Рыкова" - 711.

Саблин Михаил Алексеевич (1842-1898) - московский статистик и публицист, сотрудник и член редакции газеты "Русские ведомости" - 311, 312, 558.

Савельев Дмитрий Тимофеевич (1860-1910) - врач, товарищ Чехова по гимназии и университету - 662, 663, 792.

Савина Мария Гавриловна (1854-1915) - артистка Александринского театра. В пьесах Чехова исполняла роли: Саши в "Иванове" и Аркадиной в "Чайке" - 353, 518.

Савицкая (Бурджалова) Маргарита Георгиевна (1868-1911) - артистка Московского Художественного театра - 683, 749.

Сазонов Николай Федорович (1843-1902) - артист Александринского театра. В пьесах Чехова исполнял роли: Львова в "Иванове" и Тригорина в "Чайке" - 356, 362, 363.

Сакулин Павел Никитич (1868-1930) - историк литературы, профессор - 721. "Новый взгляд на Чехова" - 721.

Салиас Евгений Андреевич (1841-1908) - писатель - 616-618, 785.

"Пугачевцы" - 617, 618, 785.

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826-1889) - 85, 148, 186, 422, 447. "Убежище Монрепо" - 758.

Санин (Шенберг) Александр Акимович (1869-1955) - артист и режиссер Московского Художественного театра с 1898 по 1902 год и с 1917 по 1919 год. В 1921 году эмигрировал за границу - 740.

Сарду Викторьен (1831-1908) - французский драматург. "Мадам Сан-Жен" - 177.

Сафонов Василий Ильич (1852-1918) - пианист, директор Московской консерватории, дирижер симфонических оркестров - 486.

Саша, см. Чехов Ал.П.

"Сверчок" - юмористический журнал. Издавался в Москве в 1886-1891 годах - 111, 114, 711.

"Свет и тени" - "художественный и карикатурный" журнал, издававшийся в Москве в 1878-1884 годах - 111, 708.

Светлов Н.В. - артист театра Корша - 113.

Свободин (Козиенко) Павел Матвеевич (1850-1892) - артист Александринского театра. В пьесах Чехова исполнял роли: Шабельского в "Иванове", Светловидова в "Калхасе" и Ломова в "Предложении" - 92, 93, 162, 297.

"Север" - еженедельный литературно - художественный журнал, выходивший в Петербурге с 1888 года - 175.

"Северные цветы" - альманах издательства "Скорпион". Выходил в Москве в 1901-1911 годах - 515, 773.

"Северный вестник" - ежемесячный литературно-научный и политический журнал либерального направления. Выходил в Петербурге с 1885 по 1898 год. В первые годы издания в журнале печатались статьи народников - Михайловского, Южакова, Кривенко и др. С 1891 года фактически стал органом русских символистов и /822/ декадентов - 105, 136, 138, 141, 144, 711, 715, 732, 739, 752, 762, 767, 774.

"Северный край" - политическая, общественная и литературная газета, выходившая в Ярославле с 1899 года - 456, 458, 596, 760.

Седерберг Яльмар (1869-?) - скандинавский писатель - 773.

Секавин - архитектор - 551, 776.

Селецкий Оттон Иванович - служащий в конторе пароходства бр. Каменских, учредитель и председатель Русского гимнастического общества - 107, 108.

Селиванов Гавриил Парфентьевич - чиновник коммерческого суда, к которому с торгов перешел дом Чеховых в Таганроге. У него жил Чехов после переезда родителей в Москву - 80, 82.

Селиванов Иван Парфентьевич - помещик. У него в имении гостил Чехов в гимназические годы - 80, 81.

Селиванова Любовь Васильевна - артистка Александринского театра - 362.

Селиванова Федосья Васильевна - владелица усадьбы под Таганрогом, по свидетельству М.П.Чехова послужила прототипом для Зинаиды Савишны в пьесе Чехова "Иванов" - 80.

Семашко Мариан Ромуальдович - музыкант-виолончелист, знакомый семьи Чеховых - 91, 105, 111, 127, 128.

Семенов Сергей Терентьевич (о нем на стр. 737) - 364-370, 518, 737-741, 769.

"В родной деревне" - 741.

"Гаврила Скворцов" - 741.

"Крестьянские рассказы" - 737.

"Семья" - иллюстрированный еженедельный журнал. Выходил в Москве с 1892 года - 368.

Сенкевич Генрих (1846-1916) - польский писатель - 314, 634, 755.

Серафимович (Попов) Александр Серафимович (1863-1949) - писатель - 485, 763.

Сергеенко Петр Алексеевич (1854-1930) - беллетрист и публицист, учился в таганрогской гимназии одновременно с Чеховым - 304, 305, 308, 339, 529, 736, 772, 781. "Как живет и работает Л.Н.Толстой" - 529.

Серебров А., см. Тихонов А.Н.

Серов Валентин Александрович (1865-1911) - художник - 99.

Симов Виктор Андреевич (о нем на стр. 709) - 98-103, 709.

Синани Исаак Абрамович (ум. в 1917 г.) - владелец книжного магазина в Ялте - 456, 468, 469, 531, 587, 588, 606-608, 692.

Сиротинин Владимир Александрович - врач, впоследствии профессор Военно-медицинской академии. Товарищ Чехова по таганрогской гимназии - 85.

Скабичевский Александр Михайлович (1838-1910) - литературный критик и публицист либерально-народнического направления - 166, 349, 474, 501, 515, 525, 594, 738, 767, 782.

[Рецензия на "Пестрые рассказы"] - 767, 782.

Скиталец - псевдоним писателя и поэта Степана Гавриловича Петрова (1868 - 1941) - 383, 471, 487, 660, 763.

"Скорпион" - издательство символистов - 515, 773.

"Слепец", см "Русский слепец".

Слепцов Василий Алексеевич /823/ (1836-1878) - писатель - 369, 793.

"В вагоне 3-го класса" - 665.

"Спевка" - 665.

"Словарь русского языка" - 480, 562.

Соболевский Василий Михайлович (1846-1913) - профессор финансового права, редактор газеты "Русские ведомости" - 447.

"Современник" - прогрессивный литературный журнал, основанный в 1836 году в Петербурге А.С.Пушкиным. После его смерти с 1837 по 1846 год журналом руководили П.А.Вяземский, В.А.Жуковский, А.А.Краевский, В.Ф.Одоевский и П.А.Плетнев. С 1847 года издатели - И.И.Панаев и Н.А.Некрасов. С 1863 года - Н.А.Некрасов. В 60-е годы "Современник", к которому Некрасов привлек Белинского, Добролюбова, Чернышевского, стал органом революционной демократии. В 1866 году журнал был закрыт правительством - 634.

"Современный мир", см. "Мир божий".

Соловцов (Федоров) Николай Николаевич (1856-1902) - артист театра Корша. Впоследствии, с 1891 года антрепренер Киевского театра. Исполнял роль Смирнова в водевиле Чехова "Медведь", который и посвящен ему автором - 517.

Соловьева (Березина) Ольга Михайловна - владелица поместья Суук-Су на южном берегу Крыма - 531, 593, 782.

Софокл (496-406 до н.э.).

"Антигона" - 440, 686, 755, 796.

"Среда" - московский товарищеский кружок литераторов. Возник в 90-х годах по инициативе Н.Д.Телешова, на квартире у которого главным образом и происходили собрания кружка - 487, 489, 763.

Средин Леонид Валентинович (1860-1909) - врач, ялтинский знакомый Чехова - 691, 749, 756.

Средины - 532, 692.

Стаматич Николай - таганрогский маклер - 43, 44.

Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (о нем на стр. 741) - 99, 285, 371-418, 431, 439-441, 488, 490, 655, 683, 684, 688, 689, 695, 741-750, 755, 757, 764, 765, 796.

"Моя жизнь в искусстве" - 742, 750, 765.

Станюкович Константин Михайлович (1843-1903) - писатель - 383, 388, 531, 596.

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826-1911) - историк и публицист, редактор-издатель журнала "Вестник Европы" - 627, 759.

Стороженко Николай Ильич (1836-1906) - историк литературы, профессор Московского университета - 745.

Страхов Алексей Алексеевич - музыкант, брат Л.А.Авиловой - 234, 238, 239, 243, 253-259, 280, 281.

Страхов Федор Алексеевич (1861-1923) - писатель, последователь Л.Н.Толстого, брат Л.А.Авиловой - 253, 728.

Страхова Любовь Федоровна - жена Ф.А.Страхова - 253.

"Стрекоза" - еженедельный юмористический журнал, издававшийся в Петербурге с 1875 года. В нем начал Чехов свою литературную деятельность - 111, 127, 135, 474, 659, 791.

Стрепетова Полина Антиповна (1850-1903) - артистка Александринского театра. В /824/ пьесе Чехова "Иванов" исполняла роль Сарры - 297.

Строев Павел Александрович - 739.

Струве Петр Бернгардович (1870-1944) - экономист и публицист, видный представитель легального марксизма 90-х годов, позднее организатор союза "Освобождение". После Октябрьской революции эмигрировал за границу - 740.

Стыранкевич - студент-медик, активный участник студенческих забастовок - 662.

Суворин Алексей Алексеевич (1862-?) - старший сын А.С.Суворина. С конца 80-х годов фактический руководитель "Нового времени". В конце 1903 года основал свою газету "Русь", умеренно-либерального направления - 92.

Суворин Алексей Сергеевич (1834-1912) - журналист, беллетрист и драматург, издатель реакционной газеты "Новое время" - 91, 92, 94, 136, 157, 160, 162, 163, 166, 171, 182, 209, 224, 230, 240, 243, 246, 250, 251, 254-257, 297, 315, 337, 338, 342, 348, 352, 353, 359, 360, 367, 371, 440, 449, 506, 537, 580, 594, 595, 599, 628-631, 642, 651, 674, 698, 707, 709, 714, 727, 735, 737, 754, 758, 759, 769, 781, 782, 783, 786-789, 791, 793, 794.

Суворин Вячеслав Алексеевич - сын А.С.Суворина - 92.

Суворина Анна Ивановна - вторая жена А.С.Суворина - 251.

Суворины - 251.

Судьбинин Серафим Николаевич - артист Московского Художественного театра с 1898 по 1904 год. Впоследствии скульптор - 440, 757.

Сулержицкий Леопольд Антонович (1872-1916) - литератор и художник. С 1905 года режиссер Московского Художественного театра и театральный педагог - 376, 509, 510, 722, 741, 745, 756.

Сумбатов, см. Южин (Сумбатов) А.И.

Суриков Василий Иванович (1848-1916) - художник - 710.

Сухотина (Толстая) Татьяна Львовна (1864-1950) - старшая дочь Л.Н.Толстого - 367, 739.

"Сын отечества" - ежедневная политическая и литературная газета. Выходила в Петербурге с 1862 по 1900 год - 165, 228.

Сытин Иван Дмитриевич (1851-1934) - книгоиздатель и книготорговец. Издатель газеты "Русское слово" - 479.

Тарасов Тарас Петрович - член совета Русского гимнастического общества - 108.

Татаринова Фанни Карловна (1863-1923) - ялтинская знакомая Чехова, впоследствии преподавала пение в Московском Художественном театре - 392.

Таубе Юлий Романович - врач-терапевт - 132, 667.

Таубер Д.С. - врач, работала в Московском губернском земстве - 85.

Театр Ф.А.Корша - драматический театр. Основан Ф.А.Коршем в Москве в 1882 году - 113, 177, 178, 372, 423, 424, 487, 711, 715, 742, 752.

Театр Литературно-артистического кружка (Малый, Суворинский). - Основан в Петербурге в 1895 году. Носил название также Суворинского театра

(по имени председателя кружка и театрального комитета А.С.Суворина) и Малого театра, в помещении которого театр /825/ существовал до 1901 года - 238, 250, 440.

Театр М.М.Абрамовой - существовал в Москве в течение сезона 1889/90 года. С декабря 1889 года театр, сохраняя прежнее название, перешел в руки Товарищества артистов - 429, 487, 753.

Театр Н.Н.Соловцова (Киев) - основан в 1891 году - 517.

Театрально - литературный комитет - 745.

Телешов Николай Дмитриевич (о нем на стр. 761) - 369, 471, 473-492, 531, 535, 736, 741, 751, 761-763, 778, 796.

"Именины" - 480.

"На тройках" - 480.

"Фантастические наброски" - 480.

Теляковский Владимир Аркадьевич (1861-1924) - управляющий московскими императорскими театрами - 378, 379, 744, 745.

"Воспоминания" - 745.

Терновская Надежда Александровна - ялтинская знакомая Чехова - 588, 781.

Терновский Александр - ялтинский священник - 781.

Тимковский Николай Иванович (1863-1922) - писатель - 369, 763.

Титов Спиридон - таганрогский купец, крестный отец Чехова - 530.

Тихомиров Дмитрий Иванович (1844-1917) - педагог, редактор журнала "Детское чтение" - 302, 336, 733, 736.

Тихомиров Иосаф Александрович (1872-1908) - артист Московского Художественного театра. В пьесах Чехова исполнял роли: Медведенко в "Чайке" и Федотика в "Трех сестрах" - 439, 745.

Тихонов (Серебров) Александр Николаевич (о нем на стр. 790) - 643-657, 790.

"Время и люди" - 750.

Тихонов Владимир Алексеевич (1857-1914) - беллетрист и драматург - 347.

Товарищество передвижных художественных выставок - объединение передовых русских художников-реалистов. Основано в 1870 году. В 1923 году объединилось с Ассоциацией художников революционной России (АХРР) - 710.

Толстая Софья Андреевна (1844-1919) - жена Л.Н.Толстого - 367.

Толстая Татьяна Львовна, см. Сухотина Т.Л.

Толстой Алексей Константинович (1817-1875).

"Царь Федор Иоаннович" - 374, 601, 682, 684, 742, 783, 796.

Толстой Дмитрий Андреевич (1823-1889) - реакционный государственный деятель. В 70-х годах был министром народного просвещения, позднее - министр внутренних дел и шеф жандармов - 67, 708.

Толстой Илья Львович (1866-1933) - второй сын Л.Н.Толстого - 740, 773.

Толстой Лев Николаевич (1828-1910) - 147, 185, 262, 264, 265, 282, 292, 305, 365-369, 419, 421, 428, 435, 463, 480, 481, 488, 492, 508-510, 514, 518-522, 535,

546, 547, 560, 562, 595, 612, 649, 651, 713, 716, 723, 729, 737-740, 754, 764, 765, 769, 780.

"Анна Каренина" - 522, 773.

"Война и мир" - 617.

"Воскресение" - 366, 367, 738.

Толстой Сергей Львович (1863-1947) - старший сын Л.Н.Толстого - 738.

Трепов Дмитрий Федорович - московский обер-полицмейстер - 743, 744.

Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883) - 85, 282, 450, 519, 574, 575, 740.

"Бежин луг" - 450. /826/

"Отцы и дети" - 149.

"Старик" - 724.

Тютюник Василий Саввич - певец - 105.

Усатов Дмитрий Андреевич - артист Большого театра (тенор) - 607, 608.

Успенский Глеб Иванович (1843-1902) - 107, 137, 145, 146, 148, 300, 764.

Успенский Сергей Павлович - врач звенигородской земской больницы, знакомый Чехова - 86.

Уткина Л.Н. - издательница журнала "Будильник" - 152.

Фаусек Виктор Андреевич (1861-1910) - профессор зоологии - 190, 297.

Фаусек Вячеслав Андреевич - литератор (о нем на стр. 722) - 189-199, 721, 722.

"За морским горизонтом" - 722.

"Призраки прошлого" - 722.

"Ялта и ее окрестности" - 192.

Фескель - французский книгоиздатель - 485.

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820-1892) - поэт.

"Шепот, робкое дыханье, трели соловья..." - 752.

Филиппов Сергей Никитич (1863-1910) - театральный рецензент и беллетрист - 170, 171.

Флеров (Васильев) Сергей Васильевич (1841-1901) - журналист, театральный рецензент. Печатался под псевдонимом "С.Васильев" - 382, 424, 747, 752, 753.

Флобер Густав (1821-1880) - 574.

Фофанов Константин Михайлович (1862-1911) - поэт - 107.

Фохт Александр Богданович (1848-1930) - профессор патологической анатомии Московского университета - 665, 793.

Харкеевич Варвара Константиновна (ум. в 1922 г.) - начальница ялтинской женской гимназии - 532, 608, 767.

Харченко Андрей - служащий в лавке П.Е.Чехова - 30, 32-35, 37-47, 51, 52, 54, 58, 61.



Харченко Гавриил - мальчик, служивший в лавке П.Е.Чехова - 30, 32, 34, 35, 37-42, 43-47, 52, 54, 58, 61.

Хмелев Николай Николаевич - председатель серпуховской земской управы - 605.

Хотяинцева Александра Александровна (1865-1942) - художница - 755.

Худеков Николай Сергеевич - редактор "Петербургской газеты" - сын С.Н.Худекова - 236.

Худеков Сергей Николаевич (1837-1929) - журналист, издатель "Петербургской газеты" - 158, 200-204, 208-210, 215, 216, 221, 223, 236, 278, 285, 288, 292, 726, 727.

Худекова Надежда Алексеевна - жена С.Н.Худекова, сестра Л.А.Авиловой - 200, 201, 203, 204, 210, 215, 216, 218, 221, 236, 287, 288, 726.

Худековы - 287.

Цуриков - фабрикант - 84.

Чайковский Модест Ильич (1850-1916) - брат композитора, писатель и переводчик, автор нескольких оригинальных пьес и либретто опер П.И.Чайковского, Э.Ф.Направника и др. - 716.

Чайковский Петр Ильич (1840-1893) - 87, 320, 579, 716.

Чемоданов Михаил Михайлович (1856-1908) - /827/ врач-одонтолог и художник-карикатурист, сотрудник юмористических журналов - 161, 162.

Черемисов Михаил - мальчик, служивший в лавке П.Е.Чехова - 76.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) - 651.

Чертков Владимир Григорьевич (1854-1936) - основатель книгоиздательства "Посредник", толстовец - 365, 366.

Чехов Александр Павлович (о нем на стр. 705, 706) - 29-74, 78-80, 82, 124-126, 152, 181, 319, 425, 536, 705-708, 735, 752, 755, 787.

"Алкоголизм и возможная с ним борьба" - 706.

"А.П.Чехов - певчий" - 706.

"Антон Павлович Чехов - лавочник" - 706.

"В гостях у дедушки и бабушки" - 706.

"Из детства Антона Павловича Чехова" - 706.

"Исторический очерк пожарного дела в России" - 706.

"Княжеские бриллианты" - 706.

"Коняга" - 706.

"Первый паспорт Антона Павловича Чехова" - 706.

"Чехов в греческой школе" - 706.

Чехов Антон Павлович (1860-1904)

"Агафья" - 151, 717.

"Ариадна" - 177, 178, 721.

"Архиерей" - 466, 467, 529, 559, 774.

"Бабы" - 184.

"Бабье царство" - 526, 774.  
 "Беглец" - 85.  
 "Без заглавия" - 720.  
 "Беззаконие" - 179.  
 "Белолобый" - 477, 733, 762.  
 "В море" - 515, 773.  
 "В овраге" - 300, 526, 761.  
 "В суде" - 709, 737.  
 "В сумерках" - 144, 153, 158, 473, 715, 718, 732, 762.  
 "В ученом обществе", см. "Каштанка".  
 "В цирульне" - 139, 715  
 "Ванька" - 369, 576, 577, 740.  
 "Ведьма" - 87, 151, 717.  
 "Вечером", см. "Студент".  
 "Вид имения Гурзуф Петра Ионыча Губонина" (Рис.) - 110.  
 "Винт" - 519, 529.  
 "Вишневый сад" - 83, 91, 166, 307, 394, 408-412, 414, 439, 441, 444 487, 488, 505, 519, 529, 603, 604, 658, 741, 742, 747, 750, 754, 756, 771, 773, 791.  
 "Володя" - 737.  
 "Ворона" - 533, 774.  
 "Врачебное дело в России" - 753.  
 "Гамлет, принц датский" - 171, 719.  
 "Гусев" - 533, 774.  
 "Дело Рыкова и К®" - 109, 711.  
 "Детвора" - 31, 85.  
 "Дом с мезонином" - 301, 733, 774.  
 "Дочь Альбиона" - 87, 503.  
 "Драма" - 369, 740.  
 "Драма в цирульне", см. "В цирульне".  
 "Душечка" - 368, 504, 510, 735, 769.  
 "Дуэль" - 92, 97, 184, 185.  
 "Дядя Ваня" - 368, 369, 378, 379, 381, 385, 386, 391, 395, 396, 429, 430, 439, 440, 461, 486-488, 531, 543, 592, 675, 740, 741, 744-748, 753-756, 764.  
 "Жалобная книга" - 519.  
 "Жена" - 184, 185, 365.  
 "Жених и папенька" - 764.  
 "Злоумышленник" - 499, 764.  
 "Золотая коса" - 85.  
 "Иванов" - 80, 113, 142, 143, 144, 202-204, 308, 344, 423-425, 429, 487, 505, 711, 715, /828/ 726, 741, 743, 752, 753, 754, 756, 764.  
 "Именины" - 144, 365, 715.  
 "Каштанка" - 105, 111, 158, 457, 477, 591, 710, 711, 718, 762.  
 "Крыжовник" - 730, 782.  
 "Леший" - 181, 429, 430, 487, 753, 754, 764.  
 "Медведь" - 170, 372, 424, 429, 719, 742, 752.

"Мертвое тело" - 86.  
 "Мечты" - 151, 717.  
 "Моя жизнь" - 368, 139, 760.  
 "Мужики" - 262, 277, 300, 303, 368, 519, 529, 716, 729, 739, 740, 760.  
 "На подводе" - 304, 368, 738, 758.  
 "На пути" - 138, 714.  
 "Налим" - 87.  
 "Невеста" - 581, 779, 795.  
 "Невинные речи" - 114, 711, 762.  
 "Недоброе дело" - 87.  
 "Ночью", см. "В море".  
 "О вреде табака" (1886) - 162, 163, 718.  
 "О вреде табака" (1902) - 718.  
 "О любви" - 271-274, 278 284, 291, 292, 730.  
 "От какой болезни умер Ирод" - 790.  
 "Огни" - 83, 144, 715.  
 "Остров Сахалин" - 198, 598, 670, 722, 736.  
 "Павлин в вороньих перьях", см. "Ворона".  
 "Палата N 6" - 144, 364, 365, 559, 715.  
 "Пассажир 1 класса" - 154, 718.  
 "Пестрые рассказы", сб. - 84, 105, 114, 135, 136, 140, 144, 145, 162, 163, 297, 473, 475, 710, 713, 732, 767, 782.  
 "Письмо к ученому соседу" - 791.  
 "Повести и рассказы", М. 1894 - 234, 249, 728.  
 "По делам службы" - 577.  
 "Попрыгунья" - 174-177, 723.  
 "Почта" - 774.  
 "Предложение" - 153, 424, 752, 753.  
 "Припадок" - 525, 737.  
 [Пьеса] - 415.  
 "Пьесы", сб. 1897 г. - 753.  
 "Рассказы", сб. - 158, 718, 732.  
 [Рецензия] - 709.  
 "Роман с контрабасом" - 369.  
 "Сапоги всмятку" - 87.  
 "Свадебный сезон" - 84.  
 "Свадьба" - 55, 154, 474, 762.  
 "Свадьба с генералом" - 154, 762.  
 "Святою ночью" - 140, 715.  
 "Сирена" - 86, 173, 720.  
 "Сказка", см. "Без заглавия".  
 "Сказки Мельпомены", сб. - 104, 105, 114, 135, 710, 752.  
 "Скорая помощь" - 369.  
 "Скучная история" - 215, 216, 534, 774.  
 "Смерть чиновника" - 87.

Собрание сочинений, изд. Маркса, т. I - 369, 740.  
 "Соседи" - 728, 754.  
 "Спать хочется" - 31, 774.  
 "Степь" - 31, 81, 105, 123, 126, 130, 141, 142, 144, 157, 173, 174, 248, 654, 710, 715, 719, 720.  
 "Страхи" - 83, 790.  
 "Студент" - 514, 772.  
 "Супруга" - 368, 738.  
 "Тиф" - 534, 774.  
 "Тоска" - 202, 577, 726, 737.  
 "Три года" - 523.  
 "Три сестры" - 84, 384, 393, 394, 396, 397, 400, 439, 440, 441, 444, 445, 452, 479, 487, 504, 505, 531, 535, 596, 696, 741, 745-749, 754, 756, 757, 759, 774, 775.  
 "Унтер Пришибеев" - 754.  
 "Устрицы" - 737.  
 "Умный дворник" - 139, 714.  
 "Хирургия" - 85, 669, 764, 793.  
 "Хмурые люди", сб. - 134, /829/ 136, 144, 146, 297, 339, 525, 715, 732, 773.  
 "Холодная кровь" - 420, 525, 774.  
 "Чайка" - 240, 241, 244-248, 259, 282, 284-286, 302, 349-351, 354, 356, 357, 361-363, 373-375, 379-381, 387, 420, 434-442, 445, 461, 487, 505, 531, 592, 601, 683, 709, 729, 731, 736, 741, 743-745, 748, 753-757, 764, 772, 796, 797.  
 "Человек в футляре" - 452.  
 "Черный монах" - 738, 793.  
 "Шуточка" - 268, 269, 729.  
 "Экзамен на чин" - 86.  
 Чехов Владимир Митрофанович (1874-1949) - двоюродный брат Чехова, зубной врач - 124.  
 Чехов Георгий Митрофанович (1870-1943) - двоюродный брат Чехова, служащий таганрогского морского порта и затем черноморско-азовского пароходства - 124.  
 Чехов Егор Михайлович (1801-1879) - дед Чехова, крепостной помещика А.Д.Черткова. В 1841 году выкупился на волю - 80, 82, 123.  
 Чехов Иван Павлович (1861-1922) - брат Чехова, педагог - 76, 78, 79, 84, 86-88, 93, 115, 119, 124, 154, 173, 319, 423, 425, 708, 718, 770, 781, 783.  
 Чехов Митрофан Егорович (1836-1894) - дядя Чехова - 123, 713.  
 Чехов Михаил Егорович - дядя Чехова - 123, 124.  
 Чехов Михаил Павлович (о нем на стр. 708) - 75-97, 110, 119, 124, 126, 137, 139, 141, 152, 174, 318, 319, 425, 476, 537, 705, 708, 711, 726, 737, 760, 762, 782, 788, 792.  
 "Антон Чехов и его сюжеты" - 708.  
 [Биографический очерк о Чехове] - 708.  
 "Вокруг Чехова" - 706, 708, 762, 793.  
 "Очерки и рассказы" - 708.

Чехов Николай Павлович (1859-1889) - брат Чехова, художник - 49, 66, 78-80, 82, 84, 93, 100, 101, 107, 109, 124-126, 133, 135, 152, 155, 168, 170, 181, 185, 425, 536, 599, 708, 717.

"Бедность" - 717.

Чехов Павел Егорович (1824-1898) - отец Чехова - 29, 30-41, 44-54, 56, 59-74, 82, 95, 109, 118, 123-126, 302, 318-320, 425, 530, 587, 711, 721, 729, 734, 772, 796.

Чехов Сергей Михайлович (р. в 1901 г.) - сын М.П.Чехова, художник - 708.

Чехова Евгения Яковлевна (1835-1919) - мать Чехова - 37, 38, 41, 45, 47, 50, 62, 64, 65, 76, 78, 84, 118, 124, 125, 128, 131, 132, 139, 140, 185, 302, 318, 319, 423, 425, 426, 513, 522, 527, 530-532, 553, 556, 568, 600, 691, 707, 711.

Чехова Мария Павловна (1863-1957) - педагог и художница. После Октябрьской революции - директор дома-музея А.П.Чехова в Ялте - 78, 84, 87, 95, 110, 118, 122, 124, 126, 127, 129, 140, 156, 179, 180, 189, 190, 257, 283, 292, 305, 318, 320, 344, 356, 360, 374, 377, 389, 402, 423, 425, 426, 447, 470, 471, 522, 530-532, 534, 551, 590, 601, 665, 708, 712, 721-723, 725, 731, 737, 744, 747, 748, 758, 778, 783, 787, 791.

"Из далекого прошлого" - 706, 725, 744.

"Письма к брату А.П.Чехову" - 723, 747.

Чириков Евгений Николаевич (1864-1932) - беллетрист и драматург. После Октябрьской революции эмигрировал за границу - 486, 660.

Читау Мария Михайловна - артистка Александринского театра с 1876 по 1900 год. В пьесе Чехова "Чайка" /830/ исполняла роль Маши. Автор воспоминаний о первом спектакле "Чайки" - 356.

Членов Михаил Александрович (о нем на стр. 788) - 640-642, 705.

"А.П.Чехов и культура" - 789.

"Чехов и медицина" - 789.

Шаврова Елена Михайловна (1874-1937) - писательница - 163, 165, 718.

Шаляпин Федор Иванович (1873-1938) - 471, 485, 765, 770.

Шаповалов Лев Николаевич (о нем на стр. 761) - 468-472, 590, 705, 761, 775.

Шарц Александр Кузьмич (р. в 1906 г.) - педагог-математик. В настоящее время директор Пермской научной библиотеки. Автор более 200 статей о замечательных людях Урала.

"Чехов на Урале" - 790.

Шверер - врач, лечивший Чехова в Баденвейлере - 702, 797.

Шекспир Вильям (1564-1616) - 166, 293, 518, 520, 742.

"Шейлок" ("Венецианский купец") - 685, 796.

Шестов (Шварцман) Лев Исаакович - 520.

"Начала и концы" - 773.

"Творчество из ничего" - 773.

Шехтель Федор Осипович (1859-1926) - архитектор, академик, близкий знакомый Чехова - 162, 170, 373, 713, 742.

Шпажинский Ипполит Васильевич (1844-1917) - драматург - 431.

Шремпп - таганрогский гимназический врач - 81.

Штангеев Ф.Т. - ялтинский врач - 196.

Шувалов Иван Михайлович (1865-1905) - артист провинциальных театров, позднее играл в Александринском театре - 363.

Щеглов (Леонтьев) Иван Леонтьевич (1856-1911) - писатель, близкий знакомый Чехова, состоял с ним в длительной переписке. Автор воспоминаний о Чехове (см. "Чехов в воспоминаниях современников", 1947, 1952 и 1954 гг.) - 166, 315, 318, 343, 345, 707, 715, 719, 729, 735, 736, 787, 788.

"В защиту народного театра" - 736.

"Народный театр в очерках и картинках" - 736.

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874-1953) - писательница и переводчица. Близкая знакомая семьи Чеховых. Автор воспоминаний о Чехове (См. сб. "Чехов в воспоминаниях современников", изд. 1947, 1952 и 1954 гг.) - 603, 720, 721.

Щербаков Арсений Ефимович - дворник на даче Чехова в Ялте - 531, 543, 568.

Щукин Сергей Николаевич (о нем на стр. 760) - 453-467, 760, 761, 783.

"Глупости Ивана Ивановича" - 462, 761.

Щуровский Владимир Андреевич (1852-?) - московский врач-терапевт - 605, 784.

Эвальд Карл-Антон - немецкий профессор-терапевт - 605.

Эльпе, см. Попов Л.К.

"Эрмитаж" - летний сад и театр в Москве. В помещении "Эрмитажа" начал свою деятельность Московский Художественный театр и занимал его до сезона 1902 года - 446.

Эстергази - майор, действительный виновник преступления, которое было приписано Дрейфусу - 758.

Эфрос Николай Ефимович (1867-1923) - театральный критик - 127. /831/

"Юг" - ялтинская фотография - 609, 611.

Южаков Сергей Николаевич (1849-1910) - публицист либерально-народнического направления - 137.

Южин (Сумбатов) Александр Иванович (1857-1927) - артист и драматург. Народный артист РСФСР. Режиссер и управляющий труппой, а после Октябрьской революции - директор Малого театра - 312, 342, 378, 431-434, 448, 517, 753.

Юрасов Николай Иванович - русский вице-консул в Ментоне - 327, 448, 538.

Яворская Лидия Борисовна (1872-1921) - драматическая артистка - 177, 178, 244.

Якоби Валериан Иванович (1834-1902) - художник - 448.

Яковлев Кондрат Николаевич (1864-1928) - артист театра Корша, позднее Александринского театра - 177, 178.

Яковлев М.П. - главный врач Московской Мариинской больницы - 85.

Ялтинский городской театр - 788.

Ярцев Григорий Федорович (1858-1918) - художник - 608.

Ясинский Иероним Иеронимович (1850-1930) - беллетрист и журналист - 779.

"Яузляр" - санаторий в Ялте, находившийся в ведении ялтинского благотворительного общества - 572.